

МАЙКЛ
МАНН

ИСТОЧНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

3

1890-1945



Michael Mann

The Sources of Social Power

VOLUME 3
GLOBAL EMPIRES
AND REVOLUTION,
1890–1945

Майкл Манн

Источники социальной власти

Том 3
Глобальные империи
и революция,
1890–1945 годы



| Издательский дом ДЕЛО |

Москва | 2018

УДК 316
ББК 60.5
М23

Перевод с английского

- Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н.э. — Д. Ю. Карасев (перевод и научная редакция).
Т. 2. Становление классов и наций-государств, 1760–1914 годы — А. В. Лазарев, под науч. ред. Д. Ю. Карасева.
Т. 4. Глобализации, 1945–2011 годы — О. Левченко, А. Гуськов, С. Коломиец, под науч. ред. Д. Ю. Карасева.

Манн, Майкл

- М23 Источники социальной власти: в 4 т. Т. 3. Глобальные империи и революция, 1890–1945 годы / Майкл Манн; пер. с англ. Д. Ю. Карасева; под науч. ред. С. Моисеева. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 696 с.

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1287-2 (т. 3)

Различая четыре источника власти в человеческих обществах (идеологический, экономический, военный и политический), этот многотомный труд прослеживает их взаимоотношения на протяжении всей истории. В третьем томе аналитической истории социальной власти Майкл Манн начинает свое повествование с глобальных империй XIX в. и продолжает глобальной историей XX в. вплоть до 1945 г. Манн фокусируется на взаимосвязях развития капитализма, национальных государств и империй. В томе 3 также обсуждается Великая дивергенция между траекториями Запада и остального мира, саморазрушение европейского и японского могущества в двух мировых войнах, Великая депрессия, возвышение американской и советской власти, соперничество между капитализмом, социализмом и фашизмом, а также триумф реформированного и демократического капитализма.

Майкл Манн является почетным профессором социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он автор таких книг, как *Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом* (2011; рус. изд.: М., 2014), *Incoherent Empire* (2003) и *Fascists* (2004). В 2006 г. его книга *Темная сторона демократии* (2004; рус. изд.: М., 2016) была удостоена премии им. Баррингтона Мура, вручаемой Американским социологическим обществом, как лучшая книга по компаративной и исторической социологии.

УДК 316
ББК 60.5

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1287-2 (т. 3)

Copyright © Michael Mann, 2012

First published by Cambridge University Press

Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие · ix

Глава 1. Вступление · 1

Источники социальной власти · 7

Глава 2. Глобализация, раздробленная империями:

Британская империя · 24

Вступление: типы империй · 24; Почему европейцы были столь успешными империалистами · 31; Принесла ли Британская империя хоть кому-нибудь какую-то пользу? · 40; Британская экспансия и военная власть · 42; Отношения экономической власти: глобальная экономика? · 56; Жемчужина в короне Британской империи: отношения экономической власти в Индии · 60; Отношения политической власти в колониях · 67; Отношения идеологической власти в колониях · 72; Ослабление империй · 77

Глава 3. Америка и ее империя во время прогрессивной эры, 1890–1930 годы · 80

Первый этап империализма: континентальная империя, 1783–1883 годы · 81; Вторая промышленная революция · 84; Прогрессисты: модернизация против перераспределения · 90; Рабочее движение, но без рабочего класса · 96; Достижения перераспределения: образование и гендер · 104; Расовый регресс · 108; Консервативные 1920-е годы · 111; Второй этап империализма: империя одного полушария, 1898–1930-е годы · 116; Кубинская колония · 121; Филиппинская колония · 123; Почему колонии были временными · 127; Неформальная империя с канонерскими лодками · 129; Заключение · 138

Глава 4. Азиатские империи: павший дракон, восходящее солнце · 139

Вступление: угроза с Запада · 139; Восходящее солнце · 143; Возникновение японского империализма · 153; Ослабленный дракон · 157; Япония: колониальное сияние солнца · 161; Японские дебаты вокруг империализма · 166; Заключение по главам 2–4: три империи · 176

Глава 5. Полуглобальный кризис: Первая мировая война · 179

Почему солдаты сражались · 201; Тотальная война · 212; Воздействие на гражданское население: поддержка войны · 218; Воздействие на гражданское население: страдание и классовый конфликт · 221; Заключение: бессмысленная Великая война · 229

Глава 6. Интерпретация революции: этап 1, пролетарские революции 1917–1923 годов · 232

Вступление: теории революции · 232; Реформа и революция в начале XX века · 238; Большевиcтская революция · 243; Война и европейские рабочие движения · 264; Германия: неудавшаяся революция, неустойчивые реформы · 267; Австрия: неудавшаяся революция, городская реформа · 275; Венгрия: революция и контрреволюция · 278; Краткая заметка об Италии · 281; Заключение · 282

Глава 7. Полуглобальный кризис: интерпретация Великой депрессии · 288

Вступление · 288; Воздействие Первой мировой войны · 291; Послевоенная геополитика: гегемония и золотой стандарт · 293; От рецессии к Великой депрессии · 300; Споры экономистов о причинах · 305; Идеологическая власть: современные теории депрессии · 316; Заключение · 329

Глава 8. «Новый курс»: Америка сдвигается влево · 335

Вступление: левые у власти · 335; Пять социологических теорий · 340; Цели «нового курса»: восстановление, регуляция, помощь и переизбрание · 344; Реформа: классовая борьба и политическая возможность · 356; Закон Вагнера и профсоюзы · 363; Закон о социальном обеспечении и государство всеобщего благоденствия · 368; Ограничения «нового курса»: гендер, раса, дуализм · 372; Трудовые отношения в конце 1930-х годов: неоднозначный результат · 378; Заключение · 383

Глава 9. Развитие социального гражданства в капиталистических демократиях · 391

Вступление: триумф реформированного капитализма · 391; Современные теории государства всеобщего благоденствия · 396; Этап 1: развитие до Первой мировой войны · 401; Этап 2: межвоенные траектории: (а) англосаксонские страны · 410; Этап 2: межвоенные траектории: (б) скандинавские страны · 420; Этап 2: межвоенные траектории: (с) европейские страны · 425; Предприниматели в межвоенный период · 433; Избирательные системы · 435; Заключение · 438

Глава 10. Фашистская альтернатива, 1918–1945 годы · 442

Вступление · 442; Определение фашизма · 446; Возникновение фашизма · 450; Две Европы · 458; Объяснение: четыре кризиса в двух Европах · 461; Фашисты у власти · 473; Был ли фашизм реальной альтернативой? · 486

Глава 11. Советская альтернатива, 1918–1945 годы · 488

Укрепление революции · 488; Сталинское однопартийное государство · 493; Сталинские зверства · 503; Экономический баланс · 509; Зарубежное влияние коммунизма · 515

Глава 12. Японский империализм, 1930–1945 годы · 521

Усиление милитаризма · 521; Была ли Япония фашистской? · 534; Первое возрождение китайского дракона: Гоминьдан · 536; Империи Солнца и Орла · 545; Заключение · 554

Глава 13. Интерпретация Китайской революции · 558

Первые испытания и невзгоды · 558; Крестьянский вопрос · 563; Организационные стратегии коммунистов · 565; Авангардная коммунистическая партия · 573; Гражданская война и победа · 575; Китай и теории революции · 580

Глава 14. Последняя война империй, 1939–1945 годы · 592

Причины · 593; Политика умиротворения · 602; Война: поражение Франции · 610; Выживание Британии · 616; Решающий Восточный фронт · 621; Победа · 629

Заключение · 638

Библиография · 652

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я взялся за этот проект в начале 1980-х гг., намереваясь написать одну-единственную книгу об отношениях власти в человеческих обществах. Предполагалось, что она будет содержать несколько эмпирических кейс-стади, которые будут сопровождать теоретические рассуждения о власти. Однако кейс-стади умножались и умножались, пока не выросли в четырехтомный исторический нарратив об отношениях власти. Том 1, опубликованный в 1986 г., содержал историю власти в человеческих обществах от начала времен вплоть до промышленной революции. Тогда я собирался написать еще один том, который довел бы эту историю до настоящего времени. Но этот том также стал сильно разрастаться, и к тому моменту, когда он был опубликован (1993), он содержал только материалы по наиболее развитым странам за период 1760–1914 гг. С 1993 г. я работал над томами 3 и 4, хотя моя работа над ними и прерывалась рядом отступлений, результатом которых стали книги, посвященные изучению фашизма, этнических чисток и внешней политики Америки. В томе 3 я решил исправить упущение тома 2 — недостаточное внимание, уделенное глобальным империям, созданным наиболее развитыми странами. Они, разумеется, необходимы для понимания современных обществ. Соответственно, настоящий том я начинаю с империй задолго до 1914 г. и заканчиваю 1945 г. Это означает, что в томе 4 я с необходимостью продолжу повествование о власти с 1945 г. до настоящего времени. Поскольку я работаю над двумя книгами одновременно, том 4 будет опубликован спустя несколько месяцев после публикации этого тома.

Я надеюсь, что читатель с пониманием отнесется к этой длинной истории с отложенным финалом. Я неисправимый эмпирик, которому необходимо всякое обобщение подкреплять массой данных, что и составляет львиную долю исследования.

Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал мне помощь в написании этой книги. Прежде всего я хочу поблагодарить Джона А. Холла, друга и всегда готового прийти на помощь критика всего, что я пишу. Я также благодарен Ральфу Шрёдеру за огромную помощь и критику. Глубокие историче-

ские знания американской политики Билла Домхоффа, которыми он делился со мной многие годы, также оказались чрезвычайно полезными. Он очень помог мне в работе над главой 8. Барри Эйхенгрин сделал ценные комментарии к главе 7 и заверил меня, что я достиг некоторого понимания работ экономистов по Великой депрессии.

На протяжении всей работы над книгой я был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И я очень благодарен социологическому факультету за то, что он стал мне родным и радушным академическим домом, а также факультету и университету за их щедрость в предоставлении мне материального финансирования и времени для работы над моим исследованием. Мне также выпала честь обучать массу талантливых студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. На моих занятиях мы часто обсуждали темы, поднятые в этом томе. Кроме того, несколько черновых глав были включены в программу лекций. Они и представить себе не могут, насколько их доклады и семинарские обсуждения помогли мне с оттачиванием моих аргументов.

Я также должен отметить положительное воздействие семинара Sociology 237, который был организован Иваном Селеньи и продолжен мною, моими коллегами Роджерсом Брубейкером, Андреасом Уиммером и Ч.К.Ли. Боб Бреннер и Перри Андерсон, как и другие выдающиеся ученые, приглашенные выступить с докладами в центре, были постоянным источником вдохновения на серии семинаров Центра социальной теории и сравнительной истории. К счастью для меня, они затрагивали большинство тем, к которым обращается эта книга, а потому помогли мне понять их лучше. Читатель отметит огромное количество работ, процитированных в моей библиографии. Ознакомление с ними было бы невозможным без крупнейшей исследовательской библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая теперь переименована в Исследовательскую библиотеку имени Чарльза Е. Янга.

Ники Харт всегда была для меня основным источником поддержки на протяжении тридцати лет, она и наши дети — Луиза, Гарет и Лаура помогли наполнить мою жизнь смыслом.

ГЛАВА 1

Вступление

ТРЕТИЙ том моей истории власти в человеческих обществах рассматривает период истории вплоть до 1945 г. Однако я не могу указать точную дату начала этого периода, поскольку имеют место две различные временные шкалы. Мой второй том, посвященный развитым индустриализирующимся странам, заканчивается 1914 г., поэтому здесь я продолжаю их национальные истории в 1914 г., хотя в случае с США и Японией я обращаюсь к чуть более раннему периоду. Я также сконцентрируюсь на глобальных империях, рассмотрение которых я исключил из второго тома. И это подразумевает куда более продолжительную временную шкалу, ведущую свое начало задолго до 1914 г. Мы также увидим, что 1914–1945 гг. не должны рассматриваться как самостоятельный период, островок хаоса в море спокойствия — кризисы этого периода были кульминацией долгосрочных структурных тенденций современной западной цивилизации.

Основной сюжет обоих периодов — это глобализации, идущие полным ходом. Отметим, что имели место несколько процессов глобализации одновременно. Как я утверждал во всех томах, человеческие общества оформляются вокруг четырех различных источников власти (идеологического, экономического, военного и политического), которые обладают определенной степенью относительной автономии (в этом суть моей модели власти, ИЭВП). Поэтому то, что обычно называют глобализацией (в единственном числе), на самом деле включает множественное расширение (растягивание, распространение) отношений идеологической, экономической, военной и политической власти по всему миру.

Вокруг этих источников выкристаллизовываются основные организации власти человеческих обществ. В этот период наиболее фундаментальными из них были капитализм, империи и национальные государства. Современная глобализация включает три основных институциональных процесса: глобализацию капитализма, глобализацию национального государства

и глобализацию множества империй, на смену которым в конечном итоге пришла всего одна — американская империя). Все три (капитализм, национальные государства и империи) взаимодействовали друг с другом и видоизменялись. В течение этого периода капитализм набрал обороты благодаря тому, что Шумпетер назвал созидательным разрушением: империи возникли и затем стали рушиться; на их место пришло множество национальных государств, которые передали массам неравномерные комплекты гражданских прав. В этот период в развитых странах массы прорывались на сцену театра власти, сконцентрированные в городах и на фабриках, призванные на службу в армию, мобилизованные массовыми партиями и идеологиями. Тем не менее эта картина резко контрастирует с колониями, где массы только начали пробуждаться.

Таким образом, хотя глобализация происходила довольно стремительно, она была географически и институционально полиморфной, то есть кристаллизовалась в различных соперничающих формах. Другими словами, границы трех сетей взаимодействия и четырех источников социальной власти не совпадали. Глобальная экспансия соперничающих империй не объединяла мир, а разделяла его на сегменты; соперничество национальных государств раскололо международную регуляцию и привело к ужасным разобщающим войнам. Европейская цивилизация возвысилась, но затем пала в результате собственной гордыни. Отсюда и заголовок «Глобальные империи и революция, 1890–1945» — множественные не в ладах друг с другом империи, которые являются ключевым предметом этого тома. После 1945 г. империи стали рушиться и большинство национальных государств перековало мечи на орала, вновь собрав мир воедино. Соответственно, том 4 будет озаглавлен «Глобализации» — все еще во множественном числе, но с тенденцией к большей интеграции мира.

Капитализм, империи и национальные государства также породили соперничающие идеологии. Капитализм породил идеологии класса и классового конфликта. Некоторые из них были революционными, но большинство пошло на компромисс для завоевания гражданских, политических и социальных прав, подразделенных на три категории Т. Ч. Маршаллом в 1940-х гг., хотя женщины в этих завоеваниях значительно отставали от мужчин, как и некоторые этнические/расовые группы. Гражданство усиливало национальные государства, капитализм становился все более глобальным и транснациональным, противоречия между национальными и транснациональными отношениями — все более интенсивными. Империи породили идеологии империализма, антиимпериализма и расизма. На-

циональные государства выработали идеологии национализма, некоторые из них стали крайне агрессивными. Конфликты между идеологиями вылились в две мировые войны, после которых отношения становились менее воинственными и большинство конфликтов разрешались мягкими переговорными, а не жесткими военными методами. Тем не менее гражданские войны вокруг того, кто именно составляет нацию, по-прежнему определяли ситуацию в некоторых частях мира. Все эти конфликты породили высокоидеологизированные глобальные движения, в этот период они были как секулярными, так и религиозными. Так что глобализация никогда не была сингулярным интегрирующим процессом; напротив, она была серией разрозненных и неравномерно направленных бросков в мир, порождая не только некоторую интеграцию, но и расколы, а также серии все более глобальных кризисов.

Мой второй том, посвященный периоду с 1760 по 1914 г., сфокусирован на том, что я называю «передовым фронтом власти», капитализме и национальных государствах, тогда существовавших в основном в Европе и Северной Америке. Здесь я продолжаю сосредоточивать внимание на передовом фронте власти, который на протяжении этого периода включал США, Западную Европу, Советский Союз, Китай и Японию. Некоторые из глав посвящены определенной стране или религии; другие носят более компаративистский характер. Они соединяют воедино исторический нарратив, теоретические понятия и объяснения. Я возвращаю империи в свое повествование, поскольку они были основным механизмом, благодаря которому власть Запада (к ней позднее присоединилась власть Японии и Советского Союза) распространилась глобально. Для лучшего понимания империи я начну свое эмпирическое исследование задолго до 1914 г., чтобы обсудить развитие трех империй — британской, японской и американской. Последняя из них сохранилась до наших дней — единственная подлинно глобальная империя из всех существовавших.

Создание работы по истории власти в современном мире может выглядеть абсурдно амбициозным. Общества сложны, к тому же по этому периоду существует огромный массив информации, превышающий чьи-либо возможности освоить его. Флобер заметил, что «писать историю — это как выпить целый океан, а написать всего чашку». Методы исторической социологии позволяют мне отыскать более короткий путь, определяя основные социально-структурные тренды обществ, то есть позволяют мне пить меньше, но более плотной жидкости. Результатом будет не прямолинейный исторический нарратив. Он смешивает порции повествования, которые могут быть в боль-

шей мере адресованы историкам, с порциями теории и компаративистского анализа, выступающими основным предметом интереса макросоциологии. Я пытаюсь объяснить развитие, экспансию и разнообразие фундаментальных структур власти этого периода: триумф капитализма и национального государства; возвышение и закат империй, фашизм, государственный социализм и их идеологии, а также растущие разрушительные способности военных действий и экономик. Закрыв на это глаза, возможно выстроить поступательную и восходящую эволюционную историю XX столетия — так часто и делают. Разве капитализм и национальное государство не принесли роста ожидаемой продолжительности жизни, уровня грамотности и благосостояния большей части мира, разве они по-прежнему не делают этого? Разве классовый конфликт не был успешно смягчен институтами гражданства? Разве на большей части земного шара война не уступила место миру? Наконец, разве капитализм и демократия не нанесли поражения социализму и фашизму и не продолжили свое победоносное шествие по всему миру? Некоторые настолько попадают под обаяние этого, что начинают разрабатывать номологическое (законосообразное) объяснение данного периода, предлагая законы современного эволюционного развития.

Но это невозможно по трем причинам. Во-первых, период с 1914 по 1945 г. был крайне разнородным и неоднозначным даже в развитых странах. Они дважды сражались в ужасных мировых войнах, но также иногда любили; они испытали и реформы, и революции, и одна Великая депрессия нарушила то, что в противном случае было бы периодом почти непрерывного экономического прогресса. Эти события представляют собой три великих потрясения данного периода. Во-вторых, все из прежде представленных трендов были скорее западноцентричными, поскольку остальные части земного шара не прошли через большую часть этих этапов. В-третьих, хотя Запад (West) и остальные (Rest) действительно демонстрировали структурные тенденции, прочие основные воздействия и результаты были случайными, обоюдосторонними и обратимыми. Мир не представлял собой единого целого. Капитализм, национальные государства, империи, войны, идеологии имели свои логики развития, но все они взаимодействовали друг с другом и периодически сбивались с курса другими. Долгосрочные структурные тенденции взаимодействуют со специфическими для данного периода проблемами и человеческой способностью к адаптации, порождая новые образцы человеческого поведения. Люди не являются полностью рациональными, неуклонно следующими проектам по достижению своих целей. Их креативность, эмоции, просчеты и злостью-

чения часто идут вразрез с инструментальным разумом и широкими вековыми тенденциями.

Поэтому процессы глобализации были отмечены серией неожиданных кризисов, трансформирующих мир, то есть событиями, необходимость безотлагательного решения которых была очевидна в то время, но которые одновременно не могли быть разрешены в рамках существующих институтов. Наиболее важными из кризисов, рассматриваемых в этом томе, были Первая мировая война, Великая депрессия и Вторая мировая война. Том 4 развивает эту тему, обращаясь к проблемам Взаимного гарантированного уничтожения (MAD), Великой неолиберальной рецессии 2008 г. и изменения климата. Последние три кризиса по-прежнему актуальны.

Мы убедимся, что структурные кризисы имеют множество причин и стадий, наслаивающихся одна на другую неожиданным и злополучным образом. Они случайны в силу того, что различные причинно-следственные цепи, каждую из которых по отдельности можно проследить и объяснить, сходятся вместе таким образом, который мы не можем объяснить ни через одну из них, и в такое время, которое приводит к указанным результатам. Во время этих кризисов миру приходилось нелегко. То, что мы называем крупным кризисом, на самом деле не является единичным событием, хотя и имеет кульминационный момент, поскольку объединяет серию небольших кризисов с различными причинами. Слабость социальной структуры, которая в противном случае оставалась бы латентной и относительно неважной, проявляется как непрерывный каскад и растущий кризис. Хотя этот каскад ни в коем случае не был неизбежным.

На самом деле подобные кризисы обычно выявляют в людях худшее, что в них есть: неспособность предпринять действия, которые задним числом кажутся необходимыми, чтобы избежать кризиса или разрешить его. По отдельности всех кризисов можно было избежать, но как только каскад запущен, необходимые для этого шаги становятся все более радикальными. Они напоминают нам о том, что людям свойственно ошибаться, а также о постоянной возможности регресса или изменения путей развития. Возьмем, к примеру, две мировые войны, которые были страшными ошибками, обернувшимися катастрофой для большинства участников. Тем не менее они изменили мир. Эти изменения были по большей части случайными; они ни в коей мере не были неизбежными. Я утверждаю, что без Первой мировой войны не было бы большевистской революции и значительного распространения фашизма, а без Второй мировой войны не было бы китайской революции, холодной войны, глобальной американской империи и, возможно, капитализм был бы

менее развит. Я мог бы продолжать и дальше подобные контрфактические рассуждения — тренды, которые не реализовались, но могли бы реализоваться в отсутствие более случайных основных событий. Хотя предшествовавшие века изобиловали кризисами войны и экономических потрясений, они едва ли были столь же глобальными по своим последствиям. Возможно также, что, поскольку мы рассуждаем постфактум о более ранних периодах, нам кажется, что мы видим больше общих закономерностей и меньше случайностей. Но акторам, которые были вовлечены в эти события, вероятно, так не казалось.

Эти особенности, по всей видимости, делают невозможным номологический поиск социально-научных законов и направляют нас по противоположному пути объяснения — к роли идеографического, уникального в человеческих делах. К уникальным последствиям приводят не только различные времена и места, но и макропроцессы типа войн, экономических бумов и спадов. На самом деле у войн есть структурные причины, обычно множественные, складывающиеся вместе случайным, но своевременным образом. По отдельности различные множественные причинно-следственные цепи, которые затем сходятся вместе, вполне поддаются объяснению, но затем встает проблема принятия решений обычно небольшими группами людей. Одна группа политических деятелей приняла решение вступить в войну в 1914 г., тогда как решающую роль в развязывании Второй мировой войны сыграл один человек. Ни в одном из этих случаев они не вели себя слишком рационально, и эмоции оказывали большое воздействие на их решения. Тем не менее сами решения были глубоко укоренены в сетях причинно-следственных цепей милитаризма, конфликта между империями, соперничества между различными идеологиями и экономическими системами. Поэтому первый характерный вызов для создания работы об указанном периоде заключается в оценке того, до какой степени современные отношения власти были продуктом логики развития макроструктур и до какой степени они были перенаправлены и временными стечениями обстоятельств, породивших всемирно-исторические события, и личностями, обладавшими большой властью.

Объединив эти тенденции, можно предложить модель прерывистого равновесия, социального изменения, в которой в нормальные времена капитализм, национальные государства и прочее эволюционируют или развиваются под воздействием эффекта колеи (*path-dependent ways*), медленно и в соответствии со своей собственной логикой и встроенными возможностями. Однако эти времена прерываются периодическими кризисами, которые толкают их по новому пути, — модель, сум-

мированная Штриком (Streeck 2009) как «долгосрочная стабильность — краткосрочный разрыв». Эта модель эксплицитно используется экономистами для концептуализации долгосрочного экономического развития, но она неадекватна, поскольку логики развития капитализма, национального государства и прочего отличаются друг от друга ортогонально, то есть недетерминированным образом. Они также занимают различные географические пространства и обладают различными темпоральными ритмами развития, и тем не менее они действительно взаимопроникают друг в друга. Задача теоретизирования относительно социального изменения более сложна и динамична, чем полагало большинство предшествующих теорий.

Оценка воздействия кризисов включает определенную степень контрфактических рассуждений: что было бы, если бы не было войны или другого предшествующего условия. Однако контрфактические рассуждения всегда имплицитно присутствуют в причинно-следственных аргументах. Если мы говорим, что А приводит к В, мы утверждаем одновременно, что А и затем В произошли (что является фактическим суждением), но также то, что, если бы не произошло А, не произошло бы и В (если только не присутствовала какая-то альтернативная причина). Это контрфактическое утверждение, содержащее некоторые имплицитные спекуляции более широкого плана; я собираюсь сделать контрфактическую логику более эксплицитной.

Вторым существенным вызовом выступает определение наиболее важных социальных структур и процессов этого периода. Для этого я использую свою модель четырех источников социальной власти (ИЭВП) — идеологического, экономического, военного и политического. Я настаиваю на том, что всеобъемлющее объяснение невозможно без учета всех четырех.

ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Власть — это возможность и способность заставить других делать вещи, которых они в противном случае не делали бы. Чтобы достичь наших целей (какими бы они ни были), мы вступаем в отношения власти, включающие кооперацию и конфликт с другими людьми и порождающие общества. Это усилие включает три модальности власти, которые также используются в томах 1 и 2.

- (1) Мы можем провести различие между *дистрибутивной* и *коллективной* властью, то есть властью, осуществляемой *над* другими, и властью, которая совместно обеспечивается *через* кооперацию с другими. Большинство реальных отноше-

ний власти, например между социальными классами или между государством и его гражданами, включают оба типа. Рабочие и работодатели могут конфликтовать друг с другом, но им также необходимо кооперироваться, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. Коллективная власть привлекает к себе особое внимание в XX в., который демонстрирует колоссальное увеличение человеческих возможностей по коллективному извлечению большего количества ресурсов из природы. Возросшая производительность сельского хозяйства и промышленности сделала возможным дальнейший рост населения с 1,6 млрд в 1900 г. до практически 7 млрд в 2010 г. со средним человеком, рост и вес которого возросли, а продолжительность жизни и вероятность быть грамотным увеличилась почти вдвое. Это увеличение справедливо рассматривается как одно из выдающихся достижений человечества. Тем не менее ирония состоит в том, что это возросшее извлечение ресурсов из природы также имеет печальные последствия для окружающей среды, которые даже могут стать угрозой жизни на Земле. Каким же горьким уроком нашей гордыне это может стать: наш величайший триумф становится нашим решающим поражением!

- (2) Власть может быть *авторитетной* или *диффузной*. Авторитетная власть включает команды индивидуального или коллективного актора и осознанное их исполнение подчиненными. Наилучшим образом она представлена в военных и политических организациях власти, хотя лидерство, чуть менее ярко выраженное, существует во всех организациях власти. Диффузная власть, напротив, не передается в виде прямых команд, а распространяется относительно спонтанным, неосознанным и децентрализованным образом. Люди вынуждены действовать определенным образом, но не по команде. Такая власть более типична для идеологических и экономических отношений власти и проявляется, например, в распространении идеологий типа социализма или экономических рынков. Ограничения рынков обычно воспринимаются как безличные и даже естественные и могут становиться практически неуловимыми в качестве властных процессов.
- (3) Власть может быть *экстенсивной* или *интенсивной*. Экстенсивная власть организует большое количество людей на огромных территориях. Это наиболее очевидный аспект глобализации. Интенсивная власть мобилизует высокий уровень верности участников. Величайшая власть проистекает из комбинации этих двух типов: убеждения или принуждения большого количества людей делать больше вещей совместно.

Наиболее эффективные примеры использования власти объединяют коллективную и дистрибутивную, экстенсивную и интенсивную, авторитетную и диффузную власть. Именно поэтому один источник власти, например экономической или военной, не может в одиночку детерминировать всю структуру обществ. Он должен быть смешан с другими источниками власти. В конце тома 4 я обращаюсь к фундаментальному теоретическому вопросу, может ли один источник власти рассматриваться в конечном итоге как первичный и детерминирующий по отношению к другим. Теперь я приступаю к более подробному объяснению четырех источников власти. Я повторяю: это организационные средства, при помощи которых мы можем эффективно достигать различных целей, какими бы они ни были.

(1) *Идеологическая власть* проистекает из человеческой потребности в поиске предельного смысла жизни, в разделении норм и ценностей и участии в эстетических и ритуальных практиках вместе с другими. Мы, по-видимому, не способны обойтись без религии или более секулярных «измов». Я предпочитаю понятие «идеология» более аморфному понятию «культура». Религиозные системы смысла продолжают фигурировать и в этом томе наряду с такими секулярными идеологиями, как патриархат, либерализм, социализм, фашизм, национализм, расизм и инвайронментализм. Власть идеологических движений проистекает из нашей неспособности достичь уверенности в наших знаниях о мире. Мы заполняем пробелы и неопределенности убеждениями, которые сами по себе не являются научно проверяемыми, но которые воплощают наши надежды и страхи. Никто не может доказать существование бога или жизнеспособность социалистического или исламистского будущего. Идеологии становятся особенно необходимыми во время кризисов, когда старые институционализированные идеологии и практики выглядят уже неработающими, а у предложенных альтернатив нет послужного списка. В такие времена мы наиболее восприимчивы к власти идеологов, которые предлагают нам правдоподобные, но непроверенные теории мира.

В предыдущих томах я провел различие между *трансцендентными* и *имманентными идеологиями*. Трансцендентные идеологии наиболее амбициозны. Они пробиваются интерстициально между существующими институтами, привлекая сторонников из многих различных сетей власти и создавая свои собственные сети, такие как новые религии, или фашизм, или зеленые инвайронменталистские движения, среди многих других. Имманентные идеологии усиливают эмоциональную и моральную солидарность существующих сетей власти. Некоторые

идеологии объединяют и то и другое. Расизм выходит за пределы классовых различий и в то же время объединяет белую расу, как мы увидим в главе 2. Макс Вебер (в Gerth and Mills 1946: 280) описал великие идеологии мира при помощи метафоры: идеи, создающие «образы мира», утверждал он, выступают стрелочником (регулирующим) истории, переводящим ее с одного пути на другой. Это верно для трансцендентных и имманентных идеологий.

В статье «Переосмысливая источники социальной власти: ответ критикам» сборника «Анатомия власти» (Maup 2006: 346) я выделяю третий тип, обозначающий минимальное присутствие автономной идеологической власти, — *институционализованные идеологии*. Они часто скрыты внутри институтов, которые обычно воспринимаются как само собой разумеющиеся или даже всего лишь как скрывающиеся в подсознании. По этой причине они консервативны, одобряют ценности, нормы и ритуалы, которые служат охране существующего социального порядка. Они зачастую обнаруживаются в очень стабильных обществах, таких как Запад в период с 1950-х по 1980-е гг., в то время как трансцендентные и имманентные идеологии являются ответом на социальную нестабильность и кризисы. Патриархат — прекрасный пример институционализированной идеологии, в течение долгого времени принимаемой в качестве само собой разумеющейся, остающейся прочной даже под огнем атак. Это то, что марксисты традиционно рассматривали в качестве идеологической власти, поскольку полагали, что социальное изменение объясняется материальным уровнем общества. Я так не считаю.

Могущественные идеологии представляют собой мостик между разумом, моралью и эмоциями. Они обладают смыслом для их приверженцев, но также требуют слепой веры и эмоциональной верности. В них должна быть доля правдоподобия, поскольку в противном случае идеология не распространится, но понимание того, что это имеет смысл, трогает нас морально и эмоционально в той же степени, в какой трогает и научно. Как утверждает Джек Снайдер (Snayder 2005), это имеет важное последствие, согласно которому группы, проникнутые идеологическим запалом, более сильны, чем те, у кого этот запал отсутствует. Основными маркерами наличия идеологии выступают претензии на тотальное объяснение общества и лучшего (часто утопического) будущего, а также наделение людей и их практик качествами добра и зла. Это сочетание делает возможным и жертвенность, и насилие. Первыми двумя типами идеологической власти обычно овладевают авангардные движения, концентрирующиеся на молодом поколении, с харизматическими

лидерами и решительными, страстными активистами. Я должен признаться в определенной степени предвзятости против наиболее могущественных идеологий, предпочитая более прагматичные и компромиссные решения социальных проблем.

Следует ли рассматривать науку в качестве основной идеологии современной цивилизации? Шрёдер (Schroeder 2007, 2011) полагает, что нет, но он утверждает, что в отличие от всех предшествующих цивилизаций движимая технологиями наука, быстро совершающая открытия, теперь доминирует над всеми идеологиями. Наука, справедливо отмечает он, это не вопрос веры, речь идет о точном знании, чьи открытия могут быть воспроизведены и усовершенствованы через стандартизированные технологии исследования. Наука, утверждает Эрнест Геллнер, весьма отличается от всех прежних форм философии природы, поскольку она действительно способна трансформировать материальный мир и великолепно с этим справляется путем серии трансформаций социального и природного мира, чрезвычайно увеличивая коллективную власть человеческих существ во благо или во зло. В этом томе я особенно подробно буду рассматривать трансформации, вызванные второй промышленной революцией. К тому же наука также отличается от настоящих идеологий в своем стремлении к исключению эмоций. Кроме того, она всегда может подвергнуться холодному научному опровержению в отличие от идеологий. Сами ученые обычно уверены в этом и потому в отличие от шарлатанов редко стремятся к управлению нашим послушанием. Шрёдер признает, что относительная автономия науки также населяет скорее утонченную профессиональную элиту и исследовательские институты с практически отсутствующей способностью к мобилизации общественных движений. Однако следствие этого состоит в том, что современные наука и технология создают великие технологии власти, но обычно на службе у других. Например, в своей выдающейся работе над ядерной энергией наука подчинялась тем, кто обладает экономической, политической и военной властью. Именно поэтому я не могу по-настоящему принять представления Шрёдера о том, что наука выступает третьей основной *автономной* структурой современных обществ наряду с двумя другими, выделяемыми им, — рыночным капитализмом и государством. Наука действительно является отличной, аномальной среди прочих форм знания. Она создает возможности для увеличения коллективной власти человеческих групп, но сама обладает очень малой дистрибутивной властью, поскольку состоит на службе у тех, кто обладает прочими источниками социальной власти. Это усложняет мою модель власти, но, в свою очередь, общества всегда еще сложнее наших теорий.

Идеологии (и наука) обладают очень диффузной и экстенсивной географической логикой: они не ограничены военными или экономическими сетями взаимодействия, поскольку могут распространяться повсюду, где люди общаются друг с другом. Это приводит к *революционным*, или *эмансипационным*, качествам идеологии, ощущению высвобождения из локальных структур власти, более повседневной свободы мысли. Однако диффузность идеологии также придает ей открытость, поскольку идеи и ценности из одной местной традиции или исторической цивилизации смешиваются со своими аналогами из других. В исторической перспективе для идеологий также характерна динамика, которая весьма схожа с прерывистым равновесием. Существующие структуры власти создают свои собственные идеологии, которые постепенно институционализируются в качестве рутины в жизни и верованиях их приверженцев, хотя постоянно присутствуют диссидентствующие субкультуры. Когда эта идеология представляется более неспособной объяснять то, что происходит в социальной среде, период идеологического брожения может создать новую и могущественную идеологию, приверженцы которой затем изменят (или попытаются изменить) общество фундаментальным образом. Но большинство людей не могут интенсивно жить на идеологическом уровне в течение достаточно долгого промежутка времени, и тогда эта идеология превращается в то же самое, что и предшествующая ей, — в институционализированное оправдание повседневной жизни и скорее прагматичного поведения социальных акторов.

(2) *Экономическая власть* проистекает из человеческой потребности в добыче, трансформации, распределении и потреблении продуктов природы. Экономические отношения могущественны, поскольку они объединяют интенсивную мобилизацию труда с очень экстенсивной циркуляцией капитала, торговли и производственных цепей, представляя собой комбинацию интенсивной и экстенсивной, а также авторитетной и диффузной власти. Первый тип из каждой пары типов власти сосредоточен на производстве, второй — на рынке. Экономические отношения власти наиболее рутинно проникают в жизнь большинства людей: многие из нас работают в течение примерно трети каждого дня. В отличие от военной власти экономика редко приносит стремительные или драматические социальные изменения. Они скорее медленные, кумулятивные и в конечном итоге глубокие.

Основной организацией экономической власти в Новое время стал промышленный капитализм, глобальное развитие которого является основной темой этого тома. *Индустриализацией*

называют рост разделения труда и развитие промышленных инструментов и технологии. Капитализм обладает тремя отличительными особенностями: (1) он наделяет частной собственностью на большую часть экономических ресурсов лишь немногих; (2) подавляющая часть рабочих лишена собственности и распоряжается только своими трудовыми навыками, но формально свободна продавать свой труд на открытом рынке; (3) капитализм рассматривает все средства производства, включая труд, в качестве рыночных товаров, а это означает, что все четыре основные рыночные формы — капитал, труд, производство и потребление — обмениваются друг на друга на рынке. Капитализм был наиболее устойчивой динамичной организацией власти в последнее время, ответственной за большую часть технологической инновации и большую часть экологической деградации. Его «производительные силы», используя терминологию Маркса, необыкновенно развились в рамках этого периода. В широком смысле возможно обозначить различные стадии развития капитализма. Этот период начался с промышленного капитализма, который затем, в начале XX в., развился в *корпоративный*, или *организованный*, капитализм, объединивший высокую производительность с растущим, но по-прежнему весьма низким потребительским спросом, к тому же он был существенно ограниченным в рамках национально-государственных «клеток». Затем в ходе Второй мировой войны он стал более кейнсианским, объединив высокую производительность с массовым потребительским спросом, хотя все еще продолжал функционировать преимущественно в рамках национальных клеток и лишь после войны смог полностью развернуться (как мы убедимся в томе 4).

Именно это Шумпетер (Schumpeter 1957) назвал своим знаменитым созидательным разрушением, при котором рост происходит путем разрушения старых отраслей промышленности, организационных форм и создания новых. Но временной ритм этого не был таким уж внезапным, как это может ошибочно показаться. То, что мы считаем экономическим изобретением, это редко внезапный прорыв, а чаще кумулятивная последовательность массы случаев частичных переработок и доработок. Географически капитализм также принес диффузный и довольно постепенный процесс экспансии рынка по всему земному шару. Его экспансия была комплексной, объединяющей национальные, межнациональные и транснациональные сети взаимодействий (эти термины будут объяснены позднее). Капитализм также объединяет интенсивную и экстенсивную власть, проникая глубоко в нашу жизнь и широко распространяясь по социальному пространству. *Товарищизация* (*коммодификация*) — это поня-

тие для обозначения постепенного распространения рыночной рациональности в сферы публичной и частной жизни. Товаризация всего существующего выступает лишь гиперболизацией реального исторического процесса, который до сих пор продолжается в рамках капитализма.

В центре капиталистических «производственных отношений» (опять термин Маркса) находятся социальные *классы*, группы с общим отношением к ресурсам экономической власти. Классы играют очень важную роль во всех человеческих обществах, включая наши собственные. Социологи приложили массу усилий, пытаясь точно определить, какие роды деятельности и виды домохозяйств характерны для того или иного класса. Это неуместная изобретательность, поскольку профессии чрезвычайно различаются и многие люди обладают, как это обозначил Райт (Wright 1985), «противоречивыми классовыми позициями», например, многие обладают прекрасными навыками, но у них нет капитала и лишь немного власти в экономических организациях; другие обладают высокой организационной властью, но не капиталом. Поэтому я буду определять классы в широких общепринятых категориях. Таким образом, естественно, что классы обладают очень расплывчатыми границами. Чтобы стать реальными социальными акторами, им необходимы два свойства, обозначенные Марксом: быть классом «в себе», что определяется в терминах объективных отношений к средствам производства, но также быть классом «для себя», обладающим определенной степенью коллективной организации. С определением его капиталистического класса, обладающего основными средствами производства и обычно демонстрирующего явную общую волю и эффективную организацию для защиты своих привилегий, нет никаких проблем, хотя низшие слои собственников сливаются с тем, что Маркс называет мелкой буржуазией. Верхние слои этого класса сливаются со strатами хорошо оплачиваемых, но обычно не обладающих капиталом менеджеров и профессионалов. Крестьянство относительно не проблематично, чего нельзя сказать о рабочем классе. В той степени, в какой он существует, он требует не только твердого ядра подчиненных рабочих, в прошлом работников физического труда («синих воротничков»), но и существования рабочего движения, отстаивающего их интересы. Наиболее сильным рабочим движениям удастся также привлечь на свою сторону крестьян и нижние слои «белых воротничков». Что касается среднего класса, то здесь все еще менее очевидно: «люди среднего достатка» обладали очень различающимися политическими позициями и организациями (как я продемонстрировал это на примере XIX в. в главе 17 тома 2). Как и в повседневном ис-

пользовании для обозначения средних классов я предпочитаю множественное число, когда хочу подчеркнуть их разнообразие.

Роль классов была неравномерной. Классовый конфликт между рабочими и их работодателями, а также между крестьянами и их землевладельцами очень часто фигурирует в рамках периода, который охватывает этот том. Иногда он включает революции, хотя куда чаще — капиталистические реформы. Затем, как мы увидим в томе 4, за последние десятилетия на глобальном Севере организации рабочего класса и давление снизу ослабли, поэтому отныне капитализм получает все меньше вызовов снизу. Там капитализм стал отличаться намного более асимметричной классовой структурой, в рамках которой капиталисты обладают куда большей властью, чем рабочие. Однако на глобальном Юге рабочие и крестьяне недавно мобилизовались и в будущем, вероятно, вырастут в более могущественную коллективную организацию.

Классы обычно включают в себя различные фракции. Я буду выделять финансовый капитал как отдельную фракцию капиталистического класса. Рабочий и средние классы более регулярно подвержены разделению на секции и сегменты. *Секционные* коллективы появляются, когда высококвалифицированные отрасли или рабочие организуются, но исключительно для защиты своих узких интересов, а не интересов класса в целом. Многие профсоюзы и профессиональные ассоциации организованы на такой базе. Классы и секционные акторы организуются *горизонтально*, на присущем им уровне стратификации, иерархически отделенном от других. Поэтому капиталисты стоят над рабочими, высококвалифицированные рабочие — над неквалифицированными, врачи — над медсестрами, которые, в свою очередь, стоят над больничными уборщиками. А вот *сегменты* организованы *вертикально*, обычно объединяя в промышленности всех работников фирмы. Работодатели, нуждающиеся в опытных работниках с особыми навыками, могут предложить им «золотые цепи» пенсий или медицинского страхования, чтобы удержать их. Это отделяет их от других рабочих того же класса или секции где бы то ни было. Подобным образом нации отделяют друг от друга рабочих из разных стран. С приходом глобализации и национального гражданства национальная идентичность разделяет и ослабляет потенциал классового действия. Капиталистический класс часто обладает двумя идентичностями — транснациональной и национальной. Напротив, американские и мексиканские рабочие могли бы в принципе рассматриваться как часть транснационального рабочего класса, но американские рабочие обладают высокими привилегиями в силу своей национальности и рассматривают это как нечто

намного более важное для них, чем любая классовая солидарность с мексиканцами. Действительно, во многих отношениях американцы «стоят над» мексиканцами, эксплуатируя их в квазиклассовых отношениях (хотя профсоюзы будут отрицать это). Классы, секции и сегменты пересекаются и ослабляют друг друга. Чем сильнее секции и сегменты, тем слабее классовые идентичности, и наоборот.

(3) *Военная власть*. Со времен выхода моих первых томов я сделал определение военной власти более строгим: социальная организация концентрированного и смертоносного насилия. «Концентрированное» означает мобилизованное и сфокусированное; «смертоносное» — значит направленное на физическое уничтожение. Вебстеровский словарь определяет насилие как «использование физической силы с целью нанесения ущерба или ранения» либо «интенсивное, бурное или яростное и часто деструктивное действие или сила». Именно эти смыслы я хочу вложить в определение: военная власть — сфокусированная, физическая, яростная и прежде всего смертоносная сила. Она убивает. Те, кто обладает военной силой, как бы говорят: «Сопротивление означает смерть». Поскольку смертоносная угроза ужасна, военная власть вызывает характерные психологические эмоции и физиологические симптомы страха, если мы сталкиваемся с возможностью боли, искалечения или смерти.

Военная власть наиболее смертоносна в руках вооруженных сил государства в войне между государствами, и это особенно справедливо для исследуемого периода. Между ней и политической властью существует наиболее очевидное пересечение, хотя военные всегда остаются отдельно организованными, часто как отдельная каста в обществе. Деспотичные политические правители опасаются автономии военных, поскольку они несут с собой угрозу военных переворотов. Когда они не доверяют военным, они обычно создают военную полицию и батальоны охраны в качестве своей личной преторианской гвардии, обеспечивающей военную защиту против диссидентов и армии, — гвардия, таким образом, смешивает военную и политическую власть. Так поступали Сталин и Гитлер, которые также проводили чистки офицерских корпусов. Организованное смертоносное насилие также исходит от негосударственных акторов, таких как повстанцы, военизированные формирования и банды. В этом томе отмечается, что военизированные формирования существуют как у левых, так и у правых революционных движений. Несомненно то, что после Второй мировой войны большинство войн по всему миру были войнами не между государствами, а гражданскими войнами, и они принесли боль-

шинство смертей — военной властью обладают не только большие воинские формирования.

Военная власть менее ограничена правилами, чем прочие источники власти. Правила войны всегда неустойчивы, как мы недавно убедились на примерах терактов 9/11, войн в Афганистане, Ираке и Гуантанаме. Внутри себя отношения военной власти объединяют очевидные противоположности деспотической иерархии и коллективного товарищества, интенсивной физической дисциплины и чести мундира. Это сочетание означает, что солдаты не ответят бегством, то есть действием, инструментально рациональным при столкновении с чем-то ужасным. Военная власть, распространяющаяся на посторонних, определяемых как врагов, — самая деспотичная из всех, какие только можно себе представить. Но милитаризм пронизывает также и другие организации. Например, милитаризм сделал крупные фашистские движения сильнее их социалистических соперников.

Военная власть более непостоянна во времени в человеческих обществах. Она может воплотиться в форму стабильных военных режимов или же в противном случае являться в виде внезапных взрывных вспышек, ужасных и разрушительных — очень редко конструктивных. Тем не менее она любопытным образом оставалась практически незаметной для большинства обществоведов. Необходимой (пусть и прискорбной) задачей моих исследований было восстановление ее центральной роли в человеческих обществах. В настоящем томе я утверждаю, что европейская история в течение многих веков обычно была милитаристской и что именно этот милитаризм сделал возможным завоевание глобальных империй и распространился, как эпидемия, на Японию и США. Процессы развития в XX и XXI вв. многим обязаны отношениям военной власти.

(4) *Политическая власть* — это централизованная и территориальная регуляция социальной жизни. Основной функцией правительства является обеспечение порядка в этой сфере. Здесь я отклоняюсь не только от позиции Макса Вебера, который находил политическую власть (или «партию») в любой организации, а не только в государствах, но и от политологического понятия «управление», осуществляемое различными сущностями, включая корпорации, негосударственные организации (НГО) и общественные движения. Я предпочитаю использовать понятие «политическое» для государства, включая правительства местного, регионального и национального уровней. Государства, а не НГО или корпорации обладают централизованной территориальной формой, которая делает их правила авторитетны-

ми для людей, населяющих его территории. Я могу отказаться от членства в НГО или корпорации и тем самым пренебречь их правилами. Но я должен подчиняться правилам государства, на территории которого проживаю, иначе придется понести наказание. Сети политической власти интенсивно, рутинно регулируются и координируются централизованным и территориальным образом, поэтому политическая власть значительно более географически ограничена, чем прочие три источника. Государства обычно охватывают менее крупные, но внутренне более сплоченные территории, чем идеологии, экономики или военная ударная мощь.

Можно провести различие между *деспотической* и *инфраструктурной* властью государства, хотя это различие может быть проведено применительно к любой организации власти. Деспотическая власть — это способность государственных элит выносить произвольные решения, не консультируясь с представителями основных групп гражданского общества. Инфраструктурная власть — это способность государства (неважно — деспотического и демократического) к реальному проникновению в общество и логистическому осуществлению политических решений на всей территории государства. Я предложил это различие в статье «Автономия государственной власти: ее истоки, механизмы и результаты» (Манн 1988) и внес небольшие корректировки в статью «Вновь обращаясь к инфраструктурной власти» (Манн 2008), хотя в этом томе я попытаюсь внести еще некоторые уточнения, особенно по отношению к коммунистическому и фашистскому режимам. Инфраструктурная власть позволяет государствам распространять свою власть или проникать в их общества («власть через»); деспотическая власть осуществляется государством, которое обладает определенной степенью авторитетной «власти над» обществом. Поэтому государства могут быть сильными двумя довольно различными способами. Они могут распоряжаться всем, что им угодно из того, что есть у их граждан (деспотичная власть), или же они могут на самом деле принимать решения, исполняемые на их территориях (инфраструктурная власть). Не следует путать эти два типа между собой. Очевидно, что демократические и деспотичные режимы обладают весьма различными комбинациями этих сил, как мы сможем убедиться в последующих главах.

Государственное наказание носит более бюрократический, чем насильственный характер. Правовые ритуалы и рутинные процедуры снижают до минимума государственное насилие. Регуляция, осуществляемая из центра через территории, а не через легитимацию (идеология) или насилие (военная власть),

выступает ключевой функцией государства. Его органы занимаются разработкой законов и ритуализированными политическими дебатами в судах, законодательных органах и министерствах. Верно, что за законом и координацией кроется физическая сила, но она лишь изредка мобилизуется в смертоносное действие. Политическое принуждение проявляет себя ритуализированным, механическим, подчиняющимся законам и ненасильственным ограничением. Закон назначает наказание в соответствии с согласованной подвижной шкалой. Если нас признают виновными в незначительных правонарушениях, мы получим условное наказание или отделаемся штрафом. За более серьезные правонарушения предполагается более суровое наказание: мы будем принудительно лишены свободы в тюрьме. Но, пока мы не сопротивляемся, тюремное заключение остается ритуализированным и ненасильственным: нас поднимут со скамьи подсудимых, наденут наручники и поместят в камеру.

Наиболее насильственные государства из тех, что рассматриваются в этом томе, разумеется, стирали различие между политической и военной властью. Нацисты и сталинисты уничтожали огромные массы населения, единственным преступлением которого было предполагаемое обладание идентичностью врага, еврея или кулака. Правовые формы были фальшивкой. Но они были склонны полагаться не на вооруженные силы, а на крупные формирования специально созданных вооруженных служб безопасности. Однако все источники власти иногда перемешиваются друг с другом. Экономическая и политическая власти были смешаны в Советском Союзе, поскольку государство — единственный собственник средств производства. Сегодня в некоторых государствах чиновники контролируют большую часть экономики, управляя ею в соответствии с принципами коррумпированного капитализма, но эти случаи не аннулируют различие между политической и экономической властями. То же касается крайне насильственных государств — они не опровергают полезность различия политической и военной власти.

В исследуемый в этом томе период большинство лидирующих государств начинали как двойственные: они становились национальными государствами внутри страны, но имели империи за границей. Затем все империи, за исключением американской, разрушились, а *национальное государство*, управляющее географически определенными и ограниченными территориями от имени народа, стало глобализироваться в качестве доминирующего политического идеала (хотя необязательно в качестве реальности) по всему миру. На протяжении XIX и XX вв. национальные государства стали более экстенсивными по всему миру и более интенсивными в отношении своих граждан, за-

пирая их права в «клетку» своих границ и законов. Чувство национализма росло. Как мы увидим, агрессивный национализм был важен, но возникал только периодически, по большей части в качестве последствия, нежели причины войны, за исключением нацистской Германии и милитаристской Японии. Тем не менее национализм действительно обладал существенным эмоциональным компонентом и усиливался через ритуалы — настоящая идеология, изначально трансцендентная, а затем имманентная. В процессе роста национального государства подданные превратились в граждан, пользующихся равными гражданскими, политическими и социальными правами. Фукуяма утверждает, что хорошая власть обеспечивает три вещи: общественный порядок, верховенство права и подотчетное правительство (Fukuyama 2011). Большинство современных правительств обеспечили общественный порядок, а к XX в. западные государства обеспечили и верховенство права, хотя зачастую предвзятого по отношению к тем или иным расам или классам, плюс подотчетность через выборы (перед некоторыми или большинством мужчин). Затем гражданские и политические права были распространены на всех по мере распространения либеральной демократии на развитые страны, но добавление многочисленных социальных прав также способствовало распространению социального либерализма или демократии. Распространение подобных прав и демократии по всему остальному миру далее шло несколько неравномерно.

В главе 3 тома 2 я проанализировал различные теории государства модерна и пришел к заключению, что теории классов, элит и плюралистские теории слишком просты, чтобы кратко, но при этом исчерпывающе ответить на вопрос, чем реально занимаются государства. Я утверждаю, что современное государство является *полиморфным*, кристаллизующимся различным образом в соответствии с различными политическими проблемами и различными интересами основных представительных групп, лоббирующих эти проблемы. Практически все современные государства в вопросах политической экономии были по своей сущности капиталистическими. Представители структуралистского марксизма и неоклассической экономической теории убеждены, что это накладывает ограничения на возможности государств. Блок опустил это скорее абстрактное понятие до уровня социальных акторов, отметив, что передним краем этого ограничения является *деловое доверие* — опасения государства того, что бизнес будет инвестировать в национальную экономику, только если он уверен в общем политическом/экономическом климате, обеспечиваемом государством. Если подобного доверия нет, то капитал будет инвестироваться за границу или инве-

стиций не будет вообще, что в любом случае нанесет экономический ущерб и снизит легитимность правительства. Тем не менее он отмечает, что правительство и бизнес могут испытывать низовое давление, подталкивающее их к реформам (Block 1987: 59). В этой книге я буду подчеркивать реальное разнообразие этих предполагаемых ограничений и влияние не только со стороны классовой и другой политической борьбы, но и со стороны государственного долга, особенно в случае доверия инвесторов, так как пределы этого доверия могут нанести реальный вред общим интересам капитализма.

Политика эпохи модерна, разумеется, кристаллизуется вокруг капитализма, классовой борьбы и их компромиссов. Но государства модерна также кристаллизуются вокруг оппозиции военных и относительно мирных стратегий, а они, в свою очередь, также налагают ограничения: с одной стороны — поражение или излишние тяготы войны, с другой — ощущение национального унижения, вызванное тем, что режим пасует перед агрессией других. Кроме того, правительства, потерявшие легитимность, ставят под угрозу жизнеспособность режима. Многие государства также кристаллизуются вокруг оппозиций религиозного против секулярного, централизованного против децентрализованного и так далее, каждая с отличительными группами поддержки и со своими приблизительными ограничениями. Мы не можем свести их к капиталистической кристаллизации (хотя некоторые марксисты пытались), но они также и не диаметрально противоположны ей. Они просто различаются, и это способствует их политической сложности. Они тянут в разные стороны и зачастую приводят не к тем последствиям, на которые надеялись группы интересов.

Государства также проецируют военную и политическую власть вовне, в рамках того, что мы называем *геополитикой*. *Жесткая геополитика* включает в себя войну, военные альянсы и устрашение, направленное на то, чтобы избежать войны. *Мягкая геополитика* — межгосударственные соглашения относительно таких вопросов, как право, экономика, здравоохранение, образование, окружающая среда и т. п. Особенно после 1945 г. мягкая геополитика включает в себя множество межправительственных организаций (МПО), которые определяют конкретные условия международных соглашений, контролируют их исполнение и наказывают нарушителей денежными штрафами. Это политизирует пространство международных отношений, подчиняя его рутинизированному политическому регулированию. Напротив, жесткая геополитика милитаризует его. Многие теоретики глобализации полагают, что она подрывает национальные государства, но они в основном ошибаются: гло-

бализация принимает и транснациональные, и международные формы, последние структурируются геополитикой государств и империй. Национальные государства усилили свои запирания населения в «клетку», превратив подданных в граждан с множеством прав внутри государства и минимумом прав за пределами государственных границ. Национализм был идеологией, созданной этим запиранием.

Указанные четыре источника власти обладают определенной степенью автономии, особенно в современных обществах. Экономические результаты в большинстве своем являются следствием экономических причин, идеологические вырастают из предшествующих идеологий и т.д. — это автономия, на которой настаивает Шрёдер (Schroeder 2011). В конце концов, по моему мнению, четыре источника представляют собой *идеальные типы*, в реальности они редко существуют в чистом виде — они проявляются в неоднородных смесях. Все четыре необходимы для существования социального и друг друга. Любая экономическая организация, например, требует, чтобы некоторые ее члены разделяли общие идеологические ценности и нормы. Она также нуждается в военной защите и государственной регуляции. Таким образом, идеологические, военные и политические организации помогают структурировать экономические, и наоборот. Ресурсы власти создают частично пересекающиеся, накладывающиеся друг на друга сети отношений с различными социально-пространственными границами и темпоральной динамикой — их взаимодействия создают непредвиденные, эмерджентные последствия для акторов власти. Общества не состоят из автономных уровней или подсистем данной социально-пространственной сети взаимодействия. Каждое обладает различными границами и развивается в соответствии со своей центральной внутренней логикой. Но в основных переходах взаимосвязи и сами идентичности таких организаций, как экономики или государства, подвержены метаморфозам. Поэтому моя модель ИЭВП — это не социальная система, скорее она представляет собой аналитическую точку отсчета для работы с проблемами запутанных реальных обществ. Четыре указанных источника власти предлагают различные организационные сети и средства для людей, преследующих свои цели. Выбор средств и их конкретная комбинация зависят от взаимодействия между исторически данной и институционализированной конфигурацией власти и теми, которые возникнут интерстициально внутри и в зазорах между ними. Это основной механизм социального изменения человеческих обществ, предотвращающий бесконечное цепляние за власть какой-либо одной властвующей элиты. Институционализированным от-

ношениям власти постоянно преподносят интерстициальные сюрпризы вновь возникающих конфигураций власти. Источники социальной власти и организации, воплощающие их, *неупорядоченны*, они то и дело переплетаются друг с другом в комплексные хитросплетения между институционализированными и вновь возникающими интерстициальными силами. Я не готов изначально указать на приоритет одной из них в качестве первопричины, детерминирующей социальное изменение, хотя в конце тома 4 я сделаю некоторые выводы по вопросу о первопричинности.

ГЛАВА 2

Глобализация, раздробленная империями: Британская империя

ВСТУПЛЕНИЕ: ТИПЫ ИМПЕРИЙ

ИМПЕРИИ были едва ли не основной формой правления на протяжении большей части истории, поскольку социальные группы могли достичь многих из своих целей путем экспансии, опирающейся на военную силу. В некотором смысле в дальнейшем объяснении империи и не нуждаются. Они помогают более могущественным группам достичь желаемых целей, а потому они столь вездесущи на протяжении истории — по крайней мере до тех пор, пока война не становится слишком деструктивным средством целедостижения. Поскольку в раннее Новое время властные возможности европейцев заметно возросли, они, естественно, намеревались захватить весь мир, так как были хорошо вооружены и руководствовались материальными и идеальными интересами. Империализм был ключевой характеристикой эпохи модерна.

Современный английский термин «империя» происходит от латинского *imperium* — «власть, находящаяся в руках высшего командования армии и магистратов, вооруженных законом», то есть объединенная политическая и военная власть. Современное использование этого термина добавляет географический элемент — власть над периферийными регионами со стороны ядра. Я определяю империю как централизованную, иерархическую систему правления, устанавливаемую и поддерживаемую принуждением, благодаря которому территории ядра господствуют над территориями периферии, которая служит посредником основных взаимодействий, а также перенаправляет ресурсы из и между перифериями.

Следовательно, необходимо отметить, что империи смешивают политическую и военную власть в метрополии. Изначально империи вырастают на основе военной власти, которая применяется или применением которой грозитя ядро, и затем принуждение периодически возобновляется, если периферия оказывает сопротивление. Империи часто заявляют, что

они являются благодетелями, самоотверженно несущими добро миру. Они действительно могут приносить выгоду тем, кем правят, но это лишь побочный продукт. Если вы хотите кому-то помочь, вы не врываетесь с оружием в его дом, не убиваете молодых мужчин, не насилуете молодых женщин, а затем не устанавливаете авторитарный политический режим, выгоды от которого могут последовать лишь постфактум. Исходной точкой империи выступает захват земли, имущества, тел и душ других именно потому, что кто-то обладает необходимой для этого военной властью. Следовательно, приобретение империи по сути есть выражение военной авторитетной власти. Это результат приказа. Предпосылки империи более разнообразны: после завоевания империя может управлять, получая в свое распоряжение прочие источники власти (политический, экономический и идеологический), и действительно за этим могут последовать преимущества. Современным империям свойствен экономический империализм, поскольку капитализм более эффективен в деле интеграции экономик ядра и периферии, чем предшествующие способы производства. Поэтому сегодня правдоподобным аргументом выглядит то, что современный капитализм по большей части заменил военную экспансию в качестве пути извлечения прибыли и глобальной интеграции. К этому я еще вернусь в последующих главах, а также в томе 4.

Поскольку империи различаются, я выделяю несколько основных типов.

- (1) *Прямые империи* возникали там, где покоренные территории инкорпорировались в сферу ядра, как это было в Римской империи и китайских империях в периоды их расцвета. Правитель ядра также становился правителем периферии. После военного покорения устанавливалась преимущественно политическая власть, первоначально деспотическая. После институционализации авторитетная власть распространялась из центра на периферию, затем следовали более диффузные экономическая и идеологическая власти. Наконец, империя могла показать жест ухода, когда покоренные народы сами приобретали римскую или ханскую (Китайская империя) идентичность и политическая власть становилась менее деспотической и более инфраструктурной. Власть могла таким образом успешно менять свою форму от военной к политической, экономической и идеологической — естественная последовательность для большинства успешных империй. Большинство исторически существовавших империй распространялись на территории своих соседей — Российская империя была

последней из них. Однако большинство современных империй распространяются за моря, а потому их гораздо тяжелее интегрировать. Более того, расизм не позволил заморским империям показать жест ухода, поскольку он препятствовал самоидентификации завоеванных народов с Британией, Японией или Америкой. В Новое время без большого числа поселенцев прямое правление становится трудно осуществимым и слишком дорогим. Поэтому современные империи обратились к более офшорным типам империализма.

- (2) *Косвенная империя* — это провозглашение политического верховенства имперского центра, но такое, которое оставляет правителям периферии небольшую автономию и на практике позволяет договариваться о правилах игры с имперскими властями. Там не прекращается военное запугивание, хотя оно редко завершается повторным завоеванием. Кроме того, имперское государство управляет чуть мягче, обладая меньшей деспотической и инфраструктурной властью. Лорд Кромер говорил от имени Британии: «Мы не управляем Египтом, мы лишь управляем правителями Египта» (Al-Sayyid 1968: 68). Американцы предприняли то же самое на Филиппинах в 1898 г., но ожесточенное сопротивление вынудило их пойти на частичные уступки. Впоследствии Соединенные Штаты не пытались установить косвенную империю, разве что временно вмешивались в связи с преходящими обстоятельствами. В косвенных империях местные жители составляли большую часть армии и администрации, а также доминировали в провинциальных и местных правительствах. Британцы сохраняли определенную центральную политическую власть и военную монополию, а потому могли подавлять восстания коренных жителей, но ежедневное управление требовало сотрудничества с местными элитами и определенного уважения к их экономике, политике и культуре.

Первые два типа империй в отличие от прочих подразумевали территориально ограниченные оккупированные территории — *колонии*.

- (3) *Неформальные империи* возникают там, где периферийные правители сохраняют всю формальную полноту власти, но их автономия существенным образом ограничена устрашением из имперского центра, которое объединяет в различной степени военную и экономическую власть. Это форма стала доминирующей в современных империях,

поскольку капитализм может добавить существенное экономическое принуждение. Р. Робинсон (Robinson 1984: 48) объяснил это на особом примере Британской империи:

Принуждение или дипломатия используются для навязывания условий свободной торговли более слабому обществу против его воли: внешние займы, дипломатическая и военная поддержка слабым государствам в обмен на экономические уступки или политический союз; прямое вмешательство или влияние экспортно-импортного сектора на внутреннюю политику слабых государств во имя внешней торговли и стратегических интересов и, наконец, примеры, когда иностранные банкиры и торговцы захватывают сектора национальной экономики слабого государства.

Поскольку понятие «неформальная империя» часто употребляется расплывчато в отношении характера принуждения, я выделил три подтипа, включающие различные формы принуждения.

- (3a) *Неформальная империя канонерок* возникает там, где военная власть используется в ходе коротких внезапных интервенций. Канонерская лодка и ее эквиваленты не могут завоевать страну, но они могут причинить ущерб артиллерийским обстрелом (и с недавних времен бомбежкой) портов и затем высадить десант для коротких операций. Европейские империи, Япония и США причиняли подобный ущерб Китаю в конце XIX — начале XX в. Подписанные в результате неравные договоры между ними и Китаем постоянно проводились в жизнь через политический контроль над китайскими таможенными поступлениями и бюджетом, в случае необходимости подкрепляемый военными интервенциями. Американская «долларовая дипломатия» начала XX в. была еще одним примером прямого военного запугивания, но без колоний. Эти военные и политические интервенции предполагают авторитетную, отдающую команды власть.
- (3b) *Неформальные империи через ставленников* использовали местных ставленников для осуществления принуждения. В 1930-х гг. США перешли к тому, чтобы отдавать принуждение на откуп местным деспотам, которые поддерживали американскую внешнюю политику, предоставляя им в обмен экономические и военные ресурсы. Затем в период после Второй мировой войны США добавили к этому тайные военные операции в поддержку их местных клиентов, проводимые в основном недавно сформированным Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) — это

опосредованное военное устрашение, при котором авторитетная власть напрямую не управляется из ядра.

(3с) *Экономический империализм* заменяет военное принуждение экономическим. Во второй половине XIX в. Британия обнаружила, что логистика отправки канонерок по всему миру слишком обременительна, и обратилась к чисто экономическому принуждению. Например, в Аргентине Британия использовала свое доминирование в импорте, экспорте и инвестициях, чтобы принудить к свободной торговле и строгим выплатам государственного долга. Позднее эту стратегию переняли и Соединенные Штаты, вмешивающиеся в периферийные экономики через международные банковские организации, возглавляемые ими. В рамках подобного «структурного регулирования» периферийная страна имеет право говорить «нет», но имеются мощные сдерживающие факторы — уход иностранных инвестиций и прекращение международной торговли. Поскольку здесь мало военного принуждения или даже авторитетной власти любого рода, в соответствии с моим определением это, строго говоря, не империализм, тем не менее понятие «экономический империализм» используется весьма широко и я продолжу его применять.

(4) *Гегемония* используется в этой работе в грамшианском смысле рутинизированного верховенства доминирующей власти над прочими, которое рассматривается последними в качестве легитимного или по крайней мере нормального. Гегемония встроена в повседневные социальные практики периферии и потому нуждается в незначительном количестве открытого насилия. Там, где в косвенных и неформальных империях периферийные режимы вынуждены служить имперскому хозяину, при гегемонии они добровольно подчиняются правилам игры гегемонии, которые рассматриваются в качестве нормальных и естественных. Гегемония подразумевает нечто большее, чем «мягкую силу» Дж. Ная. Он определяет ее как чисто идеологическую: «способность получить то, что ты хочешь, через привлекательность, а не через насилие или деньги. Она возникает из привлекательности культуры, политических идеалов и политики страны» (Nye 2004: x). Хотя в гегемонии несомненно присутствует элемент такой «мягкой» идеологической силы, я сомневаюсь, что Британия в XIX в. или США в настоящее время могут командовать другими государствами, всего лишь предлагая привлекательные ценности и политику. Швеция и Канада, например, на это не способны. Британия и США отличаются от них тем, что их практики были

диффузно встроены в повседневную жизнь других, заставляя действовать определенным образом, чего нельзя сказать о практиках Швеции или Канады. Господство фунта стерлингов в XIX в. и господство американского доллара в настоящее время предполагают экономический сеньораж, при котором прочие страны покупают фунты и доллары по низким процентным ставкам, тем самым принося британцам и американцам соответственно большую выгоду, чем себе. Для иностранцев это обычные действия страны, имеющей торговый профицит. Это диффузная, а не авторитетная власть: никто не командует напрямую. Более слабые государства могут также расплачиваться с государством-гегемоном созданием на их территории военных баз для защиты, как поступили европейцы, пригласив к себе США.

Эти типы расположены по уменьшению уровня военной власти и возрастанию уровня политической, экономической и идеологической власти по мере движения от прямого к косвенному типу империй и через подтипы неформальной империи к гегемонии. На самом деле чистая гегемония вовсе не является империей, поскольку она не воспринимается как принуждение. Так как это идеальные типы, ни одна из реальных империй не подходит полностью ни под один из них. На самом деле империи обычно объединяют несколько из этих форм доминирования.

Как объяснить распространенность империй? Дойл (Doyle 1986: 22–26) отмечает, что такое объяснение должно объединять вместе силы, исходящие из ядра, силы, исходящие из периферии, и силы, исходящие из всей системы международных отношений. Империя действительно дает господствующим группам возможность увеличить свои выгоды, какими бы они ни были, — награбленное, постоянная прибыль, статус, обращенные души и т. п. Однако мы должны выйти за рамки метроцентричных объяснений, базирующихся на ядре, подобных теории империализма Гобсона/Ленина, тезису «джентльменского капитализма» Кейна и Хопкинса (Cain and Hopkins 1986), а также идеи исключительности, часто используемой для анализа американской империи. Одинаково ограничены периферические объяснения, сфокусированные на периферии, такие как объяснение неформальной империи Галлахера и Робинсона (Gallagher and Robinson 1953) в плане того, как нестабильность периферии создает соблазн имперской экспансии, и структурные реалистские теории, сводящие империи к системным свойствам международных отношений. На самом деле необходима смесь из всех трех.

Также необходимы имперские убеждения. Сначала приходит осознание, что некто обладает превосходящей властью над целевым регионом, причем соперничающая великая держава, преграждающая ему путь, отсутствует. Это делает возможным силовой захват. Таким образом, уверенность в успехе является предпосылкой имперской экспансии и военный успех, как правило, пусть и не всегда, — ее передовым фронтом. Историки исследуют относительный вес трех других мотивов: стремления к экономической прибыли, геополитической стратегической безопасности и идеологического чувства статуса или миссии. Экономические прибыли сулит не только рыночный обмен, но и захват экономических ресурсов при помощи военной силы. В томе 2 (1993: 33) я различаю две основные концепции экономической прибыли и интереса. Диффузная рыночная логика считает, что интересам и прибыли служит деятельность в пределах рынков; авторитарная территориальная логика рассматривает их как обеспечиваемые прямым или косвенным контролем над территорией и ее ресурсами. Последний создает больше империализма, хотя существуют также и промежуточные формы, такие как меркантилизм и неформальная империя. Подобное же различие между «логикой капитала» и «логикой территории» было недавно проведено Дэвидом Харви (Harvey 2003), хотя, будучи марксистом, он склонен преуменьшать значение последней.

Мотив стратегической безопасности обычно рассматривается империалистами как оборонительная экспансия, противостоящая угрозам со стороны других государств или империй. Чем больше империя, тем менее защищенной она себя чувствует! Г. Джеймс (James 2006: 101) убежден, что стратегическая безопасность выступает основным мотивом империй, но я бы расположил его рядом с жадной прибылью от захвата и грабежа. Идеологические мотивы выглядят не столь важными, но предстают в двух основных видах. Первый включает сильные эмоции по утверждению доминирующего статуса силой, который, судя по их монументам, сподвиг многих древних правителей, а также таких деятелей, как Наполеон или Гитлер (для него это был также статус расы). Элиты великих империй часто воспринимали пренебрежение и восстания как унижение (часто расовое унижение), требовавшее отомстить сполна (мы увидим примеры этого в британской и американской империях). Идеологическое чувство миссии ориентировано скорее на ценности, чем на эмоции. Римляне говорили, что они несут порядок и справедливость покоренным, испанцы — слово Божие, британцы — свободную торговлю и процветание, французы — *la mission civilisatrice*, американцы — демократию и свободу предпринимательства. На самом деле современные западные империи также

придерживаются мнения, что они коллективно несут цивилизацию и ценности Просвещения миру, хотя к этому часто примешивается расизм. Миссионерские заявления обычно набирали силу после того, как начиналась экспансия, поскольку они выдвигали более возвышенные мотивы, чем просто прибыль или небезопасность; они отвлекали внимание от милитаризма этого проекта, к тому же были чрезвычайно полезны в том, чтобы придать самим империалистам ощущение нравственного подъема. Однако некогда возвышенная миссия может начать жить собственной жизнью и подталкивать к дальнейшей экспансии. Эти мотивы включают военные, экономические, стратегические/геополитические и идеологические источники власти, и, разумеется, они обычно перемешаны друг с другом, хотя и в разных сочетаниях.

Таковы понятия, которые я использую в этом томе для анализа всех современных империй. Я начну с выдающейся европейской экспансии по всему земному шару и задам вопрос, почему европейцы были так успешны в приобретении империй, кому они были выгодны и почему эти империи так быстро разрушились. После общего предисловия я сфокусируюсь на Британской империи, крупнейшей из всех европейских.

ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙЦЫ БЫЛИ СТОЛЬ УСПЕШНЫМИ ИМПЕРИАЛИСТАМИ

Современные империи осуществили величайшие трансформации, когда заселялись поселенцами. В теории экологического империализма Кросби (Crosby 1993) выделяются четыре типа поселенцев. Первый — люди, величайшие хищники, нацеленные на безжалостное покорение, грабеж земель, на которых проживают коренные народы, их товаров и торговли, а часто и на их порабощение или массовое уничтожение, и заселение их земель. Второй — их домашние животные: свиньи, лошади, собаки, которые стали доминировать в животноводстве Нового Света. Эти же животные, одичав, вскоре стали доминировать и в фауне Нового Света. Третий — их сорняки. Европейские плуги часто первыми вспахивали почвы Нового Света, а вслед за этим начинали разрастаться европейские сорняки. Сеянцы сорняков, принесенных на сапогах людей и шкурах животных, вытесняли местные растения. Больше половины всех видов сорняков, которые в настоящее время находят в Америке и Австралии, ведут свое происхождение из Европы. Четвертый — европейские болезнетворные микробы, к которым у многих местных жителей не было иммунитета. Результатом этого был этноцид — мас-

совое истребление, по большей части непреднамеренное. Люди, сорняки, животные и микробы вместе составили агрессивный экологический империализм, который изменил мир.

Но для подобного рода империй была и более приятная сторона. В рамках «Колумбова обмена» яблоки, бананы, персики, груши, кофе, пшеница, морковь и репа пришли на Запад, а кукуруза, картофель, сахар, томаты, кабачки, какао, ананас и табак — на Восток в Европу (и Азию). Этот обмен принес величайшую трансформацию повседневной материальной жизни со времен изначального распространения сельского хозяйства — большую, чем дало завоевание квадратных километров, количество обращенных душ или достижение тех или иных объемов торговли. Это разнообразило питание людей и было существенным фактором в увеличении продолжительности жизни. Последнее также способствовало сельскохозяйственной революции в Англии, которая была решающей предпосылкой промышленной революции. Те, кто в качестве индикатора глобализации питания указывал на современную макдоналдизацию или на супермаркеты, где ранняя сезонная сельскохозяйственная продукция продается круглогодично, в сравнении с этим указывает на нечто тривиальное. Европейцы также изменили языки континентов, а их трансконтинентальная (между тремя континентами) атлантическая торговля (промышленными товарами, рабами, сахаром/хлопком), связавшая европейские порты с Африкой и Америкой, обеспечивала характерно капиталистическую интеграцию начиная с XVII в. и далее, чего не удалось первым иберийским имперским экономикам. Сначала проникновение в Америку извне ограничивалось прибрежными землями и судоходными реками. Затем возросшие благодаря промышленной революции возможности европейцев позволили им распространять свою империю и по суше. К 1914 г., спустя 400 лет после открытий Колумба, европейцы господствовали по всему миру.

Это была первая стадия современной глобализации, но она принесла с собой лишь очень ограниченную интеграцию. Уникальной чертой этой эпохи империализма было существование множества соперничающих империй — Испании, Португалии, Голландии, Британии, Франции, России, Германии, Бельгии, США, Японии, Италии. Каждая представляла собой особый глобальный фрагмент, передовой фронт *раздробленной глобализации*. Это также порождало расовый раскол в процессе попыток империалистов осмыслить свое очевидное силовое превосходство. Хотя капиталистические рынки, производственные цепи и идеологии изо всех сил пытались транснационально прорваться через политические границы, не существова-

ло единого глобального рынка, как очевидно, на основе того факта, что до самого конца XIX в. не было значительной конвергенции цен (O'Rourke and Williamson 2002). Каждая империя предоставляла монопольные лицензии и ценообразование своим торговым компаниям. Каждая держава торговала преимущественно внутри своей империи и сферы интересов, защищенной меркантилистскими практиками, которые были чем-то средним между рыночными и территориальными усилиями. «Капиталистическая мир-система» Валлерстайна, берущая свое начало в XVI в. и направляемая едиными принципами, была потенциальной возможностью, а не реальностью. То, что он называет «периферией» мировой системы, обладало лишь минимальными контактами с тем, что он определял как «ядро» и «полупериферию». Большая часть повседневной жизни небелых жителей колоний оставалась неизменной под действием империализма, потому что его распространение было довольно поверхностным. Большинство колонизированных народов в XIX в. видели властвующую элиту столь же редко, сколь и жители средневековой Европы. Империи были экстенсивными, но не интенсивными.

Европейцы не покорили весь мир. Самые сильные цивилизации, а также находившиеся на пределе досягаемости европейской логистики усвоили европейские практики и уцелели. Япония, Китай, Османская Турция и Персия удержали ядро своих исторических территорий. Хотя Индия была покорена, ее индуистская и мусульманская культуры оставались очень устойчивыми, как и мусульманские культуры Ближнего Востока. Только Японии удалось присоединиться к клубу империалистов.

Непосредственной причиной успеха европейцев было превосходство в военной мощи, а не высокий уровень цивилизации, научная революция или капитализм. Их военное мастерство имело долгую историю (Bayly, 2004: 62). В течение двух тысячелетий нашей эры европейцы, как представляется, проявляли больше воинственности, чем обитатели прочих континентов. Европейцы демонстрировали марсианское начало. Приблизительная статистика глобальных войн доступна с 1494 г., более подробная — с 1816 г. Европейские войны преобладали в оба периода (J. S. Levy 1983; Gleditsch 2004; Lemke 2002). Хотя эти данные могут недостаточно учитывать войны XIX в. в Латинской Америке и войны доколониального периода в Африке, сопоставление с Восточной Азией имеет более прочную основу. Этот регион знал 300-летний период мира между 1590 и 1894 гг., который прерывался лишь вторжениями варваров в Китай и пятью небольшими войнами между двумя государствами. В предше-

ствующим 200 лет Китай воевал лишь однажды — с Вьетнамом. В Японии огнестрельное оружие было запрещено в течение двух столетий начиная с 1637 г. Напротив, европейские державы были вовлечены в межгосударственные войны в течение 75% времени между 1494 и 1975 гг., и полностью без войн не проходило ни одной четверти века (J. S. Levy 1983: 97). Китайская система взимания дани с соседей помогала поддерживать мир в Азии и была в большей мере символической, чем реальной, поскольку Китай отдавал больше, чем получал. Это была гегемония, позволявшая международной торговле, которую преимущественно вели китайские бизнес-кланы, процветать по всей Азии (Arrighi 2007: 314–20; Andornino 2006).

Европейцы были невысокого мнения о военном искусстве своих врагов. В Африке и Америке они уважали лишь отвагу врагов и были уверены, что сами они гораздо лучше организованы и экипированы (как обычно и было). В Азии все было иначе, поскольку они были уверены, что имеют дело с цивилизациями, которые в упадке и не очень воинственны. Британцы с презрением описывают войну в Индии, где переговоры и подкуп определяли исход сражения. Напротив, местные жители отмечали, что европейцы с жестокостью стремились уничтожить противника. Китайский мудрец XVIII в. Чэн Тинцзо писал: «Далекая Европа! Ее народ известен своим многогранным разумом [и] чрезмерной изобретательностью. Они в совершенстве изучили такие жестокие вещи, как огнестрельное оружие». Фукудава Юкити, главный теоретик Реставрации Мэйдзи в Японии, в 1875 г. сетовал: «У нас был слишком долгий период мира без связей с внешним миром. В этот промежуток времени другие страны, стимулируемые периодическими войнами, изобрели массу новых вещей, таких как паровозы, пароходы, пушки и пистолеты и т. д.». Один африканец жаловался: «Белые люди [сражаются] грязно и, что еще хуже, насмерть» (Elvin 1996: 97; Etemad 2007: 86).

Причинно-следственная цепь европейского милитаризма уходит далеко в прошлое. Войны в Европе издавна были прибыльным делом для их участников. В X в. Европа состояла из ядра, включающего земли бывшего государства франков, и периферии, состоящей из слабых государств, племен и самоуправляемых крестьянских общин. Затем правители ядра завоевали, поработили и колонизировали народы периферии, передав землю и прочие блага рыцарям, солдатам, священникам, крестьянам, ремесленникам и торговцам, сопровождавшим первых. Во всех классах младшие сыновья и незаконнорожденные сыновья практически ничего не наследовали и были вынуждены искать себе другую дорогу в жизнь. Для них перспектива

получения земли или торговля во вновь освоенных землях, свободных от жестких статусных различий, была лакомым куском. Бартлетт (Bartlett 1994) демонстрирует, что в рамках примерно 400-летнего периода вплоть до 1350 г. н. э. более политически организованное и милитаризованное ядро поглотило периферию. Он отмечает, что корректным термином для обозначения покорения, колонизации, правления и «цивилизации» периферии ядром является *империя*. Норманнские завоевания и завоевания Тевтонского ордена в Литве особенно хорошо подходят под мое определение империи.

Для ядра война была прибыльной, к тому же оно экспортировало молодых отпрысков знатных родов, обученных военному делу, но не имевших наследства, — *juvenes and milites* (молодых солдат), которые в противном случае стали бы причиной проблем при дворе. Их можно было отправить на покорение новых земель, подобным образом сопровождавшие их торговцы могли завоевывать новые рынки, а священники — новые души. В ходе этой колониальной экспансии поселенцы часто становились независимыми, основывая собственные государства на периферии, как поступили вестготские и франкские правители в Испании и норманны на других территориях. Главный мотив экспансии был экономическим, но феодальным: знатные отпрыски мужского пола, лишённые наследства, искали себе земли и крестьян, которые стали бы для них источником ренты и принудительного труда. Жажда земли была первичным мотивом, затем уже шли торговля и спасение душ. Военная идеология, благословленная Богом и приносящая высокий социальный статус, также способствовала тому, что молодые юноши легче отправлялись на поиски приключений, которые несли с собой существенный риск смерти. Но поскольку земля переходила в собственность вместе с крестьянами, привязанными к ней, это обычно не было захватом земли у других людей.

К 1350 г. результатом первой стадии колонизации была Европа, состоявшая по большей части из мелких государств. Никто не может назвать их точное число в силу существования множества градаций суверенитета. Тилли (Tilly 1990: 45) оценивает их количество от 80 до 500. Затем последовала вторая стадия «поглощения государств», продлившаяся на несколько столетий больше, чем первая. К 1900 г. осталось лишь 25 государств, поскольку более мелкие были поглощены более крупными государствами. На востоке победителями вышли монархии Романовых, Габсбургов и Оттоманов, именами которых мы обычно обозначаем империи. На западе мелкие государства были поглощены национальными государствами, такими как Испания, Франция и Англия. Однако на самом деле они тоже

были империями, что могут подтвердить баски, провансальцы и валлийцы.

На второй стадии основной целью оставалась территория, хотя теперь через подчинение имеющихся там господ и крепостных. Этими захватчиками все чаще становились государства, а не нежестко связанные ассоциации феодалов, как раньше, хотя они и действовали совместно с ростовщиками и торговцами. Эти государства постепенно ужесточали свою власть над населением. Войны оставались прибыльными для более крупных государств, а военные идеологии как и прежде способствовали тому, что молодые люди рисковали в погоне за прибылью. Войны не были прибыльными или целесообразными для более мелких государств, но эти государства научились предупреждать поражения через брачные союзы с великими державами, которые затем мирно их поглощали. Исчезнувшие государства редко имеют своих летописцев; в европейской коллективной памяти война была славным и прибыльным делом, так что они продолжали ее вести. Большие проблемы начались, когда все мелкие государства были поглощены. Тогда они стали сражаться друг с другом, как это произошло ранее в период Сражающихся царств в Китае.

Вскоре в Европе начался третий этап империализма, на этот раз по всему миру. Романовы и Габсбурги направились на восток по суше, хотя Габсбурги представляли собой лишь «облегченную версию империи», нежестко связанную федерацию народов, которые в определенной степени искали общей защиты от более могущественных соседей. Португалия, Испания, Голландия и Англия, напротив, основали заморские империи. Причинно-следственная цепь европейского милитаризма переплелась с цепью инноваций в технологиях мореплавания, создавших возможность заокеанской экспансии. Это также произошло как раз в тот момент, когда основные неевропейские империи находились в состоянии стагнации или упадка. Поэтому экспансия могла увенчаться успехом. Ей также способствовали поселенцы, бегущие от нищеты или религиозного преследования. Представляется, что к XX в. европейцы и их поселенцы доминировали по всему земному шару, но внутренне были разделены соперничеством.

Это было довольно зависящее от своей исторической траектории развитие тысячелетие военной власти. Война была ключом к жизни и смерти европейского государства. Если государство не могло усовершенствовать свою военную власть, оно переставало существовать. Повторяющиеся сражения на континенте постепенно взрастили интенсивную форму войны, в которой небольшие армии и флоты могли обрушить интенсивную

огневую мощь на врага. Координация дисциплинированной пехоты, кавалерии и артиллерии (изначально лучники, затем пушки) на поле боя производила на врагов впечатление военной машины. Техническое усовершенствование огнестрельного оружия на суше и особенно на море проходило во все более быстром темпе, причем стоимость этого оружия постепенно снижалась. Между 1600 и 1750 гг. эффективность стрельбы солдата французской армии выросла более чем в десять раз (Lynn 1997: 457–72). Хотя огнестрельное оружие было изобретено китайцами, оно не показало себя эффективным в борьбе против мобильной кавалерии кочевников, основного врага Китая, и получило незначительное развитие. Японское огнестрельное оружие оставалось неизменным в течение долгого правления Токугавы. Европейцы, напротив, постоянно сражались и заняли ведущие позиции в металлургии, баллистике и взрывном деле. Китайские источники признают, что европейцы опередили их к началу 1500-х гг. (Chase 2003: 142; ср. Bryant 2008). Однако огнестрельное оружие европейцев не было их единственным техническим преимуществом над тремя «пороховыми империями», с которыми они столкнулись: Османской, Персидской и Могольской, а также постмогольскими государствами Индии). Различия состояли в военной выучке, дисциплине и тактике, то есть в военной организации. Артиллеристы военных кораблей и сухопутных батарей были обучены ведению более скоординированного, непрерывного огня; сложные тактики координации пехоты, кавалерии и артиллерии достигли уровня, превосходящего уровень противников, которые зачастую обладали численным превосходством, но войска которых по сравнению с европейцами казались просто беспорядочными толпами.

Естественно, это военное превосходство имело предпосылки среди прочих источников власти, особенно в виде возросшей способности государств и коммерческих компаний по извлечению доходов. Государства стали систематически облагать налогами своих граждан и призывать их на военную службу, и это породило более территориальное чувство государственности, по мере того как необходимая инфраструктура распространилась и заполнила всю территорию государства. В Западной Европе государства стали более национальными. Этот дуальный фискально-военный дарвинистский процесс сохранил лишь самые могущественные военные и политические державы для противостояния заморским народам. Небольшие европейские силы с трудом могли преодолеть сопротивление местных армий, действующих на открытых пространствах, где конные лучники или легкая кавалерия были более пригодны. Тем не менее как только европейская артиллерия усилила свою огневую мощь,

ни одна другая армия не могла противостоять ей в решающей битве. Это было особенно очевидно на море, где сражения были более компактными и интенсивными. Затем по большей части сопряженное использование интенсивного милитаризма экономической властью промышленного капитализма увеличило и европейскую власть на суше. Но эта сухопутная власть европейцев в колониях не была достаточно интенсивной, за исключением тех случаев, когда она подкреплялась отправкой европейских поселенцев. Интенсивная огневая мощь небольших армий приносила победу на поле боя, но она не могла оказать помощь государствам-завоевателям в осуществлении ежедневного контроля над населением.

Между вторым и третьим этапами испанского и английского империализма практически не было перерывов. В январе 1492 г. Гранада, последний маврский эмират Испании, пала к ногам Их Христианнейших Высочеств Фердинанда и Изабеллы. Три месяца спустя Христофор Колумб отплыл в Индию; в октябре он открыл континент, преградивший ему путь. Мексика и Перу были быстро подчинены конкистадорами и священниками, младшими сыновьями, происходившими в основном из обедневших дворян Эстремадуры и Андалусии. Основные приманки все еще оставались феодальными — новые королевства для короля, земли с зависимыми крестьянами для конкистадоров, высокий социальный статус и приобретение душ церковью. Всеохватывающей была и жажда американского золота и серебра. Испанский империализм предшествовал капитализму.

Несколько позднее завоевание Шотландии и Ирландии англичанами послужило лабораторией заморской империи (Ohlmeuer 2001: 146; ср. с Canpu 2001). Город Лондондерри в Северной Ирландии, заполненный протестантскими поселенцами из Лондона и Шотландии, отправленными туда править и «цивилизовывать» католиков острова, был моделью заморских колоний. Заголовки двух книг Ленмана «Английские колониальные войны, 1550–1688» и «Британские колониальные войны, 1688–1783» свидетельствуют о том, что первые колониальные войны Англия вела на Британских островах; последующие — недавно гомогенизированная Британия вела на других континентах. Поток поселенцев возрастал, так как шотландцы и ирландцы имели более сильную мотивацию вырваться из нищеты и эксплуатации на родине.

Заморский колониализм соблюдал некоторые средневековые традиции. Европа по-прежнему экспортировала доставлявшую проблемы энергию младших сыновей, незаконнорожденных, неугомонных миссионеров, крестьян и ремесленников, рискующих жизнью, чтобы добиться вертикальной мобильности

и социального статуса, в которых им было отказано на родине. Европейцы могли процветать лишь в зонах умеренного климата, так что имперское проникновение в других местах подразумевало в большей степени торговлю, чем поселение, ведя к неформальной империи без колоний, торговому империализму, идущему от Венеции и Генуи, а затем Португалии, Голландии и Англии. В ходе этого процесса он превратился в торговый капитализм, основанный на использовании разницы в ценах в различных частях мира, часто при помощи монополий. Тем самым установились две имперские траектории: одна — сконцентрированная вокруг сухопутной войны и напрямую управляемых поселенческих колоний, другая — вокруг военно-морского флота для охраны торговых монополий и неформальной империи. Как только фермы и плантации европейских поселенцев начали давать прибыль, рециклируемую торговцами в Европу (и Азию), эти две траектории оказались связанными более широким капиталистическим империализмом, выходящим за границы любого государства. Торговцы не могли долго находиться на прибрежных территориях. Обеспокоенные, по их словам, беспорядками среди местных жителей и желая усилить монополии, они стремились к контролю над внутренними районами колоний.

По мере расширения империализма он становился одновременно более капиталистическим и более этатистским. Военная власть подкреплялась и перенаправлялась экономической и политической властью. Европейская экспансия была практически неизбежной, учитывая масштаб грубого превосходства сил. Только общеевропейская война, сопоставимая с войной 1914–1918 гг., или великое возрождение какой-либо неевропейской империи могли остановить эту экспансию, но и то и другое было маловероятным. Тем не менее различные логики государственного территориального завоевания и диффузной рыночной эксплуатации никогда полностью не совпадали. Европа была тем, что в предшествующих томах я называл «цивилизацией с множеством акторов власти» с отсутствующим центром власти и внушительным динамизмом во благо или во зло. Это придавало европейскому империализму неугомонную, неравномерную динамику, толкаемую вперед государствами и частными авантюристами/капиталистами/миссионерами/поселенцами с лицензированными торгово-меркантилистскими компаниями, представляющими собой сочетание первых двух. Удерживать вместе такие разбросанные динамичные территории в рамках единой империи оказалось трудным делом. Век этих империй был недолог.

ПРИНЕСЛА ЛИ БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ ХОТЬ КОМУ-НИБУДЬ КАКУЮ-ТО ПОЛЬЗУ?

Я не могу заниматься всеми империями, а потому остановлюсь на самой крупной из них. Британия завоевала свои первые заморские колонии в XVII в. Их стало больше в середине XVIII в. после победоносных войн против Франции. В результате потери большей части Северной Америки Британия переориентировалась на Азию, а затем на Африку, после победы в Первой мировой войне получив последние территории в соответствии с мандатами Лиги Наций. Обладая превосходством на море, поддерживаемым благодаря эффективной налоговой системе внутри страны, и унаследовав традиции, в соответствии с которыми агрессивная война была рутинным и обычным делом, британские элиты могли создать империю и сделали это. Британия также была пионером сельскохозяйственной и промышленной революций, которые сделали ее лидером производительности, что, в свою очередь, обеспечило экономический потенциал для ее милитаризма. Британии повезло начать свою экспансию в тот момент всемирно-исторического времени, когда на европейском континенте сложилось выгодное для нее соотношение сил и имели место стагнация или упадок основных государств в остальном мире. Сплоченность элит, институционализированная королем в парламенте (результат иной причинно-следственной цепи), означала, что они могли разработать эффективную политику для использования такого стечения обстоятельств.

Все это позволило маленькому островку в открытом море выйти на глобальный уровень, интенсивной власти стать экстенсивной. Отсутствие любого из этих военных, политических и экономических ресурсов, вероятно, стало бы препятствием для глобальной экспансии; более сильная Азия могла бы принудить европейцев к более равной торговле. Не было общей концепции экспансии, внутренней логики развития гегемона мировой системы, но каждое поколение элит находило новые возможности. В результате Гринвичский меридиан стал универсальным стандартом времени, фунт стерлингов — мировой резервной валютой и английский язык при поддержке США — языком международного общения. К 1920 г. эта империя — крупнейшая, хотя в некоторых отношениях и тончайшая империя из тех, что когда-либо существовали, занимала четверть поверхности суши.

Кто от этого выиграл? Это, безусловно, принесло прибыли торговцам, промышленникам, инвесторам и поселенцам, которые уцелели после своих приключений. Хотя зачастую и об-

леченная в благочестивые намерения, погоня за прибылью и вертикальной мобильностью гнала большинство вперед, подгоняемое адреналином, который получали юноши, рискуя своей жизнью, в погоне за приключениями. Но Британия и Голландия были, вероятно, единственными европейскими империями, которым удалось увеличить богатство метрополии, хотя позднее в группу получающих прибыль вошли и японцы. Другие империи были затратными и не столь явно отвечали интересам их подданных (O'Brien and Prados de la Escosura 1998; Etemad 2005). Соблазн империи для масс был обычно заблуждением.

Выигрывали ли покоренные местные жители от империи? Сами империалисты утверждали, что так оно и было, как сначала утверждал и Карл Маркс. Лорд Керзон, вице-король Индии, заявлял: «В руках провидения Британская империя является величайшим инструментом добра из тех, что мир когда-либо видел». Фельдмаршал Сметс, премьер-министр Южной Африки, говорил, что она является «самой широкой системой организованной человеческой свободы из тех, что когда-либо существовали в истории». В течение долгого времени британские исследователи соглашались с этим, так же как и французские исследователи, рассматривая французскую империю. Однако Маркс изменил свою точку зрения и утверждал, что британская свободная торговля наносила вред туземцам, им было бы лучше, если бы они установили защитные тарифы. В последние десятилетия империи растеряли практически всю свою привлекательность. Постколониальные исследования, основанные на гневе прежде колонизованных, подкрепляемом осознанием вины в постимпериалистических странах, стали расценивать их крайне отрицательно. Имели место официальные извинения британского, американского и французского правительств за ошибки их давно почивших предков. Тем не менее идея империи сохраняет авантюрную привлекательность в массовой культуре Запада и бестселлеры остаются проимперскими.

Более того, некоторые ученые недавно стали убеждать США взять на себя миссию Британской империи нести добро миру. В своих работах «Империя» (2012) и «Колосс» (2004) Ниалл Фергюсон убеждает Соединенные Штаты нести мир, представительное правление и процветание всему миру. Британцы, пишет он, создали либеральную империю, введя «свободную торговлю, свободное передвижение капитала и после отмены рабства свободный труд». Они затратили «огромные суммы на развитие глобальной сети современных коммуникаций» и способствовали «оптимальному распределению труда, капитала и благ по всему миру». Они принесли «глобальный мир, равного которому не было до и после... западные нормы права, порядка

и управления», представительное правление и «идею свободы» (Ferguson 2002: xx–xxv). И хотя Фергюсон признает, что британцы творили зверства везде, он считает, что они имели место до 1850-х гг., и утверждает, что их было меньше, чем в других империях. Решающим доводом, пишет он, является то, что с тех пор, как британцы ушли, положение дел в бывших колониях значительно ухудшилось. Он подкрепляет эти суждения данными по экономическому росту и репрезентативному правлению, которые, как мы увидим, едва ли впечатляют.

Экономист Дипак Лал (Lal 2004) также защищает империализм свободной торговли, хотя и не верит, что империи могут навязать свои ценности или институты другим культурам. Если они и пытаются, это становится контрпродуктивным, пишет он. Что нехарактерно для неолиберала, он не рассматривает свободные рынки как естественные, поскольку они требуют порядка, а он, в свою очередь, проистекает из военного наведения порядка институционализированного в верховенстве закона, который защищает права собственности, побуждает собственников инвестировать, производителей обменивать и рабочих выбирать более предпочтительную работу. На протяжении всей истории империи обеспечивали подобный порядок, пишет он. Историк экономики Гарольд Джеймс (James 2006) отстаивает примерно то же самое, хотя и признает напряжение, существующее между свободой, порядком и империей. Лал утверждает, что Британская империя была наиболее эффективной из всех, поскольку ее капиталистическая и промышленная революции базировались на свободной торговле, способствующей интеграции мировой экономики, позволяющей таким странам, как Индия или Гана, к ней присоединиться. Он приводит недостаточно данных, чтобы подкрепить это, полагаясь в большей мере на общие постулаты неоклассической экономики. Оправданна ли эта похвала Британской империи, или следует доверять постколониальным обвинителям?

БРИТАНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ И ВОЕННАЯ ВЛАСТЬ

Сначала я разберу наихудшие проявления Британской империи. В зонах умеренного климата поселенцы хотели земли, но зачастую не труда коренных жителей, поэтому они использовали огнестрельное оружие, чтобы согнать с нее местных жителей. С наибольшей жестокостью это происходило там, где поселенцы были самоуправляемыми, и большинство таких колоний были британскими. На современной континентальной территории США на момент первого контакта с поселенцами про-

живало от 4 до 9 млн коренных американцев. К 1900 г. перепись населения показала, что их осталось только 237 тыс. человек, уровень убыли превышал 95%. Ко времени прибытия Первого флота в Австралию численность аборигенов составляла 300 тыс. человек. В соответствии с переписью населения 1921 г. их осталось лишь 72 тыс., уровень убыли составил 75%. Хотя эпидемии были главными убийцами на обоих континентах, поселенцы радовались общему числу жертв и способствовали ему сменявшимися друг друга волнами геноцида. Чем более представительными были политические системы поселенцев, тем больше жертв — демократический геноцид. Поселенцы были хуже колониальных властей (Манн 2005: глава 4). Это была извращенная версия глобализации. Вместо того чтобы объединять народы мира, она уничтожала их и заменяла европейцами. А европейцы затем использовали свои навыки для эксплуатации естественного изобилия земли. Это справедливо прежде всего по отношению к тем поселенцам, которые стали американцами.

По сравнению с этноцидом и геноцидом рабство кажется вполне сносным. К XVI в. оно отмирало в Европе, но производство сахара, табака и кофе в Новом Свете возродило его за границей. Современное рабство стало следствием сочетания современного сельского хозяйства, промышленности и флота. Оно подразумевало крупную, концентрированную и дисциплинируемую при помощи принуждения рабочую силу на плантациях и фабриках, производящих сельскохозяйственную продукцию. Поскольку поработить народ в его собственной стране трудно (люди могут сопротивляться или разбегаться), рабов привозили на судах с других континентов, а потому рабство стало расовым, чего не было во всей прошлой истории рабства. Африка, разумеется, уже была знакома с рабством, и у африканских элит не было табу на порабощение за пределами их родовых сетей. Они делали это под руководством арабов задолго до прибытия европейцев. В отличие от европейцев у них также не было табу на женский труд. Поэтому африканцев можно было нанимать для порабощения других африканских мужчин и женщин. Это было невозможно в отношении европейцев. «Подъем рабства в Америке, — пишет Элтис (Eltis 2000: 279), — зависел от характера свободы в Западной Европе». Вскоре работорговлю возглавил самый свободный народ — британцы.

Примерно 12–13 млн рабов были принудительно перевезены из Африки в Новый Свет. Два миллиона умерло в пути от давки, плохого питания и жестокого обращения. К 1770-м гг. британцы перевезли большую часть рабов, и их плантации в Карибском море и Северной Америке стали крупнейшими по использованию рабского труда, пионерами массового производства, ори-

ентированного на массовое потребление. Это было «первое и наименее замаскированное выражение... капиталистической логики», и она также позволила колониям перейти от экспорта драгоценных металлов к аграрному капитализму (Blackburn 1997: 554; Eltis 2000: 37; D. Richardson 2001). В Америке рабство сопровождалось полусвободным кабальным трудом европейцев. Валлерстайн (Wallerstein 1974) демонстрирует, что это совпадение свободного труда в ядре и принудительного труда на периферии было структурной характеристикой колониального капитализма, инновацией по сравнению с более древними империями. Однако я должен добавить, что большинство коренного населения, хотя и эксплуатировалось, не принуждалось к труду подобным образом. Рабство и плантации, представлявшие собой жестко дисциплинированный труд, были островками принуждения в море крестьянских хозяйств и иных по большей части автономных домохозяйств. Они испытывали принуждение более опосредованно и менее регулярно. Политическим эквивалентом этого была двойственность, возникшая между национальным гражданством на родине и имперским подданством за границей. Разумеется, это не была свободная торговля, равно очевидно и то, что рабство не приносило рабам ничего хорошего: они предпочли бы оставаться в Африке бедными, но свободными. Таким образом, Британская империя не несла ничего, кроме негатива, местным жителям.

Однако в конце XVIII в. радикалы и евангелисты начали идеологические кампании за реформы в Британии. Одна из них была направлена против правительственной коррупции, особенно вопиющей в Индии. Это движение было успешным, и с того момента британская колониальная администрация демонстрировала относительную свободу от коррупции (как утверждает Фергюсон). Более впечатляющей была вторая кампания, которая навсегда уничтожила рабство в Британской империи за два этапа в 1807 и 1833 гг. В рамках политической кампании за освобождение рабов христианская вера в равенство душ, по-видимому, одолела интересы экономической власти, поскольку торговля рабами все еще была прибыльной и освобождение привело к краху сахарной промышленности в Британской Вест-Индии. Дрешер (Drescher 2002: 232) утверждает, что это была «самая дорогостоящая международная политика, основанная на моральном действии в истории Нового времени». Тем не менее британский капитализм продолжал инвестировать в работоторговлю и теперь переключился на использование иностранных кораблей. Вопросы прибыли менее восприимчивы к моральной риторике, чем политика, — еще одно свидетельство дуальной природы этой этатистской/капиталистической империи. Тем не менее

ни одно из последующих движений в Британии или где бы то ни было еще не вызывало сопоставимого улучшения жизни коренных народов (B. Porter 2001: 219–20). Самый большой подарок империи преподнесли довольно рано (до 1850 г.), причем он был скорее евангелическим, чем либеральным, а также омраченным хитростью капиталистов.

С торговлей дела обстояли лучше, чем с рабством, но и она была неравной. Британская колониальная торговля была сконцентрирована вокруг трехстороннего обмена: промышленные товары из Англии, рабы из Африки и плантационная продукция из Америки. Затем Ост-Индская компания завладела Азией. Один из чиновников компании заметил об индийцах: «Местные — тихий и пугливый народ, не склонный к войне... доходы с них можно будет собирать очень легко» (Lenman 2001b: 110). Теперь имперская экономика концентрировалась вокруг обмена промышленных товаров из ядра на полезные ископаемые, продукцию полей и простейших мануфактур периферии. Со временем стоимость промышленного экспорта из ядра в периферию стала значительно превышать стоимость импорта материалов из периферии, и платежный баланс сводился при помощи «невидимых» статей: финансовых, судоходных и прочих транспортных услуг, а также профессиональных и государственных услуг.

Неравный обмен сохранялся. В Римской и Китайской империях провинции со временем становились более равными, поскольку ядро инвестировало в периферию и римские и китайские поселенцы вступали в браки с местными жителями. Эти империи приносили блага покоренным местным жителям, которые ассимилировались и приобретали имперскую идентичность. Но европейцы не ассимилировали местных жителей. Экспорт сырья из колоний стимулировался нулевыми тарифами и даже иногда экспортными субсидиями, но европейцы вытесняли их из высокодоходных секторов, таких как промышленность, кораблестроение и международная торговля, добывая монополии для себя. Поэтому колониям Северной Америки позволяли производить необработанный чугун, но не сталь. Это принуждение было наиболее очевидно в Индии. В течение 30 лет Ост-Индская компания принудительно занижала цены на ткани, изготовленные индийскими ткачами, укрепляя позиции индийских торговых посредников. Им были гарантированы кредиты и силовая поддержка со стороны солдат Ост-Индской компании, для того чтобы навязать лучшие для них условия обмена, подавить коллективные действия ткачей и в итоге реализовать монополию компании на ткани. Ткачи-производители были пролетаризированы, и купцы, которые не подчиня-

лись, вытеснены. В XVIII в индийские ткачи, вероятно, имели более высокий уровень жизни, чем их британские коллеги, но империя изменила ситуацию. Одной угрозы применения военной силы было достаточно, чтобы обеспечить контракты и монополии, без ее реального применения (Parthasarathi 2001). Рынки поддерживали авторитетный контроль за территорией, переплетая две логики, которые прежде были разделены. Это подорвало крупную и динамичную индийскую текстильную промышленность. Индия была «разграблена» (Ray 2001: 514–516). Франциск Ксаверий, иезуитский миссионер в Восточной Индии, заявлял, что «империя» «проспрягала глагол „грабить“ во всех его временах и наклонениях» (Appleby, 2001: 97–98). Колониальные войны должны были сами оплачивать себя за счет трофеев (P. Marshall, 2001: 5). Некоторые местные жители действительно получали от этого выгоду, например индийские торговые посредники, но они делали это за счет индийского большинства.

Также не следует преувеличивать значимость империи для метрополии. Прибыль от нее не была огромной, составляя чуть выше 1% британского ежегодного валового внутреннего продукта (ВВП), только десятую часть британской торговли с Европой. Первый важный вклад в развитие метрополии внес «Колумбов обмен», который сыграл важную роль в английской сельскохозяйственной революции XVIII в., накормив население и высвободив труд для городов. Второй вклад имел место в 1770-х гг., когда прибыли от рабства обеспечили от 21 до 55% всего британского инвестиционного капитала в ключевой момент промышленной революции и сахарные заводы и методы контроля труда оказали влияние на возникновение фабричной системы в Британии. Заводы и плантации в колониях предоставили более интенсивные формы контроля за трудом, которые вскоре распространились на весь рабочий класс (реже на крестьянство) в метрополии. Но империя была скорее стимулом для экономики, которая уже бурно развивалась, чем основной причиной промышленной революции (O'Brien 2004; Blackburn 1997; Schwartz 2004; Inikori 2002 с этим не согласен). Позднее Индия и белые доминионы стали более экономически важными, но экономический рост Британии не был в своей основе продуктом империи.

Идеологические утверждения о миссии не играли столь важной роли, как в Испанской империи, но все же британцы (и голландцы) действительно провозглашали, что экспортируют свободу. Их правление было «коммерческим, протестантским и морским» — качества, предположительно олицетворяющие свободу в противоположность деспотизму континентальной Ев-

ропы и Азии (Armitage 2000: 173, 193). Экспансию возглавляли свободные авантюристы (предприниматели, солдаты-наемники, миссионеры и даже ученые), мобилизующие свои средства, поддерживаемые бизнесменами, церковью и научными обществами. Частные вооруженные торговые компании обычно предшествовали формальному колониальному правлению британцев, французов и голландцев. Просвещение помогало это легитимировать, поскольку «продуктивные» европейцы «улучшали» и «культивировали» земные ресурсы, а «расточительные аборигены» растрачивали их попусту и заслуживали принудительной опеки (Drayton 2000: 90, 229–234). Ирония состоит в том, что в конце XX в. эта идеология была повернута вспять, когда зеленые движения на Западе превозносили коренных жителей за то, что они жили в гармонии с природой, тогда как европейцы разграбляли и уничтожали ее.

Британцы обычно вели себя корректно, подписывая договоры с местными жителями. Но включенные в них оговорки мелким шрифтом постепенно лишали их земли и занятий. Когда они сопротивлялись и убивали британских подданных, это осуждалось как возмутительная примитивная жестокость, осуществляемая представителями низшей расы. Эмоциональная реакция приводила к ужасному возмездию. Английское правительство предпочло бы в это не вмешиваться, желая, чтобы компании и колонии сами платили по счетам и не вызывали проблем. Тем не менее чиновники знали, что их первой обязанностью была защита британских граждан. Если бы они этого не делали, возмущение на родине могло принудить их покинуть свой пост. Это была империя, которая играла в догонялки, поскольку власти боролись за то, чтобы угнаться за событиями, порождаемыми бандами вооруженных поселенцев и торговцев. Захватывались новые территории, и империя становилась больше, а ее правление — почти неизбежно более прямым, но без общего представления о том, что со всем этим делать (B. Porter 2004: глава 1–3; Burroughs 2001: 170–172; Galbraith, 1963).

С середины XIX в. Британия перешла к свободной торговле. Ее технологическое лидерство означало, что ее товары более не нуждались в тарифном протекционизме. Британские либералы продолжали отрицать существование «империи» (как американцы сегодня), утверждая, что Королевский флот просто освобождает рынки (B. Porter 2005: глава 5). Неформальная империя, «империализм свободной торговли», теперь стала более экстенсивной, чем колониальная империя (Gallagher and Robinson 1953). Некоторые рынки были открыты при помощи всего лишь канонерских лодок, как в Китае и Сиаме, и затем им были навязаны очень низкие тарифы. В иных случаях не требовалось

применение большой силы, поскольку при свободной торговле Британия в любом случае захватывала большую часть торговли. Британская империя переходила к более мягким формам правления по мере того, как она расширялась и делалась более капиталистической.

Европейцы, американцы и японцы приобрели еще больше колоний в рамках нового империализма, взрывной экспансии с конца 1870-х гг. до Первой мировой войны. Поскольку на тот момент марксизм и социальные науки уже процветали, это получало объяснения, которые остаются актуальными даже сейчас. Либеральный журналист Джон А. Гобсон (Hobson 1902) писал, что новый империализм вырос из необходимости инвестировать избыточный внутренний капитал за границу. Он составил таблицы, демонстрировавшие значительный рост британской внешней торговли и инвестиций за этот период. Ленин развил идею Гобсона, утверждая, что «чем выше развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья во все мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний». Он писал, что чрезмерное накопление капитала в развитых странах приводит к тому, что его избыток возможно инвестировать только в заморские империи (Lenin 1939: 82). Ленин, Гильфердинг и другие ученые обнаружили экономическую концентрацию и монополии в развитых странах и утверждали, что монополии в метрополии нуждались в защищенных территориальных рынках за границей — колониях. Они были уверены, что эти три тенденции капитализма усилят соперничество между империями, расколют капитализм и приведут к великим войнам. Они признавали, что империализм предшествовал капитализму, но утверждали, что капитализм дал ему новое дыхание.

Однако Гобсон, Гильфердинг и Ленин ошибались. Во-первых, в международной экономической системе существовало сотрудничество. Британия больше не была лидером промышленного производства, но она владела мировой резервной валютой и крупнейшей банковской системой. Практически все иностранные банки имели подразделения в Лондоне, для того чтобы погашать торговые платежи. Они хранили свои прибыли в лондонских банках в форме краткосрочных депозитов с низкой процентной ставкой, которые назывались коммерциализированными векселями. К 1908 г. вклады иностранных и колониальных банков составляли от одной трети до половины общих банковских средств в Британии. Британские банки использовали эти средства для предоставления долгосрочных займов с высокой процентной ставкой периферийным странам, как это делают банки Соединенных Штатов в настоящее время.

И те и другие получали прибыль в виде финансового арбитража, занимая дешево и кредитуя дорого (Schwartz 2004: 118–119). Это была общепринятая практика среди держав (каковой она остается и по сей день), поскольку обладание надежной резервной валютой и финансовыми институтами в имперском ядре было выгодным для всех до тех пор, пока доверие к британцам (и к американцам) оставалось выше, чем к кому бы то ни было еще. Поэтому мир капиталистических финансов не способствовал росту соперничества между империями. А когда последнее все же материализовалось, у него были другие источники.

Во-вторых, подавляющая часть торговли и финансов протекала через развитые капиталистические страны при второстепенном участии колоний, и ни Гобсон, ни Ленин не подозревали, что лишь часть британской колониальной торговли и капитала идет в небелые колонии. Большая их часть шла в колонии белых поселенцев в Австралии, Южной Африке и Канаде; белые торговали между собой. В любом случае рост иностранных инвестиций был преимущественно результатом объединения и реинвестирования заморских прибылей и роста цен на иностранные активы, которые уже находились под их контролем. Это не был избыточный капитал из ядра.

Альтернативное объяснение, разработанное консерваторами, а также марксистами, заключалось в *социальном империализме*: экспансия могла предотвратить классовый конфликт на родине. Некоторые политические деятели так и предполагали, и иногда это, по-видимому, работало, но не в Британии. Рабочий класс оставался в большинстве своем незаинтересованным в империи, и приток британских поселенцев снижался (B. Porter 2005: главы 6, 9). Некоторые из этих экономических аргументов обладают определенным смыслом для таких империй, как Япония (см. главу 4). Однако они являются не самым лучшим объяснением для нового империализма в целом и британского империализма в частности.

Объяснения, сфокусированные на экономических отношениях ядра, слишком узкие; мы должны также мыслить глобально. Во-первых, различие в военной мощи между империями и местными жителями продолжило возрастать. В конце XIX в. пароходы, пулемет «Максим» и хинин, защищавший от тропических эпидемий, сделали возможным завоевание огромных участков земли небольшими военными отрядами (Headrick 1981; Fieldhouse 1973). Этемад (Etemad 2007: глава 3) утверждает, что роль хинина переоценена, соглашается с воздействием пулемета «Максим» после 1880 г., но рассматривает в качестве решающего устойчивого преимущества европейцев их способность обучать большие массы местных жителей убивать вместо

них. Когда это случилось, интенсивная огневая мощь империализма действительно смогла распространиться на территории, отдаленные от моря. Во-вторых, соперничество великих держав усиливалось осознанием того, что колонизация тесного мира почти завершена, а потому необходимо захватить территории сейчас, пока он еще не полностью поделен. В 1880-х гг. внезапно возникает германский и бельгийский империализм в Восточной Африке и возрождается французский империализм; в 1890-х гг. к обладанию колониями также стремятся Япония, Италия и США. Это был стратегический мотив: если мы не захватим колонии, это сделают наши враги. Но были и экономические мотивы. Капиталисты надеялись нажиться когда-либо в будущем. Африка могла обладать баснословными богатствами, а Азия уже имела огромные рынки. В формальном смысле это была глобализация, хотя все еще разрозненная, поскольку практически весь мир был формально колонизирован, даже если имперское управление внутренними землями было весьма слабым.

Тем не менее империи редко доминировали в политике метрополии. Колонии оставались второстепенным вопросом для Вестминстера. Ведущие политики избегали колониальных постов, как того, что могло испортить их карьеру, и во время дебатов об империи зал палаты общин всегда пустовал. Империалисты — разнородная группа лиц с заморскими деловыми интересами, авантюристов, миссионеров и прочих идеологов — хотели больше ресурсов, чем были готовы выделить политики. Правители Британии задавали реалистичные вопросы: насколько дорого обойдется экспансия и будет ли она того стоить? Этими вопросами предписывалась осторожность и относительная мягкость правления после того, как завоевания были совершены. Однако крупные колониальные восстания с гибелью британцев влекли за собой праведное возмездие. Но даже при этом поражение британцев в Афганистане привело только к временным репрессиям и в итоге к выводу войск. (Знакомо звучит?) Экспансионистские идеалы и уязвленная гордость были подчинены стратегической цели — ограничить российское влияние в Афганистане с малыми затратами. Только решительное восстание буров в Южной Африке вызвало электоральную борьбу по имперским вопросам. Затем после Первой мировой войны правительства крайне нуждались в экономических ресурсах и искали их в колониях (Kirk-Greene 2000; В. Porter 2005: 105–118; Fieldhouse 1999: 73–76). Британские и европейские проблемы оставались более важными, чем проблемы империи. Империалистическая кристаллизация британского государства была не очень значительной в метрополии.

Ленин был убежден, что «драка за Африку» и Первая мировая война были связаны, но державам удавалось дипломатически ее урегулировать. В 1885 г. они подписали Берлинский договор, позволявший державам выдвигать свои требования на африканские территории, если они могли эффективно охранять их границы. Поэтому они минимальными силами вторглись вглубь континента, чтобы показать свое номинальное присутствие. Они не оспаривали претензий конкурентов на реальное присутствие, поскольку все их претензии были одинаково сомнительными. В случае опасных столкновений решения принимались непосредственно на месте. Возьмем, к примеру, Фашодский кризис (инцидент). В ответ на новость о том, что французские силы, пересекая Африку, движутся к верховьям Нила, британское правительство отправило свою экспедицию, ранее отказавшись от всех требований аннексировать Судан. Французские силы преодолели огромное расстояние, чтобы занять город Фашоду на Ниле, которого они достигли одновременно с британским военным флотом. Повисла неловкая пауза, как только они увидели друг друга, после чего французы отступили, поскольку у британцев были канонерские лодки. Теперь Британия действительно аннексировала Судан. Двум империям удалось урегулировать свое соперничество за счет периферии. Кризисы соперничества между империями возникали постоянно, но они разрешались дипломатически. Как мы увидим в главах 5 и 14, войны европейской предсмертной агонии 1914 и 1939 гг. не были вызваны имперским соперничеством за океаном. Их добило именно соперничество в Европе. Ленин ошибался.

В начале XX в. британское правительство по-прежнему играло в догонялки с авантюристами. Люди типа Стэнли, Родса, Голди и Лугарда добивались у британского правительства монопольных лицензий для своих компаний. Король бельгийцев основал свою частную компанию, которая была наиболее эксплуататорской из всех. Авантюристы несли ружья на плечах и пустые бланки договоров в своих карманах. Африканских правителей убеждали или принуждали подписывать уступки прав на землю или торговлю. Вожди предполагали, что выиграют от союза с британцами, но вместо этого компании намеревались лишь ужесточить условия торговли. Затем местные жители или торговцы восставали и начинались беспорядки. В африканские зоны умеренного климата вооруженные поселенцы прибывали в большом количестве, чего не ожидали вожди, и захватывали их земли. Разобщенность африканцев в сочетании с военным отставанием гарантировали победу британцам, если дело доходило до сражений (Vandervort 1998; Wesseling 1989).

Как и в большинстве империй, миссионерские заявления звучали все отчетливее по мере того, как империи консолидировались, поскольку они придавали экспансии высокий моральный облик. Мало кто хочет считать себя просто грабителем. Это была миссия «привнесения цивилизации», которая имела расовый уклон, потому что осуществлялась «англосаксонской расой», распространяющей «Торговлю, Цивилизацию и Христианство» — эквиваленты свободы в XIX в. Насилие было неизбежным, утверждали они, поскольку местные жители находились в состоянии «бесконечной войны» друг с другом и не были способны обеспечить порядок. Хотя авантюристов волновали только прибыли, государство вмешивалось также по стратегическим причинам, если соперничающие империи возникали на горизонте, вне зависимости от шансов на прибыль (Pakenham 1991: xxiv; Reid 2007; Gallagher and Robinson 1953; Fieldhouse 1973: глава 13). Мотивация становилась все более смешанной.

Насилие было неизменным спутником имперского фронта. Поселенцы Южной Африки были мягче поселенцев Северной Америки, поскольку они хотели сохранить местных жителей как работников, тем не менее зверства имели место. В Натале в 1874–1875 гг. поселенцы и британские солдаты вырезали мужчин, женщин и детей племен хлуби и путини. Та же судьба постигла зулусов Натала в 1906 г. В 1860–70-е гг. канонерские лодки ежегодно совершали карательные экспедиции вверх по реке Нигер, стирая с лица земли деревни, убивая мужчин, женщин и детей повсеместно, где бы ни возникали протесты против британских торговцев. Национальная африканская компания Джона Голди в 1879 г. получила королевскую хартию на установление свободной торговли вверх по реке. В реальности это означало подавление африканских торговцев. В частности, брассмены, которые прежде были эффективными торговцами, стали испытывать нехватку продовольствия. В 1895 г. они отомстили, убив нескольких служащих компании. Это вызвало возмущение в Британии, и Голди обратился к британскому правительству с просьбой уничтожить их. Король Коко и его вожди, испугавшись худшего, написали письмо, в котором они приносили извинения принцу Уэльскому. В нем также говорилось, что теперь они *«действительно очень сожалеют в связи с убийством и поеданием частей их сотрудников»*. Британскими либеральными лоббистскими группами извинения были приняты с симпатией, за ними последовали небольшие репрессии, но компания вскоре возобновила свои практики, и брассмены продолжали голодать. В 1895 г. при заселении Родезии все принадлежавшее вождю Лобенгулы (земля, скот, имущество) рассматривалось как добыча, которую делили торговая компания

Родса и прочие вооруженные бандиты. Все сопротивлявшиеся были уничтожены. Между 1870 и 1902 гг. Британия заполучила 15 новых колоний и протекторатов в Африке путем применения силы или угрозы ее применения (Pakenham 1991; Headrick 1981: 73–74). В 1940-х гг. поселенцы все еще продолжали захватывать землю в Кении.

С 1871 по 1914 г. Британия участвовала примерно в 30 колониальных войнах, не считая непрерывающегося насилия вдоль северо-западных границ Индии. В эти годы британцы, французы и голландцы, вместе взятые, сражались по меньшей мере в 100 колониальных войнах. В одной только Кении британцы участвовали в одной битве в год на протяжении 21 года (Wesseling 1989: 8–11; Wesseling 2005). Европейские потери в колониальных войнах составили 280–300 тыс. человек; покоренные народы потеряли 50–60 млн человек, из которых 90% составляли мирные жители (Etemad 2007: главы 4, 5). Это опровергает *теорию демократического мира*, предполагающую, что демократии не воюют друг с другом. Большинство коренных народов управлялись путем прямой демократии, когда сообщество участвует в принятии решений о войне и мире и мужчины не воюют против своей воли. Поскольку Британия, Франция и Голландия были представительными демократиями (только для мужчин), демократии сражались друг с другом с завидной регулярностью.

Войны становились более кровавыми, чем предшествующие войны между африканцами. Колонисты утверждали, что местные жители «дикие», «кроважидные» и воинственные, вопреки тому факту, что, хотя эфиопская и зулусская империи и халифат Сокото периодически прибегали к тактике выжженной земли, большинство африканских вождей, редко имея возможность полностью разгромить своих врагов, предпочитали войне дипломатию и ритуализированный конфликт низкой интенсивности (R. Smith 1989; Reid 2007). Одно из отличий Африки от Европы заключалось в том, что в Африке не хватало труда, а не земли. Большинство африканских правителей не видели большого смысла в расширении своих территорий. Война ради прибыли означала захват не территорий, а рабов для собственного пользования или продажи. Африканцы воспринимали насилие британцев как выходящее за рамки цели поимки людей. Европейцы утверждали, что единственный способ сделать африканцев послушными колониальным властям — «крепко поколотить» их (Vandervort 1998: 2, 185–205, 219). В военном справочнике «Малые войны» полковника Коллуэла, ставшем бестселлером (Callwell 1906: 40, 148), он постулировал, что в борьбе с местными жителями, которые избегали решающих сражений, в рамках войны на истощение необходимо уни-

чтожать то, что враг «ценит больше всего», — посевы, деревни, скот. «Нецивилизованные расы воспринимают снисходительность как робость. Система, принятая в... [Европе] неуместна среди фанатиков и дикарей, которых необходимо строго приводить к ответу и умирять, иначе они вновь восстанут». И это была либеральная империя?

В Британии всегда существовали антиимпериалистические группы давления. Даже премьер-министр Гладстон предстал антиимпериалистом в своей известной речи 1879 г., отстаивающей право зулусов и афганцев на самозащиту:

Если они и сопротивлялись, разве вы не поступили бы так же? И когда они вышли из своих деревень, чтобы сопротивляться, мы обнаруживаем, что те, кто вышел, были убиты, деревни сожжены... женщины и дети изгнаны и оставлены погибать в снегах зимой... Подумайте только, что будет, если славное имя Англии безо всякой политической необходимости, но ради войны, настолько легкомысленной, как никогда в человеческой истории, будет ассоциироваться с последствиями, подобными этим? Вспомните о правах дикарей, как мы их называем. Вспомните, что счастье в его скромном доме, что неприкосновенность жизни в горных деревнях Афганистана среди зимних снегов, столь же святы перед лицом Господа Вседержителя, как и ваши собственные.

Гладстон столь же актуален для Афганистана и сегодня! Но ирония в том, что при его правлении Британия завоевала больше территорий, чем при стороннике империализма Дизраэли! В Соединенных Штатах либеральный президент Вудро Вильсон был позднее пойман на похожем противоречии, отправляя морскую пехоту на военные задания чаще, чем его предположительно более империалистические предшественники. К сожалению, либерализм пока не оказывал заметного воздействия на результаты империализма, хотя создавал оппозицию империализму на всем его пути.

После Первой мировой войны насилие продолжилось в Ираке, управление которым было вверено Британии мандатом Лиги Наций. Его продолжали применять вплоть до 1950-х гг. в Кении поселенцы, которые все еще захватывали земли (G. Kershaw, 1997: 85–89). Когда в 1950 г. восстали мау-мау, реакция была безжалостной. Около 20 тыс. кенийцев погибли, сражаясь, и более тысячи были казнены после быстрого судебного фарса — больше, чем казнили французы в Алжире. Еще больше умерло в британских лагерях. Мау-мау убили 32 европейских поселенца — типичная имперская диспропорция. Эти зверства, происходившие не в 1850-х, а в 1950-х гг., должны развеять представление о том, что империя со временем с необходимостью становится либеральной. Среди тех, кого подвергли пыткам,

был и Хусейн Оньянго Обама, дедушка президента Обамы. Его яйца сжимали между двумя металлическими стержнями, что заставило его на протяжении всей жизни с горечью относиться к Британии (*The Observer*, 14 декабря, 2008).

Ниже приведены воспоминания одного полицейского о допросе микки, (британское сленговое обозначение участников движения мау-мау):

Естественно, они не говорили ни слова, а один из них, здоровый, черный, как уголь, ублюдок, ухмылялся мне в лицо, тот еще экземпляр. Я крепко его приложил, но он продолжал ухмыляться, тогда я двинул ему по яйцам так сильно, как только мог. Он рухнул, но, когда наконец снова смог встать на ноги, продолжил ухмыляться, и я потерял контроль над собой, я действительно был не в себе. Я сунул револьвер прямо в его ухмыляющийся рот, сказал что-то, не помню что, и нажал на курок. Его мозги разлетелись по всему полицейскому участку. Два других микки стояли, глядя пустыми глазами. Я сказал им, что, если они не скажут мне, где искать остальную банду, я убью их. Они не сказали ни слова, поэтому я выстрелил в обоих. Один из них был еще жив, поэтому я выстрелил ему в ухо. Когда подъехал младший инспектор, я сказал ему, что микки попытались скрыться. Он не поверил мне, но все, что он сказал, было: «Похороните их и проследите, чтобы стены отмыли» (цит. по D. Anderson 2004: 300; ср. Elkins 2005).

Когда колонии были завоеваны и усмирены, уровень насилия стал снижаться, поскольку было недостаточно британцев, чтобы его поддерживать. Без масс поселенцев происходил откат от прямого к косвенному управлению через местные элиты, хотя местные полки несколько уравнивали баланс сил в пользу колониалистов. Результатом сочетания силы и примирения с элитами явились мир и стабильность. Это было величайшим достижением Британской империи — маленькой страны, управляющей огромной империей с помощью небольшого количества постоянных государственных служащих, опирающихся на местные элиты и крупные военные отряды, состоящие из местных. Это еще не был век национализма в мировом масштабе. Местные элиты были на стороне империи, если знали, что она поможет им подавить любое восстание; обычные местные жители были готовы сражаться за империю, если им за это платили. Во многих из упомянутых выше зверств принимали участие солдаты преимущественно из числа местных жителей, среди которых всегда были победители и проигравшие, особенно при косвенном управлении.

Неформальная империя распространялась на те независимые государства полупериферии, где ни прямое, ни косвенное управление было невозможно, но где Британия обладала влиянием. В Латинской Америке это началось с британской морской

поддержки восстаний против Испанской империи. Затем экономики стран, которым Британия помогала, становились собственностью лондонских корпораций. Наибольшее количество инвестиций было вложено в Аргентину, но она была слишком большой и удаленной страной, чтобы дипломатия канонерок была эффективной. Поэтому Британия прибегла к экономическому принуждению программ структурных реформ. Аргентина составляла 10% британского импорта и экспорта в 1900-х гг., а Британия составляла 50% аргентинского импорта и экспорта, а также большую часть ее инвестиционного капитала. Аргентина старалась, но не смогла привлечь больше средств в Нью-Йорке, Париже и Берлине. Поэтому Британия могла давить на аргентинское правительство в пользу пробританской политики. Давление было особенно эффективным после того, как на Перу были наложены санкции в 1876 г. за дефолт по британским займам (I. McLean 1995; M. Lynn 2001; Cain and Hopkins 2002: 244–273; Darwin 2009: глава 3). Неформальная империя была еще жестче в Китае, Сиаме, Османской империи и Египте, где свобода торговли, монополии и реструктуризация долга поддерживались устойчивой дипломатией канонерских лодок. Она включала захват некоторых портов, но по большей части империализм был морским.

Формы империализма этой империи были весьма различными в зависимости от времени и места. Когда она либерализовалась в неформальную империю в ранних зонах экспансии, кровавые завоевания и прямая империя доминировали в новых колониях. Хотя Фергюсон и Лал проводят слишком жесткое разграничение Британской империи до 1850-х и после 1850-х гг., в ней действительно существовала тенденция к более мирному управлению, но она весьма разнилась во временном отношении для разных регионов, поскольку они были захвачены в разное время. Теперь я исследую три более мирных источника власти: экономический, политический и идеологический.

ОТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА?

Британская империя была глобальной, но всего лишь сегментом мира, и она все более обращалась внутрь себя в начале XX в. Дарвин (Darwin 2009) выделяет три основные зоны высокой доходности: поселенческие белые доминионы; коммерческая неформальная империя лондонского Сити; Великая Индия, которая обеспечивала драгоценные металлы, рынки и военные людские ресурсы. Фергюсон (Ferguson 2004) приводит стати-

стические данные, чтобы показать существенный экономический рост в империи в конце XIX — начале XX в. Удивительно, что практически все эти данные — по белым доминионам (Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Южной Африке), у которых в то время были самые высокие темпы роста в мире. Он также приводит цифры, свидетельствующие, что 40% от общего объема иностранных инвестиций Британии шло в колонии (Ferguson 2004: 191). Однако более 70% шло в Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Южная и Центральная Америка, которыми управляли люди европейского происхождения, были как бы «нео-Европами». Лишь 10% от общего объема иностранных инвестиций Британии направлялось в Азию и Африку, хотя Британия инвестировала в заморские колонии гораздо больше других европейских держав. Французы и немцы больше поспособствовали развитию Восточной Европы, чем своих заморских империй; американцы торговали преимущественно с Канадой и Британией.

Часто утверждают, что Британия переориентировалась от Европы по направлению к собственной империи в конце XIX в. в качестве «утешительного приза за неспособность успешно вести дела в более глобальных обстоятельствах», столкнувшись с возвышением других держав, пишет Х. Джеймс (James 2006: 102). Однако произошло отступление на меньшую территорию, а именно на белый англоговорящий макрорегион, включая доминионы и США, поглощавший 60% от общего объема иностранных инвестиций Британии (Davis and Huttenback 1987: 37–39, 56–57; Simon 1968; Clemens and Williamson 2004). Солидарность англосаксов полностью раскрылась в мировых войнах. Период, предшествующий 1914 г., часто рассматривается в качестве наиболее глобальной фазы капиталистического развития, поскольку соотношение внешней торговли и общемирового производства было на максимальной отметке. Это также ошибочно, поскольку тренд был неравномерным. Напротив, эти тенденции указывают на два момента: возрастающую интеграцию североатлантической экономики и глобальное распространение белой расы.

В белых доминионах и в меньшей степени в неоевропейской Латинской Америке истребление местного населения и затем сброс имперских оков обеспечивали лучший экономический результат для поселенцев, но не для местного коренного населения. Это было противоречием заморских империй. Их контроль над колониями был первоначально большим там, где его поддерживали белые поселенцы, но они решали, что смогут жить лучше без имперской власти.

Европейские и американские страны действительно выигрывали экономически от британского лидерства. Хотя они

были суверенными государствами, управлявшими своими экономиками, они также выигрывали от бесположенного импорта британского капитала и квалифицированного труда. Удавалось с легкостью перенимать технологии; иностранцы копировали и улучшали британские методы производства. Но, следуя наставлениям Фридриха Листа и Александра Гамильтона в большей степени, чем Адаму Смиту, они защищали свою промышленность, находившуюся в зародышевом состоянии, и к середине века уже могли составить конкуренцию Британии и понижать свои тарифы. После 1870 г. они приняли нормы золотого стандарта и поддерживали свою валюту на уровне паритетного обмена на золото, как это было сделано британским казначейством. Это обеспечило более дешевые займы и больший приток иностранных инвестиций. Начиная с 1870-х гг. европейские страны, Япония и доминионы придерживались золотого стандарта. США и Италия обычно поступали также, возвращаясь к золотому стандарту, если им приходилось временно от него отступить. Другие страны Южной Европы не могли придерживаться золотого стандарта, но старались ему следовать, в то время как странам Южной Америки часто приходилось приостанавливать конвертируемость в золото и девальвировать валюты (Bordo and Rockoff 1996; Obstfeld and Taylor 2004). Существовала иерархия государств, на вершине которой были белые. За исключением Японии, золотовалютный стандарт был также белым стандартом.

О'Рурк и Уильямсон (O'Rourke and Williamson 2002) выявляют некоторую конвергенцию цен на сырье в развитых экономиках в конце XIX в., что может служить лучшим индикатором интеграции транснациональной экономики, чем обычно используемая доля международной торговли в мировом ВВП. Тем не менее это была в большей мере трансатлантическая, нежели глобальная интеграция, которая служила дальнейшему сближению Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии и южной оконечности Латинской Америки и поддерживалась массовой миграцией европейцев через Атлантику. Хотя классическая экономическая теория полагает, что капитал перетекает в места с избыточной рабочей силой, в данном случае белый капитал следовал за белым трудом; раса оказалась сильнее экономической теории. Для большей части мира транспортная революция XIX в. была палкой о двух концах. Она увеличила цены сырьевых товаров по сравнению с промышленными товарами, улучшая условия торговли для периферийных стран и поощряя их переход к экспортно ориентированному сельскому хозяйству. Это способствовало деиндустриализации более развитых стран, особенно Индии. Таким образом, отставание в уровне нацио-

нального дохода на душу населения в периферийных странах усугубилось, возросло неравенство глобальных доходов (J. Williamson 2006).

Британские колонии действительно поучаствовали в буме 1860–1914 гг., когда территории, принадлежавшие империи, практически удвоили международную торговлю немногих независимых стран (Mitchener and Weidenmier 2008)¹, хотя наиболее прибыльные отрасли промышленности и торговли принадлежали гражданам метрополий и большая часть прибыли репатриировалась. Некоторые колонии оказались деиндустриализованы, полагаясь в большей мере на экспорт сырья и продовольственных товаров. Они также все в большей мере поставлялись более богатыми странами обычно в более технологически продвинутых версиях: сахарная свекла вместо сахарного тростника, рафинированные продукты, химические красители вместо натуральных, синтетические волокна вместо натуральных и т. д. Таким образом, это снижало цены на товары из бедных стран по отношению к товарам из богатых (P. O'Brien 2004). Миланович, Линдерт и Уильямсон (Milanovic, Lindert, and Williamson 2011) использовали коэффициент Джини для подсчета того, что они называют *уровнями эксплуатации* — доля прибавочного продукта, идущая элите сверх того, что необходимо для поддержания существования населения. В выборке из тридцати доиндустриальных обществ шесть имели уровень эксплуатации 100%, то есть элиты забирали все излишки. Все это были колонии различных империй, включая Индию и Кению. Тремя другими колониальными примерами в выборке были британский Бихар и два замера для острова Ява в Голландской империи — их уровень составил около 70%. Очевидно, излишки, производимые колониями, шли белой элите и лишь узкому кругу сотрудничавших с ними местных. Доходы колониальной элиты помещают ее в 0,1% самых богатых людей мира даже сейчас! Судя по этим цифрам, *смысл* колониальных империй заключался в эксплуатации.

Наиболее поразительной чертой века империй было появление величайшего глобального неравенства из тех, что мир когда-либо видел, — Великой дивергенции. Белая раса индустриализовалась, а остальные нет, за исключением японцев. В метрополиях империй жизненные стандарты и продолжительность жизни существенно выросли, но лишь крайне незначительно среди коренного населения большинства колоний. Это компенсировалось ростом численности населения, поэтому

1. Митченер уверяет меня в том, что дела британских колоний действительно пошли в гору, даже если исключить из расчетов белые доминионы.

количество людей, живущих в нищете, реально возросло (van Zanden et al. 2011). Начиная примерно с 1860-х гг. торговля между метрополиями и их империями, за исключением белых доминионов и индийских драгоценных металлов, стала вносить пропорционально гораздо более скромный вклад в экономики метрополий, чем раньше. Колонии были слишком бедны, чтобы покупать продукты второй промышленной революции, а развитые страны все больше замыкались на себе (Etamad 2005: 293). Затем неравное развитие сохранялось в период 1914–1950 гг. В это время белая раса глобализировалась, а другие расы были в значительной степени исключены из этого процесса. Экономическая глобализация была не просто раздроблена между империями, она была также расово сегрегирована.

ЖЕМЧУЖИНА В КОРОНЕ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ: ОТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ИНДИИ

Индия была самой ценной колонией, принимавшей больше четверти британского экспорта и большую часть инвестиций, идущих в Азию и Африку. Она позволила Британии ввести золотой стандарт; ее более чем миллионная армия охраняла империю. Ее ВВП рос с 1880 по 1920 г. менее чем на 1% в год, затем прекратился; в 1930-е гг. рост был отрицательным (Roy 2000: 218–223; ср. Tomlinson 1993). В течение 100 лет до получения независимости в 1947 г. развитие в среднем составляло 0,2% в год, в то время как сама Британия переживала рост, который превышал этот показатель в десять раз. Продолжительность жизни в Индии, вероятно, также не росла в отличие от Британии (Международное бюро труда 1938). Не то чтобы увеличивавшееся население съедало весь экономический рост, поскольку рост населения здесь был ниже, чем в самой Британии. Британская политика здравоохранения в Индии также была минимальной. Всякий раз, когда ее более амбициозные реформы противоречили местным практикам, британцы отступали. Таким образом, заключает Арнольд (Arnold 1993), тела индийцев так и не были колонизированы.

Индия была огромной страной, и британцев там было немного. В 1931 г. лишь 90 тыс. британцев относились к экономически активному населению, две трети из них служили в армии или полиции. Две тысячи британских администраторов управляли почти 300 млн индийцев; удивительно то, что им вообще удавалось управлять. Нам не следует преувеличивать их роль, хорошую или плохую. Были ли они повинны в том, что страна

продолжала утопать в бедности, безграмотности и смертности? Британцы не были основными игроками в экономике и не могли устранить барьеры для ее развития, созданные местными социальными структурами (Roy 2000: 262; ср. 1999: 59). Британская политика оказывала незначительное влияние, но было ли оно незначительно полезным или незначительно вредным?

Дадабхай Наороджи был президентом недавно сформированного Индийского национального конгресса. В его известной работе, посвященной подведению экономического итога британского правления в Индии (Naoroji 1887: 131–136), он апеллировал к лучшему в природе британцев. Восхваляя их усилия, он просил только о том, чтобы они выполняли свои обещания. Однако его критика остра и справедлива. Он рассматривал британскую экономическую политику как направленную на раскрытие страны для британского экспорта, который обладал конкурентными преимуществами перед азиатскими товарами. Свободная торговля означала, что Британия может экспортировать промышленные товары в Индию и обменивать их на сырье. Это нанесло ущерб индийской кустарной промышленности, неспособной конкурировать с британскими мануфактурами (Roy 1999; Washbrook 2001; Parthasarathi 2001; Roy 2000: 128). Текстильным отраслям удалось отвоевать свое относительное процветание к 1870-м гг., но стоимость их экспорта была гораздо ниже стоимости экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции (B. Porter 2004: 53). Индийский опыт в судостроении, горном деле, металлургии, которые рассматривались в качестве стратегических отраслей, был подавлен, а железнодорожное оборудование импортировалось из Англии (Arnold 2000: глава 4). Подавление было достигнуто не военной силой, а при помощи манипуляции условиями торговли; эксплуатация была косвенной.

В XX в. наступило некоторое улучшение. Индийские националисты организовали бойкот иностранных товаров, вынудив британцев перейти к защите зарождавшейся промышленности. В 1896 г. индийские заводы производили только 8% индийской одежды, к 1913 г. — 20%, а к 1945 г. — 76% (Maddison 2007: 128). Однако у британцев был свой интерес. Первая мировая война увеличила стратегическое значение Индии, а также потребность в ее защите и прочих государственных расходах. Британцы не хотели повышать земельный налог, поскольку это привело бы к отчуждению землевладельцев, от которых зависело их управление на локальном уровне. Поэтому они обратились к налогообложению импорта, чтобы получить доходы от тарифов, и это также преградило путь немецким и японским товарам. Такие отрасли промышленности, как текстильная, металлургиче-

ская, сахарная и бумажная, получили защиту, поскольку средние тарифы выросли с 5% в 1900 г. до 25% в 1930 г. Они также хотели сэкономить на расходах на Индию, поэтому индийские потребности должны были в большей мере удовлетворяться самими индийцами, а не британцами. Начиная примерно с 1934 г. промышленность в Индии росла, и дальнейшим стимулом для ее развития стала Вторая мировая война. Индия перешла к дирижизму даже до получения независимости, которая действительно стала благом для индийцев (Kohli 2004: 253–254).

Британская фискальная политика, отмечал Наороджи, была призвана перекачивать экспортные прибыли в Лондон. У Индии был огромный экспортный профицит в торговле с другими странами, но огромный дефицит с Британией. Поскольку валютой всей империи был фунт стерлингов, индийская прибыль в размере около 1% национального дохода Индии и около 20% индийских чистых накоплений возвращалась в Британию (Maddison 2007: 121). Это покрывало 30–40% торгового дефицита Британии с другими индустриально развитыми странами, позволяя Британии поддерживать свой платежный баланс, придерживаться золотого стандарта и обеспечивать мир резервной валютой (S. B. Saul 1960: глава 8). Эта политика была дефляционной из-за низких тарифов, высоких обменных курсов (для стимуляции импорта) и значительных военных расходов бюджета. Индия была краеугольным камнем имперской обороны, представляя большую часть боеспособных войск империи, размещенных во всем мире (Darwin 2009: глава 5). Не вывози она индийское богатство и солдат за границу, империя бы не уцелела.

Но Наороджи также признавал, что от британского правления были и выгоды. Начиная с 1900 г. расходы на железнодорожное строительство и порты обычно превышали прямые расходы на оборону, хотя они и использовались для переброски солдат и доставки товаров из Британии и обратно. Ирригационные проекты осуществлялись в основном в Пенджабе, основном месте рекрутирования в армию и расселения военных ветеранов. Томлинсон (Tomlinson 1993: 148–149) пишет: «Административные соображения брали верх над инициативами по развитию... успехи в Индии были преимущественно достигнуты вопреки инерции, выдаваемой администрацией, которая в экономической сфере управляла, руководствуясь смешанными мотивами благожелательного и пагубного пренебрежения» (ср. Misra 2003; Subrahmanyam 2004; Roy, 2000: 243, 252–257, 273). Эти инвестиции были меньше сумм, вывезенных обратно в Британию, хотя железные дороги, как и имперская система мер и весов, общая валюта и договорное право, действительно помогли интегрировать экономику. Средний рост индийцев при британском

господстве увеличился совсем незначительно, как показатель немного улучшившегося здоровья, куда более существенное увеличение роста произошло после того, как Индия получила независимость (Brennan et al. 1997). Интеграция стала недостатком в 1929 г., когда Индия ощутила последствия Великой депрессии (Tomlinson 1993: 69–70), но, как утверждает Лал, в целом интеграция лучше, чем эксклюзия.

Большая часть индийских элит чувствовала себя прекрасно. Еще бы, ведь британцы разделяли с ними эксплуатацию рядовых индийцев. После того как британцы разрушили постмогольские государства, они снизили земельные налоги, что было выгодно землевладельцам. Неравенство в деревнях расширялось, и росло количество безземельных работников. Владельцы собственности также выигрывали от распространения торговли и образования (Maddison 2007: 120ff). В XX в. уровень грамотности удвоился, хотя с настолько низкого уровня, что это увеличение пошло на пользу относительно немногочисленной субэлите. В 1911 г. грамотными были около 5%, в 1947 г. — 11%. Ко времени получения независимости большинство государственных служащих всех уровней были индийцами, англоговорящими индийцами, поскольку английский был единственным языком высшего образования с 1835 г. Английский язык стал лингвистически сплачивающим для элиты мультязычного субконтинента. Это стало троянским конем, породившим национализм, находивший свое выражение на английском.

Однако во время британского правления население чаще переживало массовый голод, который в 1876–1878 гг. унес жизни 6–8 млн человек, в 1896–1897 гг. и 1899–1900 гг. — почти 20 млн. Корнелиус Уолфорд (Walford 1878–1879; ср. Digby 1901) отмечал, что на протяжении этих периодов зерно продолжали экспортировать в Лондон. Эти вспышки голода в Индии были вызваны отчасти природными, отчасти социальными причинами, как показывает Майк Дэвис (Davis 2000: 110–111, 158–159, 172–173). Налоги увеличивали уязвимость крестьян перед засухой. В то время как доколониальные власти корректировали налоговые требования в зависимости от урожая, британцы утвердили постоянные налоги, ставка которых устанавливалась бюрократическим государством метрополии, кроме того, они твердо придерживались утилитаризма и свободной торговли. Отчет комиссии по поводу голода 1878 г. гласил: «Доктрина о том, что во времена голода бедные имеют право требовать помощи... весьма вероятно, приведет к доктрине о том, что они вправе требовать подобной помощи постоянно... что мы не можем рассматривать без серьезных опасений». Вице-король Литтон предупредил своих служащих, чтобы они проти-

востояли «гуманитарной истерии», распорядившись «запретить всякое вмешательство правительства с целью уменьшения цен на продукты питания». Вице-король лорд Керзон заявлял: «Любое правительство, которое подвергнет риску финансовое положение Индии в интересах расточительной филантропии, будет открыто для серьезной критики, но любое правительство, которое, неразборчиво раздавая подаяния, ослабит дух и деморализует самообеспечение населения, будет повинно в преступлении против общества» (M. Davis 2000: 31–33, 162).

Благодаря идеологии *laissez-fair* даже во времена голода зерно продолжало экспортироваться в Англию. Британские потребители, в отличие от индийских, могли позволить себе платить более высокую цену, которую порождал дефицит зерна. Требования о налоговых льготах были отклонены. М. Дэвис (Davis 2000: 22) заключает: «Политика империи по отношению к голодающим „подданным“ была моральным эквивалентом бомб, сброшенных с высоты 18000 футов». Он задается вопросом: «Как можем мы делать самодовольные заявления о спасших тысячи жизней преимуществах парового транспорта и современных рынков зерна, когда миллионы, особенно в британской Индии, легли костью вдоль железнодорожных путей и на ступенях зернохранилищ?» Рынки и железные дороги более эффективно выкачивали продукты питания из голодающих областей из-за большей покупательной способности в других местах. Ирония состояла в том, что населению голодающих областей было бы лучше без железных дорог, так как они могли бы сами потреблять произведенные ими продукты. Как и в случае ирландского голода, правительство считало, что оно не должно вмешиваться в естественное функционирование рынков, которое было предположительно наиболее эффективным для большинства людей.

Лакшми Айер (Iyer 2004) разработал великолепный тест для оценки индийских правителей. После реформ 1858 г. Британия напрямую управляла примерно половиной сухопутной территории и тремя четвертями населения Индии. Остальной территорией распоряжались индийские князья, которые вели свой собственный бюджет. Хотя британцы управляли более процветающими сельскохозяйственными регионами, они создали меньше общественных благ (школ, больниц и коммуникационной инфраструктуры), а местные правители собирали больше налогов, чем британцы. Приведенное различие могло быть результатом разницы в качестве земель, поэтому Айер специально выделил княжеские территории, которые переходили в руки британцев, когда князь умирал, не оставив наследника. С точки зрения экономического развития это был случайный про-

цесс. В перешедших под британскую юрисдикцию регионах также было меньше общественных благ. Таким образом, индийцы пользовались меньшим количеством общественных благ при британском правлении, чем при местных князьях.

После исходной фазы имперского грабежа Британская империя не оказывала существенного положительного или отрицательного воздействия на индийскую экономику, за исключением периодов голода. Одни меры были вредными, другие принесли пользу. В целом имело место лишь незначительное экономическое развитие, от которого выиграли скорее элиты, чем массы. Мы не можем знать, как сложилась бы судьба Индии без британцев. Сохрани она независимость, ее экономическая судьба могла бы быть хуже, как судьба Китая, или лучше, как судьба Японии, если бы Индия сумела войти в мировую экономику на собственных условиях. На момент британского вторжения Индия после империи Великих Моголов была где-то посередине между этими двумя возможностями — ни застойная, ни очень динамичная. Это была бывшая великая цивилизация в упадке, демонстрирующая некоторые ограниченные признаки восстановления. В конце концов именно оживленность индийской промышленности и торговли привлекла европейскую интервенцию; Индия обеспечивала четверть мирового производства тканей. Некоторые местные государства после империи Великих Моголов, такие как Майсур и Маратха, осуществляли модернизацию, развивали имущественное право и медленно индийскую науку (Bayly 1996: 21–38; Arnold 2000: 1–18; Maddison 2007: 130 менее оптимистичен на этот счет). Всему этому пришел конец при колониализме. Поразителен контраст с независимой Индией: средние темпы роста ВВП в Британской Индии составляли 0,1% по сравнению с ростом в 1,7% в Индии после получения независимости. Истерлин (Easterlin 2000: табл. 1) называет 1945 г. поворотным моментом для Индии. Хотя решительный ответ не возможен, наиболее правдоподобным контрфактическим сценарием без британцев было бы несколько лучшее экономическое развитие.

Но существуют также истории колониального успеха. Малайя испытала экономический бум в результате выращивания завезенных туда каучуковых деревьев, которые оказались весьма кстати, чтобы удовлетворить растущий спрос на шины. И хотя большинство плантаций принадлежало британцам и прибыль репатриировалась в Британию, были побочные выгоды для местных жителей. К 1929 г. Британская Малайя имела самый высокий ВВП на душу населения в Азии и обеспечивала рабочими местами тысячи мигрантов из Индии и Китая (Drabble 2000: 113). Западноафриканские фермеры выиграли от какао, за-

везенного из Америки. В Гане африканские крестьяне и торговцы развили быстро растущую промышленность при помощи улучшившейся транспортной инфраструктуры. Действительно, завезенные саженцы были, вероятно, наиболее благотворным результатом империализма, принесшим пропитание и лекарства всему миру. Королевские ботанические сады Кью Гарденс, а не королевская резиденция Уайтхолл были самым добродетельным патроном британского империализма, хотя это могло быть в большей степени следствием страсти британцев к садоводству, а не к самому империализму (Drayton 2000).

Большинство колоний зависело от экспорта одной-единственной сельскохозяйственной культуры или добывающей промышленности, что делало их уязвимыми перед колебаниями цен на сырье. Это способствовало *государствам-привратникам*, где колониальными столицами были портовые города, взимающие налоги на импорт и экспорт и выдающие лицензии, канал между ценными экономическими анклавами и имперским ядром. Шахты и плантации отправляли свои товары за границу напрямую с минимальными дополнительными выгодами для местной экономики, а также прочих располагающихся внутри континента территорий, лежащих за пределами досягаемости логистики правительства (Cooper 2002: глава 1). Наряду с Индией лишь Южная Африка, управляемая белыми, получила в наследство инфраструктуру, которая интегрировала всю страну. Хотя тропический экспорт рос темпами выше 3% с 1883 по 1913 г., это никак не сказалось на жизни большинства производителей, поскольку большая часть хозяйств находилась в собственности европейцев (Reynolds 1985). На излете империи маркетинговые управления по западноафриканскому экспорту действительно перенаправляли налоговые поступления в проекты по развитию, но сельское хозяйство поселенцев вызвало эрозию лесов и общих пастбищ. Количество мировых пахотных земель выросло на 70% между 1850 и 1920 гг. Результатом этого стала частичная занятость в аграрном секторе, которая сдерживала уровень зарплат (Tomlinson 1999: 64–68). Вплоть до 1940-х гг. в Африке имело место лишь незначительное экономическое развитие.

Африка была колонизирована позже Индии, когда британцы в принципе уже были привержены идее развития. Однако африканские колонии были бедны и приносили мало прибыли; власти не расточали на них ресурсы. В 1903 г. Колониальный и Суданский департаменты в Лондоне имели в своем штате чуть более 200 человек, лишь немногие из которых когда-либо были в колониях. В Африке 1200 государственных колониальных служащих были распределены между пятнадцатью колониями; они могли управлять, лишь приспособившись к местным эли-

там. Поскольку попытки введения отношений частной собственности в целом вызывали недовольство, британцы отступали, за исключением тех случаев, когда местные жители подвергались экспроприации в интересах европейских ферм или шахт. Как и во французских и бельгийских колониях, они иногда вводили принудительный труд, поскольку земли было в изобилии, а вот рабочих рук не хватало. Анклавы британской собственности на наиболее ценные ресурсы чередовались с более обширными территориями, где британцы (или французы) «разделяли и властвовали». Особые сложности были с проникновением в исламское гражданское общество на севере континента. В большинстве своем колониализм со временем ослабил свой гнет, как только колониальные власти и поселенцы экспроприировали большую часть ценной земли и научились экономить на правлении через местные элиты. Самые кровавые зверства в целом были зарегистрированы ранее (испанцы на Карибах, британцы в Северной Америке), хотя они также случались и в более поздних империях (бельгийский король Леопольд в Конго, немцы в Юго-Западной Африке, итальянцы в Эфиопии).

Африка в целом отличалась ограниченным экономическим развитием (Maddison 2007: 228). Этемад (Etemad 2007) полагает, что после катастрофической убыли населения в период колониального завоевания население постепенно восстановилось, о чем говорит реальный экономический рост, впоследствии подорванный высокой рождаемостью. Я осуждаю экономические характеристики колоний в период их покорения империей; впоследствии они стали более неоднозначными, хотя между ними также существовали различия: одни были привилегированными клиентами имперских властей, а другие нет. Колониализм, разумеется, не следует винить в Великой дивергенции. Как мы убедились, там действительно присутствовала имперская эксплуатация, но основная причина огромной и растущей экономической дифференциации между Западом и остальными странами лежит во внутренних условиях метрополий и колоний. Запад индустриализовался, остальные, за исключением Японии и ее колоний, нет.

ОТНОШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В КОЛОНИЯХ

Отношения политической власти опять же представляли собой контраст между возникновением общественного и политического гражданства в имперском ядре и в белых поселенческих колониях и подданством в колониальной периферии — ме-

жду национальным государством и империей. Лал и Фергюсон утверждают, что Британская империя обеспечивала «хорошее правительство» в том смысле, что оно было относительно эффективным, с низкими издержками и некоррумпированным. Однако Фергюсон также подчеркивает поощрение британцами представительного правления, что сомнительно для колоний, за исключением белых доминионов (Ward 1976). Ни одна из прочих колоний вплоть до окончания Первой мировой войны не ввела даже ограниченного права голоса на местном уровне. В Азии немногочисленные назначаемые (а не избираемые) представители коренного населения заседали в губернаторских советах, но без какого-либо права голоса по вопросам войны или внешней политики. Этот двойной стандарт по отношению к поселенцам и местным провоцировал постоянное недовольство, и британцы поняли, что им следует управлять более опосредованно, при помощи местных элит после Великого народного восстания в Индии в 1857 г. и пятьдесят лет спустя в Африке (Louis 2001: vii-ix; Crowder 1968). Они выбирали элиты, которых считали традиционными правителями, однако на самом деле британская поддержка делала королей, вождей и высшие касты сильнее, чем они были прежде (Mamdani 1996). Это было отступлением от принципов представительного правления, союзом между британцами и местными высшими классами в целях предотвращения потенциальной националистической оппозиции.

Подобно всем империалистам, британцы утверждали, что империя — благо для местных жителей. Это подразумевало лармаркистскую концепцию социальной эволюции, в соответствии с которой «среда» британского правления должна была возвысить местных жителей. Колониями управляли «по доверенности», «в целях защиты и совершенствования цветных рас». Британское руководство расходилось во мнениях по вопросу о том, насколько такое совершенствование возможно. Томас Маколей заявлял в палате общин: «Общественное сознание Индии, получившись европейскому знанию... может некогда в будущем потребовать европейских институтов». Когда индийский парламент будет наконец учрежден, писал он, это будет «самый славный день в английской истории». Уильям Уилберфорс (лидер движения против рабства) предвидел «постепенное введение наших собственных принципов и мнений, наших законов, институтов и манер, прежде всего как источник любого другого усовершенствования, нашей религии и... морали». Конечно, Британия и сама еще не имела ответственного, представительного правительства (B. Porter 2004: 32–33; B. Porter 2006: 52; A. Porter 2001).

Жизненные стандарты британцев росли начиная с 1870-х гг., а средняя продолжительность жизни резко пошла вверх начиная с XX в. Британцы-мужчины теперь получили политическое гражданство, что уменьшило поток переселенцев. Более того, «цивилизация» империи отныне не означала интеграции местных в существующий социальный порядок, как это было в Римской империи. Даже в конце XVIII в. различия в ВВП на душу населения, жизненных стандартах и уровне смертности по всему миру не были значительными, но они стали таковыми в начале XX в. В 1880-х гг. имели место излияния империалистических чувств по поводу того, что развитие является бременем белого человека. Оно не было угрозой для превосходства ядра над местными жителями колоний, поскольку ядро развивалось намного более быстрыми темпами. Теперь появились представления об опеке над меньшими: Британская империя тянет за собой местных жителей колоний по пути непрерывающегося процесса неравного экономического и политического развития.

Поскольку британское право участвовать в голосовании расширялось, и проимперские, и антиимперские движения пытались углублять понимание империи в сознании широкой общественности. На рабочий класс эта пропаганда особенно не повлияла, а вот средние классы усвоили положительные установки по отношению к империи, рассматривая ее как благотворительное мероприятие, аналогичное помощи нуждающимся на родине. Империализм был патриархальным, возвращавшим «семью» младенческих колониальных наций до достижения зрелого возраста. Британский либерализм обещал им самоопределение по достижении зрелости, но не прямо сейчас. Тем не менее классические либеральные и социалистические работы Джона Локка, Джона Стюарта Милля и Карла Маркса были написаны в универсальном плане, не ограничиваясь исключительно развитыми цивилизациями. Их чтение могло укрепить уверенность грамотных националистов в легитимности их дела.

Давление шло от местных жителей, особенно в Индии. Борьба за реформы в 1880-х гг. привела к допуску индийцев в низшие провинциальные государственные службы (Sinha 1995: 100–101). Недавно сформированные Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига требовали политического представительства. Вице-король лорд Керзон, напротив, отстаивал «традиционную» власть «индийских джентльменов знатных родов и высших каст» в ущерб Конгрессу националистов — классовая стратегия для подрыва национализма. Он также пытался реализовать стратегию «разделяй и властвуй» между индусами и мусульманами, но избрание правительства либералов в Британии в 1906 г. внесло некоторые коррективы, добавив несколь-

ко избранных (на основе ограниченного избирательного права) членов в провинциальные законодательные собрания (Dilks 1969: 239; R. Moore 2001: 435–445; ср. B. Porter 2004: 211–216; Darwin 2009: глава 5).

В Африке ситуация была более разнообразной, но Африканский континент еще больше отставал в своем развитии. Суданская политическая служба управляла большей частью (британской) Африки и оставалась на 100% укомплектованной британцами вплоть до 1952 г. (Kirk-Greene 2000: 248–289). В 1923 г. губернатор Нигерии заявлял: «В стране, подобной Нигерии, которая во многих сферах еще не вышла из варварства, сильное и в некоторых пределах автократическое правление существенно необходимо» (Wheare 1950: 42). Лорд Лугард, теоретик косвенного правления в Африке, писал:

Идеал правления может быть реализован только методами эволюции, которая породила демократию Европы и Америки, то есть посредством представительных институтов, в которых сравнительно немногочисленный образованный класс будет признан в качестве естественного представителя большинства... Вердикт историков и социологов, исследовавших различные национальности... единодушен — эра полной независимости пока не маячит на горизонте (Lugard 1922: 193–197).

В 1938 г. колониальный секретарь Малкольм Макдональд утверждал: «Достижение некоторыми частями колониальной империи самоуправления потребует жизни целых поколений людей, а то и веков. Но именно в этом основа нашей политики, даже среди самых отсталых народов Африки, чтобы научить их и поощрять их к тому, чтобы они могли чуть более крепко стоять на собственных ногах» (Magh 2002: 151). Эти люди мыслили совершенно другими сроками, чем сами отсталые народы.

Некоторые чиновники были скептически на этот счет. Сэр Альфред Лайалл, высокопоставленный чиновник в Индии, видел неизбежное уже в 1882 г., заявляя: «Я не знаю исторических примеров того, как одна нация научила бы другую самоуправлению и независимости; каждая нация сражалась за свое место в мире, как это делали и англичане» (B. Porter 2006: 53). Националисты все больше требовали некоторого самоуправления. Индия видела циклы волнений, забастовок, восстаний, затем репрессий, затем еще больших восстаний и, наконец, уступок. В 1913 г. Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига потребовали полного самоуправления. Первая мировая война повысила легитимность их требований, поскольку сотни тысяч индийцев сражались за империю в Европе и Азии. После массовых демонстраций 1919 г. количество выборных членов провинциальных советов было увеличено, и некоторые

провинциальные министерства были поставлены под их контроль. Кровавая бойня в Амритсаре в 1919 г., устроенная генералом Дайером для подавления демонстрантов, была контрпродуктивной и лишь способствовала популярности и массовой поддержке Конгресса и Мусульманской лиги. Доля индийцев в имперских государственных ведомствах выросла с 5% в 1915 г. до 10% в 1920 г., поскольку в военное время сократилось количество британцев. Из-за небольшой послевоенной эмиграции британцев эта доля продолжила расти, достигнув 42% в 1939 г. (Kirk-Greene 2000: 248–249), усилив националистов больше, чем джентри. В 1935 г. (снова в ответ на бунты) Британия пообещала представительное и подотчетное правление на местном уровне. Националисты отвергли это предложение, требуя полной независимости. Многие британские лейбористы поддержали независимость Индии; большинство консерваторов полагали, что империя просуществует еще долго. Однако Керзон с грустью в этом усомнился: «Перед нами медленно растущее национальное чувство того рода», которое «никогда уже полностью не смирится с иностранным правлением. Все действующие силы и тенденции в целом ведут к расколу, а не к объединению». Он возлагал надежды на «постоянное строительство мостов над расовой пропастью, вечно зияющей среди нас», но иногда сомневался, долго ли все это сможет продолжаться (Dilks 1969: 95, 105).

Индуизм и ислам способствовали сопротивлению. Даже раннее сопротивление могольских джентри и торговцев включало нотки патриотической защиты индийского государства, находящегося под иностранной оккупацией. Некоторое рудиментарное чувство национализма было свойственно подчиненному народу и способствовало возникновению единой индуистской религии/культуры из множества культов и сект. Оно утверждало духовное превосходство над материально превосходящими британцами (Bayly 1996: 345–352; Bayly 2004: глава 6; Chatterjee 1993: 121; Ray 2003). Этот оксидентализм питал национализм Ганди в то же время, когда новый индийский средний класс, получивший образование в британских школах, развил более секулярную идеологию модернизации и реформ. Во всех азиатских колониях консервативная культурная реакция превратилась в национализм, претендующий на то, чтобы быть более современным, чем британский (Gelber 2001: 152–161).

Развитие, хотя и ограниченное и неравное, увеличило численность националистически настроенного среднего класса. По иронии успех империи породил ее собственных могильщиков. В период между двумя мировыми войнами Ганди, Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига возглавили массовые движения. Их сплоченность зависела в меньшей сте-

пени от реальной индийской нации (поскольку индийцы были разделены религиями, кастовыми, этническими и классовыми границами), чем от общего опыта репрессий и расизма, как и в большинстве колоний.

ОТНОШЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В КОЛОНИЯХ

Крупным идеологическим трендом XIX в. был подъем расизма. В предшествующие периоды успешные империи культурно ассимилировали покоренные народы, чему изрядно способствовал тот факт, что они распространяли господство империи на своих соседей, которые мало отличались от них самих. Русские продолжили заниматься этим в XIX в., так что они ассимилировали большинство завоеванных народностей. А вот выходцы из Западной Европы отправлялись за море (через полимира), чтобы столкнуться с «иными», судя по виду, народами, физически отличавшимися от них самих. Они пытались понять эти качества чужестранцев, из которых цвет кожи был наиболее очевидным. Европейцы разделили их на расы, хотя первоначально не в биологическом смысле, поскольку их религия учила, что все происходит от Адама и Евы. Сначала их классифицировали в терминах могущества (власти). Самые слабые расы были «дикими», самые сильные — «цивилизованными», хотя большинство из них рассматривалось как находящееся «в упадке». Объяснения их отсталости подчеркивали географические и социальные факторы, такие как климат, местность, плохое правительство и незнание религии. Но христиане утверждали, что даже самые отсталые обладают разумом и душой: они с нами «одной крови», хотя и нуждаются в том, чтобы указать им свет. Большинство первоначально приписываемых расам различий не считались постоянными. Такая идеология в определенной мере поощряла универсальную глобализацию созвучно ценностям Просвещения. Монтескье использовал примеры интеллигентного персидского посла, а Вольтер — умного индейца племени гуронов для критики собственного французского общества, часто выявлявшей в нем забавные моменты. Как напоминает нам Катценштайн (Katzenstein 2010), цивилизации не единичны, а множественны, и до определенной степени их будущее не предопределено. Сочетание расизма, империализма, ориентализма, христианства и идей Просвещения могло повести в различных направлениях.

Испанцы смешивались и заключали браки с представителями ацтекской и инкской элит. Поначалу совместное прожи-

вание и браки с коренным населением были также характерны для британских поселенцев, но рабство способствовало расизму. Представление о белой расе, по-видимому, сначала появилось в среде американских плантаторов, желавших отделить себя от «черных» рабов и тем самым оправдать свою эксплуатацию (Т.Аллен 1997). Подобный расизм пока еще не был замечен в Азии, где европейцы уважали цивилизации, противостоящие им. Браки с коренным населением, совместное проживание и конкубинат были широко распространены. В 1780 г. одна треть британских мужчин в Индии, которые оставляли завещание, упоминали в нем индийских жен, или спутниц, или потомство от подобных связей (Dalrymple 2002: 34). Однако в 1780-х гг. Ост-Индская компания изменила свою политику, препятствуя смешанным бракам и увольняя с работы сыновей от смешанных браков, которым ранее предоставлялись льготные условия. В 1830-х гг. произошел очередной взрыв расизма в Индии. Кровь и цивилизация с тех пор стали «практически одним и тем же... чистота крови стала обладать ключевым значением для колониального порядка» (Bayly 1996: 219; Sen 2002: 143; Collingham 2001). Сожительство и конкубинат стали рассматриваться как нечто аморальное, и браки за пределами христианского сообщества теперь порицались. Расовая сегментация понизила барьеры среди европейцев, поскольку все они были белыми. Классовое деление между колонистами теперь стало менее значимым, чем на родине. К тому же британцы принесли представление о совершенствовании, материальном и моральном. Британия XVIII в. стремительно совершенствовалась, и по контрасту индуистское и мусульманское общества казались статичными или упадочными. Индийцев осуждали как неисправимых лентяев и коррупционеров.

В Британии расизм был еще не так силен. В «итоговых дебатах об отмене рабства в Британии в палате общин в 1833 г. ни один член парламента не высказался о какой-либо расовой неполноценности африканцев или исходя из нее» (Drescher 2002: 81). В Индии расизм был подорван нуждами косвенного управления. Маколей утверждал: «Лучшим из того, что мы можем сделать, было бы сформировать класс, который был бы переводчиком между нами и миллионами тех, кем мы правим, класс людей, которые были бы индийцами по крови и цвету кожи, но англичанами по вкусам, мнениям, словам и мыслям» (Young 1957: 729). Британцы обучали сыновей джентри, брахманов и прочих представителей знатных родов на английском языке и адаптировали свои классовые различия к традиционным статусам индийского общества. Индийские элиты выглядели цивилизованными, индийские крестьяне нет. Британский

класс и индийская каста сливались, так как князья, брахманы и мусульманская знать стали «предводителями дворянства кастового общества» (Cannadine 2001: глава 4). Хотя в Африке различия между местными жителями казались менее явно выраженными, британцы использовали и их. Князья, знатные семейства, вожди и прочая знать наделялись властью, униформой, медалями и титулами. Косвенное правление опосредовало расу при помощи классов, ограничивая расизм в публичной сфере.

Однако британцы культивировали две соперничавшие местные элиты: традиционную знать и недавно получивший современное образование средний класс (юристов, профессионалов, управленцев), выходцы из которого занимали низшие управляющие должности и с которыми обращались хуже. Недовольство африканцев выливалось в популистский национализм, апеллирующий к народу в целом, игнорируя классовые различия между местными жителями. Британцы были склонны презирать их. Тогда как «джентри» они рассматривали в качестве «естественных лидеров», цивилизованных, воинственных и мужественных; государственных служащих они называли *babus* — унижительным словом, обозначающим «слабый, женоподобный», и насмехались над их чрезмерно правильным высокопарным английским. Африканских потомственных вождей они предпочитали «мальчикам на побегушках». В Судане последних называли «эфенди» на европейский манер и «мальчиками», работавших на британских «мужчин», которые на самом деле были моложе их. В Ираке британцы предпочитали «незапятнанное дворянство» племенных шейхов «ненадежным» городским юристам и политикам националистического толка (Burroughs 2001: 181–182; Cell 2001: 243; Sharkey 2003; Dodge 2003: главы 4, 5). Это было косвенное правление, вырождающееся в стратегию «разделяй и властвуй» — класс против нации.

Расизм продолжал доминировать в частной сфере Индии. Интимная жизнь британцев и местных оставалась разделенной, кастовые и религиозные барьеры усиливали это разделение. Индуистские представления о чистоте сосредоточены вокруг того, кто на ком может жениться и с кем можно принимать пищу; никаких контактов с нечистыми быть не должно. Женщины усиливали частную сегрегацию, поскольку это была их сфера. Высококатусные индуистские и мусульманские женщины устранились из публичной сферы, места ежедневного унижения европейцами, в частную сферу, которую могли контролировать и которая, как они утверждали, воплощала их духовное превосходство над европейцами (Chatterjee 1993: 122–130). Европейцы ввели «сокрытие тела» в свою одежду и манеру держаться, предпочитая индийским одеяниям свободного кроя застег-

нутую на все пуговицы одежду униформенного типа и высокую шляпу сахиба и кринолиновые платья затянутой в корсет мемсахиб. Комфорт был подчинен чопорной формальности, поскольку между средой и телом была возведена «аффективная стена» (Collingham 2001). Местные жители не допускались в социальные клубы, а для европейских женщин не поощрялось заниматься социальной или благотворительной работой с бедными, что многие делали в метрополии. Межрасовые браки стали реже; к 1900 г. табу запрещало британскому мужчине водить дружбу с индийской женщиной. В Африке британцы (и французы) принимали законы против смешанных браков. Лишь немногие британцы в Индии и Америке, за исключением зон поселенцев, рассматривали свое пребывание в качестве постоянного; если они могли себе это позволить, они отдавали своих детей в британские школы. Перемещения между ядром и периферией сделали из них культурных гибридов, «страдающих за империю», боявшихся, что их дети усвоят индийские обычаи. Чувство незащищенности небольшого белого сообщества, окруженного 300 млн индусов и мусульман, не способствовало хорошим отношениям (Procida 2002: 97–100, 195–198; Buettner 2004).

В конце XIX в. набрал обороты биологический расизм. Казалось, что «расовая дегенерация» объясняет застойность и отсталость обществ. Случайных сексуальных связей и интербридинга следовало избегать, к этому добавились патриархальные модели. Цивилизованные расы, которые в военном плане уступали европейцам, были «женоподобными», а более отсталые — «подобными детям». Сэр Лепель Гриффин, высокопоставленный британский чиновник в Индии, смешал расизм и патриархат совершенно блестящим образом, заявляя:

Характеристики женщин, которые делают их непригодными для публичной жизни и связанных с ней обязанностей, присущи их полу и достойны уважения, ибо быть женственной — наилучшая похвала для женщины, как и быть мужественной — худший упрек для нее. Но когда мужчины, такие как бенгальцы, не пригодны для наделения политическими правами, поскольку обладают по сути женственными характеристиками, им следует ожидать презрения со стороны более сильных и храбрых рас, сражающихся за те свободы, которые завоевали или сохранили (Sinha 1995; ср. с Sen 2002; Stoler 2002: 78).

Патриархальный расизм имел тенденцию превращать косвенное управление в сегрегационный апартеид. Коренные африканцы рассматривались как более примитивные, но они становились христианами, поэтому социальный дарвинизм никогда не мог одержать полной победы над ламаркистскими и христианскими представлениями об улучшении. Через обращение

в христианство и развитие расовые различия теоретически могли быть преодолены. Миссионерские школы также обеспечивали грамотность, возможно, основное благо империи. Миссионеры пользовались куда меньшим успехом среди мусульман, индуистов и буддистов. Если бы римляне завоевали многочисленный народ, обладавший соперничающей религией спасения, они, вероятно, тоже столкнулись бы с трудностями. Они и так хлебнули достаточно горя с миноритарной сектой — иудеями.

Расизм в частной жизни затруднял идентификацию местных жителей с империалистами. Многих из них британская цивилизация прельщала, но в социальном и расовом плане белые их отторгали. Некоторые были лояльны потому, что их привилегии зависели от британцев. Но расизм, который испытал на себе и в частной, и в публичной сфере новый средний класс, воспрепятствовал британской и французской империям вступить на путь культурной ассимиляции, характерный для Римской империи и ханьского Китая. Хотя экономические, политические и военные отношения власти способствовали формированию расизма, главное влияние проистекало из идеологии, поиска британцами объяснения цивилизационных различий, профильтрованного через существовавшие тогда в Британии идеологии. Самым важным в расизме был его результат, поскольку это последняя идеология, которой империалистам следовало бы придерживаться! Неспособность колонизированных ощутить себя британцами или быть принятыми в качестве британцев (или французов) с необходимостью обрекала на провал проект кросс-этнического классового союза, особенно когда экономическое развитие и политическая репрезентация стали набирать обороты, поскольку все это усиливало национализм средних классов. Европейский империализм содержал в себе фатальное противоречие: хотя идеология расизма могла привести к увеличению сплоченности белых колонистов, дорогой ценой этой сплоченности была потеря легитимности в глазах местных жителей. Расизм был самоубийством империи.

Империя в целом не приносила выгод местным жителям. Командные высоты военной, политической и экономической власти были заняты европейцами, которые в возрастающей степени обосновывали это расистской идеологией, проявлявшейся по большей мере в частной, чем в публичной сфере. Неудивительно, что местные жители были недовольны и сопротивлялись этому. В целом я заканчиваю свое повествование на позициях, близких скорее постколониальному негативизму, чем проимпериалистическому энтузиазму. Новые колонии приобретались огнем и мечом. После наведения порядка издержки для местного населения сокращались, хотя преимущества редко

были выдающимися. Мир скорее должен поблагодарить Британию за ее сельскохозяйственную и промышленную революции, науку и ботанику, а не за ее империю. Хотя Британская империя была относительно мягкой по сравнению с прочими, миру было бы гораздо лучше без нее. Мир по-прежнему оставался расколотым в большей мере, чем двигался по направлению к единой мировой системе; трансконтинентальная интеграция по большей части ограничивалась белыми людьми на различных континентах.

ОСЛАБЛЕНИЕ ИМПЕРИЙ

Британской империи потребовалось 400 лет, чтобы расширить свои владения до максимальной отметки, и всего 40 лет, чтобы рухнуть. Европейское господство было недолгим; заморские империи было трудно интегрировать, белые поселенцы требовали представительного правления, а в остальных случаях расизм препятствовал ассимиляции. Две мировые войны нанесли последний удар. Индия отправила 1,2 млн солдат на помощь Британии в первой войне и 2 млн во второй. Участие в войне порождало политические требования, аналогичные выдвигавшимся в самой Британии. В ответ на них были неявно обещаны реформы самоуправления после окончания войны. Один индийский националист преждевременно возликовал, что первая война «отправила Индию на пятьдесят лет вперед». В 1917 г. сэр Эдвин Монтегю, либеральный государственный секретарь по делам Индии, стремясь «остановить дальнейшую утрату поддержки умеренных», пообещал «ответственное правительство» (В. Porter 2004: 232–234). По окончании войны осмелевшие демобилизованные солдаты присоединялись к учителям, юристам, профсоюзным деятелям и государственным служащим, формировавшим националистические движения в колониях. Возвышение Японии вдохновило сопротивление среди азиатских народов. В 1917 г. президент Вудро Вильсон привел их в восторг, когда заявил: США вступают в войну, чтобы гарантировать, что «каждый народ имеет право выбирать, при какой власти жить». В тот же самый год настроенные против колониализма большевики захватили власть в России, вдохновив прочих радикальных националистов по всему миру.

Первая мировая война обернулась поражением Германии, которая потеряла свою небольшую империю. Она принесла победу Британии и Франции, которые отреагировали на турбулентные последствия в их куда более крупных империях сочетанием репрессий и прагматического приспособления к ну-

ждам местных элит. Управление американскими колониями по-прежнему оставалось более мягким. Япония также вышла победителем в этой войне и энергично взялась за свою более непосредственно управляемую империю, которую я рассмотрю в главах 4 и 12. А вот выгоды для местных жителей европейских империй были минимальными, за исключением белых в доминионах и Ирландии. Послевоенное урегулирование принесло с собой дальнейшее предательство местных жителей, так как некоторые колонии проигравших держав были переданы победителям. Вудро Вильсон не смог включить заявление в поддержку самоопределения в устав Лиги Наций, а Япония не смогла получить ни одного голоса, включая голос Вильсона, в поддержку пункта о расовом равенстве — это угрожало и империям, и демократической партии Вильсона. Великие державы сговорились поддерживать империализм на плаву.

Националисты в колониях в основном считали, что их предали после окончания войны. Их было немного, но империи создавали своих собственных могильщиков. По мере того как местные жители становились более образованными и урбанизированными, они впитывали больше официальной идеологии империи — либерализма (британского) и секулярного республиканизма (французского). Контраст между этими идеологиями и реалиями эксплуатации и расизма империй был очень резким, что стимулировало сопротивление.

Военно-воздушные силы обеспечивали дешевый и эффективный инструмент репрессий, сводя при этом собственные потери к минимуму. Когда Британия столкнулась с арабо-курдским восстанием в 1920 г., иракские деревни бомбили и травили горчичным газом. Это вызвало ужасные опустошения и вынудило большинство сельских лидеров капитулировать. Когда новости о жертвах бомбардировок в конце концов просочились, колониальный секретарь Уинстон Черчилль заявил: «Я не понимаю этой щепетильности по поводу использования газа. Я решительно поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племен [для] распространения сильного ужаса». Военно-воздушные силы рассматривались британцами как «однозначно нравственный инструмент социального контроля» против «полуцивилизованных». Это предвещало появление *перекладывающего риски милитаризма* с собственных сил на солдат и гражданское население противника. Но когда бомбежки прекратились, британцам пришлось обратиться к косвенной стратегии «разделяй и властвуй», точно такой же, какую применяла до них Османская империя и недавно американцы. Британцы обратились к хашимиту Фейсалу, оставшемуся не у дел королем Сирии в изгнании, посадили его на трон

с опорой на его городских суннитов и племенных шейхов, чтобы управлять шиитами, курдами и суннитскими крестьянами (Dodge 2003: глава 7). Это посеяло семена последовавшего этнического/религиозного угнетения, которое довели до конца Саддам Хусейн и американцы.

Тем не менее на Западе возникло широко распространенное ощущение, что империи вскоре могут оказаться чем-то устаревшим. Ценности эпохи Просвещения, американской и французской революций, получали новую глобальную интерпретацию в свете имперского и расового угнетения. Даже в метрополиях империй это вызывало идеологическую неловкость. В период между двумя мировыми войнами лишь Япония и Италия все еще приобретали колонии и имело место широкое осуждение их зверств, хотя последние были не страшнее тех, что творили прежние империи. Либералы и социалисты все больше рассматривали империю как приемлемую, только если она относительно мирная и ведет к развитию. Распространялись идеи принесения цивилизации коренным народам и их ассимиляции. Идеи ассимиляции получили широкое распространение среди администраторов французской империи в начале XIX в., однако это привело бы к созданию афро-французского народа, превышающего численность населения Франции. Это с очевидностью было неприемлемо для Франции, поэтому ассимиляция была нацелена лишь на образованное или *метисское* меньшинство. В более широком плане проводимая политика изменилась в сторону *association* — французский термин для обозначения косвенного правления. В мусульманских регионах французская империя полагалась на определенных эмиров, братства и секты, чтобы подавить остальных — политика разделяй и властвуй (Betts 1961; Conklin, 1998; D. Robinson 2000). В 1920-е гг. французские и британские колониальные служащие лоббировали увеличение фондов на развитие, но правительства отвечали, что не могут позволить себе сорить деньгами. Риторика шла на много легче, и Британская империя теперь была провозглашена «Содружеством», воплощающим «свободу, толерантность и прогресс» (B. Porter 2005: 312). Теперь империя должна была быть «хорошей», что было трудновыполнимым требованием. В конечном итоге подстегиваемый расизмом национализм возторжествовал. В 1939 г. казалось, что на то, чтобы сбросить иго империй, уйдет еще много времени, но затем началась Вторая мировая война и с империями было покончено.

ГЛАВА 3

Америка и ее империя во время прогрессивной эры, 1890–1930 годы

КОГДА после Второй мировой войны Соединенные Штаты стали доминировать, их институты приобрели глобальную значимость, поэтому львиную долю внимания в этом томе я уделю им. Сегодня Соединенные Штаты являются самой капиталистической державой, а также единственной из уцелевших империй. Обе характеристики имеют глобальный резонанс. Наиболее избитым выражением для объяснения этого является *американская исключительность* — утверждение о том, что США уже в течение долгого времени отличаются от любой другой страны. В последующих главах мы убедимся, что это огромное преувеличение, за одним-единственным исключением — рас. Но в целом это выражение сегодня больше соответствует действительности, чем в прошлом. В этой главе я исследую Соединенные Штаты изнутри и снаружи: изнутри я рассматриваю особое прогрессивное движение за реформы даже в то время, когда США присоединялись к западному империалистическому клубу — очень запутанная история.

Американцы не любят, когда их называют империалистами. Разве отцы-основатели и Конституция не зажгли свет свободы для всего мира? Разве Штаты не играли ведущую роль в борьбе против фашизма, коммунизма и прочих империй? Соединенные Штаты, утверждают они, вдохновляют свободу, а не империю, их зарубежное вмешательство также помогает другим народам достичь свободы: это «вильсоновский интервенционизм», а не империализм. Американцы отрицают наличие империи потому, что Соединенные Штаты начинали с создания империи путем завоеваний на своем континенте, затем на своем полушарии, а в конце концов достигли практически глобального доминирования. После континентального этапа прошли три направленные вовне имперские волны: одна после 1898 г., вторая после 1945 г. и третья, неудавшаяся, приходится на начало XXI в. В этой главе я сфокусируюсь на волне 1898 г. Я не буду рассматривать американское вмешательство в Восточной Азии,

которое будет затронуто в главах, посвященных Китаю и Японии. Участие Америки в Первой мировой войне обсуждается в главе 5.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИМПЕРИАЛИЗМА: КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ, 1783–1883 ГОДЫ

На первом этапе белые американцы завоевали и заселили то, что известно сейчас как континентальная часть Соединенных Штатов. Поскольку штаты отныне интегрированы как одна страна, эти действия не рассматриваются как империализм. В конце XIX в. термин «империя» действительно обозначал исключительно заморские завоевания. Тем не менее фаза покорения континентальной Америки на самом деле была самой кошмарной, поскольку обездолила и убила более 95% из 4–9 млн коренных жителей. Большинство из них погибло от эпидемий, однако к этому относились с бессердечным равнодушием, перемежавшимся вспышками преднамеренных убийств. Темпы этноцида и геноцида ускорились, когда Соединенные Штаты добились независимости от Британии, а Калифорния и Юго-Запад были насильно отобраны у Испании и Мексики. Подобное ускорение происходило в Австралии и в меньшей степени в Канаде, Новой Зеландии и Южной Африке, когда белые поселенцы получали самоуправление. Практически повсеместно поселенцы были более смертоносными, чем колониальные или церковные власти — чем больше самоуправления де-факто получали поселенцы, тем больше убийств они совершали. Я подтверждаю все это документально в книге *«Темная сторона демократии: объясняя этнические чистки»* (Март 2005: глава 4). Для Соединенных Штатов этот этап был этапом нормального поселенческого колониализма — захват земли без местных жителей. В этом захвате не было ничего от вильсонизма или гуманизма, не так уж много от ценностей Просвещения, он также не был чем-то особенным, за исключением масштабов насилия. Поселенцы также импортировали рабов из Африки; после того как в Британской империи в 1833 г. рабство было отменено, Соединенные Штаты стали основным домом рабства, за исключением самой Африки. Таким образом была создана своего рода расовая иерархия: цивилизованные белые наверху, затем находившиеся в упадке латиносы, далее примитивные афроамериканцы, затем дикие коренные народы Америки. Это имело последствия для второго этапа империализма США, когда схожие расовые группы столкнулись друг с другом в своем полушарии.

К 1883 г. поселенцы достигли Тихого океана и расширение границ окончилось, завершая первый этап империализма. Ни одна из великих держав не угрожала Соединенным Штатам. Британская империя была основным соперником на полушарии, но она была настроена дружелюбно и разделяла англосаксонскую идентичность. Американская доктрина Монро 1823 г., предостерегавшая другие державы от вмешательства в дела Западного полушария, могла проводиться в жизнь лишь с помощью королевского флота. Соединенные Штаты пока еще не осуществляли экспансии за границу. Конгресс не хотел голосовать за введение налогов на военные нужды и увеличение численности армии, которая, за исключением резкого роста во время Гражданской войны, была небольшой, достаточной только для устрашения индейцев, мексиканцев и бастующих рабочих. В 1881 г. флот состоял всего из 50 кораблей, по большей части устаревших. Государственный департамент был сосредоточен на торговле, которая в основном осуществлялась при помощи иностранных кораблей. Если бы на этом американский империализм пришел к концу, это был бы Европейский союз XIX в. — милый и безобидный.

В рамках этого периода, с 1880-х гг. до Первой мировой войны, образ американской исключительности был сфокусирован на двух предположительных внутренних отличиях от европейских стран: отсутствии социализма и слабом государстве. Книга Вернера Зомбарта «Почему в Соединенных Штатах нет социализма?» (1976) была классическим выражением первого отличия. Зомбарт противопоставлял Америке Германию, свою родину. В Америке было немного социализма, а в Германии — предостаточно, но исключением была именно Германия, а не Соединенные Штаты. Ни в одной другой стране того времени не было столь широкого марксистского движения. Страны типа Швеции, Дании и Австрии позднее обзавелись более слабыми марксистскими партиями, но они не шли ни в какое сравнение. Поскольку Соединенные Штаты были изначально заселены в основном выходцами с Британских островов, следовало бы ожидать больше культурных и институциональных сходств с британцами и ирландцами, чем с немцами и скандинавами. Можно было бы ожидать большего сходства с Канадой, Австралией и Новой Зеландией, также англоговорящими поселенческими обществами. Но ни в одной из англоговорящих стран не было заметного социализма, и их рабочие движения открыто отвергли марксизм (Bosch 1997, McKibbin 1984). Соединенные Штаты не обладали никакой исключительностью в плане отсутствия социализма, сравни мы их с похожими странами. Тем не менее можно перефразировать вопрос Зомбарта,

поскольку Соединенные Штаты в некоторых отношениях отличались от прочих англоговорящих стран. Эти страны развили «либ-лаб» (lib-lab) политику, объединившую старые либеральные традиции с развивающимся рабочим движением. В Британии, Австралии и Новой Зеландии «либ-лаб» политика проводилась лейбористскими партиями несоциалистического толка, достаточно могущественными, чтобы сформировать правительство. В Канаде и Ирландии существовали лишь небольшие лейбористские партии, исполнявшие эпизодические роли в коалиционных правительствах. А вот в Соединенных Штатах никогда не было серьезных лейбористских партий. В этом смысле США являются крайностью среди англосаксов. Поэтому вопрос об исключительности должен звучать следующим образом: «Почему не было „либ-лаб“ традиции», за исключением возникшей в рамках «нового курса».

Были ли Соединенные Штаты исключительными в смысле слабости их государства? К счастью, как и прочие англосаксы, они были слабы в том, что касалось *деспотической власти*, способности и возможности правителя отдавать команды без рутинного консультирования с подданными/гражданами. Американская конституция спроектировала институты с открытой целью воспрепятствовать появлению и монарха/диктатора, и власти толпы. Она разделяла и распределяла полномочия между федеральным правительством, правительствами штатов и местными правительствами; исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти; в рамках исполнительной ветви между выборными и назначаемыми чиновниками; в рамках законодательной власти между сенатом и палатой представителей. Сама степень разделения властей действительно исключительна среди современных государств.

Однако *инфраструктурная власть* Соединенных Штатов, их способность проникать на территории и добиваться исполнения отданных распоряжений не была низкой, хотя и рассредоточивалась на территории федерации. Мы можем примерно оценить ее в плане доли ВВП, потребляемой правительством на всех уровнях — федеральном, уровне штата и локальном. По этим меркам правительство США XIX в. существенно отставало от основных европейских стран в силу небольшого размера своей армии. Если учитывать только гражданские расходы правительства, то они были лишь незначительно меньше — все американские правительства потребляли 7% ВВП по сравнению с 8% в Великобритании, 9% во Франции и 10% в Германии (Манн 1993 табл. 11.3–11.4). В терминах инфраструктурной власти она была достаточно сильной для своих целей (Novak 2008), и Левиафан был деятелен.

ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Учитывая размер, изобилие природных ресурсов, умеренность климата и освоение европейцами, Соединенные Штаты обладали всем необходимым, чтобы стать великой экономической державой. Они были крупнее всех прочих держав на континенте, богаты ресурсами, с плодородными почвами и полезными ископаемыми, расположенном в тысячах миль от любого агрессора. С самого начала американцы лучше питались, были выше ростом и обладали хорошим здоровьем и большей продолжительностью жизни, чем европейцы, что делало Америку самым притягательным для мигрантов местом в мире. Они прибывали туда миллионами сначала с Британских островов и из Северо-Западной Европы, затем из остальной Европы, Латинской Америки и Азии. Мигранты были моложе, образованнее и предприимчивее тех, кто оставался на родине. Здесь были целые трудолюбивые сообщества, спасавшиеся от преследования, — пуритане, евреи и средние классы, проигравшие от революций на Кубе, в Иране и Вьетнаме. Основным обещанием Нового Света была свобода, которая включала религиозную толерантность, политические свободы и экономическую инициативу. Ассоциация гражданской и политической свободы с капитализмом продолжала импонировать все новым волнам мигрантов и стало характеристикой американской идеологии.

Все, что требовалось для процветания человеческого капитала на фоне такого природного изобилия, делало правительство, готовое потворствовать эксплуатации природных и человеческих ресурсов, развивать хорошие коммуникации на огромном континенте с крошечным населением и держать иммиграционную политику открытой. Недостаток рабочей силы мог в таком случае быть компенсирован использованием богатых природных ресурсов вместе с импортируемым капиталом для целей механизации и повышения производительности труда. Полагание на трудосберегающие, капиталоемкие и ресурсоемкие технологии и было американским путем. Недостаток квалифицированного труда подстегивал стандартизацию промышленных технологий, таких как заменяемые части машин, которые позволяли распространять технологии между отраслями, а также массовое производство, основанное на декомпьютеризованном труде. Государственные геологические службы занимались разведкой природных ресурсов, и правительство обладало властью передавать предположительно целинные земли для эксплуатации. Капитал приходил в основном из Британии, поскольку доходность была высокой и британцы были родными и близкими

людьми. Соединенные Штаты обладали уникальным преимуществом в эпоху индустриализации, будучи величайшим грабителем природных ресурсов, развивающим промышленность, отходы которой возвращались обратно в природу, рассматривавшуюся в качестве бездонной выгребной ямы. В использовании природных ресурсов Америка была чрезвычайно расточительной на всех этапах производственной цепи (Abramowitz and David 2001: 42–44). Это рассматривалось как признак американской силы, теперь это рассматривается как ее порок. Однако к 1910 г. Соединенные Штаты были величайшей промышленной страной с самым большим населением. Однако то, что они станут великой военной державой, не было столь неизбежным — для этого требовались определенные условия.

Федеральное правительство субсидировало и регулировало коммуникационные инфраструктуры, такие как почта, телеграф и телефон (John 1997); штаты и местные власти спонсировали и выдавали землю для строительства железных дорог и каналов. Это не было *laissez-faire*; ограничений иммиграции не было вплоть до 1882 г. Впоследствии, несмотря на ограничения, связанные с островом Эллис, — законы, практически полностью запрещавшие иммиграцию азиатов, а также установление юго-западной границы, — иммигрантская политика преимущественно оставалась открытой. Человеческий капитал совершенствовался через образование и государственные меры здравоохранения. К 1890 г. Соединенные Штаты были в верхнем эшелоне стран по расходам на образование и доле детей, получавших начальное и среднее образование (Lindert 2004: глава 5). С 1862 г. государство даровало земли для создания университетов, которые должны были «обучать областям знания, связанным с сельским хозяйством и инженерными искусствами». По доле государственных служащих, включая правительства штатов и местные правительства, США занимали третье место среди 14 стран с крупным госаппаратом — самый крупный был в Соединенном Королевстве, за ним следовали Нидерланды (Tanzi and Schuknecht 2000: 25–26).

Стремительная урбанизация XIX в. в Соединенных Штатах, как и в прочих индустриализирующихся странах, привела к росту уровня смертности в основном вследствие эпидемиологических заболеваний. В 1890-х гг. городские власти улучшили защиту, фильтрацию и хлорирование воды; установили отдельные системы канализации; улучшили гигиену в госпиталях; стандартизировали пастеризацию молока и условия хранения мяса. Сокращение уровня смертности в городах начиная с последней трети XIX в. и до Второй мировой войны почти наполовину объяснялось этими мерами. Вторая промышленная революция,

увеличившая покупательную способность и улучшившая рацион питания,— вторая половина объяснения. Результатом было более здоровое и рослое население, способное усерднее работать руками и головой (Floud et al. 2011). В плане развития, пишет Новак (Novak 2008: 758), «рука государства была видна везде». Инфраструктурная власть правительства проникала во все уголки этой страны, занимавшей целый континент. Это не было инфраструктурно слабое государство, хотя его федеральный уровень и был небольшим. Поскольку глобальными соперниками Америки были широко раскинувшиеся заморские империи, которые тяжело интегрировались, инфраструктурная власть США над своими внутренними территориями была действительно больше.

В 1870-х гг. началась вторая промышленная революция, базировавшаяся на технологических инновациях, которые заработали в полную мощь в начале XX в. В центре ее были высокотехнологичные отрасли: химическая, сталелитейная, горная — все они использовали электричество и двигатели внутреннего сгорания — две «технологии общего назначения», которые распространились во всей экономике. Полвека непрерывных научных и технологических открытий, которые доминировали в XX в. (Smil 2005), положили начало эпохе «высоко консенсусной науки, быстро совершающей открытия», названной так Коллинзом (Collins 1994). Эти открытия, воплощаясь в технологиях труда, изменили капитализм и мир. Именно поэтому Шрёдер (Schroeder 2011) хочет сделать науку и технологию третьей частью свой триады современных институтов наряду с рыночным капитализмом и государством. Большинство открытий было совершено не ремесленниками-любителями и джентльменами-учеными первой промышленной революции. Теперь наука обладала некоторой институциональной автономией в университетах и прочих научных учреждениях, и результаты исследований представлялись для тщательного рецензирования другими учеными. Тем не менее открытия, полезные для технологического и коммерческого использования, исходили в основном из новых исследовательских подразделений больших капиталистических корпораций и богатых спонсоров, надеявшихся основать корпорации при помощи национальных патентных систем, передающих права собственности изобретателям. В условиях жесткой международной конкуренции каждое небольшое технологическое усовершенствование должно было подтверждаться патентом, закреплявшим право собственности на научную и технологическую инновацию вследствие нового патентного права.

Именно вторая промышленная революция открыла Шумпетеру глаза на то, что уникальным даром капитализма явля-

ется способность порождать «созидательное разрушение». Для него «созидательность» проистекала из «конкуренции, вызываемой новым сырьем, новой технологией, новым источником снабжения, новым типом организации... конкуренции, которая устанавливает решающие преимущества в плане издержек или качества и которая наносит удар не по предельным значениям прибылей и выработки существующих фирм, но по самим их основаниям и самому их существованию». Он не учитывал лишь степень государственного участия в создании некоторых новых технологий (особенно железнодорожного строительства) плюс расширение патентных прав, что делало инвестиции в новые технологии более предсказуемо прибыльными. «Разрушение» происходило по мере того, как новые средства производства уничтожали текущие рыночные позиции, забраковывая существующие товарные запасы, идеи, технологии, навыки и бизнес-модели. Таким образом, капитализм «в возрастающей мере революционизировал экономическую структуру *изнутри*, беспрестанно разрушая старую и создавая новую. Этот процесс созидательного разрушения является сущностью капитализма. Это то, из чего состоит капитализм, и то, в чем каждая капиталистическая фирма должна жить» (Schumpeter 1942: 82–85).

На самом деле это была вторая стадия созидательного разрушения капитализма. Первая, произошедшая в конце XVIII — начале XIX в., создала сельскохозяйственную и промышленную революции в процессе разрушения большей части сельскохозяйственной рабочей силы. Вторая была сосредоточена вокруг корпоративного капитализма, преимущественно потребляющего уголь, создавшего массовое промышленное производство и возрастающую производительность, а также сельского хозяйства, и промышленности, распространявшихся в развитых странах в новом веке. Производительность сельского хозяйства продолжала расти, обеспечивая лучший рацион питания с большим количеством потребляемых калорий. И все же в то время рост производительности не увеличивал реальные зарплаты и не стимулировал массовый потребительский спрос. Капитализм сослужил прекрасную службу для улучшения рациона питания, в меньшей степени он сделал то же самое для роста зарплат. Тем не менее вопреки всем несовершенствам и колебаниям он был пионером беспрецедентного уровня экономического развития.

Я приведу некоторые из основных запатентованных открытий. Фон Либих использовал неорганические материалы, обеспечивающие растениям питательные вещества, которые вели к сохранению азота, азотистых соединений и сульфатов аммония. Эти новые удобрения, увеличившие производительность

сельского хозяйства, возможно, помогли избежать мальтузианского кризиса в начале XX в., в противном случае численность населения могла бы превысить сельскохозяйственные возможности его накормить. Вместо этого продукты питания подешевели, а калорийность питания, продолжительность жизни и приток рабочих в промышленность из сельского хозяйства возросли. Синтетическая химия также изменила войну, запустив массовое производство взрывчатых веществ и ядовитых газов. Эти открытия свидетельствуют о центральном месте химической промышленности на этом этапе капиталистического развития. Двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель и электричество способствовали росту машиностроения, автомобилестроения, строительства грузовиков и танков. Они увеличивали транспортировку товаров, развивая рынки на более обширных географических территориях. Они также увеличили смертоносную мощь государств — отличительную черту XX в. Лампы накаливания и неоновые огни, железобетон, беспроводной телеграф и телефон, алюминий и нержавеющая сталь, рентгеновское излучение, радиоактивность, синтетический аспирин, а также кондиционирование воздуха — все это быстро превратилось из изобретений в полезные коммерческие технологии, увеличившие коллективную экономическую власть (Smil 2005), а также прибыли тех, кто инвестировал в них.

Научные открытия делались во многих странах, но Соединенные Штаты и Германия лидировали в том, что касалось доведения их до рынка. Германия изобрела исследовательские университеты, а Соединенные Штаты лидировали в электрификации рабочих мест и сборочных линий, а также в моторизованном транспорте. Эти могущественные инструменты служили интенсификации производства и рынков. Соединенные Штаты обладали более крупным внутренним рынком и огромными природными ресурсами, особенно углем, который до Первой мировой войны обеспечивал 90% топлива для нужд промышленности во всем мире. Действительно, он оставался основным источником энергии на протяжении этого периода, хотя потребление природного газа, гидроэлектроэнергии и особенно нефти после войны выросло. Лидерство американцев не было обусловлено размером их корпораций, поскольку Европа обладала сопоставимыми по размеру корпорациями (Hannah, неопубликованная статья). Оно было обусловлено их большей производительностью, порождаемой ресурсоемкими технологиями и улучшением человеческого здоровья. Флоуд с коллегами (Floud et al. 2011) подчеркивает самоусиливающуюся последовательность: здоровый работник мог не только лучше работать,

но и лучше соображать, увеличивая тем самым уровень технологических изменений, которые, в свою очередь, улучшали его здоровье и рацион питания, позволяя работать еще продуктивнее. Это происходило во всех развитых странах, но Соединенные Штаты лидировали и сохраняли лидерство на протяжении всей первой половины XX в.

Все это также увеличило масштабы организации капитала и труда, интенсифицировало связи между промышленным и финансовым капиталом. В 1915 г. Гильфердинг назвал это «организованным капитализмом», Чендлер (Chandler 1977) — замечной «невидимой руки» рынка на «видимую руку» корпорации, объединявшей в себе массовое производство и координацию различных отраслей — научно-исследовательских, производственных, маркетинговых и т. д. В развитых экономиках рост масштаба продолжался вплоть до 1970-х гг. Результатом этого была «массификация» рабочей силы на крупных производственных единицах и осуществление контроля за ней при помощи более жесткой бюрократической иерархии. Независимые ремесленники потеряли большую часть своей самостоятельности, когда были превращены в квалифицированных или полуквалифицированных наемных работников таких корпораций. Разумеется, они протестовали, подпитывая тем самым рост профсоюзов, точно так же как ужесточение национальных государств питало рост социалистического и «либ-лаб» сопротивления.

Бюрократические и иерархические корпорации управлялись указами сверху на каждом уровне их организационной схемы. В этом смысле они подобны любому деспотическому режиму, тем не менее отношения между корпорациями регулировались преимущественно рынком, продолжая «освобождать» рыночный капитализм от традиционных ограничений сообщества. Поланьи (Polanyi 1957) считает, что так было только на этапе до 1940-х гг., когда сообщества выступили против жестокости рынков и «вновь встроили» их. Шрёдер (Schroeder 2011) не согласен с этим, полагая, что рынки устояли и даже расширили свою власть. В этом томе я намереваюсь обрисовать контратаку с позиций Поланьи, оставив вопрос о том, насколько успешной и постоянной она была, для тома 4.

Вторая промышленная революция превратила Америку в крупнейшую национальную экономику, хотя она и не была доминирующей в глобальном масштабе. Ее рынки были преимущественно внутренними, защищенными высокими тарифами. Хотя финансовый капитал продолжал расти, Америка все еще была объектом британских иностранных капиталовложений, а также частью североатлантического сегмента мировой экономики.

Также росло и государство, и этот рост продолжался до 1970-х гг. Экономическое наверстывание зависело от копирования или адаптации новых технологий и типов организации, а государства обладали всем необходимым для координации интеллектоемкого, капиталоемкого и инфраструктурного развития. Поэтому «догоняющее развитие» было более этактистским, чем развитие промышленных пионеров, как мы сможем увидеть на примере Японии. Относительная сила и определенная смесь корпораций и государств — экономической и политической власти — варьировались во времени и в пространстве, и различия в их взаимодействии помогли структурировать не только отношения экономической власти, но и внутренний политический процесс и геополитику.

Американские корпорации были очень сильны в политическом отношении, их господство выражалось в альянсе между северо-восточным промышленным бизнесом и Республиканской партией. Они были приверженцами золотого стандарта и высоких тарифов при «поддержке с флангов» Верховного суда, бдительно охранявшего интеграцию национального рынка, а южане, поддерживавшие свободную торговлю, оставались ни с чем (Bensel, 2000). Это дало капиталистам-северянам возможность брать верх над коллективной организацией рабочих. Однако стремительная индустриализация и рост власти корпораций увеличили неравенство, урбанизацию и иммиграцию, которые в возрастающей степени воспринимались как социальные проблемы. Со стороны правых сил преподобный Джосайя Стронг обрушивался на восемь великих «опасностей», которым подверглась страна, — иммиграцию, католицизм, низкий уровень государственного образования, мормонов, алкоголизм, социализм, неравное распределение богатства и урбанизацию (Blum 2005: 217). От центристской и левой фракций прогрессивного движения исходила критика власти корпораций.

ПРОГРЕССИСТЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В это время движения за реформы и регулирование капитализма возникали во всех развитых странах. Американское движение называло себя прогрессивным, реагируя на распространенное мнение, что развитие нового урбанистического, промышленного, корпоративного и мультиэтничного общества несовместимо с традиционными институтами. Это был, как говорил Вудро Вильсон, «новый мир, который [находился] в бедственном положении при старых законах». Понятие «прогрессивный» име-

ло два основных смысла. Один из них заключался в необходимости *модернизации* существующих институтов, для того чтобы сделать их более эффективными в поддержании экономического роста и социального порядка в новых условиях. Это требование не было по своей природе ни правым, ни левым, а потому завоевало поддержку во всем политическом спектре. Британский либерализм и французский республиканизм обладали подобными качествами. Второй смысл был более радикальным: ограничить капитализм и *перераспределить* власть от корпораций к менее привилегированным американцам, восстановить большее равенство богатства и власти, а также большую автономию обычных людей, которые, как они (справедливо) полагали, существовали прежде. Ниже я покажу, какое из этих двух направлений прогрессизма важнее.

Модернизационное крыло ратовало за повышение возможностей и эффективности правительства, где по-прежнему доминировали патронажные партии (особенно на локальном уровне и уровне штатов) и суды. В правительстве доминировали 40 штатов и 6 тыс. местных политических единиц, которыми часто заправляли городские политические «машины» или сельские клики знати. Модернизаторы утверждали, что федеральное правительство необходимо расширить, и всем правительствам нужна защита от патронажа и коррупции. Все это тяготело к этатистской идеологии, отстаивающей рациональное регулирование общества государством. Ричард Эли утверждал: «Мы рассматриваем государство в качестве деятеля, чья положительная поддержка является одним из неотъемлемых условий человеческого прогресса» (Jacoby 2004: 5). Размер федерального правительства был действительно увеличен, хотя лишь пропорционально увеличению размеров экономики, и была разработана более унифицированная система налогообложения (Campbell 1995: 34). Закон Пендлтона 1882 г. начал медленную бюрократизацию, которая уменьшила практику раздачи должностей и привилегий за политические услуги. Но многие американцы, особенно демократы и южане, блокировали дальнейшие реформы, опасаясь «большого правительства» (Mann 1993: 365–367, 393, 470–471; R. Harrison 2004: 265–70; Orloff 1988: 45–52). Радикалы приветствовали большую подотчетность, а не большую власть бюрократов и корпораций. Они добились прямых выборов сенаторов, возродили референдумы граждан примерно в 20 штатах к 1920 г. и праймериз в 16 штатах, надеясь, что это ограничит власть корпоративных и правительственных элит. Но элиты адаптировались путем использования финансовых ресурсов для получения нужных им результатов референдумов, что они продолжают делать до сих пор (Goebel 2002: 154–156,

194–196). Радикалы хотели верховенства законодательной власти и более конкретных законов, чтобы у управленцев и судей было меньше свободы в их интерпретации. По большей части они потерпели поражение; суды продолжили интерпретировать право с консервативным уклоном — в пользу интересов бизнеса (Sanders 1999: 388–389).

Радикалы также выступали против концентрации экономической власти, утверждая, что гранты, лицензии и контракты от правительства позволяют железнодорожным магнатам, банкам и трестам вступать в заговор с целью эксплуатации людей и разрушения малого бизнеса. Но на практике их антимонопольные законы способствовали обратному — легальному полному слиянию компаний, что увеличивало корпоративную концентрацию (W. Roy 1997). Набрав популярность на волне протеста и приведя популистское движение в ряды Демократической партии, Уильям Дженнингс Брайан порвал с партийной традицией недоверия к правительству, чтобы потребовать регулирования порочных трестов. Он проиграл на выборах 1900 г., но одержавший над ним победу оппонент от республиканцев Теодор Рузвельт украл часть его антитрестовской программы. Реформы жилищного и городского планирования обеспечили чистую воду, канализацию и больницы, но планы радикалов часто срывались из-за приверженности судебной власти правам частной собственности. Когда суды заблокировали планы внутригосударственного контроля над железными дорогами, радикалы учредили железнодорожные комиссии, обеспечившие общественный мониторинг их расценок и услуг. Такой метод контроля распространился и на коммунальные услуги (Rodgers 1998: 160–207; R. Harrison 1998). Этот успех, хотя и ограниченный сферой общественных служб, имел важные последствия для здоровья и производительности труда населения.

Даже ряд руководителей корпораций признавали необходимость регулирования для защиты легального бизнеса от нелегального, для увеличения предсказуемости рынка и выстраивания политики вокруг более рационального экономического порядка, который, как они утверждали, воплощает собой корпорация. Они также надеялись, что умеренные реформы позволят избежать более радикальных схем. Законы Шермана и Клейтона ограничили власть трестов, хотя не настолько, насколько этого хотели бы радикалы; суды благоволили бизнесу, предоставляя корпоративным активам те же права защиты, что и частной собственности. В этот период укоренилось то, что называют корпоративным либерализмом или либерализмом менеджеров (Weinstein 1968: ix–x; Sklar 1988; Dawley 1991: 64; Kolko 1963: 3, 284). Некоторые прогрессивные интеллектуалы пер-

воначально поддерживали радикальные требования рабочих и мелких фермеров, но затем ослабили свою поддержку, «чтобы установить нового рода неполитическое экспертное управление... [которое] создало бы эффективное современное государство, которое... изолировало бы правительство от давления демократической политики» — «административно-корпоративную демократию». Они также осуждали радикалов и социалистов, проповедующих рабочим утопии (N. Cohen 2002: 15, 113, 255–256; Fink 1997: глава 2). Перераспределение власти для них стало второстепенным по сравнению с эффективным бюрократическим и корпоративным порядком (Wiebe 1967: 132, 145–146, 166, 295). В первую декаду XX в. неравенство доходов выросло до наивысшего уровня за все столетие. В то же время субсидии и трансферы американского правительства бедным были самыми скудными (наряду с Японией) в выборке из семи промышленно развитых стран (Lindert 1998; James and Thomas 2000; Tanzi and Schuknecht 2000: 31). Это была реформа, но ею управляли модернизаторы, а не радикалы. Капиталистическая власть стала до определенной степени регулируемой, но не ограниченной.

Взгляды южан по этим вопросам разделились, поскольку они, оставаясь сторонниками сегрегации, ревнителями прав штатов и морального консерватизма, также включили в свои ряды множество аграрных популистов. Фермеры, в 1900 г. все еще составлявшие 37% населения, были разъярены монополизмом железнодорожников, банкиров и трестов, а также тарифами, которые эксплуатировали их на благо промышленности. Они не были заинтересованы в создании более крупного, регулирующего государства, тем не менее это было непреднамеренным результатом их борьбы по защите себя от громадных трестов (Sanders 1999: 1, 29, 388–389). Они пользовались наибольшим влиянием тогда, когда сенаторам и конгрессменам с южной и западной периферии удавалось объединиться с республиканскими диссидентами из Среднего Запада и пограничных штатов (плюс некоторые демократы, которые откликнулись на требования профсоюзов), чтобы преодолеть северное корпоративное ядро Республиканской партии, находившееся у власти в Вашингтоне с 1896 по 1912 г. После этой даты они усилили железнодорожное регулирование, провели по крайней мере какое-то антитрестовское законодательство и сыграли ведущую роль в создании Федеральной резервной системы банковского сектора в 1913 г. Двенадцать новых региональных банков контролировали денежный поток и кредитование и выступали кредиторами последней инстанции в случае любой банковской паники под руководством Совета управляющих Федераль-

ной резервной системы в Вашингтоне (Sanders 1999: 77–78). Эти меры пошли на пользу не только корпоративным модернизаторам, но и мелкому бизнесу и фермерам, которые были очень чувствительны к железнодорожным сборам и банковским кризисам. Тем не менее политическая экономия продолжила ставить промышленность в привилегированное положение по отношению к сельскому хозяйству, и фермеры не смогли предотвратить долгосрочный спад в своем секторе. Доходы фермеров падали вплоть до Второй мировой войны.

В Швеции и Дании перераспределительные реформы были проведены союзом рабочих и фермеров, но американский союз был слишком слаб. Сандерс утверждает, что профсоюзы были лишь «бездеятельным и нетребовательным придатком» этого союза, сражавшимся за свои собственные узкие интересы. Американская федерация труда (АФТ) по большому счету игнорировала политику федеральных властей, поскольку они отождествляли государство с репрессией, точно так же как это делали синдикалисты из «Уобблис». Поэтому вопросы труда были маргинальными в прогрессистских программах (Bensel 2000: 143–156; R. Harrison 1997, 2004, : глава 4; Lichtenstein 2002: глава 1). Доули утверждает, что «пункты программы-платформы прогрессистов о социальной справедливости включали разбавленные социалистические требования о зарплатах, рабочем времени и условиях труда... Переводя социалистические идеи в безопасное русло и затем выставляя их в качестве единственной альтернативы катаклизма, прогрессистам удалось обойти социалистов» (Dawley 1991: 134–136). Лишь немногие из пунктов программы о социальной справедливости получили реализацию.

Скочпол (Skocpol 2003) демонстрирует, что американские массовые добровольные ассоциации процветали с конца XIX до середины XX в. Они включали братские общества, такие как масоны; религиозные общества, такие как Женский христианский союз трезвости; организации ветеранов, такие как Американский легион и Великая армия республики; группы давления в сфере образования, такие как Ассоциация родителей и учителей; фермерские организации, такие как Ассоциация фермеров («Грейндж») и Федерация американских фермеров; бизнес-группы и профсоюзы. АФТ была самой крупной организацией из всех. Местные ассоциации посылали делегатов в ассоциации регионов или штатов, которые, в свою очередь, избирали делегатов для национального органа. Навыки, полученные в рамках таких ассоциаций, использовались для лоббистской деятельности в политике. Многие крупные ассоциации объединяли людей, занимавших совершенно разные должности, с различным уровнем дохода, что порождало ощущение причастности

к общенациональному гражданству. При помощи этих средств обычные люди приобретали политическую власть.

Хотя некоторые обычные люди действительно наделялись властью, судя по результатам, бизнесу это удавалось намного лучше. Борцы за трезвость добились заметных успехов, большинство преследующих более специальные интересы пришли к различным результатам, а профсоюзы мало чего достигли. В исследовании Калифорнии, Висконсина и Вашингтона Клеменс (Clemens 1997) приводит некоторые условия эффективности. Политические группы давления, утверждает она, выступали наиболее успешно с локального уровня в штатах со слабыми политическими партиями и эконоимиками смешанного типа. Она фокусируется на трех ассоциациях: Союзе фермеров и Всеобщей конфедерации женских клубов, которые насчитывали 1 млн членов, и АФТ, численность которой достигала 1,5 млн. Им действительно удалось осуществить постепенные реформы на уровне штатов, как только они отказались от радикальной риторики и организовались как федерации на уровне штата. Основными вопросами, стоявшими перед профсоюзами, были компенсации трудящимся, материнские выплаты, пенсии, пособие по безработице и медицинское страхование. Масса законопроектов была предложена законодательным органом штатов с посылки профсоюзов, и лишь немногие были приняты (позднее они стали образцами для реформ «нового курса» (ср. Orloff 1988: 55–57). Федерации фермерских кооперативов были эффективными там, где они работали в тесной связи с сельскохозяйственными агентствами штатов; женские клубы — там, где они могли работать с государственными образовательными агентствами. Разумеется, Клеменс рассматривала штаты, которые действительно провели реформы; большинство штатов их вовсе не увидели или провели совершенно иные. В штатах Библейского пояса общественные организации ратовали за больший моральный консерватизм, включая репрессивное сексуальное законодательство, сегрегацию и креационизм. Добровольные ассоциации были посредником для продвижения повестки дня своих членов, но эти повестки были совершенно различными.

Основной проблемой радикалов было доминирование бизнеса. Бизнес приветствовал государственные расходы на строительство автомагистралей и школ, поскольку они приносили с собой строительные контракты, снижение транзакционных издержек и более квалифицированную рабочую силу. Расходы штатов и местных властей на эти нужды выросли в десять раз в период 1902–1927 гг. Однако бизнес был категорически против программ перераспределения доходов, и он мог угрожать

прогрессивному штату *забастовкой инвесторов* — бизнес мог перебраться туда, где издержки были ниже и профсоюзы слабее. Большая часть текстильной промышленности переместилась с севера на юг. Расходы штатов и местных властей на социальную сферу в этот период увеличились в четыре раза, но это было меньше общих темпов роста экономики. Расходы на социальную сферу составляли лишь 9% от расходов на строительство автомагистралей и 6% от расходов на образование (Hacker and Pierson 2002: 293–294). В большинстве регионов реализация социального гражданства в целом заглохла. Это был капитализм, по большей части не регулируемый государством. Дело труда сильно отставало.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ, НО БЕЗ РАБОЧЕГО КЛАССА

Вторая промышленная революция с неизбежностью привела к коллективному сопротивлению рабочих. Во втором томе (Mann 1993: 635–659) я отмечаю, что до Первой мировой войны американские рабочие так же агрессивно отстаивали свои интересы, как и рабочие других стран (ср. Voss 1994). Среди шести наиболее развитых промышленных стран по сравнению с американскими лишь британские рабочие с наибольшей вероятностью вступали в профсоюзы, но уровень забастовок в Америке был самым высоким среди них. Лишь в 1920-х гг. американские профсоюзы и уровень забастовок стали серьезно отставать от своих аналогов в промышленно развитых странах: труду были необходимы союзники. Полагаться на фермеров не имело смысла, поскольку сельское хозяйство склонялось к крупным консолидированным фермам, а мелкие фермеры и рабочие были вынуждены оставлять землю. Феминистки были малочисленны; агитация среди афроамериканцев, мексиканцев или азиатов приводила к отчуждению массы белых; рабочие оказались предоставленными самим себе.

В главе 3 тома 2 я изложил теорию государственного полиморфизма, утверждая, что государства кристаллизуются в различные формы в соответствии с их проблемными областями и балансом социальных сил, которые они включают. Одним из основных кристаллизаторов современного государства является капитализм, порождающий политику классовой борьбы, как утверждают марксисты. Однако современные государства также кристаллизуются и в других формах, некоторые из них подрывают формирование рабочего класса. Ниже я раскрою восемь гипотетических слабостей труда, обозначенных

Липсетом и Марксом (Lipset and Marks 2000), из этой перспективы я проведу параллели с наиболее сопоставимыми случаями — другими англоговорящими странами.

(1) Американские рабочие столкнулись с превосходящей военной властью. Уровень забастовок был высоким, поскольку работодатели не намерены были разрешать конфликты мирным путем и обладали доступом к военной власти. В томе 2 я продемонстрировал, что до Первой мировой войны в ходе трудовых конфликтов было убито гораздо большее количество американских, чем европейских рабочих, за исключением рабочих в России. Это насилие было основано на репрессиях, развязанных полицией, частными военизированными формированиями работодателей, такими как «Пинкертоны», Национальная гвардия и даже регулярная армия (Archer 2007: глава 5). Немногие рабочие рассматривали это государство в качестве деспотически слабого.

Соединенные Штаты кристаллизировались в качестве милитаристского государства во внутренней политике с целью подавления коренных американцев и надзора за рабами и мексиканцами. Теперь же военная власть использовалась преимущественно против рабочих, в меньшей степени против цеховых профсоюзов, боровшихся за свои узкие интересы, чем против универсальных профсоюзов, охватывавших все отрасли промышленности, а также против возглавляемых социалистами демонстраций и забастовок. Они рассматривались как особо опасные, поскольку увеличивали угрозу солидарности всего рабочего класса, тогда как цеховые профсоюзы нет. Поэтому более широкие по составу «новые профсоюзы» (производственные профсоюзы), которые возникли в Британии и Австралии в 1890-х гг., были намного слабее в Соединенных Штатах (Archer 2007: 31–39). Страх репрессий вынудил АФТ ограничить свою организацию квалифицированными рабочими, которые могли использовать свою власть на рынке труда, чтобы принудить нанимателей сесть за стол переговоров. Секционный, а не классовый юнионизм доминировал до «нового курса», и это было отчасти из-за военной власти. Однако, когда царская Россия начала более сильные репрессии, это подтолкнуло русских рабочих к революционному социализму. Почему этого не случилось в Соединенных Штатах? По-видимому, работодатели должны были обладать и другими преимуществами.

Насилие работодателя могло представляться как легитимное, подкрепленное законом. Как часто отмечают, это государство кристаллизовалось как государство «судов и партий», и суды оставались настроенными против профсоюзов, отстаи-

вая абсолютные права собственности работодателя. Соединенные Штаты обладали всеми тремя критериями хорошего правительства Фукуямы, включая верховенство права. Но чье это было право? Оррен (Orren 1993) утверждает, что трудовое законодательство было проникнуто «феодалными» законами, регулирующими отношения «хозяин — слуга». Судьи применяли импортированные из Британии статуты, которые рассматривали рабочих в качестве собственности их нанимателей. Один судья говорил, что закон признает только «превосходство и власть» хозяина и «обязанности, подчинение и... преданность» рабочего. Законы о бродяжничестве заставляли трудоспособных мужчин работать, а полный контракт удерживал их на рабочем месте: рабочий, нанятый на некий срок, не имел права на какое-то вознаграждение до окончания срока контракта. Некоторые суды также требовали от рабочих приносить рекомендательное письмо от их прежнего работодателя. Поскольку работодатели не имели предписанных законом обязанностей давать подобные письма, суды могли воспрепятствовать рабочему менять работу. Свобода существовала для работодателей, а не для рабочих (Glenn 2002: 86–88; Burns 2009). В этом отношении Америка была феодальной не-Европой, отстающей в развитии гражданских прав.

Рой и Паркер-Гвин (Roy and Parker-Gwin 1999) в качестве главного элемента могущества работодателей выделяют правовую защиту сотрудничества работодателей благодаря признанию корпораций, слияний и торгово-промышленных ассоциаций, но непризнанию коллективных действий рабочих, которые рассматривались в качестве посягающих на индивидуальные свободы и права собственности. Коллективное действие часто определялось как преступный сговор. Суды отклоняли законы, принимавшиеся проюнионистскими штатами против трудовых контрактов, запрещавших рабочим вступать в профсоюзы (yellow-dog contracts). Некоторые суды признавали, что рабочие могут собираться вместе, чтобы торговаться по поводу зарплат, но редко по поводу чего-либо еще. Что касалось максимальной продолжительности рабочего дня, суды могли оказывать патерналистскую защиту тем рабочим, которых судьи считали уязвимыми (детям, женщинам и иногда рабочим опасных профессий, например горнякам), но не мужчинам, работавшим на обычных местах. Между 1873 и 1937 гг. защита женщин была изначально сильнее на уровне штатов, но затем и федеральные суды присоединились к этому; все суды стали больше защищать детей в начале XX в. (Novkov 2001). Отказ действовать мужчинам-рабочим, напротив, сохранялся до самого «нового курса».

К этому времени в Австралии против профсоюзов более не выдвигались обвинения в заговоре, а в конце века была установлена прогрессивная система арбитража трудовых конфликтов, проанализированная в главе 9 (Archer 2007: 95–98). Коллективные права британских профсоюзов были законодательно признаны в 1875 г., и государство по большей части ушло из сферы трудовых отношений, предоставляя профсоюзам полную свободу выторговывать условия. В Германии, Франции и прочих странах государство играло намного более активную роль, и, хотя чиновники обычно занимали сторону работодателей в трудовых конфликтах, они также осознавали свою обязанность охранять общественный порядок. Если они чувствовали, что несговорчивость работодателя была основной угрозой общественному порядку, они оказывали давление на работодателей ради достижения компромисса. Подобное редко случалось в Соединенных Штатах, поскольку охрана капиталистических прав собственности рассматривалась как синоним общественного порядка.

(2) Право помогало сильнее изолировать профсоюзы идеологически, чем это было в европейских сообществах. Капитализм был встроен в более широкую идеологию индивидуальных прав свободы личности и частной собственности, и определенное насилие со стороны государства или работодателя рассматривалось в качестве легитимного для защиты прав собственности. Если профсоюзы нарушали закон, это создавало им проблемы с легитимностью в глазах американцев (Lipset and Marks 2000: 237–260; LaFeber 1994; Rosenberg 1982: 48). Далее мы увидим, что японские рабочие сталкивались со сравнимыми военными, политическими и идеологическими препятствиями, поэтому Соединенные Штаты не были полностью исключительными в этом отношении.

(3) Американские рабочие были разделены расово, этнически и религиозно, и это по большей части и было исключительным. Работодатели могли использовать расовую пропасть там, где белые и чернокожие рабочие трудились в одной компании или отрасли. Компания Пульмана «разделяла и властвовала», настраивая уже предубежденных рабочих друг против друга. Раса подрывала класс в компании Пульмана в течение практически века (Hirsch 2003), хотя расизм часто усиливал чувство солидарности среди белых рабочих. Этническое разнообразие было столь же важно в среде австралийских рабочих, но там оно не было помехой классовой солидарности. Арчер утверждает, что именно религия (протестантизм против католицизма) сильнее всего разделяла американских рабочих в отличие

от их австралийских и британских коллег. Тем не менее Республиканская партия воспользовалась шансом обращения к рабочим, невзирая на религиозные различия, и была вознаграждена большим количеством их голосов с 1896 г. и далее. Профсоюзы могли бы поступить также, утверждает Арчер, но не сделали этого (Archer 2007: глава 2). Чтобы удерживать на Юге низкие зарплаты и не позволять распространяться профсоюзам, элиты южан утверждали, что организованный труд хочет ослабить белую расу. В тот период Юг был намного больше, чем сейчас, — 17 штатов были сегрегированы в образовательном плане до 1954 г. Одна важная причина, по которой рабочие были слабы на национальном уровне, заключалась в том, что раса превосходила класс в третьей части страны.

(4) Иногда утверждают, что успех американского экономического развития объясняет слабость американских рабочих — процветание делало рабочих счастливыми. Однако Соединенные Штаты не были исключительными и в этом отношении. Австралийские рабочие жили и питались лучше американских, тем не менее они сформировали могущественные профсоюзы и Лейбористскую партию (Arche, 2007: 23–30). Ключевым экономическим отличием Америки был ее континентальный характер с разделением между «северным, развитым и развивающимся промышленным ядром, быстро заселяемым западным фронтиром, и относительно застойной южной периферией» (Bensel, 2000: 99). Для каждой из этих частей был характерен свой классовый конфликт, делавший национальную классовую солидаризацию маловероятной: капиталисты против рабочих на Северо-Востоке, фермеры против кредиторов на Западе, мелкие собственники и издольщики против плантаторов-торговцев на Юге. Промышленность Севера играла определяющую роль в федеральных вопросах политической экономии, таких как тарифы, налоги, долги и золото (Bensel 2000: 175–178). Части Запада были экономически взаимозависимы с Севером, но Юг ощущал себя эксплуатируемым Севером, особенно при помощи его политики высоких тарифов.

(5) Это государство выкристаллизовалось как квазидемократия, подотчетная белым мужчинам. Рабочие не были исключены из политического гражданства. В Германии и России политическая эксклюзия всех рабочих сглаживала их секционные, сегментарные, региональные, этнические или религиозные различия. В томе 2 я демонстрирую, что подобная политическая эксклюзия в большей степени, чем экономическая эксплуатация, была основной движущей силой формирования классового

сознания рабочего класса в Европе. Этот импульс отсутствовал в Соединенных Штатах, но он также отсутствовал в Австралии и Новой Зеландии и по большей части в Великобритании. Тем, что оказывало действительно негативное влияние на американских рабочих, было не гражданство, а партийная система.

(6) Британская, австралийская и новозеландская экономика и политика обладали тенденцией формировать национальное партийное разделение между либералами и консерваторами. Затем рабочие встраивались в ряды либерализма и наращивали мощь вплоть до господства над либералами, порождая «либ-лаб» политику. Региональные различия иногда были очень важны, но не очень отвлекали от этой общенациональной борьбы. Но в Соединенных Штатах, поскольку политическая экономика принимала региональные формы, политические партии кристаллизовались как региональные. Республиканская партия представляла прежде всего северную промышленность, но начиная с 1896 г. она также представляла секционные интересы промышленных рабочих Севера. Демократическая партия наиболее четко представляла Юг и сельское хозяйство. Обе партии представляли различные регионы, сектора и этничности, а также машины организованного патронажа вокруг этих идентичностей. Каким бы ни был опыт классовой эксплуатации на рабочем месте, было гораздо сложнее перенести классовый конфликт в политику. Лишь небольшие третьи партии типа Независимой партии или популистов мобилизовывались на классовой основе среди мелких фермеров и сельских рабочих, они также искали поддержки рабочих, выдвигая учитывающие их интересы платформы. Регион и экономический сектор одержали верх над классом и воспрепятствовали широкой коалиции между фермерами и рабочими, а на Юге над все прочим верх взяла раса.

Обе основные партии обладали некоторой поддержкой со стороны рабочих. Рабочие-южане и рабочие-иммигранты не южане плюс большинство ведущих натуральное хозяйство фермеров поддерживали демократов. Фермеры афроамериканцы, ведущие натуральное хозяйство фермеры Аппалачей, а также рабочие — урожденные северяне голосовали за республиканцев. Однако рабочие не пользовались влиянием ни в одной из этих партий. Крупные северные корпорации господствовали в Республиканской партии; мелкий бизнес — среди демократов Юга. Рабочие могли противостоять своим работодателям на рабочем месте, но не могли делать это во время выборов. Это вопрос об отсутствии не социализма, но какого бы то ни было общенационального политического влияния, что парадоксально для политической системы, предоставлявшей избирательные права

рабочим. С 1896 по 1912 г. республиканцы доминировали в Белом доме и Конгрессе, все больше превращаясь в стандартную консервативную партию большого бизнеса, но демократы не предлагали «либ-лаб» альтернативы. Региональная кристаллизация политики сыграла решающую роль в изоляции профсоюзов от более широкой классовой базы и доминирующих идеологий, обусловив тем самым легкость их военного подавления.

(7) Некоторые исследователи указывают на политические институты. Что касается электорального процесса, они особенно подчеркивают препятствия на пути третьих партий при мажоритарной системе. Хотя в Британии, Австралии и Новой Зеландии была та же избирательная система, их рабочие движения сначала завоевали горнодобывающие и промышленные округа, а затем достигли дальнейших успехов. На президентских выборах есть лишь один общенациональный избирательный округ. Здесь голоса, отданные за рабочего кандидата третьей партии, вредят любому кандидату-центристу, помогая консерватору одержать победу. Американская электоральная система позволяет избрать конгрессменов и даже нескольких сенаторов от третьих партий, но препятствует избранию президентом их кандидатов. Это может рассматриваться в качестве фактора слабости рабочих в Америке, хотя едва ли в качестве основного. Президенты должны были уважать влияние Юга вне зависимости от их собственных взглядов на расу. Причина, по которой они равным образом не уважали влияние рабочих, состоит в том, что другие компоненты кристаллизации ослабили это влияние. Американский федерализм представляет собой еще один важный политический институт — он также часто рассматривается в качестве препятствия рабочим. Вопросы труда решались федеральным правительством только в том случае, если включали торговлю между штатами, а по большей части они были делом штатов. Некоторые утверждают, что профсоюзы были ослаблены, поскольку их вынудили сражаться в одних и тех же боях снова и снова, штат за штатом. Тем не менее федерализм мог в равной степени способствовать изначальным победам рабочих в симпатизирующих им промышленных штатах, где проживало множество членов профсоюзов, чтобы затем распространить свои стратегии на более трудные штаты. Федерализм также давал каждому штату возможность понижать стоимость своей рабочей силы, чтобы привлечь бизнес-инвестиции, создавая «гонку уступок» (Robertson 2000). Это было нехарактерно для Австралии, где тоже существовала федеративная система. Там партии рабочих формировались в одном за другим штате и затем объединялись в национальную Лейбористскую партию

(Archer 2007: 84–86). Два этих процедурных аспекта демократии не были непреодолимыми препятствиями.

Некоторые из перечисленных восьми причин ослабили рабочих в Соединенных Штатах сильнее по сравнению с ослаблением их в прочих индустриализующихся странах. В этой демократии мужчин региональная кристаллизация (а также расовая на Юге) оказывала наибольшее влияние на политические коалиции и ослабляла перспективы альянса между рабочими и фермерами, который возник в Скандинавии и Австралии. Демократы в целом выражали сельский радикализм Запада и Юга, хотя на Юге они также воплощали расизм и предубеждения против профсоюзов. Бизнес Севера контролировал правящую Республиканскую партию, хотя ее клиентами были и промышленные рабочие. Политическая система была препятствием на пути организации рабочих, отдавая работодателям контроль над судами и военной властью. Это не сдерживало всего юнионизма, но сдерживало существующие цеховые профсоюзы от создания более широких промышленных профсоюзов или политических партий в альянсе с менее квалифицированными рабочими. Если они пытались расширить свое влияние среди менее квалифицированных рабочих, опираясь на классовую идеологию, это вызывало репрессии. Гомперс, президент АФТ, сделал прагматичный вывод: лучше воздержаться от профсоюзов на классовой основе и рабочих партий и организовать на основе цеховых монополий. Профсоюзы АФТ также были преимущественно протестантскими, что делало их менее привлекательными для католиков. В Соединенных Штатах были профсоюзы, но не было организованного рабочего класса. Это обеспечило некоторую поддержку идее «исключительности» США.

В томе 2 подчеркиваются имевшие определяющее значение события, особенно две общенациональные конференции АФТ в 1892 и 1893 гг., на которых Гомперс свел на нет попытку промышленных профсоюзов сформировать Лейбористскую партию, фальсифицировав процедуру голосования. Если бы это голосование закончилось по-другому, возможно, Лейбористская партия забрала бы большую часть голосов республиканцев и демократов и возникла бы трехпартийная система. Восс (Voss 1994) видит хорошую возможность для этого раньше: в 1880-х гг., когда «Рыцари труда» ненадолго преодолели разрыв между цеховщиками и промышленными профсоюзами, но затем были отброшены назад, как она утверждает, репрессиями со стороны объединившихся работодателей, за спиной которых стояло правительство. Робертсон (Robertson 2000) полагает, что третья хорошая возможность появилась вскоре после 1900 г., когда великое движение слияния корпораций привело к «войне

за открытые предприятия», которую профсоюзы АФТ проиграли. Все три классовых вызова статус-кво потерпели неудачу, что, вероятно, было менее случайно, чем закономерно. Американские профсоюзы разделяли лишь малую толику роста профсоюзов этого периода, к тому же в отличие от европейских и других англоговорящих стран рабочие не заключали соглашений с либералами, которые увлекали страну по «либ-лаб» или социалистическому пути. Дело «либ-лаб» в США стало отставать в прогрессивную эру. В целом это делает Соединенные Штаты крайностью, далекой от уникальности.

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕР

В рамках этого периода были проведены две перераспределительные реформы, ни одна из которых не была исключительно классовым вопросом. Одна касалась гендера: обеспечение права голоса белым женщинам в 1920 г. удвоило количество обладавших правами политического гражданства. Соединенные Штаты были не в первой группе государств, наделивших женщин правом голоса (Новая Зеландия в 1893 г., Австралия в 1902 г., Финляндия в 1906 г., Норвегия в 1913 г.), а во второй (1918–1920 гг.), когда 15 стран дали женщинам право голосовать. Второе достижение касалось образования: Соединенные Штаты оставались в числе ведущих стран по общим расходам на образование и доле мальчиков и девочек, получающих начальное и среднее образование. Соединенные Штаты развили систему массовых государственных начальных школ раньше европейских стран (Lindert 2004: глава 5). В начале XX в. Соединенные Штаты также расширили среднее образование. Между 1910 и 1940 гг. доля молодых людей, закончивших среднюю школу, выросла с 9 до более 50%.

Ранняя демократизация часто рассматривается в качестве основной причины американского образовательного прогресса (Skocpol 1992: 88–92), хотя авторитарная Пруссия также лидировала в сфере образования. Американские женщины получали образование задолго до того, как обрели право голосовать. Более важным был местный контроль над образованием плюс либо протестантизм, религиозное многообразие, либо сильное секулярное движение, что делало образование лучше (Lindert, 2004: 104–110). Американские школы контролировались на местном уровне, как и в прочих колониях, заселенных англоговорящими поселенцами, которые также были в авангарде образовательных реформ. В этих странах местные сообщества сами предпочитали обложить себя налогом на благо своих детей — инвестиция,

очень близкая к дому. Чем более гомогенным и стабильным было местное сообщество, тем раньше принималось решение о расширении начального и среднего образования, и районы с большим числом школ отличались большим равенством и были более этнически гомогенными (Goldin and Katz 1999, 2003). Школы всегда играли главную роль и в жизни местных сообществ, и в понимании национального самосознания — чувства принадлежности к нации в Соединенных Штатах. Дети нации иммигрантов в стране, занимающей почти целый континент, получали образование в англоязычной системе, где их учили, что они живут в самой свободной стране мира. Как и в прочих странах, преподавание истории рассматривалось как способ обучения национальной добродетели. Основные дебаты в сфере образования этого периода касались религии: следует ли продолжать учить в школах по сути своей протестантским добродетелям, или католическая иммиграция сделала это нежелательным?

Девочки обычно были образованны хуже мальчиков (как и в остальных передовых странах), но, как правило, они получали образование не в тех же школах, что и мальчики (Goldin and Katz 2003). Патриархат в Соединенных Штатах был немного слабее, чем в других колониях белых поселенцев. Это обычно приписывают *пограничной жизни* — отсутствию установленных институтов, необходимости всем в домашнем хозяйстве поселенцев вносить свой вклад в производство, а также нехватке женщин, что повысило их власть в рамках домовладения. Дискриминация была куда заметнее на рынке труда, хотя количество работников женского пола удвоилось между 1880 и 1900 гг. и выросло еще на 50% к 1920-м гг. Неравенство в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами не росло, что было маленьким шагом вперед в эпоху всеобщего роста неравенства доходов.

Ни в одной стране в это время не было значительного увеличения других социальных прав гражданства. Ни одна страна не считала, что движется по направлению к государству всеобщего благоденствия вплоть до окончания Первой мировой войны, но американские мужчины отставали. Среди 15 наиболее промышленно развитых стран до «нового курса» Соединенные Штаты находились между девятым и пятнадцатым местом по принятию, распространению и обязательности пяти различных программ повышения социального благосостояния для мужчин по всем пятнадцати показателям, взятым вместе (Hicks et al. 1995: 337; ср. Tanzi and Schuknecht 2000; Hicks 1999; Rodgers 1998: 28–30; Keller 1994: 178–82)¹. Необычным было то, что

1. Исключением были пенсии для участников Гражданской войны, которые получали ветеранам, их вдовам и иждивенцам. На своем пике они превышали треть

до «нового курса» социальные программы несколько более благоприятствовали женщинам, чем мужчинам. На федеральном уровне улучшения для обоих полов были незначительными; на уровне штатов мужчины также добились немногого. Было больше шансов принятия пропрофсоюзного законодательства в западных штатах, где было мало промышленности, чем в северных промышленных штатах (Hacker and Pierson 2002: 289–290, 294–295). До 1923 г. ни один штат не принимал законов, регулирующих максимальную продолжительность рабочего дня или минимальный размер оплаты труда мужчин, но законы, ограничивающие максимальную продолжительность рабочего дня у женщин, были приняты в 41 штате и законы, устанавливающие минимальный размер оплаты женского труда, — в 15 штатах. До «нового курса» не было страхования по безработице. Компенсации за травмы, полученные рабочими мужского пола в процессе труда, были установлены в 42 штатах к 1920 г. в основном в ответ на то, что присяжные из числа рабочего класса устанавливали пострадавшим рабочим выплаты, превосходившие те, которые предполагали новые законы о компенсации (Bellamy 1997). Только шесть штатов приняли законы, устанавливавшие пенсионные выплаты по старости для мужчин. Напротив, 40 штатов выплачивали пособия нуждающимся матерям-одиночкам, воспитывающим детей младшего возраста; к 1930 г. 46 штатов платили пенсии. Соединенные Штаты лидировали в обеспечении пособиями одиноких незамужних матерей; в Британии незамужние матери-одиночки не могли ни на что рассчитывать вплоть до 1945 г. — безнравственность не должна была поощряться (C. Gordon 1994: 44; Kiernan et al. 1998: 6; Gauthier 1998: табл. 3.1 и 3.2).

У женщин дела шли лучше, чем у мужчин, поскольку они рожали и воспитывали детей. Материнство было политически ценным, ведь дети были будущим расы (Mink 1995). В деле 1908 г. «Мюллер против штата Орегон» вердикт Верховного суда установил законность максимальной продолжительности рабочего дня для женщин, заявив, что «физическое благополучие женщины становится предметом государственного интереса и заботы, для того чтобы обеспечить силу и энергию расы». Скочпол

всех федеральных расходов США и выплачивались более миллиону ветеранов и иждивенцев (Skocpol 1992). Во Франции военные пенсии были меньше, а Германия и Австро-Венгрия обеспечивали военных ветеранов рабочими местами в государственных органах после истечения срока их службы. Американские пенсии начали выплачиваться тогда, когда федеральное правительство имело большой приток средств в бюджет благодаря поступлениям от высоких тарифов, пенсионные выплаты увеличивались и уменьшались вместе с этими тарифами (Hacker and Pierson 2002: 288–289).

(Skocpol 1992) называет это матерналистским путем к социальным гражданским правам. На втором пути, пути занятости, минимальный размер оплаты труда был подлинным достижением, хотя ограничения продолжительности рабочего дня рассматривались как защита слабого пола. На шахтах и заводах были суровые условия труда, и представительниц прекрасного пола надо было несколько от них оградить. Разумеется, предполагалось, что белые женщины заслуживают большей защиты, чем чернокожие, азиатки и мексиканки (Glenn 2002: 83–86). Подобная защита также сокращала конкуренцию на рынке труда для основных кормильцев — мужчин.

Матерналистские аргументы, на которых настаивали женские клубы и социальные работники женского пола, утверждали, что слабое здоровье военных рекрутов, отправленных на Первую мировую войну, было результатом неблагоприятных условий для материнства, хотя европейским солдатам казалось, что американцы выглядели здоровее их. В 1920 г. женщины получили федеральное Женское бюро, за которым в следующем году последовало Детское бюро, а также акт, вводящий в действие первую важную федеральную программу здравоохранения. Эти «новые государственные функции нормативно оправдывались в качестве универсализации материнской любви», — утверждает Скокпол (Skocpol 1992: 522). Она убеждена в том, что движения женщин среднего класса сыграли решающую роль в достижении этих программ, но, так же как и с правом голоса, женщины стучались в уже приоткрытую дверь. Для получения права голоса феминистки воспользовались идеологией либерального индивидуализма; социальные реформы, патриархальные и религиозные идеологии также были им на руку. Женщины также возглавили движение за трезвость, вероятно самое успешное общественное движение этой эпохи в Соединенных Штатах и во всем мире. Они способствовали ликвидации «кварталов красных фонарей» в 1910-х гг. и принятию сухого закона в 1918 г. Они рассматривали употребление алкоголя как мужской порок, ведущий к жестокому обращению с женщинами и детьми. Отдых только для мужчин был проблемой, партнерский брак стал решением. Слабым полом были мужчины, но женщины могли поддержать их морально. Увы, сухой закон обернулся неудачей: мужчины оказались неисправимо слабы и грешны.

Матерналистские программы не были затратными, и бизнес не был настроен враждебно по отношению к ним, даже к законодательству, установившему максимальную продолжительность рабочего дня и минимальный размер оплаты труда для женщин после того, как лоббисты бизнеса несколько смягчили эти законопроекты (Hacker and Pierson 2002: 291–

292). Реципиентов было немного, выплаты были небольшими, к тому же множество специфических ограничений было наложено на право их получения, «чтобы управлять и дисциплинировать реципиентов в той же мере, в какой и поддерживать» (С. Gordon 1994: 45). Скочпол утверждает, что это был потенциальный путь к материалистскому государству всеобщего благоденствия, который так никогда и не был вполне осуществлен на практике (Skocpol 1992: 526). Хотя эти программы и были скудными, они стали первым признанием того, что федеральное правительство должно принимать на себя ответственность за бедных. Пока Соединенные Штаты не отставали, а иногда и лидировали в гендерном перераспределении. В области образовательной реформы их лидерство было более постоянным. Эти области успешных реформ не представляли собой прямой угрозы власти капитализма. Они были независимой по отношению (перпендикулярной) к нему отдельной политической кристаллизацией.

РАСОВЫЙ РЕГРЕСС

Соединенные Штаты были исключением среди развитых стран в том, что касалось присутствия большого количества подавленной миноритарной расы в составе нации. Хотя Бразилия полностью не отменила рабство в течение еще 20 лет после того, как это сделали Соединенные Штаты, расовая компонента рабства никогда не была так ярко выражена, как в США. В результате после отмены рабства в Бразилии бывшие рабы больше инкорпорировались в общество, чем в Соединенных Штатах. И хотя цвет кожи упорно коррелировал с классом в Бразилии, он не выделял черных бразильцев в отдельную касту. Австралийские аборигены и новозеландские маори действительно составляли значительные расовые меньшинства своих стран, но они отличались тем, что аборигены жили в основном отдельно от общества белых, а маори обладали большими правами.

В рамках эпохи, названной прогрессивной, в США не было никакого расового прогресса — даже наоборот. Коренные американцы в основном были истреблены, а уцелевшие находились в маргинальном положении относительно социально-политической жизни нации. С афроамериканцами дела обстояли иначе. Большинство из них жили на Юге, где хотя и играли важнейшую роль в экономике региона, но были более сегрегированы, подвергались большей экономической эксплуатации и эксклюзии из общественного и политического гражданства. Большинство чернокожих (и некоторые бедные белые) были

лишены права голоса и подвергались запугиванию, что явилось результатом негативной реакции на Реконструкцию после Гражданской войны. В Вирджинии потенциальный электорат уменьшился наполовину за два десятилетия и составлял лишь 28% населения к 1904 г. (Dawley 1991: 161). Ни один афроамериканец не согласился бы, что это было слабое или демократическое государство.

Большая часть прогрессистов была равнодушна к положению афроамериканцев и даже рассматривала сегрегацию как обоснованную современной расовой наукой. Решение Верховного суда в деле «Плесси против Фергюсона» 1896 г. о том, что расовая сегрегация законна, было «примером прогрессистской юриспруденции, полагающейся на современную социальную теорию и готовой принимать государственное регулирование» (Keller 1994: 252). Верховный суд последовательно подрывал права афро-американцев, предположительно установленные после Гражданской войны 13, 14 и 15-й поправками к Конституции, отменявшими рабство, гарантировавшими надлежащие правовые процедуры, равную защиту и право голоса (Burns 2009). Права штатов были восстановлены в основном для защиты расовой экономики Юга с низкими зарплатами, и между 1890 и 1920 гг. законы Джима Кроу и линчевания на Юге и бунты белой расы на Севере шли по нарастающей (Belknap 1995: 5–9; Dawley 1991: 240–241). Подобный расизм должен был заметно повлиять на американский империализм. Единственным расовым прогрессом, имевшим место внутри сегрегированных черных сообществ, был рост грамотности и уровня школьного образования. Менее 10% чернокожих южан были грамотными в 1865 г., но в 1890 г. их было уже 55% (Blum 2005: 82–83). Церкви для черных добивались успеха в организации пространства, свободного от преследования со стороны белых, черный средний класс стал служить своему сообществу, и в сообществах черных имели место постоянные попытки сопротивления (Glenn 2002: 109–143). Потребовалось много времени, чтобы эти семена дали плоды успешного восстания.

Имела место также националистическая реакция против иммигрантов. Ограничения на въезд иммигрантов из Китая и Японии, вылились в 1924 г. в закон об интернировании японцев (с негативными последствиями для внешней политики, как мы увидим в главе 4). Поскольку заморская иммиграция снизилась, мексиканцы заменили других рабочих. В сельском хозяйстве раса переплелась с формами труда, такими как договорной труд, долговая кабала, труд заключенных, и законы против бродяжничества не позволили миллионам рабочих добиться гражданских прав (Glenn 2002: 186–192, 156–158). Благонамеренные

матерналистские программы рассматривали социальных работников как несущих «расовое освобождение» женщинам, заставляя их принять материнские и диетические практики англосаксонского среднего класса. «По-прежнему едят спагетти, значит, еще недостаточно американизированы», — писал один социальный работник об итальянской семье. Другой отмечал, что еврейская еда была «в целом слишком изобилующей приправами, слишком богатой, слишком острой и слишком концентрированной». В одном памфлете рекомендовалось заменить мексиканскую еду сэндвичами с салатом и крекерами из муки грубого помола (Mink 1995: 90–91). Путь к национальному единству лежал через больной желудок (употребление нездоровой пищи — junk food).

Не следует чрезмерно упрекать Соединенные Штаты за их расизм. Он не был исключительным для указанного периода, если мы обратимся к другим странам с заморскими колониями. Британия, Франция, Германия, Бельгия и Япония в этот период приобретали новые колонии и также отказывали в правах их населению, считавшемуся расово неполноценным. Освобождение этих народов от колониализма произошло примерно в то же время, в которое афроамериканцы получили гражданские права, и наблюдалась явная параллель между чернокожими в Соединенных Штатах и в колониях. Европейцы и американцы разделяли наследие рабства; единственное различие заключалось в том, что у американцев оно распространялось на внутренние механизмы власти.

В целом прогрессисты способствовали модернизации экономической и политической власти и осуществили улучшения в сфере гендера и образования. Они сделали бизнес более честным и открытым, но не смогли перераспределить достаточное количество власти. Правительственная инфраструктурная власть была на службе у большого бизнеса. В Америке стали заправлять корпорации, банки и тресты при поддержке бюрократов федерального уровня и уровня штатов, все они мало интересовались нуждами рабочих и фермеров и уж точно не имели никакого интереса относительно дел коренных американцев, афроамериканцев и азиатов. Образование рвануло вперед, женщины сделали гигантские политические шаги, некоторые бедные матери получили какую-то помощь, медленно расширялись профсоюзы. Однако эти реформы не были достигнуты путем классового действия, кроме того, они оставили экономический консерватизм в доминирующем положении на Севере и расовый консерватизм господствующим на Юге. Популисты увядали, а профсоюзы оставались аполитичными. Здесь не было почти никакого социализма, да и «либ-лаб» политика едва ли

подавала хоть какие-то признаки жизни. Но даже в этом отношении Соединенные Штаты не были исключительными, скорее в этот период они были одной из крайностей среди развитых стран. В частности, коллективно организованный капитализм обошел работников в организационном отношении. Весьма похожей была ситуация в Японии.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ 1920-Е ГОДЫ

Америка пережила необыкновенную Великую войну. Хотя 2 млн американских солдат были мобилизованы и миллион добрались до фронта, они сражались всего 17 месяцев. Их потери составили 116 тыс., в то время как каждая из остальных воюющих стран потеряла более миллиона своих граждан. Война, основанная на массовой мобилизации, имела определенные закономерности. Поскольку Соединенные Штаты были на стороне победителей, война легитимировала существующие властные структуры. Так как для них война длилась недолго, у американского гнева по поводу некомпетентности правящего режима или неоправданных жертв не было времени вырваться наружу в отличие от того, что происходило во всех прочих странах — участницах войны. Поскольку американский народ не понес значительных жертв, не было и обещаний, что после них жизнь станет лучше. Соединенные Штаты пережили только год войны, поэтому они испытали лишь первичный всплеск патриотизма, сплочения вокруг флага и солдат, нападков на тех, у кого это патриотическое рвение к войне отсутствовало. В результате эта война усилила существующее распределение власти.

Это была плохая новость для социалистов, синдикалистов и радикальных популистов, которые незадолго до войны демонстрировали некоторые признаки жизни (как и в большинстве стран). Многие выступали против войны как не имеющей ничего общего с американским народом и его ценностями. Они были правы, но их единственной наградой за это было преследование. Патриотическая волна поддерживала преследование пацифистов и левых в военное время (Lipset and Marks 2000: 237–239). С общего одобрения социалиста Юджина Дебса приговорили к десяти годам тюремного заключения за антивоенную речь. Ему удалось завоевать 6% голосов на президентских выборах 1912 г., но в 1920 г., участвуя в президентской гонке из тюрьмы, он набрал только 3,4%. Война негативно отразилась на социалистической идеологии. Не помогло ей и появление большевизма в России. Хотя, как и везде, война принесла с собой больше государственного регулирования экономики, оно было

временным (частично регулирование было возрождено во времена «нового курса»). Схемы направляемых государством реформ, влиятельные до войны, были дискредитированы, поскольку большинство из них происходило из Германии (Rodgers 1998: главы 6, 7).

Во время войны федеральное правительство сотрудничало с профсоюзами в обмен на обещания не устраивать забастовки. Это способствовало нормальной послевоенной волне профсоюзной деятельности и забастовок, но в Соединенных Штатах она пошла на убыль быстрее и решительнее, чем где бы то ни было, отчасти из-за репрессий. Вновь началась неограниченная эра «открытых предприятий» (Haydu 1997). При помощи анархистских бомбометателей президент Гардинг способствовал самой смертоносной из «красных паник» Америки. Во время рейдов Палмера 10 тыс. левых были арестованы, многие были избиты и брошены в тюрьмы, а иностранцы были депортированы. Профсоюзы АФТ, в основном цеховые и секционные, оказались в одной яме с социалистами и синдикалистами — членами «индустриальных рабочих мира» как единая «красная угроза». Американский легион и ку-клус-клан возглавляли толпы, разгонявшие профсоюзные собрания, разрушавшие штаб-квартиры профсоюзов и даже устраивавшие линчевания.

Значительное насилие имело место во время железнодорожной забастовки 1922 г. Государственное регулирование военного времени увеличило численность железнодорожных профсоюзов до 400 тыс., и 80% рабочих сложили свои инструменты в ответ на послевоенную приватизацию и планы по дерегулированию. Работодатели отказались признать профсоюзы и импортировали штрейкбрехеров, сопровождаемых полицией компании, местной милицией и милицией штата и, наконец, федеральными маршалами. После ожесточенных столкновений президент Гардинг вынужден был вмешаться. Первоначально он стремился к компромиссу, но работодатели не пошли на уступки. Затем генеральный прокурор убедил его, что решением должно быть всеобъемлющее антитрестовское предписание против забастовки, подкрепленное федеральной силой. Это в конце концов сломило сопротивление профсоюзов. Самым удачным железнодорожникам было позволено вернуться на работу, но на условиях работодателей, включавших принудительное вступление в профсоюзы компаний и подписание трудовых контрактов, запрещавших рабочим вступать в профсоюзы (yellow-dog contracts). В этой откровенной классовой борьбе победа осталась за боссами (Davis 1997).

Хотя в 1920-е гг. профсоюзы стагнировали во многих странах, рабочее движение в США переживало более серьезный упа-

док. Уровень юнионизации упал с 17% в 1920 г. до всего лишь 7% в 1933 г. Лишь в Японии (значительно менее промышленно развитой стране) численность профсоюзов была меньше. Профсоюзы уцелели только в старых цеховых отраслях и по большей части полностью исчезли из таких растущих отраслей промышленности, как химическая, сталелитейная, автомобилестроительная и производство каучука. Между 1920 и 1921 гг. численность членов социалистической партии сократилась в четыре раза — со 109 до 27 тыс. человек. В последующие годы она сократилась еще наполовину и уже никогда не возвращалась к прежним показателям, и к 1924 г. социалисты потеряли большое количество голосов.

Репрессии пользовались широкой поддержкой, поскольку их цели изображались в медиа как крайне жестокие люди, склонные к насилию и даже как государственные изменники. Социалисты и коммунисты осуждались как чужаки, и ограничение иммиграции рассматривалось в качестве необходимого, для того чтобы остановить поток антиамериканских идей. Ку-клукс-клан обзавелся национальной миссией: сохранить господство белого протестантства от посягательств черных, католиков, евреев и «иностраных большевиков». Полмиллиона женщин примкнули к женскому движению ККК в начале 1920-х гг. Ку-клукс-клан был «интегрирован в нормальную повседневную жизнь белых протестантов» (Blee, 1991: 2–3). Реакция также помогла убить надежды феминисток на поправку о равенстве прав. В 1920-х гг. доминировали консервативные республиканцы.

Тем временем экономический рост возобновился; война была прибыльной для Соединенных Штатов. Британия и Германия имели огромную задолженность перед американскими банками, и отныне США были лидирующей экономической державой. Рост возобновился, поскольку корпорации получили преимущество от их нынешнего глобального доминирования. Ежегодный прирост реального ВВП в 1920-х гг. превышал 4%, производительность труда в промышленности выросла более чем на 5% (Abramowitz and David 2001). Возросла концентрация бизнеса: к 1930 г. 100 корпораций контролировали практически половину экономики. Электрифицированное рабочее место, двигатель внутреннего сгорания и конвейер были теми технологиями широкого использования, которые увеличили производительность (David and Wright 1999; Abramowitz and David 2001; R. Gordon 2005). Автомобильный конвейер стал символом современности. На дорогах Америки было 9 млн моторизованных машин в 1916 г. и 27 млн в 1930 г. по цене, намного меньшей для потребителя. Росли сталелитейная, стекольная,

каучуковая и нефтяная отрасли промышленности. Росту пригородов способствовало распространение автомобильного транспорта. В свою очередь, рост пригородов способствовал строительству жилья. Филд (Field 2011) утверждает, что слабое планирование, неэффективное землепользование и незамысловатые инвестиционные пузыри вели к чрезмерному развитию с плохой инфраструктурой и неэкономичными разделами земельных участков. Тем не менее электричество было проведено в 60% домов, создав некоторый бум на рынке бытовой техники. Текстильная промышленность расширялась за счет продаж готовой одежды, сетевые магазины и каталоги помогли росту потребительского общества среднего класса. Газеты и журналы финансировались массовой рекламой; стремительно развивались радио, кинематография и звукозапись; Голливуд вытеснил Францию в качестве дома кино. Нация становилась более экономически интегрированной, на что экономисты ответили теорией национальной экономики — экономики, запертой в «клетку» национального государства (Barbe, 1985).

Расистское законодательство перекрыло поток иммиграции, а уровень безработицы в размере 4–6% в течение десятилетия мотивировал некоторые корпорации для удержания своих квалифицированных работников, предложив им золотые цепи социальных пакетов плюс продвижение на внутренних рынках труда (Berkowitz and McQuaid 1992: глава 3; Cohen 1990). «Капитализм всеобщего благоденствия» подвергал рабочую силу сегментации, подрывая потенциальную классовую солидарность. Нехватка рабочей силы стимулировала массовую миграцию афро-американцев на Север, где они получали более высокие зарплаты, но сегрегированное проживание — двусмысленная интеграция в американский мейнстрим.

В 1920-х гг. доход на душу населения, вероятно, немного вырос (Costa 2000: 22). Дэвид и Райт (David and Wright 1999; ср. Smiley 2000) утверждают, что росли и реальные зарплаты, но Р.Гордон (Gordon 2005) считает, что доля труда в национальном доходе оставалась неизменной. Хотя данные о доходах двусмысленны, но что точно не было двусмысленным, так это рост средней продолжительности жизни и среднего роста уроженцев мужского пола в 1920-х гг., что являлось признаком лучшего питания за долгосрочный период времени (Steckel 2002). Неравенство сократилось во время Первой мировой войны, но выросло после нее. К концу 1920-х гг. неравенство в доходах и собственности было выше, чем в любое другое десятилетие XX в. (Wolff and Marley 1989; Piketty and Saez 2003).

Самыми плохими были экономические показатели в сельском хозяйстве. Вместе с падением цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию заметно снизились доходы рабочих на фермах и мелких фермеров. Поэтому они часто чрезмерно эксплуатировали почвы. Многие бросали свои фермы и мигрировали, что ослабляло сельский популизм. Города оставались полиэтническими, но этнический конфликт между белыми шел на убыль. Общенациональный ку-клукс-клан развалился, оставшись преимущественно южной силой (Blee 1991: 175–176). Демократы освободились от цепей сухого закона, разделявших протестантских и католических рабочих. Две основные партии стали больше походить на партии других промышленных стран, Республиканская партия стала партией бизнеса, а Демократическая партия — партией народных классов, за исключением Юга (Craig 1992; Dawley 1991: 213–214). Теперь имел место потенциал для «либ-лаб» альянса, хотя в реальности он так и не возник. Руководство Демократической партии оставалось консервативным, и все выглядело так, как будто оно скоро вернется к власти. Америка сдвинулась вправо, укрепляя большинство предшествующих консервативных тенденций и представления об американской исключительности.

Столь разрекламированное новое потребительское общество не было универсальным дополнением к гражданству, поскольку не все были в него включены. Американское общество в изображении Голливуда было привилегированным, и иностранцы завидовали ему. Американские рабочие завидовали ему не меньше. Половина американцев жила на уровне прожиточного минимума или очень близко к нему и все еще продолжала занимать деньги в ломбардах и у местных кредиторов-акул. Процветающая индустрия кредитования убеждала семьи среднего класса в том, что ипотека — не безответственное влезание в долги, а признак респектабельной независимости, но рабочие по-прежнему снимали жилье (Calder 1999). Теоретики недопотребления утверждали, что потребление сдерживается низкой покупательной способностью масс. У богатых были деньги для инвестиций, у рабочих не было и лишнего цента. Это препятствовало общему переходу капитализма от большой производительности к большому потребительскому спросу, как это было в других развитых экономиках. Только средний и высшие классы были в выигрыше, что создавало опасность перепроизводства и бума на фондовом рынке со слабыми фундаментальными показателями. В 1929 г. это привело к Великой депрессии, глобальному кризису, который стал причиной огромного всплеска подавлявшегося недовольства рабочих и вывел Соединенные Штаты обратно в глобальный мейнстрим внутренней политики. Переход в мейнстрим произошел раньше в геополитике.

ВТОРОЙ ЭТАП ИМПЕРИАЛИЗМА: ИМПЕРИЯ ОДНОГО ПОЛУШАРИЯ, 1898–1930-е ГОДЫ

В конце XIX в. Соединенные Штаты неожиданно вступили в клуб заморских империалистов, осуществив экспансию в Центральной Америке, Карибском бассейне, Океании и Китае. Заморский империализм формировался медленно. Хотя доктрина Монро 1823 г. создала первые претензии на господство в Западном полушарии, оно могло стать реальностью только тогда, когда основной целью Британии и ее флота станут Азия и Африка. Соединенные Штаты заняли свой континент. Вторая промышленная революция сделала Соединенные Штаты важной экономической державой; кроме того, они обзавелись достаточно большим флотом. Все это произошло к 1890-м гг. и означало, что теперь Соединенные Штаты могли искать прибыль, предполагаемую безопасность и геополитический статус, проводя империалистическую политику за рубежом. Они, недолго думая, так и поступили, как и другие отстающие игроки этой эпохи — Германия, Япония и Италия. В этом не было ничего исключительного.

Политика США состояла в том, чтобы осуществлять минимальный неформальный империализм, нацеленный на предотвращение закрытия другими странами рынков для американских товаров. Для этого они захватывали угольные и военно-морские базы по всему Тихому океану, а также острова, богатые гуано, используемого в качестве удобрения. В 1890 г. капитан ВМС США Альфред Мэхэн опубликовал работу «Влияние морской мощи на историю», где утверждал, что современная экономика зависит от международной торговли, которая нуждается в защите океанского флота. Поскольку теперь федеральное правительство обладало большим бюджетным профицитом, оно потратило его на строительство кораблей. Американские элиты были захвачены идеей англосаксонской миссии в мире. В морской политике перешли от торговых судов, крейсеров и кораблей береговой охраны к боевым кораблям, и к 1898 г. Соединенные Штаты обладали третьим по величине флотом в мире. Для лидирующей промышленной страны было нетрудно развить боевой флот. Армия насчитывала только 25 тыс. бойцов, но сухопутной войны не планировалось.

Имели место также новые стратегические соображения. Новый империализм распространился на весь мир, и Соединенные Штаты присоединились к борьбе за Восточную Азию, не желая оставаться в стороне. Признаки европейской активности в американском полушарии заставляли дипломатию США нервничать. Франция планировала строительство Панамского канала,

немецкие инвестиции росли, к тому же европейские правительства отправляли канонерские лодки взимать долги с государств региона. В Вашингтоне существовал консенсус относительно того, что это внешнее вмешательство должно быть прекращено. В 1895 г. Соединенные Штаты отправили корабли, чтобы принудить к разрешению территориальный спор между Венесуэлой и Британской Гвианой. С Британией были предприняты минимальные консультации, с Венесуэлой вообще никто не консультировался. Госсекретарь Олни радовался этому успеху, заявляя: «Сегодня Соединенные Штаты — практически властители этого континента и их воля — закон» (LaFeber 1993: 2142–2183; Ninkovich 2001: 12–13). К 1898 г. президент Мак-Кинли также постановил захватить проект Панамского канала у испытывавшей трудности Франции и установить подконтрольную США зону канала — подставное государство на территории, отрезанной от Колумбии или Никарагуа. Соединенные Штаты пытались купить, а не захватывать эту территорию, как они прежде купили Луизиану и Аляску.

Внутри страны вторая промышленная революция усилила конфликт между работодателями и профсоюзами рабочих, а также напряжение, созданное массовой этнической иммиграцией. *Социальный империализм*, создававший заграничную империю, чтобы помочь разрядить классовую и этническую борьбу дома, некоторым представлялся решением проблемы (Weinstein 1968). Прогрессисты настаивали на урегулировании конфликта путем расширения прав рабочих и стимулирования массового потребительского спроса; консерваторы отвергали утрату свобод работодателей и повышение зарплат, которое этим подразумевалось. Однако империя не имела большой поддержки снизу прежде всего потому, что не было поселенческого лобби. Американцы были по-прежнему сосредоточены на вертикальной мобильности на родине. Поскольку Соединенные Штаты оставались чистым импортером капитала, не существовало никаких излишков американского капитала, ищущих новых рынков сбыта, то есть в данном случае аргумент Гобсона/Ленина был неприменим. В силу того что депрессию 1893–1897 гг. приписывали насыщению внутренних рынков, некоторые промышленники действительно одобряли захват зарубежных рынков для сбыта излишней продукции.

В 1895 г. драйвером экономического восстановления первоначально был экспорт, в структуре которого впервые преобладала промышленная, а не сельскохозяйственная продукция. Она обменивалась на латиноамериканское и карибское сырье и сельскохозяйственную продукцию, которые Соединенные Штаты не могли произвести самостоятельно, такую как сахар, кофе и бананы. В этой торговле доминировали крупные корпора-

ции, занимавшиеся горным делом и плантационным выращиванием сахара, табака, кофе и тропических фруктов, которые обслуживались находившимися в американской собственности железными дорогами и портами. В 1899 г. производители бананов объединились в гигантскую «Юнайтед фрут компани» (UFCO). Сахарные корпорации сочетали рафинирование сахара в Соединенных Штатах с интенсивным плантаторским производством на испанских Карибах. К 1895 г. американский бизнес инвестировал 50 млн долл. в испанскую колонию Кубу, и размер торгового оборота между Соединенными Штатами и Кубой теперь стал превышать размер кубино-испанской торговли (Ayala 1999; Perez 1990; Schoonover 1991: 170). Хотя эти корпорации составляли лишь малую часть американской экономики, они включали большую часть американцев, заинтересованных в этом регионе. Формировалось имперское лобби, и оно рассматривало остатки Испанской империи в Америке в качестве объекта для захвата.

Это был потенциально экономический империализм, возглавляемый корпорациями и банками, а не случайными сетями авантюристов и вооруженных торговых компаний, как это было с Британской империей. Некоторые утверждают, что именно это лобби стало причиной войны с Испанией 1898 г. (LaFeber 1993: глава 4, 5; P. Smith 2000: 27–29; Schoonover 1991, 2003). Мид (Mead 2001) усматривает в этом «гамильтоновское» сотрудничество государства и бизнеса с целью расширения динамичной национальной экономики. Промышленники типа Эндрю Карнеги и Джона Д. Рокфеллера приложили к этому руку. В то время как большинство бизнесменов и президентов уделяли мало внимания внешней политике, избрание Мак-Кинли в 1896 г. дало Америке выступающего за интересы деловых кругов президента-республиканца, приверженного активному поиску зарубежных рынков при поддержке разросшегося флота (LaFeber 1993: 330–333). Мак-Кинли также мог видеть стратегическую возможность устранить Испанию из американского полушария. Соединенные Штаты должны были предотвратить захват испанских колоний другими империями. Поэтому они решили захватить их первыми.

Однако едва ли какая-нибудь политика могла преодолеть нежелание Конгресса тратить деньги на иностранные предприятия; определенные бизнес-круги с интересами в этом регионе все еще выступали в поддержку Испанской империи. Внешняя политика по-прежнему не была в приоритете у Конгресса; даже просьбы бизнеса о лучших консульских услугах за рубежом увязали в межпартийных междоусобицах (Pletcher 1998: 4, 26–45). Однако Трубовиц (Trubowitz 1988: 31–95) убежден в том, что Конгресс менял свою позицию. Данные о го-

лосованиях на протяжении 1890-х гг. демонстрируют раскол по вопросам внешней политики между Севером и Югом. Конгрессмены-северяне предпочитали тарифы, чтобы защитить внутреннюю промышленность, плюс расширение военно-морского флота (кораблестроение располагалось на Северо-Востоке), а также неформальный империализм, чтобы держать рынки Азии и Америки открытыми. Южане предпочитали свободную торговлю, поскольку они зависели от дешевого сельскохозяйственного экспорта, а их основным торговым партнером была Британия, которая, боялись они, будет обеспокоена экспансией американского военно-морского флота. Запад был более ориентирован на внутренние рынки, но его представители могли обеспечивать переходящие голоса в обмен на поддержку по внутренним вопросам, которые они рассматривали в качестве первостепенных. Северяне лучше умели заниматься обменом голосами. Популисты, традиционные противники империализма, сконцентрированные на Юге и Западе, теперь были разделены. Таким образом, имперская кристаллизация набирала в Конгрессе обороты, но это было представительное правительство с выборами на конкурентной основе и энергичной желтой прессой, с помощью которой они достигали массовой публики через апелляцию к интересам, прикрытым идеалами. В предыдущей главе я отмечал, что в Британии возникновение широкого избирательного права среди мужчин оказало на политиков серьезное давление, чтобы сделать империю законной в их глазах. Подобным же образом американская империя должна была изображаться как несущая добро людям, а не только служащая интересам большого бизнеса, к которым многие американцы в Прогрессивную эпоху относились с подозрением.

Некоторые утверждают, что растущее ощущение американской миссии по отношению к миру было основной причиной этого всплеска империализма (Ninkovich 2001). Многие американцы тогда, как и сейчас, были убеждены, что они самые свободные люди на земле, и это налагает на них ответственность перед всем миром. Была ли эта ответственность образцом или миссией? Образец был воплощен в знаменитом описании (датируемом 1630 г.) Джоном Уинтропом американцев, воздвигающих «город на Холме, и глаза всех людей обращены на нас». Вокруг создания такого образца существовал национальный консенсус, но это могло привести скорее к изоляционизму, чем к империи. Вторым ощущением была имперская миссия принесения американского образца всему миру, спасая его при помощи гуманитарных интервенций. Теодор Рузвельт заявлял, что американцев будут вспоминать за их имперские доблести так же, как и римлян. «Все великие господствующие расы были

сражающимися расами, и в тот момент, когда раса теряет жесткие боевые качества... неважно, насколько ее представители искусны в коммерции и финансах, в науке и искусстве, она теряет свое право быть равной среди лучших» (Auchincloss 2001: 4). Сенатор Генри Кэбот Лодж хвастался: «Мы обладаем историей завоевания, колонизации и экспансии, равной которой нет ни у одного народа в XIX в. И мы не собираемся на этом останавливаться» (Schoultz 1998: 135). Он добавлял, что американский империализм будет распространять «свободу», а не «тупой материализм» Британии или Франции. Некоторые добавляли к этому социальный дарвинизм: долг белой расы — «поднять с колен темные расы». Другие требовали, чтобы страдающие под испанским гнетом были освобождены. Последнее имело достаточно широкую привлекательность, особенно для популистов, которые в противном случае отвергли бы внешнюю политику, проводимую бизнесом и стратегическими элитами.

Противники империализма заявляли, что свободу нельзя принести под дулом пистолета, а также что империализм есть предательство американских конституционных свобод. Другие приходили к антиимпериалистским взглядам через расизм: иностранная интервенция порождала риск «расового загрязнения». Нативисты в Калифорнии рассматривали азиатов в качестве основного источника расового засорения; демократы-южане опасались латиносов и негров Карибского бассейна. Уильям Дженнингс Брайан, потерпевший поражение на президентских выборах 1900 г., кандидат от демократов, синтезировал очень разные аргументы против империи, заявляя: «...филиппинцы не могут быть гражданами, не подвергая опасности нашу цивилизацию; они не могут быть подданными, не ставя под угрозу нашу форму правления» (Schoultz, 1998: 142). В данном случае конституционные права и расизм соединились нетипичным образом, чтобы противостоять империализму. Империалисты и антиимпериалисты приходили и слева, и справа.

В этих дебатах не было перевеса ни одной из сторон, что поднимает контрфактический вопрос: что если бы Соединенные Штаты отказались от зарубежных начинаний? Тогда испанские колонии смогли бы достичь независимости позднее и изоляционизм Соединенных Штатов мог бы продлиться до Первой мировой войны, или они даже не вступили бы в нее. Мир был бы другим, но эта война была вызвана в меньшей степени событиями в США, чем на Кубе. Там в 1895 г. началось кровавое восстание. Испания ответила репрессиями, включая создание концентрационных лагерей. В Соединенных Штатах защитники «Свободной Кубы» заявили, что американская конституционная традиция требует оказания помощи борцам за свобо-

ду. Но интервенционисты восторжествовали лишь тогда, когда военный корабль США «Мэн», отправленный в 1898 г. в Гавану для демонстрации военно-морской мощи, взорвался и затонул, унеся жизни более 200 американских моряков. Молва приписывала это подлым испанцам, хотя более вероятно, что это был несчастный случай. Эмоции взяли верх, и Конгресс заставил президента Мак-Кинли объявить войну, хотя он, возможно, предпочел бы вмешательство. Военные заверили его в победе, к тому же на Кубе и Филиппинах было много повстанцев. Гибель «Мэна», очевидно случайное событие, возможно, оказалась своевременным предлогом для войны, которая теперь уже была предопределена множеством факторов (Offner 1992: ix and 225; ср. с Ресену 1999: 56–65).

Испано-американская война продлилась всего три месяца. Это была быстрая победа американцев, включая сокрушение испанского деревянного флота не только в Карибском бассейне, но и по всему Тихому океану. «Превосходная маленькая война», — отметил государственный секретарь Хэй, но захват испанских колоний не был продуман заранее, а потому ни Мак-Кинли, ни его советники не имели ясного представления о том, что с ними делать. В этом смысле это была случайная империя. Во время континентальной экспансии Верховный суд постановил, что «конституция следует за флагом» (не для индейцев, разумеется, поскольку они были мертвы). Поэтому аннексия должна была дать конституционные права бывшим испанским подданным.

Но Мак-Кинли не хотел «принимать участия в управлении этими пестрыми полутора миллионами испанцев, кубинцев и негров, которым наши религия, манеры, политические традиции, привычки и способы мышления, по правде говоря, столь же известны, как и королю Дагомеи» (Schoultz 1998: 142). Поскольку сам термин «колония» был неприемлем, Куба, Пуэрто-Рико и Филиппины плюс небольшие островки в Тихом океане эвфемистически обозначались Верховным судом как «не включенные в состав территории», для того чтобы не давать местным жителям статуса гражданина. На самом деле это были именно колонии.

КУБИНСКАЯ КОЛОНИЯ

Куба обладала стратегическим расположением, всего лишь в девяноста милях от Флориды, и вместе с Пуэрто-Рико контролировала доступ к Карибскому бассейну и Центральной Америке. Поэтому Соединенные Штаты захватили ее (Boot 2002: 134–135).

Теперь администрация стремилась контролировать будущее Кубы. Вооруженные силы США не советовались с кубинскими повстанцами по поводу ведения войны, отстранили их от капитуляции испанцев и отказались признать республику повстанцев. Соединенные Штаты решили, что *свобода* означает «изгнание испанцев с полушария и защиту интересов американского бизнеса от повстанцев». В своем военном послании Конгрессу Мак-Кинли говорил, что «наложит враждебные ограничения на обе стороны на Кубе» (LaFeber 1994: 202; Perez 1983: 178; Perez 1998: 19, 79–80; Offner 1992: 194, 222). Повстанцы представлялись опасными, особенно бывшие работники сахарной и табачной промышленности. Верховный суд США описывал их как людей, «непривычных ни к цивилизации, ни к христианству... негроидных элементов, вместе с иностранными авантюристами... ищущими власти или наживы». Посланник Мак-Кинли в Испании говорил, что «протекторат над Кубой представляется мне чем-то очень подобным принятию ответственного надзора над сумасшедшим домом» (Schoultz 1998:136).

Когда Соединенные Штаты подавили народное повстанческое движение, их оккупацию уже не приветствовали с распростертыми объятиями. Американскими клиентами были в основном элиты, описываемые как «деловой класс, полностью способный к трезвому расчету», «порядочные элементы», «интеллигентные и образованные», «владельцы собственности», «белые мужчины из хороших семей и с хорошим положением в обществе. Среди верховного военного командования были лишь три человека негритянской крови». Генерал-губернатор Вуд был счастлив отметить, что в законодательном собрании, избранном на основе ограниченного права голоса, «белые в подавляющем большинстве превосходят черных». Но затем он изменил свое мнение, сказав: «Я должен отметить, что у нас около десяти человек абсолютно первого класса, около пятнадцати человек сомнительных способностей и характера и около шести наихудших негодяев и факиров на Кубе». Сенатор Платт отмечал: «Во многих отношениях они совсем как дети» (Schoultz 1998: 144–148, 202). Генерал-губернатор Вуд и секретарь Рут говорили, что потребуются десятилетия американской опеки, чтобы достичь не самоуправления, но «аннексии на основании единодушного шумного одобрения». Генерал Шафтер восклицал: «Самоуправление?! Да эти люди подходят для самоуправления не больше, чем порох для ада!» (Healy 1963: 36, 91–96, 148; ср. Hunt 1987).

В 1903 г. в кубинскую конституцию была внесена поправка Платта, требовавшая от Кубы «поддерживать низкий уровень государственного долга; воздерживаться от подписания каких-

либо договоров, наносящих ущерб обязательствам перед Соединенными Штатами; даровать Соединенным Штатам право интервенции для защиты жизни, свободы и собственности; утверждать акты военного правительства и, если потребуются, предоставить долгосрочные военно-морские базы» (Langley 1980: 21). Это чрезвычайно ограничивало суверенитет Кубы. Военная администрация США оставалась на острове в течение 20 лет, контролируя кубинское клиентелистское правительство. Созданная тогда военно-морская база Гуантанамо по-прежнему оказывается полезной для сомнительных имперских ролей.

Американские корпорации теперь захватили сахарную промышленность, как они поступили и в Пуэрто-Рико — в государстве, которое также было оккупировано в 1898 г., и в Доминиканской Республике, после того как в 1916 г. началась ее восьмилетняя американская оккупация. Острова были безопасным местом для американских корпораций, чтобы контролировать вложения и воздействовать на конкурентов, объединив производство с низкими трудовыми издержками. Имел место экономический рост, но крестьяне от него ничего не выигрывали. Была расширена сеть железных дорог, но, как и обычно в колониях, они доставляли продукцию иностранных компаний в порты для вывоза из страны. Большинство линий не работало по окончании сахарного сезона, и не было обратной связи или мультипликационного эффекта в экономике. Это был экономический рост, но без развития (Ayala 1999; Zanetti and Garcia 1998). Тем не менее это было после отмены рабства, поэтому работники американских корпораций были избавлены от худших форм колониальной эксплуатации. На самом деле им даже обычно платили больше, чем работникам других секторов экономики.

Военная мощь США продолжала процветать. Если кубинские выборы шли «не в том направлении» или клиентелистское правительство становилось непопулярным, вмешивались американские солдаты. Посол США так объяснял американскую политику на Кубе: «Заставить их голосовать и жить в соответствии с принятыми решениями». Если появляются какие-то проблемы, «мы вмешиваемся и заставляем их голосовать еще раз» (P. Smith 2000: 52). Соединенные Штаты были весьма демократичными дома, но их правление на Кубе было деспотическим.

ФИЛИППИНСКАЯ КОЛОНИЯ

Президент Мак-Кинли первоначально не намеревался аннексировать Филиппины, но заявил, что его совесть взяла над ним верх после нескольких бессонных ночей:

Я опустился на колени и молился Господу Всемогущему, чтобы он послал мне просветление и направил меня... и в одну ночь он явился ко мне... нам ничего не оставалось, как только принять их всех, и нести филиппинцам свет знания, и поднять их с колен, и нести им цивилизацию и христианство, и милостью Божьей делать для них все лучшее, что мы можем, как для ближних наших, за которых отдал свою жизнь Христос... И следующим утром я послал за главным инженером Военного департамента (нашим картографом) и повелел ему нанести Филиппины на карту Соединенных Штатов (Schoultz 1998: 89).

Он как будто бы не знал, что подавляющее большинство филиппинцев уже были христианами.

Сначала дела пошли не очень хорошо. Вновь было сформировано новое правительство без каких-либо консультаций с союзниками из числа повстанцев. Последние оказали сопротивление, и в течение трехлетней колониальной войны были убиты от 200 до 400 тыс. филиппинцев, многие из них — в американских концентрационных лагерях, унаследованных от испанцев. Повстанческим областям было отказано в продовольствии, чтобы создать то, что один американский офицер назвал «голой пустыней». Более 4 тыс. американских солдат погибли в основном от болезней. Будь все это известно Мак-Кинли заранее, он, возможно, не претендовал бы на Филиппинские острова. Их оккупация вызвала первое заметное антиимпериалистическое движение в Соединенных Штатах, наиболее известным представителем которого был Марк Твен. Профессор социологии Йельского университета Уильям Грэм Самнер (Sumner 1899) описывал эту войну как «завоевание Соединенных Штатов Испанией». Он имел в виду, что, приобретая колонии, Соединенные Штаты оказались захвачены испанскими империалистическими ценностями, и концентрационные лагеря были тому примером.

Тогда американцы ощутимо изменили представления о своей миссии. Они усвоили то, что британские и французские империалисты поняли до них: репрессии будут работать только тогда, когда будут результатом сделки с местными элитами — косвенной империи. Этнические меньшинства были вооружены для борьбы с тагалами, которые доминировали среди повстанцев. Тогда тагалы из высшего класса предпочли сложить оружие, чем потерять свою собственность. Учитывая, что немногие американцы хотели войти в состав персонала имперской миссии или создать там бизнес, филиппинские *saciques*, 60 богатейших семей, с обширными патронажными сетями научились использовать собственную незаменимость. Эти семьи также были нужны для того, чтобы голосовать за налоги, поскольку Конгресс США отказался голосовать за финансирование филиппинской колонии. Это отличалось от ситуации в Пуэрто-Рико, утверждает Гоу (Go 2008),

где экономическая власть местных элит была нарушена присутствием американцев (а также ужасным ураганом), принудившим их к политическим изменениям, включая принятие американской многопартийной системы, которая отсутствовала на Филиппинах. Хотя американцы постоянно жаловались на коррупцию вапатрон-клиентских отношениях элиты, всякий раз, когда они предлагали реформы, семьи вызывали в их воображении призрак революции, и Соединенные Штаты отступали. Основным воздействием американского управления было то, что элита, *illustrados* («просвещенные») распространила свои сети контроля с местного уровня на уровень национальной политики, а также на новые институты, введенные американцами, такие, например, как реформированная и расширенная школьная система (Hidalgo 2002; Go 2003, 2008: 254; Boudreau 2003; Ninkovich 2001: 54–59). Как обычно, империя наделяла традиционные элиты силой, но без американских колонистов белый расизм был незначительным и принимал ламаркистскую форму. Американская опека, основанная на изучении британских институтов империализма, должна была поднять местных жителей до уровня цивилизации (Go 2011). На Конгресс также воздействовали антиимпериалисты, которые укрепились после Первой мировой войны, и американские фермеры, конкурирующие с филиппинскими товарами. Поскольку ни реальная демократия, ни большие прибыли не могли быть достигнуты, не было смысла удерживать острова, и это мнение лишь усилилось, когда в 1908 г. руководство ВМФ решило, что военные базы США слишком незащищены и далеки от границ Соединенных Штатов (Romero 1974: 158–159). События 1941 г. это доказали.

К 1912 г. филиппинцы сами контролировали свое правительство, за исключением обороны и школ. Внешне привлекательная верхушка расширенной системы образования заключалась в отправке 100 филиппинских *pensionados* (стипендиатов. — *Примеч. пер.*) на год обучения в американские колледжи, в основном это были дети элиты; к 1920 г. школьным образованием был охвачен практически миллион человек (Calata 2002; Ninkovich 2001: 60–72). Соединенные Штаты быстро перешли от прямого к косвенному управлению, а от него к существенному самоуправлению значительно скорее, чем это происходило в любой британской колонии. В 1934 г. Соединенные Штаты начали десятилетнюю подготовку к независимости Филиппин, будучи первой имперской державой, которая предприняла такой шаг (Villacorte 2002; Roces 2002). Лишь Япония отложила полную независимость до 1945 г. Это было выдающимся достижением американского империализма, хотя реальная заслуга в этом принадлежала филиппинской элите.

У американского расизма, смешанного с патриархатом, была и положительная сторона. «Детоподобные» нации, такие как Филиппины и Пуэрто-Рико, могли быть обучены и доведены до состояния «зрелости» очень быстро. Наш долг был в том, чтобы возвысить темные расы, которые были «эмоциональны, иррациональны, безответственны, непрактичны, неустойчивы, детоподобны», «младшими коричневыми братьями», «немужественными, женоподобными». Латиносы и филиппинцы стояли ниже белых, но выше негров в расовой иерархии, а дикари жили в глуши. Все было «испорчено» испанским господством, но при условии опеки, за исключением дикарей и мусульман, могли самостоятельно управлять собой. На самом деле, как отмечает Гоу (Go 2011), именно потому, что филиппинцы уже достигли достаточно высокого уровня цивилизации, опека могла сработать быстрее, чем в большинстве британских колоний (ср. Go 2004; Rosenberg, 1999: 31–35; Hunt, 1987: глава 3; P. Smith 2000: 48–49). Популярными картинками показывали, как Земля Колумба, или Дядюшка Сэм, или американский солдат протягивает руку помощи, или раскрывает глаза, или указывает путь маленькому детоподобному филиппинцу или латиносу. Другие изображали отеческое наказание, например принудительное купание ревущего черного кубинца американским генералом Вудом или Землю Колумба, отрезающую китайскую косичку (символ реакционного общества) ножницами, на лезвии которых была надпись «Прогресс XX в.», — расизм и ценности Просвещения перемешивались привычным имперским образом. Но дети и младшие братья в итоге должны стать взрослыми; расы не рассматривались как постоянно отстающие.

Всемирная выставка в Сент-Луисе 1904 г. показала живые колониальные экспонаты из Филиппин, включая 1000 дикарей и нехристианских племен, расположенных по уровню цивилизации. На самом низком уровне были дикари игороты — охотники за головами, поедающие собак, практически голые — они собирали большие толпы зевак. Самыми цивилизованными были обученные в США филиппинские солдаты, демонстрирующие американскую способность приобщать к цивилизации. К 1930-м гг. американцы считали эту задачу по большому счету выполненной. Теперь в колониях не было никакой необходимости, даже в виртуальных, и модель в Азии теперь заключалась в том, что Соединенные Штаты оставались за морем, обеспечивая соблюдение американских интересов, которые в основном сводились к свободной торговле и «открытым границам», посредством неформальной империи и без каких-либо территориальных посягательств.

ПОЧЕМУ КОЛОНИИ БЫЛИ ВРЕМЕННЫМИ

Незадолго до 1900 г. у Соединенных Штатов были экономические и стратегические причины участвовать в легкой войне, которая неожиданно принесла им колонии. Затем от прямой и косвенной империи они перешли только к временным колониям, а затем к неформальной империи по причинам, которые по большей части коренились в условиях того времени, чем в каком-либо присущем американцам отвращении к империи (ср. Go 2011). Имели место шесть основных причин этого отхода.

- (1) Соединенные Штаты сразу же обожглись на Кубе, Филиппинах и Пуэрто-Рико. Легко было нанести поражение испанцам; труднее — управлять без поселенцев и с отчужденной местной элитой. Читателю это знакомо, поскольку последняя оккупация Ирака [2003–2011] представляла собой ту же комбинацию. Местные союзники выступили против американской оккупации, от идеальной миссии отказались, ожидания уменьшили. Соединенные Штаты оставались на Кубе 20 лет, на Филиппинах — 40 лет и до сих пор находятся в Пуэрто-Рико, но больше такого опыта США не хотели.
- (2) Соединенные Штаты практически не отправляли поселенцев. В Африке Британскую империю все еще подталкивали к приобретению новых колоний британские местные поселенцы и авантюристы. Лобби поселенцев также было сильно в Японской империи. Однако поселенцы по-прежнему приезжали в Соединенные Штаты, а не покидали их. Исключением были Гавайи, где население американских плантаторов обеспечило превращение Гавайев в американскую колонию, контролируемую ими. После Второй мировой войны они были включены в состав Соединенных Штатов как штат. Социальный империализм нуждался в низовой поддержке, а она в Соединенных Штатах отсутствовала. Не было огромного народного лобби в пользу колоний.
- (3) Борьба европейцев за Африку была обусловлена опасениями, что другие державы захватят территорию первыми. Ни один соперник всерьез не сражался за американское полушарие. Германия или Япония имели виды на Филиппины, поэтому британцы убеждали Соединенные Штаты там оставаться. Максимальной угрозой на американском полушарии была одна или две иностранные канонерские лодки, и Соединенные Штаты могли легко отпугнуть их более дешевыми неофициальными средствами, которые Британия также предпочитала использовать в этом полушарии.

- (4) После трех веков европейской экспансии Британия и Франция уже имели опытные колонизирующие институты — колониальную государственную службу, торговые компании с монопольными лицензиями, а также колониальные армии и флот. Они продолжали делать то, чему были научены. У отстающих Германии и Японии был высокий уровень милитаризма и компании с государственной поддержкой, кроме того, Япония также отправляла поселенцев. Отстающие Соединенные Штаты не обладали подобными институтами, за исключением флота, который был более удобен для неформальной империи, чем для колоний. По сравнению с остальными империями Соединенным Штатам не хватало колониальных институтов, знаний и персонала.
- (5) Это было начало эпохи национализма, когда образованные, обладающие собственностью элиты периферии разработали идеологии, содержащие антиимпериализм и расовые адаптации конституционной революции, которые распространились по всему миру. Колонии было труднее создать. Европейские империи завоевывали страны раньше, до того как возникли современные националистические движения. Теперь же у повстанцев было больше идеологической власти. В 1896 г. итальянская армия потерпела поражение в сражении при Адуа от эфиопского монарха, мобилизовавшего христианский национализм, взращенный борьбой с мусульманскими соседями. С 1899 по 1902 г. британцы в Южной Африке были потрясены восстанием буров, голландских поселенцев, обладавших собственной национальной культурой. Но, как и британцы в Южной Африке, американцы научились справляться с повстанцами-националистами — они дали привилегированным филиппинским элитам «демократию касиков» (B. Anderson 1988), которые по доброй воле делились властью с Соединенными Штатами, чтобы защитить свои права собственности. Но Соединенным Штатам не удалось достичь этого где-либо еще, и они стремились к менее колониальным формам контроля.
- (6) В этот период происходил рост корпоративного капитала, когда крупный сельскохозяйственный бизнес и банковские тресты пытались добиться монопольных концессий за границей. Латиноамериканские страны уже обладали государственными гарантиями прав собственности западного стиля и выпускали монопольные лицензии. Многие режимы были коррумпированы и раздирались конфликтами, но их насильственное реформирование, а не уничтожение было простейшей тактикой для иностранных корпораций. Способом добиться больших прибылей на американском полу-

шарии была не колонизация, а принуждение извне при помощи канонерских лодок. Британия уже делала это на своей половине земного шара, и для американцев неформальная империя была очевидным решением. Американцы выбрали ту форму империализма, которая им больше всего подходила. Она была более капиталистической, чем этатистской, а этатизм затем вводили небольшими дозами.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ С КАНОНЕРСКИМИ ЛОДКАМИ

Соединенные Штаты не отказались от империализма — они просто изменили его формы. Между 1899 и 1930 гг. Соединенные Штаты предприняли 31 карательную военную интервенцию по одной за год. В Азии Соединенные Штаты оставались младшим партнером европейцев. Их политика открытых дверей, провозглашенная государственным секретарем Хеем в Китае в 1899–1900 гг., была требованием поздних империалистов выйти на китайские рынки на тех же самых неравных условиях, которыми пользовались европейцы. В 1900 г. Соединенные Штаты внесли свою лепту в подавление «Боксерского восстания», отправив 5 тыс. солдат, присоединившихся к объединенным силам имперских держав, и это ввело их в клуб неравноправных договоров, точно так же как и Японию с ее 8 тыс. солдатами. Основным рынком, который война сохранила открытым, были поставки опиума в Китай, которые повстанцы-«боксеры» и китайское императорское правительство пытались прекратить. Тем самым Соединенные Штаты стали участниками одного из самых позорных деяний современного империализма, хотя и были всего лишь младшим партнером британцев, которые поставляли опиум. Открытая дверь была открытой лишь в одном направлении, поскольку вплоть до 1930-х гг. американские рынки оставались протекционистскими (Eckes 1995).

Двадцать восемь из тридцати одной интервенции были осуществлены в Центральной Америке и Карибском бассейне. В регионе было мало войн, но неравное развитие означало, что в большинстве стран лишь немногие анклавы экономики были способны экспортировать сельскохозяйственную продукцию и сырье, а подавляющая часть страны оставалась в безнадежной бедности. Неравенство усугублялось усиливавшимися классовыми, этническими и расовыми различиями. Имела место интенсивная политическая борьба между консервативными, либеральными и националистическими проектами реформ. Результатом были политическая нестабильность и перевороты, от-

ветственность за которые редко лежала на американцах (Mares 2001). Тем не менее иностранный бизнес усиливал неравенство и препятствовал национальному развитию, поскольку его доходы шли от монопольных концессий в горнодобывающем и сельскохозяйственном бизнес-анклавах, которые были мало связаны с остальной экономикой. Основными бенефициарами среди местного населения были землевладельцы и торговцы, являвшиеся клиентами иностранного бизнеса, плюс рабочие в анклавах, которым жилось лучше, чем рабочим вне их (Bucheli 2005: глава 6; Dosal 1993). Большинство прибылей репатриировались за границу почти без обратной связи. И вновь это был рост без развития. Исследования кофейной, пеньковой и нефтяной отраслей между 1850 и 1929 гг. показывают, что американские компании оказали негативное воздействие на экономическое развитие большей части Латинской Америки (Torik and Wells 1998).

Ключевой проблемой были монопольные концессии иностранному бизнесу, раздаваемые коррумпированной, но сговорчивой олигархией, возглавляемой каудильо, в функции которой входило поддержание порядка и подавление народного протеста. Это подорвало действительно конституционный порядок и национальное экономическое развитие на Кубе, в Доминиканской Республике, Гватемале и Никарагуа (Leonard 1991: 95; Whitney 2001: 1–9, 18–20; Hall 2000; Dosal 1993: 1, 75–94, 119–140). Концессиям периодически бросали вызов либеральные и радикальные мобилизации под эгидой национализма, но американский бизнес обычно противостоял им, опасаясь всех, кто нес «опасный потенциал революций» (Hunt 1987: 105). Пугливый американский бизнес вовлекал правительство США в реализацию такой модели вмешательства, которая применяла экономическое давление, чтобы дестабилизировать либералов и военную интервенцию и разбить радикалов (Paige 1997: 45–46; Mahoney, 2001: 19–23). Это были действия правительства вдогонку, после провокаций со стороны корпораций.

После вооруженной интервенции Соединенные Штаты могли поставить под контроль таможи и государственные бюджеты, чтобы обеспечить «здоровые финансы» — более прямую и насильственную форму современных программ структурных реформ в экономике. Теодор Рузвельт положил этому начало, опираясь на британскую политику в Египте (Rosenberg 1999: 41–52). При президенте Тафте она стала известна как долларова дипломатия. Американские «денежные доктора» назначали займы у банков США, чтобы стабилизировать местную валюту, деноминировали ее в долларовом исчислении, перемещали золотые резервы в Нью-Йорк, пересматривали сроки выплат долгов и контролировали их бюджет и сборы таможенных поступ-

лений (Paige 1997, 79–80, 162–168, 178; Mahoney, 2001: 190). Они стремились обеспечить здоровые финансы, что гарантировало выплату внешней задолженности из всей суммы доходов, делало страну привлекательной для иностранных инвестиций, также расширяло долларовую зону, сокращая зону глобального господства британского фунта стерлингов.

Долларовая дипломатия рядилась в бизнес-версию цивилизаторской миссии. Висер в своем исследовании Венесуэлы (Veeser 2002) показывает, что никто из «долларовых дипломатов» не заикался о демократии. Вместо этого они утверждали, что распространяют рациональность и неизбежность свободных рынков, которые, в свою очередь, будут поощрять здоровое и прогрессивное правительство (в противоположность нездоровому или иррациональному). Расистская и патриархальная идеологии империализма сделали бизнес-поворот: «„зрелость“ и „мужественность“ белой расы породили „самоконтроль“, мастерство и способность планировать будущее... Три столетия испанского правления породили детей, а не независимых самостоятельных мужчин», заявил Эдвин Кеммерер из Принстонского университета возмущенной аудитории филиппинских студентов в Корнелльском университете. И такое мнение было свойственно не только банкирам, но и «обитателям небольших городов, менеджерам и стремящимся к карьерному росту профессионалам», — пишет Росенберг (Rosenberg 1999: 33–39). Долларовая дипломатия была одной из форм неравных договоров, выгодной больше всего американскому бизнесу и иностранным держателям долга, затем локальным клиентам и в малой степени местному обществу. Однако в отличие от современных программ структурных реформ экономики она не была гегемонистской и требовала повторяющихся военных интервенций. Это была дипломатия доллара плюс канонерских лодок, политическая кристаллизация с основными сторонниками из числа тех американских корпораций, у которых были интересы в регионе.

Все это не могло решить, по сути, местные проблемы. Долгосрочное воздействие американских интервенций, вероятно, усугубило местную нестабильность, хотя и не создало ее. Морская пехота могла дислоцироваться от трех месяцев до двадцати пяти лет (в Никарагуа) даже без претензий со стороны США на суверенитет над данной территорией (Панама была отчасти исключением в силу важности Панамского канала). За интервенциями шла локальная экспансия американских агропромышленных трестов, как демонстрирует Айала (Ayala 1999) на примере карибской сахарной промышленности. Якобы либерал Вудро Вильсон отправил больше морских пехотинцев, чем

самопровозглашенный империалист Теодор Рузвельт, и это вернуло партию демократов к империализму. Эта политика теперь была двухпартийной, хотя она редко привлекала к себе много внимания.

С 1900-х до середины 1930-х гг. администрация США иногда заявляла, что вмешивается, чтобы восстановить демократию. Канонерские лодки продвигали свободу, самоопределение и свободное самоуправление, но всякий раз, когда начинало пахнуть социальной революцией, то есть перераспределением, или казалось, что либеральные или популистские движения представляют собой угрозу интересам американского бизнеса, Соединенные Штаты пресекали это кратковременной и энергичной военной интервенцией (Schoonover 1991: 173; Leonard 1991: 79–81; Whitney 2001: 138–139). Прибыль, за которой на некотором расстоянии шла стратегическая безопасность, была основным мотивом, возникавшим в кристаллизующемся имперском государстве. На Кубе генерал-губернатор Вуд сказал: «Когда люди спрашивают меня, что я называю стабильным правительством, я отвечаю им: деньги под шесть процентов» (Ninkovich 2001: 102). Президент Венесуэлы Хуан Висенте Гомес стал надежным союзником Соединенных Штатов. В ответ на это Соединенные Штаты закрывали глаза на жестокости его 27-летней диктатуры, называя его «демократическим Цезарем» (Ewell 1996: 107). Каудильо научились манипулировать демократической риторикой, обличая своих местных врагов как диктаторов или революционеров. К концу этого периода безжалостные тираны правили именно теми странами, где Соединенные Штаты сильнее всего прежде настаивали на демократии (Drake 1991: 33). Макс Бут, всегда старающийся отыскать хорошее в американской империи, признает, что демократические проекты потерпели провал, но утверждает, что это было потому, что «диктатура была местного происхождения, а демократия была интродуцированным саженцем, который не прижился отчасти потому, что американцы не оставляли поблизости достаточно долго, чтобы взрастить его» (Boot 2002: 251). Тем не менее в итоге американские интервенции усугубили социальные конфликты и сделали конституционное правительство недостижимым (ср. P. Smith 2000: 63).

Это было нерационально: политика, поощряющая национальное экономическое развитие с некоторыми элементами перераспределения, способствовала бы местной стабильности и экономическому росту, который, в свою очередь, стимулировал бы торговлю с США и увеличил прибыли американских корпораций. Коста-Рика была местным доказательством того, что подобная альтернативная стратегия была бы выгодной для обеих сторон. Чем большей независимостью от Со-

единенных Штатов обладала та или иная латиноамериканская страна, тем большего экономического роста она достигала, точно так же как в Британской империи. Однако лобби корпораций, наживавшихся на монопольных концессиях, это блокировало. Американский империализм на своем полушарии был необычно корпоративным. Для большинства американцев империя была вне их поля зрения; то же касалось и большей части американского бизнеса. Совсем иначе дела обстояли с теми немногочисленными корпорациями, которые обладали монопольными концессиями в добывающей и транспортной отраслях или плантациями в соответствующих регионах. Поскольку не существовало значительных групп с противоположными интересами, эти корпорации сохраняли зловещий контроль над американским империализмом. В первой половине XX в. страны, расположенные на значительном расстоянии от Соединенных Штатов, лучше контролировали и защищали свои экономики, и их экономический рост был быстрее, чем у ближайших соседей, в дела которых вмешивались Соединенные Штаты. Поэтому этот империализм следует рассматривать как эксплуататорский.

Политические цели также фильтровались и ухудшались, так как их рассматривали через очки расистской идеологии, одетые на родине. Это было самым непосредственным воздействием внутренних отношений власти на зарубежные. Расы были организованы в цивилизационную иерархию: белые, метисы, чернокожие, затем коренное население. Британцы были опытными в управлении косвенной империей, ведя дела с местными элитами, распознавая большие классовые и культурные различия среди коренных жителей. Как мы убедились в прошлой главе, их расизм глубоко въелся в частную жизнь колоний, но в публичной политике они были более прагматичны, как это отражено в довольно мягких британских официальных документах того времени. Бумаги Государственного департамента США заметно отличались от них. Один справочный документ гласил: «Политическая стабильность этих стран более или менее соответствует процентной доле их чисто белых обитателей». Бразильское отделение информирует госсекретаря, что метисы являются «эгоистичными, большими любителями удовольствий и власти», а негры «практически полностью безграмотны и по-детски невежественны». Мексиканское отделение пишет, что мексиканцы «управляются малоцивилизованной индейской расой, и было бы фундаментальной ошибкой вести дела с таким правительством как с высокоцивилизованными белыми расами или ожидать от них справедливости исключительно под воздействием логики, когда справедливость

вступает в конфликт с национальными устремлениями». Американский посол соглашается, отвечая: «В кабинете слишком мало белой крови». Затем он проходится по всем его членам в отдельности, определяя их как «индейцев», «евреев», «чистокровных и очень жестоких индейцев» и т. д. (Schoultz 1998: 278–279; Hunt 1987). Люди были даго (итальяшками), ниггерами или дикарями. Белые были подвержены деградации в течение веков испанского упадка и смешения рас. Рузвельт называл колумбийцев «презренными маленькими созданиями», «американскими зайцами», «глупыми коррупционерами-убийцами», полными «дурацкой слабости, чудовищного невежества, жестокости, предательства, алчности и абсолютного тщеславия». Генерал-майор Смедли Батлер называл никарагуанцев «самыми бесполезными подонками из тех, с кем я до сих пор сталкивался». Высокопоставленный чиновник армии США заявлял: «Гаитянце, как вам известно, очень истеричные люди». Все полушарие содержало 15 млн «едва обращенных в католицизм дикарей», «нищих, лениво восседающих на куче золота», «континент, который практически в буквальном смысле растрачивали зря». Это были более сильные предрассудки, чем в то время ходили между британскими империалистами. Силе этих предрассудков способствовал американский расизм на родине, и это увеличивало вероятность военной интервенции.

Злоба направлялась на любого, противостоящего Соединенным Штатам. Никарагуанский президент Селайя был описан Рузвельтом как «неописуемая падаль», венесуэльский президент Кастро — как «неописуемо мерзкая маленькая обезьянка» (Schoultz 1998: 210, 243, 254; Ewell 1996: 98–99, 109; Auchincloss, 2001: 57; McBeth, 2001). Настроенные дружелюбно латиноамериканские элиты (всегда белые) были «лучшего сорта», «коммерческими элементами», «из хорошей семьи с хорошим положением в обществе». Но в количественном отношении их сильно превосходили «безнадежно эгоистичные, безответственные политические бандиты... которые были немногим лучше дикарей». «Крестьяне...обладали менталитетом ребенка не старше семи лет от роду, они были «иррациональными», «неэффективными бандитами», «действующими без каких-либо твердых принципов», «чью жажду насилия, крови и революции невозможно было удовлетворить в принципе» (Schoultz, 1998: 76, 148, 164, 172, 179, 183, 210; Park, 1995: 23–24, 33, 44, 78–90). Это высказывания американских дипломатов, солдат и бизнесменов. С такими стереотипами американская политика едва ли могла быть реалистской, основанной исключительно на экономических или геополитических интересах. Казалось очевидным, что эти народы не способны управлять государством. Империа-

лизм защищал интересы американского бизнеса, пропущенные через фильтр расистской идеологии.

Тем не менее это был облегченный империализм. Соединенные Штаты использовали минимально необходимую силу, чтобы помочь американским корпорациям контролировать экспортный и финансовый секторы; американская общественность не проявляла к этому особого интереса. Это была по существу частная дипломатия с низкими издержками, но после Первой мировой войны больше американцев стали сопротивляться империализму, и империя канонерских лодок стала заметно спотыкаться. Морские пехотинцы отправлялись и обычно вскоре возвращались. Однако поставленные американцами режимы, которые должны были быть их клиентами, часто нарушали американские предписания вследствие национализма или коррупции. Сопротивление военному присутствию США становилось более постоянным по мере распространения антиимпериалистических идеалов (LaFeber 1984: 16–18, 302, 361; Leonard 1991: 60–68). В 1920-е гг. даже банкиры решили, что результаты дипломатии канонерских лодок не окупают себя. В 1928 г. Герберт Гувер и его демократический соперник Эл Смит в ходе своих избирательных кампаний ратовали за более мягкую внешнюю политику.

Соединенные Штаты уже нашли новую тактику — обучение местных военных подавлению оппозиции. Из их круга вышли клиентелистские диктаторы, которые поддерживали порядок, опираясь на косвенную экономическую и военную помощь США. Теперь уже Соединенные Штаты полностью отказались от всякой демократизирующей миссии. «Может быть, он и сукин сын, но он наш сукин сын» — ремарка, обычно приписываемая Корделлу Халлу, государственному секретарю Ф. Д. Рузвельта, описывает Рафаэля Трухильо — диктатора Доминиканской Республики, а также Анастасио Гарсиа Самоса в Никарагуа, Хуана Винсенте Гомеса, которого сменил Маркос Перес Хименес в Венесуэле, Фульхенсио Батиста на Кубе и Франсуа Дювалье (по прозвищу Папа Док) на Гаити. Начался долгий период неформального империализма через ставленников. С тех пор «сукиных детей» стало гораздо больше.

К 1935 г. отставной генерал морской пехоты Батлер по-новому взглянул на свою карьеру и изложил это в журнале *Common Sense*:

Я провел 33 года и четыре месяца на военной службе, и все это время я по большей части был первоклассным головорезом большого бизнеса, Уолл-стрит и банкиров. Одним словом, я был рэкетиrom, гангстером на службе у капитализма. Я помог сделать Мексику, особен-

но Тампико, безопасным местом для американских нефтяных компаний в 1914 г. Я помог навести в Гаити и на Кубе порядок, чтобы парни из Нэшнл Сити-Банка получали там прибыль. Я помогал изнашивать полдюжины центральноамериканских республик в интересах Уолл-стрит. Я помог зачистить Никарагуа для Международного банковского дома «Браун Бразерс» в 1902–1912 гг. Я принес свет в Доминиканскую Республику ради интересов американской сахарной промышленности в 1916 г. Я помог сделать Гондурас подходящим для интересов американских фруктовых компаний в 1903 г. В Китае в 1927 г. я помог сделать так, чтобы «Стандарт-ойл» продвигалась там безо всяких проблем. Оглядываясь назад, я чувствую, что мог бы консультировать Аль Капоне. Все, что ему удалось, — распространить свой racket на три района. Я орудовал на трех континентах (Schmidt 1998: 231).

Тем не менее этот бандит не был слишком жестоким. Невероятная разница в мощи между Соединенными Штатами и странами указанного региона означала, что результатами интервенции не были массовые убийства. Соединенные Штаты предприняли четыре короткие экспедиции в Мексику и поняли, что она слишком большая, чтобы ее контролировать, поэтому атаке подвергались только более мелкие страны; ни их правительства, ни повстанцы не могли оказать устойчивого военного сопротивления военным силам США, за исключением периферийных областей джунглей и высокогорий. Поскольку большинство зверств устраивалось всеми империями в ответ на сопротивление, со стороны американцев их было относительно немного.

Соединенные Штаты также без труда нашли местных клиентов. Не князей, вождей или имамов, как в случае британской или французской империей, а филиппинские касикские семьи, владеющие плантациями и бизнесом, а также латиноамериканских землевладельцев и бизнесменов, ориентированных на экспорт продукции. Это была *компрадорская буржуазия* юристов, финансовых советников, торговцев и политиков, способных ослабить националистическое сопротивление. Класс подрывал нацию. Многие реалисты также не видели никакого смысла в сопротивлении Соединенным Штатам, поскольку восстание, вероятно, не было бы успешным. В Гондурасе (семь небольших интервенций) либералы полностью отказались от своих ранних программ развития и способствовали анклавной экономике, позволяющей доминировать американским предпринимателям (Mahoney 2001: 176–178). Американская империя обращалась к этой классовой модели неформального правления на протяжении всего XX в.

К концу 1930-х гг. целью США было удержать нацистскую Германию подальше от своего полушария. Однако, несмотря на

идеологическую привлекательность фашизма, «сукины дети» знали, с какой стороны их хлеб намазан маслом. Во время Второй мировой войны только Аргентина не поддержала Соединенные Штаты. Опосредованное принуждение через ставленников не перенапрягало чрезмерно финансы или людские ресурсы и не тревожило американскую общественность. Американские корпорации делали деньги, и тем же занимался местный класс *компрадоров*. Рузвельт называл это «политикой добрососедства», но она была в основном изменением средств. Соединенные Штаты уступали устаревшие преимущества и сохраняли те, которые были необходимы для их экономических и стратегических интересов (Gellman 1979, 1995; ср. Roorda 1998: 22–30; B. Wood 1961; Mares, 2001: 68). Эта политика оставляла диктаторам свободное пространство, чтобы преследовать свои интересы, и часть из них начинала проекты национального развития, которым ранее препятствовала долларовая дипломатия (позднее они развились в программы импортозамещающей индустриализации). Во время «нового курса» казалось, что Соединенные Штаты отдают предпочтение реформированному капитализму, поощряя веру латиноамериканцев в то, что Соединенные Штаты могут вскоре поощрять экономические реформы на всем полушарии. К сожалению, Вторая мировая война прервала эти намерения и момент был упущен.

Политика США на Американском континенте оставалась неизменной на протяжении всего XX в. Она была установлена до большевистской революции, образование Советского Союза не внесло в нее существенных изменений. Америка действительно действовала имперски, особенно на своем континенте, хотя в основном через более мягкие формы империализма. Она была прагматичной в том смысле, что Соединенные Штаты научились на своих прежних неудачных попытках колониализма смягчать и делать правление менее прямым, в результате американское правление было мягче, чем правление других империй. Возможно, такое правление было лучшим из того, что имелось в арсенале современного империализма, но оно не было всецело прагматичным. Однако возможности Соединенных Штатов были ограничены смесью из интенсивного расизма и страха перед анархизмом, который был в меньшей степени страхом перед тем, что левым действительно удастся совершить революцию, чем перед тем, что их агитация принесет лишь хаос (Hun, 1987: главы 3, 4). Либералам противостояли потому, что они могли открыть шлюзы хаоса. Трагедия американской политики состояла в том, что она сделала хаос более вероятным, поскольку усиливала неравенство, коррупцию, деспотизм и тем самым сопротивление. Так было

потому, что эта политика не была исключительно материалистической или инструментально рациональной; она была очень эмоциональной, знаменуя собой начало параноидального антикоммунизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе мы увидели непреклонный прогресс Соединенных Штатов, превративший их в основную экономическую власть мира, хотя она еще не проецировалась глобально. Ее внутренний уклон, созданный под действием множества сил, был направлен к капитализму. Он не жаловал не только рабочих, но и расовые и этнические меньшинства, хотя женщинам он создавал меньше проблем, чем в большинстве стран. Как и все страны, Соединенные Штаты были уникальны, хотя их прокапиталистический уклон начинал казаться чем-то исключительным, что часто утверждалось в распространенном образном выражении. Однако это не продлилось долго. В своей внешней политике Соединенные Штаты больше в результате стечения обстоятельств шли к тому, чтобы добавить еще один имперский сегмент мира, хотя к концу этого периода они отступили от этой роли. Эти два тренда внесли свой вклад в историческое развитие США, которое в целом было достаточно сложным, с множеством источников власти и кристаллизаций. Как и все империи, американская отличалась от прочих, но не была исключительной.

ГЛАВА 4

Азиатские империи: павший дракон, восходящее солнце

ВСТУПЛЕНИЕ: УГРОЗА С ЗАПАДА

ЭТОТ том посвящен возвышению и упадку европейской власти в мире. Ее наследниками должны были стать Соединенные Штаты, СССР и со временем Восточная Азия, поэтому я посвятил отдельные главы всем трем. В этой главе представлена Восточная Азия в период примерно до 1930 г. Я прослежу возвышение Японии — страны, которая оказала сопротивление западному империализму, индустриализировалась и создала собственную империю. Ей удалось это в значительной мере за счет древнейшей из уцелевших империй — Китая. Я рассмотрю китайско-японские отношения вплоть до 1930 г., то есть до того момента, когда Япония вступила на путь агрессивного милитаризма, который стал причиной ее падения и в конечном счете способствовал доминированию в Восточной Азии китайского коммунизма.

Восточная Азия была на дальних пределах логистической досягаемости для западных держав. Они не смогли колонизировать ни Китай, ни Японию и вынуждены были довольствоваться неформальной империей с канонерскими лодками. Китай и Япония были развитыми цивилизациями, наделенными культурной солидарностью, из которой мог вырасти современный национализм, позволивший им сопротивляться, адаптироваться и развивать свои национальные версии модерна. Однако для Китая это был куда более долгий процесс. В рамках этого периода я собираюсь противопоставить разделенные китайские элиты, неспособные последовательно провести реформы, необходимые для модернизации, или выдворить иностранный империализм, более сплоченным японским элитам, способным провести реформы на родине и подражать западному империализму за границей.

На протяжении более чем тысячелетия, с момента объединения в 221 до н.э. и до 1911 г.н.э., китайские империи доминировали на значительной части Азии. Они спонсировали экономическое развитие, рост торговли и некоторую протоин-

дустриализацию. Высшие классы жили припеваючи, а остальные — достаточно хорошо, для того чтобы обеспечивать значительный рост населения Китая. Неудивительно, что император считал себя Сыном Неба, а свое царство — «Срединное Государство» — превосходящим все остальные, способным господствовать во всем мире. Тем не менее в начале XV в. Китай отказался от глобальных амбиций, предав огню последний из семи флотов, которые достигли Африки за полвека до того, как туда прибыли европейцы. Вместо этого он предпочел сосредоточить свои ресурсы на защите северных границ. Китай продолжил собирать дань и подношения с других азиатских государств и периодически отправлял карательные военные экспедиции в Туркестан и Тибет. Тем не менее в эпоху раннего Нового времени китайское господство по большей части сводилось к мирной гегемонии с немногочисленными войнами (Fairbank 1968; Andornino 2006). Отчасти именно благодаря китайской сдержанности острова Японии могли наслаждаться тысячелетием независимости и роста уровня цивилизации. Сети ремесленного производства и торговли также процветали по всей Азии, создавая самую развитую в мире международную экономику раннесовременного периода.

Тем не менее в XVIII в. европейцы развили меркантилистский и промышленный капитализм и прибыли в Азию уже хорошо вооруженными империалистами. К началу XIX в. Восточная Азия испытывала заметное давление со стороны Британии. Китайская империя, которая уже была в упадке, теряла власть над своими государствами-данниками, и рост ее населения опережал рост производительности. Британские военные корабли были «кнутом», а опиум, экспортируемый из Индии, — вызывающим привыкание «пряником», которые подорвали власть китайской империи. Император династии Цин и его двор попытались запретить импорт, но уже не имели достаточной инфраструктурной власти, которая придала бы этому запрету силу. К 1830-м гг. британские торговцы наводнили китайский рынок ящиками опиума — ежегодно по 30 тыс. штук, каждый из которых содержал 150 фунтов экстракта опиума.

В 1840 г. усердные китайские чиновники уничтожили запасы опиума на британских складах и арестовали двух пьяных британских матросов; в ответ на это Британия отправила военные корабли. В Первую опиумную войну британское военное превосходство принесло быструю победу, а «Сын Неба» был вынужден подписать унижительные договоры, передававшие Британии Гонконг, предоставлявшие британцам пять «открытых портов», запрещавшие китайским судам наказывать британских граждан и принудившие Китай выплатить контрибу-

цию за то, что он начал войну. Торговля опиумом расширилась, то же произошло с экспортом кабального китайского труда в европейские империи в Азии. Дальнейшее китайское сопротивление привело к Второй опиумной войне в 1856–1860 гг. с тем же итогом. Последующие договоры освободили опиумную торговлю от всякого регулирования и позволили христианам распространять свою религию по всему Китаю. Спустя несколько лет остальные западные империи также заключили неравные договоры с Китаем. Обычно они ограничивали Китай (а также прочие азиатские страны) в установлении импортных пошлин (они должны были быть ниже 5%), в то же время большинство западных рынков оставались значительно более протекционистскими.

Тем не менее территория Китая была слишком большой и густонаселенной, чтобы ее завоевать, к тому же имперские власти и китайские элиты по-прежнему обеспечивали достаточно большую инфраструктуру, чтобы удерживать западных империалистов в рамках приморских провинций. Западные империалисты не могли ни колонизировать Китай, ни нормально применять свою стратегию «разделяй и властвуй», не находя достаточного количества диссидентов из местной элиты, которые могли бы помочь им свергнуть правителей. Китай так и остался независимым.

Китайский чиновник, который возглавил сопротивление британскому опиуму, призывал империю сильнее сопротивляться, усвоив западные организацию и технологии. Подобные идеи распространялись, чиновники и интеллектуалы обсуждали реформы, западные сочинения переводились на китайский, имели место некоторые движения в сторону институциональной реформы. Императорский двор принял осторожное «движение самоусиления», пытаясь адаптировать западные науку и технологию в рамках существующих китайских институтов. Но администрацию уездного уровня контролировало местное земельное джентри, которое также служило в качестве местных чиновников и не было заинтересовано ни в каких изменениях. Имперское государство обладало меньшими ресурсами, чем японское (налоги составляли лишь 5–10% от урожая по сравнению с 30–40% в Японии) (Esherick 1995: 57), и китайские местные чиновники получали большую неформальную долю ресурсов. Различный баланс в отношениях между центральными и местными государственными органами был решающей причиной китайской слабости и японской силы. Тем не менее, когда западный капитализм пришел в Китай, многие землевладельцы переехали в города, чтобы воспользоваться его возможностями, что ослабило их контроль над крестьян-

ством. Попытки поднять налоги или арендную плату встречали все больше сопротивления на местах (Bernhardt 1992). Местные ополченцы защищали деревни от властей, рос местный бандитизм. Правительство в той же степени, что и элиты, теряли часть их деспотической власти.

Попытки голландцев и русских открыть Японию провалились, но вызвали в Японии множество споров относительно того, следует сопротивлению усилить местные традиции или нужно адаптироваться к Западу (Hane 1992: 58–64). Иностранная угроза вновь дала о себе знать в 1853 г., когда четыре американских военных корабля бросили якорь в заливе Эдо (Токио). Командор Перри докладывал: «Были подняты пары, и мы снялись с якорей, чтобы корабли могли занять такую позицию, где их орудия укажут место приема». Он с презрением отмечал, что японские корабли были заштылены, не имея возможности двигаться вверх по устью реки. Он отправил десант и прокомментировал это следующим образом:

Общая численность американцев, включая морских пехотинцев, матросов, музыкантов и офицеров составляла около трех сотен... очень сильных, здоровых мужчин, которые значительно отличались от более низких и более женоподобных японцев. Последние собрали большие силы... [но] беспорядочный строй японской армии не предвещал какой-либо крепкой дисциплины... Они были вооружены мечами, копьями и мушкетами... они представляли собой по крайней мере эффектную кавалькаду (Hawks 2005: 247–250).

Американцы недооценивали силы японцев, но и японцы также переоценивали американцев. Они не знали, что «черные корабли» Перри составляли четвертую часть всего флота США, но имели отличное представление о китайских неправомерных договорах, поэтому восприняли стоящую перед ними угрозу как требующую и реформ, и дипломатии. Последний сёгун Токугава говорил: «Само существование страны зависит от соблюдения договоров... Если мы в одиночку в такое время будем цепляться за наши устаревшие обычаи и воздерживаться от международных отношений, общих для всех стран, то наши действия станут препятствием естественному порядку вещей» (Auslin 2004: 142). За этим последовали неправомерные договоры. Япония обязалась открыть свои порты, обеспечить права экстерриториальности для иностранных резидентов, соблюдать режим наибольшего благоприятствования и установить низкие фиксированные таможенные тарифы на торговлю с Западом. Столкновение с империями началось для обеих азиатских держав.

Во время вторжения эскадры командора Перри Японией от имени императора правил сёгун в окружении 250 феодальных лордов (*даймё*), которые изначально обладали сильной властью на местах. Поскольку в конце периода Токугава власть даймё ослабла, местные сообщества окрепли, и в то же время в отличие от Китая они становились более взаимосвязанными. Это создало «децентрализованную, хотя и иерархически интегрированную, государственную и рыночную систему с большой способностью к коллективной организации» (Ikegami 1997: 133, 171, 235). В 1864 г. японские силы оказали успешное сопротивление британской дипломатии канонерских лодок, нанеся британцам небольшой урон в живой силе (Auslin 2004: глава 4). Кроме того, имея перед глазами печальный китайский опыт, все больше японцев высказывались в пользу того, что выживание потребует не только освоения западных военных технологий, но и трансформации японских институтов.

В разразившейся борьбе за власть между консерваторами и реформаторами консерваторы не могли прийти к согласию относительно последовательной политики, поэтому реформаторы вышли победителями (Hane 1992: глава 4). Между 1866 и 1868 гг. они низложили ёгуна, подавили восстания и провели реформы, известные как Реставрация Мэйдзи. Формально эти реформы возвратили верховную власть от сёгуна к императору Мэйдзи и передали реальную власть олигархии самураев из провинций Сацума и Тёсю в союзе с менее знатными дворянами старого двора в Киото. Они намеревались увеличить экономическую и военную власть Японии, чтобы создать «богатую страну, сильную армию», способную дать отпор Западу. В соответствии с этим олигархи предприняли драматичный шаг, отменив все феодальные и классовые привилегии, а также ограничения участия в экономической жизни. Земельные владения даймё были упразднены, а ежегодные жалованья 420 тыс. самураев были заменены чиновничьими зарплатами, пенсиями и государственными облигациями. Это была определенно радикальная и националистическая программа, проталкиваемая сплоченной придворной элитой.

Но это не была всецело революция сверху. Хотя новое централизованное государство Мэйдзи настаивало на том, чтобы местные сообщества провели реформы, оно не могло их принудить. Поэтому возник союз между государством, с одной стороны, и местными торговцами, промышленниками, богатыми крестьянами — с другой. Все они приветствовали экономическую

и политическую модернизацию, от которой могли совместно выиграть, выступая против старого феодального порядка, поддерживаемого самураями. Реформа не прошла гладко. Переход государства к фиксированным денежным налогам принудил массу мелких крестьян к продаже земли в поисках денег, поэтому они становились арендаторами или батраками. Иногда государство включало печатный станок, чтобы финансировать реформы, что вело к галопирующей инфляции и последующему сужению денежной массы. Это усиливало сопротивление сначала со стороны самураев, которые были сокрушены в 1877–1878 гг., затем со стороны бедных крестьян, которые пострадали во время депрессии 1880-х гг. Недовольство крестьян сохранялось, поскольку, как и большинство индустриализирующихся государств, японское государство субсидировало промышленность, облагая налогами сельское хозяйство. Как отмечал Баррингтон Мур (Moore 1967), это был пример «репрессивного» сельского хозяйства, к тому же такого же сурового, как в коммунистических проектах индустриализации. Однако крестьянское сопротивление на самом деле помогло реформаторам, поскольку напуганные местные власти просили государство прислать свою регулярную армию, чтобы восстановить порядок, тем самым отказываясь от военной власти и политической автономии в пользу централизованного государства. Сплоченность государства и местных элит была достигнута, и они сохранили деспотическую власть.

Японский этатизм был выстроен на централизованном милитаризме, которому не было аналогов в Китае, но он не возник в готовом виде из японской культуры почтения к иерархии, так же как и не был навязан олигархией Мэйдзи. Он был достигнут постепенно, в течение нескольких десятилетий, но лишь после интенсивного конфликта. Реформы были разработаны так, чтобы не только модернизировать, но и защищать местные элиты, чтобы они могли сохранять в своих руках власть, какие бы неурядицы модернизация ни приносила. Цель заключалась в том, чтобы разработать систему, которая использовала бы энергию японского народа, не делясь с ним властью. Идеалом было государственное управление от лица народа, мобилизующий национализм, но без народного участия в управлении — деспотичное национальное государство.

Олигархия Мэйдзи могла выстраиваться на четырех сильных сторонах страны. Первая — это созданная экологией более плотная концентрация населения, позволявшая проводить более интенсивную национальную мобилизацию, чем в Китае. Вторая — то, что Япония в конце периода правления Токугава уже обладала большей торговой и культурной интеграцией, чем

Китай; разрыв между городом и деревней был невелик. Третья — в отличие от китайской политической элиты олигархам Мэйдзи удалось остаться сплоченными и обеспечить определенный контроль как на местах, так и над центром — это было условием реализации их реформ. Четвертое преимущество заключалось в японской геополитической ситуации, которая была более благоприятной, чем китайская. Это позволило японским элитам ссориться и реформироваться в течение трех десятилетий без серьезных иностранных интервенций. Для империй белых людей Япония была на пределе их логистических возможностей, и в этот период они фокусировались на других территориях. Соединенные Штаты были отвлечены своей Гражданской войной и послевоенным восстановлением, а Британия и Россия теперь больше интересовались Китаем, чем Японией. Эта своевременная случайность означала, что неравноправные договоры, наложенные на Японию, оказали меньше ущерба японской экономике, чем те, которые были наложены на Китай. Японцы были уверены, что это была лишь передышка перед тем, как западные державы ударят вновь.

В ходе этой жизненно важной передышки, продлившейся до XX в., Япония отправила дипломатические миссии на Запад. Самой известной из них была миссия Ивакура 1872–1873 гг., имевшая двойную цель (Nish 1998). Первой целью был пересмотр неравноправных договоров, но ни одна страна из тех, что они посетили, не была готова к этому. Второй целью было разузнать побольше о западных институтах, науке, технологиях и предложить, как Японии освоить все то, что выглядит полезным. В достижении этой цели удалось достигнуть куда больше успеха. Отныне их основным ориентиром был Запад, а не Китай или Восточная Азия, как ранее. В Японии расизм, направленный против белых, почти не имел места, поскольку слишком многому можно было научиться у этих пришлых *гайдзин*. Они называли Запад «цивилизованным и просвещенным» и были полны решимости осуществить программу догоняющего развития на основе последних западных моделей.

Реформы Мэйдзи затрагивали все четыре источника социальной власти. В политической власти они ввели государство германского образца в смысле сильной бюрократии, разделявшей власть с парламентом. К этому они добавили характерно японское средоточие всего, божественного императора, *Тэнно*, олицетворявшего верховную власть. Конституция Мэйдзи, просуществовавшая до середины XX в., начиналась словами: «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией». Конституция предусматривала контроль императора над армией, полицией, обществен-

ным благосостоянием, изменением конституции и наделением его чрезвычайными полномочиями, в других сферах он должен был получать одобрение своим действиям у парламента или палаты депутатов (нижней законодательной палаты), хотя это одобрение и могло быть ретроспективным. Идеологически легитимность императора была подкреплена ценностями религиозно-санкционированной власти, лояльности и семейного поклонения старшим. Императорская система, *тэнносей*, базировалась на обязанностях каждого по отношению к своему отцу. *Кокутай* — принципы, управляющие национальной политической системой, воплощались в представлении о политической гармонии и лояльности нации и государству, персонифицированным в фигуре императора, который в буквальном смысле был их отцом.

Тем не менее олигархи едва ли хотели отдавать власть императору, который до сих пор был лишь номинальным правителем. На практике *тэнносей* действовала по-другому. Олигархам не понравились республиканство и индивидуализм, которые они увидели во Франции и Америке, и они создали государство, в котором элиты могли продолжать править через коллективные институты, воплощавшие патриархат, долг и верность. Как и в Германии, властью обладали и законодательная, и исполнительная ветви. Палата депутатов имела в основном бюджетные полномочия и, в отличие от Германии, часто отклоняла бюджет премьер-министра. Препятствием для нижней палаты парламента была высшая аристократическая палата пэров. Тем не менее премьер-министр и его кабинет могли не относиться ни к одной из палат; они назначались индивидуально императором по рекомендации его советников. Не существовало ответственного правительства, каждый из основных политических институтов — парламент, бюрократия, армия, флот, премьер-министр, отдельные министры — был отделен друг от друга. Они формально общались, но только через императора, который в принципе обладал властью принимать итоговое решение, особенно в вопросах войны и мира. Таким образом, доступ к императору был критически важным для осуществления власти, единственным способом заявить и реализовать политику. Некоторые высокопоставленные члены кабинета, обладавшие высоким социальным статусом, имели персональный доступ к императору, так же как и члены влиятельного Тайного совета, состоявшего из олигархов, большинство из которых не были министрами. То же касалось и высших военных чинов. Политика разрабатывалась в этих кругах, но было не ясно, кто на самом деле за нее ответствен, за исключением ответственности императора. Различные фракции элит могли «захватить власть» над

личностью императора и утверждать, что говорят от его имени. Таким образом, столь неоднозначную конституцию можно было вывернуть так или иначе.

Бикс (Bix 2001) отмечает, что система тэнносей позволяла императору играть ключевую роль в формировании политики, но император также был бессилен против тех, кто утверждал, что говорит от его имени. Система в основном функционировала через всепроникающие сети олигархии, а также через разделяемые нормы и ценности, отдающие предпочтение общинности, иерархии и долгу, а не индивидуализму, равенству и правам. Как отмечает Вудивисс (Woodiwiss 1992: главы 1, 2), новый свод законов Мэйдзи действительно наделял правами индивидов, но ограничивал большинство из них в связи с необходимостью поддержания общественного порядка, как его определяли государственные органы. Это, вероятно, был самый консервативный элемент конституции, ограничивший общественные права граждан. Капиталистическая свобода собственности не была абсолютно защищенной, как и право рабочих на организацию. Это было в большей мере правление при помощи права, чем верховенство права, и правоприменение осуществляли не только суды, но и полиция, и военные (Hane 1992: 95–7, 128–130). Все эти черты были исключительно японскими, отличавшими их от западных модернизаторов.

И все же этот идеализированный деспотизм никогда не был в полной мере реализован, а политика раздиралась противоречиями между консервативными олигархами, технократами и классовыми силами, приведенными в движение быстрой индустриализацией. Олигархи не могли контролировать эти силы, и на самом деле не хотели их блокировать. Они верили в то, что политические партии раскалывают общество, и утверждали, что «трансцендентный кабинет», способный преодолеть партийные или фракционные интересы, может лучше управлять. Но начиная примерно с 1895 г. они были вынуждены заключать соглашения с политическими партиями, оформлявшимися в нижней палате и представлявшими в основном группы среднего класса. Это обеспечило постепенное расширение избирательного права, в 1910 г. охватывавшего всего лишь около 1% взрослого населения. Закон о всеобщем избирательном праве для мужчин был принят нижней палатой в 1911 г., но был отклонен палатой пэров. В 1920-х гг. партии нижней палаты стали одерживать верх и провели закон о всеобщем избирательном праве для мужчин в 1925 г., когда премьер-министром впервые был лидер партии. В течение некоторого времени либеральные партии выигрывали за счет консервативных, в то же время росла организация рабочих. По мере индустриализации Япо-

нии собственность в сфере тяжелой промышленности и в финансовом секторе также становилась более концентрированной, и главы этих конгломератов корпораций, *дзайбацу*, достигали власти, которая осуществлялась преимущественно через неформальные роли политических советников и финансирование политических партий. Их влияние было теневым, но внушительным, особенно в принятии внутреннего законодательства. С середины до конца 1920-х гг. казалось, что Япония движется по направлению к смеси демократии и капитализма явно в одной группе с западными режимами, хотя она по-прежнему имела специфические характеристики.

Однако японские гражданские права оставались ограниченными отчасти из-за того, что военные пользовались более автономной властью. Официальным оправданием этого служила необходимость создания бастиона против иностранного милитаризма. Конституция даровала армии «право автономного командования», поэтому высшее командование отчитывалось непосредственно перед императором, а не перед премьер-министром или кабинетом. Армейские офицеры не всегда ратовали в пользу войны, но они стремились увеличить военные статьи бюджета, статус и автономию армии. Баталии вокруг бюджетов объединяли офицеров, разделенных по стратегическим вопросам. Учитывая их непосредственную связь с тэнносей, японские офицеры верили, что вооруженные силы воплощают дух кокутай, который по сути гармоничен. Несогласие необходимо было подавлять, потому что армия играла более самостоятельную и реакционную роль в японской внутренней политике, чем в западных странах, подавляя левых и противостоя парламентским институтам как вносящим раскол и коррумпированным.

Милитаризм был ключевым, но новым явлением вопреки тому факту, что Япония столетиями была феодальной, переполненной самураями, вооруженными мечами. Тем не менее в феодальной Японии царил мир, а самураи были приручены в качестве «вассалов-бюрократов»: их воинственная культура была обращена от войны к ритуализованному «формальным процедурам чести». Они носили с собой мечи на улицах, но не использовали их. В ходе бурной Реставрации олигархи обнаружили, что смешанные силы, состоявшие из самураев и крестьян, сражались лучше, чем силы, состоявшие исключительно из самураев, в связи с чем была сформирована крестьянская призывная армия с офицерами — бывшими самураями. Крестьянам потребовалось время, чтобы научиться дисциплине и субординации, которыми позднее славилась японская армия. Культура самураев была обращена к военной службе нации и императору (Ikegami 1997; A. Gordon, 2003: 66–67). Шумпетеровское представ-

ление об империализме как сформированном более древними, традиционными социальными структурами еще менее релевантно применительно к Японии, нежели к другим рассмотренным выше державам. Ее милитаристский империализм был совершенно новым, созданным опасным геополитическим расположением Японии, и внутренняя организация ее военных сил сознательно копировала западную, особенно французскую армию и британский флот.

Реформы Мэйдзи имели заметный экономический успех. Они могли опираться на достижения конца периода правления Токугава, поскольку к середине XIX в. торговые рынки капиталистического типа были развиты более равномерно, чем в Китае, и они широко распространили протоиндустриальное производство. Томас Смит (Smith 1988: 43–44) утверждает, что большинство семей японских крестьян имели опыт работы на непостоянной основе более чем одного поколения в несельскохозяйственной сфере. Ручные ремесла и ремесленные навыки были широко распространены, особенно в текстильной промышленности. Сугихара (Sugihara 2000, 2004) полагает, что протоиндустриализация, встроенная в сельскохозяйственное производство японских домохозяйств, породила трудоемкие формы промышленного развития сначала в текстильной промышленности, затем в остальных отраслях, что весьма отличалось от капиталоемкого развития Запада. В то время как земля и капитал были в дефиците, труд был дешевым и высококвалифицированным. Широко использовался труд женщин, грамотность была достаточно высокой для аграрного общества: около 40% мужчин и 10% женщин были грамотными, гораздо выше соответствующих китайских уровней (Ikegami, 2004: 214–216, 300–302). Это была экономика с высокой производительностью и низкими зарплатами, что необычно для развивающейся страны. Икегами утверждает, что в период правления Токугава имела место «сетевая революция» — сочетание несколько децентрализованного государства, коммерциализирующейся экономики, распространяющейся культуры артистических мероприятий и расширяющихся коммерческих издательских сетей. Это породило «гражданское общество», где высшие и средние слои общества Токугава разделяли «протомодерновое» представление о культуре, содержащее «негласные модели коммуникации и японской национальной идентичности», расколотое статусными различиями, но создающее социальную солидарность через ритуалы статусного взаимодействия. Это, пишет она, обеспечивало идеологические подпорки японской модернизации (Ikegami 2004: 10, 221).

Затем, отменив феодальные и классовые привилегии, государство поспособствовало экономическому росту, драйве-

ром которого были инвестиции, а новый земельный закон 1873 г. обеспечил государство предсказуемым ежегодным доходом, позволявшим осуществлять государственные инвестиции. Торговый капитализм уже был динамичным, но теперь Япония получила западный промышленный капитализм, науку и технологии (Lockwood 1954: 35). Тем не менее отношение к иностранным инвестициям было подозрительным, поскольку японцы были уверены, что они были способом для Британии и Франции начать захват колоний (A. Gordon 2003: 71). Очень большая доля — 30–40% всех капиталовложений — шла от самого государства, строившего инфраструктуру, образцовые фабрики и тайком субсидировавшего зарождающиеся отрасли промышленности, поскольку неравноправные договоры запрещали протекционизм через высокие таможенные тарифы. Остальные инвестиции приходили от деревенских элит, занимавшихся сельским хозяйством, и купцов, обращавшихся к угольному и текстильному производству, использовавших пар и позднее электричество, заимствованные у Запада. Японцы учились быстро: британские фирмы построили первую железнодорожную линию в стране в 1874 г., через восемь лет японские инженеры проложили линию такой же длины на более сложном участке местности без иностранной помощи (T. Smith 1988: 45).

Более стремительная индустриализация началась примерно после 1885 г., и вплоть до 1913 г. рост ВВП составлял от 2,6 до 3,6% в год, что превышало показатели, достигнутые на Западе (Crawcour 1998: 391). Затем субсидируемая государством экономика на масштабе породила знаменитые конгломераты фирм дзайбацу, которые изначально были финансовыми кликами, а затем, после 1900 г., объединились с промышленными конгломератами. Отрасли тяжелой промышленности получали субсидии, а экспортно ориентированным отраслям достались капитал и техническая помощь. Войны в 1894 и 1904 гг. обеспечили дальнейшие государственные субсидии, связанные с военным производством, отраслями промышленности. В 1880-х гг. государственные расходы на товары и услуги выросли до 10% ВВП, что было выше расходов западных стран. Решающая роль государственного вмешательства, утверждает Крокур (Crawcour 1997a: 446), заключалась в том, что государство могло инициировать скоординированное строительство, например, сталелитейного завода, угольной шахты и железной дороги — независимые проекты, которые могли стать рентабельными. В одиночку рынок не мог этого сделать, поскольку частные инвесторы не хотели финансировать ни один из этих проектов за собственный счет. Поскольку Япония стояла на пути догоняющего развития, она могла перенять иностранный опыт, необхо-

димые модели индустриализации, обратиться к специалистам, таким как британские железнодорожные инженеры, работающим в Японии, а затем государство подталкивало капиталистов к реализации этих моделей. Как и во всей Восточной Азии в течение XX в., в Японии была скорее промышленная экономика с государственным координированием, а не плановая. Начиная с этого момента и на протяжении всего века Япония преуспела в ускорении экономического развития.

Развитие также было капиталистическим, государственное руководство рассматривалось как временная помощь. Предполагалось, что как только индустриализация наберет обороты, государство устранился из экономической жизни, хотя полностью это никогда не происходило. Отрасли легкой промышленности были исключительно частными. Великие державы подвигли Японию к практически свободной торговле к 1868 г., и, поскольку рынки Китая и Британской империи были открыты (а Британия приветствовала японское развитие как противовес России), Япония экспортировала свои товары по всей Азии, особенно продукцию текстильной промышленности. Япония была нетипичной в том, что ее товары тяжелой промышленности, изначально импортировавшей станки с Запада, производились для внутреннего потребления; ее платежный баланс поддерживался экспортом товаров легкой промышленности, произведенных низкооплачиваемой, но продуктивной женской рабочей силой, которая могла победить в конкуренции западные мануфактуры. Размер азиатских рынков обеспечивал гигантский рост японского экспорта и создавал капитал для покупок западных технологий. Это, пишет Сугихара, было ключевым отличием восточноазиатской трудоемкой формы индустриализации.

Затем Первая мировая война, к причинам начала которой Япония не имела никакого отношения, вызвала экономический бум в стране. Япония вступила в войну на стороне Антанты, но ее активное (успешное) военное участие продлилось в течение первых недель. Вскоре Япония обнаружила, что способна удовлетворить мировой спрос на гражданские товары, которыми воюющие державы более не снабжали себя самостоятельно. На протяжении военных лет экономика Японии росла практически по 9% в год и страна выплатила большую часть своей внешней задолженности. Вплоть до этого момента сельское хозяйство, как представляется, участвовало в экономическом подъеме, хотя и облагалось слишком высокими налогами. Однако за экономическим бумом последовали послевоенные трудности, и в 1920-е гг. рост замедлился. Сельскому хозяйству приходилось сложнее по причине мирового перепроизводства

и дешевого импорта из первых японских колоний. В 1918 г. имели место крупные рисовые бунты, за которыми последовало разрушительное землетрясение в Кобе в 1923 г. Восстановление экономики продолжалось до Великой депрессии в 1930 и 1931 гг., хотя Япония восстановилась быстро. В целом это были хорошие десятилетия. Между 1913 и 1938 гг. среднегодовые темпы роста экономики Японии составляли 3,9%, что намного превышало показатели любой другой страны, лишь Норвегия смогла достичь 3%. Урожайность постепенно возрастала примерно до 1923 г., кроме того, выросшая продолжительность жизни населения обеспечила дальнейший рост численности населения (Mosk 2001; Minami 1994; Pratt 1999; Tsutsui 1998; Cawcourg 1997a, 1997b; T. Nakamura 1998: табл. 2; Maddison 2007: табл. 4). Хотя и не настолько развитая, как западные державы, Япония существенно индустриализировалась и с каждым годом увеличивала отрыв от Китая.

Национальная система обязательного начального образования и расширение среднего и университетского образования развивались наряду с увеличением частных коммерческих издательств, печатающих газеты, брошюры и книги. Однако идеологической солидарности Японии препятствовала ее письменность — кандзи, которая была слишком сложной, чтобы использовать ее в качестве универсальной. Это было основным предметом дебатов среди реформаторов: либералы хотели существенных упрощений, более консервативные реформаторы сопротивлялись. Предложения перейти от кандзи к более простым системам письма кана или ромадзи не прошли, но сама кандзи была упрощена. Теперь детей учили писать, используя повседневную форму языка вместо исторических и классических стилей. Вероятно, это было культурным барьером для выхода масс на подмостки театра власти. Тем не менее к 1910-м гг. Япония печатала книг больше, чем любая другая страна, за исключением Германии, и в два раза больше, чем Америка (Gluck 1985: 12). Государственные и частные медиа пропагандировали представления о тэнносей и кокутай, смешивавшие новое с традиционным: почитание императора, национализм, господствующее положение вооруженных сил и империи, приспособленные к старым добродетелям сельскохозяйственного деревенского общества, семьи, а также духа бусидо и синтоистского конфуцианства. Национализм прививался через школы, вооруженные силы, военную подготовку в школах, Императорскую военную ассоциацию резервистов и многие пропагандистские кампании. Циники отмечали, что японцы были обязаны «есть во благо нации, умываться во благо нации, ходить в туалет во благо нации» (A. Gordon 2003: 137). Тесная связь между образованием и мили-

таризмом подтолкнула японский национализм к скатыванию к агрессии.

Степень, в которой японцы, принадлежавшие к различным классам и религиям, интернализировали официальные ценности, трудно оценить. Она, разумеется, варьировала в зависимости от того, насколько люди полагали, что этот социальный порядок пойдет им на благо. Хотя Япония видела экономический рост, не имевший прецедентов в мире, там также имели место нормальные капиталистические циклы, усугубляемые все более глобальной экономикой, в этот период вызванные перепроизводством в сельском хозяйстве. Массовая миграция из сельской местности стала причиной неурядиц, их же несли с собой войны. Поэтому к дебатам вокруг государственного и национального строительства добавились «социальные проблемы модерна» (Gluck 1985: 27–28). Появились либерализм, социализм и феминизм, хотя имело место более социальное, чем индивидуалистическое восприятие морали, в отличие от Запада, и меньшее прославление богатства. Тем не менее в морали была напряженность между эгалитарными общими ценностями — равными правами гражданства и возможностями и иерархией, сыновним послушанием, повиновением рангу, бюрократическим и военным профессионализмом, а также верностью императору (Gluck 1985: глава 8). Альтернативные пути развития все еще оставались.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЯПОНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

К 1900 г. Япония скопировала и западный империализм. Многие рассматривают японский империализм как проистекающий из высоко милитаризированных экономики и государства, но первоначально он таким не был. Своим появлением он был обязан случайным факторам: нехватка внутреннего сырья для индустриализации, относительно ограниченный внутренний рынок, а также высокая плотность населения (в США — все с точностью до наоборот) подталкивали к некоторой форме зарубежной экспансии. По мере индустриализации Япония была вынуждена импортировать намного большую долю ресурсов, чем другие державы, и платить за это, увеличивая экспорт. Когда японская экономика стала расти и начался демографический переход, перенаселение также представлялось неизбежным. Поэтому японские модернизаторы решили, что стране необходимо обеспечить доступ к большему количеству сырья и экспортных рынков и отправить за границу больше поселенцев. Это сделало империализм более вероятным.

Какую форму принял империализм? Японские элиты ожидали осуществления внешней экспансии, весьма схожей с осуществленной западными нациями, путем использования спектра политических мер, начиная от торговых соглашений, открывавших иностранные рынки, и до захвата колоний. Вплоть до 1890-х гг. доминирующей формой японской политики был неформальный империализм — открытие рынков, при необходимости путем запугивания, которое дало бы японцам те же неравные права, что и западным державам, уже пользовавшимся ими в данном регионе. Но западные державы не намерены были отменять неравноправные договоры, которые они навязали Японии, не говоря уже о том, чтобы предоставить Японии равный доступ к китайским рынкам. Британия, Франция и Нидерланды уже обладали значительными колониями в Азии. Франция колонизировала Вьетнам, а Россия двигалась в Северный Китай и Корею, прокладывая железные дороги, соединявшие их с ее дальневосточными территориями. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Британия двигались за пределы китайских договорных портов к территориальным сферам влияния во внутренних областях, строя железные дороги, шахты и фабрики, арендуя большие территории с экстерриториальным правосудием и полицией. Они стремились к контролю над рынками через неформальный империализм, подкрепленный военной интервенцией. Многие азиаты были убеждены, что это шаг на пути к окончательному разделению прибрежного Китая на колонии или протектораты.

В этом мире, комментировал японский чиновник, «сильный ест слабого». По поводу ослабления Китая японский министр-резидент отмечал: «Когда ювелирная лавка в огне, не следует ожидать, что соседи воздержатся от того, чтобы поправить свои дела» (Tarling 2001: 25). Если бедная ресурсами страна типа Японии будет упускать такие возможности, то вскоре может оказаться в подобном положении. Поэтому Японии не было смысла преследовать исключительно политику открытого рынка, особенно когда она несла на себе тяготы неравных договоров. Определенная форма экспансионистского империализма была очевидной моделью для Японии, как и для ее соперников. Япония присоединилась не только к промышленному, но и к империалистическому лагерю.

Имперская экспансия представлялась возможной и, вероятно, не слишком затратной, поскольку государства Северо-Восточной Азии, данники Китая, можно было захватить. Две цели казались особенно соблазнительными: Корея была слабым государством, Тайвань — практически безгосударственным. Оба — данники Китая, который теперь оказывал лишь слабое влия-

ние на Корею и практически никакого — на Тайвань. Япония находилась в геополитической ситуации, противоположной ситуации Соединенных Штатов, — ей угрожал иностранный империализм. Она устремилась к собственному империализму, чтобы избежать судьбы ослабленного Китая, и экспансия была лучшей формой защиты. Таким образом, японский империализм легче понять (и, возможно, простить), чем американскую экспансию того же периода. На Западе не были удивлены появлению японского империализма; они опознали в нем собственную практику. Лишь успех этого империализма был для них поразительным.

Военные расходы выросли с 15% государственных издержек в конце 1880-х гг. до в среднем 34% между 1891 и 1900 гг. и до 48% между 1901 и 1910 гг. (Crawson 1997a: 445). Политика олигархов Мэйдзи, усиленная урбанизацией, индустриализацией, почитанием императора, национальной армией и национальной системой образования, породила народный кокутай-национализм, который олигархи рассматривали в качестве полезного внутреннего орудия против внутренних конфликтов. Это подталкивало их к *социальному империализму*, мобилизовавшему массы сверху, отвлекавшему от внутренних противоречий стремлением к коллективному выживанию и экспансии против иностранных вызовов.

В Корее и на Тайване первоначально главными были соображения безопасности. Эти территории рассматривались в качестве ключевых для строительства оборонительной линии, окружавшей родные острова. В Корее были полезные ископаемые, но Корея и Тайвань в основном отправляли в Японию сельскохозяйственную продукцию в обмен на поселенцев и промышленную продукцию из Японии. Обе страны постепенно стали зависимыми экономиками. В период между двумя мировыми войнами 70–90% их торговли приходилось на Японию, и к 1935 г. колонии принимали практически четверть японского экспорта, когда к ним добавились полезные ископаемые Маньчжурии и рынки Китая. Оправдывала ли хоть какая-то из этих территорий те издержки, которые потребовало их приобретение, — это совсем другой вопрос, поскольку их вклад в японскую экономику никогда не был большим (Lockwood 1954: 52). Это более общая проблема империй того периода, поскольку лишь немногим удавалось делать на этом чистые прибыли. То, что направляло империализм вперед, не было просто инструментально рациональным стремлением к экономической выгоде. Эмоциональная жажда славы, обусловленный соображениями безопасности страх перед соперниками, региональная слабость и возможности, к реализации которых подстрекали определенные группы инте-

ресов (одни из которых были экономически мотивированы, другие рассматривали их в качестве стратегии усиления внутренней власти), плюс перспектива будущих прибылей подталкивали их шаг за шагом вперед, как и произошло с Японией.

Начиная с 1876 г. Япония могла навязать Корее неравноправные договоры. В 1894 г. неспособность справиться с внутренним восстанием в Корее выявила слабость ее монархии. Когда Китай отправил небольшую армию для восстановления порядка, японское правительство использовало это в качестве предлога для войны. Япония одержала полную победу в короткой войне благодаря лучше обученным офицерам, которые действовали как сплоченная сила, в отличие от грызущихся между собой китайских военных сил, что было отражением больших различий между элитами этих двух азиатских держав. Японцы были осторожны, выказывая сдержанность во всех других вопросах, чтобы не настроить против себя Запад. В любом случае Британия была настроена дружелюбно, поскольку хотела, чтобы Япония служила противовесом более устрашающей России. Британия была первой, кто аннулировал неравноправные договоры с Японией в 1894 г., затем к 1899 г. ее примеру последовали остальные державы. В результате этой войны Япония развязала себе руки в Корее без ее колонизации. Япония также получила финансовую контрибуцию от Китая, стала частью неравноправных соглашений с ним, аннексировала номинально китайский остров Тайвань явно не в рамках очень продуманной политики, а просто потому, что он стал доступен с очень небольшими издержками.

Таковы были плоды быстрой победоносной войны. Теперь Япония шла от страха перед империализмом других стран к осознанию собственных империалистических возможностей. Отныне «японские лидеры страдали в меньшей степени от паранойи, чем от эйфории» (Dickinson 1999: 256). Соединенные Штаты с нескрываемым удовольствием использовали сопоставимые возможности в другой части мира три года спустя. Война также была частью международной экономики: Япония платила за свои войны, занимая деньги на лондонском рынке, и там же инвестировала деньги, полученные ею в качестве китайской контрибуции. Империализм был легитимной формой иностранных инвестиций, и британские финансисты инвестировали в японский империализм (Metzler 2006: глава 2). Глобализация продолжала свой сложный ход со все более клещичными национальными государствами, преследующими цели расколотого империализма в условиях более широкой экономики, которая обладала отчетливо транснациональными тенденциями. То, что Япония становилась обыкновенной хищнической державой, было плохой новостью для Китая.

ОСЛАБЛЕННЫЙ ДРАКОН

Для китайского дракона поражение 1895 г. было сокрушительным. Китайские претензии на превосходство в Азии оказались пустыми. Японцы отобрали две территории данников безо всякого труда. Над двором Цин нависло ощущение кризиса; реформы, направленные на самоусиление, не смогли справиться с растущим давлением. Китайским институтам требовались перемены, утверждали противники двора и династии маньчжуров (династия Цин была маньчжурского происхождения) — представители конституционного движения. В центре его были студенты и интеллектуалы, особенно те, кто получил образование за границей, плюс ориентированные на реформы чиновники и армейские офицеры. Но их национализм не имел большого резонанса среди класса чиновников-землевладельцев, господствовавших в провинциях. Политическое разделение среди китайской элиты расширилось, особенно вскоре после того, как провалилось «Восстание боксеров» против иностранных империалистов в 1904 г. Двор пообещал конституцию, но не смог содержать своего обещания.

Результатом была революция 1911 г. — политическая, а не социальная революция (Skocpol, 1979), ограничившаяся свержением императора и его двора. Крестьяне, составляющие большинство населения, в этой революции не участвовали. Это было движение джентри и городского среднего класса с идеалами, в основе которых лежали «три народных принципа» Сунь Ятсена: национализм, демократия и народное благосостояние. Национализм означал свержение «иностранной» династии Цин и выдворение иностранных империалистов. Демократия — учреждение выборной республиканской формы правления, хотя и с имущественным цензом и без верховной власти парламента, поскольку Сунь считал, что модернизация требует авторитарного центра. Под народным благосостоянием подразумевался ряд земельных реформ под лозунгом «Землю землепашцам!» и определенный государственный капитализм. Позднее Сунь для достижения этих целей создал политическую партию скорее ленинского типа с небольшим авангардом профессиональных революционеров, поддерживаемых более значительным числом платящих взносы членов, организованных в ячейки, которые подчинялись лидеру партии. Советский Коминтерн был впечатлен и отдал указание крохотной Коммунистической партии Китая (КПК) содействовать Суню (Dreyer 1995: 120–1). Однако у партии Суня была узкая социальная база, потому что китайская буржуазия была немногочисленна, так же как и ра-

бочий класс, а большинство крестьян не проявляли к ней интереса. Без поддержки масс новая Китайская Республика была попыткой реформ, осуществленной элитами под влиянием различных либеральных, социалистических и националистических течений, которые действовали в достаточно хаотических условиях. Они столкнулись с тяжелой борьбой.

В 1912 г. последний император мальчик Пу И был вынужден отречься от престола. Сунь уступил президентство в новой республике Юань Шикаю, реформистскому милитаристу и главнокомандующему армии. Между различными военными и политическими фракциями нового режима имели место бурные конфликты, одной из таких фракций была вновь сформированная партия Гоминьдан (буквально, если переводить с китайского, Китайская национальная народная партия). Незавершенный характер этой революции привел к дальнейшему ослаблению власти государства в провинциях. Элиты из числа землевладельцев-чиновников держали местную власть в своих руках, и многие из них были враждебно настроены по отношению к новому правительству. Самые сильные контролировали собственные провинции в качестве милитаристов. Как подчеркивает Скочпол (Skocpol 1979: 238–242), это отличалось от предреволюционной ситуации во Франции и в России. В Китае класс землевладельцев сосредоточивал большую часть власти на местах в своих руках, но был брошен на произвол судьбы со стороны центральной власти. Они могли сдерживать своих местных крестьян, но, если крестьянская *жакерия* все же начиналась, было нелегко призвать центральную власть на помощь. Китай был фрагментирован из-за недостатка солидарности между государством и его естественными союзниками в провинциях, что решительно отличалось от Японии. В Китае не было своей Реставрации Мэйдзи, не было союза реформистских китайских олигархов.

Пока новая республика сражалась, чтобы установить свою власть над региональными милитаристами, Япония воспользовалась Первой мировой войной для присоединения к Антанте и захвата германских владений в Китае. Затем она усилила давление на Китай, стремясь сделать президента Юань Шикая клиентом Японии. Он сопротивлялся этому давлению и в 1915 г. дерзко провозгласил себя новым императором Китая. Это привело в ужас его республиканских союзников, и он вынужден был отречься от престола в следующем году. К 1917 г. Китай был уже наполовину дезинтегрирован на неустойчивые альянсы региональных милитаристов, ни один из которых не был способен контролировать более одной части страны. В «эпоху милитаристов», продлившуюся с 1917 по 1927 г., возникли крестьянские движения самообороны типа «Красных копий» для защиты их

местных сообществ от японцев, бандитов, милитаристов, коммунистов или же самой республики (Perry 1984: 439–441).

В более развитых прибрежных городах, где появились промышленность и торговля, стремления к конституционализму продолжали существовать. В 1919 г. вспыхнули студенческие демонстрации против пекинского правительства милитаристов и японского вмешательства, что породило так называемое пробуждение городских классов. Импульс, приданный националистическим «Движением четвертого мая» позволил Сунь Ятсену установить формально националистическое правительство Гоминьдана в Нанкине в союзе с коммунистической партией. После смерти Суня в 1925 г. генерал Чан Кайши пришел к власти в Гоминьдане. Он столкнулся с милитаристами и фашистами справа и коммунистами и радикалами Гоминьдана слева. Но к 1931 г. он восстановил республиканское правительство в Нанкине, под контролем которого находилась большая часть Восточного и Центрального Китая. Чан Кайши поборол левое крыло Гоминьдана, устроил массовую резню коммунистов и заручился поддержкой многих милитаристов, но это привело к появлению радикалов и милитаристов внутри его собственного режима, что уменьшило его сплоченность. В провинции Цзянсу, например, левые гоминьдановцы продолжали контролировать местные партийные институты, проводя антияпонские бойкоты, нападая на торговцев, воспринимаемых как инструменты империализма, и разрушая храмы в рамках кампаний против религиозных предрассудков. Фракционная борьба продолжалась вплоть до 1930-х гг., иногда выливаясь в вооруженные конфликты (Geisert 2001). До 1937 г. гоминьдановский режим Чан Кайши делал определенные успехи, но ослабленный в политическом и военном отношении китайский дракон был уже не хищником, а заманчивой добычей.

Китай был привлекательным, поскольку его прибрежная экономика демонстрировала признаки жизни. Она оставалась преимущественно аграрной, коммерциализированной уже давно, но без какого-то значительного нового развития. В ней доминировали небольшие владеющие землей крестьянские хозяйства, одна половина которых владела собственными участками, а другая — арендовала землю. Отсталость этой экономики означает, что мы располагаем небольшим количеством надежных данных, и общие оценки весьма различаются. Данные Равски (Rawski 1989) говорят о здоровом росте экономики на душу населения на чуть более чем 1% в год в период между 1914 и 1937 гг., который несопоставим с японским, но лучше показателей Британской Индии. Брандт (Brandt 1989) также считает, что коммерциализация вела к росту сельскохозяйственного производства

и уровня реальных зарплат. Перкинс (Perkins 1975) видит рост совокупного ВВП за тот же период, но он нивелировался приростом населения. Исследуя разоренные районы Северного Китая и богатый регион дельты реки вокруг Шанхая, Филип Хуанг (Huang 1985, 1990) фиксирует лишь *инволютивный рост*: крестьянским хозяйствам приходилось работать усерднее, чтобы оставаться на том же уровне. Хотя этим спорам нет конца, определенный экономический рост в течение этого периода все же, вероятно, был (Ма 2006: 10; Richardson 1999: 81–82), даже несмотря на то, что большинство китайцев жили на уровне прожиточного минимума. Имели место заметные региональные различия и недостаток интеграции национальной экономики, но Великая депрессия не нанесла Китаю серьезного удара; он был защищен своей отсталостью, отсутствием национальной интеграции и низким уровнем внешней торговли. К тому же он по-прежнему придерживался серебряного, а не золотого стандарта. Промышленность, вероятно, росла прямо во время депрессии. Военный, а не экономический разлад был крупнейшей проблемой этого периода (Wright 1991, 2000; Chang 1969: 60–61; Myers 1989).

Два региона определенно испытали рост и модернизацию: Маньчжурия и части Северного Китая обладали добывающей и тяжелыми отраслями промышленности; переживающий бум торгово-обрабатывающий сектор рос вокруг договорных портов, особенно Шанхая. Регион Шанхая приносил около 7% китайского ВВП (Ма 2006: 9; Perkins 1975: 119). В этих регионах произошло улучшение транспортной инфраструктуры, туда пришли заметные иностранные и затем китайские инвестиции, там также установили более защищенные права собственности. Темпы роста обрабатывающей промышленности составляли около 10% в год между 1912 и 1936 гг. (Chang 1969: 71). Теперь система договорных портов обеспечивала дополнительные экономические преимущества. В терминах мир-системного анализа Китай переживал зависимое развитие как периферийная экономика, зависевшая от западного капиталистического ядра. Тем не менее китайская коммерциализация насчитывала уже века и была по большей части независимой от западной, а Маньчжурия и договорные порты становились менее зависимыми (Bergère 1989: 4; Ма 2006; Brandt 1989).

Но разделение между Маньчжурией и договорными портами, с одной стороны, и большинством сельских регионов — с другой, стало еще более явным в ходе последовавших политических и военных событий. Китай рассматривался иностранцами как побережье и Маньчжурия — и то и другое было заманчивым трофеем. Учитывая нормальную идеологию империализма, иностранцы были уверены, что смогут в значительной степени раз-

вить страну и использовать выгоду для себя. Они рассматривали потенциальные китайские рынки как гигантские. Китайская трагедия заключалась в том, что области экономической модернизации, из которых могла бы проистекать национальная сила, были также областями величайшей стратегической уязвимости. Хотя британцы и американцы в тот момент уже отказывались от колоний в пользу более неформальных методов экспансии в Китае, японцы, получившие хороший колониальный опыт, вместе с русскими уже были тут как тут.

ЯПОНИЯ: КОЛОНИАЛЬНОЕ СИЯНИЕ СОЛНЦА

Японский империализм превосходил империализм прочих стран в одном важном отношении — экономическом росте. На Тайване более 40 лет японского прямого колониального правления привели к среднегодовым темпам роста ВВП между 1913 и 1941 гг., составившим около 4–4,5%. Это заложило основу для тайваньского экономического чуда после 1950-х гг. (Kim and Park 2005; Maddison 2007: табл. 4). Средний рост тайваньских мужчин увеличивался примерно до 1930 г., после чего оставался на одном уровне вплоть до окончания Второй мировой войны. Это было признаком улучшения здоровья (Olds 2003; Morgan and Liu 2007). Корея была крупнее Тайваня, там уже были государство и более сплоченная культура. Первоначально японцы намеревались править Кореей косвенно, через корейскую монархию и элиты. Но все же они не смогли найти надежного корейского клиентелистского режима, и конфликт с Россией вокруг Корейского полуострова накалялся. В 1898 г. другие державы принудили Японию передать Квантунский полуостров в Маньчжурии (отнятый у Китая в 1895 г.) России. Япония и Россия начали работать над конкурирующими железнодорожными проектами в этих регионах. Великобританию все больше беспокоила Россия, и поэтому в 1902 г. британцы подписали морское соглашение с Японией. Поскольку Соединенные Штаты и Франция в регионе шли в фарватере политики Британии, Японии не угрожало вмешательство западных держав. Она была самой сильной иностранной державой в Корее, но оставалась недовольной российским вмешательством в дела страны, которая рассматривалась как «краеугольный камень национальной обороны» (Duus 1995: 175–84).

Военные первоначально неохотно шли на конфликт с Россией, но полагали, что для России крупномасштабная война на Тихом океане будет большим логистическим напряжением, пока она не построила все запроектированные железные доро-

ги и порты. В таком случае баланс сил мог склониться в пользу России, поэтому в 1905 г. Япония решила атаковать русские силы превентивно — такой же превентивный удар России нанесла в 1914 г. Германия. Никто больше не вмешивался, и лондонская газета «Таймс» одобрила внезапное нападение (Lone 2000: 100–105). Запад не ожидал решающего результата, но, к всеобщему удивлению, японцы одержали победу. Основной российский флот проделал путь в тысячи миль из Черного моря, чтобы прибыть в Японское. Там в Цусимском сражении он подошел слишком близко к береговым батареям и, фатально недооценив японские военно-морские силы, был обречен «на уничтожение, которому едва ли есть аналоги в истории современных военно-морских сражений» (Dickinson 1999: 256; Evansand Peattie 1997: 124). Русская армия в Сибири и Маньчжурии добилась лучших результатов: обе армии несли тяжелые потери, хотя превосходящая японская организация постепенно одерживала верх. Ряд общепринятых стереотипов о японцах были ложными в течение этого периода. Хотя средства массовой информации в Японии пропагандировали агрессивный, доблестный национализм, их кинохроники, изображавшие страдания солдат, повергли в ужас массу японцев. Исследования солдатских дневников показывают, что японские солдаты на этом этапе не воевали фанатично за нацию и императора. Они боялись смерти и думали о своих деревнях и любимых. Они также хорошо обходились с военнопленными. Служба в армии помогла многим солдатам впервые понять, что они — японцы в отличие от русских, китайцев или корейцев (Shimazu 2009). Они интернализировали банальный национализм, а вражеские нации стреляли в них, но это еще не был агрессивный национализм.

России, охваченной революцией 1905 г., необходима была армия для внутренних целей. Она хотела закончить войну настолько быстро, насколько это было возможно, а потому шла на большие уступки. Портсмутский мирный договор (Портсмут — город в штате Нью-Гэмпшир) передал Японии неоспоримое косвенное правление в Корею и на Квантунском полуострове в Маньчжурии. Остальная часть китайской Маньчжурии на практике контролировалась японскими войсками и местными милитаристами. Это была первая война за сотни лет, которая принесла неевропейцам победу над одной из основных европейских держав. Ее праздновала не только Япония, но и многие угнетенные народы по всему миру.

Таким образом, японская экспансия обладала сходством с европейской, но принужденная открыться и столкнуться с недостатком природных ресурсов Япония быстрее перешла к империализму. Хотя война с Россией была превентивной, таки-

ми же были и войны Пруссии в XIX в., и войны США в 1898 г. Японская элита рассматривала войну с Россией как первую великую миссию. После смерти императора Мэйдзи в 1912 г. правительство заявило, что она пользуется уважением со стороны «стран, которые повернулись к Японии лицом, как подсолнечник к солнцу» (Gluck 1985: 90, 216–217).

Следующий имперский шаг был предпринят в 1910 г., когда Япония нарастила численность войск в Корее и незаметно аннексировала ее. Этот шаг не был вынужденным: поскольку Россия потерпела поражение и по-прежнему восстанавливалась после революционного беспорядка, Японии ничего не угрожало. Все политические фракции Японии верили в корейскую экспансию. Придерживавшиеся умеренных взглядов политики надеялись ее осуществить, помогая корейским реформаторам достичь общественного порядка и оздоровления финансов, но корейские реформаторы, внутри страны подвергавшиеся травле и монархистов, и антияпонских националистов, не смогли добиться заметного прогресса. Японцы чувствовали себя втянутыми в более прямое правление с целью установления порядка, хотя их присутствие гарантировало беспорядок. Одним из дестабилизирующих факторов было присутствие к 1910 г. 170 тыс. японских поселенцев, которые требовали большей безопасности и которых поддерживали ярые националисты и консервативные олигархи на родине. Хотя Япония переживала промышленную революцию, потребовалось несколько десятилетий (как и для британцев), чтобы ее плоды дошли до простых японцев, особенно крестьян. Для них соблазн колоний поселенцев был силен. Социальный империализм, разжигавший агрессивный национализм, обладал социальной базой. Западные державы протестовали против японской аннексии, но Япония ответила, что захват стал следствием неадекватности неформального империализма. Хотя аннексия должна была улучшить безопасность Японии, она ее уменьшила, усилив антияпонские настроения среди ее соперников. Отныне вооруженные силы требовали и получали большую долю в бюджете на военные расходы для защиты империи. Таким образом, японский милитаризм постепенно возрастал, хотя и без какого-либо генерального плана (Duus 1995; Lone 2000: главы 8–10).

Японские элиты обосновали имперскую миссию заявлениями, что сами корейцы не способны к модернизации, что они нецивилизованные и отсталые, живущие в грязи, нищете и лени, что в их политике доминируют пассивность, коррупция и раболепство. Это нам знакомо из глав, посвященных британской и американской империям. Тем не менее между этими азиатскими странами было достаточно общего этнического наследия

и культурного сходства, чтобы ожидать «подъем» Кореи. Японцы предпринимали попытки культурной ассимиляции: если корейцев удастся принудить говорить на японском языке и использовать культурные понятия Японии (например, выбирать японские имена), они могут стать более или менее японцами. Прежде всего широко распространенное убеждение о том, что корейцы, тайваньцы и прочие являются соседями, возможно имеющими общее происхождение, означало, что японский колониализм не был на самом деле таким же расистским, как европейский и американский колониализм той же эпохи (Duus 1995: 203, 399–423; Eiji 2002).

Но и с распростертыми объятиями коренных жителей японцы не принимали. Поскольку Корея располагалась по соседству, Япония могла отправить туда большую армию, ее рынки сырья и потребительские рынки могли быть интегрированы с японскими, и многие японцы хотели туда переселиться. Протекторат безжалостно подавлял корейское сопротивление, поселенцам были дарованы привилегии завоевателей: покупка земли по льготным ценам и доминирование в прибыльном государственном и бизнес-секторах. Дуус (Duus 1995: 431) утверждает, что ключевыми японскими колониальными акторами «были не могущественные бизнес-интересы метрополии, а неугомонные, амбициозные, бережливые середняки из средней и низшей страты японского общества». Объемы торговли с Кореей были невелики, но японцы, контролировавшие их, получали большие прибыли (Duus 1995: 284–288). Таким образом, интересы поселенцев и бизнеса вызвали к жизни в Японии такую форму социального империализма, которая была более популистской, чем социальный империализм с доминированием большого бизнеса, обрисованный Гильфердингом.

Япония действительно добилась успеха в модернизации Кореи. За исключением ее крошечных микронезийских владений, Японская империя была намного компактнее и ближе к метрополии, чем колониальные владения прочих империй, и население самой Японии (здесь она наряду с Соединенными Штатами была исключением) было больше, чем у всех ее колоний вместе взятых. У японцев не было страха перед конкуренцией или страха быть поглощенными местным населением, не было желания исключить колониальные народы из экономических преимуществ империи. Сельскохозяйственные и промышленные технологии свободно распространялись в колонии. На Тайване развитием в большей степени руководило колониальное правительство, нежели частные предприниматели (Peattie 1988: 254–255). Железные дороги и шоссе интегрировали полуостров, они строились для военных целей, но прино-

сили дополнительные экономические выгоды. К 1945 г. маленькая Корея обладала такой же протяженностью современных дорог, как и весь Китай. Образовательная система расширялась еще быстрее. Упадок древних ирригационных систем страны был остановлен, строились фабрики по производству удобрений. Сначала выросли японские инвестиции в сельское хозяйство, затем в промышленность. Промышленное производство выросло с 6% ВВП в 1911 г. до поразительных 28% в 1940 г., намного опережая соответствующие показатели Китая и Индии или какой-либо иной страны в Азии, за исключением самой Японии. В течение первых двух десятилетий протектората Корея рассматривалась как рисовая житница для Японии, но после 1933 г. ее отрасли промышленности были развитой базой снабжения военно-промышленного комплекса, растянувшегося от Японии до Маньчжурии. Ежегодный уровень роста ВВП между 1911 и 1939 гг. составил около 4%, столько же, сколько и рост ВВП Тайваня и самой Японии. Среди всех колоний империй Корея была единственной страной, испытавшей заметную индустриализацию (Kim and Park 2005, 2008; Eckert 1996; Chou 1996; Cha 2000; Но 1984; Maddison 2007: табл. 4). Здесь, как и на Тайване, японцы заложили основу экономического чуда после Второй мировой войны. В Корее также увеличилась средняя продолжительность жизни с 26 до 42 лет за колониальный период, свидетельствующая о том, что экономический рост способствовал лучшим материальным условиям жизни для большинства корейцев. Эта первая волна японского империализма не внесла никакого вклада в глобальную Великую дивергенцию, к тому же она послужила скорее интеграции, чем дифференциации частей Восточной Азии.

Но эти достижения уравнивались негативной стороной. Бизнес был преимущественно захвачен японцами, широко распространился принудительный труд, подавление сопротивления было зверским, кроме того, имели место попытки силового уничтожения корейского языка, семейных имен и культуры. Принятие японских семейных имен означало отказ от всей корейской семейной культурной традиции наследования происхождения по мужской линии в пользу японского *ie*, который в большей степени означает дом, семью (Chou 1996; Eiji 2002: 334–335). В японских колониях корейцам также пришлось пережить ужасные страдания на последних этапах тихоокеанских операций Второй мировой войны, когда тысячи корейских женщин подверглись массовым изнасилованиям в рамках системы «женщины для комфорта».

Для этих колоний ответ на вопрос, принесла ли Японская империя кому-нибудь хотя бы что-то хорошее, должен отли-

чатся от того ответа, который был дан относительно Британской империи. Что касается Британии, в главе 2 я попытался сбалансировать незначительные преимущества и издержки. Издержки и прибыли от Японской империи были гораздо большими, делая вынесение общего суждения более трудным. Оно зависит от того, как сопоставить экономическое благосостояние и жестокие репрессии; большинство корейцев считают, что последнее перевешивает первое. Они вспоминают лишь вред, который нанесли им японцы, в то время как тайваньцы более великодушны в суждениях относительно бывших завоевателей. Корейские ученые с недавнего времени стали признавать долгосрочные экономические выгоды японского правления (Shin et al. 2006). И все же лучше всего пришлось японским поселенцам, разбогатевшим и осуществившим вертикальную мобильность, в которой более закрытое японское общество им отказало. Это было важно для создания народной поддержки Империи Восходящего Солнца.

ЯПОНСКИЕ ДЕБАТЫ ВОКРУГ ИМПЕРИАЛИЗМА

Империализм был прочно укоренившейся политической кристаллизацией. Лишь немногие японцы выражали сомнение в его полезности, а дебаты велись в основном относительно того, какого рода должен быть этот империализм (A. Gordon 2003: 74, 122–123). В конце концов был избран путь прямого территориального империализма, но он не был предопределен. После войны с Россией 1905 г. серьезных угроз национальной безопасности Японии не было. У всех империалистических держав были свои сферы влияния: у России — в Северной Маньчжурии; у Японии — в Южной Маньчжурии, Корее и на Тайване; у Соединенных Штатов — на Филиппинах; у Франции — в Индокитае; у Британии — в долине реки Янцзы, Южном Китае и Южной Азии; у Германии — на Шаньдунском полуострове и островах, расположенных в Тихом океане. Вместе они участвовали в международных концессиях в Китае. Можно ли было считать это приемлемым балансом власти? Могла ли теперь Япония довольствоваться тем, что имела, плюс постепенное расширение неформального империализма и растущее присутствие на международных рынках?

Азия была переполнена империями, и вероятность войны возрастала, если прочие державы видели в Японии в меньшей степени противовес России, чем потенциального гегемона в регионе. Сразу после 1905 г. японский военный и гражданский

истеблишмент сомневался в целесообразности дальнейшего использования силы для расширения японской сферы влияния в Северо-Восточном Китае. Менее рискованной альтернативой была бы гарантия нейтралитета этого региона через международные соглашения, открывавшие доступ к рынку всем иностранцам. Это позволяло избежать реванша со стороны России, как только она восстановится, к тому же такая альтернатива предполагала меньше военных расходов. Однако Первая мировая война и большевистская революция в России разрушили этот баланс сил. Германия была устранена в силу своего поражения в войне, Россия вновь была ослаблена, а Франции и Британии нужно было время для восстановления — удобный момент для японской экспансии. В первый год войны Япония поживилась легкой добычей, захватив немецкие колонии Шаньдун и Циндао, а также микронезийские острова. Шаньдун был возможным плацдармом для экспансии, будь то в Маньчжурию или Северный Китай. Япония закрепила эти территориальные приобретения в 1915 г., выдвинув «Двадцать одно требование» Китаю, которые включали признание японских прав на Шаньдун и железнодорожное строительство в Китае. Китайскими националистами и прочими державами эти требования были восприняты как предзнаменование дальнейшей японской экспансии.

К 1920-м гг. Япония обладала колониальной империей на Тайване и в Корее, неформальной империей в отдаленных частях Маньчжурии и Китая и, в сущности, свободной торговлей с остальной Азией, Британской империей и Соединенными Штатами. Существовал консенсус относительно того, что Япония должна защищать «границу суверенитета»: Японию и ее колонии и одновременно более широкие «границы интересов». Поскольку японская международная торговля по-прежнему расширялась, местонахождение этой границы сферы ее интересов было не ясно. Экспансия могла осуществляться путем расширения международных рынков, неформального империализма на сферы влияния в Маньчжурии, части Северного Китая и Фуцзянь (китайская провинция напротив Тайваня) или же расширения границы суверенитета, приобретая больше колоний.

В дебатах по поводу внешней политики японские историки выделяют либералов и националистов или милитаристов. Ни одна из этих основных фракций не была либеральной в западном смысле, приветствовавшей лишь открытые рынки, но ни одна из них также по сути не была прозападной. Большинство японских либералов не хотели отделения от прочих держав, но они могли стать более радикальными, если полагали, что милитаризм мог возыметь действие при низких издержках. Эти дебаты настраивали сторонников неформальной империи про-

тив сторонников колоний и протекторатов. Дебаты вокруг Кореи и Маньчжурии это продемонстрировали: расширяться ли посредством вооруженных сил или приобретения новых концессий в Китае и Маньчжурии посредством переговоров, остановиться ли перед Великой стеной или идти дальше. Министерство иностранных дел склонялось в пользу первого, военные — в пользу второго (Duus 1995; Matsusaka 2001; Brooks 2000).

По всей видимости, 1920-е гг. остались за либералами. Первая мировая война увенчалась триумфом либеральных держав, созданием Лиги Наций и Вашингтонским военно-морским договором 1922 г. (Dickinson 1999: 151, 242–256). Этот договор ограничил размер флотов, включая японский, но покончил с господством Британии в Азии и дал Японии возможность играть вместе с Соединенными Штатами против Британии. Отныне Соединенные Штаты стали крупнейшим торговым партнером Японии, а также крупнейшим поставщиком иностранного капитала, и большинство политиков высказывались в пользу осторожной политики рыночной экспансии плюс неформальной империи в Китае, а не в пользу больших колоний. Сидэхара Кидзуро, глава министерства иностранных дел на протяжении большей части 1920-х гг., высказывался в пользу экспансии, но предпочтительно в кооперации с другими державами. Любая экспансия была бы за счет Китая, но многие японцы вынашивали надежды на китайское одобрение возрождения Азии под предводительством Японии. Они верили, что китайцы могут приветствовать японское попечительство. Тем не менее растущий китайский национализм рассеял эти надежды. В рамках всемирно-исторического времени Япония осуществляла экспансию слишком поздно. Это все еще был век империй, но в более цивилизованных частях империй им все больше противостоял национализм — японцам в Китае предстояло столкнуться с национализмом, подобным тому, с которым британцы столкнулись в Индии.

Правительство Гоминьдана стремилось отменить неравноправные договоры с Китаем. Сидэхара, поддерживаемый японским консульством в Китае и большей частью крупного бизнеса, был готов подчиниться британскому и американскому давлению в пользу перезаключения соглашений в том случае, если Китай выплатит свои долги Японии. Другие японские политики с бизнес-интересами в Китае сопротивлялись, а консерваторы боялись, что республиканский вирус может распространиться из Китая на Японию. Страх перед левыми объединял большинство элит (Hata 1988: 282–286), но милитаризм не был настолько популярен. Как только войны закончились, политики собирались сократить военные статьи бюджета при народной под-

держке, поскольку это означало снижение налогов. Поскольку военные статьи были сокращены, инициатива перешла к умеренным политикам, и чем больше Япония индустриализировалась, тем больше она зависела от внешних рынков. Большинство экономистов советовали подчиниться правилам международной экономики. Так как в большой степени японские рынки зависели от рынков Британской империи и Соединенных Штатов, отталкивать эти две державы было едва ли хорошей идеей.

В ходе экономических дебатов формировалась приверженность либеральным экономическим доктринам: классической экономической теории, открытым рынкам, золотому стандарту, дефляционной политике и сопровождающей их моральной риторике бережливости. В 1920-х гг. Япония еще не использовала золотой стандарт, и либералы ратовали в пользу его установления. Этому сопротивлялись политики и слева, и справа, отдававшие предпочтение более этатистскому и националистическому пути развития. Консерваторы хотели сохранить свою власть в рамках конституции Мэйдзи через бюрократию и палату пэров. Империя, вооруженные силы и авторитаризм рассматривались консерваторами как ядро японского кокутай, а либеральные приверженцы англосаксонской цивилизации выступали за парламентскую политику на родине и неформальную империю за рубежом. Так называемые немцы, приветствующие первый путь, в основном происходили из олигархов, корпуса армейских офицеров и государственных бюрократов. «Англосаксы» пользовались большим влиянием среди политических партий и гражданских лиц из среднего класса.

Среднее звено офицерского корпуса было наиболее радикальным и выказывало некоторую независимость от высшего командования. Они были самоуверенны, что объяснялось недавними военными достижениями, и видели в Японии лидера славного паназиатского сопротивления Западу (двухуровневый национализм) либо через тотальную войну, либо через «императорский путь». «Императорский путь» станет важен позднее и будет обсужден в главе 13. Фракцию тотальной войны возглавлял подполковник Кандзи Исивара, влиятельный военный теоретик, выделявший в истории циклы коротких, резких и решительных стычек на поле боя, за которыми следовали «войны на уничтожение или истощение», — в ходе них целые народы сражались насмерть. Прежние японские войны относились к типу коротких и решительных стычек, требующих организации, наступательного порыва и высокого боевого духа. Но возникновение современного индустриального государства сделало короткие решительные войны устаревшими. За ними последует период войн на уничтожение, ведущий к решающему

противостоянию между Соединенными Штатами, возглавлявшими Запад, и Японией, возглавлявшей Азию. Он писал: «Приближается последняя война в истории человечества... „титанический мировой конфликт, которому не было равных в истории человечества“, который откроет собой золотой век человеческой культуры, синтез Востока и Запада, последнюю и наивысшую стадию человеческой цивилизации» (Peattie 1975: 29, 57–63). Его всемирно-историческое видение венчал славный триумф Японии.

Фракция тотальной войны пришла к заключению, что Япония должна накапливать материальные ресурсы для будущей войны, расширяясь в Маньчжурию и Китай, чтобы построить самодостаточную промышленную базу на Азиатском материке, лучше всего при сотрудничестве с Китаем. Националистические экономисты, такие как Такахаси Корэкиё, заявляли, что путь к превращению Японии в великую державу лежит через сотрудничество с Китаем по созданию «одного блока... гармонично объединяющего японскую финансовую мощь и китайские природные ресурсы, промышленные возможности Японии и рабочую силу Китая» (Metzler 2006: 128). Исивара предлагал, чтобы в Маньчжурии японцы управляли тяжелой и высокотехнологичными отраслями промышленности, китайцы занимались мелким бизнесом, а корейцы — выращиванием риса (Peattie 1975: 100). Что Японии следовало делать, если китайцы и корейцы откажутся от подобного предложения, он не говорил. Экономическая политика должна была быть направлена на долгосрочное военное строительство, а не на краткосрочные прибыли банкиров или дзайбацу. Офицеры, находившиеся на военной службе, также должны вмешиваться в политическую сферу, чтобы оказывать влияние на меры государственной политики. Политика тотальной войны заключалась в том, чтобы заполучить богатые ресурсами колонии, создать военно-промышленный комплекс в Японии и усилить роль военных в политике, хотя желательное без военного авантюризма, который мог бы оттолкнуть другие державы. В конце концов с ними, возможно, пришлось бы воевать, но, как сказал министр военно-морского флота Като: «Пока у нас нет денег, воевать мы не можем» (Iriye 1997: 50–62).

Те, кто был за колонии или протектораты, утверждали, что Япония обладает военной мощью для того, чтобы заполнить вакуум, созданный упадком Китая. Это были окрестности Японии, а другие державы были далеко, за исключением России, ослабленной революцией. Военные действия, предпринятые до сих пор, были успешными, что увеличивало привлекательность дальнейших интервенций. Находящийся в упадке, коррумпированный, разделенный Китай был легкой добычей, завоевание

его по частям путем коротких решительных военных сражений против милитаристов представлялось реальным. Расширение японской сферы влияния в Северо-Восточном Китае обеспечило бы ее экономическими ресурсами. Короткая война дала бы передышку и принесла долгосрочные ресурсные выгоды. Япония не могла бездействовать, особенно в Маньчжурии. Ее влияние либо должно было расти, либо ее оттуда выдворят. Такого рода аргументы доминировали в кругах армейского планирования (Peattie 1975: 96–98; Barnhart 1987; Jordan, 1987).

Внутреннее давление также имело место. Прежние победы обеспечили агрессивный национализм определенной народной базой, а консервативные олигархи и бюрократы выступали за социальный империализм в качестве средства удержания власти и победы над «подрывными элементами». Советский Союз разворачивал свои силы на севере; левое крыло Гоминьдана было активно в прибрежном Китае. Консерваторы боялись, что соблазн республиканства распространится из Китая в Японию, поэтому они вместе с армией раздували угрозу большевизма и советской экспансии. Поселенцы и бизнес-интересы в Китае сулили богатство всем и каждому, поэтому народные массы требовали их субсидировать. Хотя демографы сомневались в жизнеспособности колоний поселенцев и выступали за содействие миграции в Южную Америку, имела место широкая агитация в средствах массовой информации в пользу миграции в Азию с государственной помощью (Wilson 1995: 253–255; L. Young 1998). Эта коалиция также мобилизовала привлекательный лозунг защиты азиатской расы от Запада (Iriye 1997: 13–26). Медийное преувеличение радушного приема японских поселенцев в Корее и на Тайване заметно контрастировало с новостями из Соединенных Штатов, где кульминацией расистских законов против китайских и японских иммигрантов стал федеральный Акт о запрете иммиграции из Азии 1924 г., запрещавший всю японскую иммиграцию в Соединенные Штаты. Японская общественность была шокирована страхом Запада перед «желтой угрозой» (Iriye 1997: 26–28). Японии не удалось провести антирасистский пункт в устав Лиги Наций, поскольку другие великие державы либо обладали расистскими империями, либо были внутренне расистскими. Западный либерализм представлялся лицемерным.

Выбор между этими двумя геополитическими опциями был результатом не рационального осмысления объективных интересов Японии, а результатом баланса дистрибутивной власти внутри самой Японии. После Первой мировой войны он сначала склонился влево. Имела место борьба между консервативными олигархами и новой технократической бюрократией и городскими профессионалами. Правительство проводило

политику дешевого продовольствия, опиравшуюся на импорт продовольствия из колоний, что сбивало цены на крестьянскую продукцию, разжигая сельские протесты и бунты. Рабочие также агитировали за увеличение прав, включая право голоса, вдохновляемые большевистской революцией и народными требованиями сокращения военных расходов бюджета. Под угрозой этого некоторые олигархи убедились в необходимости компромисса. Чтобы усилить Японию, массы должны были быть приняты в политическую нацию с нижней палатой парламента, функционирующей как клапан для выпуска народного недовольства. Олигархи продолжали терять почву под ногами, поскольку политические партии стали доминировать в нижней палате в период «демократии Тайсё» в 1920-х гг. Всеобщее избирательное право для мужчин было установлено в 1925 г., также были расширены гражданские права (Benson and Matsumura 2001: 21–38; Nish 2002).

Однако либерализм подрывался трояким образом. Во-первых, избирательное право наделяло чрезмерным представительством сельские области (как это остается и в наши дни), а сельскую местность было легче контролировать посредством патрон-клиентских сетей — крестьян представляло земельное дворянство, а не сами крестьяне. Во-вторых, избирательное право для мужчин сопровождалось «законом о сохранении мира», который ограничивал гражданские права. Этот в основе своей классовый закон запрещал группы, стремившиеся изменить форму правления или отменить частную собственность, и позволял полиции репрессировать социалистические и коммунистические партии, профсоюзы и вмешиваться в выборы на основании защиты публичного порядка. В-третьих, большая часть среднего класса, теперь наделенная правом голоса и контролирувавшая свои либеральные партии в городах, отказалась от кратковременного союза с массами, находившимися ниже их. Консервативные и либеральные партии, находившиеся под контролем высшего класса, поддерживаемые средним классом, боролись за власть с левыми, рабочими и крестьянами, которые были преимущественно исключены. Гражданские права были ограниченными, оставляя большинство японцев полуподданными-полугражданами.

Уклон дистрибутивной власти обратно к консерватизму и империализму не был результатом потребностей японского капитализма — он выиграл бы от более либерального пути. Аргумент либерала XIX в. Джона Гобсона о том, что империализм был порожден избыточным капиталом, ищущим прибылей за рубежом, не может быть применен к Японии, которая была по сути импортером капитала вплоть до Первой мировой вой-

ны и никогда не обладала значительными излишками капитала. К ней не может быть применена и концепция Ленина о сверхприбылях, извлекаемых из колоний, поскольку лишь незначительная часть частного капитала японцев или иностранного капитала инвестировалась в колонии. Практически весь частный капитал шел в саму Японию, поскольку это было выгоднее (Lockwood 1954: 35). Подобным же образом применительно к Японии не срабатывает ленинский акцент на могуществе монополий финансового капитала, а более поздние представления о господстве военно-промышленного комплекса, состоявшего из конгломератов дзайбацу и вооруженных сил, стали важными лишь позднее, в рамках процесса, который привел Японию к катастрофе. До 1930-х гг. дзайбацу были в большей мере сфокусированы на банковском и торговом секторах, чем на тяжелой промышленности, и большой бизнес был мало вовлечен в японские колониальные предприятия, где доминировал мелкий бизнес (были и исключения, такие как компания «Мицуи», которая активно действовала в Китае). В действительности большой бизнес не был единоклассов в вопросе империализма вплоть до конца 1930-х гг. Хотя бизнес снабжал армию, он сильно зависел от англо-американского импорта. Основные бизнес-лидеры поддерживали Сидэхару. Все изменилось в конце 1930-х гг., когда экономика в целом стала походить на гигантский военно-промышленный комплекс с «новыми дзайбацу» в центре. Крупный бизнес был не инициатором этого сдвига, хотя он действительно принимал участие в корпоративных компромиссах, заключенных этими группами в период 1937–1938 гг. (T. Nakamura 1998; Berger 1977: 85, 225, 333–334, 345–6; J. Snyder 1991: 134). Корпоративный капитализм напрямую не продвигал вперед Японскую империю, хотя он выступал за подавление левых и групп рабочего класса, которые сопротивлялись империализму.

Слабость крестьянства и рабочего класса ослабляла антиимпериалистический лагерь. Тэнносей также внес в это свою лепту, создавая идеологический крен к социальной гармонии, долгу, послушанию и патриархату, преобладающими над конфликтом и классом. Это не останавливало рабочих и крестьян, устраивавших забастовки или даже бунты в поддержку своих требований, но поощряло их искать справедливости, взывая к уважению, достоинству и праву на доброжелательность внутри системы, то есть к поискам решения путем классового сотрудничества, а не классового конфликта (T. Smith 1988: глава 10). Это было также тенденцией правового кодекса начиная с 1900 г., особенно различных законов о сохранении мира и полицейских законов, предписывавших примирение через органы государственной власти, а не конфликт между независи-

ми организациями работодателей и рабочих. Правовой кодекс не терпел роли «внешних сил», то есть национальных профсоюзов, в трудовых конфликтах, и результатом этого было затухание классового сознания (Woodiwiss 1992: 58–66).

Таким образом, национальные профсоюзы оставались недо развитыми. Аполитичные рабочие организации были унаследованы от прошлых времен. В Японии получили развитие «странствующие» квалифицированные рабочие, такие как артельщики на Западе, хотя и без ремесленных организаций, которые на Западе затем стали первыми национальными цеховыми профсоюзами. Когда японские фабрики получили развитие, они ограничили организацию рабочих пределами одного предприятия. Рабочие агитировали цех за цехом, но не на национальном уровне. Предпринимался ряд попыток основать национальные профсоюзы, но основной упор коллективного действия был внутри фирмы. Япония адаптировала обычное многообразие рабочих движений: анархо-синдикалистские, коммунистические, социалистические, социально-демократические и консервативно-компаративистские профсоюзы, но все они существовали одновременно в разных фирмах и городах Японии без какого-либо общенационального распространения их различных целей и тактик. Фракционность ослабляла их способность укрепиться в периоды, когда их численность и забастовочное движение росли, — в течение 1917–1919 гг. и в меньшей степени в 1930–1931 гг. (A. Gordon 1985: 416–425, 251; 1991: 203).

Япония развила дуальную экономику. Сектор тяжелой промышленности — химической, сталелитейной и машиностроительной — был капиталоемким, удовлетворяющим в основном собственные нужды Японии. Он требовал высококвалифицированных рабочих, которые бы адаптировались к технологическим изменениям и не вели подрывной деятельности. Этот сектор мог позволить себе оплачивать труд своих работников преимущественно мужского пола, чтобы достичь этого, и разработал надбавки к зарплате за стаж и применил некоторые принципы капитализма «всеобщего благосостояния», чтобы сохранить опытных рабочих (Taiga 1988: 618–619; A. Gordon 1985). Более крупный вторичный сектор, состоявший из малых предприятий легкой промышленности и сельского хозяйства, экспортировал свою продукцию. Будучи трудоемкими, эти предприятия платили низкие зарплаты. Наиболее многочисленными из них были ткацкие фабрики, укомплектованные в основном молодыми женщинами, которых по контракту предоставляли их семьи или деревни до тех пор, пока они не выходили замуж. За удлинённый рабочий день им платили всего 50–70% от зарплаты мужчин, при этом они считались временными работниками. Они не подходи-

ли для профсоюзов, хотя и стали более активными в 1920-е гг. Но Япония все еще оставалась страной небольших предприятий. До 1930 г. лишь 40% рабочих трудились на предприятиях из пяти и более человек, и примерно половину из них составляли молодые женщины. Они составляли большую долю в промышленной рабочей силе, чем в любой другой стране в 1920-е гг., но уже не в 1930-е гг. Практически 40% японских крестьянских семей были вовлечены в производство шелковой нити, а их дочери отправлялись на ткацкие фабрики заниматься прядением (Taira 1988: 619–621; A. Gordon 1991: 36–37, 64, 75–78, 185; Gordon 2003: 100–105; Metzler 2006: 226). Существовало неравенство между секторами, и разница между зарплатами в сельскохозяйственном и промышленном, первичном и вторичном секторах увеличивалась. Это затрудняло создание общих рабочих профсоюзов или крестьянско-рабочих движений. Классовая идентичность была слабой.

Крестьяне присоединялись к левым в изобилующий конфликтами период — с 1917 по 1925 г. Реформы Мэйдзи включали не так много земельных реформ, и коммерциализация разоряла фермеров-арендаторов, которые обрабатывали практически половину пахотных земель Японии. Более коммерциализированные области сталкивались с большими конфликтами, и после рисовых бунтов 1918 г. союзы крестьян-арендаторов процветали. Крестьяне продолжали выражать недовольство, но редко в классовых терминах. Они хотели членства в существующих сельских сообществах, но на более справедливых условиях. Власти, на короткое время впавшие в панику во время конфликтных лет, предприняли шаги по вовлечению их в государственное посредничество и кооперативные организации (Taira 1988: 578–589). Поскольку их сыновья составляли большую часть японских солдат, сельские домохозяйства зависели, по крайней мере частично, от зарплат военных. Их также заставляли поверить, что миграция в качестве поселенцев в колонии освободит их от бедности. Эта комбинация означала, что правое крыло милитаризма имело больше отклика в сельских областях, чем социалисты. Японское сельское население никогда уже вновь не развило связей с городским рабочим классом, радикализмом или антиимпериализмом, подобных тем, которые появились в конце XIX и начале XX в. в таких странах, как Франция, Испания или Соединенные Штаты.

Я проанализировал рабочие движения как борьбу между тремя типами организации: классом, сектором и сегментом. Чем сильнее рабочие расходились по линиям секторальных различий между отраслями промышленности или линиям сегментарных различий между нанимателями, тем меньше шан-

сов у них было на формирование общей организации рабочего класса и массовых социалистических движений. Городской рабочий класс был разделен между тяжелой и легкой отраслями промышленности и сегментирован внутри тяжелой промышленности. Как и в Соединенных Штатах, работодатели этой отрасли стремились упредить необходимость в профсоюзах. Все это ослабляло движения и рабочего класса, и либералов. В этих отношениях Япония в 1929 г. напоминала Соединенные Штаты. Ни одна из стран не была исключительной, обе прошли через период реакции, но это еще не было высечено в камне. Потребовалось бы больше случайных событий типа Великой депрессии и войны в Китае, чтобы подтолкнуть Японию дальше по пути расширения военного империализма за рубежом и квазифашистского деспотизма внутри страны, в то время как Соединенные Штаты отклонились влево и от империализма. В Азии 1930 и 1931 гг. суждено было оказаться решающими, как мы увидим в главе 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВАМ 2—4: ТРИ ИМПЕРИИ

В последних трех главах я проанализировал три империи, метрополии которых располагались на трех различных континентах. В общем империи стали совершенно нормальным делом для восходящей промышленной державы, как и для старых промышленных держав. Япония, Соединенные Штаты, Германия и Бельгия поздно стали империями. Несмотря на то что они пришли к индустриализации своим путем, подразумевающим различные смеси корпораций и государств, существовал один лучший путь создания империи: выстраивание вооруженных сил по образцу уже состоявшихся империалистов. В то время как внутренняя модернизация Японии приняла весьма отличные формы, ее вооруженные силы, с которыми она воевала и захватывала колонии, были практически идентичны западным. Соперничающие империи и милитаризм, первоначально созданные европейцами, распространились на неевропейские державы и затем доминировали практически по всему миру.

Но в то время как американцы обратились к заморскому империализму (как немцы, итальянцы и бельгийцы) только после дебатов, которые ограничивались узким кругом элиты лишь с несколькими моментами общественного резонанса, японское обращение к империализму пользовалось более широкой поддержкой. Основной причиной этого отличия было то, что Соединенные Штаты не знали иностранной угрозы и их империя

была выбором нескольких человек на фоне общего безразличия, большинство же японцев были убеждены, что у них практически нет выбора. Внешняя экспансия, верили они, была единственно возможной защитой от иностранного империализма. Альтернатива заключалась в том, чтобы оказаться зажатыми между Россией, Британией и Соединенными Штатами. Как и упадок Испании в американском полушарии, упадок Китая сулил наживу для соседей. После первой полномасштабной войны в 1898 г. Испания была выдворена из своих колоний, а американцы обрели легкий неформальный империализм, подходящий для страны. В ней не было заморских поселенцев, государству не хватало имперских навыков и массы не были заинтересованы в империи. Напротив, в 1920-х гг. упадок Китая оставался заманчивым — миллион японских поселенцев выехали за границу и ранние японские эксперименты с колониями были очень успешными в отличие от американских. Относительно либеральные 1920-е гг. на родине и за рубежом временно ограничили дальнейшие японские авантюры, но к концу 1920-х гг. либерализм забуксовал. Самым большим различием между этими двумя странами была большая власть и популярность военных в Японии. Это оказалось толчком к большему империализму, которому не было равных ни в Соединенных Штатах, ни в Британии, когда разразилась Великая депрессия. Без этого глобального кризиса Япония могла вовсе не скатиться к большему империализму.

Британская империя была самой сложной. Ее капитализм был самым транснациональным, потому ее экспансия постоянно превышала имеющиеся на тот момент владения империи. Результатом этого стали два отдельных процесса. Во-первых, государству в основном приходилось играть в догонялки, борясь за управление владениями, которые изначально были заполучены независимыми авантюристами, торговыми компаниями и поселенцами. Во-вторых, британская экономическая и финансовая экспансия опережала ее имперский контроль, формируя зародыш того, чему после 1945 г. суждено было стать более универсальной транснациональной формой глобализации. В случае двух относительно запоздавших империалистов — Соединенных Штатов и Японии — вторая промышленная революция приобрела две различные и более организованные формы капитализма. В Соединенных Штатах это был в основном корпоративный, но не государственный капитализм, хотя он был обращенным внутрь и протекционистским. В начале нового века произошел всплеск империалистической экспансии, хотя она не имела большой внутренней поддержки и вскоре приобрела более облегченные формы. И британский, и американский им-

империализм были относительно прагматичными, за исключением разделяемого обоими расизма и зарождающегося американского антикоммунизма. В Японии корпоративный капитализм в большей степени был государственно-координируемым, причем возможность инициировать политику все больше переходила от корпораций к государству. Это породило более милитаристскую форму империализма за рубежом, движимого более эмоциональным путем поисков славы. Империализм, как утверждалось, был жизненно важным для поддержания благосостояния японцев, которое в конечном счете он и разрушил.

Конкурирующие империи разделили мир по-новому. Каждая империя не только устанавливала барьеры против иностранцев, существовали и более сложные линии разлома. Британская и американская экспансии были частью все более взаимозависимой североатлантической экономики, которую иногда принимают просто за глобализацию, хотя она таковой не была, поскольку принципиально устанавливала новую макрорегиональную линию разлома. Расизм оказывал более широкое глобализирующее воздействие, поскольку солидарность белой расы возрастала. Еще более усложняло ситуацию то, что две эти страны плюс британские белые поселенческие колонии иногда сужали ее до англосаксонской расы. Первоначально среди метрополий была контртенденция к большему чувству принадлежности к национальному государству. Тем не менее экономическую экспансию можно было рассматривать как промежуточную ступень на пути к более универсальной транснациональной глобализации, особенно в силу того, что финансовый капитал более свободно распространялся поверх национальных границ. И все же Великая дивергенция также расширяла экономические различия между метрополиями и колониями и независимыми бедными странами. Но я утверждаю, что имперская эксплуатация внесла относительно небольшой вклад в эту дивергенцию. Главной причиной были простые различия между странами: страны Запада индустриализовались, остальные нет. Японская империя была исключением, поскольку в ней не было тренда к большей экономической дивергенции между Японией и ее колониями. Все страны этой империи имели схожие уровни роста, и их экономики становились более интегрированными. Однако другие формы японской эксплуатации и практически расистское представление японцев об их превосходстве над другими азиатами препятствовали более тесной интеграции в других отношениях власти. Земной шар был по-прежнему серьезно расколот. 1914 г. выявил это как нельзя лучше.

ГЛАВА 5

Полуглобальный кризис: Первая мировая война

В ПЕРВОЙ половине XX в. мир был глубоко расколот двумя мировыми войнами. Период 1914–1945 гг. действительно принято рассматривать в качестве полной противоположности предшествующим и последующим периодам, в ходе которого правила конфликт и хаос. Никто не отрицает раскол, который произошел в этот период, но я уже указал на те трещины, которые появились задолго до войны. Далее мы увидим, как Великая война главным образом их увеличила.

После столетия небольших войн в Европе Великая война поразила континент подобно катаклизму. Ее эпицентром определено была Европа, но резонанс распространился практически по всем континентам, чтобы стать почти глобальным. Я обсуждал ее причины более подробно в главе 21 тома 2, а теперь я хочу сделать более основательный акцент на европейской военной культуре (см. главу 2), которая распространила агрессивный империализм по всему европейскому континенту и дальше. В XIX в. количество войн в Европе сократилось, поскольку очевидными стали их разрушительные последствия, и великие державы сформировали альянсы, направленные на их предотвращение. К 1914 г. обозначились два основных союза: Германия, Австро-Венгрия и Италия против России, Франции и Британии с Османской империей, занимавшей нейтральную позицию. Баланс сил вошел в дипломатический дискурс как нечто способное воспрепятствовать войне. И все же война по-прежнему оставалась стандартной формой дипломатии, военные силы продолжали модернизацию, молодых мужчин с европейского континента призывали в армию и тренировали в качестве армейского резерва — все, как и задолго до этой войны. Лишь в Британии в армию, которая была в большей мере капиталоемкой, чем трудоемкой, не было призыва. Дети (мальчики и девочки) читали истории о романтических и героическихключениях империи и социализировались в милитаристскую

культуру. Европейцы по-прежнему демонстрировали марсианское происхождение. Европа была тем, что в предыдущих томах я называю цивилизацией с множеством акторов власти, состоящей из различных конкурирующих акторов, возникающих из всех четырех источников власти и всех основательно децентрализованных. Там я по достоинству оценил динамизм этой конфигурации в создании «европейского чуда» беспрецедентного экономического роста. Нет обязательной причины, по которой мультигосударственная система должна была генерировать множество войн, но когда она встроена в культуру милитаризма, как было в Европе, то она с большой вероятностью приводит к бесконечным войнам и соревновательному империализму.

Тем не менее, хотя эта война была преимущественно битвой между империалистическими странами, распри вокруг их колониальных владений или международной торговли не были ее причиной. На тот момент колонии рассматривались как менее существенные для коммерческой прибыли, так как недавняя борьба за Африку привела к разочаровывающим результатам. Поскольку белая раса обладала общим интересом в том, что касалось подавления коренных жителей, многие также справедливо полагали, что война между белыми может лишь дестабилизировать все империи (Strachan 2001: 495–496). По факту это была преимущественно европейская война за доминирование на континенте. Имели место лишь незначительные военные действия в Азии, а в Латинской Америке их вовсе не было. Японское участие в войне было недолгим. Напротив, спровоцировавшие войну конфликты 1914 г., как обычно, произошли в самой Европе. Война началась в традиционной форме нападения двух великих держав (Австро-Венгрии и Германии) на две малые (Сербию и Бельгию), на помощь которым пришли силы основных защитников. Все это продемонстрировало сущностную траекторию развития, заданную военным империализмом внутри Европы, который имел место на протяжении всего тысячелетия.

Вместе с тем разразившаяся в Европе война была также скорее случайным событием, поскольку она началась после головокругительной последовательности событий, которая могла с легкостью развернуться иначе. 28 июня 1914 г. молодой сербский националист Гаврило Принцип выходил из гастрономического магазина в Сараево, в то время части Австро-Венгерской империи. Он искал, чем бы подкрепиться после того, как он и его друзья предприняли неудачную попытку убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Габсбургов, который прибыл в город. К огромному удивлению Гаврило, он вдруг увидел открытую машину эрцгерцога, поворачивавшуюся к нему, — шофер сбился с пути. Ошибке шофера суждено было

стать причиной Великой войны! Воспользовавшись шансом, Гаврило подбежал к машине, выхватив свой пистолет. У полиции не было времени, чтобы отреагировать. Он два раза выстрелил в упор в эрцгерцога и его жену принцессу Софию; через полчаса они оба скончались. Заговорщиков схватили. Были установлены их связи с сербским правительством: глава сербской военной разведки снабжал их оружием, а члены сербского кабинета знали о заговоре, но ничего не предприняли, чтобы его остановить¹.

Сербия, не так давно вырвавшая Македонию и Косово у Османской империи, была полна решимости расширяться при поддержке уцелевших сербских сообществ данного региона, в то время управляемого Австро-Венгрией. Ирония заключалась в том, что убитый эрцгерцог придерживался умеренных взглядов и призывал к переговорам с Сербией. Его смерть усилила австрийскую партию войны, которая убедила большую часть двора, что они обязаны наказать сербских националистов, а иначе столкнутся с другими чрезмерно напористыми националистами, ищущими пути расчленения мультиэтничной империи. Двор, ослабленный спорами Вены и Будапешта вокруг военных бюджетов, также был убежден, что война может быть единственным способом военной модернизации. Монархия была обнадежена, когда 5–6 июня правительство Германии предложило ей свою безусловную поддержку. После долгих дебатов в Вене, поскольку престарелый император Франц Иосиф был осторожным человеком, 23 июля Австрия выдвинула сербскому правительству жесткий ультиматум с требованием создания независимой комиссии по расследованию убийства. Сербия дала уклончивый ответ и стала мобилизовывать свои вооруженные силы. Поэтому 28 июля Австрия мобилизовала свои силы и объявила войну Сербии, хотя фельдмаршал Конрад утверждал, что его армия будет готова вступить в реальный бой не раньше 15 августа. Было достаточно времени, чтобы остановить распространение войны, к тому же пока это был всего лишь региональный конфликт.

Тем не менее Россия была великой державой, защищавшей Сербию, и ее режим надеялся, что если он мобилизуется, то заставит Австрию воздержаться от войны, восстановит престиж династии Романовых и разрядит внутреннюю борьбу. 28 июля царь отдал приказ о частичной мобилизации только против Австрии. Предполагалось, что это поможет избежать войны, но австрийцы немедленно контрмобилизовались против Рос-

1. Последующий параграф основан на главе 21 тома 2, дополненной данными Уильямсона и Мэй. См.: Williamson and May 2007.

сии, как и против Сербии. Затем высшее командование России проинформировало царя, что только всеобщая мобилизация, в том числе против Германии, была технически возможной. На следующий день они уже уговаривали царя отдать приказ о всеобщей мобилизации. Она началась через месяц после убийства и через неделю после австрийского ультиматума Сербии. По стечению обстоятельств французский президент Пуанкаре и его министр иностранных дел в тот момент находились с визитом в Санкт-Петербурге. Они не пытались удержать от мобилизации своих русских союзников. Французское руководство все еще надеялось, что их союз с Россией и Британией будет сдерживать Германию, и полагало, что российская угроза Германии — это не так уж плохо.

На протяжении всего кризиса германское руководство казалось невосприимчивым к угрозам, готовым к рискам всеобщей войны в поддержку Австрии. В Берлине общая мобилизация русских рассматривалась как угроза, хотя высшее командование знало из отчетов разведки, что, вероятно, это не так. Берлин делал вид, что чувствует угрозу, поскольку хотел войны и был готов сразиться и с Францией, и с Россией, надеясь, что сделает это последовательно, а не будет воевать с обеими странами сразу. Поэтому германское правительство ответило своей мобилизацией на Западе, а также на Востоке. К явному удивлению большей части германского кабинета, эта мобилизация включала захват железнодорожных станций и укрепленных позиций в Бельгии и Люксембурге, зарубежных странах, нейтралитет которых гарантировали Франция и Британия. Это был провокационный шаг согласно плану немецкой мобилизации Шлиффена, который в стремлении обнажить фланг французских армий предполагал через Бельгию напасть на север Франции. Затем немцы должны были повернуть на восток к Парижу, чтобы нанести решающий удар, который бы быстро вывел Францию из войны. В противном случае, если бы Франция предприняла контратаку на северном направлении, немцы могли обойти французов с фланга в Бельгии. В любом случае затем Германия должна была развернуться на восточный фронт и сразиться с Россией, которая рассматривалась в качестве более грозного врага. Допущение, которое разделяло и военное командование других стран, заключалось в том, что военные технологии и организация уже были развиты до такой степени, что лучшей защитой станет нападение и быстрая окружающая противника атака принесет победу². Как же они ошибались!

2. Имеют место некоторые сомнения относительно того, придерживалась ли Германия плана Шлиффена и существовал ли в действительности такой план. Тем

Готовность немецкого руководства к возможности войны на два фронта может выглядеть удивительной, но командование ожидало, что быстрое нападение позволит этого избежать. Вдобавок кайзер и другие не ожидали, что в войну вступит Британия, несмотря на ее союз с Францией и гарантии нейтралитета Бельгии. Британское правительство отказалось пообещать Франции помощь и не смогло выдвинуть Германии военный ультиматум в связи с Бельгией. Ее расколотая правящая Либеральная партия обладала лишь небольшим парламентским большинством. В составе кабинета те, кто выступал против объявления войны, численно превосходили тех, кто выступал за нее (министр иностранных дел Грей, министр военно-морского флота Черчилль и премьер-министр Асквит). Это было единственное правительство, в котором пацифисты заметно противостояли милитаристам. Хотя пацифисты обладали меньшим политическим весом в кабинете, руководство боялось, что избиратели в массовом порядке отвернутся от них, если правительство займет слишком воинственную позицию. Это было ограничение, наложенное на военную кристаллизацию государства. Угроза гражданской войны в Ирландии, которая все еще находилась в подчинении Британии, была более насущной заботой британского правительства. Большинство политиков ставят внутренние проблемы выше зарубежных, и именно так тогда обстояло дело в Великобритании. В итоге британцы не смогли сдержать Германию.

В частном порядке лидеры двух основных британских партий и чиновники министерства иностранных дел соглашались, что они не должны допустить, чтобы германцы вышли к портам Ла-Манша. Веками основой британской политики было поддержание баланса сил в континентальной Европе. Союзники всегда были жизненно важны, поскольку в Европе Британия была одной из великих держав. Ее европейские альянсы сделали возможными постепенную экспансию Британской империи в разных частях света и достижение господства над большими сегментами. Следовательно, доминирование Германии в Европе, в частности над портами Северного моря, было недопустимым для профессиональных геополитиков. Великобритания импортировала большую часть своих продовольственных товаров, и если бы могуществу Королевского флота был брошен вызов, писал Киплинг, то «к завтраку могло не оказаться кофе или бекона». Однако лидеры были также убеждены, что британский народ не примет столь хладнокровных геополитических при-

не менее в 1914 г. немецкая армия действительно пыталась реализовать более гибкую версию предполагаемого плана. См.: Zuber 2002; Strachan 2001: 163–184.

чин для войны. Поэтому они предпочли подождать, пока «маленькая Бельгия» не будет атакована, чтобы разжечь моральное возмущение и получить поддержку либеральных избирателей, — способ обойти те пацифистские ограничения, которые они наложили на правительство. На руку также оказалось и то, что зверства, совершенные германскими войсками, вступившими в Бельгию, широко освещались в прессе. Дело в том, что, как мы видели в главе 2, Британская империя была убеждена, что является благотворительной организацией, защищающей менее успешные народы мира. На самом деле британское руководство сражалось в Первой мировой, а затем вынуждено было сражаться и во Второй мировой войне, чтобы защитить могущество своего имперского государства, а не независимость Бельгии (или в 1939 г. Польши).

Многие из руководства Германии полагали, что Британия, вероятно, вступит в войну в случае, если будет атакована Франция, но они знали, что Британия уклонилась от каких-либо обещаний, к тому же большинство немецких политиков не понимали, что их планы по мобилизации включают вторжение в Бельгию. Когда же в конце июля это наконец до них дошло, они не отступились, поскольку чувствовали, что это подорвет их престиж, так как одни недооценивали мощь Британии, а другие действительно хотели войны. Многие немцы убедили себя, что британцы больше капиталисты, чем воины. Наивно веря в британское либеральное лицемерие, они видели британцев «торговцами», а не «героями», следуя знаменитой формулировке Вернера Зомбарта. Британцам недостает военного «духа» и чувства «чести», говорили они. Британцы сражались ради прибыли, а в предстоящей войне ее трудно будет разглядеть. Поэтому они не будут сражаться или будут сражаться недостаточно хорошо. Генералы, которые играли важную роль в принятии решений в Германии, были правы, не давая британской армии высоких оценок, но британский милитаризм не всегда был столь очевидным в Европе, поскольку он был преимущественно морским и глобальным. Не европейцы, а коренные народы ощущали его острие, хотя британцы могли быстро направить его на военно-морскую блокаду Германии, наносящую ей большой ущерб. Даже немцы, которые действительно осознавали это, в большинстве своем считали Британскую империю хрупкой и надеялись, что война приведет к восстаниям среди местных жителей. Они также видели, что Британия вступила в период относительного упадка (Strachan, 2001: 1128–1130). Это могло стать правдой, но они опережали события. Британский упадок только начался, и немцам следовало бы подождать десяток-другой лет, прежде чем бросать такой вызов, потому

что к тому времени они достигли бы экономической гегемонии в Европе в любом случае (Offer 1989). Свойство людей ошибаться было важной причиной этой войны.

Таким образом, Первая мировая война началась в первые недели августа, когда все перечисленные государства объявили войну друг другу. Это стало следствием случайно удавшегося убийства, за которым последовали серии решений великих держав поддержать своих младших союзников. Определенная автономия военного планирования от гражданского контроля и неспособность предсказать решения других правительств или природу предстоящей военной кампании, которая не дала наступлению преимущества перед обороной, еще более усугубили ситуацию. Балканский кризис вовлек три великие монархии, потом все державы, а затем превратился в квазимировую войну. Эта война не была неизбежной: она была результатом накопления давления, объединившего в себе различные причинно-следственные цепи, одни из которых были укорененными довольно глубоко в структурах власти, а другие — более случайными. Слабые стороны, которые в противном случае могли бы остаться завуалированными, такие как раскол между британскими либералами или автономия военных, вскрылись и усилили скатывание к войне. Воздействие, которое они друг на друга оказали, было в подавляющем большинстве случайным, но их агрегированный эффект состоял в увеличении вероятности войны. Это усиливалось идеологической пассивностью, поскольку в качестве приемлемого по умолчанию был установлен военный тип дипломатии в сочетании со страхом унижения в случае отступления. Ограничения, наложенные военной кристаллизацией государства, способствовали войне, а не миру. Подкрепленные социально-дарвинистской псевдонаучной теорией, они рассматривали войну как неизбежную и даже необходимую. Наиболее приспособленные смогут вытеснить отсталых и находящихся в упадке (разумеется, все считали себя наиболее приспособленными). Некоторые также полагали, что вдохновленный войной патриотизм может принести частичное разрешение внутреннего классового или этнического конфликта, а другие считали, что война долго не продлится. Все это заставило политиков верить, что худшее, что они могут сделать в милитаристской цивилизации с множеством акторов власти, — отступить.

Политики не определяли национальные интересы прежде всего в материальных категориях. Хотя несколько территорий были предметом спора, первоначально это не было главным вопросом для большинства держав, за исключением сербско-австрийского спора. Претензии на территорию, промышленность и торговлю были сформулированы только после начала войны.

До этого политики боролись прежде всего за статус в том смысле, которым его наделяет Макс Вебер. Хотя политики действительно предполагали, что победа в войне принесет материальную выгоду, они не подвергали это предположение строгой проверке. Самое поразительное — это их общее помешательство на чести, славе, статусе, доверии и стыде, страхе выглядеть слабыми и таким образом подвергнуться осмеянию — эмоциональная неуверенность маленьких мальчиков, дерущихся на детской площадке. Свою роль сыграли представления о том, что значит быть мужчиной. Все политики, принимавшие решения, безусловно были мужчинами. Оффер (Offer 1995: 234) пишет: «Начало Первой мировой войны было положено цепью обид, которые ни один лидер, находящийся на позиции всеобщего обозрения, не мог позволить себе игнорировать». Среди политиков обеспокоенность статусом и маскулинностью носила одновременно внутриличностный и национальный характер. Они были национальными, поскольку отступить или обмануть доверие союзников означало понизить статус своего государства; они были внутриличностными, поскольку политики не могли вынести собственного унижения, если отступали. Разумеется, сами они, что весьма удобно, были слишком стары, чтобы сражаться.

Обеспокоенность статусом также коренилась в более широких идеологических концепциях. Преимущественно они касались превращения национальных государств в государства-нации, претендующие на воплощение некоторых универсальных ценностей, обычно ценностей Просвещения. Для самих себя Франция олицетворяла свободу, Британия — демократию, Германия — высокую культуру, а Россия и Австрия (будучи мультиэтничными и династическими) воплощали традиции и порядок. Предположительно этими качествами было исполнено каждое национальное сообщество. Отступить означало ослабить влияние этих универсальных ценностей в мире. В качестве причины войны идеологическая власть была важна на эмоциональном, национальном и универсальном уровнях, как это остается и в настоящее время.

Однако (опять же, как и сейчас) подлинное ощущение чести было повсеместно смешано с манипуляцией. Война с необходимостью должна была рассматриваться как оборонительная и, следовательно, благородная, поэтому правительства лицемерили, создавая это впечатление. Германское руководство использовало мобилизацию русских, чтобы провозгласить высокую моральную основу своих действий, подобным же образом британцы использовали вторжение в маленькую Бельгию. Идеологическая укорененность европейского милитаризма (его статус по умолчанию, воинственные эмоции маленького мальчика, ма-

нипуляции) — это то, что я хотел бы добавить к более детальному анализу причин скатывания к войне, который я осуществил в конце второго тома. Увы, Фергюсон (Ferguson 1999: 1–30) был не прав, утверждая, что европейский милитаризм был в упадке. Европа оставалась милитаристским континентом, хотя и демонстрирующим энтузиазм так же, как и силу милитаризма, который сохранялся и тогда, когда на кон были поставлены пренебрежительно малые материальные интересы. Но три великие державы, без сомнения, вели себя более провокационно, чем другие. Двор Габсбургов углядел в этот момент борьбы за существование. Они были убеждены, что если не справятся с вызовом сербов, то династическая империя может разрушиться. Их основным мотивом была стратегическая небезопасность. У русских и немцев были более смешанные мотивы, связанные с безопасностью. С одной стороны, русское правительство с недавних пор рядилось в мантию панславизма и было уверено, что не сможет оставить сербов без помощи, не потеряв при этом значительной доли престижа, что, в свою очередь, могло угрожать существованию династии Романовых. С другой стороны, некоторые русские военачальники считали, что наступило время расширить территорию за счет Габсбургов, достичь константинопольских проливов (давней цели), это желание смешивалось со стремлением восстановить русскую военную славу после поражения в Японской войне 1905 г. Провокационный настрой среди немецких элит был двусторонним. Имела место геополитическая небезопасность расположенной в центре континента державы, «окруженной» врагами, ощущавшей, что она должна ударить по ним в качестве самозащиты. Но была также и уверенность в доблести вооруженных сил Германии. Историки расходятся в том, какой вес они приписывали двум этим чувствам. Фергюсон (Ferguson, 1999: 149–54) и Стрэкэн (Strachan, 2001: 1–35) изображают немецкое руководство нервным и неуверенным, дергающимся, как картежники; идущим на риск немедленного нападения на Россию, до того как текущие планы модернизации русских принесут свои плоды; пойманным в ловушку необходимости атаковать Россию и Францию немедленно или ждать, прежде чем атаковать Британию. Тем не менее данные Хевитсона (Hewitson, 2004) показывают немецкое руководство с легкостью балансирующим в дипломатии на грани войны, рассматривающим войну как нормальный стандартный режим развития страны, уверенным в том, что немецкая армия принесет победу. Какой бы ни была их доминирующая эмоция, они разделяли представления о необходимости воевать — и воевать немедленно.

Эти три режима были деспотическими: Россия в наибольшей, Германия — в наименьшей степени. Три соответствующие дина-

стии и их дворы боялись модернизма, который не соответствовал их стилю правления. Война могла продлить их правление; в конце концов чего стоили династии, если не могли сражаться и выиграть войну? Война всегда была путем к династической славе — решительно не инструментальная цель. Исключительно немецкой особенностью было то, что их милитаризм был недавно очень успешным, придавая руководству больше уверенности в агрессии. Это было рискованно, но могло сработать. Для двух других групп элит это было идеологической неадекватностью. Чувствуя себя некомфортно рядом с капиталистической и демократической современностью, эти старые режимы решили держиваться того, что хорошо знали, — милитаризма. Если бы в правительствах Габсбургов, Романовых или Германии доминировали промышленники, финансисты или другие гражданские лица, то их вступление в войну было бы маловероятным. Россия прошла половину пути программы военной модернизации, Австро-Венгрия была не в том состоянии, чтобы сражаться в общеевропейской войне, а быстрые темпы экономического роста в Германии означали, что в следующее десятилетие она будет доминировать в Европе и отстоит свое место под солнцем мирным путем. Однако широкие гражданские элиты не контролировали три режима. То же можно было сказать о народе, который оставался в подавляющем большинстве пассивным и обладал лишь незначительными знаниями о том, что творится от его имени.

Обстояли ли дела иначе в демократиях? Франция была демократией со всеобщим избирательным правом для мужчин, Британия — практически такой же, и они не были агрессорами. Но демократия там была довольно слабой. За исключением рабочих, которые были урбанизированы, индустриализированы и «массифицированы», большинство людей все еще полагались на «вышестоящих» и были довольно пассивны политически, особенно во внешнеполитических вопросах. В любом случае трудно сказать, насколько демократия обусловила отличия Британии и Франции в этой войне, поскольку они также были насытившимися державами, довольными империями, которыми уже обладали. Их можно было обвинить в том, что они не предприняли более смелых и скоординированных дипломатических шагов, чтобы предотвратить войну. Тем не менее демократия внесла свой вклад в британскую неудачу, поскольку руководство Либеральной партии уступало сильной пацифистской линии в своей партии и предполагаемому преобладанию антивоенных убеждений в народе. Они предпочли дожидаться момента, когда бедная маленькая Бельгия будет атакована. Более смелые лидеры могли бы пойти на внутриполитические неприятности — хотя бы для сохранения своего имперского могу-

щества они должны были ранее дать понять Германии их исходную позицию по Бельгии и Франции. Или же они могли бы с большим пониманием отнестись к желанию Германии обладать геополитической властью, соответствующей ее экономической власти. Фергюсон (Ferguson 1999: 168–173) отмечает, что на этой стадии Германия имела ограниченные военные цели на континенте, которые не несли больших угроз для могущества Британии³. Последующее расширение целей этой войны произошло лишь позднее, когда война уже была в самом разгаре. Не могли ли британцы принять то, что Франция находится в упадке и Германия становится доминирующей властью на западной половине континентальной Европы? Не могла ли Британия смириться с этим?

Французский президент Пуанкаре был в смятении, поскольку находился в тяжелой ситуации. Опасаясь немецкой агрессии, он потратил годы своего президентства на усиление французской армии и укрепление союзов с Британией и Россией. Это предусматривало отказ его генералов от упреждающих ударов по Бельгии. Последние имели военный смысл, поскольку Франция обладала крупнейшей сухопутной армией, в то время как Германии требовалось время, чтобы призвать на службу резервистов. Но этот план оттолкнул бы от них британцев и потому был отклонен. И все же его основным промахом была Россия во время июльского кризиса, когда он не смог сдержать русских. Более того, вопреки совету министра иностранных дел Вивиани он дал им безусловное обещание лояльности. Он мог бы справиться со своей задачей лучше, но ответственность британского и французского режимов была гораздо меньше. В августе Франция была вынуждена вступить в войну, поскольку была атакована; по этому поводу существовал всеобщий консенсус. Британия вступила в войну, поскольку ее политики находили появление немецких военных кораблей в бельгийских портах неприемлемым и народ, напуганный историями о немецких зверствах в Бельгии, в большинстве своем правительство поддерживал. Обе страны были глобальными империями, но сейчас их отечества оказались в уязвимом положении.

Прочие периферийные государства вступали в войну из более инструментальных соображений. Османская империя присоединилась к центральным державам в 1914 г., поскольку Германия предложила ей больше помощи, а Россия была ее самым грозным врагом; Япония присоединилась к Антан-

3. После критики взглядов Фергюсона на Британскую империю в главе 2 очень приятно повторно и в позитивном ключе цитировать его превосходную книгу о Первой мировой войне.

те в 1914 г., поскольку легко могла поживиться близлежащими германскими колониями; подкупленная австрийскими территориями, Италия покинула Тройственный союз и присоединилась к Антанте в 1915 г. Все это были крайне материалистические мотивы в случае победы их стороны! Маленькие балканские государства выступили на стороне и того, и другого альянса, а Америка и Китай присоединились к Антанте только в 1917 г. в силу довольно смешанных мотивов.

Сквозь это множество мотивов проступает одна иррациональность, как это обычно и бывает в большинстве войн. Практически все государства, вступающие в войну, чувствуют уверенность в победе, но как это вообще возможно, если на всякого победителя всегда приходится как минимум один побежденный? Ко всему прочему эта война с огромной вероятностью сулила колоссальные чистые издержки, а количество тех, кто остался в выигрыше, могло оказаться очень небольшим. По факту лишь Соединенные Штаты и Япония могли бы назвать эту войну «хорошей», учитывая (относительно маленькие) усилия, которые они в нее вложили. Чрезмерная уверенность других была во многом связана с изоляцией лидеров (и народов, как мы позднее убедимся) в их национальных «клетках». Внутри них они впитывали коллективный энтузиазм по отношению к войне, по большей части не подозревая о подобном энтузиазме врага.

Как только война была объявлена, военная власть вышла на передний план. Боевые действия охватывали все большие территории, стали жестокими вдоль внешних границ Европы, на восточном фронте, на Балканах, а также на кавказском фронте между Россией и Турцией. Поскольку основные участники войны владели колониями, их борьба также превратилась в межимперскую войну с боями в колониях по всему миру. Эта война была полуглобальной. Британия и Франция черпали жизненно важные ресурсы из своих колоний и доминионов. Армия Британской Индии, насчитывавшая 1,2 млн человек, была крупнейшей волонтерской силой в мире — 60% ее составляли пенджабцы. Британские белые доминионы дали еще 1,2 млн человек. Два миллиона африканцев воевали или работали на европейские державы, и по меньшей мере 250 тыс. из них погибли в Африке, не считая жертв пандемий, которые свирепствовали в конце войны. Бои распространились по всей Африке, за исключением Либерии, Эфиопии и небольших колоний Испании и Италии, хотя они и были небольшого размаха в силу невероятных логистических сложностей. Индийские корпуса преодолели полмира, чтобы укрепить ряды британских солдат на Западном фронте, африканские и прочие колониальные солдаты

в общей сложности составили более 600 тыс. человек, восполнивших огромные французские потери. Французский генерал Манжен был известен расистским уважением к своим сенегальским солдатам: он был убежден, что они менее восприимчивы к боли, чем французы. Удивительно, но факт: японцы сражались с немцами в Микронезии, австралийцы и новозеландцы — против турок на подступах к Черному морю. Немцы называют эту войну Мировой войной, и это название наполовину справедливо; британцы и французы называют ее Великой войной, — именно такой она и была. Теперь ее можно рассматривать как смертоносную промежуточную остановку на пути к менее расколотому, более универсальному процессу глобализации, хотя лишь немногие видели это заранее, и сам по себе этот процесс был ужасным расколом европейской цивилизации.

Но война разразилась в Европе и была сфокусирована на ней, не на колониях, а потому это была по сути европейская, а не глобальная война. После того как британцы победили в битве у Фолклендских островов в декабре 1914 г., даже так называемые Великие флоты (*Grand Fleet* и *Hochseeflott*) Британии и Германии преимущественно ограничивались Северной Атлантикой и прилегающими морскими путями. Это была война на выживание в Европе, особенно для Габсбургов, Романовых, Оттоманов, Сербии и Бельгии, в меньшей степени для французов, и даже британцы и немцы убедились, что есть угроза их выживанию. Великие державы сражались за геополитический статус, пропущенный через двойной идеологический фильтр безопасности и чести, что препятствовало отступлению любой из сторон. Если предположить, что единственная война, которая имеет смысл, — битва с хорошими шансами на материальные или стратегические приобретения, то эта война не была целесообразной. Немногие войны были таковыми.

Факт, что война не была слишком уж материалистической, означает, что она фундаментальным образом не велась из-за капитализма. Ни одна из держав не представляла угрозы капитализму, к тому же до нее существовало небольшое количество воинственных капиталистов. Теоретики мир-системы утверждают, что это была война за гегемонию — возвышающаяся Германия пыталась вырвать гегемонию в мир-системе у Британии, приходящей в упадок. К тому моменту, что мы увидим в главе 7, роль фунта стерлингов как резервной валюты была единственно возможной благодаря активному сотрудничеству Бундесбанка и прочих основных центробанков. Британо-германская торговля также росла, а их экономики становились более взаимозависимыми. Действительно, в целом в XIX в. атлантическая экономика очень выросла в довоенные десятилетия. Это был период,

когда доля международной торговли в мировом ВВП выросла до самой высокой отметки вплоть до 1990-х гг. (Chase-Dunn et al. 2000). Большая часть роста, особенно в структуре инвестиций, была по сути транснациональной. Экономика глобализировалась достаточно кооперативными способами. Более того, Британия в действительности никогда не была гегемоном, а немецкое руководство никогда не хотело им стать. Их цель — всего лишь ослабить Британию, Францию и Россию и занять законное место под солнцем среди них в системе множества акторов власти. Остальные державы, разумеется, сопротивлялись, как делали бы это в любое из последних восьми столетий. Отношения экономической и военной власти развивались различными путями, первые — все более кооперативным, последние — более расколотым, выливающимся в войну, которая с очевидностью наносила огромный ущерб экономике.

Основная забота капиталистов — делать прибыль, предпочтительно безопасную, а не высокорисковую. Капиталисты редко существенно вмешиваются в международную политику, хотя демонстрируют глубокий интерес и занимаются интенсивным лоббированием в государстве по внутренним вопросам, имеющим непосредственное отношение к их норме прибыли; таким как налогообложение, субсидии, ставки заработной платы, профсоюзы и т. п. Со своей стороны политики хотят оставаться у власти и обычно признают, что здоровье национальной капиталистической экономики для этого существенно необходимо. Поэтому мы с легкостью можем ожидать нормального совпадения интересов между государствами и капиталистами, хотя левые правительства и вызывают беспокойство капиталистов. На основе этой взаимности возникает функциональная марксистская теория государства, утверждающая, что современные государства преследуют интересы капитала в целом, воплощая «капиталистическую рациональность» (Zeitlin 1980: 25), и это будет справедливо и для номинально левых правительств (Offe and Ronge 1974; Block 1987; Zeitlin 1980). Я отвергаю подобный функционализм, хотя и допускаю определенную правоту в их эмпирических заключениях, когда политические решения кристаллизуются по экономическим вопросам, особенно внутренним. Однако, как я утверждаю в главе 3 тома 2, государства полиморфны и кристаллизуются в различных формах, испытывая давление различных заинтересованных групп на разных политических аренах. Капиталисты обычно проявляют мало интереса к религии, морали, гендеру или семейным вопросам, терроризму или большинству войн (хотя и не ко всем), и государство не воплощает капиталистическую рациональность ни по одному из этих вопросов. Таким образом, хотя большинство деловых кругов во всех странах не хо-

тели войны в 1914 г., они не слишком лоббировали в пользу мира, подобным же образом они не слишком следовали дипломатическим и военным хитросплетениям, которые были представлены выше и привели к войне.

Фергюсон (Ferguson 1999: 33) прав, заявляя, что «марксистское объяснение причин войны, таким образом, может быть отправлено на свалку истории». Эта война не велась из-за прибыли или зарплат, поскольку мирное время действительно было и рассматривалось как лучшее для обеих. Если тем не менее она велась по поводу гегемонии, то это был иррациональный способ ее добиваться. Действительно, этой войне суждено было принести революции против капитализма, а многие подозревали об этом заранее. Как доказали мировые фондовые рынки, капиталисты не были субъектами надвигающегося шторма. Цены на фондовом рынке действительно стали падать только в последнюю неделю июля, после австрийского ультиматума Сербии; как только война началась, рынки пришлось закрыть, чтобы предотвратить обвал (Ferguson 2006: 84–91). Разумеется, вступив в войну, капиталисты догадались, как делать на ней деньги, поскольку они могут делать деньги на чем угодно. Как только Германия начала выдвигать территориальные претензии на богатые ресурсами части Бельгии и Франции, а также на британские и французские колонии, немецкие промышленники с нетерпением за них уцепились. Однако ни промышленность, ни капитал не начинали войны. Она была начата идеологически ангажированными, одержимыми статусом политиками, вооруженными геополитическими основаниями, которые вообще не имели большого смысла.

Не начинали войны и народы или приписываемый им национализм. Хотя к тому моменту большинство народов обладали рутинным, банальным представлением о собственной национальности, лишь немногие из них были агрессивными националистами, а большинство просто верило в то, что насаждалось им сверху. Национализм не был проблемой. Организованный труд, большинство крестьян и даже большинство из среднего класса не были воинственно настроенными, за исключением фракции среднего класса, которую я назвал национально-этатистской (в томе 2). Группы давления националистов и империалистов, которые организовывали демонстрации в поддержку войны, до нее были в меньшинстве по сравнению с антивоенными протестами. Но народ по большей части не имел никакого отношения к процессу принятия решений. Это была война, решение о которой приняли политические и военные элиты, хотя они должны были быть наиболее осведомленными и, весьма вероятно, иметь представления о том,

что может произойти. В связи с этим совсем не очевидно, что хотя бы одна из этих держав была демократической (совершенно безотносительно к ограничениям права голоса накануне Первой мировой войны), поскольку самые важные и разрушительные политические решения столетия не были приняты путем какого-либо процесса консультации с массами. Это остается совершенно нормальным в «демократиях» в сфере внешней политики.

Тем не менее, однажды объявленная, эта война, как и большинство современных войн, на первых порах пользовалась довольно большой поддержкой среди всех классов и всего политического спектра (Strachan 2001: глава 2; Audoin-Rouzeau and Becker, 2002: глава 4). Политики могли слегка потянуть за ниточки национальной идентичности и иерархических лояльностей, которые уже прочно установились. Во втором томе я утверждал, что они были установлены постепенным распространением инфраструктур власти на территориях государств. Экономика, условия труда, здравоохранение, инфраструктура образования и призыв на военную службу во все большей степени регулировались государством на национальном уровне. Люди фактически были вовлечены в национальное государство как в ограниченные сети социального взаимодействия. Это вело к своего рода латентному чувству национальной идентичности, хорошо описанному Биллигом (Billig 1995) при помощи понятия «банальный национализм». Он включал надежную национальную идентичность, периодически возобновляемую тем, что он называет «вывешиванием флагов» в повседневной жизни при помощи символов национальной идентичности. Флагами не столько усердно размахивают, сколько вывешивают на зданиях; национальную идентичность пробуждают язык, кухня, музыка, характерные пейзажи. И тем не менее нам следует быть осторожными и не просцировать современные чувства на события прошлого. В 1914 г. большинство этих чувств было профильтровано через социальные структуры, которые оставались иерархическими. Народ подчинялся местной знати, молодые мужчины — старшим и вышестоящим, женщины — мужчинам. Женщины поддерживали войну, за исключением радикальных феминисток, которые были в абсолютном меньшинстве по сравнению с женщинами, призывавшими мужчин «быть мужчинами» и записываться на службу в армию и раздававшими белые перья в качестве символа трусости тем, кто этого не делал. Хотя все принимавшие ключевые решения были мужчинами, в эту эпоху мало что изменилось бы, если бы половина их были женщинами. Поверх уровня обычного народа стояли политические партии, большинство из которых по-прежнему представляли

собой иерархические патрон-клиентские сети. Они были полугражданами-полуподданными.

Подобный банальный, но иерархический национализм быстро становился «горячим», что в этом контексте означало энтузиазм и уверенность в вероятном результате войны, в справедливости национального дела, а также готовность сражаться. Хотя некоторые политики впали в мрачное настроение с начала войны, о чем свидетельствует известная ремарка британского министра иностранных дел Грея: «Огни гаснут по всей Европе», — особенного страха, выраженного в массовой прессе или уличных демонстрациях, после начала войны не было. Изолированные в своих национальных государствах, испытывавшие кратковременное сплочение вокруг флага, большинство людей причудливым образом воспринимали это как оборонительную войну, сражение в защиту их версии цивилизации против варварства других. Те, кто верил в Бога, считали, что он на их стороне. Они думали, что война будет легкой, как приключенческие истории, которые они читали. Поэтому они бодро и иррационально ожидали одержать быструю победу в этой войне. Солдаты покидали дома, бахвалясь: «К Рождеству вернемся!»

Легко мыслить задним числом. Известно, что единственными солдатами, которым действительно удалось вернуться к Рождеству, были изувеченные и искалеченные, поскольку мертвых хоронили прямо в поле. В ходе этой войны в вооруженные силы было мобилизовано более 60 млн человек. В ходе военных операций погибло 9,2 млн человек, более 15 млн было ранено и почти 8 млн значилось либо военнопленными, либо без вести пропавшими. В основном пропавшие без вести — мужчины, останки которых были слишком искалечены, чтобы установить личность, — так было более чем с половиной французов, погибших за свою страну. Таким образом, половина численности всех войск была отнесена к категории «потери». На небольшие балканские страны приходится самая большая доля убитых — Сербия потеряла 37% своих солдат, около 15–20% немецких, австрийских, русских и французских солдат, около 10–15% солдат Британской империи, итальянских и османских солдат были убиты. Самые высокие потери были в рядах пехоты, поскольку большинство пехотинцев дрались на передовой. Французская пехота потеряла каждого третьего офицера и каждого четвертого рядового. Девятьсот французских и 1300 немецких солдат погибали ежедневно, и эта бойня продолжалась полных четыре года. Первая мировая война, вероятно, была самой смертоносной, самой разрушительной, что касалось территорий, на которых велись бои, и самой затратной в плане боеприпасов. Это была борьба между крупнейшими из когда-либо маневрирова-

ших армий, требовавшая величайшей логистической организации снабжения из тех, что когда-либо существовали.

Военная власть обладает собственными технологиями, социальной организацией и логикой развития, но эта логика не похожа ни на одну другую, поскольку на войне ничто не является неизбежным. Военная власть по природе своей характеризуется элементом случайности. Пойди все по плану на Западном фронте, Германия быстро выиграла бы войну, и она действительно могла это сделать. Немецкое руководство рассчитывало на короткую войну и предполагало, что наступление восторжествует над обороной. Но все пошло иначе — восторжествовала оборона. Миллионы человек могли быть эффективно доставлены на железнодорожные станции, но при дальнейшем наступлении люди и лошади медленно плелись за грузовиками по забитым дорогам под артиллерийским огнем. Проблемы снабжения и координации сломили немцев. Бельгийцы подрывали железнодорожные пути, в Северной Франции не было дорог, к тому же германские грузовые автомобили постоянно ломались. Примечательно, что 1-я немецкая армия фон Клюка действительно в массовом порядке прибыла на реку Марну в августе точно в соответствии с планом. Она проходила 14,4 мили (чуть более 23 км) каждый день в течение трех недель в сопровождении 84 тыс. лошадей, которым требовалось 2 млн фунтов (около 900 тыс. кг) корма в день — примечательный военный подвиг. Однако армия добрались практически без артиллерии, не в состоянии сломить сопротивление французов. В течение последующего месяца в битве на реке Марне немецких солдат снова и снова отбрасывали назад французские силы Жоффра, в результате они понесли катастрофические потери — 250 тыс. убитых. Это дало время Британии перебросить свои силы во Францию. Затем последовала гонка до моря, поскольку обе стороны пытались обойти друг друга с фланга на Западном фронте. У моря в бельгийском городе Ипр в октябре — ноябре развернулось решающее сражение. Ипр был единственным крупным бельгийским городом, который по-прежнему занимали силы Антанты. Хотя это сражение уничтожило большую часть британских экспедиционных сил, оно также полностью остановило немецкое наступление. В Германии эту битву помнят как *Kindermort*, или смерть детей — новобранцев в резервных батальонах, составлявших большую часть немецких сил. Возможности для короткой войны исчезли со срывом немецкого наступления на двух участках Западного фронта.

Война продолжалась на Западном фронте, растянувшимся на 475 миль от шведской границы до Северного моря — 10 тыс. солдат на милю. Достаточно высокий уровень индустриализа-

ции означал, что немцы, британцы и французы могли держать миллионы мужчин в поле круглый год под ружьем накормленными, одетыми и без серьезных вспышек эпидемий, что было впервые в истории войн. Немцы явно обладали преимуществом в течение двух последующих лет, но даже они не знали, как захватить и удержать территорию, когда на поле боя господствовали артиллерия и пулеметы, тогда более подходявшие для обороны. Массы пехоты могли осуществлять первоначальные прорывы, хотя и ценой огромных потерь. Однако затем защитники могли гораздо быстрее подтянуть по железной дороге резервы к бреши, нежели атакующим удавалось в нее проникнуть. За этим следовала крупномасштабная контратака, перемещая линию фронта в ее изначальное положение, где соотношение снабжения начинало склоняться в противоположную сторону. Все главные участники вкладывали деньги в науку и технологию уничтожения людей и впоследствии получали современные подводные лодки, истребители, танки и снаряды. Самым смертоносным изобретением на поле боя стал артиллерийский снаряд, в основном осколочный, который был направлен не на стратегические коммуникации и технику (как во время Второй мировой войны), а на уничтожение вражеской пехоты. Со времен эры мушкетеров артиллерия, вероятно, стала причиной большинства человеческих жертв. Теперь количество жертв выросло до более чем двух третей (Collins, 2008: 58).

Это означало огромные потери при захвате небольших территорий. Фельдмаршал фон Фалькенхайн прежде советовал кайзеру вести переговоры о мире, но как командующий немецкими силами на Западном фронте он по иронии истории оказался втянутым в «войну на истощение», которая предполагала убить столько французов, сколько было возможно в окрестностях Вердена в феврале 1916 г. Это, по его мнению, могло принудить их сесть за стол переговоров. После десяти месяцев сражений французы потеряли 550 тыс., немцы — 434 тыс. убитыми, но Верден так и не был взят, а Франция так и не села за стол переговоров. Эта непреклонная, решительная оборона французов под лозунгом «*Les Boches ne passeront pas*» («Боши не пройдут»), сыграла ключевую роль в войне на Западном фронте. Она было полной противоположностью началу Второй мировой войны.

Затем отчасти для того, чтобы оттянуть ресурсы Германии из этого сектора, силы, состоящие на две трети из британцев и на одну треть из французов, контратаковали на линии фронта длиной 12 миль на реке Сомме. Силы Антанты одновременно атаковали в Галиции на Восточном фронте и в Италии. Операция на реке Сомме, длившаяся пять месяцев, стоила 1,1 млн убитыми. 1 июля (в первый день операции) британцы, несмотря

на выпущенные в сторону немцев 3 млн артиллерийских снарядов, понесли самые тяжелые однодневные потери — 57 тыс. человек, в том числе 19 тыс. убитыми. Это также были самые тяжелые однодневные потери из тех, что когда-либо несли армии в войнах, в том числе мировых, если, конечно, не верить цифрам, указанным в древних китайских анналах. К концу операции на реке Сомме британцы вернули свои территории. Они наступали три километра с потерями два человека на каждый сантиметр! Но их героизм имел большие последствия. Теперь высшее немецкое командование решило, что не сможет выиграть то, что они называли «войной машин» на суше, и обратилось к войне подводных лодок на море, что стало роковым решением.

На Восточном фронте было больше открытого пространства, меньше траншей и больше маневров. Немцы бросили туда треть своих сил и отбросили глубоко назад силы русских, то же удалось русским в сражениях против австрийцев и турок. Однако здесь местные коммуникационные системы были примитивными, затрудняя дальнейшее координируемое наступление и артиллерийский огонь. Австрийцы контратаковали, захватив русские территории. Количество жертв росло и на востоке, но здесь был достигнут решительный перелом. Военные силы России были ослаблены, разразилась революция, и большевики запросили мира (см. главу 6).

На Западном фронте боевые потери играли против Германии в долгосрочной перспективе. После того как наступление немцев было остановлено, Центральные державы все больше оказывались в количественно невыгодном положении в плане экономических ресурсов. Они уступали в соотношении два к одному в численности населения, ВВП, количестве военных кораблей и солдат. Внешняя торговля Центральных держав была задушена британской морской блокадой, и им все тяжелее было снабжать своих солдат и гражданское население. ВВП снижался, тогда как британский возрастал, а французский стал восстанавливаться начиная с конца 1915 г. На Западном фронте Германии противостояли Франция с более многочисленной армией и богатая Британия с большим количеством глобальных ресурсов, способная к эффективному налогообложению, занимающая деньги под более низкий процент и обеспечивающая сырьем (особенно углем) и финансовыми субсидиями своего французского союзника (Broadberry and Harrison 2005; Ferguson 1999: глава 5; Offer 1989). Как только это расхождение стало очевидным, ни одна страна уже не присоединилась к Центральным державам, чего нельзя сказать об Антанте. Как альянс Центральные державы были слабее Антанты и продолжали слабеть с каждым днем.

Германия компенсировала недостаток военной силы лучшей выучкой солдат (регулярной армии или резервистов), а также офицерами низшего звена, способными к принятию гибких решений в соответствии с конкретными условиями. Немецкая армия была более модернизированной, с большим количеством фронтовых войск, которые к тому же неизменно наносили большие потери противнику и захватывали больше пленных, чем враги. Фергюсон (Ferguson 1999: 300, 336) утверждает, что между августом 1914 г. и июнем 1918 г. каждый месяц немцы убивали или захватывали больше солдат Антанты, чем сами теряли. Он оценивает издержки Антанты на уничтожение одного вражеского солдата в 36,485 долл., в то время как издержки Центральных держав на уничтожение одного солдата Антанты составляли 11,345 долл. — впечатляющее различие. Ранее немецкий нокаутующий удар на Западном фронте был всегда возможен, тем не менее французам удавалось держать удар, а британцы смогли сформировать намного большие сухопутные силы, чем они когда-либо предполагали. Затем, поскольку координация и технологии французских и британских военных сил совершенствовались, немецкий нокаутующий удар становился менее вероятным. Немцы предприняли последнее яростное наступление на Западном фронте в начале 1918 г., и британское руководство стало беспокоиться, что решительный прорыв линии фронта становится возможным, тем не менее находившаяся в их распоряжении экономическая власть постепенно стала превосходить военную власть Германии и предотвратила ее победу.

Тупиковому положению также способствовало то, что ни одна из двух великих держав не могла нанести другой решающий удар: Британия (даже вместе с Францией) не могла победить немецкую армию на Западном фронте, а за пределами Европы ресурсы Британской империи были слишком большими, чтобы потерпеть поражение от немцев. Первый морской лорд адмирал Фишер рассматривал британскую морскую блокаду Германии как часть «федерации всех англоговорящих стран». Оффер (Offer 1989) согласен с ним: «Основным активом британской безопасности были узы и ресурсы англоговорящего мира». Это было верно, за исключением множества британских колониальных военных, не говоривших на английском. Колонии и белые доминионы практически удваивали экономические ресурсы Британии и обеспечивали 50% численного состава ее армии.

Королевский флот был острием британского меча. Вопреки своей удачной военной вылазке в Северное море во время Ютландского сражения в мае 1916 г. германский Флот открытого моря возвратился на свои базы до конца войны. В бельгийских портах действительно были немецкие корабли, как в британ-

ских кошмарах, но они были зажаты там Дуврским патрулем, и Германия не могла вырваться с континента. Подводные лодки были эффективным немецким ответом на недостаток военно-морской мощи Германии — другой немецкой ставкой на короткую войну в стремлении уничтожить британские эсминцы и торговые суда, но это не было слишком эффективным, а в долгосрочной перспективе привело к ответной реакции. У подводной лодки было только два выбора: либо потопить торговый корабль, либо позволить ему пройти. Субмарина не могла подняться на поверхность, чтобы установить национальную принадлежность корабля или его груз, без того чтобы потерять свое главное преимущество — невидимость. Поэтому немецкие подводные лодки пускали на дно корабли нейтральных стран, включая корабли Соединенных Штатов, — рискованное предприятие. Со своей стороны британцы подвергли Германию блокаде, зачистив большинство их колоний в Африке, в конечном итоге нанесли поражение Османской империи на Ближнем Востоке в 1918 г. и обеспечили достаточной поддержкой и субсидиями французские силы на Западном фронте, что позволило им выдержать немецкие атаки. Однако это был предел британских возможностей. Для решающей победы потребовалось вступление в войну Соединенных Штатов.

Военные силы русских в конце концов были дезинтегрированы революцией, позволив Германии одержать победу на востоке и начать переправлять солдат на запад в конце 1917 г. К тому времени борьба немецких субмарин в сочетании с американскими глобальными амбициями заставила Соединенные Штаты вступить в войну. Германские войска продвинулись в ходе наступлений весной 1918 г., но, как обычно, чрезмерно растянули линию фронта, и силы Антанты вновь оттеснили их назад. Летом продвигались вперед силы Антанты, их новые танки и самолеты наносили потери германцам. С провалом последних отчаянных германских атак на реке Марне с 15 июля по 5 августа 1918 г. перед Германией предстала суровая реальность — во Францию прибыло более миллиона американских солдат, хотя с плохой выучкой и бездарным управлением. Вступление в войну Америки также принесло неограниченные финансовые кредиты ее союзникам. Вудро Вильсон боролся за президентский пост в США под лозунгом «Он уберет нас от войны!». Этот великий либерал довольно откровенно сказал Лансингу, своему государственному секретарю, что нейтралитет был критически важен, поскольку «белая цивилизация и ее доминирование по всему миру во многом покоились на нашей способности сохранить эту страну не затронутой войной». Однако сочетание его желания быть арбитром Европы с растуши-

ми экономическими связями его страны с Британией заставили его присоединиться к силам Антанты. Манипулируя угрозой подводной войны, он привел страну к вступлению в войну. Теперь немецкие генералы сказали своему начальству, что не могут продолжать сражаться.

Без вступления в войну Соединенных Штатов Германия, вероятно, продолжила бы сражаться и смогла бы выторговать себе в переговорах более равные условия мира — это было бы лучшим исходом для всего мира. Но со вступлением в войну Америки у Германии не было иной альтернативы, как капитулировать. Британцы и французы также считали, что им надо заключать мир, поскольку продолжение войны усилило бы американскую власть над ними. У этой войны могло быть два основных контрфактических исхода. Первый: Германия могла бы нанести свой нокаутирующий удар Франции, выгнать из Франции англичан и затем развернуться к России. Если бы все произошло именно так, британцы, вероятно, примирились бы с этим и признали доминирование Германии на континенте. Второй: если бы Германия не развязала подводную войну, то Америка не вступила бы в нее. В этом случае последнее слово было бы за мирным договором по результатам переговоров, когда и немцы, и французы, и британцы поняли бы, что одержать победу невозможно. В любом случае тогда, вероятно, удалось избежать прихода нацистов к власти, Второй мировой войны и др. Но поскольку ни один из этих контрфактических сценариев не был реализован, неравенство в экономической власти между двумя блоками обусловило финальный результат: ставка на короткую войну себя не оправдала.

ПОЧЕМУ СОЛДАТЫ СРАЖАЛИСЬ

Это была война, объявленная элитами, но сражались в ней массы. Как и почему солдаты и гражданские поддерживали подобную военную власть? Наибольшее воздействие война оказывала на солдат. Почему они воевали и продолжали воевать, даже когда рисковали жизнью?

В определенной степени в этой военной цивилизации это было рутинной. Постоянные войны между странами становятся нормальным положением дел, и для молодых людей нормальным было выполнять приказы и идти сражаться. Смесь из энтузиазма и рутинной дисциплины начала эту войну. Обученные резервисты, привыкшие к военной дисциплине, могли быстро пополнить ряды профессиональных армий. В первые два года войны их ряды пополнялись волонтерами — продуктом исход-

ного националистического военного энтузиазма. К началу 1915 г. количество немецких волонтеров выросло до 308 тыс. Первоначально британцы, не имея достаточного количества резервистов, практически полностью опирались на волонтеров, набирая столько, чтобы ими можно было управлять,—2,4 млн человек в первые 18 месяцев войны. Высокая безработица способствовала появлению первой волны волонтеров в самом начале войны, вторая волна пришла в начале сентября, когда стало очевидно, что война не будет просто прогулкой по парку (A. Gregory 2003: 79–80). Затем поток волонтеров стал иссякать, и повсеместно был объявлен обязательный призыв на службу. Британия отставала, объявив его только в 1916 г. Ни одна страна не испытывала трудностей с принудительным призывом, чтобы собрать необходимое количество солдат. Лишь немногие меньшинства шли на войну неохотно, такие как ирландские католики и франко-канадцы. Существовало пять причин конформности:

- (1) Молодых людей окружала милитаристская культура, которая представляла войны чем-то нормальным, почетным, героическим и славным. Истории, которые читали британским школьникам, рассказывали о славе империи и флота, к тому же герои, с которыми читатели могли себя идентифицировать, всегда оставались в живых, чтобы стяжать славу. 41% британских мальчиков были членами таких организаций, как «Бойскауты» и «Бригада мальчиков». Британии, как и Европе в целом, была привычна военная муштра.
- (2) Срабатывали авантюристические мотивы в форме желания сбежать от тяжести или скуки повседневного труда или жизни среднего класса и жажда приключений среди молодых мужчин. Они не рассматривали поиски приключений как чего-то смертоносного; в комиксах и книгах приключения смертоносными не были.
- (3) Рекруты записывались в армию, будучи уверенными в том, что это легитимная оборонительная война. Именно это они слышали от правительства, местных элит и массмедиа, к тому же у них не было альтернативных источников информации о зарубежных странах. Другие страны атаковали или «душили» их (немецкая версия происходящего), и Бог был на их стороне. После начала войны рекруты воспринимали ее как защиту цивилизации против варварства, чему способствовало разоблачение вражеских зверств. Немцы были в ярости от *francs tireurs* (франтирер, вольный стрелок) — французских и немецких партизан, убивавших их солдат вне поля боя, затем от британской блокады, которая морила их голодом. Немецкие зверства в Бельгии и Север-

ной Франции приводили в ярость британцев и французов. И хотя страх и пропаганда преувеличивали зверства, некоторые все же были реальными.

- (4) Сбор рекрутов был локальным. Волонтеры записывались в армию локальными единицами, например британскими «Приятельскими батальонами», и они были преданы людям, которых знали, и нотаблям, которым подчинялись. Их частично финансировали местные сообщества. Давление со стороны членов своего круга требовало записываться в армию и не быть уклонистами. Быть мужчиной считалось важным эмоциональным чувством, особенно в глазах женщин, подкреплявших его раздачей позорных белых перьев уклонистам. Это было локальное, а не национальное подкрепление.
- (5) Первоначально одним из факторов была постоянная зарплата: среди бедных этот фактор не терял своей силы и впоследствии, поскольку вскоре война принесла полную занятость (Silbey 2005: 81, 123; Winter 1986: 29–33).

Хотя некоторые из этих мотивов выражались в националистических категориях, их суть улавливалась в рядах рекрутов европейских армий на протяжении большей части предшествующего тысячелетия: милитаристская культура; якобы враги-варвары; давление местных сообществ, усиленное уважением к местной знати; маскулинность; авантюризм; постоянная зарплата; поощрение от социальных иерархий.

Сначала рекруты не были напуганы, поскольку ожидали быстрой победы. Однако война оказалась совсем не похожей на приключенческие истории. Смерть подстерегала тут и там, но редко в героических поединках. Смерть обычно наступала от дальнего артиллерийского огня. Было невыносимо пригибаться под его раскатами в траншеях или на прифронтовых территориях с практически непредсказуемой вероятностью быть убитым. Офицеры были убеждены, что этот опыт подорвал настрой большей части воюющих и что только около 10% солдат обладали «наступательным духом», чтобы вообще атаковать противника. Убивать было очень сложно всем, за исключением тех, кто обслуживал артиллерийские батареи (Bourke 1999: главы 2, 73). Тем не менее армии поддерживали свою сплоченность. На фронте тесная связь солдатских условий жизни и значительная общность опыта и взаимозависимость помогали усиливать командный дух. Человек, который был сам по себе, был мертвым человеком; его отряд был группой поддержки, иногда даже суррогатной семьей. Опять же имело место сочетание товарищества и иерархии — традиционный дуализм организа-

ции военной власти. К сожалению, по этой теме не было систематических исследований вплоть до Второй мировой войны и классической работы «Американский солдат», согласно которой большинство американских пехотинцев утверждали, что их первичная мотивация в бою проистекала из сильных эмоциональных связей, возникавших скорее в отряде, а не из более общей приверженности армии в целом или национальной идеологии (Stouffer et al. 1949)⁴. Также, вероятно, было и на Первой мировой, утверждают Смит, Одуан-Рузо и Бекер (Smith, Audoin-Rouzeau, and Becker 2003: 98–100), хотя они также установили факт некоторой национализации, происходившей в рядах французских солдат. Поскольку местные диалекты препятствовали коммуникации, появился общий «траншейный сленг». Армейская еда принуждала к общей «французской» диете людей, гастрономические пристрастия которых до этого были региональными. Французские солдаты усваивали больше французской национальной культуры по ходу войны.

Укрепление национальных «клеток», описанное в томе 2, означало, что солдаты обладали банальным чувством национальной идентичности, видели в себе прежде всего немцев, французов, британцев и т. д. Этого нельзя было сказать о «цветных» колониальных солдатах. Солдаты австралийского и новозеландского происхождения открыли для себя через конфликты со строгими британскими офицерами, что они не британцы. Практически все разделяли представление о том, что это оборонительная война, поэтому национальная идентичность превращалась в патриотическую оборону.

Это было особенно справедливо для французских солдат. Одуан-Рузо и Бекер (Audoin-Rouzeau & Becker 2002: глава 5) утверждают: большинство французских солдат верили, что сражаются за правое дело, защищают цивилизацию от варварства. Они верили в то, что Бог благословил их дело. Другие французские историки сомневаются, что идеологическая компонента была столь уж релевантной для солдатского опыта в траншеях. Моран предполагает, что к 1916 г. *poilus* («пулю» — дословно «волосатые», французские солдаты-фронтовики) забыли, почему они сражаются. Они сражались потому, что им было приказано, и потому, что это соответствовало дисциплинирующим иерархиям, к которым они привыкли: классу,

4. Как мы увидим в главе 14, это могло и не быть справедливым для всех армий Второй мировой войны. Несмотря на подобные заключения (под влиянием исследования «Американский солдат») Шилза и Яновица (Shils and Janowitz 1948) о немецком вермахте, более современные исследования говорят о том, что огромное количество немецких солдат были заметно мотивированы нацистской идеологией.

государству, школе и церкви (Maugin 1982: 599–637). Смит и соавторы (Smith et al. 2003: 101–12) обнаруживают французский патриотизм более приземленного, «банального» типа. Пуалю чувствовали, что обязаны изгнать «бошей» из Франции, к тому же они были в большинстве своем крестьянами и понимали, что для этого требуется рыть траншеи на каждом метре пути. Защита французской земли не была для них абстрактным понятием. Они также были убеждены, что защищают свои семьи и сообщества, создают «новую Францию» для своих детей. Они демонстрировали культурный традиционализм. В часы отдыха вырезали и изготавливали из дерева, металла и других материалов статуэтки и барельефы, «консервативные и традиционные идиомы, укорененные в довоенных обычаях». Пули и искоруженный металл превращались в распятия и скульптуры Пресвятого Сердца, ландшафты, они также рисовали обнаженных женщин, точь-в-точь как в газетах. Патриотизм больше выражался на практике и в дисциплине, установленной рутинизированными структурами власти, чем в абстрактной риторике.

Британские солдаты были ближе к модели Морана. Защита Британии была для них опосредованной, поскольку они сражались за рубежом. Их чувство британца включало долю патриотизма, но они также подчинялись приказам, потому что привыкли повиноваться вышестоящим. Они демонстрировали уважение к офицерам, если офицеры рассматривали свою власть как нечто нормальное и не проявляли снисходительности к ним (Bond 2002). Все это были по-прежнему иерархические общества, которые теперь подкреплялись строгой военной дисциплиной. В Австро-Венгрии, вероятно, было меньше всего народной приверженности режиму. К 1917 г. политически сознательные элементы среди национальных меньшинств знали, что им будет лучше в случае поражения, чем в случае победы, и тем не менее сражались практически до конца: было трудно поступить по-другому. Все иерархии были на своем месте, и люди делали то, что им говорили, потому что именно таким образом функционировал тогдашний мир.

Важным источником легитимности командных структур было то, что они не просили рядовых делать то, чего офицеры или по крайней мере присутствовавшие младшие офицеры не делали. Офицеры были примером для подражания, потери в их среде были выше, чем потери личного состава. В Британии нижние слои среднего класса, работавшие на коммерческих и канцелярских должностях, с большей вероятностью записывались добровольцами в армию, чем рабочие. Поскольку они обладали лучшим здоровьем и проходили медосмотр и потому подлежали отправке на фронт, у них было больше вероят-

ности погибнуть. Еще недавно оксфордские и кембриджские студенты, элита корпуса младших офицеров, обладали самой большой вероятностью погибнуть, то же касалось выпускников военной школы Сен-Сир и Эколь Нормаль Сьюпериер, смертность в возрастной категории которых доходила до 50% (Winter 1986; Smith et al., 2003: 69). Поскольку бойня продолжалась, всем армиям приходилось расширять свои офицерские корпуса в основном за счет повышения в чине рядовых. Опыт боевых действий все более нивелировал классовые различия, укрепляя товарищеский дух. Основным неравенством было неравенство между выходцами из села и из города: промышленные рабочие, особенно высококвалифицированные, часто имели бронь, и у них было меньше вероятности быть призванными на службу в армию и быть убитыми, чем у крестьян и сельскохозяйственных рабочих, семьи которых могли работать на фермах, пока их мужчины воевали. Это неравенство было особенно возмутительным в сельских областях, подрывая потенциальный послевоенный классовый союз между рабочими и крестьянами. В этом отношении проявления потенциального классового недовольства были предотвращены. Позднее все это подпитывало фашизм.

Естественно, мотивации солдат различались: Большинство старалось просто не лезть на рожон, одни были ультрапатриотами, другие бессознательно ненавидели врага, немногие оставались возбуждены бурлящими маскулинными приключениями, а некоторым просто нравилось убивать людей (Ferguson 1999: 357–366; Bourke 1999). Однако мечты о славе в траншеях долго не живут. После войны солдаты неохотно говорили о своем военном опыте, понимая, что их поведение, иногда жестокое, иногда трусливое, но чаще осторожное, не соответствовало предполагаемым воинским идеалам. Впрочем, однозначный ответ не возможен, кроме того, исследователи насилия в целом расходятся во мнениях: некоторые убеждены, что люди не склонны к насилию, особенно к убийству себе подобных, и очень неискусны в нем (Collins 2008); другие считают, что люди обожают насилие. Каковы бы ни были естественные человеческие диспозиции, человеческие общества развили сложные социальные организации и механизмы легитимации, которые делают массовые убийства намного проще (Malesevic 2010), особенно в традиционной воинственной Европе.

На фронте было больше конформности, чем энтузиазма. Смерть или ранение представляли собой серьезные риски; более половины французских солдат получали ранение дважды или более того. Большинство людей периодически испытывали ужас и продолжительное время были эмоционально травмированы. Алкоголь и табак помогали, хотя психиатрическая меди-

цина была рудиментарной и никаких реальных диагнозов страдающим солдатам не ставила. Британцам и американцам ставили диагноз «контузия», французам — *commotion* (коммоция, шок, контузия) или *obusite* (утрата ощущений) (Audoin-Rouzeau and Becker 2002: 25), но военное и медицинское командование часто предполагало, что это был всего лишь повод для уклонения. Во время Второй мировой войны считалось, что «боевое истощение» делает большинство американских солдат неэффективными после 140–180 дней, и каждый десятый американский солдат был госпитализирован по причине психических нарушений. Во время Великой войны (Первой мировой) солдаты постоянно служили больше положенного срока. Киган утверждает, что эта война продемонстрировала психологический порог, после которого солдаты неохотно участвовали в дальнейшем наступлении, и все основные армии достигли его к лету 1918 г., за исключением недавно прибывших американцев, которые поэтому смогли решить дело (Keegan 1978: 335; 1999: 331, 338, 348–350, 401). Демонстрация национализма или патриотизма дурно выглядела в таких условиях и солдатами не поощрялась.

Большинство баварцев сельского происхождения, исследуемые Циманном (Ziemann 2007), служили в довольно тихих местах. Из их писем домой можно заключить, что они неохотно воюют, не являются националистами, выступают за мир начиная с 1917 г. и т. д. Классовое сознание было сильно, поскольку солдаты видели в своих офицерах заносчивых, высокомерных прусаков. Их ставили на место суровой дисциплиной, смягчаемой привилегией возвращения к своим семьям во время сезонных работ.

Несмотря на ужасы траншей, дисциплина и дух товарищества означали подчинение приказам. Сдача врагу была опасной, поскольку его ответ был непредсказуем. В разгар битвы многие из тех, кто бросал оружие, были убиты своими пленителями, специализированными «очистителями окопов», охваченными яростью, вызванной смертью их товарищей или опасаящимися, что сопрохождение пленников через ничейную территорию слишком опасно (Audoin-Rouzeau and Becker 2002: 40). Сдаваться врагу было безопаснее в большом количестве, но это происходило только в конце войны. Русские в массовом порядке сдавались в 1917 г., а с августа 1918 г. количество немцев, сдавшихся на Западном фронте, возросло почти в четыре раза (Ferguson 2006: 131).

Дезертирство было слишком рискованным: солдата могли схватить и тут же расстрелять. Уровень французского дезертирства составлял всего 1% (Maurin 1982: 522). Он был выше в Италии и России, но не рассматривался в качестве серьезной про-

блемы высшим командованием (Wildman 1980: 203–245; Fergus 1972). Вероятно, самый высокий уровень дезертирства был в османских армиях, где властям не хватало инфраструктур, чтобы изловить беглецов. Турецкие и курдские солдаты могли удрать, если дислоцировались неподалеку от своих домов, но на фронте залогом выживания видели нахождение в командных структурах, а не в выходе из них. Фронтовики снабжали едой, алкоголем и табаком лучше, чем гражданских. Зимой 1917/18 г. массовые собрания британских солдат протестовали по поводу того, что, хотя они рискуют жизнями ради своей страны, на родине их жен и детей не кормят досыта. Постепенно офицеры поняли, что боевой дух солдат выше, если солдаты отдыхали, имели свободное время и побывали в отпуске. Стабильная материальная рутина усиливала чувство верности своему соединению, которое развилось в большинстве армий. Это была единственная защитная оболочка, окружавшая солдата (Keegan 1978: 274–278, 314–317), настоящая «клетка» (заставившая меня осознать, что метафора клетки, которую я использую для национального государства, — это лишь ограниченная тенденция), внутри которой сытые животные чувствовали себя в большей безопасности, чем за ее пределами, и из которой они в любом случае не могли видеть, что происходит извне. Обследованные Мораном французские ветераны утверждали, что не знали практически ничего об общем ходе войны помимо того, что читали в газетах, привезенных из тыла (Maugin 1982: 581–597). Обследованные Миддлбруком (Middlebrook 1972) британские ветераны битвы на Сомме видели только на несколько ярдов в каждом направлении, а рассказы очевидцев сводились к описанию хаотичного, непонятного боя. Новые рекруты, поступавшие на фронт, были лучше информированы и более националистически настроены, поскольку пропаганду лучше вели в тылу, а не на фронте. Коммуникации и логистика солдат находились под контролем командующего состава. Именно поэтому, а не по причине независимой идеологической приверженности большинство солдат сражались до конца.

Поэтому, по крайней мере до последних недель войны, мятежей было немного. В британской, немецкой, османской и американской армиях их практически не было. Самый серьезный инцидент в британской армии произошел в тылу, в Этапле в Па-де-Кале и был непосредственно направлен не против генералов, а против жестокой военной полиции и унтер-офицеров. Австралийские солдаты стояли за себя, хотя некоторые их протесты были определены британскими офицерами как мятежи. Чуть более 3 тыс. британских солдат были приговорены к смерти за дезертирство, трусость, мятежи и другие преступ-

ления, хотя в исполнение было приведено лишь 346 приговоров. Тем не менее эта цифра была больше общего количества смертных приговоров, приведенных в исполнение французами, и в семь раз больше немецких цифр, итальянцы расстреляли в два раза больше (Ferguson 1999: 346). Все это небольшие цифры, учитывая размеры армий.

Значительно более серьезными выглядели крупные французские мятежи июня — декабря 1917 г. Они привлекли к себе заметное внимание, кульминацией чего стал выразительный аллегорический роман Уильяма Фолкнера «Притча» (1954; из научных работ см. Pedroncini 1967; Smith et al. 2003: 117–131). От 25 до 40 тыс. солдат в ходе волнообразного движения на одном из участков фронта отказались подчиняться приказам, воплощавшим агрессивную пехотную стратегию маршала Нивеля. В апреле 1917 г. он отдал приказ об интенсивной концентрации артиллерии в узком коридоре, печально известном Шмен де Дам, целью которого было осуществление (оказавшееся провальным) прорыва немецкого фронта атакой пехоты. В действительности все это привело к ужасным потерям французской стороны. В течение нескольких недель пулюю отказывались выступать против немецких линий, требуя улучшения питания, крова и мира (но не капитуляции). Они не нападали на своих офицеров, не отдали врагу ни пяди земли и говорили, что, если немцы снова атакуют, они дадут им отпор. Практически никакая революционная пропаганда не велась в рядах мятежных полков, к тому же они были изолированы от левых активистов в тылу. Даже коммуникация между мятежными отрядами была слабой. Это была в большей мере волна «диких» забастовок, чем мятеж.

По иронии эти волны военных мятежей произошли вскоре после того, как генерал Нивель был заменен Петеном, который в отличие от своего предшественника был убежден, что лобовые атаки чреваты слишком большими потерями. Потерям человеческих жизней он предпочел потери машин, а также улучшил условия солдатского быта. Как и Петен, солдаты хотели перемен в политике и не рассматривали себя в качестве вышедших за рамки легитимных каналов протеста. Смит с соавторами полагает, что они были частью сдвига влево французских военных усилий, олицетворением которого в столице стал приход к власти Клемансо, а на фронте — замена стратегии Нивеля *grignotage* (гринотаж — «наступление путем вгрызания») стратегией Петена *tenir* («удержания позиций»). Петен действительно удовлетворил жалобы солдат, хотя 49 зачинщиков все-таки были расстреляны в назидание будущим мятежникам (Pedroncini 1967: 194, 215). Несмотря на подобные инциденты и огромные

потери, французские армии выстояли. К концу войны они были в лучшей форме, чем раньше, вероятно, даже в лучшей форме, чем немцы.

После битвы при Капоретто итальянские солдаты беспорядочно бежали от наступающих австрийцев, но это был военный разгром, результат некомпетентной и дезинтегрированной командной структуры. Итальянская армия была наиболее слабой. Она ожидала легкой добычи в результате неминуемого краха Австро-Венгрии, но, даже находясь в упадке, Габсбурги возглавляли профессиональную армию. Как и во Франции, назначение более компетентного и осторожного командования решило итальянские проблемы и вернуло большинство «откомандированных» солдат под итальянские знамена. Османские солдаты пережили два разгрома: первый, когда их главнокомандующий Энвер-паша слишком опрометчиво повел их в лобовую атаку на укрепленные позиции русских в самом начале войны, в 1914 г.; второй — в битве при Мегиддо в Палестине в сентябре 1918 г., в которой британцы одержали победу. Периодически, несмотря на условия, которые были хуже, чем у других армий, итальянские солдаты перегруппировывались и продолжали яростно сражаться, вызывая уважение своих врагов.

По мере развития войны возможности Австро-Венгрии оказывать сопротивление России ослабевали. Они были полностью истощены еще до Брусиловского прорыва в 1916 г., и немцам пришлось прийти на помощь Австро-Венгрии. Теперь австрийцы сражались самостоятельно только против итальянских и балканских врагов — революция в России дала им отсрочку. Тем не менее слабость объяснялась в основном плохой организацией и оснащением. Высшее командование испытывало трудности с примитивными коммуникациями, сражаясь в войне на два фронта (лишь Германии удалось умело с этим справиться), к тому же австрийский офицерский корпус вскоре был истреблен, сражаясь с центробежными тенденциями мультинациональной, многоязычной империи. Венгры в большинстве своем принимали участие в собственной войне независимо от высшего австрийского командования. В ключевых австрийских и венгерских полках мятежи были редкими. Даже в полках, состоявших из национальных меньшинств, которые к 1917 г. уже выказывали отчетливое желание отвернуться от дуалистической монархии, имели место лишь несколько серьезных инцидентов начиная с мая 1918 г., которые по размаху не шли ни в какое сравнение с французскими мятежами (Zeman, 1961: 140–146, 218–219; Rothenberg, 1977: 78–84). Фалькенхайн и Людендорф укрепили полки, состоявшие из национальных меньшинств, либо соединив их с немецкими отрядами, либо приставив к ним не-

мецких офицеров и унтеров. Прусские сержант-майоры убеждали чехов, русинов, хорватов и прочих сражаться за Габсбургов до конца (Stone 1975: 254–255, 262–263, 272–273). Чешский легион был сформирован из военнопленных, захваченных русскими, для того чтобы сражаться против своих бывших господ, но за этим исключением многонациональная армия терпела неудачи скорее из-за слабости ее командной структуры и скудного обеспечения, чем из-за нежелания сражаться.

На флотах двух Центральных держав мятежи вспыхнули в 1918 г. Мятежи немцев были результатом недостатка сражений — их флот был зажат британцами в портах и вокруг них. Мятежники на австрийских военных судах в Которском заливе в феврале 1918 г. требовали улучшения условий и окончания войны. Там была кратковременная стычка, пока верные Габсбургам отряды не подавили мятежников. Было казнено четыре матроса, и с тех пор ничего подобного не случалось. Мятежи в немецкой и австрийской армиях в конце войны обычно происходили в тыловых подразделениях, а не на фронте (Carsten 1977: 21). Тем не менее ни одна страна из Центральных держав не испытывала по какой-либо причине трудностей с поиском тыловых солдат, готовых применить законы военного времени к гражданским, до тех пор пока не стало известно, что высшее командование больше не желает продолжать войну.

Затем все изменилось: теперь повседневные решения группам офицеров и рядовых приходилось принимать самостоятельно. Освобожденные от иерархических ограничений, они обрели индивидуальную и групповую свободу принятия решений. Будет ли и завтра сохраняться логистическая рутина доставки продовольствия и личного состава? Следует ли солдатам и дальше продолжать сидеть на том же месте безо всякого действия и тесниться в бараках и на позициях? Есть ли хоть какой-то смысл продолжать сражаться, когда сдача неизбежна? Большинство австрийских солдат решили не сражаться. Немецкая революция началась, когда моряки Кили отказались выходить в море против британцев. В целом офицеры, солдаты и моряки теперь больше обсуждали, что им следует делать. Результаты были различными: одни подчинялись приказам, другие поднимали мятеж, большинство смиренно сидело. Только первый исход обеспечивал бы сохранение существующего режима, так как начались бунты и для их подавления режимам нужны были солдаты. Поскольку развал командования означал обсуждение и выбор, за пределами самого офицерского корпуса не хватало рутинизированного подчинения. До тех пор пока армейские единицы участвовали в боевых действиях, командование лишь изредка допускало то, что мы можем представить

как взаимодействие в широких рядах солдатских масс [не опосредованное унтер-офицерами].

Поражение Германии и Австро-Венгрии пришло совершенно внезапно. Когда весеннее наступление немцев и июньское наступление австрийцев захлебнулись, Людендорф понял, что его армии не смогут долго сопротивляться вновь прибывшим американцам. 14 августа он сообщил это двум монархам. Несколько недель спустя они запросили мира. Перемирие было подписано в начале ноября; в октябре новый император из династии Габсбургов Карл фактически отрекся от престола, когда наделил этнические меньшинства правом создавать свои государства. Как только в результате поражения организация режима распалась, солдаты и рабочие восстали. В самом конце войны подчинение и легитимность имели под собой скорее не идеологическую, а организационную основу, а теперь организационной дисциплине пришел конец. Я анализирую эти революции в главе 6.

ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА

К 1916 г. некоторые называли Первую мировую войну тотальной войной. Этот термин означает мобилизацию и таргетирование экономики и населения. Разумеется, это преувеличение, поскольку фронты были относительно неподвижными, бомбежек гражданских было немного и страдания были крайне неравномерно распределены между сражавшимися нациями. Тем не менее этот термин отражает то, что мобилизация затрагивала не только вооруженные силы и их логистику, но также большую часть экономической и общественной жизни. Этот тип войн стал возможен только благодаря промышленной, научно-технической экономике, координируемой современным государством. В первой главе тома 2 я отмечал, что в XIX в. усовершенствования в инфраструктурной логистике сделали возможной более централизованную организацию ресурсов власти. Западные государства ранее не пытались заполучить и часть этих потенциальных ресурсов (им бы этого и не позволили). Но теперь развертывание вооруженных до зубов миллионных армий и флотов, состоявших из сотен технологически сложных кораблей, требовало широкого государственного вмешательства в экономику. Правительства делали быстрые демографические подсчеты молодых людей, требовавшихся на замену павших жертвами войны, а также потребности в рабочей силе армии, промышленности и сельского хозяйства. Эти меры помогли им осознать нехватку рабочей силы, поскольку в начале войны они

все допустили ошибку, забирая слишком много промышленных рабочих в армию. Чтобы это компенсировать, они надеялись расширить предложение женского и детского труда, к тому же они рассчитывали, что женщины будут вести дела на фермах, пока их мужчины сражаются. Правительства также пытались контролировать зарплаты и цены, выступать посредниками между капиталом и трудом, а также планировать объемы выпуска оружия, текстиля, продуктов питания и прочих производимых товаров. Поскольку сражавшиеся государства не собирались переходить к переговорам, что в тот момент было бы разумно, они активизировали свои усилия, особенно в 1916 г., когда сменилась власть в нескольких странах. Приход к власти Ллойд Джорджа в Британии, Клемансо во Франции и генералов Гинденбурга и Людендорфа в Германии означал переход к тотальной войне. «Клетка» поймала в ловушку всех гражданских, а также военных, хотя и не в равной степени. Хотя и полуглобальная, Первая мировая война усилила национальные государства в более развитых частях мира.

Воздействие, оказанное на государства, было огромным. Резкое увеличение доли ВВП, расходуемой на военные цели, напоминало паттерн I, который я описал в томах 1 и 2 и который существовал на протяжении всей писаной истории. В Первую мировую военные расходы взлетели до невиданных размеров — 59% ВВП в Германии, 54% во Франции и 37% в Британии в разгар войны (в 1917 или 1918 г.). Более отсталые державы не могли настолько увеличить военные расходы. Россия и Австро-Венгрия могли поднять их лишь до трети ВВП, Османская империя, вероятно, всего до одной пятой (Broadberry and Harrison 2005: 14–15). Большая часть производственной деятельности частных предприятий и в меньшей степени сельского хозяйства теперь была подчинена нуждам войны. Производственные комитеты, организованные государством, решали, какие товары производить в целом спектре различных отраслей. Тотальная война была государствоцентричной (state-centric).

Тем не менее экономики воюющих стран все еще были капиталистическими. В состав ключевых производственных комитетов всех стран, за исключением России, входили промышленники и финансисты наряду с министрами, государственными служащими и генералами. В Германии высшее командование формально заправляло в этих комитетах, но на практике генералы были вынуждены договариваться с промышленниками и часто не могли их контролировать (Feldman 1966). Британские министры и государственные служащие консультировались с бизнесом и не включали в свои ряды военных (Burk 1982). Во Франции министры, высшее военное командование и про-

мышленники участвовали в центральных организациях военного планирования, хотя за пределами Парижа бизнесмены пользовались большей автономией (Smith et al. 2003: 61–64). В Соединенных Штатах бизнесмены доминировали (Koistinen 1967), они также в большинстве своем доминировали в Италии (Sarti 1971: 10). Самодержавная Россия была исключением. Когда патриотически настроенные промышленники учредили добровольные военно-промышленные комитеты, их преимущественно игнорировали. Царский режим не желал делиться властью даже с капиталистами (Siegelbaum 1983: 118–119, 156–158; Gatrell 2005). Большинство бизнесменов обладали крепкой национальной идентичностью, поэтому они были крайне патриотично настроены и верили в военные усилия, к тому же их отношения с правительством были в целом вполне дружественными. Однако, поскольку бизнесмены обладали автономией распределять между собой заказы и инвестиции, результатом стали рост цен, ценовые сговоры и высокие прибыли. Так как государственный спрос был ненасытным, прибыли продолжали поступать — патриотизм способствовал бизнесу. Капитализм не был причиной войны, но он принял на себя командование ее экономической инфраструктурой.

В одних странах война была более тотальной, чем в других: Япония сражалась только в течение нескольких первых месяцев войны, Соединенные Штаты — только в течение последних пятнадцати. Обе страны получили прибыль от войны, экспортируя странам Антанты товары, которые те сами больше не производили. В 1914 г. Соединенные Штаты были в рецессии, но к 1918 г. их ВВП вырос на 13% (Rockoff 2005). Италия вступила в войну только в 1915 г., и ее Юг практически не пострадал. Если верить данным, итальянский ВВП вырос на 15% к 1918 г. (Galassi and Harrison 2005). Другой крайностью были Бельгия и части Украины и Белоруссии, которые были тоталитаризированы, заняты и безжалостно эксплуатировались немецкими армиями (Horne and Kramer 2001; Zuckerman 2004; Liulevicius 2000).

Участники войны также различались степенью, в которой их экономики удавалось адаптировать к войне. Британия была наиболее развитой среди участников в экономическом отношении, она также правила морями. Поэтому она оставалась самой свободной для торговли и осуществления международных финансовых транзакций. Как мы убедились в главе 2, ангlosаксы также управляли международной экономикой. Британское государственное координирование военной экономики носило весьма специальный характер: это был набор постепенных реакций на спрос и узкие места по мере их возникновения, поскольку адаптивность ее рыночной экономики сделала большую

часть тяжелой работы в ходе войны. Хотя британский народ действительно жертвовал собой ради войны, Британия не была атакована и рост ее ВВП составлял примерно 15% между 1914 и 1918 гг. (Broadberry and Howlett 2005). Поскольку в Британии также была полная занятость и правительство установило нормы адекватного продовольственного снабжения, это также отразилось на росте жизненных стандартов масс. Винтер (Winter 1986, 1997) подсчитал, что в военное время различия в ожидаемой продолжительности жизни между различными классами в Британии сократились, а общая ожидаемая продолжительность жизни выросла, несмотря на массовую гибель молодых мужчин во Фландрии. Что касалось остальных, то война вполне пошла им на пользу и перераспределение осуществлялось без необходимости в непосредственно перераспределительной политике.

Франция выигрывала от связи с Британией и Америкой, имея возможность занимать деньги и получать сырье из обеих стран. Британия и Франция также могли объединять свои соглашения о закупках у всего остального мира. У Франции была скорее децентрализованная капиталистическая экономика, что было преимуществом для подвергшейся вторжению страны и помогло оправиться от трудных 1914 и 1915 гг., включая потери производства на северных территориях, и восстановить экономику, избежав больших страданий. За пределами Парижа все промышленники, возглавляемые крупнейшей фирмой в каждой отрасли, получили свободу организовывать собственное производство вооружений и получать прибыли. Однако, поскольку их производство росло огромными темпами и обеспечивало полную занятость, а во французском сельском хозяйстве за пределами севера дела также обстояли вполне хорошо, большинство французских граждан не сильно страдали во время войны (Godfrey 1987; Hautcoeur 2005; Smith et al. 2003: 60–68). Таким образом две трети изначальной Антанты преодолели трудности тотальной войны.

С Россией и Центральными державами все было иначе. Война тотализировала их экономики. Германия направила на военные нужды больше своей экономики, чем любая другая страна, и более последовательно наделяла своих военных привилегиями над гражданскими. Она также страдала под воздействием эффективной британской блокады, изолировавшей ее от международной торговли. Несмотря на разграбление ресурсов завоеванных восточноевропейских регионов или того, что оставалось после отступления русских, опустошивших сельскую местность, ее национальный доход в ходе войны сократился на одну треть. К 1918 г. производство угля составляло

83%, производство железа и стали — 53% от того, что производилось в 1913 г. Для бедной части горожан основной проблемой было достать еду. Хотя в Германии была развита промышленность, ее сельское хозяйство оставалось разделенным между крупными поместьями и мелкими крестьянскими хозяйствами. Землевладельцев или крестьян было трудно заставить продавать излишки по ценам, доступным для городских рабочих или нижних слоев средних классов, а не с большей прибылью на черном рынке, который в Германии стал очень большим, чего нельзя было сказать о Британии или Франции. В Берлине, особенно если учесть черный рынок, инфляция галопировала, чего не было ни в Лондоне, ни в Париже (Manning 1997: 258–260; Ritschl 2005). Положение Австро-Венгрии было еще хуже: она также была подвергнута блокаде, ее промышленность была меньше и координация между провинциями слабее. Производство упало, сельскохозяйственные регионы прятали продовольствие, горожане голодали. Хотя государство начало войну, расходуя более 30% ВВП, разрушавшаяся экономика означала, что правительство способно извлекать из нее все меньше и меньше средств (Schultze 2005).

Оттоманы управляли аграрной экономикой, к тому же им не хватало инфраструктурной власти, чтобы извлекать больше ресурсов. Они могли финансировать войну лишь ценой огромного дефицита (Ramuk 2005) и захватывая активы вырезанного армянского населения. Эта отсталая империя не могла действительно вести тотальную войну, за исключением геноцида армян (Mann 2005: главы 4–5). Но, сопротивляясь всем попыткам Антанты захватить Дарданеллы, которые контролировали доступ в Черное море, они обеспечивали блокаду России, которая препятствовала круглогодичным поставкам снаряжения от союзников. Это накладывалось на экономические бедствия России, вызванные заметными потерями территории, сокрытием продуктов крестьянами и хроническими транспортными проблемами, которые я детально анализирую в следующей главе. Как мы увидим, размах российского кризиса был больше, чем в других странах.

Некоторые исследователи утверждают, что демократия лучше справлялась с тотальной войной. Фельдман (Feldman 1966) считает, что, хотя немецкая военная машина была эффективнее, ее авторитарное правительство было некомпетентно: демократии были лучше в том, что касалось организации промышленности и прочих ресурсов между солдатами и гражданами. Найберг (Neiberg 2005: 7) соглашается, утверждая, что Британия, Франция и Соединенные Штаты одержали победу в войне, потому

что они «меньше зависели от власти устаревших монархических систем» (ср. Winter 1997: 10–11, Offer 1989). Другие исследователи не согласны с этим: Фергюсон (Ferguson 1999: 257–281) проницательно замечает, что, если бы Антанта, располагающая намного большими ресурсами, была более эффективной, война была бы закончена гораздо быстрее. И у Антанты, и у Центральных держав были большие промахи, например огромный, специально выстроенный, но бесполезный французский арсенал в Руане и британский дефицит снарядов. Адамсвейт (Adamthwaite 1995: 25ff) утверждает, что во французской дипломатии преобладали «путаница и неразбериха», французская налоговая система была неадекватной и финансовые методы — устаревшими. Рост реальных зарплат в Британии может свидетельствовать о неспособности перенаправить излишки обратно на военные цели. Некоторые рассматривали немецкую систему распределения продовольствия как создающую излишки, гниющие на военных складах, в то время как города недоедали, со слишком большим, недостаточно скоординированным аппаратом, неспособным достичь справедливого распределения товаров и услуг (Bonzon and Davis 1997; Winter 1997: 21–22). Другие тем не менее утверждают обратное: Аллен (Allen 2003) хвалит немецкую администрацию продовольственного снабжения. Он утверждает, что она заботилась о том, чтобы консультироваться с группами гражданского общества, включая социалистов. Вопреки недостаткам карточной системы большинство берлинцев предпочитали ее черному рынку. Так какая же сторона была эффективнее?

Дополнительные трудности для немцев и австрийцев создавала блокада, отсталость сельского хозяйства и война в неблагоприятных условиях, что вынудило поставить военных и военную промышленность над гражданскими и прочими отраслями промышленности. Правительству было практически невозможно с этим справиться и адекватно распределять продовольствие, пресечь рост черного рынка. Некомпетентность немецкого правительства проявилась прежде всего в объявлении войны, а не в ее ведении в трудные времена. Без более подробных сравнений мы не можем ранжировать страны по их эффективности, за исключением того факта, что Россия будет внизу, а Британия наверху, так как это были наименее и наиболее экономически развитые страны соответственно. Если демократия и играла какую-то роль в том, насколько эффективной была страна, то она была незначительной. Существенное влияние на различие оказывал уровень экономического развития. Неравенство экономических ресурсов между двумя сторонами, усугубившееся способностью Британии к военной блокаде Цен-

тральных держав, оказывало давление на военное руководство последних, с которым высшее командование Британии, Франции и Соединенных Штатов не сталкивалось. Величина экономических ресурсов обуславливала решающее различие в большей степени, чем демократия.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ: ПОДДЕРЖКА ВОЙНЫ

Мы не можем ничего однозначно утверждать об общественном мнении, поскольку не было ни национальных выборов, ни опросов, а лишь избыток цензуры. Если недовольство открыто выражалось, правительство его подавляло. В целом истеблишмент, большинство политических партий и групп давления демонстрировали лояльность и поддерживали войну. В самом начале имел место позитивный энтузиазм относительно войны, особенно среди средних и высших классов, но помимо него ощущались беспокойство и тревога. В Британии письма в газеты выражали смешанные чувства: валлийские авторы часто демонстрировали отсутствие энтузиазма, а многие английские корреспонденты говорили, что предпочли бы нейтралитет в этой войне. Они также выражали больше враждебности по отношению к России и Сербии, чем к Германии. Якобы «массовая» провоенная демонстрация в официальный выходной 3 августа накануне войны в действительности насчитывала всего лишь от 6 до 10 тыс. участников в практически семимиллионном городе. «Военный энтузиазм» в Британии в августе 1914 г. был всего лишь мифом (Gregory 2003). Мюллер (Mueller 2003: 66) утверждает, что британский и немецкий народы одновременно испытывали «страх и энтузиазм, панику и готовность к войне». Повсеместно война обычно рассматривалась как необходимое зло (Ferguson 1999: глава 7). Национализм имел место, но не превращался в ненависть к врагу или крайне агрессивный национализм.

Бекер (Becker 1985: 324) пишет, что у французского Union Sacrée («Священного единения») была узкая база: Франция была целью иностранной агрессии и нуждалась в защите; за пределами этого политика все еще сеяла разногласия. Различные политические течения давали собственные интерпретации войны. Социалисты, для которых ранее были характерны пацифистские тенденции, выкручивались, утверждая, что они воюют не против немецкого народа, а лишь против его реакционного политического руководства и класса капиталистов. Бекер (Becker 1977) изучил сочинения французских детей и обнаружил значительные региональные различия, а также большую под-

держку войны со стороны городских, чем со стороны сельских областей. Тем не менее народная поддержка выросла, когда началась война и президент Пуанкаре убедил массы, что Германия — агрессор. Затем за дело взялась пропаганда, по большей части осуществляемая через добровольный патриотизм и цензуру редакторов и журналистов, которые писали о сплошных военных успехах, расцвеченных героизмом. Со временем французская публика научилась расшифровывать реальный смысл таких слов, как: «Наши отважные молодые парни далеко не повержены. Они смеются, шутят и просят на передовую». Это означало поражение: при всех этих победах линия фронта никуда не сдвинулась! Но какова была альтернатива? Почти все хотели мира — левые, забастовщики и прочие периодически его требовали, но немецкое руководство не предлагало мира, а единственным элементом «Священного единения», который уцелел, была идея, что мир не должен быть заключен ценой поражения (Becker 1985: 325, цит. по с. 38).

Позднее многие немцы вспоминали «Августовское воодушевление» 1914 г. как момент сильной национальной солидарности, окончательно завершивший объединение Германии. Тем не менее Верей (Verhey 2000; ср. Ziemann 2007) демонстрирует, что оно также было мифом. В нем было больше правительственной пропаганды, те, кто действительно одобрял войну, могли свободно распространять свои взгляды, а диссиденты подвергались цензуре. Карнавальная атмосфера, царившая в городах, продлилась около шести недель и затем сошла на нет. Горожане были более воинственными, чем крестьяне; рабочие и крестьяне — более миролюбивыми, чем буржуазия и образованные слои. Реальный энтузиазм демонстрировали молодые мужчины из городских средних классов. То, каких благ немцы ожидали от этой войны, различалось в соответствии с их классовой принадлежностью и политическими позициями. Консерваторы надеялись, что война прекратит классовую борьбу и принесет патриотический подъем вокруг флага и режима. Либералы и социалисты надеялись, что война принесет больше прогрессивных выгод народу, особенно после того, как было осознано, что это тотальная война с огромными жертвами со стороны масс. Немцы надеялись, что подданные станут гражданами; французы — на новую Францию; британцы — на землю, достойную героев. Все они надеялись осуществить дальнейшие шаги на пути перехода от подданных к гражданам. Для правых в германской Социал-демократической партии и, возможно, большинства ее сторонников из рабочего класса объединение социализма и патриотизма не представляло сложностей. Социалисты центра выступали бы против войны, если бы не боялись, что

это даст правительству основания для подавления их партии. Лишь крайне левые выражали прямую оппозицию войне, хотя их депутаты по-прежнему голосовали за законы о финансировании войны. Было трудно противостоять войне, не занимая непопулярную позицию пораженчества, так как враг не стремился к миру. И только в России, Италии и Соединенных Штатах значительные социалистические группы действительно сохранили верность своим принципам и отвергли войну. Достойно сожаления, что практическая политика в целом восторжествовала над принципами.

Большинство людей одобрили призыв своих лидеров к оружию. Лишь немногие обладали международным опытом, который мог бы привести их к устойчивым альтернативным взглядам. В отсутствие последних защита маленькой Бельгии, демократия (Британии), республика (Франции), наше законное место под солнцем, наш духовный идеализм (Германии) или даже монархия (Австро-Венгрии) могли изначально многое оправдать. Росли негативные представления о врагах как о преступниках или чужаках. Французов представляли упадническими, материалистами и коррупционерами; немцев — чрезмерно следующими правилам и враждебными свободе; британцев — хищными капиталистами; русских — азиатами, коррупционерами, живущими под властью деспотизма с примитивной религией. Русская угроза была особенно действенна в Германии, поскольку она могла сплотить католиков и протестантов, либералов, социалистов и консерваторов; союз британцев с русскими рассматривался как предательство западной цивилизации (Hewitson 2004: глава 3; Nolan 2005: 2–6, 47–48; Mueller 2003; Verhey 2000: 118, 131). Национализм не был причиной этой войны, но агрессивный национализм стал ее последствием.

Одуан-Рузо и Бекер (Audoin-Rouzeau and Becker 2002: глава 5) отмечают, что эта война рассматривалась как «крестовый поход», «борьба между цивилизацией и варварством», повсеместно врага обвиняли в зверствах против гражданских, убийствах, изнасилованиях, нанесении увечий и депортациях. Количество жертв связывали не только с применением техники, но и с кровожадностью людей. Имели место расовые стереотипы врага: французские солдаты называли немцев вонючими и давали этому расовое объяснение; немцы осуждали расовое предательство британцев и французов, небелые колониальные войска которых в Европе обвинялись в каннибализме. Изабель Халл (I. Hull 2005) утверждает, что немецкие военные уже разработали «институциональную культуру» «войны на уничтожение», стремительную, решительную, безжалостную, неистовую в уничтожении противника, чтобы компенсировать недостаток

в численности и уязвимое положение борьбы на два фронта. Тем не менее русские и балканские армии, казалось, равно жестоко обращались с гражданскими, и все армии насиловали женщин и расстреливали пленных. Британская блокада может быть рассмотрена как проявление наибольшей жестокости: она продолжалась и после окончания войны, до июня 1919 г., и, по оценкам, унесла жизни более полумиллиона гражданских лиц.

Первая череда побед принесла больше энтузиазма Германии — над рабочими кварталами реяли флаги. Но военные туники рассеяли этот энтузиазм. Немцы, которые все еще поддерживали войну, от открытых демонстраций энтузиазма перешли к мрачной решимости просто продолжать воевать. После капитуляции Германии военные попытались переложить всю вину на гражданских, которые, как они утверждали, не смогли сохранить эту решимость и воткнули им нож в спину.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ: СТРАДАНИЕ И КЛАССОВЫЙ КОНФЛИКТ

По мере продолжения войны она причиняла все больше боли тем странам, для которых она была более тотальной. Самые серьезные проблемы были в Вене, поскольку Венгрия и прочие регионы перестали присылать продовольствие. Правительство могло установить контроль за продовольственными ценами, но крестьяне продавали продовольствие по более высоким ценам торговцам, которые использовали черный рынок для перепродажи его богатым. Очереди за продуктами были длинными и повсеместными. Поскольку нехватка продовольствия возрастала, то же происходило с отчаянием, черными рынками, преступностью и взаимными обвинениями со стороны соседей. «В этой войне главным врагом были не Россия, Франция или Британия, а собственные соседи и коллеги» — пишет Морин Хили (Maureen Healy 2004). Этническая напряженность в Вене усугублялась постепенным развалом основных служб. Росла сила этнических стереотипов: «наживающийся еврей», «чех-русофил», настраивая большую часть жителей Вены друг против друга. Молодые люди, которые не записались в армию, а остались в городах, подвергались нападкам как «евреи-уклонисты» или «чехи-заговорщики». Под давлением этого ослабевала даже семья. Авторитет отца перестал олицетворять мужественность или легитимизировать монархию; маскулинность существовала только на фронте. Сплачивать семью воедино приходилось женщинам, легитимность которых в качестве глав семей все еще отвергалась. Хили приходит к заключению, что венское обще-

ство разрушилось под этим давлением еще до того, как окончилась война.

В то время как британские мужчины ежедневно потребляли около 3400 калорий на протяжении войны, немецкие мужчины потребляли менее половины от этого количества, женщины — и того меньше. Белинда Девис (Davis 2000) описывает голодные протесты в Берлине с начала 1915 г., достигшие пика в октябре, когда разъяренные женщины штурмовали рынки ради картофельных очисток или кусочков хлеба. Британская блокада, массовый призыв, конфискация скота, ветхость транспортных и складских систем и неспособность регулировать цены внесли свою лепту в создание серьезных городских продовольственных кризисов. Британская блокада достигла своего пика в марте 1915 г.: прекращение импорта корма для скота и удобрий нанесло особенно серьезный ущерб немецкому сельскохозяйственному производству — по меньшей мере на 40% (Offer 1989). Начиная с 1916 г. смертность в Берлине достигла огромных размеров, вылившись в продолжительный демографический кризис, в отличие от Лондона и Парижа, видевших более кратковременные кризисы: Лондон — в 1915 г., Париж — в 1917 г. (Winter 1997: глава 16). Чтобы воспрепятствовать ему, немецкие власти из всех сил старались улучшить ситуацию с распределением продуктов питания. Кейт Аллен (Allen 2003) пишет, что впечатляющая армия муниципальных властей и волонтерских организаций обеспечивала обедами и осуществляла поставки хлеба в Берлин. Также имели место попытки увеличения государственных дотаций для семей в рамках программы «Помощь семьям» и попытки местных властей платить пособия по безработице (Daniel 1997: 176–181). Все это придавало режиму определенную степень легитимности.

Но по мере затягивания войны обстановка становилась все хуже. Пайки становились меньше: немецкий режим не мог убедить или принудить фермеров и торговцев продавать продукты питания по доступным, а не по высоким ценам на черном рынке. Это привело к инфляции и падению легитимности режима начиная с 1916 г. Полицейские отчеты особенно отмечали женщин из рабочего класса, выказывавших больше всего недовольства, поскольку их нелегко было наказать (например, отправив на фронт), к тому же они отвечали за решение трудной задачи — найти продукты, чтобы прокормить семью. Они организовывали множество демонстраций. Нехватка продовольствия препятствовала попыткам отправить больше женщин на работу в военную промышленность, так же как и консервативные установки немецких работодателей. Какой смысл получать маленькие зарплаты, если на них нельзя было ничего купить? Лучше

было направить усилия на незаконные методы получения продовольствия (Daniel 1997: 196). Результатом была нехватка трудовых ресурсов наряду с нехваткой продуктов питания. Рост недовольства приводил к тому, что власти были вынуждены увеличивать свои методы пропаганды и надзора. Недовольство не обязательно исходило слева. Имели место призывы к «продовольственной диктатуре» с полномочиями принуждать «внутренних врагов», таких как фермеры и торговцы, к более патриотичному поведению, и в этом вопросе между рабочими и крестьянами почти не было классовой солидарности (Moeller 1986). И немцы, и австрийцы артикулировали антисемитские стереотипы скрывавших продовольствие (K. Davis 2003: 132–5; Daniel 1997: 253). Популизм мог отклоняться и влево, и вправо.

Эти трудности вели к большей солидарности, по крайней мере среди городского населения. Страдания стирали классовые различия, когда нижние слои среднего класса испытывали нехватку продовольствия наряду с рабочими. Кейт Девис (Davis 2000: глава 3) пишет о большой симпатии средних классов к протестам «менее обеспеченных женщин». Джефффри Смит (Smith 2007) усматривает рост «бытового национализма», патриотического популизма, оппозиционного режиму Вильгельма, изначально возглавляемого средним классом, но затем объединившего немцев поверх классовых различий, разрушая статусный и классовый мир монархии. Национализм был способен к метаморфозам. Эта трансформировавшаяся идеология достигла определенного успеха с установлением диктатуры Гинденбурга и Людендорфа в конце 1916 г., отодвинув кайзера в сторону и заменив Бетмана-Гольвега на посту канцлера Михаэлисом, которому приписывают улучшение продовольственного снабжения. Это была попытка справиться с народным недовольством сверху, и она отчасти сработала. Популизм пока не сопротивлялся классовому правлению. Тем не менее Смит рассматривает Ноябрьскую революцию 1918 г. (выступающую одним из предметов следующей главы) не как разрыв, вызванный внезапным поражением в войне, а как постепенную интенсификацию этого растущего бытового национализма, хотя женщины ощутили этот разрыв, поскольку были политически активны во время войны, но маргинализированы, когда политические партии и союзы возвратили свои позиции в конце войны.

Зарплаты в военной промышленности позволяли хоть как-то выживать. Правительства сделали так, что различия в квалификации сократились и зарплаты женщин приблизились к мужским, поскольку они пошли работать в более тяжелые и лучше оплачиваемые отрасли промышленности, а зарплаты мужчин падали. Однако выживать почти везде стало труднее. Жилищ-

ный фонд ветшал под давлением беженцев из зон боевых действий и перехода в военную промышленность. Инфляция росла темпами, опережавшими рост зарплат, и жизненные стандарты населения в России и Центральных державах, упавшие в начале 1916 г., ускорили свое падение в 1917 г. из-за блокады. Во Франции полная занятость и сверхурочные обычно компенсировали снижение реальных зарплат, семьи солдат получали военные компенсации, в крестьянской экономике дела обстояли неплохо, поскольку цены росли. Французские капиталисты получали огромные прибыли, но и рабочим, и крестьянам удавалось как-то добиваться минимально необходимых жизненных стандартов. Бекер (Becker 1985) представляет французские официальные опросы, ясно показывающие, что гражданским удалось избежать реальных экономических невзгод. Обычным британцам жилось еще лучше, а американцы процветали благодаря полной занятости, национальной самодостаточности, экспорту товаров и кредитованию Антанты. Центральные державы пострадали, как только британская блокада стала эффективной. Россия пострадала, как только стала сказываться турецко-германская блокада и ее распределительная система оказалась перегруженной требованиями поставки продовольствия городам, сырья — промышленным центрам, солдат — на фронт и вывоза беженцев из зон войны (о Франции см. Smith et al. 2003; Gallie 1983: 231; о России см. Gatrell 2005; Ferro 1972: 19–22; Hasegawa 1981: 84–86; о Германии см. Moore 1978: 282–284; Feldman 1966: 472; Daniel 1997: глава 3; о Британии см. Routh 1980: 136–146; I. McLea, 1983: 168; о сравнении Германии, Британии и Соединенных Штатов см. Вру 1960: 191–214, 306–309; о сравнении Парижа, Лондона и Берлина см. Winter and Robert 1997).

Условия труда ухудшались, поскольку людям приходилось работать больше и дольше. Особенно тяжело было женщинам, пришедшим в промышленность и сельское хозяйство, чтобы заменить отправляющихся на фронт мужчин, выполнявшим помимо прочего работу по дому и бегавшим в поисках еды, в странах, находившихся в наихудшем положении. К тому же женщины знали, что их вышвырнут с промышленных предприятий, как только война закончится. Трудовая дисциплина становилась более авторитарной. Опираясь на министерства и военные власти, работодатели получали все большие силы принуждения. Меры чрезвычайного положения ограничивали законодательство о здравоохранении и безопасности, особенно для женщин и подростков. Свободы рынка труда и профсоюзов в основном были приостановлены. С иностранными рабочими, многочисленными в Германии и во Франции, плохо обращались.

Предметом больших споров является вопрос о том, усугубила ли война классовое неравенство в Германии. Кока (Коска 1984: глава 2) доказывал, что так в действительности и было, но его аргументы были оспорены Ритчлом (Ritschl 2005), который демонстрирует, что, хотя доля зарплат в ВВП сократилась в военной промышленности, она выросла в других отраслях. Поскольку существовала полная занятость, а рантье и те, кто жил на доходы от состояний, страдали из-за снижения стоимости акций и особенно облигаций, в целом в Германии и прочих странах неравенство сглаживалось (Manning 1997). Многие были уверены, что прибыли в промышленности и сельском хозяйстве были огромными в ущерб военным усилиям. Было введено нормирование, но оно воспринималось как несправедливое, когда системы распределения рушились и черные рынки для богатых процветали (Feldman 1966: 63–64, 157, 469–470, 480–484). Немецкие фермеры поднимали цены, отказывая городам в продовольственном снабжении. Поскольку война сильно ударила по жизненным стандартам и сократила количество потребляемых калорий, возможности работать продуктивно сократились. И действительно, лучшее здоровье рабочих стран Антанты должно было дать им преимущество в производительности в промышленности и потенциале ведения войны. В крупных городах некоторые немцы не могли раздобыть достаточно еды, а другие потребляли демонстративно. Этот опыт сблизил жизненные стандарты рабочих и нижних слоев средних классов. Казалось, что капитал и труд существовали как два поляризованных лагеря, как предсказывал «Манифест Коммунистической партии», но не подтверждало мирное время. Национализм, по-видимому, брал верх над классовым сознанием в 1914 и 1915 гг., но затем наступил период их непростого сосуществования. Недовольные группы, зачастую возглавляемые левыми, развили более популистскую версию национализма, вырывая его из рук высших классов. Это не была победа класса над нацией, это был захват нации от имени класса, направлявшего ее к более прогрессивным целям. Лишь в России подобный процесс проявился в полной мере, хотя в качестве тенденции мы можем зафиксировать его практически повсеместно.

Однако в Германии этот процесс в меньшей степени затрагивал сельскую местность, поскольку крестьяне смогли лучше приспособиться и даже извлечь прибыли из продовольственного дефицита. Классовые отношения были более открыто принудительными. Работодатели могли призывать государство для подавления проявлений несогласия по таким вопросам, как произвольные увольнения, переводы, понижение квалификации и плата за сверхурочные, смены, трудная и опасная работа

(крайне острые вопросы в военной промышленности). Правящий класс и государственная элита производили впечатление всемогущих, интегрированных. По окончании войны это могло ослабить способность капитала к организационному превосходству над рабочими и крестьянскими движениями, поскольку обе стороны были организованы на национальном уровне. До войны помимо организации на национальном уровне капитал также обладал внушительной транснациональной организацией. Война на время положила этому конец. Капитализм оказался запертым на территории государства.

Свой вклад в социальное недомогание внесли эмоциональные тяготы войны — нехватка продуктов питания, отсутствие разнообразия в потреблении и отдыхе, приостановки в жизненных проектах, отсутствие молодых мужчин. Тем не менее депривация, неравенство и принуждение не приводили к открытому классовому конфликту в течение войны, за исключением России. Больше проблем было в нейтральных странах, не испытывавших больших экономических трудностей, не видевших насильственной смерти и с небольшим уровнем эмоциональной неудовлетворенности. Уровень забастовок действительно стал расти в странах — участницах войны, о которых мы имеем данные, в последние два года войны, но он не шел ни в какое сравнение с довоенным уровнем и темпы роста не были столь же быстрыми, как в нейтральных странах, таких как Норвегия, Швеция и Испания (Meaker 1974: 30–39, 76–95, 141–145). Хотя депривация и послевоенная турбулентность были связаны между собой, связь всплеска беспорядков с изменениями стоимости жизни была неоднозначной, а революционным ядром оказались рабочие относительно преуспевавших отраслей промышленности, таких как металлургическая (Cronin 1983: 30; Feldman 1977; Meaker 1974: 38–39).

Однако объединившиеся партийные и профсоюзные лидеры не могли больше возглавлять массовые протесты. Они могли передавать жалобы через государственную администрацию, и им делали уступки, чтобы помочь укрепить их власть над рабочими. Таким образом, классовое инакомыслие, проявлявшееся через привычные каналы, было дезорганизовано и медленно искало новые организационные формы выражения, которыми могли воспользоваться рядовые члены профсоюзов. Что бы рабочие ни думали о войне, они шли на сотрудничество. Отказ от него был чреват официально организованным порицанием сообщества, а затем и репрессиями. Демонстрации и забастовки в поддержку жалоб, связанных с работой или дефицитом продуктов, были рискованными. Их организаторы часто были радикалами, но они хотели показать, что антивоенные и поли-

тические настроения спонтанно возникают в массах. Если бы обнаружилось, что они имели отношение к организации этих демонстраций или забастовок, то их бы арестовали, отправили на военную службу или судили.

Там, где профсоюзные лидеры квалифицированных работников (цеховщиков) были сильны, работодатели были вынуждены идти на примирения в цехах, особенно в металлообрабатывающей и военной отраслях промышленности. Они испытывали острую нехватку рабочей силы и отчаянную потребность в производстве: неорганизованные рабочие могли уйти к другому работодателю, а организованные могли исподволь противостоять им. Пока профсоюзные лидеры удерживали недовольство в рамках предприятия, примирение могло быть достигнуто при помощи военных или министерских властей. Когда этому сопротивлялись работодатели, правительство иногда пыталось на них надавить, хотя и без особого успеха (Коска 1984: глава 4). Если рабочие стремились сделать конфликт публичным, правительство могло их уволить, отправить в армию или судить за подстрекательство. Когда Карл Либкнехт, социалист левого крыла, в декабре 1914 г. проголосовал в рейхстаге против военных кредитов (он был единственным, кто так поступил) он был призван в армию и отправлен на фронт. Британские профсоюзы были сильнее. Когда Ллойд Джордж попытался справиться с нехваткой рабочих рук, направляя неквалифицированных рабочих на квалифицированные места, он с досадой комментировал: «На самом деле механизмы для внедрения неквалифицированных рабочих следовало создавать отдельно в каждом цеху, с согласия квалифицированных рабочих цеха». Уровень забастовок в военное время в Британии был намного выше, чем в Германии (Ritschl 2005: 55–57). Французские профсоюзы были слабее: они были исключены из переговоров властей и нанимателей почти до самого конца войны. Если квалифицированных работников возвращали с военной службы, потому что предприятие нуждалось в них, они оставались подчиненными военной дисциплине и работодатель мог отправить их обратно на фронт за неподчинение, что было немислимо в Британии. Затем условия во Франции были улучшены, поскольку социалистический министр военной промышленности Альбер Тома сделал коллективные переговоры обязательными и установил минимальную ставку заработной платы. В России условия были еще суровее: рабочих, выражавших недовольство, часто запугивали отправкой в армию, что обычно и происходило в случае забастовок. Повсеместно в цехах рядовые рабочие тихо расширяли свою неформальную власть, даже если в конечном итоге она ограничивалась лидерами профсоюзов и социалистической

партии, а также правительственным контролем (Smith et. al. 2003; Godfrey 1987; Becker 1985: глава 17; Gallie 1983: 232–234; Pedersen 1993: глава 2, 84–86; Hasegawa 1981: 86–89; I. McLean 1983: 73–75, 83–85, 91, 120, 138; Feldman 1966: 116–137, 373–385, 396, 418–420; Broue 2005: 53).

Поскольку примерно с 1916 г. это уже была народная война, ее участники требовали и надеялись, что народные жертвы окупятся расширением политических и социальных прав граждан после ее окончания. Национализм стал прогрессивным. Война, по мнению участников, не была войной одного режима против другого, а войной всей нации, отстаивавшей свою безопасность и ценности. Самый крупный политический сдвиг произошел в Британии. Около 60% мужчин уже имели право голоса, но в марте 1917 г. все британские мужчины (но не женщины) получили такое право. В Германии и Австрии первый раз с социалистами консультировались по основным политическим вопросам, и в 1917 г. прусское классовое избирательное право было отменено, хотя осталось в других землях, и немецкий рейхстаг не получил полной суверенной власти. Определенный монархический деспотизм оставался. В экономике система нормирования, минимальный размер зарплат и регуляция цен были возможным дополнением к социальному гражданству в понимании Маршалла. Приход к власти Ллойд Джорджа и Клемансо и даже военных диктаторов в Германии представлялся имплицитным подтверждением этого сдвига.

Во время войны было обещано больше прав граждан, но они были туманными. Ллойд Джордж обещал «страну, достойную своих героев» после войны. Австро-венгерские националистические движения полагали, что получают больше самоуправления после войны в качестве компенсации за понесенные населением жертвы. Заморские народы империй также были полны гражданских устремлений. Определенные политические заверения со стороны британской политической системы получили арабы, которые восстали против Османской империи: им обещали собственное государство, если они встанут на сторону британских солдат против османов. Большинство из них согласилось. Увы, коварный Альбион всего лишь сделал их частью Британской империи. Индийское и другие развитые националистические движения в британской и французской империях ожидали больше самоуправления, хотя конкретных обещаний им никто не давал. И их опять обманули. Народные ожидания росли не по всему миру, но во многих его частях. Это было опасно для существующих режимов, особенно если они потерпели военное поражение. Поскольку у побежденных держав было не так много заморских колоний, лед тронулся в Ев-

ропе. Сначала разразились две русские революции — февральская и октябрьская 1917 г., вдохновив активистов по всему миру, и в январе 1918 г. казалось, что революция может распространиться и в остальной Европе. Я исследую это в главе 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕССМЫСЛЕННАЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Когда эта война наконец-то была закончена, три династические империи, которые начали войну, были разрушены, то же произошло и с Османской империей. Национальные государства, большинство из которых предоставляли больше прав гражданам, были установлены практически по всей Европе, но заморские империи остались. Британское и французское могущество были формально восстановлены, хотя им и был нанесен непоправимый урон, и лишь американцы и японцы хорошо нажились на этой войне. Соединенные Штаты из основного должника превратились в основного мирового банкира, ссудив солидные суммы всем европейским державам. Япония заполучила немецкие колонии на Дальнем Востоке — плацдармы для дальнейшей экспансии в Китай и по всему Тихому океану. Европа была глубоко расколота великой европейской войной, после того как ее политики допустили серию ужасных ошибок, за которые всему континенту пришлось еще долго расплачиваться. Теперь передовой фронт власти стал сдвигаться на другие континенты, поскольку в течение некоторого времени продолжался более мирный процесс глобализации. Чтобы понять, почему они развязали войну, нам необходимо вернуться во времени в ту культуру, в которой война рассматривалась как нечто нормальное и легитимное. В рамках этой культуры было принято считать, что государства обладают интересами выживания и безопасности, которые простые граждане мужского пола обязаны защищать даже ценой собственной жизни. Эта культура также обязывала подчиняться вышестоящим до самого конца вне зависимости от того, насколько тупыми они были. Такова была Европа 1914 г. Агрессивный национализм по большей части возник как последствие войны, а не как ее причины. Он трансформировался в популистский национализм, полный недовольства по поводу неравенства власти в ведении войны и стремившийся к ее окончанию. Война помогла массам выйти на сцену.

Это, разумеется, не была рациональная война, хотя она была развязана культурой и институтами милитаризма, которые изначально были рационалистическими и по-прежнему рассматривались в качестве таковых. Последовавшие затем

мирные договоры не были рационально ориентированы на то, чтобы достичь двух основных целей: сломить могущество Германии и тем не менее достичь прочного мирного урегулирования. Эта война долгое время рассматривалась в негативном свете, как бессмысленная, ведомая некомпетентными «львами, возглавляемыми ослами» — так Британия описывала своих военных. Современные историки пытаются реабилитировать репутацию политиков и генералов и утверждают, что для Британии и Франции война стоила того, чтобы в ней участвовать (Bond 2002). Я скептически отношусь к этому. Следует осудить политиков, включая британских и даже французских, за их нетерпеливую дипломатию, глупость, ввергшую Европу в войну, и затем, когда война зашла в тупик, за их неспособность вновь прибегнуть к дипломатии и заключить компромиссный мир. С их точки зрения, преследование комбинации стратегической безопасности и статуса (престижа, персонального и национального) могло и выглядеть рациональным, но это было жестокой глупостью. Их политику следует рассматривать как иррациональную и негуманную. Следует осудить генералов, которые продолжали приносить солдат в жертву своим хищным богам. Ни политики, ни генералы не были на линии фронта, не рисковали своими жизнями. В современных войнах элиты сражаются за свою честь руками других; наблюдать за милитаризмом, словно за спортивной игрой, — дело не хитрое. Из этой войны необходимо извлечь один принципиально важный урок: никогда не следует позволять, чтобы милитаристская культура этой цивилизации снова стала легитимной, чтобы вновь массовая резня не стала рассматриваться в качестве чего-то целесообразного или необходимого.

Редьярд Киплинг написал трогательное двустихие о смерти своего сына в битве при Лоосе в 1915 г., на следующий день после его восемнадцатилетия:

Коль спросят, почему погибли мы

Ответь им: из-за лжи отцов.

(Epitaphs of War 1914–1918, *The Years Between*, 1919)

Это до неприличия близко к правде. Отцам следовало быть более дальновидными. Война была запущена политиками, считающими войну, войну по умолчанию как основную форму дипломатии между государствами. Это была ахиллесова пята цивилизации с множеством акторов власти, которая вскоре сокрушила ее. Тем не менее у этой войны были и позитивные стороны: она ослабила власть старейших и высокопоставленных. Эта война велась, обеспечивалась и была выиграна ценой

жертв масс, которые в результате решительно вступили в борьбу за гражданство и власть в послевоенной Европе.

Результат этой войны (ее победители и побежденные) не был до конца случайным. Хотя первый год или два года войны могли принести другие результаты, становилось очевидным, что более многочисленные войска западного демократического капитализма одержат победу в большей мере благодаря своей силе, чем доблести. Даже если это была не вполне мировая или тотальная война, европейский милитаризм потряс основания европейского общества, вызвав его упадок, если не полный коллапс. Две величайшие европейские империи — Британия и Франция едва уцелели, и тем не менее война способствовала передаче власти в другие руки. Она разрушила деспотическую монархию на большей части европейского континента, хотя традиционные институты пытались делать вид, что особенно ничего не изменилось. Однако практически всему был брошен решительный вызов, поскольку массы, вышедшие на сцену, прислушивались к новым идеологиям, развившимся из войны и поствоенных страданий. Испытали ли массы победу или поражение, их участие и страдание отныне изменят мир и их собственные надежды на будущее, как мы уже видели в главе 2 на примере индийцев. Нигде это не было столь очевидно, как в России.

ГЛАВА 6

Интерпретация революции: этап 1, пролетарские революции 1917–1923 годов

ВСТУПЛЕНИЕ: ТЕОРИИ РЕВОЛЮЦИИ

НА ПЕРВЫЙ взгляд кажется, что в XX в. преобладали эволюционные изменения, поскольку на протяжении всего века имел место существенный материальный прогресс. Структуры власти, существовавшие в начале века, впоследствии получили глобальное распространение (капитализм, национальное государство и в меньшей степени демократия), но в то время этот процесс не выглядел таким уж эволюционным. Две революции, начатые большевиками и китайскими коммунистами, определили ход событий первой половины века. Они вдохновили дальнейшие революции и контрреволюции по всему миру, включая фашизм и стратегию выжженной земли, используемую Соединенными Штатами против повстанцев. Это был период конкурирующих между собой идеологий, распространявшихся по всему миру. В последней четверти века доминировали процесс свертывания этих революций и в большей или меньшей степени триумф одной идеологии.

Это были широкие тренды — транснациональные и даже глобальные. Их можно рассматривать в качестве *преувеличенного равновесия*, когда общие тенденции внезапно направлялись в другое русло войнами и революциями. К тому же с разрушением мультинациональных европейских империй эти тренды и разрывы были также частично заперты в «клетку» национальных государств, каждое из которых испытало войну и революцию (или реформы) различным образом в зависимости от баланса сил в них. Это требует «националистического» подхода, который работает с каждой из основных стран по отдельности, но также признает транснациональное распространение революционных и контрреволюционных волн по всему миру. В этой главе я рассмотрю распространение революционных и контрреволюционных волн из России в Центральную Европу. Я рассмотрю Китайскую революцию в главе 13, а волна, которую она породила,

будет проанализирована в томе 4, где также будет приведено мое результирующее объяснение современных революций.

Большинство определений революций сочетают переворот и в политических, и в социальных или экономических отношениях. Я расширю это понятие, определив революцию как народное повстанческое движение, осуществляющее радикальный и насильственный переворот по крайней мере в трех из четырех источников социальной власти. Иногда понятие «революция» определяется как трансформация исключительно в отношениях политической власти — так определяет его Тилли (Tilly 1993). Опираясь на это определение, он обнаруживает не менее 709 революций, произошедших в одной только Европе между 1492 и 1992 гг. Подавляющее большинство из них я называю политическими революциями, предпочитая ограничивать объем понятия «революция» меньшим количеством более радикальных трансформаций. Отметим, что до сих пор доминировали именно политические революции. В эпоху модерна они в основном принимали форму конституционных революций, разделяющих исполнительную и законодательную власть в соответствии с правилами, изложенными в конституциях или в общем праве. Эти политические революции происходили волнами, начиная с американской и французской революций, хотя в XIX в. они приобрели более реформистское социальное содержание. Последняя волна конституционных политических революций пришла прямо накануне Первой мировой войны, начиная с неудавшейся революции 1905 г. в России, за которой последовал захват власти в Османской империи младотурками в 1908 г., мексиканская революция 1910 г. и китайская революция 1911 г. Идеалы их были по большей части политическими, а не экономическими. Большевицкая революция фундаментальным образом это изменила, и волны, порожденные ею, определили ход событий всего оставшегося XX в.

Революции нелегко объяснять, поскольку они в определенной степени случайны и непредсказуемы. Когда толпы заполняют улицы и повстанцы вооружаются, результаты по сути являются открытыми. С очевидностью большую роль играют качество принимаемых решений и лидерство. Свирепые репрессии или разумные реформы могут пресечь мятеж в зародыше, а потому некоторые потенциально возможные революции некогда не привлекают к себе внимания. Городские революции в большинстве своем начинаются как исключительно политические, после чего иногда происходит их неустойчивая эскалация, хотя большинство политических революций не претерпевают дальнейшей эскалации. Сельские революции обычно имеют больше социального контента и раньше прибегают к насилию. Все это делает интерпретацию революций более сложной.

В XX в. марксизм доминировал и в революционной практике, и в революционной теории. В этом смысле он наряду с либеральным конституционализмом стал первой действительно глобальной идеологией. Приверженцы марксизма были убеждены, что его модели применимы для всего мира и в конечном итоге ведут к глобальному обществу. Его можно рассматривать в качестве секулярной формы религий спасения, и он давал своим adeptам идеологическую власть, сопоставимую с той, что давали религии спасения. Отмечая определенную степень случайности революционных беспорядков, марксисты давали им общее объяснение через их базовое понятие классовой борьбы. Марксисты рассматривали революции, начиная с гражданской войны в Англии и Французской революции, как борьбу между старыми феодальными классами и поднимающейся буржуазией. Первая, Февральская революция в России 1917 г. рассматривалась как кратковременный триумф буржуазии; большевистская, Октябрьская революция 1917 г. была победой рабочего класса; Китайская революция — победой крестьянства. Затем марксистская интерпретация дополнила эту базовую модель анализом прочих социальных групп, а также организации и лидерства по обе стороны баррикад. Баррингтон Мур (Moore 1967), испытавший явное влияние марксизма, разработал анализ в категориях отношений власти между социальными классами и государством. Марксистские теории революции рассматривают ее в долгосрочной перспективе как следствие крайне долгосрочных структурных тенденций. И все же основной вклад в марксистскую теорию революции был сделан такими революционерами, как Ленин, Троцкий, Мао и Че Гевара — они дополнили структурные причины краткосрочными тактиками.

Заключение Ленина о причинах революции в России может стать нашим исходным пунктом:

...для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда *«низы» не хотят старого* и когда *«верхи» не могут по-старому*, лишь тогда революция может победить (Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // В. И. Ленин Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы. 1969. Т. 41. С. 69–70).

Отметим этот равный акцент на обоих основных классах: низшем классе, изыскивающем пути опрокинуть старый порядок, и высшем классе, сопротивление которого слабеет. Чтобы совершить революцию, необходимы хотя бы эти два условия.

Вторая линия теории революции проистекает от структурного функционализма и подчеркивает социальную напряженность, разбалансировку и отсутствие консенсуса в качестве причин революции. Однако эти условия нелегко операционализировать, к тому же они распространены гораздо шире революций, которые достаточно редки. Это также проблема теорий, сфокусированных на относительной депривации, которую испытывают или диссидентствующие элиты, или массы. Достоинство модели «J-кривой» относительной депривации в том, что она эмпирически проверяема, поскольку предполагает, что революции происходят в период экономического спада, который следует за длительным периодом роста — притязания растут и затем резко падают, создавая недовольство. Тем не менее иногда это действительно происходит перед революциями, а иногда нет. Эта модель нуждается в натяжках, чтобы соответствовать кейсам России или Китая, двум основным революциям этого периода, поскольку экономический спад — это не самый лучший способ описания опустошения, царившего в этих двух странах вследствие войны, основанной на массовой мобилизации, к тому же весь процесс Китайской революции занял полных 20 лет. Эти теории полагают, что революции происходят, когда люди испытывают недовольство, тем не менее большинство людей приспосабливаются к эксплуатации, как бы ужасна она ни была, если чувствуют, что ничего не могут с ней поделать. Революции происходят, когда недовольные люди убеждены, что правящий режим ослаб до такой степени, что они могут его сменить. Вторая причина, приведенная Лениным, оказывает обратное влияние на первую.

Современные исследователи революций следуют за Лениным по крайней мере в том, что уделяют ключевое внимание ослаблению правящего режима, а также росту низовых повстанческих движений. Этот парадигмальный сдвиг начался с Теды Скочпол. Она объясняет Французскую, Русскую и Китайскую революции (1911 г.) в категориях геополитического давления на государства, взаимодействующего с классовыми конфликтами. Таким образом, полагает она, современные революции были вызваны: «(1) государственными организациями, подверженными административному и военному разрушению в момент, когда они испытывали усиливающееся давление со стороны более развитых зарубежных стран, и (2) аграрными социально-политическими структурами, которые способствовали широкому распространению крестьянских восстаний против землевладельцев» (Skocpol 1979: 154). Она рассматривает эти причины революции в качестве по отдельности необходимых и вместе достаточных. Когда присутствуют обе причи-

ны, результатом с необходимостью станет революция. Скочпол утверждает, что все три рассматриваемых ею государства воевали с большими издержками, проиграли войны, которые ослабили, разобили их и сделали уязвимыми. Теперь это считается общепринятым, но она утверждает, что повстанческое движение проистекает из конфликта аграрных классов, а именно из числа недовольных крестьян. Раскрытию этого служит исследование ею трех основных переменных: «степени и вида солидарности крестьянских сообществ... степени автономии крестьян от прямого рутинного надзора и контроля за ними со стороны землевладельцев и их управляющих... [и] ослабления насильственных санкций государства против крестьянских бунтов» (Skocpol 1979: 115, 154). Это верно, но разве не было других важных акторов? Буржуазии во Франции, пролетариата в России?

Другие исследователи расширили ее подход. Голдфранк (Goldfrank 1979: 148, 161) выделяет четыре необходимые и вместе достаточные причины революции. Две из них оказывают воздействие на правителей, две — на повстанцев: (1) толерантный или благоприятный мировой контекст, где иностранные державы не вмешиваются или помогают восставшим; (2) последующий политический кризис, парализующий административные и принудительные возможности государства; (3) широкие сельские восстания; (4) движения диссидентствующих элит в городском секторе. Три первых условия, взаимодействуя, создают революционную ситуацию; четвертое приводит к эффективной политической и социальной трансформации после того, как военное превосходство революционеров становится очевидным. Последняя фраза, по моему мнению, предполагает пятое необходимое условие — превосходство военной власти. Голдстоун (Goldstone 2001) выделяет три ключевых условия выживания режима: (1) обладает ли он ресурсами, необходимыми для того, чтобы эффективно или справедливо выполнять задачи, которых от него требуют; (2) объединены ли элиты, или они расколоты и поляризованы; (3) могут ли оппозиционные элиты объединиться с низовым протестом народных сил. Форан (Foran 2005), пишущий о революциях XX в., определяет пять условий, благоприятных для революции: (1) зависимое экономическое развитие; (2) экономический спад; (3) репрессивное, эксклюзивное и персоналистское государство; (4) сильная политическая культура оппозиции; (5) «мир-системная открытость».

Все перспективы пересекаются, усиливая политическую разобщенность старого режима, которая преимущественно является результатом внешнего геополитического давления. Со стороны повстанцев необходимо, чтобы и сельские, и городские народные классы хотели основательных перемен и могли объ-

единить свои усилия с оппозиционными элитами, которые возглавили бы движение. Некоторые исследователи оценивают роль государства выше прочих причин революции, утверждая, что высокорепрессивное государство с узкой базой (то есть расколотое на фракции), эксклюзивное или персоналистское либо патримониальное государство без сильных корней в гражданском обществе наиболее уязвимо для революций. Они утверждают, что если бы был значим только классовый конфликт, то рабочие и крестьяне атаковали бы капиталистов и землевладельцев, а не государство. Для политических результатов нужны политические причины (Goodwin 2001; ср. Goldstone 2004). Все эти подходы в чем-то верны.

Я не буду далеко от них отходить, хотя я формулирую причины в категориях четырех источников социальной власти, которые все способствуют или препятствуют революции. Я также отмечу, что государство, пытающееся справиться с повстанцами, может быть ослаблено двумя различными способами: оно может быть расколото на фракции и тем самым теряет способность выступать единым фронтом против восставших или может лишиться инфраструктурной власти и быть не в состоянии распространить свою волю на всю страну. Я также уделяю больше внимания военным причинам. В революционных волнах и попытках революций XX в. классовая борьба была важна, но также важна была идеологическая сплоченность оппонентов, мощь и положение существующего государства, а также баланс военной власти между данным государством и другими государствами и между соперничающими внутри страны движениями. Я подчеркиваю роль крестьян, рабочих и солдат: это были индустриализирующиеся страны, по меньшей мере половина населения которых (а иногда намного больше половины) была крестьянской, отсюда важность рабочих и крестьян. Война, основанная на массовой военной мобилизации, также оказывала основательное воздействие на возможность революции в XX в. Большинство революций (и все основные) произошло во время войн или их окончания, но, чтобы речь можно было вести о революции, власть должна была быть захвачена насильственно. Баланс военной или военизированной власти в обществе в конечном итоге определяет, удастся революция или нет, и даже то, воздержатся ли активисты от самого замысла революции.

Моя методология также несколько отличается от общепринятых моделей. Я следую за Фораном, сравнивая революции с «не-революциями», где попытка революции потерпела неудачу. Однако «националистический» компаративистский метод, рассматривающий каждую национальную революцию как

независимый случай и затем отыскивающий общие причинно-следственные факторы среди них, доминирует. У этого метода есть свои сильные стороны, но революции редко были независимыми событиями. Практически все современные революции возглавляли люди, бывшие марксистами, ориентированными на философию истории, которая, по их мнению, была применимой глобально. У них были утопические цели, но это не мешало им адаптировать или изменять теорию в свете собственного опыта. Имел место процесс обучения, ведущий к новым тактикам, совершенствовались и техники противодействия восстаниям. Революции взаимодействовали друг с другом в пространстве и во времени. Более того, компаративный метод слишком уравнилительный. Две революции были намного важнее всех других, вместе взятых: большевистская и китайская коммунистическая революции немедленно распространили волны дальнейших попыток революций в своих макрорегионах, а также оказали влияние на весь мир. Весьма вероятно, что без одной или обеих большинство других революций не произошло бы. Революционное время также не было линейным; революции прошли двумя волнами, инициированными указанными двумя революциями, они также происходили во время или вскоре после двух величайших войн столетия. Поэтому, чтобы понять революции XX в., необходимо сфокусироваться на двух величайших, значимость которых превосходит все остальные. Их необходимо исследовать во временном и пространственном контексте, а также уделить военной власти большую роль, чем это делали исследователи, кратко представленные выше в этой главе. В конце Первой мировой войны произошло распространение революции из России в Центральную Европу, тем не менее все прочие революции потерпели поражение. Ниже я постараюсь объяснить почему.

РЕФОРМА И РЕВОЛЮЦИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ключевой проблемой относительно развитых стран в первой половине XX в. было удовлетворение стремлений народных классов (крестьян, рабочих и низшего среднего класса) к полному гражданству в национальном государстве. Все это касалось трех типов прав гражданства Т.Х. Маршалла — персональных, политических и социальных, которые более подробно были рассмотрены в главе 9. Участие во всех этих правах могло быть получено путем революции, но это было скорее редкостью. Более распространенным было достижение гражданства через реформы, в ходе которых господствующие классы и эли-

ты принуждались к расширению избирательного права, признанию гражданских прав и профсоюзов и выделению средств для обеспечения гарантированных жизненных стандартов для всех в рамках реформированного капитализма. Нормой были реформы, а не революция, как мы увидим в главе 9.

По какому пути пошло развитие незадолго до Первой мировой войны? Поскольку я более подробно анализирую это в главах 17–20 тома 2, здесь я лишь кратко напомним основные положения. Вторая промышленная революция породила крупные корпорации и фабрики, особенно в сталелитейной, металлургической, химической промышленности и горном деле, а также рост урбанизации, бюрократизацию государства и увеличение численности армий. Рабочая сила была гомогенизирована в качестве наемных рабочих, а ее организационным авангардом были квалифицированные фабричные рабочие, живущие в рабочих кварталах городов (и более сельские общины шахтеров). Подчиненные более иерархическому контролю, чем был прежде, и возмущаясь им, эти рабочие восставали. Во всех промышленных странах профсоюзы проявляли активность. Но в том 2 я утверждаю (повторно в главе 3), что рабочие могли сформировать три различных типа движения: (1) классовые организации, которые стремились представлять интересы рабочих в целом и которые выступали под знаменами социализма или синдикализма; (2) секционные организации, которые представляли только определенный тип рабочих профессий (обычно квалифицированных); (3) сегментарные организации, организовывавшиеся на месте занятости работников, от которого они существенно зависели, поскольку их умения и навыки было нелегко реализовать где бы то ни было еще. Вторая промышленная революция концентрировала рабочую силу; наступление работодателей имело своей целью деквалификацию секционно организованных цеховщиков, вынуждая их пополнять ряды полуквалифицированных рабочих. Это приводило к росту профсоюзов на классовой основе, подразумевающей всплески забастовок, социализма и синдикализма незадолго до начала войны; брожение среди рабочих росло до войны (Silver 2003: 125–128).

Тем не менее это не была массовая угроза. К 1914 г. не было ни одного рабочего движения, организовавшего половину рабочей силы. В Австралии уровень юнионизации составлял 31%, в Британии и Дании — 23%, в Германии — 17%, прочие страны плелись в хвосте. Последними были Соединенные Штаты с их всего лишь 10%. В отраслях с большей концентрацией рабочих — металлургической, горной, химической и текстильной промышленности — профсоюзы были сильнее и росло классовое сознание. И все же во главе большинства профсоюзов стояли

ремесленники, секционализм которых по-прежнему оставался сильным. Новые крупные корпорации также требовали квалификации рабочих в зависимости от каждой фирмы или сектора, где менеджмент и рабочие обладали высокой степенью взаимозависимости. Это способствовало сегментарному юнионизму, организованному на уровне фирмы. Некоторые были профсоюзами компании (в Соединенных Штатах их презрительно называли «аффилированными профсоюзами» (*yellow-dog unions*)), но другие демонстрировали независимые синдикалистские тенденции. И секционные, и сегментарные профсоюзы имели свойство подрывать классовую солидарность среди рабочих, и на практике большинство рабочих движений содержало все три элемента. Я также утверждаю, что политическая эксклюзия преимущественно склоняла этот баланс к классовой организации и революционным настроениям. Если бы все рабочие были исключены из политического гражданства, это могло бы преодолеть секционные и сегментарные различия на пути формирования открытого классового движения, иногда подпитываемая революционные настроения, хотя их реальные повседневные практики могли быть более реформистскими.

Социалистические и лейбористские партии также повсеместно росли, за исключением Соединенных Штатов. Количество их голосов на выборах увеличивалось самыми быстрыми темпами как раз накануне войны. Социалистическая партия Германии (СДПГ) с легкостью стала лидером, став к 1912 г. крупнейшей единой партией, набравшей 35% голосов. Ни одна другая социалистическая или лейбористская партия не набирала более 25%. Поскольку у рабочих государство в основном ассоциировалось с репрессиями, они с недоверием относились к политической жизни страны. Тем не менее профсоюзы и социализм или анархо-синдикализм росли, вызывая все большее беспокойство старых режимов по всему миру, из которых наиболее бдительные начали разрабатывать стратегии помимо репрессий, чтобы отвлечь рабочих от экстремизма (см. главу 9).

Каждая страна объединяла эти тенденции различным образом. Как мы убедились в главе 3, Соединенные Штаты уже давно пользовались демократией для белых мужчин с политической эксклюзией, затрагивающей лишь афроамериканцев и женщин. Тем не менее политические элиты и господствующие классы почти не проводили экономических реформ, а работодатели и правительство чаще обращались к репрессиям, чем в других странах, за исключением царской России. Соединенные Штаты представляли собой странное сочетание демократии и репрессий, оставляя рабочих более недовольными, чем социалистическими. К тому моменту Великобри-

тания и ее бывшие белые колонии дали избирательное право большинству мужчин, и профсоюзы с лейбористскими партиями получили свободу для самоорганизации. Классовые организации существовали, но не особенно придерживались социализма. Англоговорящие страны предлагали различные варианты «либ-лаб» пути к реформам. Более социалистические разновидности этого пути обнаруживаются в Скандинавии и Нидерландах, Бельгии и Франции. Северо-Западная Европа уже представляла движущуюся в направлении реформизма либеральной демократии, свободных профсоюзов и первым реформам по созданию систем социального обеспечения. Испания и Италия были более смешанными: хотя у них были парламенты и выборы с широким избирательным правом для мужчин, они были коррумпированными и контролировались местными нотаблями. *Caciquismo* — испанский термин для обозначения этого коррупционного классового контроля, направленного сверху вниз; *trasformismo* — итальянский термин для обозначения способности исполнительной власти подкупать партии при формировании послушного кабинета министров. Рабочие могли создавать профсоюзы и партии, но их практическое исключение из политического гражданства подталкивало их влево к социализму и синдикализму. В некоторых регионах этих стран наблюдалось существенное аграрное недовольство. В них также была могущественная консервативная католическая церковь. Имели место определенные перспективы для революционных конфронтаций в обоих случаях.

Германия и Австро-Венгрия сохраняли более деспотические институты. У них были парламенты с универсальным избирательным правом для мужчин, но голоса обладали классовым весом, и император, а не парламент был носителем суверенной власти. Профсоюзы разрешались, но их свободы собрания и участия в забастовках были сведены к ритуальным формам, которые дисциплинировали рабочих без широкого применения насилия. Такая комбинация создавала большие социалистические партии, исключенные из участия в правительстве, якобы стремящиеся к революции, но умеренные в реальной практике. Более того, режим и многие местные власти спонсировали реформы по созданию систем социального благосостояния, чтобы предупредить социализм и разделить рабочий класс.

Наиболее экстремальным случаем была царская Россия. Несмотря на стремительную индустриализацию, которая создала крупнейшие в мире фабрики, режим отказывался идти на демократические или экономические реформы и даровал рабочим лишь немногие коллективные права. Полная эксклюзия предсказуемым образом конструировала революционное сознание

рабочих, крестьян и даже средних классов. Если минимальные реформы приводили к росту низовых требований, тут же следовали репрессии. Когда Россия потерпела поражение от Японии в войне 1905 г., произошла вспышка революционного насилия. И хотя она была подавлена, все выглядело так, что при последнем царе Россия движется в меньшей степени к реформам, чем к новой попытке революции.

Наконец, как отмечено в главе 19 тома 2, отношения аграрных классов различались в разных странах. К 1910 г. лишь Британия свела на нет свое аграрное население. Только в четырех странах (Британии, Бельгии, Австрии и Швейцарии) больше людей трудилось в промышленности, чем в сельском хозяйстве. В Соединенных Штатах 32% населения все еще было занято в сельском хозяйстве, в Германии — 37%, во Франции — 41%, а в России и Австро-Венгрии — чуть более 55% (Baigoch 1982: табл. А2). Это были действительно двойственные аграрно-индустриальные общества. Во Франции, Испании, Италии и Соединенных Штатах некоторые крестьянские регионы были радикальными, другие — консервативными; в Германии и Австро-Венгрии они склонялись к консерватизму. В России существовало больше аграрного недовольства, что продемонстрировала неудавшаяся революция 1905 г.

До войны Россия имела самый эксклюзивный режим и впоследствии пережила единственную успешную революцию; Германия и Австро-Венгрия, где были менее эксклюзивные режимы, впоследствии столкнулись с неудавшимися революциями; прочие страны с большей политической эксклюзивией отделались реформами. Рассуждая подобным образом, можно предположить, что война может и не являться причиной революций. Возможно, те же результаты были бы достигнуты даже без нее. Как мы видели в предыдущих главах, война не была результатом подобных классовых отношений — она скорее может быть приписана традиционному милитаризму европейских держав. Изменялись ли в результате войны классовые отношения, с очевидностью зависело от двух основных осей военного участия. Во-первых, некоторые страны участвовали в войне частично, например Япония и Соединенные Штаты. Вряд ли война сильно на них повлияла. Для России, Германии и Австрии война была тотальной. Во-вторых, в этой войне были победители и побежденные. Можно было ожидать, что победители легитимизируют существующие отношения власти и лишь проведут реформы, которых требовал принимавший участие в войне народ. Поражение в войне могло иметь противоположные делегитимизирующие последствия.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Россия была исключительной в двух смыслах: в ней произошла успешная революция, и, кроме того, революция вспыхнула во время войны, а не после нее. Революционные беспорядки среди рабочих, крестьян, солдат и городских масс начались в конце января 1917 г. и продлились весь год. Династия Романовых была свергнута в начале марта, и Временное правительство ненадолго пришло к власти в ходе вроде бы конституционной политической революции, которая также принесла с собой некоторые идеологические трансформации. Но при этом не произошло никаких экономических трансформаций, в то время как русская армия продолжала отчаянно сражаться с немцами. Затем в октябре большевики свергли Временное правительство. К концу 1921 г. большевики укрепили свою власть, отвергли конституционализм и осуществили трансформацию политических, экономических и идеологических отношений власти. Они заменили капитализм государственной собственностью, религию, монархизм, консерватизм и либерализм — официальной идеологией марксизма-ленинизма и деспотическую монархию — не конституционной социалистической демократией, а деспотией партии-государства. Осуществленная в результате восстания народных масс, это с очевидностью была революция. Она действительно осталась единственной завершенной революцией в истории западного капитализма.

Как уже было отмечено, Россия испытывала проблемы еще до Первой мировой войны. Реформисты иногда добивались уступок от двора Романовых — был учрежден парламент с ограниченным избирательным правом (Дума), установлены процедуры разрешения трудовых споров и т. п. Но всякий раз возрастающее народное давление, требующее больших уступок, тревожило консерваторов, которые в конечном итоге были хозяевами положения при дворе. Николай II действительно верил в свое божественное право на правление. Двор в большей степени руководствовался идеологией, чем инструментальной рациональностью того, как выжить через компромиссы. Результатом стали репрессии и отмена уступок. Это свидетельствовало о некотором расколе государства, однако, поскольку реакционеры всегда одерживали верх, а либералы и конституционалисты имели мало власти, это не было фатальным для относительной сплоченности режима. И все же эти колебания, окончившиеся репрессиями, вызывали нарастающее недовольство в народе — не настолько большое, чтобы удовлетворить двум условиям Ленина, но достаточное, для того чтобы волны демонстраций и за-

бастовок убедили придворных консерваторов ввергнуть Россию в войну в 1914 г. (помимо прочих причин) с целью захлестнуть недовольство приливной волной патриотизма.

Небольшие русские революционные партии первоначально имели мало влияния на народное движение, требовавшее конституционных реформ, а не революции. Ядро трех основных социалистических фракций: меньшевиков, большевиков и социалистов-революционеров, или эсеров, которые на самом деле были более умеренными, чем предполагало название партии, состояло из студентов, учителей и рабочих (или, что касается эсеров, крестьян), относительно хорошо образованных, настроенных на интеллектуальную деятельность, пытавшихся без особого успеха создать массовую базу. Ранняя теория Ленина о небольшой законспирированной авангардной партии на самом деле делала хорошую мину при плохой игре. Большевистская партия утверждала, что на начало 1917 г. в ее рядах состояло 23 тыс. человек; реальные цифры явно были намного меньше.

Я проанализировал биографии 68 большевиков, составлявших в 1917 г. верхушку партии, членов центральных комитетов партии и большевиков в Военно-революционном комитете Советов. У 61 из них известно происхождение родителей, у 19 родители были рабочими или крестьянами. Лишь двое из них были женщинами, одной из которых была жена Ленина — Крупская. Позднее к ним примкнули еще две, одна из них — жена Троцкого. Большевистская верхушка была хорошо образована: лишь девять окончили только начальную школу (из 66, об образовании которых есть сведения). Это была интеллигенция, которую влекли идеологии общего характера, но среди них было больше тех, кто бросил университеты или технические институты, чем окончил (19 к 17), — признак неудовлетворенности интеллектуальной ортодоксией. Из 66 большевиков, место работы которых было известно, 14 начинали как рабочие, 10 продвигались по карьерной лестнице среднего класса и 6 совмещали то или другое с революционной деятельностью. Остаются 36, то есть 55%, которые в зрелом возрасте были профессиональными революционерами и нигде не работали. Средний возраст всех 68 человек, когда они в первый раз оказались на учете в полиции, составлял всего 17 лет (ранжируясь от 13 до 27 лет). Их средний возраст к 1917 г., разумеется, был выше — 34 года. Как демонстрирует Рига (Riga 2009), при большей выборке большевистской верхушки непропорционально значительную долю составляли евреи или выходцы из российских национальных меньшинств с особыми основаниями отчуждения от русского общества. Это была *groupuscule* («группускула») маргиналов, двигавшихся в никуда. Преследование сделало их более спло-

ченными и приверженными долгосрочной философии истории, поскольку краткосрочные перспективы выглядели очень плохо. Их утопическое кредо освобождения могло быть реализовано только в случае развала России. Хотя большевики ожидали вспышки революционного кризиса в России, практически никто, включая Ленина, не ожидал, что он приведет к социалистической революции.

Затем как гром среди ясного неба разразилась война. Теперь русские пережили тот же всплеск народных чувств, что и жители прочих держав, но в ускоренном темпе. Патриотический энтузиазм вспыхнул, но едва пережил катастрофические поражения русских в Восточной Пруссии в первые месяцы войны. Польша уже была потеряна, а немцы все продолжали наступать (Jahn 1995). Потери русских были огромными — практически 4 млн убитыми к концу 1915 г. С началом войны забастовки исчезли, но лишь до волны забастовок в июле 1915 г., которая пришла намного раньше, чем в других странах — участницах войны. Репрессии подавили их. К. Мерфи (K. Murphy 2005: 225) отмечает, что на гигантских московских металлопрокатных заводах царской тайной полицией было арестовано намного больше рабочих, чем большевиками в 1920-х гг. Репрессии рассеяли революционных активистов, но не остановили рабочие беспорядки. Вторая волна забастовок пришлось на осень 1916 г. В ноябре 1916 г. умеренные депутаты Государственной Думы предупредили царя Николая о грядущей катастрофе, если он не перейдет к конституционному правлению. В ответ он распустил Думу и отложил выборы на год. Как и в случае его предшественника Людовика XVI, царское реакционное упрямство, вероятно, было необходимым условием того, что за ним последовало. В ответ на это в начале 1917 г. произошло полномасштабное восстание, в то время как русские армии по-прежнему были полностью вовлечены в войну.

Восстание началось с забастовочной волны в январе и феврале. Жизнь Санкт-Петербурга была остановлена забастовками, демонстрациями и хлебными бунтами. За ним последовала Москва. Женщины играли важную роль в крупных демонстрациях по случаю международного дня женщин, в хлебных бунтах и прочих демонстрациях. Толпы требовали хлеба, мира и реформ, осуждая царя. По всей видимости, у них не было общего лидера. Умеренные депутаты Думы теперь уже просили царя отречься, надеясь сменить его более реформистским представителем царской семьи. Он вновь проигнорировал их, и 25 февраля попросил командующего Санкт-Петербургским военным гарнизоном применить все необходимые силы для подавления восставших. Генерал постарался исполнить приказ, но его вой-

ска взбунтовались 27 февраля, а большинство солдат примкнули к демонстрантам. Затем мятеж распространился на Москву. С тех пор революционеры обзавелись оружием и на их сторону перешли солдаты. Император без солдат — голый император; это был конец для Николая.

Царское правительство подало в отставку 27 февраля и предложило установить военную диктатуру, но генералы отказались принять предложение, для которого в России не было исторических прецедентов. 2 марта двор, министры и высшее командование покинули царя, а на следующий день оставили попытки найти другого царя из семьи Романовых. Все было не так, как во Франции в 1789 г., где созрел долго закипавший фракционализм в государстве. Думским либералам ничего не оставалось делать, как только протестовать в устной форме. Эта политическая революция пришла внезапно, неожиданно снизу, хотя и создала возможность для умеренных либералов. Думское меньшинство объявило о формировании Временного правительства, которое возглавил князь Львов. По мере сдвига народных настроений влево эсер Керенский, центрист, сменил Львова на посту председателя правительства. Он обещал новые выборы на основе всеобщего избирательного права. Это была последняя попытка исключительно политической революции установить конституционное правительство.

В то же время были посажены семена последующей революции. Россия оставалась преимущественно аграрной экономикой, но ее промышленность была необыкновенно концентрированной и современной. Вокруг Москвы и Санкт-Петербурга (который теперь стал Петроградом) располагались гигантские фабрики и большая часть рабочего класса, как и в горнорудных районах. Это сформировало сильный рабочий класс в ключевых областях, мало зависевший от профсоюзов, поскольку на фоне репрессий они были неэффективны, но создававший множество неофициальных движений. Хозяева также были ослаблены, поскольку многие фабрики и шахты находились в собственности иностранцев. Как отмечал Троцкий (Trotsky 1957), два этих фактора создали необычайную степень классового конфликта в основных промышленных городских областях. К тому моменту рабочие создали Петроградский совет рабочих депутатов по модели рабочих Советов, созданных во многих русских городах во время неудавшейся революции 1905 г. Забастовщики выбрали представлявших их депутатов, к которым присоединились представители от солдат и социалистических партий, в основном меньшевиков и эсеров. Первым указом Совета было создание солдатских Советов (коллегияльных управляющих органов) во всех воинских частях, но на этом этапе Совет не стремил-

ся стать властью, он всего лишь хотел оказать давление на Временное правительство. Это все еще были социал-демократы, а не революционеры.

В феврале ключевым фактором стал отказ армии подавить демонстрантов; офицерство было разделено. Некоторые сомневались в способности самодержавия управлять в XX в. Вооруженные силы были модернизированы, и к 1911 г. лишь половина армейского офицерства была благородных кровей (их доля снизилась с трех четвертей в 1895 г.) и лишь 9% генерал-майоров или еще более высших чинов владели землей или домами в 1903 г. Вооруженные силы модернизировались, а режим нет. Затем во время войны росло недовольство в связи с тем, что инфраструктуры режима оказались неспособными снабжать армию достаточным количеством снарядов. Офицеры отдавали предпочтение конституционной монархии, но им подошла бы и либеральная республика, если бы она была в состоянии гарантировать порядок и военное снабжение. Столкнувшись с выбором между Думой и реакцией, они предпочли Думу. Это было особенно справедливо для младшего офицерства, поскольку высокая смертность среди офицеров способствовала повышению военных более низкого происхождения.

Лишь немногие офицеры всерьез задумывались о политике. Прежде всего они хотели сражаться на войне, и в ходе нескольких дней беспорядков 1917 г. большинство из них поняли, что их подчиненные не станут продолжать сражаться за царя. В течение последующих нескольких месяцев они даже смирились с ролью солдатских Советов, рискуя разделить командование с людьми, которых они считали агитаторами. Им пришлось это принять, чтобы сохранить хоть какую-то власть над солдатами. Некоторые подверглись насилию со стороны своих подчиненных, но большинство попыталось найти хоть какую-то властную структуру, которая могла обеспечить снабжение, заставить людей защищать свои позиции, проводить артобстрелы и даже иногда атаковать врага. Отсюда громогласные взаимные обвинения монархистов после революции о том, что армия предала старый режим (Hasegawa 1981: 459–507; Wildman 1980; Mawdsley 1978; N. Saul 1978). Офицеры подтверждали положение Ленина: «по-старому» они не могли. Тем не менее это преимущественно было результатом другого ленинского условия: солдаты, вооруженная часть низших классов, жить по-старому не хотели. Хотя недовольство правящего класса уже было налицо, старый режим стал беспомощен лишь тогда, когда столкнулся с отказом масс подчиняться. После этого он уже не мог гарантировать порядок — главное, что требуется от хорошего правительства. Это была низовая революция против режима, инфраструктур-

ная власть которого была разрушена войной и ослабляла его репрессивные возможности.

Действительно, способность режима вызвать отчуждение интеллигенции и сторонников модернизации разделила правящий класс на части (Haimson 1964). Но за пределами двора и администрации это было не так уж заметно. В любом случае придворные споры между умеренными либералами и сторонниками жесткого курса обычно заканчивались победой последних. Раскол в среде правящего класса не был основной проблемой в России. Напротив, распад инфраструктурной власти режима из-за войны стал его ахиллесовой пятой.

Два основных барьера, которые, как мы увидим, разделяли потенциальных революционеров в Германии, Австрии и Венгрии, были не так важны в России. Первый касался крестьян, второй — рабочего класса, и оба распространялись на более широкое сельское и городское население. Как я отметил, это были аграрно-промышленные общества. Хотя развитие капитализма глубоко затронуло сельское хозяйство, классовое недовольство, которое возникло как следствие этого процесса, различалось, к тому же война добавила конфликтов вокруг продовольствия между городским и сельским населением. В России в начале XX в. массовое недовольство выходило на поверхность одновременно в обоих секторах. Троцкий (Trotsky 1957: глава 1) объяснял русские революции в категориях «комбинированного и неравномерного развития». Жестокие конфликты, которые в других странах появлялись в различные периоды времени, здесь совпали: помещики против крестьян, финальный кризис феодализма, который, по мнению Троцкого, произошел в других странах раньше, совпал в России с конфликтом капиталистов против рабочих, с кризисом капитализма.

Уровень беспорядков среди русских крестьян был выше, чем в других странах. С отмены крепостного права в 1861 г. и до столыпинских реформ после 1907 г. русское сельское хозяйство испытало более стремительные сельскохозяйственные трансформации, чем в других основных державах. Этот процесс создал больше помещиков-рантье, не проживавших в своих поместьях, и тем самым ослабил их власть в сельской местности; крестьяне, непосредственно обрабатывавшие земли, пользовались большей автономией. Это также привело к появлению сильных крестьянских общин. Теперь крестьяне одновременно проявляли недовольство и могли восстать. Они сделали это в 1905 г., но провал революции убедил большевиков и многих меньшевиков в городах, а также эсеров в сельской местности, что классовая борьба не просто метафора (какой она была для большинства марксистов того времени): им действительно придется сражаться и во-

оружаться, чтобы достичь победы. Эта революция и весна 1917 г. продемонстрировали, что если царская власть дрогнет, то крестьянские массы перестанут платить арендную плату, атакуют поместья, захватят и перераспределят землю, принадлежащую дворянству, богатым крестьянам и прочим частным собственникам, которые получили общинные земли в результате столыпинской реформы (Gill 1979: 1–17, 38–46; Skocpol 1979). Ленин утверждал, что захваты земель продемонстрировали классовую борьбу между помещиками, богатыми и бедными крестьянами, в которой социалистам следует примкнуть к бедным крестьянам. Тем не менее в 1917 г. крестьяне не предпринимали никаких шагов до падения монархии в феврале. Они не были инициаторами этого действия.

Не было и никакой внутренней связи между недовольством крестьян и недовольством промышленных рабочих. Политическим партиям не удалось разработать единую программу реформ, привлекательную для тех и других. Эсеры выражали сельское недовольство, но отклик на их деятельность в городах шел на убыль. Напротив, меньшевики и большевики были влиятельны в промышленных городах, но не в сельской местности. В 1917 г. большевикам удалось разработать ситуативную программу, обращенную к крестьянам, но этот оппортунизм не соответствовал их марксистской теории. Хотя они требовали коллективизации промышленности и национализации земли, в августе 1917 г. после призывов Сталина и других Ленин сменил курс и предложил раздавать землю отдельным крестьянским хозяйствам, или скорее крестьяне могли сохранять землю, которую уже захватили! Восстания рабочих и крестьян происходили практически одновременно и были направлены против правящего класса. И все же их требования различались, и их действия не регулировались одними и теми же экономическими силами. Для того чтобы совершилась революция, требовались другие связи между городским и сельским секторами.

Первая связь заключалась в том, что многие рабочие сами были бывшими крестьянами в силу необыкновенно быстрого промышленного развития в России, которое форсировалось войной. В Санкт-Петербурге количество фабричных рабочих выросло с 73 тыс. в 1890 г. до 243 тыс. в 1914 г. и до 393 тыс. в 1917 г. (S. Smith, 1983: 5–36). Большинство новых неквалифицированных и полуквалифицированных промышленных рабочих были крестьянами, мигрировавшими в города, хотя большинство их лидеров родились в городе, имели лучшее образование и были более квалифицированными. Подобный же паттерн миграции в то же время с тем же результатом наблюдался в Испании: возросшая интенсивность контактов и взаимного влия-

ния между городским и сельским движениями, с социалистами и анархо-синдикалистами, активно действовавшими в обоих секторах. Относительный вклад бывших крестьян и рабочих, родившихся в городе, в революцию остается спорным, но значительное количество обоих секторов было вовлечено в забастовки и демонстрации. Советы, рабочие комитеты, также широко ассоциировавшиеся с промышленным пролетариатом, продолжали традицию сельских крестьян выбирать старосту (Bonnell 1983: 433–4; Mandel, 1983; S. Smith, 1983: 57).

Вторая связь была непреднамеренно предоставлена государством. Вмешательство государства в классовые отношения было сильнее, чем где-либо еще, и война его усилила. Теперь государство отвечало за поставки продовольствия солдатам и городам, а также заботилось о миллионах беженцев, сорванных с места его собственной тактикой выжженной земли, которую армия, отступая, оставляла за собой. Под таким давлением примитивная транспортная система практически разваливалась. Царское государство могло опереться на современную промышленность на одном конце цепи и модернизированной армию на другом, но для эффективного соединения обоих концов отсутствовала инфраструктура. Это была основная причина, по которой дела в армии обстояли плохо. Потеря Польши, Галиции и большей части Украины означала сокращение национального дохода России почти на треть, промышленного производства вдвое и упадок производства продуктов питания. Когда снабжение начало прекращаться, режим обратился к тому, в чем разбирался лучше всего, — принуждению. Он попытался силой принудить крестьян поставлять излишки продовольствия армии и городам. Но центральное правительство встретило сопротивление со стороны местных административных властей, пытавшихся воспрепятствовать поставкам зерна за пределы их округов. Крестьяне предпочитали продавать свою продукцию на черном рынке, цены которого были значительно выше официально установленных. Временное правительство, созданное после Февральской революции, не смогло предложить лучшего решения этой проблемы. Поскольку власть центра ослабела, националисты периферийных регионов начали требовать большей автономии для национальных меньшинств. Многие из них заключили союз сначала с конституционалистами, а позже с марксистами. Они были особенно широко представлены среди большевиков. Увеличивались общественные беспорядки.

Война заметно усилила недовольство и связи между сельскими и городскими массами. Военные поражения, экономические кризисы, продовольственный дефицит, а также толпы беженцев затопили большую часть Европейской России, уничтожая

классовые различия, сливая рабочих, крестьян и средний класс воедино в народные массы, все более убеждавшиеся в том, что ими управляют некомпетентные люди. Царя высмеивали, как старую бабу, как идиота, как пьяницу за его неспособность нормально вести войну. С фиксации на царе, флаге и империи патриотизм переключился на товарищей и народ — весьма отличное чувство принадлежности к нации. Народные чувства стали отчетливо антивоенными. Некоторые победы, одержанные над австрийцами, помогли, и победы над немцами могли бы спасти режим, но они были маловероятны. Гнев стал доминирующим народным чувством, направленным прежде всего на царя, затем на элиты и буржуазию, которые рассматривались как чужаки, живущие вне нации, угрожающие обновлению России, не заслуживающие того, чтобы делить с ними его плоды (Gatrell 2005; McAuley 1991; Jahn 1995: 91–97; Gill 1979: 170–187; Steinberg, 2001: вступление). Двор, промышленники, кредиторы, помещики и агенты черного рынка были явными эксплуататорами, но государство было вовлечено в дела всех, и это объединяло различные протесты воедино. Рабочие, крестьяне и даже большая часть обычного среднего класса стали рассматривать друг друга как союзников и видеть спасение в переменах.

Третьей и, возможно, важнейшей связью был тот факт, что и крестьяне, и рабочие были вместе призваны на военную службу и что они были вооружены! 60% солдат и младших офицеров были крестьянами; треть в военно-морских силах составляли фабричные рабочие и четверть крестьяне. Тяжелые потери означали, что большее число их было возведено в ранг низшего офицерства (Mawdsley 1978: 6–7, 157–159; Wildman 1980: 98–101). Моряки роптали после двух лет бездействия на кораблях, охваченных эпидемиями, заблокированных зимними льдами, а также по поводу превосходства немецкого флота на Балтике и неспособности прорвать германо-оттоманскую блокаду на западе Черного моря. Военный призыв был особенно важен для крестьян. Как пишет Шанин (Shanin 1971: 259): «Современная армия, комплектуемая на призывной основе, является одной из немногих организаций общенационального масштаба, в которой крестьяне действительно принимают активное участие. Сегментация крестьянства тем самым сломлена». Бывшие солдаты издавна составляли ядро большинства крестьянских восстаний. Бунты во время прохождения военной службы не были широко распространены, но на этой войне солдаты были пушечным мясом больше двух лет, их бросали прямо на немцев, чтобы компенсировать слабость русской артиллерии. Солдатам не хватало продовольствия, обуви, снарядов и иногда даже винтовок. В этом случае их отправляли на фронт без оружия, при-

казывая подбирать оружие павших товарищей. Немецкая армия делала из них фарш. В этой войне погибло около 2 млн русских солдат и 5 млн стали военнопленными. Столь ужасные потери вели к бунтам, братанию с врагом и дезертирству. Вооруженные дезертиры постоянно участвовали в захвате крестьянских земель в середине 1917 г. Как утверждает Скочпол: «Сельскую политику в России 1917 г. внутри деревень делали молодые люди с оружием и идеями, принесенными домой после опыта участия в войне, которые бросали вызов авторитету и осмотрительности старших традиционных лидеров *мира*, часто также бывшими главами патриархальных семей». И добавляет: «Результатом этого практически всегда было подталкивание земельной революции к скорейшему и более насильственному исходу» (Skocpol 1979: 138). И все же крестьяне не предприняли шагов до того, как городские восстания поставили режим на колени. В преимущественно аграрном обществе крестьянские восстания были необходимым условием успеха революции, но крестьяне ее не начинали.

Серьезные бунты в армии начались в 1916 г. В отличие от французских бунтов, описанных в предыдущей главе, у русских генералов не было возможности устранить недовольство своих солдат, переключившись на артобстрелы, поскольку у них не хватало снарядов. Недовольство стало политизироваться: инициативу взяли на себя бездействующий флот и тыловые гарнизоны. Матросы Балтийского флота и солдаты столичных гарнизонов (насчитывавшие 330 тыс. человек) присоединились к городским восстаниям, как только они начались. Ни один полк так и не выдвинулся для их подавления вопреки повторным приказам. И это было решающим обстоятельством; государство больше не обладало монополией на военную власть. На протяжении 1917 г. недовольство исходило от солдат и рабочих, и они успешно перенаправили свою лояльность от царя к Временному правительству, Советам и затем большевикам в составе Советов (Rabinowitch 2004: глава 8; Wildman 1980: 375). У крестьян и рабочих были общие цели, но им нелегко было действовать вместе, пока они не стали товарищами по оружию в армии. Военная власть перешла от режима к восставшим, и поэтому успешная революция стала возможной.

У них был «пробный заезд», коим была революция 1905 г., также вызванная неудачной войной. Захват земли крестьянами совпал с протестами рабочих и их общими страданиями в качестве солдат и моряков на некомпетентно ведущейся войне. Поражение от Японии привело к созданию солдатских и рабочих Советов на Дальнем Востоке, а также к отдельным протестам рабочих и крестьян (практически без участия солдат)

в более ключевых западных губерниях. Сначала режим отреагировал предложением реформ, но, когда в 1907 г. почувствовал себя в безопасности, вернулся к репрессиям. Это была короткая война без длительного продовольственного кризиса или значительной солидарности между солдатами, рабочими, крестьянами и городскими массами. Благодаря этому активисты научились не идти на компромиссы, предлагаемые режимом.

Союз между рабочими, крестьянами и солдатами не имел аналогов в Европе. Положение крестьян значительно различалось от страны к стране, но они редко направляли свое недовольство против государства или капитализма. Исключением была Испания. Там забастовки и городские демонстрации также проходили в течение того же широкого периода, что и крестьянские волнения. Как и в России, там было несколько внутренних связей между недовольством рабочих и крестьян. В Испании оба недовольства переросли в восстания, но по отдельности. Их восстания друг от друга отделяли несколько месяцев: рабочие-социалисты восстали в августе 1917 г.; крестьяне-анархо-синдикалисты — летом 1918 г.; рабочие-синдикалисты — в марте 1919 г. Тем не менее испанской армии с нормальной военной дисциплиной оказалось достаточно этого временного лага, чтобы подавить одно за другим. Микер (Meaker 1974: 1, 63) приписывает поражение левых революционеров в Испании недоверию между крестьянами и рабочими, а также между марксистами и анархо-синдикалистами; оба разделения были усилены географическими особенностями. Но Испания занимала нейтральную позицию в мировой войне, к тому же ее государство не имело общих причин для недовольства рабочих, крестьян и массового недовольства солдат. Без единства восставших, причиной которого была некомпетентность царя в войне, судьба революции в России могла бы представлять собой более насильственную версию событий в Испании.

Более того, разрыв между реформами и революциями не был столь уж очевидным для рядовых членов профсоюзов. Хотя политические партии ссорились, лишь немногие рабочие-активисты участвовали в их диспутах. Рабочие радикализировались автономно, это было особенно очевидно на государственных предприятиях, где работала треть санкт-петербургских фабричных рабочих (S. Smith 1983: 10). Готовность царизма силой защищать работодателей даже от умеренных требований рабочих оставляла рабочим-реформистам мало шансов. Трудно быть реформистом, когда никто не предлагает тебе никаких реформ. Лишь немногие либеральные русские работодатели убедили представителей рабочих принять участие в работе военно-промышленных комитетов, но они были настолько из-

мучены враждебностью режима и подозрениями со стороны их собственных рабочих, что не были эффективными (Siegelbaum 1983: 159–182).

Общий опыт исключения и репрессий подталкивал и квалифицированных, и неквалифицированных рабочих к более радикальным настроениям и насилию. К 1914 г. санкт-петербургские рабочие больших металлопрокатных заводов с большей готовностью откликались на классовую риторику, чем на секционный тред-юнионизм. Строители, транспортники, рабочие коммуникаций и услуг также начинали объединяться в профсоюзы. Нужды войны привели к расширению металлургической и химической промышленности, а также к увеличению числа менее квалифицированных рабочих, бывших крестьян, молодых рабочих и женщин-рабочих. Цеховщики по-прежнему обеспечивали лидерство в профсоюзах; неквалифицированные рабочие, бывшие крестьяне и женщины-рабочие составляли массу рядовых членов профсоюзов и толпы. Женщины были непропорционально узко представлены в агитации рабочих и непропорционально широко в демонстрациях с требованиями хлеба. В отраслях без цеховой традиции протесты были менее организованными, менее политизированными, но иногда носили более яростный характер. Это сочетание поощряло классовую идентичность и более турбулентные протестные движения (Hogan 1993; McKean 1990; S. Smith 1983: 190–208, 253; Bonnell 1983; Mandel 1983; K. Murphy 2005: глава 1).

К началу 1917 г. марксистские фракции по-прежнему были сторонними наблюдателями, занимающимися перепалками друг с другом. Среди революционеров сплоченности было так же мало, как и среди попавшего в беду царского режима и формирующегося Временного правительства. И хотя большевики пользовались влиянием в немногих секторах, ни одна отдельная политическая фракция не могла в одиночку организоваться даже в масштабах одного города, не то что всей России, поэтому события 1917 г. начались с изменчивых и вполне спонтанных рабочих и городских движений. «Революционная субэлита» молодых, образованных, родившихся в городе металлургов предпринимала большинство шагов самостоятельно, требуя рабочего контроля посредством Советов. Они сохраняли подозрения по поводу сектантства Ленина и прочих сосланных лидеров. И хотя Ленин вернулся в Россию в апреле, он оставался в стороне несколько дольше (McKean 1990).

Развал царской системы снабжения голодающих городов подорвал положение тех, кто поддерживал продолжение войны, — консерваторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, которые вошли в состав Временного правительства. Большая часть вы-

сказывавшего свои требования народа поддерживала немонархическое правительство, которое могло дать им хлеб, землю (в случае крестьян) и прежде всего обеспечить мир. Возможно, партии Временного правительства могли составить демократическую конституцию наподобие конституции Веймарской республики. Временное правительство дало некоторые гражданские свободы и обещало всеобщие выборы, но большинство его членов боялись демократии, которая могла бы оказаться под контролем крестьян и с большой долей вероятности узаконила бы захват земель, отказалась от выплаты иностранных долгов и заключила мир. Объяви Временное правительство выборы, эсеры, доминирующие среди крестьянского большинства, вероятно, одержали бы на них победу, и шансы этой рыхлой, децентрализованной и несколько непоследовательной партии установить стабильное правительство были невелики.

Временное правительство отказалось от заключения сепаратного мира с Центральными державами. Вместо этого в июне они предпочли организовать наступление на немцев. Оно с треском провалилось, унеся с собой множество русских жизней. Если бы русскому правительству удалось продержаться и стать одной из стран-победительниц в войне, его легитимность возросла бы (Service 1997: 52–53). Но в 1917 г. в связи с ростом числа жертв поражение стало все более реальным. Большевики справедливо осуждали Временное правительство как воинственных милитаристов. Правительство заявило о том, что будет уважать свои договорные обязательства и продолжит войну. Заключи они мир, у них бы появился хороший шанс предотвратить большевистскую революцию. В действительности в правительстве продолжало доминировать консервативное крыло, некоторые из его членов все еще верили в итоговую победу, способную принести им Константинополь — традиционную цель русской имперской экспансии. Макс Вебер, немецкий патриот, дал оценку вероятности выхода России из войны. Он заключил, что этого не будет, потому что большинство в Думе и в администрации остается «крайне империалистическим». Это, по его мнению, было вызвано внутренними причинами: война поддерживала субординацию крестьян в армии, к тому же она была средством получения кредитов от международного капитализма, который опасался отказа России от уплаты долгов. Он полагал, что радикалы во Временном правительстве проигрывают в этом вопросе и, идя на поводу «империалистических демонстраций», «в долгосрочной перспективе выроют себе могилу» (M. Weber 1995: 264–265).

Это было верно, за исключением того, что Вебер не видел, что Временное правительство уже рыло себе могилу. Бо-

лее самоубийственным было то, что они откладывали земельную и прочие реформы до выборов в Учредительное собрание. Они надеялись, что собрание их не одобрит, но для большей безопасности объявили, что не могут провести выборы во время войны. Эсеры, которые до сих пор были активны на фабриках, теперь оттуда исчезли. Большевики и их союзники среди левых эсеров и меньшевики-интернационалисты, напротив, осуждали войну и призывали немедленно ее прекратить. К этому моменту Петроградский совет вырос в национальное движение, возглавляемое Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов. Большевики были довольно обособлены от него, но теперь вступили с ним в союз, скандируя: «Вся власть Советам!» Они требовали узаконить все крестьянские захваты земли и утверждали, что все это необходимо сделать немедленно, до всяких выборов. Их самый знаменитый лозунг был простым: «Хлеба, земли и мира!»

Последующий сдвиг к большевикам легко объясним: они предложили то, чего хотело большинство. В течение 1917 г. общественное мнение и активизм постепенно склонялись на их сторону. Масса фабрик уже имели Советы, пытавшиеся поддерживать производство, которое могло обеспечивать зарплату рабочим. Начиная с апреля большевики организовали ополчения для поддержания порядка на местах, которые стали Красной гвардией. Большинство рабочих рассматривали Советы и Красную гвардию не как революционеров (какой бы смысл в это ни вкладывался), а как защитников их средств к существованию. Имел место огромный разрыв между этими конкретными устремлениями (к миру, земле, хлебу, контролю над фабриками, закону и порядку) и марксистскими утопиями бесклассового, свободного от конфликтов общества без патриархата, которые также исповедовали большевики. Их идеология спасения имела больше значимости внутри рядов самих большевиков, чем в их отношениях с массами. Их философия истории представляла верить, что история на их стороне, что для них было очень мощной идеологической поддержкой. Тем не менее ортодоксальная теория учила, что буржуазная революция с необходимостью предшествует социалистической, так что они должны заключить союз с буржуазными либералами. Но при этом они верили, что лежащий в основе исторический процесс может быть ускорен (об этом говорил сам Маркс), так что они рассматривали прагматические союзы с другими группами как краткосрочную необходимость. Иногда они притворялись реформистами и говорили о народе, а не о пролетариате, для того чтобы использовать народный национализм, рожденный войной. Но их финальной и неизменной целью была пролетарская

революция, поэтому не стоило опасаться скатывания к вечному реформизму. Революционная идеология на самом деле помогала им в нужный момент оставаться гибкими. Эта двойственность сохранилась и после того, как они захватили власть, поскольку она указывала им общее направление невиданной революционной трансформации, которую они пытались совершить, и в то же время была полезной в качестве средства краткосрочных отклонений от этого направления.

Тем не менее в практическом смысле многие рабочие уже поступали как революционеры вне зависимости от того, во что они верили. Создавая Советы и Красную гвардию, они экспроприировали капиталистическую собственность и ликвидировали государственную монополию на средства принуждения. Временному правительству не хватало собственных средств для мобилизации масс, поэтому они вынуждены были обратиться к генералам с просьбой подавить Советы. Одной из наиболее заметных попыток военного переворота был мятеж генерала Корнилова, но, когда он отдал приказ полкам атаковать штабквартиру революционеров, солдаты не подчинились своим офицерам. Железнодорожники и другие работники транспорта в любом случае воспрепятствовали бы переброске войск. Большинство организованных рабочих и солдат (не только большевики) осуществляли переброски войск, одни из которых поддерживало Временное правительство как контрреволюционные: буржуазия пыталась подавить пролетариат. Этот марксистский анализ был по сути своей правильным и сделал вполне неправдоподобной долгосрочную стратегию — ждать, пока буржуазия себя проявит. Большевики с очевидностью должны были пойти на этот стратегический сдвиг. В конце концов их сила росла. К осени 1917 г. они выиграли большинство выборов в Советы фабрик и в национальный Совет. Теперь их партия насчитывала 100 тыс. человек (Rabinowitch 2004; Mandel 1983; McKean 1990; Suny 1998: 54; Wade 2000; Figs 1997: 331; Kenéz 2006: 27–28; Melancon 1997; K. Murphy 2005: 53–62).

Большевики потеряли часть народной поддержки во время «июльских дней», когда они не смогли оказать поддержку восставшим петроградским солдатам и рабочим, полагая, что те опережают события. После этих событий было много споров о том, правильно ли они поступили. Большевики вновь приобрели некоторую народную поддержку, помогая остановить корниловский мятеж. Затем они предложили меньшевикам и эсерам перемирие на условии порвать с кадетами и прочими буржуазными партиями. Когда никакого ответа не последовало, большевики захватили власть без них, то есть сделали то, чего Ленин все это время и добивался. С помощью доволь-

но небольшого количества революционно настроенных солдат они осуществили переворот в октябре, спустя месяцы после того, как власть на местах в основных городах оказалась в руках рабочих и солдат. Эти события были относительно бескровными, что по сути и ожидал сам Маркс и первые поколения марксистов. Хотя Маркс писал о насильственном захвате власти, вслед за которым вооруженный народ будет бдительно стоять на страже диктатуры пролетариата, эти события предполагали штурмующие и защищающие здания толпы, где лишь некоторые вооружены огнестрельным оружием. В 1917 г. попытки правых переворотов не были напрямую пресечены революционными военными силами; скорее солдатские массы, участвовавшие в этих переворотах, таяли до того, как перевороты достигали своей цели. Лишь немногие последующие революции были похожи на эту, и вскоре большевики обнаружили, что им необходимо больше солдат для защиты революции.

Ни большевики, ни Ленин не обладали исключительной проницательностью и способностью к манипуляции, которые им иногда приписывают (Pipes 1990; J. Dunn, 1972: 42). Во всяком случае они колебались, следуя за рабочими, говорил Троцкий. Ленин действительно в итоге использовал свою личную харизму и организационную прозорливость, чтобы убедить более осторожное партийное большинство. Ортодоксальная теория плюс десятилетия преследования и изоляции породили страх нанести удар слишком рано. Основной вклад Ленина в революцию заключался в преодолении этого страха. Ленин, Троцкий и прочие большевики были довольно восприимчивы, внимательно прислушивались к народным требованиям и реагировали на них. Рабинович преувеличивает, утверждая, что на этом этапе большевизм имел «в основе своей открытый и массовый характер». Однако это не была компактная авангардная партия, описанная 15 лет назад Лениным в работе «Что делать?», но и не диктатура, которой большевизм вскоре стал. Линия большевиков была попросту народной. На крупнейшем металлургическом заводе Гужона в Москве, утверждает Мерфи, было всего девять большевиков в апреле 1917 г., и в течение года их количество несколько увеличилось; профсоюз металлургов этого завода поддержал линию большевиков и к сентябрю имел уже 3 тыс. членов, из которых 500–800 посещали регулярные заводские собрания. Они воспрепятствовали попыткам режима закрыть завод, захватив его самостоятельно, — большевики на практике, но не в теории. В сельских областях за дело взялись левые эсеры, более радикальные, нежели их лидеры в столицах. На периферии России тон задавали национальные меньшинства, стремившиеся к региональной автономии. Во всех

трех отношениях наблюдавшие за этим большевики пришли к заключению, что от их ортодоксии различных стадий революции, предписывавших выжидать, можно отступить. Массы были готовы. Все три перечисленных движения внесли вклад в революцию, но ее результаты определялись довольно небольшими группками людей в обеих столицах (Rabinowitch 2004: 311; 169–173, 308–309; Wade 1984; 2000: 207–208; Suny 1998: 50–52; Figes 1997: 471; K. Murphy 2005; Raleigh 2003; S. Smith 1983; Mandel 1983; McKean 1990; Anweiler 1974).

В отличие от многих современных теоретиков в качестве основной движущей силы революции я указываю не на рабочий класс, а на народные классы. Рабочие, крестьяне, городские толпы (все они включали много женщин) и особенно солдаты и младшее офицерство поставили режим на колени, позволили либеральным конституционалистам упустить свой судьбоносный момент и призвали к своей революции большевиков. За пределами офицерского корпуса раскол внутри режима играл относительно более скромную роль вплоть до того момента, когда стало очевидно, что старый режим может не выдержать народного восстания. Это довольно близко к представлению Маркса о пролетарской классовой революции. Я не выступаю в поддержку акцента Голдфранка или Голдстоуна на диссидентстве или расколе среди городских элит. Царский режим быстро заменили Временным правительством; они не были заметно расколоты внутренней фракционной борьбой, за исключением армии. Именно их неспособность вести такую политику, которая была бы приемлема для масс, погубила их обоих.

Я не разделяю акцента, который Скочпол делает на крестьянстве, доходя до исключения рабочих. Действительно, крестьянское недовольство, за которым последовал захват столь большого количества земли, означало, что крестьяне не окажут поддержки репрессиям против революционеров в городах. А это на самом деле было необходимым условием успешной революции. Однако она была осуществлена путем захвата государственной власти прежде всего в двух столицах, и сделали это промышленные рабочие, городские работники, городская интеллигенция и части армии и флота, которые в большинстве своем состояли из крестьян. Первая мировая война сконцентрировала на фронте большую часть вооруженных сил, так что для штурма Зимнего дворца потребовалось относительно немного вооруженных солдат. Огромные массы недовольных солдат крестьянского происхождения отправились по домам, многие из них возглавили восстания на местах в отличие от Китая, где и города, и государственная власть были захвачены крестьянской армией. В России крестьяне организовали соб-

ственные восстания в сельской местности и ограничились ею. На самом деле захват государственной власти в городах также являлся необходимым условием успеха крестьянских восстаний. Без этого вооруженные силы не тронутого кризисом государства сокрушили бы крестьян, что и было уделом практически всех крестьянских восстаний в истории. Хотя иммобилизация и последующая поддержка солдат крестьянского происхождения были необходимым условием успеха революции, рабочие, солдаты рабочего происхождения и их лидеры были основной движущей силой революции.

Неослабевающее давление военной власти было постоянным движущим фактором массового народного недовольства, ведущего к поддержке движения, потенциально способного осуществить революцию. Это скорее ближе к Скочпол, чем к Марксу, поскольку военные причины были чужды его мышлению. Объяснение революции Голдфранком в плане благоприятного или способствующего восставшим международного контекста или объяснение Форана, делающее акцент на мир-системе, — движение в правильном направлении, но эти теории слишком недооценивают причинно-следственное воздействие жестокой войны и опустошения, учиненного Германской империей на русской земле. И конечно же, здесь работает аргумент Голдстоуна о том, что диссидентствующая элита должна обладать способностью объединиться с народным восстанием. Именно это позволила сделать большевикам мировая война.

Без этой последовательности событий наиболее вероятным исходом был бы хаос и распад Российской империи — как раз то, что вскоре произошло с Австро-Венгерской и Османской империями. Здесь не могло быть других революционных трансформаций, поскольку ни одна политическая группировка не могла мобилизовать массы, чтобы их осуществить. У буржуазной революции было мало шансов на продолжение, поскольку Временное правительство, которое было ее единственным проводником, не смогло осуществить массовую мобилизацию, к тому же его выживание зависело от реакционного армейского офицерства (Hobsbawm 1994: 58, 64–65). Единственной минимально возможной альтернативной стратегией революции мог стать более прочный альянс между всеми либеральными и социалистическими фракциями Временного правительства вместе с более осторожными большевиками и некоторыми членами рабочих Советов. Мог ли такой альянс породить жизнеспособный режим, движущийся к некоей форме социал-демократии? Это потребовало бы огромных жертв от более консервативных фракций правительства, принятия ими отмены прав собственности в сельской местности и на заводах и участие в рискован-

ных выборах, которые с большой вероятностью отстранили бы их от власти. Они не были готовы к подобным жертвам. И это было как раз в тот момент, когда сплоченность сторон приняла обратный оборот: Временное правительство стало более расколотым, в то время как партийная дисциплина большевиков сдерживала потенциальную фракционность внутри их партии.

Мой акцент на войне означает, что я отклоняю объяснения, подчеркивающие системные социальные или экономические противоречия, долгосрочные структурные причины в отличие от Маркса, Баррингтона Мура и специалиста по истории России Хэймсона (Haimson 1964). Он утверждает, что довоенный всплеск насилия рабочих, поляризация между рабочими и прочими классами и углубляющийся раскол внутри режима привели бы Россию к революции и без войны. Крестьяне в большинстве своем уже испытывали глубокое недовольство, офицеры и прочие гипотетические реформаторы уже размышляли, совместим ли царизм с современностью, царский режим непреднамеренно создавал рабочих революционеров, подавляя секционные профсоюзы и политических реформаторов, к тому же режим колебался по поводу реформ, а затем подавлял их. Я утверждаю, что долгосрочные структурные тенденции российского режима и капитализма породили бы попытку осуществить революцию и без войны, но сомневаюсь, что она вылилась бы в успешную революцию, а только такая считается революцией. Хотя не стоит недооценивать и глупость Романовых: одни парламентские диссиденты и рабочие не смогли бы совершить революцию. Как без войны к ним присоединились бы крестьяне? Но даже если бы им удалось объединиться с другими группами, остается военная власть: как избежать репрессий, если режим вооружен? Когда солдатам отдадут приказ открыть огонь по демонстрации рабочих, они практически всегда его выполняют, каким бы ни было их социальное происхождение, поскольку они подчиняются строгой военной дисциплине. Для них военная власть сильнее классовой идентичности. Но в России эта дисциплина рухнула под экстремальным военным делением. Я сомневаюсь, что царский двор был бы настолько глуп, чтобы допустить такое в армейских подразделениях в мирное время.

Война усилила, сделала явными и наложила друг на друга различные довоенные слабости царского режима, тем самым создав революционный каскад. Союз рабочих, крестьян и солдат был очень необычным и поддерживался государственным гнетом в сочетании с некомпетентностью в военных действиях, основанных на массовой мобилизации. Это позволило большевикам атаковать режим, все более убедительно указывая на эксплуатацию. Любопытно, что большевики, будучи марксистами,

в качестве реального врага видели капитализм; лишь немногие русские воспринимали его подобным образом. Больше всего они хотели опрокинуть царизм, но война вынудила их опрокинуть и капитализм.

Тем не менее идеологическая власть также играла важную роль на последних стадиях революции, особенно внутри самого движения большевиков. Эта секулярная религия спасения обещала земную утопию в этом мире на базе социальной (классовой) солидарности и существенно укрепляла ощущение основанного на дисциплине товарищества и того, что история на их стороне. Власть цели означала, что их меньше заботили средства. Поэтому идеология, представленная массам, была проста, носила популистский, неортодоксальный и оппортунистический характер. Настоятельно взывая к крестьянам, они заполняли пробел в традиционном марксизме, хотя обещание раздать им участки земли в собственность отклонялось от большевистской революционной программы коллективизма.

Еще до прихода к власти Ленин исходил из того, что если большевикам удастся воспользоваться радикализмом заводов и улиц, то они получат поддержку для социалистической революции. Тем не менее, поскольку рабочие, крестьяне и солдаты показали, что ведут очень разную политику, большевики видели, что требуется больше руководства сверху, для того чтобы идти их курсом спасения. Захватив государственную власть в октябре, они восстановили иерархический контроль, включая единоначалие и трудовую дисциплину, вдобавок к этому они инкорпорировали Советы и профсоюзы в их собственное государство. Как только первые контуры этой диктатуры стали ясными, многие рабочие повернулись против них (S. Smith 1983: 260–265). Тем не менее теперь у большевиков была военная мощь, чтобы подавить диссидентов. Военная власть имела столь же ключевое значение в поддержании революции, сколь и в ее осуществлении. То, что революционно настроенные солдаты сохранили оружие при себе и раздали часть его симпатизирующим рабочим, сделало революцию возможной. Теперь большевики полагались на оружие Красной гвардии и других подразделений. Это дало им власть, которую они удержали в ходе последовавшей Гражданской войны. Началось движение к однопартийному деспотизму, искривляя направление их пути. Это сочетание означало, что после революции и короткого периода прагматичного послабления они вернулись к их изначальной идеологической ортодоксии, но она превратилась в насильственное спасение.

Без этой катастрофической войны, за которой последовало появление организованной революционной партии, объеди-

нившей идеологию спасения с острой восприимчивостью к народным чувствам, Октябрьская революция не была бы успешной. Некоторые последующие марксисты также подчеркивали роль войны, но объясняли ее в терминах капиталистического империализма, что, как мы убедились в прошлой главе, было ложно. Напротив, европейский милитаризм сделал войну стандартным режимом дипломатии. Ленин не раз упоминал, что Россия была самым слабым звеном в цепи капитализма. В военном отношении это определенно было так. Скочпол и другие справедливо подчеркивают причинно-следственную значимость вызванных извне политических кризисов, но в 1917 г. Россия не была примером бюджетного кризиса, вызванного в первую очередь войной. Это слишком слабо выражает всю катастрофу тотальной войны, вторжения, голодающих городов и толп беженцев. Военная власть играла решающую роль в превращении классового конфликта в революцию. Война играла решающую роль в создании нисходящего политического каскада, который увеличил раскол во Временном правительстве, но затем идеологическая солидарность большевиков сделала революцию успешной.

Эта революция включала совпадение двух различных причинно-следственных цепей: одна вела от авторитарной монархии, поддерживавшей высококонцентрированный капитализм при помощи силы, создавая недовольство низших классов; другая — от европейского милитаризма к войне, основанной на массовой военной и русской военной катастрофе. Первая дала рабочему классу и крестьянству желание участвовать в революции; вторая обеспечила их единство и возможность ее совершить. Рост большевистской партии был продуктом первой цепи, тогда как ее политика использовала преимущества второй. Члены партии обладали идеологической верой в итоговую победу и сильной партийной дисциплиной, первоначально приобретенной в условиях подполья. Эти качества помогли большевикам поддерживать сплоченность в стране, скатывавшейся по нисходящей спирали, и это помогло стратегии улавливания народного национализма с целью достижения классовой революции. После революции их идеологическая власть и дисциплина стали решающими в структурировании формы общества государственного социализма.

Без войны рабочие и крестьяне могли продолжать восставать, но отдельные восстания были бы по отдельности подавлены, как в Испании. Даже если бы эти два восстания объединились, военная власть режима не была бы нейтрализована. За редкими исключениями, такими как Иран в 1979 г., это происходило только в тех обществах XX в., которые испытали по-

ражение в войне. Без войны будущее России особенно ничего не сулило массам — в лучшем случае авторитарный режим, поддерживавший эксплуататорский капитализм, в худшем — распад и хаос. Без войны два достижения большевиков (захват и удержание власти, а также сохранение России в качестве великой державы) не оказали бы огромного воздействия на весь мир. Отношения военной власти Первой мировой войны создали Советский Союз и в конечном итоге были ответственны за террор, половину вклада в победу над фашизмом, гонку ядерных вооружений, холодную войну и т. д.

ВОЙНА И ЕВРОПЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ

Большевистская революция повлияла на мир: иногда она воодушевляла рабочих и крестьян на большее сопротивление, иногда распаляла контрреволюционеров. Но серьезные попытки революций были предприняты только в российском макрорегионе, в Центральной и Восточной Европе. Раскол между реформистами и революционерами произошел во всех европейских рабочих движениях и был усилен секционными различиями между квалифицированными и неквалифицированными рабочими и сегментарными различиями между отраслями промышленности. Когда работодатели договаривались с реформаторами или когда к этому их подталкивало государство, это подрывало позиции левых, которым для революции было необходимо единство рабочего класса; реформаторам же для достижения своих целей единство за пределами уровня отдельных работодателей не требовалось. Межвоенный период увидел больше активизма и конвергенции по направлению к цеховому социализму в промышленности, левый реформизм — в политике и солидаристские городские сообщества рабочего класса. Затем война добавила дополнительных противоречий.

(1) Как и в России, военная промышленность и тяжелая металлургия росли и превращались в авангарды рабочего движения. Хотя военное производство угрожало цеховому контролю за механизацией потоком большего количества полуквалифицированных рабочих и принудительной дисциплиной, цеховщики оставались привилегированными в плане зарплат, контроля над рядовыми членами профсоюза и освобождения от призыва в армию. Между ними и основной растущей массой рабочих (неквалифицированных, часто женского пола, часто мигрантами из сел) было меньше солидарности, чем в России. Начиная с 1916 г. активизм стал расти под предводительством металлур-

гов, но он все еще нес в себе противоречие между социализмом и секционализмом.

В отличие от России лидеры рабочих были инкорпорированы в режим, поскольку война принесла с собой первую достаточную дозу *корпоративизма*, классовых отношений, опосредованных через трехсоставные институты представителей государства, работодателей и рабочих. Социалисты/Лейбористская партия и лидеры профсоюзов вошли в правительственные кабинеты в Британии и Франции; в Германии, Австрии, Венгрии и Италии с ними впервые консультировались о законодательстве. В ответ на это они голосовали за военные кредиты, пропагандировали патриотизм среди рядовых членов, а также добивались от них заверений в отказе от забастовок. В Германии правые в СДПГ полностью поддерживали войну и правительственные планы по аннексии зарубежных территорий; центр партии смотрел одновременно в обоих направлениях, поддерживая войну и в то же время безуспешно лоббируя в пользу переговоров о мире. Национализм подрывал классовое сознание по различным причинам, некоторые из них были инструментальными. Профсоюзы были допущены в комитеты, контролировавшие трудовые отношения и промышленное производство. Они доводили жалобы рабочих до правительства и работодателей и охраняли законы о запрете забастовок в военное время и новые трудовые кодексы. В ответ на это работодатели получали промышленный мир и стабильность плюс высокие и часто гарантированные прибыли. На национальном уровне организации работодателей и профсоюзов повышали свою активность. В Германии это привело к сотрудничеству между социалистическими и несоциалистическими профсоюзами, а также появлению первого Промышленного совета работодателей (Feldman 1966: 119).

Инкорпорация затем распространилась и на нижние уровни профсоюзной иерархии. Германский закон о вспомогательной службе отечеству, принятый в декабре 1916 г., вводил принудительную мобилизацию гражданских, отменяя свободу работников менять место работы. В ответ на эти меры комитеты включили в свой состав представителей профсоюзов во всех зарегистрированных предприятиях, имевших более 50 сотрудников. Подобные компромиссы имели место в австрийских комиссиях по жалобам в марте 1917 г. и в итальянских комитетах промышленной мобилизации в августе 1915 г. Лидеры профсоюзов и партийные чиновники, иногда продолжавшие называть себя революционными социалистами, были инкорпорированы, демонстрируя старому режиму, насколько ответственными они могут быть. Они в том числе подавляли недовольство рядовых

членов профсоюзов, которое входило в конфликт с принятыми соглашениями.

(2) При этой системе рядовые активисты профсоюзов потеряли формальные организационные полномочия и не испытывали дилемм ответственности, которые им сопутствовали. Были запрещены забастовки и антиправительственные демонстрации, ограничения были наложены на заключение профсоюзных сделок с руководством на заводе и на местах. Неформально руководство профсоюзов, представлявшее цеховых рабочих в ключевых военных отраслях, сохраняло нелегальную власть над рядовыми членами профсоюзов и было способно к созданию сетей единомышленников-активистов, покрывающих основные промышленные города. Но они не могли доверять открытым структурам политических партий СДПГ или антивоенной левой Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). Если бы их деятельность была обнаружена, их отправили бы в армию или заключили в тюрьму.

В мирное время дилемма «реформы или революция» стояла перед большинством движений рабочего класса. Теперь же война инкорпорировала руководство, и рядовые активисты были свободны предаваться радикальной риторике, но вынуждены были действовать тайно. Революционным движениям цеховых профсоюзных лидеров не хватало организации, которая в тридцатилетний период была выстроена реформистами национального руководства профсоюзов (Sirianni 1980). Иногда профсоюзное руководство национального уровня помогало подавлять организованные левыми забастовки (Feldman 1966: 128–129). Их реформистский уклон усиливался, потому что они могли получить уступки благодаря участию в деятельности капиталистических государств, хотя они становились в меньшей степени способны к мобилизационной агитации с целью оказать давление в пользу реформ. Лидеры левого меньшинства, остававшиеся за пределами корпоративистских структур (обычно в силу их сопротивления войне), становились более радикально и враждебно настроенными по отношению к реформистам, особенно там, где ужесточались преследования левых. Они создали сети протеста против войны и режима, но из-за преследований им не хватало широких организационных каналов среди рабочих. Рядовые активисты в основном из профсоюзов металлургов формировали революционное движение цеховых профсоюзных лидеров; они контролировали заводы и часто сопротивлялись национальному профсоюзному руководству, но обладали слабой организацией за пределами завода (о Британии см. J. Hinton 1973; I. McLean 1983). Массы рабочих имели потери и видели систематическую

несправедливость в ведении войны. Тем не менее они не имели однозначных предпочтений по отношению ко всем трем существующим группам профсоюзных лидеров. В развитых странах, а также в колониальном и полуколониальном мире последствием войны стал взрыв недовольства рабочих (Silver 2003: 125–129). Большевицкая революция придала храбрости радикалам, повсеместно напугала консерваторов, но и те и другие постарались извлечь из нее уроки. Следствием стали также попытки осуществления революций, не возымевшие успеха. Они имели место только в российском макрорегионе и только в державах, потерпевших военное поражение.

ГЕРМАНИЯ: НЕУДАВШАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ, НЕУСТОЙЧИВЫЕ РЕФОРМЫ¹

Потерпевший поражение германский рейх пал. В течение последних двух недель войны части армии и флота подняли мятеж. 28 октября 1918 г. моряки Киля отказались выходить в море; 3 ноября они захватили свою базу и двинулись на ближайшие города. Это воодушевило рабочих, солдат и городских демонстрантов захватить местные администрации и фабрики по всей Германии. Поначалу они встретили небольшое сопротивление. Большинство восставших хотели нового правительства, не доверяя нынешнему, состоявшему из нотаблей старого режима. Последние, опасаясь повторения большевицкой революции, начали переговоры с основной реформистской фракцией Социал-демократической партии Германии (СДПГ), чтобы предотвратить провозглашение большевицкой власти ультралевым Карлом Либкнехтом и революционными профсоюзными деятелями. СДПГ не хватало сплоченности большевиков. Хотя и те и другие утверждали, что являются марксистами, реформисты разработали эволюционную марксистскую теорию, согласно которой социализм в конце концов наступит в результате длительного периода нарастающих, но принимаемых в ходе переговоров реформ. Прагматизм был не только кратковременным, как у большевиков; он должен был охватывать значительный период времени. Это едва ли напоминало спасение. Кайзер отрекся 9 ноября. В этот день были восстания, и около 12 человек даже были убиты, но в целом переход власти был мирным.

1. В анализе 1918–1919 гг. я опираюсь прежде всего на: Broue 2005: ч. 1; B. Moore 1978: 275–397. О СПГ см.: Broue, Breitman 1981; Hunt 1970; о НСДПГ см.: D. Morgan 1975; о КПГ см.: Fowkes, 1984; Broue 2005: ч. 2. Сравнительный анализ с другими странами см.: Carsten 1972; эссе в: Bertrand 1977; Cronin and Sirianni 1983.

Принц Макс Баденский, последний имперский канцлер, официально передал свои полномочия председателю СДПГ Фридриху Эберту, бывшему кожевнику. Двумя днями спустя Германия капитулировала.

Политический порядок в довоенной вильгельмовской Германии покоился на сотрудничестве между монархией и консервативными партиями обычно с условной поддержкой Национал-либеральной партии и/или Партии католического центра. Однако на первых послевоенных выборах упадок консерваторов, национал-либералов и внезапный подъем социал-демократов трансформировали парламентскую политику (Childers 1983: 15–49). Партия католического центра сохранила свои голоса и в первый раз высказалась за всеобщее избирательное право и сотрудничество с социал-демократами. Сдвиг католической церкви от реакции к демократии был значительной переменой в Германии. Старый порядок монарха, землевладельцев, офицеров, промышленников и консервативных политических нотаблей в качестве правящего режима, как представлялось, заканчивался.

Представители рабочих в подавляющем большинстве настойчиво стремились не к реформам, а к революции. Они расширили существовавшую в военное время систему рабочих комитетов, координировавших распределение продовольствия, жилья, пособий для ветеранов и их иждивенцев. Они стали рабочими Советами, параллельно которым существовали солдатские Советы. Большинству из них приходилось справляться с хаосом на заводах, улицах и сообществах, не преследуя никакой политической стратегии. Тем не менее они включали революционных рабочих представителей Берлина, которые готовили переворот, упрежденный провозглашением Эберта канцлером. Никто не мог быть уверен в намерениях рабочих и солдатских Советов, а многие из представителей старого режима и буржуазии боялись, что большевизм лишит их власти и собственности (можно пребывать в ужасе от серьезной угрозы, даже если у нее низкая вероятность произойти). На мгновение лишившись сил принуждения, классы собственников были готовы пойти на компромисс, чтобы избежать катастрофы.

Это вполне устраивало фракцию большинства в СДПГ, для которых обострились довоенные противоречия между марксистской риторикой и умеренной борьбой за голоса избирателей. Некоторые голосовали за военные кредиты из националистического энтузиазма, веря, что они могут быть одновременно социалистами и патриотами. Но большинство членов СДПГ голосовали за войну, веря, что в противном случае правительство их репрессирует. Затем они пошли на компромисс со старым режимом, чтобы сохранить свои организации для буду-

щей борьбы. В отличие от своих собратьев в России во время войны они были включены в государственные ведомства. После ее окончания лидеры СДПГ ухватились за представившуюся возможность. После консультаций с Партией католического центра, радикальными либералами и НСДПГ (Независимой социал-демократической партией Германии, которая откололась от СДПГ в 1917 г., заняв оппозиционную позицию по отношению к войне) СДПГ создала временное правительство и запустила процедуры создания республиканской конституции и проведения всеобщих выборов, которые давали право голоса женщинам и прекращали взвешенное по классам голосование среди мужчин. Это была политическая революция от полуавторитарной монархии к парламентской республике.

Крупные работодатели проявили инициативу, как только поняли, что монархии конец. Лишь немногие из них в военное время научились договариваться с профсоюзами, но страх перед большевизмом был их основной мотивацией, так что риторика и действия революционных социалистов сослужили добрую службу реформистам. Это был не прямой путь сверху вниз к большему социальному гражданству, который я отмечу в главе 9. Работодатели заявили, что они признают профсоюзы как представителей труда, создадут комитеты заводских рабочих и учредят биржи труда и посреднические комитеты на основе равного представительства. Взамен они просили профсоюзы согласиться на «поддержание экономики», что означало поддержание капитализма и полномочий управленцев. Через две недели представители работодателей согласились на восьмичасовой рабочий день, коллективные соглашения о заработной плате и прекращение субсидирования «аффилированных профсоюзов». Это была плата за право менеджмента управлять своим бизнесом. Работодатели «выторговали капитализму время» (Balderston 2002: 8). Эти уступки включали большую часть из довоенных программ рабочего движения, и профсоюзы пошли на эту сделку. Обе стороны хотели вновь поднять промышленность (Feldman 1966: 521–531).

Либеральная демократия, правительство СДПГ и некоторые социал-демократические меры государственной политики были установлены в течение месяца, что явилось существенным реформистским достижением обеих сторон классовой борьбы. А поскольку серьезного сопротивления не последовало, ни один из институтов старого режима, за исключением монархии, не был разрушен. Теперь лидеры СДПГ соединяли публичные переговоры с левыми (Советами, революционным движением цеховщиков и НСДПГ) относительно того, насколько глубоко социализм должен войти в основу новой республики, с частными переговорами с нотаблями старого режи-

ма. 10 ноября канцлер Эберт и НСДПГ пришли к соглашению о составе временного правительства. Они должны были иметь равное представительство в Совете народных уполномоченных под надзором Исполнительного совета, выбираемого рабочими и солдатскими Советами, что демонстрировало силу левых. Но, возвращаясь в свой дворец, Эберт был вызван на телефонный разговор с преемником Людендорфа, генералом Грёнером, основным переговорщиком с рабочими в военное время. Позже Грёнер вспоминал, что их разговор шел в таком русле: «Офицерский корпус может сотрудничать только с тем правительством, которое предпримет борьбу с большевизмом... Эберт решил на это... Мы заключили пакт против большевизма... Не существовало ни одной другой партии, которая обладала бы достаточным влиянием на массы, чтобы позволить восстановить власть правительства с помощью армии» (Wroe 2005: 169; В. Мооре 1978: 293–294; Ryder 1967: 149–164).

Таким образом, капитализм, собственность на землю, армия и государственные службы были сохранены в обмен на политическую демократию, реформы социального обеспечения и примирение в промышленности. СДПГ в любом случае была за реформы, но ее контакты со старым режимом ограничивали ее свободу для маневра в левом направлении. Решающей ареной борьбы за власть была армия. Советы солдатских депутатов хотели, чтобы вооруженные силы были более демократичными, без жесткой дисциплины и с выборным офицерством, распоряжающимся вместе с выборными комитетами. Они заявляли, что готовы сражаться для достижения этих целей и могут одолеть фрайкор (Freikorps) и прочие банды правых ветеранов, которые теперь бродили по стране. Кто будет руководить стотысячной армией, которую Версальский мирный договор официально позволял Германии сохранить, оставалось неясно. Если бы Эберт был большим радикалом, то попросил бы высшее военное командование передать ему полномочия, пока он готовит им преемника. Он также потерпел неудачу с реформой высшей государственной службы и судебной системы, которые оставались реакционной силой, часто не признававшей веймарское законодательство о социальных правах в 1920-х гг. (Mommesen 1996). СДПГ понимала экономическую власть, рассматривала политическую власть как партии и выборы и пренебрегала бюрократией, судебной системой и армией. Реформы не распространялись на эти сферы — крайне несовершенная революция даже для политической. Эберт видел в Советах солдатских депутатов не союзника, а угрозу. Лидеры большинства СДПГ не замыслили революцию, им нужна была армия и судебная система, чтобы защищаться от левых и правых.

Левые, разочарованные руководством СДПГ, обсуждали, смогут ли они организовать собственную революцию. Антивоенная позиция ультралевых социалистов, НСДПГ и некоторых Советов рабочих и крестьян пользовалась все большей поддержкой в 1918 г. — вероятно, большей, чем их социализм. Они были сильны в нескольких городах, включая Берлин, но им не хватало общенациональной организации. Чтобы это компенсировать, они постулировали, что социализм является *движением*, органически возникающим в рабочем классе, а не организацией, приданной рабочему классу извне авангардной партией. Это была линия Розы Люксембург, изложенная в ее знаменитых антиленинских памфлетах «Массовая забастовка» (1906) и «Организационные проблемы социал-демократии» (1904). Левые были сторонниками массовых забастовок как пути к революции, они также поддерживали Советы рабочих депутатов. Но, хотя левые осуждали предательство СДПГ, они не могли прийти к согласию относительно альтернативной стратегии. Когда Эберт начал действовать, они стали колебаться, внутренне раскололись и не смогли воспользоваться полномочиями, которые предположительно дало им соглашение с Эбертом. Колебания были понятны, учитывая их положение, — рьяные революционеры, но без массовой поддержки.

По мере того как Советы рабочих распространяли свою власть на политику уровня завода, улицы, сообществ, их многообразие выросло. Революционные профсоюзные деятели из металлообрабатывающих ремесел и тяжелой промышленности были в меньшей степени инкорпорированы в государство в военное время, к тому же у них был опыт в агитации на заводском и местном уровнях, но им не хватало региональной или национальной организации. Вместе с левой НСДПГ они сформировали «Союз Спартака», требовавший рабочего контроля над производством. Они видели в Советах рабочих ключевые институты грядущего социалистического общества, подобным же образом Советы рассматривались их коллегами в Австрии, Венгрии, Италии и России. Спартакисты играли важную роль в Берлине, но не на национальном уровне. Они видели события конца 1918 г. через большевистские очки: первая политическая революция установила буржуазную демократию, которая вскоре должна была быть свергнута второй, пролетарской революцией, как в России. К несчастью, их теория не соответствовала реалиям власти. Для второй революции не было массовой поддержки; большинство рабочих поддержали социал-демократов большинства на национальных выборах в январе 1919 г. Массы хотели порядка, восстановления экономики и удовлетворения традиционных требований труда по установлению максималь-

ной длительности рабочего дня, минимального размера оплаты труда, страхования по безработице и инвалидности, а также прав на самоорганизацию. Социал-демократы большинства упорно трудились, чтобы этого достичь, но на выборах СДПГ была обескуражена, обнаружив, что буржуазным партиям практически удалось вернуть себе свою довоенную силу. Последние несколько месяцев политика рабочего активизма доминировала, и СДПГ забыла, что электоральная политика выражает мнение сельских областей, среднего класса и церкви. Они советовали рабочим не требовать больше, и рабочие согласились.

Затем раскололись левые. Радикалы обладали поддержкой немногих солдатских Советов и не искали с ними союза, как только поняли, что большинство солдат — не революционеры. Им не хватало теории военной власти. Фокусируясь на борьбе промышленных рабочих на уровне производства, они считали врагом класс капиталистов. Их теория государства изображала его как капиталистическое средство регуляции и репрессии. Они не принимали во внимание полиморфную природу государства и автономию армии. Хотя было очевидно, что государство и капитализм зашаталось из-за военной катастрофы, а не в результате кризиса капитализма, теоретически революция рассматривалась ими как по большей части экономический, а не военный процесс. Однако если бы рейхсвер оставался в целости и Советам солдатских депутатов позволили бы ликвидироваться через демобилизацию, то революция была бы завершена. На самом деле игра была вскоре окончена, поскольку канцлер Эберт заключил пакт с высшим военным командованием, а левые не создали свою собственную армию. Солдаты были демобилизованы и расходились по домам, оставляя оружие. Советы солдат растаяли.

Поэтому к моменту первой общенациональной конференции делегатов Советов в декабре 1918 г. солдатских депутатов осталось совсем немного, а доминировали на ней члены Социал-демократической партии Германии. СДПГ никогда не была монолитной организацией, и левые свободно выражали свои взгляды и принимали резолюции на конгрессах (Harsch 1993). Представляется, что разделение власти с Исполнительным советом так никогда и не произошло, и НСДПГ осталась регионально фрагментированной, оказывавшей давление слева, но не сформулировавшей ясной программы. Без национальной организации оставшиеся Советы рабочих были изолированными ячейками будущей социалистической утопии, а не методом революционного управления (Mauey 1977).

Некоторые спартакисты тем не менее решили пойти ва-банк и начать вторую революцию. Они верили, что им необходимо

это сделать прежде, чем новый режим институционализируется и солдаты разбредутся по домам. Насчитывалось лишь несколько сотен спартакистов по сравнению с 25 тыс. большевиков в России в 1917 г. Массы рабочих были готовы к забастовкам или демонстрациям, но не к участию в вооруженной борьбе. В ходе непродолжительного спартакистского восстания в январе 1919 г., которое возглавили (вопреки голосу разума) Карл Либкнехт и Роза Люксембург, НСДПГ колебалась и обеспечила мало поддержки. Большинство Советов рабочих остались на стороне СДПГ, образовав защитные кордоны вокруг общественных зданий. Правительство СДПГ позволило офицерам из лояльных частей армии расправиться с восставшими. Они изувечили, а затем убили Либкнехта и Люксембург и рассеяли прочих левых (Вроуе 2005: глава 12). Это было кровавое фиаско, которое не стоит романтизировать; это было глупо и только повредило делу прогресса.

Разъяренные предательством революции со стороны СДПГ уцелевшие ультралевые сохранили оптимизм относительно того, что недовольство рабочих может быть трансформировано в революцию. Они вступили в Коммунистическую партию, КПГ, образованную незадолго до спартакистской попытки переворота и теперь сменившую НСДПГ в качестве основной левой партии. СДПГ была прежде всего электоральной организацией, осведомленной о голосах среднего класса и женщин, появившихся благодаря установлению всеобщего избирательного права. Руководство СДПГ не хотело, чтобы большевизм распугал их, и было уверено, что большинство женщин будут голосовать за центристов и правых. На первых выборах в январе 1919 г. СДПГ получила как никогда много голосов (38%), но была вынуждена формировать коалиционное правительство с Католическим центром и либералами. Социал-демократы были готовы оставить левых, чтобы снискать расположение центра; эта электоральная стратегия имела широкий успех. К 1924 г. 46% голосов СДПГ были женскими, такая пропорция сохранялась до самого конца; до 1930 г. от 30 до 40% голосов СДПГ были голосами людей, не занимавшихся ручным трудом (Hunt 1970: 111–148).

Подавление ультрарадикалов со стороны СДПГ стабилизировало государство, восстановило доверие среднего класса и сберегло демократию. СДПГ также оттолкнула левых, и некоторые рабочие ушли в НСДПГ, а затем в КПГ. На вторых республиканских выборах 1920 г. доля голосов СДПГ упала до 22%; доля НСДПГ выросла с 8 до 18%. СДПГ восстановила электоральное превосходство, но, чтобы править, ей нужна была буржуазная поддержка. В 1919 и 1920 гг. забастовки стали более политизированными, особенно в промышленном Руре, который

до сих пор не был революционным центром (Tampke 1978; Geary 1981; В. Мооре 1978: 227–353). Это привело к Рурскому восстанию 1923 г. под предводительством руководства КПП, которое Бруи (Вроуе 2005: 709) назвал «беспрецедентной предреволюционной ситуацией... немецким Октябрем», поскольку инфляция и безработица устранили классовые различия. Так называемая Красная армия Рура, вероятно, насчитывала более 50 тыс. рабочих (В. Мооре 1978: 328). Но координация была минимальной, большинство рабочих не сражались, и никто их не вооружил. Троцкий, который также полагал, что это была революционная ситуация, сожалел о военной некомпетентности КПП (Вроуе 2005: 900). Незрелые революционные проекты, подавленные государством, которое отчасти состояло из представителей СДПГ, способствовали кровавой борьбе между социалистами и коммунистами, что через десять лет подорвало возможность единого левого противостояния нацизму.

Было уже слишком поздно: момент максимальной политической возможности (восстание спартакистов) имел место за год до момента максимального разочарования рабочего класса в реформизме СДПГ. Теперь уже Веймарская республика и капитализм были полуинституционализированы, и то же было с расколом в рабочем движении. Высокоорганизованная социалистическая партия и главная федерация профсоюзов защищали буржуазную республику как путь к социальным реформам и потенциально, как провозглашалось, к «эволюционному социализму». Бруи (Вроуе 2005: 168) приходит к заключению о фундаментальном отличии от России, предотвратившем революцию в Германии: немецкая буржуазия оставалась сильной, пишет он, поскольку имела в своем распоряжении два дополнительных инструмента — поддержку массовой социалистической партии и офицерский корпус «редкого качества». Все это также предполагало расколотый рабочий класс, чего не было в России, но буржуазия не была столь уж едина, как предполагает Бруи. Значительная ее часть не хотела компромисса с СДПГ в ходе послевоенного кризиса, и, когда опасность слева пошла на убыль в середине 1920-х гг., эта фракция буржуазии вновь утвердилась и была на пути к фашизму. Либералы, католики и промышленники продемонстрировали тактическую проницательность, приобретенную в ходе послевоенного кризиса, идя на жертвы ради выживания. Это было важно, чтобы избежать судьбы их коллег в России. Они тем самым предотвратили революцию.

Поражение этой революции в определенном смысле было предопределено. Тому было четыре основные причины, каждая из которых делала успешный исход революции маловероятным. Во-первых, имел место крупный раскол в рядах рабоче-

го движения, который резко контрастировал с большевиками. Поскольку реформистскому крылу рабочего движения удалось захватить власть и успешно провести реформы, среди рабочих оно было гораздо популярнее, чем революционное крыло. Во-вторых, когда монархия была ликвидирована, господствующие классы остались едиными и (в первый решающий период) прагматичными. Они пошли на компромисс с социалистами-реформистами и таким образом уцелели; позднее они откажутся от этой сделки. Это походило на стратегию большевиков. В-третьих, не было ни традиции крестьянских восстаний, ни заметных признаков недовольства среди сельского населения. Альянс между городскими промышленными активистами и крестьянами был невозможен, хотя эта причина была менее важной, чем в других странах, поскольку Германия была значительно более промышленно развитой и менее аграрной страной по сравнению с другими. В-четвертых, решающей причиной было неучастие в восстании армии. Лишь немногие левые были вооружены, но то же можно было сказать о фрайкоре (Freikorps) и отрядах армии, автономию которых гарантировал канцлер Эберт. Это означало, что революционеры не могли достичь и первого этапа революции — успешного захвата столицы и ее правительственных зданий. Четвертый фактор был следствием не такого окончания войны, как в России, — поражения, сопровождавшегося демобилизацией. Именно это, а также разногласия между социалистами сыграли важнейшую роль в поражении революции в Германии.

АВСТРИЯ: НЕУДАВШАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА²

Поражение Австро-Венгрии принесло распад монархии на национальные государства и революционную турбулентность в обоих бывших столицах — Вене и Будапеште. Теперь Вена стала столицей маленькой страны под названием Австрия, населенной преимущественно немцами. Две ее буржуазные партии — Христианско-социальная и Немецко-национальная — состояли в оппозиции режиму Габсбургов, а потому не были вовлечены в военное поражение, как их консервативные коллеги в Германии. Они доминировали в сельской местности и средних классов. Крупная Социалистическая партия (СПА) была сильна в Вене и среди рабочего класса в городах. К 1921 г. социалистические

2. В этом разделе я опираюсь на: Carsten 1972; Gulick 1948; эссе в: Rabinbach 1985; Zeman 1961: 134–138.

профсоюзы приняли в свои ряды 59% несельскохозяйственной рабочей силы — очень высокая доля для того времени. В городском промышленном секторе австрийские социалисты были гегемоном. Им также удалось оставаться относительно едиными и после. Как и везде, вторая промышленная революция и война стимулировали революционное движение цеховщиков и левую социалистическую фракцию, но они предпочли влияние внутри Социалистической партии Австрии авантюризму вне ее. В отличие от Германии здесь социалисты не сталкивались с множеством подрывных радикалов или коммунистов, конкурировавших на левом фланге. По сравнению с немецкими коллегами это была более марксистская партия, и ее ведущий теоретик Отто Бауэр был более левым, чем его немецкие коллеги. Это поддерживало сплоченность партии и определенную долю ее идеологической власти (считалось, что агрессивный реформизм обещает совсем иное будущее), но имел место прочный национальный баланс власти между левыми и правыми. Ни одна из сторон не могла пересилить другую. До 1920 г. они осторожно работали вместе над установлением демократической республики.

Австрийские социалисты имели одно преимущество в сравнении со своими иностранными товарищами. Когда мультинациональная армия Габсбургов распалась, большинство ее офицеров тотчас же отправились в свои национальные государства. Поэтому в Вене военная командная структура по большей части исчезла, оставив Советы солдатских депутатов основными военными единицами, оставшимися в городах. СПА воспользовалась этой возможностью, возглавив реструктуризацию вооруженных сил, а также государственных служб. Социалисты также сформировали хорошо подготовленное военизированное формирование Шуцбунд для защиты своего ключевого электората. В городах это означало способность противостоять попыткам коммунистических переворотов в апреле и июне 1919 г., используя собственные ресурсы. Сельские области, напротив, находились под надежным контролем правых и их хеймвера («Союза защиты родины») — военизированных отрядов, сформированных из правых ветеранов.

Бауэр пытался стать первопроходцем между капитализмом и социализмом с целью создания устойчивого зародыша социалистических институтов и культуры в оболочке капиталистического общества. Примером являлась «Красная Вена», где агрессивное реформаторство осуществлялось на рабочем месте, в обществе и электоральной политике путем образовательных программ и программ социального обеспечения, развития местных общественных структур и жилищных субсидий для бедных. Благодаря им в Вене было достигнуто существенное экономи-

ческое перераспределение, хотя они также вызвали отчуждение значительной части капиталистического среднего класса (J. Lewis 1983). В некоторой степени эта идеология коренилась в обществе, тем не менее все это по большей части ограничивалось столицей страны, которая не была столь же урбанизирована или индустриализирована, как Германия. Что касалось выборов, СПА не могла набрать достаточного количества голосов среднего класса и крестьян, поэтому после 1920 г. она оказалась в оппозиции. Одним из последствий стало то, что официальные вооруженные силы страны оказались под контролем правых.

Бауэр верил, что эти ограничения были результатом баланса классовых сил в стране. В краткосрочной перспективе он рассматривал консерватизм как слишком сильный, чтобы отбросить его по всей стране. Поэтому социалистам следовало превратить свои ключевые округа в неприступные бастионы. Партийная Линцская программа 1927 г. была нетипичной для Социал-демократической партии, открыто заявляя, что в определенный момент в будущем для защиты от буржуазных атак могут потребоваться вооруженные силы. В долгосрочной же перспективе, утверждало руководство СДП, партия может продемонстрировать превосходство своего муниципального социализма, институтов и культуры для большинства австрийцев. Через образование и просвещение (*Bildung*) социализм мог победить (Rabinbach 1985). Но бауэровский баланс власти означал, что у партии, как и у других социалистических партий этого периода, отсутствовала аграрная организационная стратегия. Существовала уверенность, что пример Вены, а не прямая сельская мобилизация сможет привлечь крестьянство.

Вопреки нормальному сокращению численности профсоюзов в 1920-х гг. австрийские профсоюзы по-прежнему включали 34% несельскохозяйственной рабочей силы в 1931 г., голоса социалистов были стабильными, и в течение десятилетия город все еще оставался под военной защитой Шуцбунда. Но в конечном итоге социалисты все-таки уступили более могущественным вооруженным силам армии и милиции Хеймвера, которые были подконтрольны консерваторам среднего класса и села. В итоге пессимизм лидеров погубил партию. Шуцбунд не использовал для самозащиты от все более авторитарных и даже фашистских правых, сопротивляясь призывам левых и молодежного движения сражаться, пока не стало слишком поздно. Вместо этого они пытались прийти к компромиссу с правыми, уступая демократические институты корпоративизму, тщетно надеясь, что в Австрии уцелеют определенные основы демократии и муниципального социализма. Позднее в изгнании Бауэр признал свою ошибку: партийное руководство, писал он, должно было

призвать к всеобщей забастовке, мобилизовать Шуцбунд и бороться против фашистов в марте 1933 г. Тогда бы у них был шанс победить, но партия покорно подчинилась, предоставляя лишь немногим из ее более энергичных активистов предпринять попытку официально не одобренного партией восстания, которое было подавлено. Восстание произошло в Линце, родном городе Гитлера (Манн 2004: 232). После 1933 г., когда фашизм стал подниматься и Гитлер бросил свой алчный взгляд на страну, австрийцам стало трудно следовать собственному пути. Гитлер уничтожил социалистов в 1938 г.

Тем не менее в данном случае социалисты значительно приблизились к своей цели — агрессивному реформаторству, а не революции большевистского толка. Рассмотрим те же четыре фактора, что и в Германии. Во-первых, в отличие от Германии здесь не было столь же решительного раскола в рядах левых, хотя они были нацелены не на революцию, а на первый реформистский этап, за которым, по убеждению теоретиков или в их надежде на это, должна была последовать постепенная эволюционная трансформация общества. Во-вторых, как и в Германии, когда монархия пала, господствующие классы и церковь остались едиными, создав своего рода патовое положение в классовом конфликте. В-третьих, как и в Германии, деревня была преимущественно консервативной, в целом поддерживая церковь и господствующие классы, создавая что-то вроде пата между левыми и правыми. Поскольку по сравнению с Германией Австрия была более крестьянской страной, это смещало общий баланс сил вправо. В-четвертых, учитывая дезинтеграцию старой имперской армии, также было что-то вроде патовой ситуации между левыми и правыми вооруженными формированиями, но рост австро-фашизма и нацизма сделал правых более решительными в использовании военизированных сил, чем более мягких левых. Революция большевистского толка никогда не стояла на повестке дня, но патовая ситуация была относительно предопределена, и ее финальным итогом стал триумф фашистской Воли.

ВЕНГРИЯ: РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ³

Венгерские элиты доминировали в юго-восточной половине дуалистической монархии Габсбургов. Имело место военное поражение, как и в Австрии. Буржуазные партии не были ском-

3. Этот раздел описывается на: Carsten 1972: 238–246, Tokes 1967; Janos and Slottman 1971; Eckelt 1971; Vermes 1971.

прометированы участием в старом режиме, и вместе с социалистами они сформировали переходное коалиционное правительство. Армия распалась, оставляя солдатские Советы в качестве нетронутых военных единиц в столице. Венгрия потерпела военное поражение в борьбе с малыми соседними государствами, поддерживаемыми Антантой, которая предложили лишить Венгрию половины ее довоенных территорий. Венгры ожидали, что возглавляемое либералами правительство графа Каройи отговорит Антанту от этого, но Каройи потерпел военное поражение на границах. Режим утратил свою власть, и Будапешт в основном управлялся Советами рабочих и солдатских депутатов, венгерская армия была не в состоянии закончить войну почетным миром. Это напоминало Россию.

Рабочее движение раскололось на три основные фракции. Социалистическая партия от предвоенного ничтожества в экономически отсталой стране продвинулась до министерских постов. Не будучи инкорпорированными в отношения политической или экономической власти (в отличие от немецких социалистов), венгерским социалистам не хватало реформистской практики, к тому же они были относительно открыты левачеству. Одна из отколовшихся фракций сформировала коммунистическую партию, а венгерские военнопленные и изгнанники заразились большевизмом в России. Они возвратились в ноябре 1918 г. под умелым руководством Бела Куна как небольшая военнизированная партия. Расширение военной промышленности создало среди квалифицированных металлургов революционное движение цеховщиков в Будапеште. Вместе с солдатскими Советами они контролировали фабрики и улицы. Коммунисты Куна были весьма динамичными — им удалось завербовать множество левых из социалистической партии в качестве членов или сторонников. Две партии стали частично совпадать. Тогда Кун и прочие лидеры коммунистов были заключены в тюрьмы коалиционным правительством. Все выглядело так, как будто события принимают германский оборот: раскол, социалистическая партия продается, беспорядки на улицах и левый авантюризм.

Тогда Каройи отправил в отставку неэффективное правительство и пригласил социалистов сформировать новое. Без его ведома социалисты и коммунисты запустили процесс объединения в единую Венгерскую социалистическую партию, и в итоге он получил правительство, где доминировали коммунисты, хитроумно ведомые Белой Куном. Отвечая на давление с улиц Будапешта и веря Куну, считавшему, что русская армия придет на помощь в марте 1919 г., социалисты провозгласили Венгерскую Советскую Республику с Куном в качестве министра

иностранных дел, но на самом деле закулисного лидера. Новый режим быстро сместил Каройи с президентской должности. Обещание Куна восстановить довоенные границы Венгрии, сделав ее федерацией самоуправляемых этнических областей, принесло ему народную популярность и поддержку некоторых патриотически настроенных офицеров. Буржуазные партии бежали в сельскую местность, где к ним присоединились помещики и стали вести переговоры с вторгшимися словацкой, сербской и румынской армиями.

Могло даже показаться, что революция на пути к успеху, и в течение четырех месяцев режим просуществовал, его фракционализация сдерживалась необходимостью в защите. Наскоро была собрана и успешно брошена в бой против словацких сил Красная армия, но режиму не хватало ресурсов, и его делу повредила программа аграрной коллективизации, тогда как крестьяне хотели собственной земли. Сельская местность испытывала еще большее отчуждение по отношению к идеологической приверженности режима тотальной трансформации. Это особенно касалось антирелигиозной кампании (поскольку проще было сконцентрироваться на обширных церковных землях) и рыскавших везде вооруженных отрядов, применявших красный террор против всех, кто оказывал им сопротивление. Венгрия была самой аграрной страной из всех центральноевропейских стран. Имело место определенное крестьянское недовольство; союз рабочих и крестьян был возможен, но эта возможность была упущена из-за ортодоксально-марксистских взглядов режима на производство (Tokes 1967: 185–188, 193, 195; Eckelt 1971:82–87). Революция также предприняла попытку основательных идеологических и культурных реформ — министром образования был марксистский интеллектуал Дьердь Лукач. Венгерской революции также было присуще кредо религий спасения, но его действие ограничивалось Будапештом, а Совет даже не мог обеспечить снабжение армий, столкнувшихся с превосходящими силами в сельской местности. Режим рассчитывал на помощь России или революционеров соседних стран, но этого не произошло. В России большевики были слишком заняты Гражданской войной, а прочие революции погасли. 2 августа 1919 г. Венгерская Советская Республика пала, когда наступавшая румынская армия нанесла поражение Красной Армии. После короткого этапа умиротворяющего правления белые репрессии начались в полную силу. Употребляя свирепую антиеврейско-большевистскую риторику (поскольку 20 из 26 министров и заместителей министров Куна были евреями), белый террор убил в десять раз больше людей, чем красные. Для социалистов все было кончено. Большинство восстав-

ших поплатились собственными жизнями — Бела Кун позже, в Советском Союзе.

В данном случае проблема раскола в рядах левых или недостатка их идеологической сплоченности остро не стояла. Во-первых, венгерские коммунисты, как и большевики, строго придерживались марксизма как религии спасения, но это оттолкнуло от них большую часть населения за пределами Будапешта, включая крестьян, колеблющиеся голоса которых были ключевыми. Во-вторых, враг был также един, подпитывался страхом к большевизму, учитывая, что его идеологической основой была церковь. В-третьих, хотя венгерские армии потерпели крах в конце войны и первоначальный баланс военной власти между двумя сторонами лишь незначительно склонялся вправо, решающее значение оказала иностранная контрреволюционная интервенция. Она не оставила шансов революционерам. Фундаментальная слабость заключалась во взаимодействии с крестьянством. Мстившие сельские армии растоптали городские анклавы социализма. В Венгрии отношения между поражением в войне и неудавшейся революцией привели к более драматичной развязке.

КРАТКАЯ ЗАМЕТКА ОБ ИТАЛИИ

Наконец, Италия — промежуточный случай того, что касалось войны и революции, и это служит подтверждением моей общей модели. Номинально в войне она вышла победителем, тем не менее ее армии были разбиты австрийскими войсками. Поскольку Италия воевала на стороне победителей, ее правительство и армия сохранились без изменений. Там не было Советов солдатских депутатов, а только дезертиры и озлобленные ветераны. Мятежная риторика была слышна из обоих лагерей — слева и справа, но старый режим не был ослаблен. Она также испытала половинчатую революцию: имели место массовые забастовки и захваты фабрик, но левые не предпринимали попыток захватить государство. Но захваты фабрик не распространились за пределы ядра рабочего класса, и движение выдохлось. Бывший социалист Муссолини, который действительно обладал политической стратегией, вооруженными формированиями и симпатией многих армейских офицеров, государственных служащих и капиталистов, с интересом наблюдал за неудавшейся революцией. В военном отношении левые были слабее и государственных сил, и фашистских вооруженных формирований, и это было решающим фактором случившегося исхода. Государство научилось на примерах падения царизма и Времен-

ного правительства в России, а фашисты переняли свою организацию у большевиков. Итальянские социалисты не были еще обречены (для этого требовались решительные действия фашистов), но их положение было незавидным (Lyttleton 1977; Williams 1975).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта глава посвящена анализу революции и попыток революций в период 1917–1923 гг. На этих примерах мы видим, что национализм не просто взял верх над классовым сознанием. Революционеры успешнее действовали там, где могли возглавить народ, соединяя национализм с классовой моделью общества. Мы также видели намеки на это в реформистских рабочих движениях, рассмотренных в этой главе, но их слияние произойдет позже, как мы убедимся в главе 9. На самом деле там, где классовый конфликт оставался наиболее подавленным, как в Соединенных Штатах, национализм был довольно слаб. Класс и нация продолжали расти бок о бок.

Практически повсеместно революционная турбулентность стала следствием поражения в Первой мировой войне. Италия, не вполне побежденная, испытала меньшую турбулентность, чем другие страны. Испания, нейтральная страна, была исключением. Была ли связь между военным поражением и революционной турбулентностью корреляционной или причинно-следственной, или она была ложной, вызванной другими, более глубокими причинами? Потерпевшие поражение державы уже были менее демократичными. Ускорило ли это их поражение, сделало ли более уязвимыми для повстанцев? В предыдущей главе я отвергаю связь между демократией и исходом войны, но есть более слабая версия этого аргумента. Три государства были потенциально менее устойчивы к поражению. В России, Германии и Австро-Венгрии армия играла центральную роль в стабильности режима. Монархи, их родственники и протеже были правительством и высшим военным командованием, при их дворах и в правительствах доминировала военная униформа. Если их армии терпели фиаско, то же происходило с монаршими правительствами. Подобного тождества не было в Британии, Франции, Италии или Соединенных Штатах. Политических лидеров можно было менять без ущерба для легитимности государства в целом. В то время как деспотические политические режимы могут разрушиться или выстоять в зависимости от результата войны, парламентские демократии могут заменять одну правящую партию другой.

Степень сотрудничества между капиталом и государством в подавлении рабочих и крестьянских протестов также варьировалась. Одной крайностью была Россия, где тяжелая рука государства господствовала в отношениях труда и капитала. Затем шла Германия, за ней Австро-Венгрия, Италия, Франция и Британия. Соединенные Штаты были более сложным случаем с репрессированием труда, но его осуществляло в меньшей степени федеральное правительство, чем правительства штатов и суды. Но если русское государство терпело поражение в войне, русский бизнес обладал меньшим количеством автономных ресурсов власти, чтобы расправиться с радикальными рабочими, чем бизнес в потерпевших поражение Германии или Австрии, меньшим количеством автономных ресурсов, чем в Италии, Франции и т. д. Капитализм некоторых режимов был более уязвимым, чем в других. Германия, Австрия и Россия потерпели поражение в войне не потому, что они не были демократиями, но, как только они его потерпели, они стали более уязвимы для революции. Это могли быть и экономические, и политические революции, направленные против класса капиталистов в той же степени, в какой и против государства, поскольку во время войны последние в одинаковой степени эксплуатировали массы.

Лишь в России произошла успешная революция. В Германии, Австрии и Венгрии военное поражение плюс большевистская революция создали попытки революции, которые потерпели поражение. В Италии неудачная война создала меньше революционной турбулентности. Военное поражение уничтожало большую часть государственной организации, вынуждало капитализм оступиться и придавало смелости социалистическому движению, мобилизующему рабочих, но недостаточному для успеха революции. Военное вторжение и поражение в обеих мировых войнах вели к успешным революциям (в России и Китае); большие военные жертвы, за которыми следовало поражение или огромная разруха, но без иностранного военного вторжения приносили короткий период революционной турбулентности и неудавшейся революции. Как мы видим в главе 9, когда за военными жертвами следовала победа, капитализм и старые режимы реформировались, модернизировались и усиливали демократическое гражданство. Страны-победители не сталкивались с революционной турбулентностью, хотя все они испытали волны забастовок, направленные на выбивание реформ из государства и работодателей. Это также происходило в большинстве нейтральных стран. Все нейтральные Скандинавские страны испытали события, сходные с реформистской борьбой в Британии и Франции. Крайним случаем была Швеция в 1917 г., когда гарнизонные полки шли бок о бок с протестующими рабо-

чими, но они не несли с собой оружия — демонстрации проходили мирно, и их основным результатом было создание легальнойлевой социалистической политической партии.

Революционная турбулентность была сильнее после Первой мировой войны, чем после Второй мировой. В Первой мировой войне основные государства, потерпевшие поражение, не были оккупированы или не находились под контролем стран-победителей. Германская и австро-венгерские армии капитулировали почти повсеместно на чужой земле. Лишь символические силы победителей вступили на их территории. Части территории Османской империи действительно были оккупированы или отошли к другим государствам, хотя турецкие силы сохранили контроль над анатолийским центром, что оказалось менее благоприятным для революции, чем для реформы. Но в 1945 г. победители захватывали территорию побежденных держав, включая Японию, чтобы установить удовлетворявшие их интересам новые режимы. Победители обеспечивали триумф реформ над революцией. Некоторые страны испытали более сложную последовательность сотрудничества режимов со странами «оси» (нацистского блока), поражение их сил и затем «освобождения» частично внутренними, частично иностранными силами. Эти страны были отчасти свободны сами выбирать собственные режимы, поэтому три из них видели некоторую ограниченную турбулентность: Бельгия — в 1945 г., Франция — в конце 1947 г. и Италия — в 1949 г. В Греции в двухэтапной гражданской войне (декабрь 1944 — январь 1945 г. и 1946–1949 гг.) сражалось консервативное правительство, поддерживаемое Британией и Соединенными Штатами, и греческая Коммунистическая партия. Без вмешательства американских и британских сил эти случаи могли бы стать более бунтарскими, а Греция могла покориться коммунистам. Мы убедились, что войны с массовой мобилизацией всегда оказывали важное воздействие на классовые отношения, но сам эффект этого воздействия различался в странах-победителях, побежденных и нейтральных в зависимости от местного баланса классовых сил, в том числе в более революционных случаях в зависимости от баланса военной власти.

В Германии, Австрии и Италии после Первой мировой войны революции потерпели поражения потому, что условия, существовавшие в России, там не были столь же ярко выражены. Это касается трех групп, которые составили революционное движение в России (солдаты, крестьяне и рабочие) и были противопоставлены господствующим классам и элитам. Имело место несколько причин успеха или поражения. Во-первых, во всех перечисленных случаях промышленный рабочий класс и его лидеры (часто из интеллектуалов) вели революционную

и реформистскую борьбу; господствующие классы представляли собой оплот сопротивления. Во-вторых, идеологическая и политическая сплоченность левых была слабой. Разделение на фракции наиболее отчетливо проявлялось в Германии и Италии и распространялось вплоть до рядовых членов профсоюзов. В Германии реформистская СДПГ решила прибегнуть к помощи правых военизированных формирований, чтобы подавить собственных левых, то же самое Керенский и его союзники, умеренные социалисты, стремились предпринять в России. Но в отличие от Керенского СДПГ обладала существенной поддержкой среди рабочих относительно правомерности этих действий. В Италии отколовшиеся фракции социалистической партии и синдикалистов сформировали фашистские партии. В-третьих, за исключением России и Венгрии, среди левых доминировали реформаторы, а не революционеры. Верность марксистскому кредо спасения с очевидностью стимулировала решимость революционеров в России и Венгрии, но лишь большевики объединили эту решимость с краткосрочным прагматизмом, ориентированным на непредсказуемое течение событий. В-четвертых, сплоченность и инфраструктурная власть правящего класса также играли важную роль. Правящий режим в России не был так уж сильно разбит на группировки до тех пор, пока войны и развернувшиеся революционные процессы не раскололи его на части. Более важным было то разрушительное воздействие, которое война оказала на инфраструктурную власть режимов: они не могли накормить города или обеспечить снабжение армии. Обратное было верно в других странах, где подрыв инфраструктурной власти в конце войны и дезинтеграция монархий привели к тому, что массовое недовольство вылилось на улицы, но правящие классы быстро восстановили свою сплоченность, опасаясь, что произошедшее в России может повториться вновь. Из глобального потока классовой борьбы обе стороны извлекли для себя уроки, но капитализм был сохранен, его спасти помогли умеренные социалисты.

В-пятых и в-шестых, я подчеркивал роль солдат и крестьян. Что касалось солдат, то в этом отношении отличие России было ключевым. Русские солдаты восставали в ходе войны, сохраняли свое оружие и применяли его в интересах революции. Во всех остальных случаях подобные действия солдат происходили в конце войны, незадолго или во время демобилизации. В странах-победительницах, в отличие от побежденных стран, события не принимали дурного оборота, но демобилизация обезвреживала коллективное действие и давала солдатам лучшую возможность — возвратиться домой, сдав оружие. Формировались добровольческие вооруженные отряды, но это происходи-

ло преимущественно справа, а не слева. Там, где социалисты все-таки сформировали вооруженные отряды, например в Австрии и позднее в Германии, они все еще не были готовы убивать людей. За исключением Венгрии, социалисты были слишком добры к другим в ущерб себе в отличие от фашистов, которые не щадили других, преследуя свои цели, что в конце концов также вышло им боком. Офицерские корпуса и правые военные отряды подавили революционеров. На самом деле даже в России социалисты не начали применять революционное насилие, поскольку свой путь к власти они проторили, следуя по пятам оставших солдат. Хотя марксисты использовали звучавшую насильственно риторику классовой борьбы и революции, на тот момент у них не было актуальной военной теории, что было любопытным упущением революционного движения. Эта теория была разработана Троцким во время Гражданской войны в России и Мао после шанхайской резни 1927 г.

Что касалось крестьян, то обстоятельства их участия в революциях также различались. Аграрные трансформации были начаты прежде и теперь институционализировались. Нигде крестьяне не были настолько подвержены пропаганде левых, как в России, и конфликт между сельским и городским населением был столь же вероятен, как и солидарность. Медленная индустриализация и урбанизация имели своим результатом более потомственный пролетариат и большие идеологические различия между городом и сельской местностью. Во время войны нехватка продовольствия обострила конфликт между городом и селом. Крестьяне выступали за высокие цены на их продукцию или за черный рынок; горожане хотели строгого контроля за ценами и карточную систему. Солдаты крестьянского происхождения возмущались освобождением промышленных рабочих от участия в войне, поэтому, когда революционная турбулентность разразилась в Центральной Европе, крестьяне редко принимали в ней участие. В этих странах более половины населения и более половины личного состава армий составляли выходцы из сельской местности. Консерваторы держались за свои сельские базы и одолели городских повстанцев. В одном из крайних случаев в Венгрии отсутствие крестьянской поддержки было, вероятно, достаточной причиной поражения революции, поскольку она была страной с наибольшей долей сельского населения. В промышленной Германии крестьянской поддержкой предположительно можно было пренебречь. Возможно, полные решимости революционные лидеры могли откупиться от крестьян, как в России, но эта стратегия пришла в голову большевикам только после того, как крестьяне уже начали захватывать землю. Социалистические партии Централь-

ной Европы ориентировались на промышленность. Крестьяне попадали в зону их внимания только как солдаты, как вероятный инструмент их подавления. Они были правы, но именно такой подход и позволил использовать крестьян как средство их подавления.

Эти неудавшиеся революции продемонстрировали, что, даже когда силы рабочего класса возросли в результате военного поражения государства в войне, они гарантированно не достигли революции. Это не было всего лишь следствием общей логики развития капитализма. Успехом большевистская революция была обязана внезапному вмешательству в военные и политические отношения власти, но это ввело в заблуждение левых в остальном мире, заставив преувеличивать свои революционные шансы. Все могло бы сложиться иначе, мобилизуй они поддержку эксплуатируемых сельских слоев, хотя это было заведомо сложно. Но без крестьянской поддержки в условиях раскола среди самих рабочих, когда оружия в руках революционеров было меньше, чем у правых военных, поражение революций было предreshено. Затем это привело к дальнейшему поражению, поскольку половина Европы впервые обратилась к новым формам правого деспотизма, известным как фашизм. Там в отличие от России победила не революция, а контрреволюция. По всему миру набор идеологических альтернатив существенным образом расширился: социализм, либерализм и профашистский авторитаризм представляли собой предположительно реализуемые утопии. Глобализация постепенно становилась менее расколотой и более универсальной, хотя также и полиморфной.

ГЛАВА 7

Полуглобальный кризис: интерпретация Великой депрессии

ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕЛИКАЯ депрессия была вторым главным потрясением, которое поразило мир в XX в. Этот кризис, подобно Первой мировой войне, был полуглобальным, к тому же на этот раз он был по сути транснациональным, сокрушающим границы государств и империй, сеющим на протяжении более чем десятилетия хаос в половине экономик мира. В этой главе мы рассмотрим негативную дезинтегрирующую глобализацию.

Государства отвечали на кризис попытками некоторого отстранения от глобальной экономики, усилением национально-государственных «клеток». Поскольку его эпицентром были ставшие на тот момент крупнейшей экономикой мира Соединенные Штаты, я сфокусируюсь преимущественно на них. По сравнению со всеми прочими капиталистическими рецессиями Великая депрессия по своей глубине и продолжительности была чем-то из ряда вон выходящим и на тот момент воспринималась как кризис самого капитализма. Левые ликовали, ошибочно рассматривая ее как начало предсмертной агонии капитализма, но подобное же представление об этом кризисе было широко распространено среди самых рьяных приверженцев капитализма — инвесторов и предпринимателей, консервативных политиков и экономистов. Они призывали к серьезным усилиям для спасения капитализма, и в конце концов после серий политических компромиссов между правыми и левыми капитализм был спасен благодаря изменению к лучшей, более регулируемой социально-демократической или «либ-лаб» разновидности капитализма, подразумевающей социальное гражданство для всех.

Поскольку депрессия была экономическим феноменом, логично предположить, что ее основные причины лежали в предшествовавших ей отношениях экономической власти. Большинство экономистов идут гораздо дальше, рассматривая экономики как преимущественно закрытые системы, управляемые рацио-

нальными акторами, которые порождают рынки, где законы дефицитных экономических ресурсов, спроса и предложения бесконечно приводят их к равновесию, прерываемому экономическими циклами. Кейнсианцы несколько модифицируют это, не рассматривая краткосрочное движение к равновесию в качестве чего-то необходимого, хотя и полагают, что в долгосрочном плане равновесие будет восстановлено. Экономисты марксистского толка оспаривают всякое равновесие, заменяя его функциональной альтернативой системных противоречий. Ни одна из этих позиций не является полным вздором. На самом деле, когда экономисты применяют свои системные модели к реально существующим экономикам, они составляют краткосрочные экономические прогнозы, зачастую верные значительно более чем в 50% случаев, что выше соответствующего уровня достоверности прогнозов, которого удалось достичь другим социальным наукам. Экономистам действительно удалось развить довольно хорошее понимание краткосрочных экономических циклов.

К сожалению для них, современное экономическое развитие предполагает всплески роста и кризисы, которые выходят далеко за пределы нормальных циклов. Серьезная депрессия случилась в 1870-х гг., еще одна — в 1929 г., затем великий экономический бум после Второй мировой войны и, наконец, Великая рецессия, начавшаяся в 2008 г. Это были уже не просто циклы: они были слишком крупными и испытывали влияние структурных изменений в экономике, хотя и различным образом. Тем самым они представляли две большие проблемы для конвенциональной экономической теории: одна происходила изнутри экономических отношений власти, другая — извне.

Внутренняя проблема состоит в самой сложности экономик. Производство, продажа и потребление товаров, то есть функционирование рынков, включает множество фаз человеческих действий. Большинство экономистов (и большинство марксистов) убеждены в том, что между этими фазами может быть выделен определенный комплекс отношений. Их идеалом является создание математического уравнения, объединяющего все отношения, но взаимосвязи между ними могут не поддаваться точному определению. В теории предложение должно равняться спросу, но только подумайте о всех фазах и акторах, вовлеченных в великую цепь между ними: инвесторы, изобретатели, рабочие, предприниматели, потребители, владельцы сбережений плюс все лоббисты, общественные движения и правительства. Внутри экономики все они взаимосвязаны, но не совершенным образом. Они составляют длинную причинно-следственную цепь, каждая часть ее с различными причинно-следственными ответвлениями, которые могут быть не синхронизированы друг

с другом. В нормальные моменты времени большинство этих связей достаточно скоординированы, чтобы создавать несовершенным образом функционирующую капиталистическую экономику, но вполне достаточным для того, чтобы производить приблизительное равновесие и экономический рост. Когда одна из фаз экономического цикла не работает достаточным образом, это обычно и называется кризисом, например избыточное накопление капитала или недостаточный спрос. Вклад любого фактора может быть или слишком большим, или слишком маленьким для ровного функционирования. После Второй мировой войны миру хорошо знакомы трудности установления баланса между спросом и предложением, в силу которых экономика раскачивается между сокращением прибыли капиталистов и недопотреблением рабочих. Подобным образом запаздывающие технологические инновации могут вести к промышленной стагнации или же, напротив, могут быть слишком быстрыми, ведущими к замене трудоемких отраслей капиталоемкими, увеличивающими безработицу и снижающими потребительский спрос. Нормально функционирующую капиталистическую экономику можно рассматривать как процесс нащупывания середины на каждой фазе деятельности, избегающий переизбытка и недостатка. И этому процессу далеко до того, чтобы быть рецептом постоянного равновесия.

Модели экономистов могут справиться с кризисной спецификой на любом отдельном этапе, они даже могут предложить решение (или по крайней мере временное решение), но намного более крупный структурный кризис не следует рассматривать в качестве более крупного специфического кризиса или отдельно взятого системного кризиса. Напротив, это цепь из множества более случайных кризисов, разразившихся в силу вскрытия более неожиданных слабостей на других фазах экономического цикла, создающих некое подобие «идеального шторма» капитализма. Кризис в сельскохозяйственном производстве может вскрыть неожиданную слабость сельскохозяйственных банков; стремительные технологические инновации могут вести к переизбытку инвестиций, которые вскрывают слабость фондового рынка; долговой кризис, охвативший банковский сектор в различных странах, может вскрыть слабости Европейского союза и т.д. В этой главе я утверждаю, что Великая депрессия была подобной цепью, совокупностью кризисов. Но необходимо отметить, что в обратном случае, если все аспекты синхронизированы, как это было после Второй мировой войны, за кризисом может последовать экстраординарный рост.

Внешняя проблема также признается экономистами, многие из которых допускают, что не очень-то преуспели в разра-

ботке теории векового экономического роста или спада. Они признают, что внерыночные силы, такие как институты, культура и техника, играют ведущие роли в экономическом росте или спаде, но анализируют их лишь поверхностно. В свою очередь, социологи не могут им помочь, поскольку нам (социологам) недостает общепринятой модели культуры, институционального развития и технологической инновации. Тем не менее у меня есть подобная модель; я рассматриваю их в качестве направляемых источниками социальной власти, но с их собственными эмерджентными возможностями по отношению к развитию социальной власти и экономики. Наиболее важными институтами в современных обществах выступают экономические (рынки, собственность и корпорации), военные (вооруженные силы и военизированные формирования) и политические (государства) с геополитикой, играющей смешанную политическую и военную роль. В моей модели культура, для обозначения которой я предпочитаю понятие «идеология», преимущественно создается взаимоотношениями экономической, военной и политической власти, хотя внутренняя логика самой идеологии направлена на открытие конечного смысла мира. Но когда разражается кризис и существующие отношения власти не способны отыскать адекватные решения, возникают новые идеологии, и некоторые из них становятся могущественными, трансформирующими конфигурации власти, включая экономику. Мое представление о технике заключается в том, что она последовательно направлена на достижение или сохранение дистрибутивной власти экономическими, военными, политическими и (иногда) идеологическими акторами власти, но она обладает эмерджентной коллективной властью.

Это может звучать несколько абстрактно, но с очевидностью предполагает мультикаузальное объяснение структурного экономического кризиса. В частности, в этой главе представлено мультифакторное объяснение Великой депрессии, которая рассматривается как цепь нескольких отдельных экономических кризисов, накладывающихся друг на друга, обостренных бумом технологических инноваций и политических ошибок, которые были не случайными, но вызванными классовыми и геополитическими идеологиями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Великая (или Первая мировая) война отбросила длинную и скорее глобальную тень. Для ее участников она обернулась экономическими трудностями и значительным увеличением военных

расходов. В Соединенном Королевстве и Германии военные расходы выросли десятикратно; в Соединенных Штатах — тринадцатикратно (хотя и с гораздо более малой исходной базой). Когда был заключен мир, произошло обратное: к 1920 г. военные расходы вернулись практически к довоенным уровням. Экономисты называют рост военного времени неэффективным использованием бюджетных средств и обращают внимание на трудности возвращения распределения ресурсов к равновесию после войны, что является моделью прерывистого равновесия. Но большинство из этих проблем представлялось уже решенными к середине 1920-х гг., за исключением нескольких стран. Большая часть британских иностранных портфелей ценных бумаг была продана Америке в качестве платы за войну. И они никогда уже не были выкуплены обратно, а общая власть Британии уменьшилась. Расчленение Австро-Венгрии и запрет послевоенного сотрудничества между Германией, Австрией и Венгрией вызвал в этих странах экономические проблемы, разрешить которые суждено было Гитлеру. Страны, которые соблюдали нейтралитет и нажились на войне, такие как Япония и страны — экспортеры сельскохозяйственной продукции, испытывали трудности, поскольку экономики сражавшихся стран вернулись к нормальным объемам производства и в меньшей степени нуждались в их экспорте.

И все же нельзя сказать, что это действительно стало причиной депрессии. Подобную же разруху плюс большие физические разрушения ресурсов принесла Вторая мировая война, но это привело не к глобальной депрессии, а к глобальному послевоенному экономическому буму. К середине 1920-х гг. большая часть мира как будто бы восстановилась после войны и испытывала слабый рост. Нормальное положение дел казалось восстановленным как раз накануне того, как разразилась депрессия. К тому же основные проблемы Первой мировой войны не оказали заметного негативного влияния на Соединенные Штаты, которые получили от войны экономическую выгоду, но теперь возглавили депрессию. Однако война оказала опосредованное влияние на депрессию, поскольку она повлияла на геополитику, условия сельского хозяйства и классовый конфликт, а они, в свою очередь, оказали непосредственное влияние на депрессию и способствовали ее распространению по всему миру. Но поскольку мир оставался поделенным на национальные государства и некоторые из них имели империи, эти последствия варьировали в зависимости от положения каждого государства/империи в международном порядке, веса (доли) сельского хозяйства в национальной экономике, а также власти борющихся классов. Не все последствия были транснациональными. Я начну с геополитики.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ГЕОПОЛИТИКА: ГЕГЕМОНИЯ И ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

Многие описывают довоенный экономический порядок как воплощающий британскую экономическую *гегемонию*, то есть Британия обеспечивала общественные блага и устанавливала правила международной экономики. Они диагностируют проблему межвоенного времени как отсутствие единой державы-гегемона, способной обеспечивать общественные блага или новые правила для международной экономики. Знаменитая фраза Киндлбергера (Kindleberger 1986: 289) гласит: «С 1919 по 1929 г. Британия не могла, а Соединенные Штаты не хотели действовать в качестве мирового лидера». Хотя Киндлбергер не использует термин «гегемон», он разработал теорию, известную как теория «гегемонистской стабильности», которая принимается многими экономистами, так же как и социологами — мир-системщиками. Они рассматривают британскую гегемонию как обеспечивавшую общественные блага и порядок до Первой мировой войны и американскую гегемонию как обеспечивавшую их после Второй мировой. Поскольку в период между двумя войнами единая гегемония отсутствовала, отсутствовала и стабильность, поскольку (как утверждает теория) международной экономикой не может управлять комитет (Arrighi 1994; Arrighi and Silver 1999). Это теория порядка Гоббса: нам нужен суверен, чтобы навяжать нам правила; в противном случае социальная жизнь отвратительна, жестока и коротка.

Но все же Британия не была гегемонией до Первой мировой войны; ее власть внутри Европы всегда была ограничена и зависела от союза с прочими великими державами. Она обладала самым большим имперским сегментом по всему миру и крупнейшим флотом, но это были лишь количественные отличия. Верно, что фунт стерлингов, привязанный к золоту, по-прежнему оставался краеугольным камнем мировых финансов, но Британия больше не была достаточно могущественной, чтобы в одиночку управлять всей системой. Корректировки учетной банковской ставки Банка Англии без посторонней помощи не обеспечивали экономической стабильности. К началу столетия золотой стандарт поддерживался международным сотрудничеством между центральными банками и министерствами финансов Британии, Франции, Германии и России. Когда международная экономика двигалась гладко, британское Министерство финансов могло слегка подталкивать ее в одиночку. Когда разразился кризис, остальные страны должны были прийти ему на помощь. Это был неформальный комитет великих дер-

жав, помогавший Британии проводить мир через финансовые кризисы. Эйхенгрин заключает: «Тем, что обеспечивало доверие надежности золотого стандарта... было то обстоятельство, что это доверие было международным, а не только национальным. Это доверие активировалось через международное сотрудничество» (Eichengreen 1992: 31; ср с. Clavin 2000: 44). Экономическое равновесие не было чисто экономическим феноменом, на самом деле ему способствовала геополитика.

Эта система допускала определенную гибкость соответственно экономической власти и стабильности страны. Существовали различные ярусы стран в зависимости от того, строго ли они придерживались золотого стандарта (такие как Британия или Франция), или могли отступить от него во время кризиса, чтобы после него вернуться к паритету (такие как США или Италия), или же они могли не придерживаться его вовсе (такие как большинство латиноамериканских стран). Каждый ярус имеет нечто общее с современными кредитными рейтингами (Vogdo and Rockoff 1996). Британия поддерживала золотой стандарт, координируя коалицию держав, признававших взаимность их интересов. Это делало ее работу довольно благодарной. Действительно, как я описываю в томе 2, международные банкиры сделали все от них зависящее, чтобы избежать войны. Первая мировая война началась не по их вине.

Система золотого стандарта прекратила свое существование в ходе войны, когда все страны, за исключением Соединенных Штатов, перестали обеспечивать свои валюты золотом; за этим последовало свободное колебание курсов валют. В течение некоторого времени после войны отсутствие международной финансовой стабильности шло параллельно с внутренней неразберихой. Практически все валюты стремительно обесценивались по отношению к доллару, что способствовало глобальному распространению инфляции. Помимо прочего война разрушила британское финансовое лидерство. Британия взяла большой заем, чтобы победить в войне, и была должна американским кредиторам. Большая часть Европы была должна американским и британским банкам. Уолл-Стрит заменил лондонский Сити в качестве основного мирового денежного рынка, но международные институты еще на это не отреагировали. Послевоенный мир был миром не баланса власти, а дестабилизированной властной структурой.

Одно за другим правительства стали возвращаться к золоту. Когда Британия вернула золотое обеспечение фунта стерлингов в 1925 г., функционирование золотого стандарта было эффективно возобновлено. Теперь у системы золотого стандарта не было лидера, хотя вес американской экономики и ее золо-

тые резервы действительно доминировали. Это не была классическая система золотого стандарта довоенного периода. Она включала в каждом конкретном случае добровольное сотрудничество между центробанками, пытавшимися поддерживать разрозненные наборы золотых паритетов, и немногочисленными странами, придерживавшимися полной конвертируемости. Это было англо-американское сотрудничество (особенно между Монтегю Норманом и Бенджамином Стронгом — эффективными руководителями центробанков), но призывы к постоянным институтам координирования игнорировались. Это был период относительной стабильности, и практически все политики, банкиры, бизнесмены и экономисты были убеждены, что восстановленный золотой стандарт поддержит эту стабильность. Экономические показатели действительно улучшились между 1925 и 1929 гг. (Aldcroft 2002).

Золотой стандарт не просто подразумевал технические вопросы. Конвертируемость в золото налагала верхний предел на количество бумажных денег, которое правительства могли напечатать, и тем самым предотвращала инфляцию и бюджетные дефициты, рассматривавшиеся как безответственные. В отличие от нашего времени тогда не существовало общей практики умеренной инфляции для поддержания роста. Заслуживающая доверия приверженность золотому стандарту требовала, чтобы страна поддерживала фискальное здоровье для инвесторов, так чтобы ее монетарное руководство могло обеспечить долгосрочную ценовую стабильность и конвертируемость, с достаточными золотыми резервами для поддержания валюты. Учитывая существовавшие на тот момент идеологические допущения, эти условия должны уже были существовать до возвращения к золотому стандарту, но они редко существовали (Hamilton 1988). Недостаток золота не помог. Более того, большинство правительств вернули свои валюты к их довоенному паритетному уровню в качестве грубого сигнала надежности, который, как они утверждали, был необходим для национальной чести. Таким образом, националистическая идеология также сыграла в этом определенную роль (Eichengreen 1992: 163; Nakamura 1988: 464). Страна демонстрировала свое могущество, завышая стоимость своей валюты; надежность была для инвесторов, которые обладали возможностью начать скупку валюты. «Деловое доверие», которое, как отмечает Блок, в целом является главным ограничением, наложенным на автономию государства, в это десятилетие главным образом было доверием финансового капитала. Транснациональная власть финансовых спекулянтов, которая так очевидна сегодня, на самом деле не нова, как не нова и напряженность между национальным

и транснациональным аспектами капитализма. Но в период между войнами инвесторы в основном происходили из владевших землей и собственностью семей старого режима, господствующего класса с конца XIX в. до Великой депрессии.

Избранный уровень для возвращения к золотому стандарту имел мало отношения к существующему на тот момент здоровью экономики. Большинство валют были переоценены (Британия, Италия, Япония и Скандинавские страны), хотя две важные валюты были недооценены (Франция и Соединенные Штаты). Золотые запасы и валюты слабо соотносились друг с другом: 40% мировых золотых резервов были перекачаны в Соединенные Штаты, и французская недооценка в конечном итоге затянула оставшиеся 30%. Они накапливали, «стерилизовали» свое золото, вместо того чтобы использовать его продуктивно, делая его недоступным для прочих стран. С точки зрения мировой экономики это была серьезная ошибка, идеологически мотивированная в контексте геополитического соперничества. Это создало недостаточные золотые резервы по всему миру, вызывая обеспокоенность инвесторов. Решения принимались финансовыми властями в каждом национальном государстве отдельно; никто не принимал на себя ответственности за международный порядок (Moore 2002: 262–263). Американскому изоляционизму суждено было сыграть особенно разрушительную роль. Таким образом, национальная «клетка» была первой проблемой золотого стандарта. Шло становление глобальной экономики, но не существовало ни гегемона, ни комитета, отвечающего за нее. Это была слабость экономики, существовавшей между войнами, но она не обязательно должна была быть слишком затратной. Тем не менее слабость была вскрыта экономическим кризисом.

Дефляционные тенденции означали, что страны с переоцененными валютами были вынуждены проводить жесткую кредитно-денежную политику, чтобы снизить отток золота и рыночные спекуляции. Они намеренно вводили в депрессию свои экономики вместо необходимой монетарной и фискальной экспансии, поддерживая свои платежи золотом, что сигнализировало инвесторам о здоровье их экономик. Правительствам с недооцененными валютами, вероятно, следовало восстановить их уровень, но никаких наказаний в случае, если они этого не делали, не следовало, и Соединенные Штаты и Франция никогда достаточно не восстанавливали его, чтобы улучшить самочувствие мировой экономики. Вместо этого имел место чрезмерный упор на сбалансированность бюджетов (Bernanke and James 1991; Clavin 2000: 55; Temin 1989: 19–25) — еще одна слабость, хотя также не фатальная.

Такое положение дел имело последствия для классового конфликта, который обострился после Первой мировой войны и большевистской революции. Политическая экономия была нацелена на расположение инвесторов, а не масс. Министры финансов и главы центробанков сами происходили из классов инвесторов. Окончание Первой мировой войны принесло подъем демократии и классового сознания народа. Рабочие, мелкие крестьяне и прочие видели, что дефляционная классовая направленность золотого стандарта вредит им. Слабая инфляция была на руку рабочим и мелким крестьянам, дефляция вредила им, как вредила она и тем секторам экономики, у которых были долги или которые нуждались в займах для финансовой активности. Дефляция снижала цены на их сырьевые товары и увеличивала реальную стоимость их долгов, но дефляция была на руку большинству средних и высших классов, особенно тем из них, кто имел фиксированные доходы, и рентье, активы которых росли в реальном выражении (Clavin 2000: 58–59).

Конфликт классовых интересов продолжал играть важную роль во внутренней политике на протяжении 1920-х гг. Это не было фундаментальной слабостью, поскольку ситуация смягчалась способностью консерваторов мобилизовать традиционные институты почтения и клиентелизма, чтобы получить большинство голосов рабочих и нижней прослойки среднего класса. Первые послевоенные годы ознаменовались наступлением левых, как описывается в главах 6 и 9. Чтобы успокоить вновь организовавшихся рабочих, зарплаты были резко подняты. Однако, поскольку другие классы сопротивлялись реальному перераспределению, результатом стала инфляция, особенно в странах с сильными рабочими движениями, таких как Германия. Инфляция навредила большинству населения и увеличила поддержку консерваторов, верных дефляционному курсу. Их правительства нанесли рабочим жестокий удар, увеличив безработицу и снизив зарплаты. Дефляционные правительства знали, что разжигают классовый конфликт, и потому иногда модифицировали свою политику, чтобы помочь определенным группам, могущества которых они боялись, но их тенденции были отчетливо регрессивными.

Во Франции Картель левых (левоцентристская коалиция) пришел к власти и намеревался обложить налогами богатых и капитал, чтобы сократить дефицит. Это спровоцировало бегство капитала, увеличившее размах фискального кризиса. Инвесторов тайно поддерживал французский центробанк, готовый идти на риск кредитно-денежного коллапса, лишь бы низложить левых. Большинство центристов были вынуждены покинуть картель, это покончило с ним и привело к власти более

консервативный режим Пуанкаре. Затем парламент наделил его полномочиями принимать бюджет без голосования парламента. Он отказался от попыток «потрясти богатых», введя жесткую бюджетную политику, которая остановила отток капитала (Moure 2002: главы 4, 5, p. 261; Eichengreen 1992: 172–183). Эта борьба продемонстрировала превосходство политической власти транснационального делового доверия над национальной «клеткой» организованного труда даже при поддержке основных национальных партий и значительной части среднего класса. Власть финансового капитала древнее, чем думают большинство современных комментаторов, что осознали также и теоретики мир-системного анализа.

Столкнувшись с подобным классовым могуществом, миноритарное лейбористское правительство в Британии также пало. Фунт стерлингов был переоценен примерно на 10%, благодаря чему промышленники были вынуждены сократить свои издержки на 5–10%, чтобы оставаться конкурентоспособными. Они сделали это в основном за счет фонда оплаты труда, что усилило индустриальный конфликт (Clavin 2000: 50–1). Кейнс понимал классовые последствия возвращения к золотому стандарту консервативного канцлера казначейства Уинстона Черчилля, осуждая его как «вынужденное усиление безработицы» для понижения уровня зарплат. Он предсказывал, что это принесет расширение социального конфликта и даже угрозу демократии (Skidelsky 1983: 203). Во время всеобщей забастовки 1926 г. Черчилль вновь сыграл классового воина и выиграл. После долгой и ожесточенной забастовки профсоюзы были повержены. Кейнс ошибался — демократия продолжала существовать, хотя и с уклоном вправо.

В Германии дефляция и возвращение к золотому стандарту также позволили работодателям увеличить продолжительность рабочего дня и сократить размеры реальных зарплат, в то же время налогообложение стало более регрессивным. Ранние завоевания рабочих в Веймарской республике были обращены вспять. Практически во всех странах издержки дефляции перекладывались непосредственно на рабочих и фермеров (Polanyi 1957: 229–233; Alesina and Drazen 1991: 1173–1174). Это было особенно очевидно в Соединенных Штатах, где организация рабочего класса была пренебрежительно малых размеров. Правительства продолжали в качестве приоритета рассматривать стоимость своих валют, чтобы сохранить «доверие» транснациональных инвесторов, поддерживаемых более воинственно настроенным средним классом. Левое сопротивление было преодолено, и в середине 1920-х гг. политика сдвинулась вправо. Однако это принесло экономический спад, поскольку снизило

массовое потребление и потенциал роста. Старый режим находился в подвешенном состоянии, это была еще одна слабость, которая могла быть вскрыта в ходе реального кризиса.

Золотой стандарт также сталкивался с возрастающим национализмом, направленным за границу, хотя он не был столь уж агрессивным, поскольку практически все уже достаточно завоевались. До войны геополитическое соперничество было более изолированным от международных финансов. Теперь же мирные договоры принуждали Германию и Австро-Венгрию платить крупные репарации Франции и Британии. Кейнс рассматривал эти репарации как непродуктивную форму перераспределения, приносящую экономические трудности. И хотя Соединенные Штаты с большим пониманием, чем Британия и Франция, относились к этим репарациям, они настаивали на выплате британских и французских военных долгов. Германия же, первоначально находившаяся в крайне стесненном экономическом положении, могла выплачивать репарации только с помощью больших частных американских займов для восстановления своей экономики. Доллары дали остальным странам возможность выплачивать репарации и займы, тем не менее Соединенные Штаты, находясь под внутренним политическим давлением, поддерживали средние таможенные ставки на уровне 33%, что затрудняло экспорт достаточного количества иностранных товаров в Соединенные Штаты, чтобы платить по американским займам. Как сказал один банкир: «Долги всего внешнего мира нам — это веревки вокруг шей наших должников, за которые мы тянем их за собой. Наши торговые ограничения — это вилы, прижатые к их телам, с помощью которых мы их сдерживаем» (Clavin 2000: 87). Теория зависимости, примененная ко всему миру! Технологический динамизм экономики США вел к большей производительности рабочих и избытку производственных мощностей, способствуя дальнейшему понижению цен на американские товары. Очевидно, что любое сокращение американских займов было бы равносильно прекращению функционирования системы. Соединенные Штаты действительно продолжали кредитование, но не регулировали внутреннюю политику в ответ на соответствующие регулировки за рубежом. Не хватало геополитического сотрудничества (Moure 2002; Clavin 2000; Eichengreen 1992: 209–210). Киндлбергер был прав, негативно оценивая период между двумя мировыми войнами: фундаментальной причиной отсутствия стабильного международного режима было то, что Первая мировая война не разрешила геополитического соперничества. Глобально это была дуальная транснационально-интернациональная экономика без эффективного институционального порядка.

Для достижения подобного порядка не требовался мировой гегемон; проблема была в том, что данная (послевоенная) система с множеством акторов власти не могла обеспечить порядка во время кризиса в отличие от своего довоенного аналога.

В 1923 г. германское правительство объявило, что не может выплачивать репарации. В ответ на это французское и бельгийское правительства отправили солдат оккупировать Рейнскую область. Германия с крохотной армией, разрешенной Версальским мирным договором, не могла им противостоять, но возмущенное местное население устроило сидячую забастовку, поддерживаемую кредитами Рейхсбанка, которые вызвали гиперинфляцию и лишь дальше отодвинули Германию от уплаты репараций или займов. Франция не могла финансировать свой бюджет из репарационных платежей, как надеялась. Вместо этого ей пришлось поднимать налоги, что провоцировало классовый конфликт. Правительство США отказалось смягчить кризис, сократив размер европейских долгов, но вместо этого предлагало частные американские займы, которые лишь увеличивали размер долга. Соединенные Штаты выступили с предложением плана Дауэса, изменяющего порядок германских репараций. Он мог сработать, но к 1928 г. кризис распространился повсеместно и серьезно подрывал международное сотрудничество.

Сообщество великих держав могло поддерживать золотой стандарт, как до войны, но не в условиях геополитических конфликтов. Соединенные Штаты могли принять на себя экономическую гегемонию в принципе, но не на практике, поскольку большинство американцев были убеждены в первостепенной важности внутренней политики. Конгресс должен был принять экономическую политику, но был слишком узколобым, неспособным видеть потенциальные долгосрочные выгоды для своих округов или штатов от здоровой международной экономики. Вудро Вильсон потерпел неудачу в попытке уговорить американцев вступить в Лигу Наций. Американцы не были заинтересованы в международном сотрудничестве, не говоря уже о гегемонии. Ни сообщество держав, ни Соединенные Штаты не могли возглавить мировую экономику. Это не несло с собой неотвратимой катастрофы, но стало бы источником проблем в случае еще одного кризиса.

ОТ РЕЦЕССИИ К ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

Теперь рецессия началась уже в целом ряде стран. Она охватила Австралию и Голландскую Ост-Индию в 1927 г., Германию и Бразилию в 1928 г. и в начале 1929 г. Аргентину, Канаду и Польшу

до краха США. За исключением Германии, первыми пострадали сельскохозяйственные страны, и сельское хозяйство инициировало кризис. Оно с очевидностью было самой важной мировой отраслью экономики. Первая мировая война предоставила возможности для экспорта крестьянам из стран, не участвовавших в войне, но с ее окончанием произошло восстановление сельского хозяйства в странах-участницах и в странах, переживших блокаду, и в сочетании с продолжавшимся техническим развитием в сельском хозяйстве это привело к перепроизводству, падению цен и доходов. Большинство крестьян по всему миру продавали свою продукцию торговцам, которые, в свою очередь, продавали ее городам или на экспорт. Крестьянам нужны были деньги, чтобы платить налоги, но, когда цены упали, крестьяне в колониях и независимых государствах, таких как Китай, попали в тиски между их собственными падающими прибылями и требованиями землевладельцев и сборщиков налогов. Они обращались к заимодавцам, но столкнулись с риском потерять собственную землю за долги. Хотя внимание экономистов приковано к финансовому сектору и промышленности во времена Великой депрессии, наибольший удар был нанесен по мировому крестьянству (Rothermund 1996). Даже в развитых странах, таких как Соединенные Штаты и Франция, до 30% населения по-прежнему работало в сельском хозяйстве. Их снизившийся спрос был основной мировой дефляционной силой депрессии, как это было и во времена последней Великой депрессии 1870-х гг.

Наиболее тяжелый оборот рецессия приняла в Соединенных Штатах и других развитых странах. Некоторые отрасли американской промышленности были больны еще до того, как она разразилась. Горное дело, лесная и текстильная промышленность испытывали трудности на протяжении почти всего десятилетия; строительство пошло на спад после 1925 г. Этому способствовал, в частности, демографический фактор. В результате военных потерь и сокращения иммиграции (например, в Соединенных Штатах) создавалось меньше домохозяйств и, как следствие, сокращался спрос, особенно на жилье. Затем в первой половине 1929 г., до обвала фондового рынка, вниз пошел индекс общего промышленного производства, свидетельствуя о проблемах в реальном секторе экономики. Чрезмерные инвестиции в основной капитал, за которыми последовали переизбыток производственных мощностей и резкое падение инвестиций, вызвали дефляцию и способствовали распространению рецессии. Те, у кого были долги, на фоне дефляции цен или снижения спроса на их продукцию сталкивались с риском дефолта по займам. Они сокращали текущие расходы, чтобы иметь возможность заплатить по долгам, способствуя дальней-

шему снижению спроса. Бизнес стал рушиться, поскольку резко сократились фабричные заказы и заказы на строительство. Подобного взгляда «долг — дефляция» на Великую депрессию придерживается среди прочих бывший председатель Федеральной резервной системы Бернанке (Bernanke 2000). По иронии истории в 2008 г. ему пришлось иметь дело с похожей последовательностью событий.

Все это неожиданно усугубилось из-за пузыря на фондовом рынке, возникшего в результате иной причинно-следственной цепи. В 1928 и 1929 гг. индекс курса ценных бумаг неожиданно стал расти темпами, превышающими темпы роста индекса дивидендов, что является признаком перегрева фондового рынка. В середине 1929 г. композитный индекс цен акций инвестиционных фондов закрытого типа оказался переоценен примерно на 30% — признак чрезмерного доверия инвесторов (White 1990; De Long and Shleifer 1991; Rappoport and White 1993, 1994). Это свидетельствовало о надуваемом кредитными деньгами пузыре, который отчасти скрывал разворачивавшуюся рецессию. Нелегко объяснить подобный переоцененный рынок акций, но кредиты были слишком доступными, а прибыли — высокими, поэтому цены акций и прибыли продолжали расти, и инвесторы предполагали, что так будет продолжаться. В Америке это был период ликования и гордости по поводу уровня технических инноваций в стране, что усугубляло чрезмерно бычий фондовый рынок. Комбинация этих двух проблем, движимых развитием техники чрезмерных инвестиций (особенно в электрификацию фабрик) и низкого потребления, была неустойчивой, создававшей существенные избыточные мощности к 1929 г. в размере от 14 до 31% (Beaudreau 1996).

Что было необходимо для созидательной части шумпетеровского процесса созидательного разрушения, так это рост в новых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение и электрические потребительские товары для домохозяйств, но потребительский спрос был слишком низок, чтобы поддержать необходимое расширение этих отраслей. Когда зарплаты растут намного меньше производительности или прибылей предприятий, избыточные производственные мощности и инвестиции приводят к взрыву пузыря на фондовом рынке. Рост неравенства также никак не способствовал спросу, поскольку богатые тратят меньшую долю своих доходов на потребление, чем средний и рабочий класс. Кредитные институты для этих людей были слабо развиты, а потому не могли способствовать созданию искусственного спроса (хотя наш собственный опыт 1990-х и 2000-х гг. не говорит, что это было бы удовлетворительным решением).

Президент Гувер, его советники и ФРС признавали, что спекуляции были излишними. К сожалению, доминирующая фракция была убеждена в правильности теории «ликвидационизма». Они ожидали, что рынок в конце концов сам себя регулирует — в современных терминах их можно было бы назвать неолибералами. Роль государства, по их убеждению, состояла исключительно в помощи рынку с ликвидацией плохих денег, неэффективных производителей, глупых инвесторов и рабочих, получавших слишком большую зарплату. Законы капитализма были жесткими, но существовала уверенность в том, что они работают. Поэтому в январе 1928 г. ФРС начала оказывать дефляционное давление на рынки, сократив денежную массу и подняв учетную ставку на полтора процентных пункта — до 5% (Hamilton 1987). Она также препятствовала займам, обеспеченным акциями. ФРС успешно поборолла две небольшие рецессии в 1920-х гг. при помощи дефляции (за счет рабочих) и рассматривала нынешнюю как еще одну возможность ликвидации, дирижируя снижением цен на фондовом рынке, ростом безработицы и снижением зарплат. Для большинства чиновников и экономистов это было панацеей, одобренной такими разными экономистами, как Шумпетер, Хайек и Роббинс. Они рассматривали рецессии как неизбежные встряски против неэффективности — необходимая обратная сторона шумпетеровского представления о капитализме как созидательном разрушении. Действительно, Шумпетер утверждал, что имеет место выбор между рецессией сейчас и еще худшей рецессией впоследствии, если правительство попытается стимулировать экономику.

Они ошибались. К несчастью, дефляция сработала слишком хорошо, поскольку экономика уже была на спаде, и это сочетание превратило взрыв пузыря в крах 29 октября 1929 г. — день, когда американские обыкновенные акции потеряли 10% стоимости. Крупный общий шок отрицательного спроса пришел вскоре после этого обвала (Cecchetti and Kargas 1994). Безработные и те, кто боялся безработицы, резко сокращали свои расходы на потребительские товары. Потребление рухнуло в 1930 г., углубив рецессию (Romer 1990, 1993: 29; Temin 1976: 65; 1981; R. Gordon 2005). Теперь те, кто обладал капиталом, получили стимул не инвестировать; на фоне дефляции деньги росли в цене, если они их просто не тратили. Это усугубило падение промышленного производства, увеличив избыток производственных мощностей и долгосрочные товарно-материальные запасы. Мотив прибыли, ключевой для капитализма, был извращен. Сумма индивидуальных капиталистических предпочтений могла быть коллективным злом. Джордж Оруэлл изображает коллективное безумие Великой депрессии в следующей

сцене из книги «Дороги на Уиган-Пирс»: «Несколько сотен мужчин рисковали своими жизнями, и несколько сотен женщин барахтались в грязи часами... усердно разыскивая крошечные кусочки угля» для отопления своих домов. Для них этот с трудом добытый «бесплатный» уголь был «даже важнее еды». Простаивающие рядом неподалеку от них машины прежде использовались, чтобы за пять минут добыть больше угля, чем теперь они могли собрать за день.

В конце 1930 г. в Соединенных Штатах разразилась первая из четырех банковских паник. Семьсот сорок четыре банка рухнули преимущественно в сельских областях в результате сельскохозяйственной депрессии. Поскольку процентная ставка росла, долги крестьян достигли запредельных размеров, к тому же с большим количеством маленьких банков, чем в других странах, банки в США в сельских областях оказались уязвимы. Так как в то время не существовало никакого страхования вкладов, вкладчики могли потерять все, поэтому они паниковали и снимали все средства. Вторая волна крушения банков ударила с июня по декабрь 1931 г. Не менее 9 тыс. банков обанкротилось в ходе 1930-х гг. Уцелевшие банки стали более осторожными в кредитовании и начали увеличивать собственную капитализацию, а не выдавать займы, добавляя тем самым дефляционное давление и раскручивая нисходящую спираль денежной массы. С ежегодным падением цен на 10% лучшей инвестиционной стратегией было не инвестировать, а дожидаться следующего года, когда доллар будет стоить на 10% больше. Государство отвечало на падение прибылей сокращением расходов, создавая тем самым дополнительное дефляционное давление. Перемены наступили, когда Рузвельт объявил «банковские каникулы» на одну неделю в марте 1933 г. Пока банки были закрыты, по ним прошла армия инспекторов с проверкой, отделив платежеспособные банки от неплатежеспособных. Это по крайней мере восстановило доверие к банковскому сектору. Их регуляция, которую осуществила Федеральная корпорация страхования депозитов, последовала в январе 1934 г.

К 1930 г. это уже нечто намного худшее, чем просто циклическая рецессия, особенно в Соединенных Штатах. Средний спад производства в 15 странах, где он начался до 1931 г., составил 9%, а в Соединенных Штатах — 21%. Индекс потребительских цен упал на 2,6%, денежная масса в обращении и банковские резервы упали на 2,8%, а реальная процентная ставка выросла и составила более 11% — самую высокую отметку со времен рецессии 1920–1921 гг. (Hamilton 1987). Между 1929 и 1933 гг. реальный ВВП США упал на 30%, официальная безработица выросла с 4 до 25% (хотя ее реальный уровень составлял око-

ло 33%), а реальные совокупные внутренние частные инвестиции упали на умопомрачительные 85%. Как мы уже убедились, это не был один отдельный великий кризис, а была серия шоков, которые наложились друг на друга, вскрыв слабости в экономике и политике правительства.

И все же удар Великой депрессии по всему миру был неравномерным. Он тяжело поразил Европу и англоговорящие страны. Сильнее всего пострадали Канада, Соединенные Штаты и Германия, хотя Бельгия, Франция, Италия, Британия и некоторые латиноамериканские страны также заметно ощутили его. Но даже в двух указанных макрорегионах Соединенные Штаты и Канада потеряли в шесть раз больше дохода на душу населения, чем Британия, и в три раза больше, чем Франция. Великая депрессия также оказала незначительное воздействие и на другие части земного шара. Китай был задет слегка, а Советский Союз, Япония и ее колонии в Корее и на Тайване, а также Восточная Европа продолжали расти во время депрессии. Более того, ряд развитых стран довольно быстро из нее выбрались, отказавшись от золотого стандарта и стимулировав свои экономики. Соединенные Штаты могли поступить точно таким же образом и в действительности позднее так и поступили, но чрезмерная самонадеянность американцев в 1937 г. создала еще одну рецессию, и лишь возросший спрос на промышленную продукцию во время Второй мировой войны позволил их экономике полностью восстановиться. Эти международные и макрорегиональные различия вызывают у меня предположение, не была ли Великая депрессия скорее этноцентричной. Удивительно, но факт: от нее больше всего пострадали белые. Я не уверен, что название «Великая белая депрессия» приживется, хотя оно и внесло бы некоторую точность, но не все белые пострадали; некоторые новые отрасли промышленности процветали, и зарплаты в них часто росли. На самом деле под внешней видимостью экономических циклов здоровье народа в развитых странах, измеряемое увеличением среднего роста людей, продолжало улучшаться (Floud et al. 2011). Это был полуглобальный полукризис капитализма.

СПОРЫ ЭКОНОМИСТОВ О ПРИЧИНАХ

В Соединенных Штатах каскад кризисов был действительно ужасающим. На протяжении всей последовательности отдельных шоков ФРС продолжала проводить жесткую кредитно-денежную политику, которая ухудшала положение дел (Romer 1993). Она позволяла банкам банкротиться. Монетаристы

сосредоточились на этой ошибочной политике ФРС. Милтон Фридман и Анна Шварц (Friedman and Schwartz 1963: 396) решительно заявляют: «Монетарные силы были первопричиной Великой депрессии». Тем не менее их метод не может подтвердить настолько категоричное заявление, поскольку они рассматривают исключительно монетарные факторы; это в большей степени монетаристский нарратив, чем объяснение. Они рассказывают о том, как в середине 1920-х гг. ФРС допустила слишком быстрый рост денежной массы, а затем потратила оставшуюся часть десятилетия на то, чтобы ее обуздать, продолжая заниматься этим наперекор рецессии. С наивысшей отметки в августе 1929 г. до «дна» в марте 1933 г. денежная масса сократилась более чем на треть. Они переименовали Великую депрессию в «Великое сжатие» — падение доходов, цен и предпринимательской активности, вызванное шоком от неумелой политики ограничения денежной массы.

Если бы ФРС предприняла необходимые действия и напечатала бы больше денег, обеспечивая банки, оказавшиеся в затруднительном положении, резервным финансированием или покупая государственные облигации на открытом рынке, чтобы влить больше ликвидности после того, как банки обанкротились, это «смягчило бы жесткость сокращения и, весьма вероятно, окончило бы его намного раньше» (Friedman and Schwartz 1963: 300–301).

Первое из этих утверждений представляется справедливым, второе — более спорным. Жесткая кредитно-денежная политика, продолжавшаяся до 1933 г., действительно углубила кризис. Поскольку Соединенные Штаты владели настолько большим количеством мирового золота, монетарная экспансия могла и не повлиять на конвертируемость их валюты и могла быть использована против рецессии. Бордо с соавторами (Bordo et al. 1999) утверждают, что ФРС могла бы противостоять спекулятивным атакам крупными покупками на открытом рынке. Тогда, утверждают они, банковская паника не последовала бы и рецессия не переросла бы в депрессию. Разумеется, чиновники должны были предоставить должные суммы в правильные сроки, что выглядит несложным лишь постфактум.

Исследуя причину несоответствия кредитно-денежной политики, предложенной ФРС в качестве решения, проблемам рецессии, Фридман и Шварц могут предложить лишь неправдоподобную теорию «великих людей». Если бы Бенджамин Стронг, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка на протяжении 14 лет, не умер в 1928 г., а остался бы ведущей фигурой в ФРС, то «Великого сжатия» могло бы и не быть. Фридман и Шварц утверждают: «Подробная история всех банковских

кризисов в новейшей истории демонстрирует, сколь многое зависит от наличия одного или более выдающихся личностей, готовых взять на себя ответственность и руководство. Это было фиаско финансовой системы, уязвимой для кризисов, которые могло разрешать только подобное руководство» (Friedman and Schwartz 1963: 418). Это весьма неправдоподобно; маловероятно, что Стронг повел бы себя по-другому, останься он на своем посту в 1929 г., поскольку он разделял представление о самонастройке рынка (Temin 1989: 34, Eichengreen 1992: 252). Практически все чиновники так думали и уже использовали подобную политику прежде, и им казалось, что она срабатывает. Они полагали, что есть хорошие основания для такой политики и что она была глубоко укоренена в здравом смысле и обществе того времени. Почему они думали именно таким образом, мы должны постараться объяснить.

Некоторые экономисты попытались определить относительную значимость различных причин депрессии, перечисленных выше. Чеккетти и Каррас пришли к заключению, что шоки и сокращение денежной массы внесли практически равный вклад в изначальное снижение, и затем в конце 1931 г. за ними последовал производственно-сбытовой коллапс. Вплоть до 1931 г. монетарные факторы могли быть вторичными; до этого времени немонетарные факторы ответственны за сокращение номинальных доходов примерно на три четверти (Gordon and Wilcox 1981: 67, 71; Gordon and Veitch 1986; R. Gordon 2005: 25–28). Фэклер (Fackler 1998) оценивает три альтернативных механизма, посредством которых рецессия стала депрессией: падение денежной массы (как утверждают Фридман и Шварц), падение потребления (объяснение Темина) и представления о роли долгов, дефляции или кредита (Bernanke 2000: глава 2). Его заключение предполагает, что все три оказали воздействие, накладываясь друг на друга (ср. Brunner 1981).

Фридман и Шварц (Friedman and Schwartz 1963: 359) справедливо добавляли, что американские проблемы распространялись по всему миру через золотой стандарт. Его фиксированные обменные курсы, в то время как Соединенные Штаты и Франция накапливали золото, передавали воздействие падающих цен и прибылей в Соединенных Штатах другим экономикам. Международные займы США тотчас же упали, что особенно сильно ударило по аграрным странам и сократило экспортные возможности зарубежных стран. Они чувствовали, что должны ограничить кредит и поднять процентные ставки. Это означало, что они также проводили дефляционную политику посреди рецессии. Если бы политики ослабили кредитно-денежную и фискальную политику, это стало бы угрозой для их возмож-

ности обменивать золото по оговоренной ставке. Правительства чувствовали, что их руки связаны, в то время как их экономики рушились, до тех пор пока они не откажутся от привязки их валют к золоту (Eichengreen 1992: 12–13, 216–222, 392; Bernanke 2000: глава 1). Как писал Кейнс, «золотые оковы» сдерживали национальные экономики, распространяя дефляционное воздействие политики ФРС по всему миру.

Существовало и националистическое средство: каждой нации следовало отказаться от золотого стандарта и стимулировать свои экономики, как призывал Кейнс. Действительно, у тех, кто отказывался от золотого стандарта быстрее и затем стимулировал свои экономики, дела шли лучше. Менее крупные экономики обычно отказывались от него первыми: Австралия отошла от золотого стандарта в 1929 г., за ней последовали Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Канада, Япония, некоторые латиноамериканские страны и одна крупная экономика — Соединенное Королевство в 1931 г. (Bernanke James, 1991). Те страны, которые вслед за этим тут же девальвировали свои валюты, быстрее восстановились после депрессии, поскольку это снимало с них дефляционные ограничения и стимулировало их экспорт. Сработал национализм, снижающий глобализацию! Как мы увидим в главе 13, в Японии министр финансов Такахаши ликвидировал привязку иены к золоту, снизил процентную и обменные ставки и увеличил бюджетные расходы, достигнув самого стремительного восстановления экономики из всех. Испания, которая никогда не придерживалась золотого стандарта и не обладала большой внешней торговлей, не испытала депрессии вовсе. Преимущества отказа от золотого стандарта снижались по мере того, как все больше стран переставали его придерживаться. Три основные державы (Германия, Соединенные Штаты и Франция) дольше всего его придерживались с помощью строгого обменного контроля. Между 1930 и 1933 гг. германский канцлер Брюнинг проводил ужасно дефляционную стратегию, пытаясь найти баланс путем мер жесточайшей экономии и в то же время остаться верным золотому стандарту. В Германии кризисы углублялись каскадом и далее.

Конкурентные девальвации не создают общего блага. Если страна проводит девальвацию, ее экспорт дешевеет и в принципе это делает возможным ее выход из рецессии посредством экспорта. Но весь эффект от этого теряется, если ее торговые партнеры делают то же самое. В 1930-х гг. 20 стран девальвировали свои валюты более чем на 10%, а некоторые даже девальвировали валюты более чем в пять раз, таким образом, практически ни одна страна не получила конкурентных преимуществ, за исключением очень краткосрочных. Страны также не могли

найти выход из депрессии через экспорт, поскольку международный спрос также был снижен. За время депрессии международная торговля сократилась на треть, что было индикатором снижения глобализации. Полезным было то, что страны одна за другой переходили к мягкой кредитно-денежной политике, перестав более заботиться о поддержании обменного курса. Эти монетарные стимулы ощущались глобально и помогли запустить и поддержать восстановление. Поскольку они также имели тенденцию к перераспределению от капитала к труду, долги держателям облигаций упали в цене. Разумеется, лучше было бы, если бы страны координировали стимулирующую монетарную политику (и тем самым избежали был громадных колебаний в обменных курсах), но, поскольку для этого еще не существовало институтов, были применены национально-клеточные решения. Страны, находившиеся в трудном положении, понимали, что у них нет иного выбора, кроме как проводить одностороннюю политику, к тому же кредитно-денежное смягчение путем конкурентной девальвации было лучше полного отсутствия смягчения.

Многие экономисты придерживаются двухфакторного монетарного объяснения Великой депрессии: ошибки кредитно-денежной политики ФРС плюс золотой стандарт (Eichengreen 1992; Bordo et al. 1998; Bernanke 2000: глава 1; Smiley 2002; H. James 2001; Clavin 2000). Оба фактора предполагают регуляторные механизмы, которые не сработали. Для неолибералов это доказывает, что государство не должно вмешиваться в функционирование рынка. Это подразумевает, что не было никаких структурных несоответствий, с которыми не могла бы справиться более проворная и ловкая государственная политика. Все это высоко специальные вопросы, которые выходят за рамки моей компетенции, но дискуссия представляется слишком узкой. Мы, разумеется, должны рассматривать ФРС, золотой стандарт и все прочие финансовые факторы в совокупности с тем, что происходило в мировом производстве. Хотя современные теории экономического роста делают акцент на институтах и технике, эти подходы редко применяются для изучения Великой депрессии, за исключением финансовых институтов. И все же рецессия началась в производстве, а не на фондовом рынке, банках или в ФРС. Коул с соавторами (Cole et al. 2005) демонстрирует, что монетарный и дефляционный шоки внесли всего лишь одну треть от падения по 17 странам, которые они исследовали за период с 1929 по 1933 г. Вклад производственных шоков составил две трети. Поэтому давайте перейдем к производству.

Бернштейн (Bernstein 1987) рассматривает финансовый кризис как усугубление производственных проблем, неравномер-

но распространенных среди отраслей экономики. Он фокусируется на воздействии шоков с 1928 по 1932 г. на национальную экономику в переходный период от эры доминирования второй промышленной революции, в центре которой были такие отрасли, как текстильная, сталелитейная, транспортная и горнодобывающая. Они производили большую часть добавленной стоимости в экономике до Первой мировой войны, хотя, как я уже подчеркивал, это все еще была экономика с весьма низким потребительским спросом. Однако Соединенные Штаты двигались к экономике, в которой после Второй мировой войны будут доминировать отрасли, ориентированные в большей степени на производство товаров массового потребления и услуги, такие как производство бытовой техники, автомобилестроение, самолетостроение, нефтяная, табачная, химическая промышленность, производство полуфабрикатов плюс услуги, такие как торговля, транспорт, финансы и управление. Проблема заключалась в том, что в период между двумя мировыми войнами предшествующая группа отраслей промышленности все еще доминировала в экономике в целом, обеспечивая большую часть промышленной занятости в Америке; однако эти отрасли больше не были динамичными. Они были зрелыми и относительно концентрированными, их эпоха технологического динамизма была уже в прошлом. Поэтому теперь они уже не были столь привлекательными для инвесторов. Новые отрасли были их противоположностью: растущими, обладающими высокой конкурентоспособностью и технологическим динамизмом. Они действительно привлекали инвестиции, более того, акции высокотехнологичных отраслей были центром пузыря на фондовом рынке. Их крах был в определенном смысле результатом слишком быстрых технологических инноваций. После депрессии уровень инвестиций в этот сектор восстановился довольно быстро, но он все еще оставался относительно маленьким, не в состоянии поглотить весь свободный капитал.

Филд (Field 2011) пишет, что вопреки видимости на протяжении всего десятилетия Великой депрессии производительность экономики на самом деле росла благодаря новым отраслям и продукции. К 1941 г. производилось практически на 40% больше, чем в 1929 г., без увеличения продолжительности рабочего дня и вложений частного капитала. Увеличение почасовой выработки было преимущественно результатом технических и организационных нововведений. Имел место большой рост инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) вопреки падению спроса и снижению прочих форм инвестиций. Появлению новой продукции способствовала и перекачка средств из программы по строитель-

ству дорог «нового курса», и, как пишет Филд, креативные предпринимательские ответы на невзгоды. Эти блага в большинстве своем пришли в конце периода «нового курса; во время же самой Великой депрессии новые продукты еще не обладали достаточным экономическим весом, чтобы поднять агрегированные национальные инвестиции, занятость и спрос до здорового уровня. Эти новые отрасли в большей степени зависели от потребительского спроса, а он в 1920-х гг. рос очень медленно в силу относительно неравномерного распределения доходов в пользу богатых. Затем по ним ударил крах эффективного спроса после 1929 г. И хотя эти отрасли действительно росли, их рост был ограничен низким агрегированным спросом. Созидательное разрушение может включать необходимость с трудом пробраться через период разрушения, прежде чем по-настоящему расцветет созидание. Капитализм — не равновесная система. Созидание такого типа, которое гарантирует полную занятость, не является необходимой тенденцией капитализма, как мы снова видим это сегодня. После Великой депрессии потребовалась Вторая мировая война для создания общего роста, который придал новым отраслям достаточный вес в экономике, чтобы возглавить будущий рост на основе растущей производительности и массового потребительского спроса.

Представление об экономике переходного периода от отраслей тяжелой промышленности второй промышленной революции к ориентированному на потребительский спрос производству помогает объяснить, почему Великая депрессия была вызвана чрезмерным накоплением капитала, почему она была единичным событием, а также почему в Соединенных Штатах она продолжалась так долго. Даже кейнсианская политика государственных субсидий, проводимая во всех отраслях, не была наиболее подходящей реакцией, поскольку она стимулировала одновременно и новые, и старые отрасли. Более избирательная промышленная политика, проводившая различие между потребностями различных отраслей, сработала бы лучше, хотя опять же задним числом легко рассуждать! Во время «нового курса» один из близких советников Рузвельта Рексфорд Тагвелл отстаивал похожую стратегию. Бернштейн полагает, что, если бы он был услышан, можно было ожидать более стремительного восстановления. Но Тагвелл был из числа левых сторонников «нового курса», не руководящих проводимой политикой, и, как это чаще всего и бывает, правительство имеет тенденцию «захватываться» политически укорененными старыми отраслями, а не технологически динамичными новыми. Национальной администрации восстановления промышленности Рузвельта суждено было установить регулирование цен для

каждой отрасли промышленности, что сыграло отрицательную роль, в наибольшей степени содействовав стагнирующим отраслям.

Шостак фокусируется на технических инновациях. Поскольку техника была основным двигателем американского роста, ее осечки также важны. Он объясняет возникновение и продолжительность Великой депрессии в терминах неравномерного технического развития. Три ключевых растущих промышленных сектора 1920-х гг. (автомобилестроение, электроснабжение и радио) насытили свои рынки к моменту депрессии и стали пионерами трудосберегающего процесса инноваций. «Электрификация, конвейер и поточная сборка породили самый крупный десятилетний рост производительности труда, который страна когда-либо видела в 1920-х гг.». Привнеси эти отрасли множество новых продуктов в период между войнами, и результатом могла бы стать экономическая стабильность. Однако у всех трех был временной лаг до того момента, когда их продукция могла перейти на стадию массового производства. К 1929 г. автомобили уже «вышли в тираж», а современные самолеты (Дуглас DC-3 1935 г. выпуска) еще не были запущены в серийное производство. Радио уже насытило свой рынок, а телевидение еще не было введено в эксплуатацию. Технологии непрерывного производства осуществляли прорывы в изготовлении пластмасс, синтетических волокон и фармацевтических препаратов, таких, например, как сульфаниламиды и витамины, но они подразумевали более сложные технологии производства, на развитие которых потребовались десятилетия (и война). Они попали на массовый рынок только после Второй мировой войны (Szostak 1995: 112–113).

В 1920-х гг. эти динамично развивающиеся отрасли увеличивали свою производительность, а не количество рабочих мест, к тому же им не требовалось больших инвестиций. Количество занятых в промышленном секторе в 1920-х гг. оставалось постоянным, хотя выпуск продукции увеличился на 64%. Основные технологические прорывы сокращали, а не создавали рабочие места (Szostak 1995: 6, 103). По оценкам Шостака, отрасли, использовавшие эти технологии, лидировали в возникновении безработицы во время Великой депрессии. После учета прочих отраслей и добавления к этому эффекта мультипликации он оценивает общую дополнительную безработицу, имеющую их источником, в 13 млн — уровень безработицы на самой глубокой точке депрессии (Szostak 1995: 295). Он кратко рассматривает прочие страны и обнаруживает, что их опыт согласуется с его аргументацией. Аграрные общества, в которых подобных технологий не было, быстро восстанавливались от депрессии. У Бри-

тании были те же проблемы, что и у Соединенных Штатов, но, поскольку в 1920 г. она отставала в инновациях, она могла нащупать твердую почву под ногами и быстрее восстановиться от депрессии (Szostak 1995: глава 13).

Дюмениль и Леви (Duménil and Lévy 1995) добавляют к технологическим менеджериальным инновациям. Производительность труда росла в тех фирмах и отраслях, в которых она дополнялась современными системами корпоративного менеджмента (включая электрификацию конвейеров) и модернизированными закупками, продажами, исследованиями и опытно-конструкторскими разработками. Как и Бодро, они утверждают, что результатом этого стал переизбыток производственных мощностей. 1920-е гг. уже видели высокий ежегодный уровень крахов фирм до 1,05%. Модернизаторы обычно были способны пережить депрессию, но большая часть основного капитала, занятого в традиционных отраслях и фирмах, была устаревающей. Между 1930 и 1932 гг. ежегодный уровень крахов фирм вырос до 1,35%, но многие из уцелевших фирм также были вынуждены закрыть некоторые подразделения. Половина подразделений в автомобильной промышленности была закрыта, хотя наиболее крупные заводы в целом устояли. Имела место не только более низкая загрузка производственных мощностей, но и прямое разрушение производственных мощностей, которое внесло свой вклад в сжатие экономики. Это усугубило инвестиционный кризис, поскольку большинству динамичных фирм не были нужны новые фонды, а инвесторы не собирались вкладывать деньги в стагнирующие фирмы.

По мере расширения и углубления рецессии правительства и банкиры поняли, что нуждаются в более тесном международном сотрудничестве. Необходимость устранения технических проблем золотого стандарта не была чем-то находящимся за гранью понимания банкиров, и они спешили советоваться друг с другом, чему способствовало то, что, подданными какого государства они бы ни являлись, они происходили из одного и того же социального класса, самого «эксклюзивного клуба во всем мире». В компании друг друга они были на короткой ноге, и им редко нужны были переводчики. Они были высокообразованными людьми (разумеется, все они были мужчинами), говорящими на английском или французском языке. Маркс назвал бы их исполнительным комитетом по управлению общими делами финансового капитала, к тому же они представляли собой небольшой транснациональный капиталистический класс, существовавший задолго до того, как социологи обнаружили этого «зверя». Однако они в основном были связаны рамками своей ортодоксии, и, хотя они были юридически автономны-

ми, государство практически не регулировало их деятельность, на практике им недоставало необходимой политической поддержки от правительств и партий, чтобы воплотить международное сотрудничество в реальность.

Как мы видели, геополитика уже вызывала напряжение в международной политической экономии с 1918 г. и далее, в особенности из-за механизмов репараций и военных долгов. К моменту депрессии национализм усиливался. Немецкие, австрийские и венгерские националисты по-прежнему требовали прекращения репараций, но были больше сосредоточены на возвращении утраченных территорий, которые были у них отобраны в соответствии с Версальским и Трианонским мирными договорами. Вслед за национализмом шло давление в пользу экономического самообеспечения. Все более привлекательным для каждого государства становился изоляционизм. Некоторые страны разумно бежали от золотого стандарта, но во время Великой депрессии правительства также стали устанавливать импортные тарифы и квоты, чтобы защитить свои золотовалютные резервы и национальных производителей. Соединенные Штаты стали в этом первыми, начиная с закона 1930 г. Смута — Хоули о тарифах. Имея своими истоками обещания президента Гувера фермерам еще до депрессии, этот закон реализовал их с еще большим размахом, поскольку ориентированные на бизнес республиканцы в палате представителей бросились поднимать тарифы на продукцию их местных отраслей. Они полагали, что если тарифы снизят иностранную конкуренцию на внутреннем рынке, то это снизит избыток производственных мощностей. Это было обманчиво легкое решение для рецессии, но оно угрожало долгосрочным интересам, поскольку прочие страны могли принять ответные меры и международная торговля пострадала бы. С одной стороны, здоровью экономики угрожала транснациональная власть финансового капитала, с другой — чрезмерный экономический национализм. Институты для ограничения и той и другой крайности еще не были разработаны; им пришлось ждать своего часа после окончания Второй мировой войны. На данный момент экономики стагнировали, глобальная экономическая интеграция затормозилась, а государства осваивали новые экономические функции.

У Гувера были собственные сомнения относительно тарифов, тысяча американских экономистов подписали петицию против них, и сенат не хотел подписываться под их повышением. Тем не менее усугубление депрессии убедило сомневавшихся принять этот закон. Новые тарифы были номинально немного выше, и это было сигналом для других стран ответить тем же (Temin 1989: 46). Канада, крупнейший торговый партнер Соеди-

ненных Штатов, незамедлительно так и сделала. Британия обратилась к *имперским преференциям*, тарифам, чтобы защитить всю империю (впервые за 100 лет), и остальные последовали ее примеру. Мировые импорт и экспорт упали, и это препятствовало выплатам международных долгов, поскольку страны были все меньше способны экспортировать в Соединенные Штаты. Европейцы перестали платить долги и стали скатываться в полноценную Великую депрессию (Eichengreen 1992: 222–223).

В ключевые моменты международные соглашения не были достигнуты, поэтому кризис углублялся. Международные отношения портило то, что депрессия переплеталась с репарациями и территориальным ревизионизмом. Германскому правительству пришлось делить контроль над собственной валютой с Банком международных расчетов, что вело к постоянным спорам. Французское правительство Пьера Лавалья, стремившееся продемонстрировать национализм французскому электорату, настаивало на том, что ценой спасения первого по величине банка, австрийского банка «Кредит-Анштальт» в мае 1931 г., было бы ослабление связи Австрии с Германией и отказ от будущего таможенного союза между странами. Австрийское правительство отказывалось довольно долго для того, чтобы спасательная операция провалилась. Австрийская экономика также обрушилась, вызвав волну неприятностей в некоторых немецких банках и положив начало банковской панике в Европе (Eichengreen 1992: 264–280). Все прочие экстренные займы были слишком маленькими и пришли довольно поздно. Эта ситуация была обратной ситуации, существовавшей до Первой мировой войны, когда геополитический порядок рухнул, а финансовый продолжал существовать. Теперь же никто не хотел идти воевать, поэтому страны сражались при помощи своих чековых книжек.

Таким образом, чтобы объяснить Великую депрессию, нам следует объединить проблемы с производством с проблемами в монетарной системе, а также с проблемами геополитическими и политическими. Великая депрессия пришла в качестве рецессии, вскрывшей ряд слабостей в производстве, финансах, управлении и геополитике. В Америке структурные проблемы были более существенными, чем где бы то ни было, поскольку парадоксальным образом это была самая динамично развивающаяся переходная экономика, отходящая от второй промышленной революции благодаря высокой степени технологических инноваций, которые еще не могли обеспечить полную занятость труда или капитала. Но глобальная сельскохозяйственная депрессия, международный резонанс золотого стандарта, идеологическая верность дефляционной экономической политике и геополитическая напряженность быстро распространили эти

проблемы на половину мира через транснациональные и интернациональные процессы. Несколько слабостей наслоились друг на друга, углубив рецессию. Не будь хотя бы одной из них, и депрессия могла бы и не быть великой. Не будь двух или трех из них, и никакой депрессии могло бы не быть вовсе, а имело бы место нечто более похожее на циклическую рецессию. Что касается решений, то, с одной стороны, монетаристское объяснение обладает кажущейся привлекательностью быстрого решения, тогда как, с другой стороны, проблемы неравномерного развития представляются весьма трудными для разрешения. Чтобы исправить недостаточный уровень потребления, требовалось радикальное социальное изменение, но была значима также и идеология.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДЕПРЕССИИ

Удивительно, как огромное количество людей продолжало так долго верить в золотой стандарт. Большинство американских чиновников и экономистов были убеждены в необходимости ликвидации спекулятивных излишеств и защите золотых резервов, так как это должно было стать сигналом частным экономическим акторам и вызвать самонастройку рынков. До того как стать президентом, Гувер был министром экономики и рассматривал Великую депрессию как глобальный феномен, укорененный в германских репарациях. Он рьяно ратовал за международное сотрудничество, но растущий экономический национализм сводил на нет его усилия. Он пытался организовать добровольные инициативы, направленные на стимулирование сотрудничества между экономическими группами интересов, особенно для того, чтобы увеличить инвестиции, но к лету 1931 г. его подталкиваемые государством инициативы с очевидностью не работали. Рынок не был самонастраивающимся, а Гувер тем не менее не прибегал к принудительным мерам и стремился сбалансировать бюджет, чтобы опустить процентную ставку, стимулировать инвестиции и поддерживать золотой стандарт (Barber 1985; Kennedy 1999). Поэтому в июне 1932 г. он допустил большую ошибку — провел через уступчивый Конгресс самое крупное процентное увеличение налогов в американской истории мирного времени, катастрофическое действие в Великую депрессию. В следующем месяце ФРС также приостановила свои действия на открытом рынке, направленные на стимулирование экономического роста. И чиновники, и политики делали ошибки.

То же самое происходило в других развитых странах. Банковские чиновники управляли валютами, привязанными к золоту, и проводили дефляционную политику для предотвращения оттока капитала. Даже после отказа от золотого стандарта большинство стран не обратились немедленно к политике стимулирования экономического роста. Большинство экономистов высказывались против такой политики, включая Шумпетера, Роббинса, Хайека и теоретиков австрийской школы (DeLong 1990). Лишь немногие выразили несогласие: Хоутри, Фишер и Кейнс. Эйхенгрин и Тэмин (Eichengreen and Temin 1997) отмечают, что в основе указанного консенсуса были не только технические или инструментальные основания, но и менталитет. Алдкрофт (Aldcroft 2002) называет это «общепринятой догмой — практически религией». В моей терминологии это была идеология, включающая приверженность нормам и ценностям, так же как и представлениям о фактах. Демонстрировать приверженность золотому стандарту означало демонстрировать добродетели бережливости, дисциплинированности и ответственности. Золото было «моральным, принципиальным и цивилизованным, регулируемое денежное обращение было чем-то противоположным», — соглашались Эйхенгрин и Тэмин. Они цитируют известный призыв секретаря казначейства Меллона: «Ликвидируйте рабочую силу, ликвидируйте рынки, ликвидируйте фермеров, ликвидируйте недвижимость... очистите систему от гнили... [так чтобы]... люди стали работать усерднее, стали жить более нравственной жизнью». Они также цитируют более поздние сетования Гувера о том, что золотой стандарт был «чуть ли не священным догматом», хотя он говорил, что защищал его в качестве единственно возможной альтернативы «коллективизму», тем самым демонстрируя и классовую идеологию. Распространенным мотивом рассуждений было то, что бизнесмены более моральны, чем рабочие. Безработные, заявлял президент Национальной ассоциации промышленников, «не практикуют обычая бережливости и сохранения... они спускают свои накопления» (Leuchtenburg 1963: 21). Но с точки зрения классической экономической теории легко было винить рабочих, поскольку решением для выхода из рецессии было понижение зарплат. Поэтому многие сделали вывод, что минимальный размер оплаты труда, трудовые договоры, фиксировавшие ставки заработной платы, и профсоюзы следует искоренить — классовые войны, но только ради всеобщего блага!

Морализаторство проповедовалось и в других странах. В Японии между 1928 и началом 1930 гг. правительство дефлировало экономику так, чтобы Япония могла вступить в систе-

му золотого стандарта. Оно распространило брошюры, призывавшие к сокращению расходов в каждом домохозяйстве. Эта «моральная образовательная всеобщая мобилизация» включала стихотворения, песни и кинофильмы, обращенные особенно к женщинам — главным растратчицам. Ниже приводится пара куплетов и припев из песни (цит. по Metzler 2006: 204–205), к кинофильму «Женщина номер один», которая стала хитом:

Даже цветущий цветок должен закрыться,
Не так ли?
Теперь настало время закрыть кошелек.
(Это абсолютно верно)

[Припев]
Настало время, пришла пора
Все вместе, рука об руку (да!)
Давайте экономить, давайте экономить.

Ты откажешься от соли, а я перестану пить чай,
Не так ли?
Отменяя золотое эмбарго
(Это абсолютно верно)
Вплоть до радостной отмены золотого эмбарго.

Нет никаких свидетельств того, что министр финансов Иноуэ или кто-то еще из членов японского правительства отказался от соли или чая.

Морализаторская риторика бережливости, честности, дисциплины и высокой нравственности применялась не только к золотому стандарту, но и к подчинению рыночным силам в более общем смысле. В своем исследовании Франции Мур пишет, что поклонение золотому стандарту было частью «жесткой концепции экономической ортодоксии», требующей «дисциплины в работе и бережливости» ото всех. Это была «естественная система», вызов которой бросали только «валютные чудачки» (Moure 2002: 2, 51, 270–271). Вера в неоклассическую догму вынуждала экономик, находившиеся в тисках депрессии, продолжать проводить дефляционную политику.

Важность морали для «духа капитализма» подчеркивалась в знаменитой работе Макса Вебера (Weber 2002). Он возводил ее истоки к «избирательному сродству» между кальвинизмом и капитализмом в англоговорящем мире XVII–XVIII вв. Эти достоинства — бережливость, честность и высокая нравственность — рассматривались в качестве сущности пуританизма. Подобным же было и представление о моральной дисциплине, которую капитализму необходимо внушать своим рабочим (Gorski 2003). Но в начале XX в. эти достоинства были не просто про-

тестантскими, но также переплетенными с чувством морального негодования от «социалистических» требований рабочих. Классические экономисты считали, что уровень безработицы детерминирован только ценой труда. Поэтому экономисты призывали рабочих к самоограничению и самодисциплине. Правительства и пресса убеждали рабочих соглашаться со снижением заработной платы ради блага страны. Если они отказывались, за этим следовали причитания, что рабочий класс не может отложить вознаграждение. Добродетели, выявленные Эйхенгрином и Тэмином, применялись в качестве одного полюса классовой антиномии, противопоставлявшего «наши» добродетели отсутствию дисциплины, бережливости и даже цивилизации среди рабочего класса. Яд был направлен особенно против социалистов, говоривших от имени рабочих, предлагавших несбыточные утопии богатства и роскоши для всех. За технической теорией и моральной риторикой скрывалась защита привилегий, собственности и права иметь слуг — это было в конце концов сущностью цивилизации, как ее тогда понимали. Но это также выходило за рамки исключительно материальных интересов. Объединение теории, морали и интересов в очень явно ощущаемую идеологию было причиной того, что репрессии против рабочего класса и социализма были такими свирепыми в Соединенных Штатах, где реальной угрозы социализма практически не существовало (как мы видели в главе 3). Это был старый режим, пытавшийся преодолеть видимые признаки крушения, упиваясь собственными достоинствами, а на практике полагавшийся на репрессии, включая экономические, выраженные в дефляции. Казалось, старый режим выдержал послевоенный подъем классового сознания рабочих и цеплялся за золотой стандарт, поскольку тот рассматривался как краеугольный камень его цивилизации.

Когда разразилась депрессия, старый режим воспринимал любые ослабления в кредитно-денежной политике как угрозу способности правительства поддерживать свои обязательства обменивать золото по его оговоренному тарифу. Послабление в этой сфере сообщило бы рынкам о безответственности, уменьшая доверие инвесторов к правительству и его валюте. Это создало бы отток капитала. Возможность инвесторов и спекулянтов наказывать за малейшие признаки отклонения усиливала приверженность золотому стандарту. Такое классовое давление предполагало золотой стандарт, но инвесторы и спекулянты не обладали коллективной организацией. Это скорее напоминало поведение, которое наблюдается при паническом бегстве крупного рогатого скота, когда страх потерь, как зараза, распространялся среди них.

Британия была первой большой страной, покинувшей золотой стандарт в сентябре 1931 г., принужденной к этому массовым спекулятивным оттоком капитала, который унес с собой половину ее золотых резервов (Eichengreen 1996). Это оказало огромное воздействие на другие находившиеся под британским влиянием страны «золотого блока», где британская власть оставалась сильной, — Данию и Японию (см. главу 13). Соединенные Штаты были основным защитником золотого стандарта, и, после того как Британия из него вышла, их поддержка стандарта стала еще более критически важной, поскольку золотой стандарт испытывал очевидные трудности. Доллар подвергся спекулятивным атакам; ФРС чувствовала, что у нее нет иного выбора, кроме как поднять ставки для снижения оттока золота (Eichengreen 1992: 293–298). Любые подозрения в том, что правительство может отказаться от золотого стандарта, побуждали инвесторов обменивать местные деньги на золото или конвертируемую в него валюту. Снятие денег с депозитов распространяло панику и сокращало кредитование. Это в конце концов принудило все правительства отказаться от золотого стандарта, но они сделали это позже, чем следовало. Государственные чиновники оказались перед лицом настоящей дилеммы, требующей достижения противоречивых целей окончания депрессии и защиты стандарта. Первое предполагало более мягкую кредитно-денежную политику, второе — более жесткую; первое шло на пользу населению, второе — на пользу финансовому капиталу. Они четко придерживались золотого стандарта и дефляции, потому что боялись власти финансового капитала, так как сами были из того же класса. Это очень поучительный урок для настоящего времени.

Существовала и оппозиция этой ортодоксии, коренившаяся в изменениях классовой структуры и росте представлений о социальном гражданстве. Эйхенгрин и Тэмин (Eichengreen and Temin 1997) полагают, что расширение демократизации после Первой мировой войны сделало правительства более чуткими к требованиям рабочего класса о большем участии в прибылях капитализма. Правительства были вынуждены находить баланс между традиционными ценностями стабильности обменного курса и новыми целями, такими как поддержание уровня занятости и поднятие зарплат, чего они не были обязаны делать в довоенный период. Они приводят в качестве примера британский обменный курс, который был слишком высок относительно уровня цен и зарплат, оставшегося после инфляции военного времени. Либо британские цены и зарплатy должны были снизиться, чтобы сделать британские товары конкурентоспособными на мировых рынках, либо обменный курс на золото

должен должен быть снижен, чтобы сократить цену британского экспорта. И все же, утверждают они, британские профсоюзы стали слишком сильными, чтобы принять сокращение зарплат, а правительство не желало девальвировать фунт. Это создало что-то вроде патовой ситуации, которая, по их мнению, помогла столкнуть Британию в рецессию до того, как разразилась Великая депрессия. Этот аргумент также применим к Франции и Германии. Инвесторы нервничали, боясь, что правительства не отдадут приоритет их интересам столь же автоматически, как это было до войны.

Тем не менее в 1920-х гг. влияние рабочего класса ограничивалось тем, что он досаждал властям на периферии экономической политики. Как мы убедились в первых главах, рабочие и крестьяне редко сотрудничали, и это заметно ослабляло левых в неблагоприятный для обоих классов период. Маловероятным был левый захват власти в Европе после того, как изначальная послевоенная левая волна иссякла. Дефляционная политика господствовала повсеместно. Эйхенгрин и Тэмин совершенно правы, видя растущее демократическое сопротивление в Европе против дефляционной политики в ходе 1920-х гг., но оно по-прежнему оставалось на уровне рядовых членов профсоюзов и левого крыла партий, которые в большинстве своем не были у власти. Это воплотилось в левых британской Лейбористской партии и французской Социалистической партии (обе кратковременно участвовали во власти в середине 1920-х гг.), в левом крыле СДПГ и СПА, которые потеряли силу в Веймарской и Австрийской республиках и в оппозиционных коммунистических и фашистских партиях. Возможно, вхождение в демократию низших классов заставляло правительства колебаться. И все же в конечном итоге они ставили ортодоксию финансового капитала выше интересов рабочих и крестьян. Французские левые потерпели поражение к 1926 г. В Германии Брюнинг и его авторитарные преемники фон Папен и фон Шлейхер были низложены, сражаясь за дефляционную политику. Между 1930 и 1932 гг. они декретировали 10%-е сокращение цен и 10–15%-е сокращение зарплат, а также сокращение государственных расходов на треть. Среди прочих в оппозиции этому решению были нацисты. Как только они пришли к власти, это стало концом дефляции. Подобный результат был и в милитаристской Японии.

В Британии лейбористское правительство меньшинства пришло к власти после выборов 1929 г., но вскоре страна была ввергнута в депрессию. Нуждаясь в поддержке Либеральной партии, лейбористы защищали золотой стандарт и стремились сбалансировать бюджет, однако они также предоставля-

ли помощь безработным по программе, которую реализовывали самостоятельно. Поскольку уровень безработицы взлетел до небес, издержки на помощь безработным привели к разбалансировке бюджета, вызвав на рынках кризис доверия и увеличение спроса на фунт. Это была классовая борьба, противопоставившая мощи транснационального финансового капитала национально организованный труд, но это также была борьба за душу лейбористов. Давление со стороны капитала и либералов заставило лейбористское правительство согласиться с переменной курса и приступить к дефляции, но под давлением левой оппозиции изнутри правительство погрузилось в беспорядок и сложило с себя полномочия в августе 1931 г. Некоторые лидеры лейбористов примкнули к так называемому национальному правительству (на самом деле в нем господствовали консерваторы), но официальная Лейбористская партия ушла в оппозицию до Второй мировой войны. Окажись консервативное правительство у власти в 1929 г., оно столкнулось бы с теми же проблемами роста пособий по безработице. Можно предположить, что оно урезало бы пособия и лейбористы смогли бы получить большую поддержку избирателей, как социал-демократы в Швеции и демократы в Соединенных Штатах. Эти партии пришли к власти с экономической теорией и политикой, которая не ставила капитал во главу угла, и это сработало. Период классовых раздоров и политики бездействия в Британии, Франции и Германии, безусловно, не был решением, как не была решением и экономическая ортодоксия — она в гораздо большей степени несет ответственность за депрессию.

Были и теории, альтернативные ортодоксии саморегулирующихся рынков, устранению государств и дефляции. В Соединенных Штатах структуралисты, или «новые» экономисты, были чувствительнее к возникновению более интегрированной национальной экономики. Они отвергли идею транснационального рынка, управляемого неизменными экономическими законами, и были убеждены в том, что «осмысленное манипулирование» фискальной и монетарной политикой может противостоять «колебаниям в агрегированной экономической активности». Они привнесли умеренный национализм в экономики, утверждая, что новая и лучшая экономика, регулируемая федеральным правительством, может быть развита внутри государства. «В отдельно взятой стране» был возможен капитализм более общенародного типа. Идея более общенародного капитализма изначально привлекала и республиканцев, и демократов. Президент Гувер привлёк структуралистов к изучению безработицы, и они, предвосхищая Кейнса, предположили, что контрциклические государственные расходы могут

помочь облегчить рецессию и снизить безработицу, хотя расходились по поводу масштабов предполагаемых государственных расходов (Barber 1985; Bernstein 2002: глава 2).

Институционалисты были бывшими прогрессистами и оставались сильны в некоторых университетах, особенно Висконсинском и Колумбийском. В отличие от неоклассиков они не верили, что экономика может быть отделена от своих социальных целей. В Висконсине студентам преподавали скорее теорию трудовых отношений, профсоюзов и проблем благосостояния, чем законы спроса и предложения. У институционалистов было чувство миссии: улучшение благосостояния массы рабочих наряду с социальной справедливостью, а также увеличение потребления, которое они рассматривали в качестве пути к экономическому росту. Джон Коммонс, основная фигура в Висконсинском университете, позднее вспоминал: «Я пытался спасти капитализм, сделав его лучше». По его мнению, которое было типичным для прогрессистской веры в науку и разум, «разумные» работодатели и профсоюзы сообща спасут капитализм, одни отказавшись от невидимой руки, другие — от социализма. Профсоюзы помогут капиталистам поддержать макроэкономическую стабильность, компенсируя тенденции недостаточного потребления в экономике. Институционалисты симпатизировали рабочим, но финансировали их либеральные корпорации, особенно Национальная гражданская федерация и семейные трастовые фонды Рокфеллеров. Такие люди, как Коммонс, Сличтер и Даглас, защищали контрциклические меры макроэкономической политики, чтобы сгладить бизнес-циклы взлета и падения (Kaufman 2003, 2006; Rutherford 2006).

Практически никто, кроме социалистов, нетерпеливо предсказывавших конец капитализма, не подозревал, что рецессия 1929 г. будет углубляться и углубляться. Находившаяся в плачевном состоянии наука не смогла понять, насколько жутким станет положение дел. Но сторонники «недопотребления» (институционалисты) были готовы отвечать, как только депрессия началась. Они утверждали, что экономика постоянно производит больше, чем может потреблять, поскольку большинство потребителей столь бедны. Основная вина в этом лежит на растущем неравенстве, утверждали они. Прибыли не могут использоваться продуктивно, и недопотребление уже сформировало переизбыток производственных мощностей, поэтому прибыли шли на накачивание пузыря на фондовом рынке 1928–1929 гг. Они также выявили долгосрочные проблемы. Под давлением поддерживавшей бизнес администрации Кулиджа и бизнес-интересов, утверждали они, ФРС удерживала учетную ставку низкой в 1920-х гг. Это поощряло высокие и в конечном

итоге даже чрезмерные инвестиции в производственные предприятия. Такая политика способствовали увеличению прибыли бизнеса за счет рабочих и фермеров. Популярные экономисты, такие как Стюарт Чейз и Джордж Соул, обнаружили, что, в то время как зарплаты росли примерно на 1% в год, прибыли росли на 9% в период 1923–1928 гг. Это, утверждал Соул, вызвало «фатальное отсутствие баланса между промышленным производством и массовой покупательной способностью» (Dawley 1991: 337–338). Во время первой администрации Рузвельта экономисты «нового курса» придали теории недопотребления больше теоретического лоска (Moulton 1935).

Марксисты пошли дальше, утверждая, что основное противоречие капитализма — это противоречие между производительными силами (техникой, навыками) и классовыми отношениями производства. Когда избыточные технические возможности задушили прибыль, результатом стал кризис накопления. Это оказало воздействия на оба основных общественных класса, хотя рабочие страдали больше. Они были по большей части правы. Затем они предсказали, что произойдет революция. Здесь они с очевидностью ошибались. Хотя в Америке было не так уж много марксистов, эта теория получила общественный резонанс, вдохнув в ряды радикальных рабочих надежду и в ряды чувствовавших себя неуверенно капиталистов определенный страх. Сочетания этих чувств было достаточно, чтобы убедить прочих прийти к классовому компромиссу, как мы увидим в следующей главе.

Сегодня теория недопотребления преимущественно отвергнута. Кейнс продемонстрировал, что сокращение потребительского спроса не обязательно вызывает рецессию, поскольку частные инвестиции в заводы, машинное оборудование и жилищное строительство или государственные закупки либо активное сальдо торгового баланса могут способствовать агрегированному спросу вместо потребителей. Доля потребления в национальном доходе в 1920-х гг. не претерпела никаких существенных изменений (Temin 1976: 32), хотя если мы примем аргументацию Бодро о том, что технологические инновации в массовом порядке увеличили производительность, то Соединенным Штатам потребовалось бы увеличение потребительских расходов, государственных расходов или экспорта, чтобы эти возросшие производственные мощности были использованы. Увеличенные инфраструктурные расходы «нового курса» должны были исправить это положение дел.

Представляется, что в то время большинство народа верило в теорию недопотребления, особенно фермеры, которые по-прежнему составляли 23% рабочей силы США. В главе 3 мы

видели, что американская политическая экономия в течение продолжительного времени отдавала предпочтение северной обрабатывающей промышленности за их счет. Небольшая передышка пришла во время Первой мировой войны, но из-за глобального перепроизводства цены упали, долги фермеров выросли и дефляционная политика усугубила их задолженность. Промышленные рабочие в 1920-х гг. по большей части держались на плаву, и их страдания по-настоящему начались только во время Великой депрессии. Безработица, пониженное потребление и растущая задолженность были также серьезными проблемами для малого бизнеса. О вопросах экономической науки спорили в квазиклассовых категориях, поскольку это было вопросом не только лучшей национальной политики (коллективной власти), но и дистрибутивной власти — кто обретет и кто потеряет.

Когда рецессия усугубилась, у теоретиков недопотребления уже был готов ответ: облегчение кредитно-денежной политики плюс федеральная накачка средствами, направленная на увеличение спроса. Перераспределение покупательной способности и в то же время поддержание промышленного производства, но восстановление цен и зарплат таким образом, чтобы отправить большую часть инфляционного увеличения покупательной способности в карманы потребителей. Затем потребители станут тратить, и прибыли, уровень занятости и зарплат пойдут вверх, поэтому капиталисты также будут в выигрыше — струящаяся вверх экономика! Поскольку фабрик уже было более чем достаточно, правительство должно было финансировать крупные строительные проекты. После того как ортодоксальный ликвидационизм не смог справиться с кризисом в течение трех полных лет президентства Гувера, теория недопотребления выглядела правдоподобной и полезной для смягчения классового конфликта, выросшего во время депрессии. На практике (хотя и не в теории) в краткосрочной перспективе это походило на кейнсианские предписания.

Гувер не мог на такое пойти. «Единственной функцией государства», — утверждал он, — выступает создание условий, благоприятных для благотворного развития частных предприятий». Рузвельт соглашался с этим до тех пор, пока не был избран президентом, но после он и демократы обратились к висконсинской школе. В то время она была наиболее влиятельной в Америке, поскольку ее идеи были восприняты теми политиками, которые более чутко реагировали на недовольство рабочих и фермеров, чем на опасения инвесторов. В демократии они имели численное преимущество.

Экономические теории становятся важными в той мере, в какой они могут мобилизовать приверженность политиче-

ских акторов. Их реальное содержание спорно и ограничено, но это может быть не так важно, как их правдоподобие в качестве идеологий в объяснении повседневного опыта. *Laissez-faire* плюс дефляция имели смысл, соответствующий опыту старого порядка, но, когда он столкнулся с трудностями, они уже не имели значения для народных классов, которые стали искать альтернативные идеологии. Великая депрессия столкнула эти объяснения лоб в лоб с различными результатами. В Соединенных Штатах результатом стал компромисс, но такой компромисс, в рамках которого структуралисты и сторонники теории недопотребления делали успехи, прежде чем в конце 1930-х гг. уступить дорогу полукейнсианской альтернативе.

Американские подходы были упрощенными версиями теорий экономистов стокгольмской школы в Швеции и Кейнса в Англии. Кейнс намеревался разрешить проблемы депрессии и стимулировать занятость без принесения в жертву капиталистической демократии, как это делали фашизм и государственный социализм. В своей «Общей теории занятости, процента и денег», опубликованной в 1936 г., Кейнс высказывался против общей теории равновесия, суть которой в том, что рынки с необходимостью являются саморегулируемыми. Экономика может оставаться в рецессии в течение весьма продолжительного времени. Зарплаты, соглашается он с классическими экономистами, служат ключевым фактором. Чтобы выйти из рецессии с опорой на рыночные силы, реальные зарплаты должны снизиться. Однако Кейнс отмечает, что только номинальные зарплаты были установлены путем переговоров по поводу минимального размера оплаты труда, договоров о заработной плате посредством мощи профсоюзов и т.д. Классические экономисты обрушиваются на все как на препятствия для гибкости рынков труда; Кейнс рассматривает это как одновременно морально нежелательное и игнорирующее отношения власти. Рабочие, разумеется, будут противостоять номинальному сокращению зарплат, если только не увидят эквивалентное падение цен, но занятость может быть повышена, только если снизятся реальные зарплаты (покупательная способность рабочих), и по этой причине номинальные зарплаты должны быть снижены намного больше, чем цены. Это также сокращает потребительский спрос, усугубляя рецессию, доходы бизнеса и ожидаемые прибыли. Если зарплаты и цены снижаются, те, у кого есть деньги, будут ожидать их дальнейшего снижения. Экономика может пойти по нисходящей спирали, поскольку те, у кого есть деньги, не будут их тратить, а подождут, пока падение цен сделает их деньги еще более дорогими. Классическая ортодоксия предполагала, что если потребление упало, то процентная

ставка также упадет, что приведет к увеличению инвестиций, а спрос будет оставаться постоянным — самокорректирующийся рынок.

Однако, утверждал Кейнс, это игнорирует мотив прибыли, который всегда действует в условиях неопределенности. Ожидания и доверие являются ключевыми: бизнесмены инвестируют только тогда, когда уверены, что это принесет прибыль. Если падение потребления выглядит с большой долей вероятности долгосрочным, они будут ожидать уменьшения продаж в будущем. Поэтому их предпочтения по отношению к ликвидности в этой ситуации заключаются в том, чтобы не инвестировать, а придерживать свои богатства. Результирующая «инвестиционная забастовка» превращает рецессию в серьезный спад. Это объясняет то, почему капитализм может застывать в далеко не оптимальном состоянии в течение продолжительных периодов времени. Однако, добавляет Кейнс, государство может вмешаться. Во-первых, оно может снизить налоги и этим оставить бизнесу и потребителям больше их дохода, и таким образом они будут больше его тратить, увеличивая агрегированный эффективный спрос. Но слабость в том, что они могут не расходовать свои доходы, а сберегать их или платить ими по своим долгам. Это не приведет к росту эффективного спроса. Во-вторых, государство может вмешаться более непосредственно, увеличивая государственные расходы, поскольку в таком случае вся сумма увеличения расходов будет истрачена. Это стимулирует эффективный спрос, а также подразумевает рост умеренного дефицита, но он будет более чем вознагражден эффектом мультипликации в плане занятости и налоговых поступлений, вызванных большей экономической активностью. Кейнс знал о рисках подобной деятельности, и я должен подчеркнуть, что он отстаивал подобную политику только в качестве краткосрочного ответа на рецессию. Если бы имела место полная занятость, это не сработало бы, но его открытие эффективного спроса было новым и политически полезным. Ему суждено было стать новым центральным элементом политики в период возросшей регуляции, чтобы удержать рыночные силы от подкрепления извращенных тенденций капитализма. Это было хорошо и для капиталистов, и для рабочих (Keynes 1973: 249–250: глава 19; Ingham 2009: 43–50). Как отмечает Поланьи (Polanyi 1957), в 1930-х гг. ощущались предвестники структурного сдвига. Увеличившееся государственное вмешательство в национальные рынки и увеличившийся национализм за рубежом, отказавшись от золотого стандарта и введя конкурентную девальвацию и тарифы, эффективно закончили с либеральной цивилизацией XIX в. Поскольку По-

ланы рассматривал «невстроенность» либеральной экономики XIX в. как историческое исключение, он полагал, что либеральная экономика ушла навсегда. Сегодня мы видим, что Поланьи ошибался, хотя период возросшего государственного регулирования рынков действительно последовал после того, как он об этом написал.

Большинство экономистов в настоящее время согласны относительно важности ощущения неопределенности у инвесторов и потребителей во время рецессий. Многие также согласны с кейнсианским решением: если частные акторы не могут создать совокупный спрос во время рецессии, правительство может разрешить «проблему неисправности зажигания», стимулируя совокупный спрос посредством увеличения собственных расходов и финансирования проектов, создающих рабочие места, даже ценой дефицитного финансирования. Ограниченные заимствования государственного сектора не повысят ставку процента чрезмерно. Хотя концепция «эффекта мультипликации» была оспорена, современные исследования показали, что во время рецессии он действительно работает почти на том уровне, который предсказывал Кейнс (Auerbach and Gorodnichenko 2011). Таким образом, баланс государственного бюджета должен оцениваться по отношению к уровню спроса в экономике, а не в соответствии с правилами хорошего ведения домашнего хозяйства в частном секторе. Если имеют место бюджетный дефицит и крупномасштабная безработица, дефицит следует увеличивать, а не сокращать. Государство может увеличить стабильность экономики посредством как фискальных, так и монетарных мер. Если бы только большинство политиков в англоговорящих странах это сегодня понимали!

Кейнс предложил теоретическое обоснование для того, о чем некоторые акторы в любом случае интуитивно догадывались. Это было то же самое, что отстаивали экономисты стокгольмской школы и что шведское социал-демократическое правительство стало воплощать в жизнь после прихода к власти в 1932 г. Кейнсу пришлось дожидаться второго президентского срока Рузвельта, прежде чем его идеи стали частью американской экономической политики, но его политика продолжала работать десятилетиями, хотя и в урезанном виде, подогнанная к классическим экономическим идеям. Отвергнув применимость общей теории равновесия ко всем временам, Кейнс ввел в экономику реальных человеческих существ с их восприятием, институтами, отношениями власти, делающими невозможными любые вечные экономические законы. Это было также очевидно из его воззрений на финансовый капитал, которые я рассмотрю в томе 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках капитализма имеет место пространственная напряженность. Хотя в принципе капитализм транснационален и глобален (не признает национальных границ, движется в любом направлении, сулящем прибыль), в реальном мире он ограничен существованием национальных и имперских границ, а также характерных для них конфигураций идеологических, военных и политических отношений власти. Важной проблемой капитализма в этот период было то, что экономическая политика проводилась на национальном уровне, а наиболее важные источники дестабилизации были транснациональными, в то время как межнациональная регуляция была разрушена в результате Первой мировой войны. Геополитическая напряженность и конфронтации продолжили существовать и после войны. В политическом отношении в 1920-х гг. продолжал править старый режим, восстановившийся от послевоенных страхов и полный решимости сохранить свое экономическое господство, но теперь столкнувшийся с вызовами движения к демократии. Массы выдвигали гораздо большие требования социального гражданства, но пока не могли их достигнуть. В идеологическом отношении 1920-е гг. видели рост одновременно и классового сознания, и национализма. В этом контексте правительства не могли справиться с финансовым кризисом, распространявшимся, подобно вирусу, через государственные границы, что отражало структурную слабость экономики переходного периода. Великая депрессия была частью усиливавшейся экономической глобализации. Она была глобальным феноменом, но такого рода, который создает больше не глобальной интеграции, а дезинтеграции. Те государства, которые стали играть более активную роль в экономике, затем смогли ее обуздать.

Кейнс, Рузвельт и висконсинская школа заявляли, что их миссия состоит в том, чтобы спасти капитализм. Кейнс и Рузвельт были аристократическими либералами начала XX в. с симпатиями к рабочему классу и ощущением определенной ответственности за него. Висконсинская школа, теоретики которой были более скромного социального происхождения, состояла в более прямых отношениях с рабочими и их представителями. Все они были убеждены в возможности создания более человеческого, мирного, стабильного и эффективного общества демократического капитализма при условии, что оно будет нести в себе определенную степень экономической безопасности для всех, определенную степень социального гражданства, что, по их убеждению, должно включать определенное классовое пе-

пераспределение, осуществляемое через государственное вмешательство. Государство должно опосредовать растущую классовую борьбу того периода, не представляя ни капитал, ни труд, а ища перемирия между ними.

Было несколько способов справиться с кризисом. Британия кое-как довела дело до конца, отказавшись от золотого стандарта, игнорируя Кейнса в пользу корпоративизма тори и возведя тарифы вокруг своей империи, что принесло некоторое улучшение. Франция мешкала, разделившись по этому вопросу, сохраняя золотой стандарт и добившись небольшого восстановления. Наиболее успешные демократические решения были предложены кейнсианско-шведско-американской семьей «либ-лаб» реформаторов, использовавших государственное вмешательство, направленное на рост и умеренное перераспределение. Чтобы восстановить порядок в экономике, рабочим практически по всему миру дали чуть больше социального гражданства, создав тем самым более эффективную и человечную экономику, что выходило далеко за рамки того, что могли бы предложить только лишь смягчение кредитно-денежной политики и гибкость обменного курса. Это также несколько ужесточило национальное государство, хотя и до различной степени в разных странах.

Были также и деспотические решения этой проблемы. Фашизм восторжествовал в Германии, Австрии и Италии, как и деспотические правые режимы на половине территории Европы. Это были способы вывести народ на сцену, но в роли без слов. В Румынии Манойлеску разработал корпоративистскую экономическую программу, принесшую недемократические решения для экономических проблем. Деспотические режимы разделяли с демократиями приверженность к государственному вмешательству для разрешения экономических проблем (хотя это не означает, что они были социалистическими, как утверждает Темин (Temin 1989). В начале 1932 г. нацистская партия предложила финансируемое за счет кредитов создание рабочих мест и боролась на выборах в следующем году на этой платформе, что обеспечило ей популярность. Когда в том же году Гитлер пришел к власти, он использовал силу, чтобы быстро вывести Германию из рецессии путем высоких военных расходов, сокращения зарплат, устранения независимых профсоюзных организаций и увеличения занятости. Это также было лекарством, использованным с заметным успехом в Японии (Temin 1989: 29–31, 61–73, 100–3; Metzler 2006: глава 11). Ни одному из двух режимов не приходилось бороться с сильной традицией государственного невмешательства (*laissez-faire*), и они могли опереться на более этатистскую традицию политической экономии, имевшую

обратную темную сторону. «Новый курс», шведская социал-демократия, советский пятилетний план, фашизм, нацизм и японский милитаризм были, как определяет их Силвер (Silver 2003: 143), «различными способами запрыгнуть из дезинтегрирующего мирового рынка в спасательную шлюпку национальной экономики». Из них социальная демократия или смесь из структурализма, теорий недопотребления, Кейнса и Рузвельта были лучшими из имеющихся, но все наборы политических мер, которые возымели успех, тормозили экономическую глобализацию и отстраивали экономики в большей степени внутри национальных «клеток». В комбинации с недостаточным национальным и международным контролем экономическая глобализация вызвала Великую депрессию, и решение заключалось в усилении национально-государственных «клеток». К сожалению, наиболее усиленные «клетки» вызвали мировую войну.

Множество экономистов любят изображать Великую депрессию как аберрацию (отклонение), экстраординарное происшествие, которое выбило капитализм из его нормальных мягких циклов в результате повальной человеческой некомпетентности или вмешательства неэкономических сил. Она, несомненно, была чем-то из ряда вон выходящим и, как и обычно в человеческих делах, проявилась некомпетентность. Но при этом она также воплощала нормальные капиталистические механизмы. За исключением ошибок ФРС, депрессия видела рыночные механизмы, работавшие довольно хорошо в том смысле, что негативная информация эффективно распространялась среди основных акторов, побудив их к действиям, которые пагубным образом усугубили рецессию, превратив ее в депрессию. Принесение прочих целей в жертву поддержанию доверия бизнеса (спекулянтов того времени) также является нормой в капиталистических государствах. Капитализм время от времени становится порочным, поскольку сумма индивидуальных рациональностей, преследующих прибыль, находящая свое выражение на рынках, не всегда генерирует общественное благо.

Мы видели, как каскад шоков, наславившихся друг на друга, привел от рецессии к Великой депрессии. Большинство национальных экономик 1920-х гг. никогда не были слишком динамичными, но в середине 1920-х гг. пришла глобальная сельскохозяйственная рецессия, вызванная перепроизводством, которое, в свою очередь, было вызвано смесью из наследия Первой мировой войны и технологических инноваций, ведущих к высокой производительности. В Соединенных Штатах спад в строительстве и промышленности начался в 1928 г. Это можно было рассматривать в качестве нормального бизнес-цикла, но, к несчастью, он совпал с пузырем на фондовом рынке

в силу чрезмерной веры инвесторов в возможности стремительного технологического прогресса создавать прибыль. Огромные инвестиции и спад производства создали избыток производственных мощностей, банкротства фирм и банков, а также взлетевшую безработицу. Кредит иссяк. Государство и ФРС нашли ошибочный ответ, предприняв дефляцию и ограничение денежной массы, как диктовала доминирующая экономическая идеология. Она гласила, что саморегулирующиеся рыночные силы восстановят равновесие и роль государства должна заключаться в том, чтобы помочь рыночной ликвидации стоимости акций, плохого бизнеса, лишних рабочих и высоких зарплат. Затем саморегулирующиеся рыночные силы восстановят равновесие. Как мы убедились, это также была классовая идеология старого режима, но она превратила углублявшуюся рецессию в Великую депрессию. Затем американские проблемы передались уже слабеющей международной экономике, вскрыв слабости золотого стандарта. Его фиксированные обменные курсы передавали воздействие от падающих цен и прибылей в Соединенных Штатах на прочие экономики. Международные займы США сократились, уменьшив экспортные возможности прочих стран. Они чувствовали, что вынуждены ограничить кредит и поднять процентные ставки, что означало дополнительную дефляцию с их стороны в процессе депрессии.

Депрессия нанесла серьезный ущерб только половине мира (белого мира), и в значительной его части она долго не продлилась. Страны применяли национальные экономические меры: выходили из золотого стандарта, поднимали тарифы и стимулировали экономику в целях достижения полной занятости. Национальные государства восстановились и даже усилили свою власть, найдя новые роли и новые способы противостояния транснациональному давлению капитализма. Поланьи (Polanyi 1957) обрисовал это в терминах двойственного движения капитализма: с одной стороны, вечная экспансия предположительно саморегулирующихся рыночных отношений, с другой — защитная реакция общества от последствий функционирования этого рынка, то есть социальная самозащита, которую он рассматривал в качестве определяющей характеристики новой возникающей цивилизации. Эта модель вполне хорошо работает на общем уровне в данном случае, хотя она и не может объяснить, почему некоторые обратились к фашизму, а другие — к социал-демократии, а также почему потребовалась мировая война, чтобы завершить движение к самозащите. Поланьи слишком экономистичен.

Чтобы все объяснить, я провел более широкий анализ, сфокусированный на финансовых рынках, фискальной и монетарной

политике, чтобы охватить технологические и промышленные структуры, классовую структуру и идеологию, а также геополитическое соперничество и национализм. Это приводит к источникам социальной власти в целом. Четыре основные структурные трансформации в отношениях власти были уже на ходу. Во-первых, имел место спад в сельском хозяйстве (традиционной опоре экономики), подавленном глобальным перепроизводством, возможно, первая, действительно универсальная доза глобализации в XX в. Эти муки составили первый этап депрессии. Во-вторых, промышленность благодаря быстрым технологическим изменениям переходила от тяжелых отраслей второй промышленной революции к более легкой, ориентированной на потребителя промышленности, но данная комбинация еще не могла обеспечить создание экономики с полной занятостью. Старые отрасли промышленности больше не росли, а новые еще были маленькими. Созидательное разрушение происходило, но слишком медленными темпами. В-третьих, правящий класс старого режима, все еще контролировавший финансы развитого мира, стремился держаться за свое традиционное господство путем спекулятивного давления на государства и идеологической верности ликвидационизму и золотому стандарту — это подвело половину глобальной экономики к самому краю. Напротив, расширявшиеся рабочий и нижний средний классы, стремившиеся к большему социальному гражданству, не имели возможности бросить вызов этой ортодоксии до тех пор, пока Великая депрессия не была уже в самом разгаре. В-четвертых, в геэкономической власти имел место отход от британской гегемонии, смешанной с координацией прочих основных национальных экономик, но пока еще не было ни другой гегемонии, ни стабильного международного сотрудничества, поскольку державы были геополитически разделены конфликтами, возникшими в результате заключения мирных договоров, положивших конец Первой мировой войне.

Во всех этих различных полях социальной жизни слабости, которые в противном случае могли бы остаться необнаруженными, были вскрыты по мере распространения рецессии и углубления ее в Великую депрессию. Это не был единый кризис всей системы, направляемый внутренней логикой развития капитализма, вне зависимости от того, к чему эта логика вела — к равновесию и росту, как у неоклассических экономистов, или к системным противоречиям, как в марксизме. Скорее это был развертывавшийся каскад более специфических кризисов, вспыхивавших один за другим, становившихся взаимосвязанными (хотя отчасти случайным образом), по мере того как четыре великие трансформации с их собственными причинно-

следственными цепочками накладывались друг на друга. Это был структурный, но не системный кризис. Он не был всецело глобальным, поскольку его катастрофы по большей части ограничивались развитыми странами и белой расой — справедливое воздаяние, как иные могли бы сказать, за то зло, которое совершили белые империи!

Многие экономисты почувствуют, что в сказанном мною не так уж много от объяснения, поскольку различные причинно-следственные цепи просто нагромождаются друг на друга без количественных весов и не трансформируясь в математические уравнения, применимые везде и всегда. Но это именно то, что, как мне представляется, произошло на самом деле. Лоуренс Саммерс (Summers 1986), выдающийся экономист, часто склонный к неолиберализму, отмечал: «Экономисты куда больше преуспели в исследовании оптимального отклика отдельного экономического агента на изменяющиеся экономические условия, чем в исследовании того равновесия, которое будет результатом взаимодействия различных агентов». Насколько же это вернее, когда мы исследуем условия, результатом которых стала разбалансировка!

Я также вижу подтверждение этого подхода в том, что случилось во время и вскоре после Второй мировой войны, поскольку Великая депрессия не была более экстраординарным событием, чем беспрецедентный послевоенный экономический бум. Как мы убедимся в томе 4, он выразил зрелую фазу всех четырех переходов: массовая миграция из сельского хозяйства обеспечила рабочую силу для роста городских промышленных секторов; эпоха роста ориентированных на потребителя отраслей началась в ответ на высокий спрос; универсальное социальное гражданство возникло благодаря пособиям, прогрессивному налогообложению и политической приверженности полной занятости. И Соединенные Штаты, без сомнения, ставшие державой-гегемоном, представили работающие правила международной экономики. Приведенная комбинация означала более универсальную форму глобализации. Это сравнение демонстрирует, что экономика всегда переплетается с прочими источниками социальной власти и в хорошие, и в плохие времена.

ГЛАВА 8

«Новый курс»: Америка сдвигается влево

ВСТУПЛЕНИЕ: ЛЕВЫЕ У ВЛАСТИ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ рассматривается ответ на Великую депрессию, который был дан в самом ее эпицентре. Она также служит целям сравнительного анализа кейсов роста социального гражданства в северной части мира, представленного в следующей главе. В ходе 1930-х гг. Соединенные Штаты увеличили права социального гражданства, тем самым расширив занятость, политику всеобщего благосостояния, права профсоюзов и прогрессивное налогообложение. До этого Соединенные Штаты отставали; теперь они играли в догонялки в разработке нормального «либ-лаб» режима всеобщего благосостояния. Отныне они почти отличались от других развитых стран, за исключением того, сколько времени им потребовалось, чтобы догнать других. В этой главе я обсуждаю степень роста социального гражданства, его причины и непосредственные результаты. Причины просты: прежде всего необходимость догонять в этом отношении была обусловлена Великой депрессией. Как мы видели в предыдущей главе, она больно ударила по Соединенным Штатам. Первая мировая война вызвала только лишь умеренно консервативную реакцию в Соединенных Штатах в отличие от большинства стран, но Великая депрессия заменила ее в том, что касалось радикализации.

Вторая причина — политическая (две причины достаточны для объяснения). Депрессия оказала практически единообразное политическое воздействие по всему миру. Режимы, находившиеся у власти во время ее начала, были дискредитированы и низложены вне зависимости от того, были они левыми или правыми. В Швеции и Дании консервативные правительства пали, а союз социал-демократической и аграрной партий использовал кейнсианскую политику, чтобы повлиять на восстановление экономики и укрепить социал-демократов в качестве нормальной правительственной партии на протяжении большей части столетия. В Канаде консервативное правительство

предложило прогрессивные реформы, но тем не менее проиграло выборы, и их либеральные преемники унаследовали реформистскую политику. В Британии лейбористское правительство раскололось, пало и не формировало кабинет до 1945 г. Австралийское лейбористское правительство также было низложено, откладывая реформы, а в Новой Зеландии произошло обратное: консерваторы пали, а лейбористы провели реформы. Все они — институционализированные демократии; правительства были отправлены в отставку мирным путем через электоральный процесс. Огромным достоинством институционализированной либеральной демократии и политического гражданства было то, что они были самоподдерживающимися. Новоиспеченные демократии и полудемократии более уязвимы. Правительства, на которых возлагалась ответственность за депрессию, потерпели электоральное поражение, но также часто свергались путем переворотов. В Японии центристское правительство пало, и его правые преемники принесли с собой восстановление экономики, отказавшись от золотого стандарта и установив авторитарный милитаризм. В Германии Великая депрессия помогла дискредитировать всех демократических политиков, а затем и некоторых авторитарных, пока нацисты не пришли к власти и не принесли экономическое восстановление. Это были различные исходы. Вопреки надеждам левых на то, что это последний кризис капитализма, он не был таковым. Подобным же образом Великая депрессия не благоприятствовала делу левых по всему миру. Капитализм уцелел повсеместно, пусть и в различном образом реформированном виде.

Соединенные Штаты были одной из тех стран, где Великая депрессия дискредитировала консерваторов: будь то консервативные республиканцы, которые были у власти в течение десятилетия, или консервативные демократы, которые были во главе своей партии с середины 1920-х гг. Фиксированные четырехлетние сроки американской политической системы гарантировали, что у республиканцев было три года, в течение которых они не смогли справиться с депрессией. Затем состоялась двойная победа Рузвельта в 1932 г. над Элом Смитом на съезде Демократической партии и над Гувером на общих выборах (Craig 1992: глава 11). Демократы контролировали президентское кресло, сенат и палату представителей. Группа прогрессивных республиканцев также выступала за реформы. Бизнес и республиканцы потеряли рычаги влияния, как бы провалившись перед народом. Поскольку у бизнеса было мало возможностей инвестировать, любая угроза инвестиционной забастовки для дисциплинирования федеральной админи-

страции или более радикальных штатов была бы пустой затеей. На выборах 1934 и 1936 гг. демократы получили больше мест в палате представителей и сенате. Электоральный разворот пришел в 1938 г., но с 1934 по 1938 г. Либеральная партия впервые управляла Соединенными Штатами, хотя консервативные демократы южных штатов все еще контролировали важные комитеты. По-прежнему имели место закулисные сделки и отступничество, но большинство демократов и их новых чиновников и советников («сборная солянка» из экспертов, шарлатанов и писак) при поддержке немногочисленных прогрессивных республиканцев выступили за большее вмешательство государства в экономику, увеличение госрасходов и социальное гражданство.

В ходе своей избирательной кампании Рузвельт пообещал перемены «трех R»: помощь, восстановление и реформы (Relief, Recovery, Reform). Он заявлял: «Я обещаю вам, я обещаю себе новый курс для американского народа». «Новый курс» прекрасно укладывается в концепцию Поланьи об общественной самозащите от разрушительных последствий рынков, но Рузвельт оставил без разъяснений то, из каких именно шагов будет состоять его «новый курс». Партийная платформа (программа) 1932 г. даже не упоминала труд, и, хотя он и обещал увеличить помощь безработным, в то же время он сократил государственные расходы в один момент, по его утверждениям, на 25%. «Основой постоянного экономического восстановления», — считал он, — должен быть сформированный и справедливо сбалансированный бюджет» (Leuchtenburg 1963: 10–12; Barber 1996: 19). Однако его риторика едва ли была честной.

На первом этапе «нового курса» в течение его первых 100 дней прошел шквал законопроектов, направленных прежде всего на помощь и капиталу, и труду. Они включали помощь банкам, многие из которых обанкротились или балансировали на грани банкротства; создание Комиссии по ценным бумагам и биржам, регулирующей ценные бумаги и банки, а также Федеральной комиссии по страхованию вкладов (FDIC), обеспечивающей им страхование. Закон о чрезвычайных работах по сохранению окружающей среды создал рабочие лагеря, насчитывавшие 250 тыс. молодых мужчин. Федеральное агентство по облегчению положения безработных распределило 500 млн долл. между штатами и правительствами местного уровня. Закон об учреждении Администрации регулирования сельского хозяйства (AAA) создавал Федеральное агентство для субсидирования фермеров, поддержания цен и доходов и сокращения производства. Федеральное управление долиной реки Теннесси строило плотины и электростанции для создания рабочих

мест и регионального развития. Была также учреждена Служба занятости США. Имела место помощь строительству и ипотечному кредитованию. Закон о восстановлении промышленности (NIRA) создавал Администрацию (Управление) национального восстановления (NRA) для разработки норм справедливой конкуренции для каждой отрасли промышленности в целях регуляции цен и доходов с участием представителей от рабочих; был отменен золотой стандарт.

Затем с 1935 г. пришел второй, более радикальный этап «нового курса». Некоторые из вышеперечисленных мер были усилены: Реконструктивная финансовая корпорация была расширена до крупного банка. Администрация по обеспечению работой (WPA) была учреждена в 1935 г. как более масштабное агентство, предоставлявшее работу безработным. Более того, закон о социальном обеспечении 1935 г. устанавливал совершенно новые программы социального обеспечения, базирующиеся на страховании от безработицы и пенсиях пожилым людям, предоставлении федеральных дотаций штатам для оказания непосредственной помощи пожилым, инвалидам и малоимущим родителям-одиночкам. Закон Вагнера 1935 г. наконец наделил американские профсоюзы теми же организационными правами, что и профсоюзы других демократических стран, также налагая на них схожее регулирование через Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NRLB). И хотя деятельность Администрации национального восстановления была признана Верховным судом неконституционной, прочие агентства продолжили регулировать такие отрасли, как железнодорожное строительство и коммунальные услуги. В 1938 г. был принят второй закон о регулировании сельского хозяйства (заменивший первый, который также был отклонен Верховным судом), а также закон о жилищном строительстве для финансирования строительства дешевого жилья и ипотечных кредитов. Закон о справедливых трудовых стандартах (FLSA) отменял детский труд и устанавливал максимальную продолжительность рабочего дня и минимальный размер оплаты труда для большинства отраслей, вовлеченных в торговлю между штатами (позднее он был расширен и на остальных рабочих).

Эта пятилетняя вспышка была прогрессистским рогом изобилия, обновлением программ, которые прогрессисты в свое время не смогли реализовать. Кеннеди видит в них три сюжета: базовый уровень защищенности для американцев через общественные работы и государственное регулирование; кейнсианскую уверенность в том, что частный сектор в одиночку не может создать достаточного уровня инвестиций и занято-

сти для поддержки современной экономики; националистическое допущение, «что Соединенные Штаты являются экономически самодостаточной нацией» — защитный ответ на глобализацию капитализма (Kennedy 1999: 374–375). Без Великой депрессии, дискредитировавшей консерватизм, сопоставимого сдвига не могло бы произойти. Без сомнения, государство увеличивало бы свое присутствие гораздо более медленными темпами или, возможно, Вторая мировая война (если бы она случилась без депрессии) создала бы стимул для этого. Впервые в Соединенных Штатах имело место стремление к «либ-лаб» режиму, смешивавшему либеральные и несоциалистические лейбористские идеалы, как в прочих англоговорящих странах. Внезапно европейские реформаторы стали чаще смотреть на Соединенные Штаты, а не наоборот (Rodgers 1998: 409–412), что было драматическим поворотом. Предположительно это предвещало поворотный момент в американских отношениях власти — еще одно доказательство в пользу того, что устойчивая исключительность не может объяснить американского развития.

В своем сравнительном исследовании программ соцобеспечения Хикс (Hicks 1999: глава 3) отмечает, что вторая фаза расширения обеспечения в 1930–40-х гг. наступила в основном из-за инициатив социал-демократических или лейбористских партий (иногда в альянсе с прогрессивными либералами или католиками), хотя в Канаде и Соединенных Штатах она пришла от секулярных либеральных партий. Тем не менее североамериканский пакет мер по поддержанию доходов прогрессивному налогообложению и макроэкономическому и промышленному регулированию на национальном уровне весьма схож с положением дел, достигнутым по всему остальному миру социал-демократами. Последние иногда заявляли о приверженности идеологии марксизма, тогда как американские либералы содрогались от одной мысли об этом. Однако их политические меры были схожими: Соединенные Штаты отныне не отставали.

Вокруг «нового курса» всегда бушевали споры. Экономисты не могут прийти к согласию о том, как много экономического роста принес с собой «новый курс». Историки спорят обо всем. Социологи расходятся относительно его причин. Был ли «новый курс» результатом автономии государства или классовой борьбы, а также следует ли нам предпочесть объяснения «сверху вниз», подчеркивающие роль элит или фракций капиталистического класса, или объяснения «снизу вверх», подчеркивающие роль народных сил (Manza 2000).

ПЯТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Можно выделить пять основных подходов, вытекающих из теорий государства, которые я обозначаю в главе 3 тома 2. Первый — *плюрализм*, официальное восприятие либеральной демократией самой себя. Этот подход рассматривает власть народа как опосредованную множественными партиями и группами интересов, могущество которых уравнивает друг друга. Действительно, Рузвельт приобрел, сохранял и в конечном итоге потерял реформистскую власть через вполне свободные выборы и парламентскую борьбу между партиями и фракциями. И хотя американская демократия не функционировала настолько идеально, как того хотелось бы плюралистам, в том, что касается «нового курса», есть место его объяснению в категориях несовершенного плюрализма.

Теория автономии государства порождает второй и третий подходы, два пути утверждения примата политической власти. Некоторые подчеркивают автономию *государственных элит*, утверждая, что эксперты федерального уровня и уровня отдельных штатов, действовавшие через научно-исследовательские центры и административные агентства, оказали заметное воздействие на политику «нового курса» там, где эти агентства обладали высокой инфраструктурной способностью разрабатывать и применять согласованные политические меры по всей стране. Реформы были проведены там, где эксперты и способности штатов были сильны, и потерпели неудачу там, где были слабы. Они подчеркивают роль обществоведов, особенно экономистов, социальных работников и агрономов. Теда Скочпол и соавторы подчеркивают роль экспертов в своей ранней работе (Skocpol 1980; Skocpol and Amenta 1985; Skocpol and Ikenberry 1983; Orloff 1988). Эти исследователи истолковывают «новый курс» в духе американских прогрессистов, рассматривавших модернизацию как достигаемую посредством разума, который несли в себе ученые-профессионалы, координируемые эффективным правительством.

Я скептически отношусь к возможностям элит и экспертов в либерально-демократических государствах. Хотя в этом томе я подчеркиваю автономию элит в фашистских и коммунистических режимах, либеральные демократии пытаются воспрепятствовать подобной автономии, и ни одна из демократических конституций не старается так сильно, как американская конституция. Действительно, Рузвельт был эффективным политиком, который намеренно использовал свою популярность, для того чтобы усилить президентскую власть (Campbell 1995: 103–104).

В этот период могущество исполнительной власти действительно возросло, но разве нет круга в объяснении, когда это увеличение объясняется в категориях власти экспертов. Возможно, избиратели, политики и могущественные экономические группы интересов хотели увеличения бюрократической власти для борьбы с депрессией, и «новый курс» мог закончиться, если бы они устали от экспертов и бюрократов. Я обнаруживаю массу доказательств в пользу этого.

Конституция в том виде, как она была позднее институционализирована, создала очень могущественную и автономную государственную элиту экспертов, но ее задачей было ограничение исполнительной власти. Эти эксперты рекрутировались только из их собственной, весьма напоминающей кастовую профессиональной группы, они обладали большой компетентностью в скрытом и сакральном корпусе знаний, к тому же они назначались пожизненно — это судьи Верховного суда, которые были по большей части консервативными. Они действительно играли большую роль в политике «нового курса», в основном пытаясь остановить его, блокируя его законодательство, которое предположительно возвышало власть федерального правительства над правительствами штатов. Они также объявляли неконституционными законы, давшие экспертам административных агентств полномочия, которыми должны быть наделены законодатели. Судьи чувствовали, что они являлись единственными могущественными экспертами внутри государства! Наиболее могущественная государственная элита скорее сопротивлялась, а не помогала «новому курсу».

Кроме того, у экспертов есть и наниматели, и социальные идентичности. Их нанимают, следовательно, наниматели ограничивают их автономию. Юристы и бизнесмены (вместе с их советниками) составляли большинство собственных экспертов администрации, за которыми на определенной дистанции следовали работники социальной сферы и обществоведы. Бизнесменов можно рассматривать в большей степени в плане их классовой идентичности, хотя корпоративные либералы среди них отвергали определенный консерватизм их класса. Идентичности работников социальной сферы обычно были либеральными, примером чего являются Гарри Гопкинс или Фрэнсис Перкинс. Юристы обладали более смешанными идентичностями; они не были узкими специалистами, поскольку много читали и усваивали общую экономическую и социальную мысль своего времени (Schwarz 1993). Множество молодых юристов были привлечены к разработке законопроектов, ими же были укомплектованы новые федеральные агентства. Бернштейн (Bernstein 2002: 64) пишет, что Франклин Д. Рузвельт «создал больше

возможностей для адвокатов на федеральной службе, чем практически во всех прочих профессиональных и академических полях вместе взятых». Большинство из них были молодыми выпускниками университетов Лиги Плюща, зачастую либерального иудейского или католического происхождения, но после государственной службы две трети из них вернулись к частной практике, в основном в юридических фирмах Нью-Йорка или Вашингтона, занимавшихся сопровождением дел больших корпораций. Меньшая часть работала на профсоюзы, становилась профессорами права или оставалась на государственной службе (Irons 1982: 3–10, 299). Как отмечает Домхофф (Domhoff 1990: 92), эти эксперты не выглядели столь уж автономными, как полагает Скочпол и др.

Вторая линия аргументации, проистекающая из теорий автономии государства, полагает, что государственные *институты* играют заметную роль в структурировании результатов. Это они называют «институционально-политическим процессом» или «институциональной политикой» (Orloff 1988: 40; Amenta and Halfmann 2000). Зависимой переменной, нуждающейся в объяснении, в этом случае является государственная политика. Если мы хотим объяснить экономические результаты, то нам следует сначала обратиться к экономическим причинам, для объяснения военных результатов — к военным причинам, идеологических результатов — к идеологическим причинам и политических результатов — к политическим причинам. Иногда основная причинно-следственная линия будет проходить по иному пути и может включить прочие источники социальной власти. И все же следует ожидать, что политические шаги «нового курса» испытали сильнейшее влияние отношений политической власти, которые в Соединенных Штатах означают федеральную и партийную системы, патронажную политику, особую власть Юга на Капитолийском холме и выборы, хотя большинству этих институтов придают важное значение также плюралисты. Институционалисты также подчеркивают «эффект колеи» (*path dependency*) или, иными словами, зависимость от ранее избранного пути: новые политические события отчасти структурируются путями, установленными старыми институтами, которые вводят более консервативные траектории. Поскольку в данном случае мы пытаемся объяснить довольно радикальные трансформации, зависимость от ранее избранного пути должна быть довольно ограниченной.

Четвертый и пятый подходы охватывают то, что политики называют теорией ресурсов власти, и то, что ранее называлось классовой теорией. Некоторые подчеркивают *классовую борьбу*, как правило, рабочих и мелких фермеров против капи-

талистов. Они обычно рассматривают «новый курс» как вырванный у противившихся ему господствующих классов при помощи давления снизу и подкрепленный либеральной, радикальной и социалистической идеологиями; они видят ограничения «нового курса», проявлявшиеся там, где баланс классовой власти склонялся в сторону капитала. Политологи рассматривают рабочих, фермеров и прочих работников как навязывающих уступки в ситуации, когда финальный результат определялся классовой борьбой (Goldfield 1989; Piven and Cloward 1977).

Вторая классовая теория рассматривает «новый курс» в качестве включающего борьбу между *классовыми фракциями* (или сегментами) основных классов. Организованный рабочий класс был разделен между отраслевыми и общепромышленными профсоюзами. Внутри в целом консервативного капиталистического класса существовала корпоративная либеральная или корпоративная умеренная фракция — наследница модернизационного крыла прогрессистского движения, рассмотренного в главе 3. Они были готовы пойти на уступки народным силам, для того чтобы спасти капитализм и временно заключить союз с ответственными фракциями труда, чтобы воспрепятствовать и радикалам, и консерваторам, которых они рассматривали как слишком близоруких, чтобы увидеть, что капитализм нуждается в модернизации. Не существует консенсуса относительно того, в каких отраслях и секторах обитали подобные корпоративные либералы (Domhoff 1990, 1996; Domhoff and Webber 2011; Swenson 2002; Quadagno 1984; C. Gordon 1994; Tomlins 1985; Jenkins and Brents 1989). Сила этих двух классовых подходов заключается в том, что депрессия была кризисом капитализма и действительно разжигала народное недовольство, которое затем порождало дебаты среди элит о том, как сохранить собственную власть. Поскольку «новый курс» в основном включал меры экономической политики, мы можем ожидать, что акторы экономической власти должны быть значимы среди тех, кто проводил этот курс в жизнь, и тех, кто ему сопротивлялся, хотя нам не следует впадать в экономический детерминизм, который рассматривает экономические силы и классы в качестве автоматически транслируемых в процесс принятия политических решений.

Эти подходы имеют ряд общих аргументов. Признавая силу электорального давления, каждый заявляет его в качестве части своей модели. Плюралисты рассматривают выборы как ключевой процесс, для теоретиков автономии государства они выявляют значимость политических институтов, особенно партий; классовые теоретики утверждают, что электоральный процесс отражает классовую борьбу. Все также признавая роль южных штатов в усилении консерватизма, теоретики государственной

автономии в основном приписывают это институтам Конгресса; теоретики классов — низким зарплатам, сторонники борьбы между сегментами классов — плантаторскому сельскому хозяйству и расовому капитализму. Плюралисты признают, что Юг является исключением из их модели. Рассказывая о «новом курсе», я затрону все подходы и сопоставлю их в заключении.

ЦЕЛИ «НОВОГО КУРСА»: ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕГУЛЯЦИЯ, ПОМОЩЬ И ПЕРЕИЗБРАНИЕ

Первым *R* «нового курса» было *восстановление* (*Recovery*) — попытка устранить причины Великой депрессии, как они понимались в то время. Поскольку депрессия привела экономистов в замешательство, советники Рузвельта разделились относительно того, как восстанавливать экономику. Аргументы, которые звучали на протяжении 1930-х гг., исходили, с одной стороны, от сторонников сбалансированного бюджета, монетаристов, призывавших увеличить денежную массу, и, с другой стороны, — от структуралистов, призывавших расширить потребление. Когда некоторые добавляли к этому продолжительное использование государственных расходов, они становились квазикейнсианцами и говорили, что правительство должно поддерживать цены и доходы и урегулировать структурные дисбалансы в экономике, особенно дисбаланс между городским и сельским секторами. Это должно было обеспечить больше денег для оказания помощи; субсидий фермерам, безработным и бедным; предоставления кредитов домовладельцам и мелкому бизнесу, которые составляли большую часть электората, только что избравшего голосованием демократов. Большая часть бизнесов, толпа с Уолл-стрит, а также группа из министерства финансов, сложившаяся вокруг Генри Моргентау, плюс большинство экономистов высказали мнение, что администрация должна попытаться сделать все, при этом поддерживая высокий уровень делового доверия, и, следуя рынку, держать процентную ставку низкой и бюджет сбалансированным (Brown 1999: 32–39; Barber 1996; Olson 1988; Kennedy 1999: глава 5).

Но сделать все это одновременно было невозможно. В качестве противоядия от депрессии «новый курс» выглядел весьма решительным, но его экономическая теория была осторожной. Американские политики не были готовы к кейнсианству, а Рузвельт с отвращением относился к дефицитному финансированию бюджета. Он также столкнулся с расколом в Конгрессе относительно того, следует ли увеличивать расходы. Он, как и Гувер, надеялся, что частные инвесторы восстановят экономическую

стабильность, и поэтому сначала фокусировался на поддержании цен. Вероятно, лучшими решениями Рузвельта были отказ от золотого стандарта и смягчение кредитно-денежной политики. Последовавшая за этим умеренная инфляция пошла на пользу экономике, как это было в первые послевоенные десятилетия после Второй мировой войны. После катастрофы начался экономический рост. Мощное восстановление началось в 1933 г., прерванное непродолжительной рецессией в 1937 г. Реальный ВВП поднялся на 9% между 1933 и 1941 гг. Филд (Field 2011) утверждает, что отчасти причиной этого был процесс «созидательного разрушения», происходивший по мере того, как набирали обороты новые отрасли и производства, такие как строительство самолетов DC-3, производство холодильников, усовершенствованных автомобилей и капроновых колготок, хотя производство большинства из перечисленного развернулось в конце десятилетия. Он добавляет, что программы общественных работ, особенно масштабное строительство дорог в ходе «нового курса», существенно повысили эффективность и сделали грузоперевозки отраслью, переживающей бум. Финансовые институты были модернизированы и отрегулированы, чтобы сделать их более безопасными. Закон Гласса — Стиголла 1933 г. отделил инвестиционные банки от коммерческих, защитив средства вкладчиков от потерь, вызванных спекулятивными инвестициями. Этот закон был усилен созданием Федеральной банковской комиссии по страхованию вкладов (FBDIC, позднее ставшей FDIC), которая страховала частные банковские депозиты на суммы до 5 тыс. долл., а также требованием прозрачности деловых операций, которые регулировались Комиссией по ценным бумагам и биржам. Эти меры положили конец американскому банковскому кризису XX в., что было весьма существенным улучшением. Отмена закона Гласса — Стиголла в 1999 г. способствовала началу еще одного капиталистического кризиса. Вместе с тем Администрация национального восстановления (NRA) рассматривается как неэффективный, фиксирующий цены картель, держащий цены и зарплаты высокими в соответствии с теорией недопотребления, но ухудшающий тем самым производство и потребление в противоположность своей цели. Даже большинство сторонников «нового курса» были недовольны ею. Однако NRA установила максимальную продолжительность рабочего дня и минимальный размер оплаты труда и покончила с потогонным и детским трудом. Она была более эффективной в том, что касалось распределения, а не увеличения национальной коллективной власти (Leuchtenburg 1963: 69; Brinkley 1996: 46–47).

Общественность рассматривала восстановление в основном как создание рабочих мест, сфокусированное на улучшении на-

циональной инфраструктуры и окружающей среды. Гражданские корпуса охраны окружающей среды обеспечивали рабочими местами и улучшали окружающую среду. Были посажены более 200 млн деревьев, которые помогли стабилизировать эрозию почв. По мере развития корпусов экологии критиковали их за то, что они сосредоточивались исключительно на производстве ресурсов, высаживании слишком малого количества видов растений, а также за фокусировку на рекреационных нуждах вместо создания и поддержания более комплексных экосистем и защиты природы от чрезмерной эксплуатации. Эти споры активизировали экологическое движение и выдвинули Соединенные Штаты в авангард дебатов о защите окружающей среды следующих десятилетий (Mäher 2008). Непосредственные расходы на эти программы были довольно небольшими в сравнении с общим размером экономики, так что функция накачки экономики деньгами не была столь широко реализована. Но были и побочные эффекты: рост производительности в транспорте, коммунальных услугах, оптовой и розничной торговле, и эти сектора помогли компенсировать неравномерное промышленное производство в 1930-х гг.

В целом это было половинчатое излечение, создавшее половину восстановления. Однако оно было лучше, чем меры, предпринятые Гувером, чем французские меры, но не настолько успешным, как в некоторых других странах. У Японии и Германии дефицит бюджета был больше, и восстанавливались они лучше, но активизм и популярность «нового курса» создали уверенность со стороны потребителей, компаний и инвесторов в том, что восстановление возможно. «Новый курс» также создал массу государственных институтов, которые позднее обеспечивали устойчивый экономический рост (Romer 1992; Steindl 2005; Temin 1989: глава 3; Field 2006).

Но в какой степени это половинчатое восстановление произошло благодаря действиям администрации Рузвельта? Те, кто верит, что государства могут помочь восстановлению экономики, подчеркивают воздействие некоторых реформ. Те, кто верит, что капиталистические экономики работают лучше, когда государство оставляет их в покое, приписывают восстановление капиталистам и провалы — государству (Smiley 2002; Shlaes 2008). Тем не менее даже Смайли признает структурную несбалансированность и соглашается, что вклад динамичных отраслей был слишком маленьким, а вклад застойных отраслей — слишком большим в качестве доли общего ВВП. Он соглашается, что основной проблемой на протяжении 1930-х гг. было то, что частные инвестиции оставались на слишком низком уровне, который он приписывает страху бизнесменов перед государ-

ственным вмешательством (Smiley 2002: 126–132). Тем не менее он не представляет никаких доказательств, к тому же это маловероятно потому, что администрация не так уж сильно вмешивалась в частный бизнес, а также не облагала бизнес большими налогами. Более вероятной причиной выступают неадекватные рыночные возможности для получения существенной прибыли. Динамичные отрасли получали инвестиции, но они были маленькими. Большие застойные отрасли были непривлекательными для инвесторов, но это означало, что избирательность государственного вмешательства, необходимого для стимулирования инвестиций, была намного большей, чем могли принять политики. Бернштейн рассматривает Рексфорда Тагвелла в качестве основного проводника стратегии избирательных инвестиций в администрации. Администрация национального восстановления (NRA) и нераспределенный налог на прибыль 1936 г. были вдохновленными Тагвеллом мерами, направленными на преодоление дисбаланса секторов (Bernstein 1987: 190–192, 196–203). Тем не менее обе были отменены после двух лет существования.

Определенный успех был налицо. Во время президентства Рузвельта безработица снижалась каждый год, за исключением рецессии 1937–1938 гг., отчасти благодаря программам облегчения положения рабочих. Реальный ВВП рос темпами 9% в год во время его первого правления и около 11% — после 1938 г. Рецессию 1937 г. обычно называют «рузвельтовской рецессией», поскольку она сократила госрасходы в сочетании с сокращением расходов частного сектора в результате введения новых налогов, которых требовал новый закон о социальном обеспечении. Эта рецессия способствовала обращению к кейнсианским решениям, и Рузвельт ответил на нее госрасходами за счет дефицитного бюджета (дефицитным финансированием). Тем не менее они составили только 3 млн долл. — около 3% национального продукта по сравнению, например, с дефицитными расходами президента Обамы в начале 2009 г., которые составили около 10% национального продукта. Сторонники сбалансированного бюджета из министерства финансов и Уолл-стрит оставались могущественными, и поэтому ни один из правительственных институтов не мог произвольно закачать деньги в экономику. Таким образом, каждый дальнейший раунд расходов требовал тяжелой борьбы в Конгрессе (Brinkley 1996: главы 4, 5). Это было слишком сложно, поэтому политика «нового курса» иногда колебалась. Даже в 1940 г. 15% американцев по-прежнему были без работы. Лишь Вторая мировая война привела к массивному дефицитному финансированию (вплоть до 30% ВВП в 1943 г.), полной занятости и восстановлению.

Регуляция (Regulation) — здесь организаторам «нового курса» было что позаимствовать у институтов, временно учрежденных во время Первой мировой войны (Leuchtenberg 1963; Rodgers, 1998: 415). При содействии последующих войн, как горячей, так и холодной, этот всплеск в расходах федерального правительства и регуляции оказался долгосрочным, необратимым разрывом с прошлым. Бордо с соавторами (Bordo et al. 1998; ср. Campbell 1995: 34) приводит временной ряд общих государственных закупок товаров и услуг в виде доли ВВП. Они находились на одном и том же уровне — около 8% в 1920-х гг., но с 1933 г. быстро выросли до нового уровня — 14–15%, на котором сохранялись до тех пор, пока Соединенные Штаты не вступили во Вторую мировую войну, когда они вновь резко выросли. Расходы федерального правительства выросли еще стремительнее — с менее 4 до 9% ВВП в 1936 г. Как отмечает Хиггс (Higgs 1987), Великая депрессия породила первый великий и восходящий «эффект храповика»¹ американского государства (Вторая мировая породила второй).

Рост государства вписывался в новые макроэкономические теории. Рузвельт мог выбирать своих экономических советников из числа структуралистов, сторонников денежно-кредитного стимулирования, инфляционистов, монетаристов, сторонников экономического планирования, теории недопотребления и дефицитного финансирования. Однако его не интересовали теории, он был больше мастером политической борьбы, а не знатоком мер государственной политики (Domhoff and Webber, 2011: 3–5). Сторонник фискального консерватизма, никогда не являвшийся кейнсианцем, он сделал выбор в пользу структуралистского, но дешевого решения (Barber 1996). Он ожидал, что программы помощи, а не дефицитное финансирование принесут экономическое восстановление. Советники, которым он доверял, разделились на консервативных, отстаивавших интересы бизнеса — примером последних был руководитель Административно-бюджетного управления при президенте США Дуглас, которого поддерживали большинство демократов и республиканцев Юга, — и остальных, которые хотели более основательных реформ, но не могли прийти к согласию относительно того, каких именно. Франкфуртер, Коркоран и Коэн полагали, что путь к восстановлению идет через «реставрацию капитализма» путем оживления рыночной кон-

1. В данном случае «эффект храповика» применительно к государственным финансам описывает их рост во время кризисов и особенно войн, после окончания которых государственные расходы сокращаются, но никогда не возвращаются к докризисному или довоенному уровню. — *Примеч. пер.*

курении, борьбы против «проклятия большого бизнеса», применения регуляции для обуздания Уолл-стрит и корпораций. Этот либеральный интервенционализм был исполнен прогрессивных антитрестовских убеждений, но с целью восстановления свободных рынков. Фракция рекрутировала сотни юридических реалистов, проникнутых этикой государственной службы, чтобы укомплектовать ими агентства «нового курса» и сражаться против лучших сил Уолл-стрит. Берл, Тагвелл, Эклс и Хопкинс были социал-либералами, признававшими экономическую концентрацию в качестве неизбежной характеристики современной промышленной экономики, но искавшими такой дозы государственного капитализма, которая позволила бы контролировать их через экономическое планирование, расширение государственного кредитования, доверие и стимулирование доходов — имплицитно кейнсианская аргументация. У них была внешняя поддержка со стороны рабочих и фермерских организаций и либералов Конгресса (Schwarz 1993).

В 1933 г. группа Франкфуртера признала необходимость создания агентств центрального планирования экономики, подобных Администрации национального восстановления (NRA) и Управлению регулирования сельского хозяйства; сторонники планирования признали необходимость банковской реформы и регулирования ценных бумаг, чтобы сделать финансовые рынки свободнее. Акцент сместился с ситуативного центрального планирования в 1933–1935 гг. к кейнсианскому дефицитному финансированию вместе с антимонопольной политикой для борьбы с рецессией 1937 г. и, наконец, к военной мобилизации, которая привела к еще большему кейнсианскому централизованному планированию. Поскольку эксперты получили свою власть из центра, они, как правило, отдавали предпочтение федеральному (а не на уровне штатов) администрированию программ, хотя им приходилось отказываться от этого, столкнувшись с противодействием Конгресса или Верховного суда. Самым простым способом справиться с фракциями было позволить каждой из них учредить собственные агентства, а Рузвельту — сохранять верховный политический контроль над ними.

Весьма крупным агентством была Корпорация финансирования реконструкции (RFC), созданная Гувером, но теперь уполномоченная выдавать прямые кредиты бизнесу, страховым компаниям, кооперативам фермеров, школьным округам и агентствам «нового курса». Она стала крупнейшим инвестором в экономике. То, что корпорация являлась основным кредитором многочисленных банков, сберегательных банков, строительных и кредитных ассоциаций и железных дорог, означало, что она может контролировать потоки капитала, уровень ди-

видендов и корпоративных зарплат. Это было государственное планирование в большом масштабе, хотя оно и не имело ничего общего с социализмом. Глава RFC Джесси Джонс, техасский миллиардер, владелец банков и лесозаготовительных компаний, отстаивал интересы бизнеса, хотя и был настроен против Уолл-стрит (Olson 1988). Его RFC спасала банки и кредитную систему, при этом кредитование промышленности было недостаточным. Джонс был слишком убежденным бизнесменом, чтобы принять государственный капитализм, который отстаивали Тагвелл и Берл. Он хотел, чтобы RFC оживила частное коммерческое кредитование, а не заменяла его. RFC и прочие агентства общественных работ начали крупные проекты экономического развития на Юге и Юго-Западе, целью которых было снижение регионального неравенства и создание более интегрированной национальной экономики. В этом они были вполне эффективны, хотя именно военные расходы во время и после Второй мировой войны закрепили эти достижения (Schwarz 1993; J. Smith 2006). Это было регулирование во имя капитализма, а не во имя перераспределительных реформ, за исключением того, что оно было направлено на создание экономики с высокими зарплатами, высоким потребительским потенциалом. Агентства в большинстве своем управлялись юристами и корпоративными бизнесменами.

Регуляция в сельском хозяйстве отличалась. Теории государственной автономии и классовые теории полемизируют по этому поводу. Файнгольд и Скочпол (Finegold Skocpol 1984, 1995) противопоставляют успех Администрации регулирования сельского хозяйства (AAA) провалу Администрации национального восстановления (NRA), направленной на регулирование промышленности, которые были созданы для того, чтобы сократить производство и поднять цены. Файнгольд и Скочпол утверждают, что больший успех фермерской политики в первую очередь обязан возможностям государства. AAA, пишут они, было встроено внутрь уже эффективной государственной бюрократии — Департамента сельского хозяйства США (USDA) с агентскими сетями, достигавшими ферм, опирающимися на сообщество экспертов-агрономов, получивших образование в сельскохозяйственных колледжах и консультировавших USDA (они могли бы еще добавить, что проблемы фермеров решали в комитете Конгресса, который с пониманием относился к их нуждам). Файнгольд и Скочпол считают, что NRA подобных качеств не хватало. Из-за отсутствия уже существующей бюрократии управление ею было передано бизнесменам, которые намеревались помочь собственным фирмам. Это было неизбежно, поскольку федеральному правительству по-прежнему

не хватало значительных бюрократических возможностей в вопросах бизнеса. Однако обескураживающим был сам размах задач, поставленных перед NRA. В деятельность Администрации национального восстановления были вовлечены более 550 органов правительства по контролю за ценами и 2 млн фирм. NRA также установила слишком высокие цены, что вызвало шквал критики со стороны покупателей, государственных заказчиков и труда. Без экономического роста это негативно сказывалось на экономике (Domhoff 1996: 109–111). Главной причиной провала NRA были скорее амбициозность проекта и неспособность бюрократов. Ни одна другая страна не пыталась выйти из Великой депрессии путем установления контроля над ценами во всей экономике. У Соединенных Штатов действительно не хватало бюрократических возможностей для этой цели, но то же самое можно было сказать о любом государстве того времени.

Но была и другая, более очевидная причина успеха сельскохозяйственной программы. Если вы даете деньги фермерам и в ответ просите их работать меньше, они будут сотрудничать. Фермер «обменял некоторые из своих свобод на более высокие прибыли», пишет Хейс (Hayes 2001: 135). Проиграли работники ферм, поскольку они были в основном не организованы, у них не было профсоюзов. Крупным фермерам было легче, чем мелким, но Администрация регулирования сельского хозяйства (AAA) особенно навредила афроамериканским фермерам, которые также были не организованы (Hayes 2001: 132, 158). Роберт Харрисон утверждает, что это была «радикальная рыночная интервенция на основе в сущности консервативных принципов» (Harrison 1997: 191). Законодательство разрабатывалось в аналитических центрах корпоративных либералов, правительственные эксперты вступили в дискуссии лишь позднее. Бюрократия, однажды установленная, чтобы управлять, не была автономной, поскольку она преимущественно состояла из бизнесменов и крупных фермеров (Domhoff and Webber 2011: глава 3; Domhoff 1996: глава 3). По мере того как AAA разворачивала свою деятельность, она все больше подыгрывала богатым фермерам и продолжала делать это в дальнейшем (Файнгольд и Скочпол признают это). В одном аспекте «новый курс» был окончанием пути прогрессистов. Выступавшие в прогрессивную эру главными радикалами, мелкие фермеры были оттеснены на обочину американской политики. Вмешательство государства в сельское хозяйство в большей степени было движимо классовыми интересами, чем государственными элитами, хотя в этом секторе классовая борьба затухала.

Иначе обстояли дела в тех отраслях, где классовая борьба и конфликт между фракциями классов были более явными.

NRA была ослаблена соперничеством между предпринимателями, усугубила конфликт с профсоюзами и не дала денег никому. Хотя теоретически NRA усиливала профсоюзы, на практике большинство бизнесменов отказывались сотрудничать с ними, что усиливало классовый конфликт. Наряду с бесконечными спорами между всеми сторонами относительно регулирования цен это делало агентство неработоспособным (Domhof, 1996: глава 4). В данном случае объяснение на основе возможностей государства выглядит менее убедительным, чем простое классовое и секторальное объяснение: фермеров подкупили, рабочие на фермах были не организованы, а промышленники и рабочие были расколоты. На самом деле теперь государственные возможности не были причиной осуществления большинства программ «нового курса». Разумеется, эксперты работали над деталями этих программ, и, когда дело доходило до регулирования финансов — технического вопроса, их слово действительно имело огромный вес. Однако в целом их возможности были ограничены политиками, которые имели более консервативные экономические взгляды, а также массами, требовавшими более радикальных изменений.

«Новый курс» оставил отпечаток в жизни большинства американцев именно в качестве *помощи (Relief)*. Государственные программы общественных работ связывали меры, направленные против депрессии, и перераспределение в пользу бедных и безработных. В 1933 г. расходы на Управление общественных работ (WPA) были больше общих государственных доходов, составляя практически 6% ВВП (J. Smith 2006: 2). Амента (Amenta 1998: 5, 142–148) демонстрирует, что к 1938 г. Соединенные Штаты были безусловным мировым лидером по социальным расходам. Они составляли 6,3% ВВП и 29% всех госрасходов по сравнению с 5,6% ВВП и 18,7% госрасходов в нацистской Германии, с 5% ВВП и 17,5% госрасходов в Британии и с 3,2% ВВП и 17,8% госрасходов в Швеции. Большая часть расходов США шла на помощь. Одно только Управление общественных работ поглотило 55% социальных расходов и наняло 2,1 млн взрослых рабочих плюс 1 млн в рамках программ занятости для молодых работников. Закон о социальном обеспечении уступил ему приоритет при прохождении через Конгресс, и результаты его деятельности видны и по сей день: автомобильные магистрали, школы, плотины, больницы, государственное финансирование искусства. Управление изменило американский ландшафт. Помощь составила более 70% социальных расходов по сравнению с 16% расходов на социальное обеспечение на основе принципа страхования. Поэтому лидерство Соединенных

Штатов могло быть только временным. Если уровень безработицы снижался, то же происходило с социальными расходами. Не следует делать слишком много заключений на основе американских цифр.

Были ли программы, направленные на помощь, перераспределяющими, зависело от того, как они финансировались. Большая часть финансирования приходила от увеличения национального долга вопреки изначальным обещаниям администрации Рузвельта. Это были полуосознанные шаги по направлению к кейнсианской экономике. Противоречие между балансированием бюджета и поддержанием доходов было решено в пользу приоритета последних, расширенного в программу стимулирования спроса путем дефицитного финансирования. Такие политические меры были в некоторой степени перераспределяющими и в целом популярными. Во время выборов 1936 г. республиканцы справедливо обвиняли Рузвельта в том, что он нарушил свои первоначальные обещания сбалансировать бюджет. Тем не менее это скорее всего было для избирателей не так важно, как его деятельность по улучшению их бедственного положения.

Было и четвертое *R* — *переизбрание (Reelection)*. Избирательные проблемы никогда не были вторичными для политиков, особенно для таких хитроумных, как Рузвельт. Даже находясь на гребне избирательной волны, он все равно оставался обеспокоенным. Первостепенное значение имел бизнес, отчуждения которого Рузвельт не желал. Большинство бизнесменов поддерживали законодательство, направленное против депрессии на первом этапе «нового курса», но они были настроены против более реформистского законодательства второго этапа и поддерживали республиканскую оппозицию. Около 80% директоров корпораций, исследованных Веббером, давали деньги республиканцам в 1936 г. Единственным значимым исключением были евреи и бизнесмены-южане, которые в большинстве своем вкладывались в демократов; бизнесмены-католики разделились в вопросе лояльности той или иной партии. И все же, поскольку большая часть крупного бизнеса была северной и протестантской, она была практически полностью республиканской (Webber 2000; Manza 2000). Тактика Рузвельта заключалась в том, чтобы предлагать законопроекты, с которыми, как он знал, бизнес не согласится, но затем принимать их в компромиссной редакции. Верховный суд также был в оппозиции, что приводило к большему урезанию исходных законопроектов, особенно уменьшению степени федеральной активности, как противостоящей активности на уровне штатов. Судьи Верховного суда составляли наиболее

могущественную элиту штатов того периода и, будучи консервативными, блокировали некоторые программы. Тем не менее «новый курс» продвигался вопреки их неприязни. В конце концов они обладали лишь ограниченной властью.

В либеральной демократии политические партии становятся крайне важными. В Соединенных Штатах двухпартийная система на самом деле состояла из представителей трех партий: республиканцев, демократов и демократов-южан. Последние были очень влиятельными на Капитолийском холме, поскольку (как детально показано в главе 3) сельские области были электро- рально широко представлены. Южные выборы в сущности были не конкурентными, и старшинство и система комитетов на Капитолийском холме ставили в более благоприятное положение тех, кто продолжал переизбираться. За исключением периода 1934–1938 гг., демократы-южане доминировали в законодательном процессе на Капитолийском холме, были способны сражаться с осуществляемой федеральными органами регуляцией и программами соцобеспечения, если им казалось, что они идут на пользу афроамериканцам или поднимают зарплаты. Плантаторско-торговые элиты, управлявшие партией демократов-южан, лишили черных и множество бедных белых избирательных прав, сохранили свои местные репрессивные возможности и верность расово сегрегированной экономике с низкими зарплатами, поддерживаемой широким белым расизмом. Их институциональная власть в конечном итоге базировалась на надежном контроле расового капитализма на Юге.

Ни одна из этих партий не была сплоченной. В прогрессивный период они были региональными и секторальными, и, хотя классовое голосование уже росло, это не ликвидировало соперничавшие интересы с региональным и секторальным базированием. Республиканцы оставались расколоты между северо-восточным бизнесом и западным сельским хозяйством с прогрессивистской фракцией Среднего Запада, которая была ближе к Рузвельту, чем к республиканцам. Выбор в пользу выдвижения кандидатом в президенты умеренного Альфа Лэндона из Канзаса в 1936 г. был попыткой сгладить их разногласия. Демократы также не были сплочены. «Новый курс», продвигаемый городскими демократами, встретил оппозицию в Конгрессе со стороны демократов с Юга, Запада и Среднего Запада и даже сельских демократов Новой Англии. Горстка консервативных демократов обычно присоединялась к республиканцам, голосуя против программ «нового курса». Консерваторы могли голосовать против общественных работ, но за субсидии фермерам, осуждать бюджетный дефицит, но не принимать налоговое законодательство (Weed 1994; Patterson 1967; Kennedy 1999: 338–339).

Прежде всего они были продажными. Рузвельт предлагал сделки всем группам, на голос которых рассчитывали его советники по избирательной кампании. Большие программы госрасходов предлагали федеральные доллары штатам и местным правительствам. Их распределение было в большей мере связано с электоральной значимостью штата, чем с его уровнем бедности или безработицы. Непропорционально большая часть федеральных расходов отправлялась тем штатам, которые в 1932 г. переметнулись к Рузвельту, а не более бедным штатам (Couch Shughart, 1998). В целом «новый курс» помогал бедным в соответствии с их электоральной полезностью — несколько извращенная форма плюрализма.

Современному регулирующему государству, к которому призывал перейти Рузвельт, противоречили частные патронажные механизмы, которые он использовал. Эти механизмы обеспечивали поддержку, предполагавшую, что они взамен могут управлять реализацией программ, на что Рузвельт часто шел (Mayhew 1986: 292–294; Shefter 1994). Законодатели-южане были довольны программами, которыми распоряжались правительства штатов или местные власти, это подкрепляло их собственный патронаж. Они приветствовали помощь и инфраструктурные улучшения на местном уровне. Хейс (Hayes 2001: 185) пишет, что «новый курс» спас Южную Каролину от экономической катастрофы. На самом деле большая часть законов «нового курса» не прошла бы голосование без поддержки южан — сенаторов и конгрессменов — либералы и расисты объединились! Но они были против перераспределяющих реформ и федерального контроля, применяемого на Юге. Хотя по всему Югу имела место народная поддержка реформ, региональные политики игнорировали это и, напротив, были чутки к интересам землевладельцев, плантаторов, промышленной элиты. Их первоначальный энтузиазм по отношению к «новому курсу» впоследствии ослаб и превратился в оппозицию в 1938 г. (Hayes, 2001: глава 9; Korstad 2003). Опросы показывают, что большинство южан поддерживали программы «нового курса», тем не менее большинство не могло голосовать, лишённое этой возможности избирательным налогом и прочими ограничивающими практиками (Sullivan 1996: 61–62). Это был не плюрализм, а господство регионального правящего класса. Эти своеобразные политические институты обеспечивали некоторую поддержку аргументам политических институционалистов, хотя в конечном итоге они базировались на классовых интересах в расовой экономике с низкими зарплатами.

Политические сделки были повсюду, препятствуя возникновению полностью бюрократического государства или универ-

сальной системы соцобеспечения (Amenta 1998). Практически каждый закон был предметом пререканий и купли-продажи, в которой общей тенденцией было размывание изначально широкого законопроекта. Тем не менее постоянная борьба между федеральным правительством и правительствами штатов, президентом и Конгрессом действительно способствовала большей централизации государства. Умножение грантов федерального правительства правительствам штатов и местным властям сокращало независимость различных уровней власти и требовало от них большего сотрудничества друг с другом, чем прежде. Это была фискальная централизация и административная децентрализация. «Новый курс» увеличил долю федеральных расходов до 9% общегосударственных расходов, хотя расходы правительств других уровней тоже выросли (Wallis and Oates 1998: 170). Это не было такое же централизованное или бюрократическое правительство, как в Британии, Франции или Японии, но оно было чем-то большим, чем «брокерским государством... вмешивавшимся в каждом конкретном случае особым образом в интересы привилегированных групп и секторов», как определяют его Файнгольд и Скочпол (Finegold and Skocpol 1995: 20).

Переизбрание сработало прекрасно: в 1936 г. голоса, отданные за Рузвельта, выросли до 61%, демократы получили еще 7 мест в сенате и (включая несколько союзников из «третьих партий») дополнительные 15 мест в Конгрессе. И хотя партийной дисциплины было мало, на четыре года Рузвельт получил большинство на Капитолийском холме и мог проводить законы без голосов южан-демократов. Только на промежуточных выборах 1938 г. после второй рецессии они потеряли такую возможность, лишившись 71 места в палате представителей и 7 в Сенате. В 1940 г. голоса за Рузвельта и его партию стабилизировались. Демократы оставались в Белом доме в течение 20 лет.

РЕФОРМА: КЛАССОВАЯ БОРЬБА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Были ли программы реформ «нового курса» результатом низового народного давления или же давления сверху вниз, возникающего на основе изменившейся структуры политических возможностей среди государственных элит и/или фракций капитала? Я начну с низового давления. Высокая безработица — это обычно плохая новость для профсоюзов, поскольку безработные теряют контакт с профсоюзами и работники знают, что их переговорные позиции ослаблены, и не хотят провоцировать своих нанимателей. На этот раз два фактора благоприят-

ствовали более сильной реакции. Во-первых, во время Великой депрессии уровень занятости, производство и спрос упали настолько сильно, что это коснулось большей части страны, которая сочувствовала безработным. Эта симпатия была необходима для одобрения людьми программ помощи пострадавшим. Во-вторых, переход к администрации Рузвельта и множеству демократических администраций на уровне штатов и городов означал уменьшение государственных репрессий. Работодателям не хватало дополнительного оружия, на которое они полагались, как мы убедились в главе 3.

Миллионы американцев искали работу, испытывая попеременно то надежду, то отчаяние, то гнев. Умножались трущобы, увеличивались очереди за бесплатной едой и количество бесплатных столовых для нуждающихся. При помощи социалистов и коммунистов они создавали советы, выходили на демонстрации, маршировали и забрасывали ратуши своими требованиями. Они испытывали сочувствие, не в последнюю очередь от лавочников и прочих торговцев, существование которых зависело от их потребления. Выселениям сопротивлялись квартиросъемщики и их соседи. Если полиция разгоняла протестующих, используя физическую силу и огнестрельное оружие, это вызывало массовые демонстрации (Cohe, 1990: 262–266; Valocchi 1990). Это был взрыв левых настроений в народе, продлившийся до 1935 г. включительно, выход из изоляции рабочего движения Прогрессивной эры, который также затронул часть среднего класса.

Фермерская стачечная ассоциация вызывала проблемы в сельских областях. «Бонусная армия», состоявшая в основном из безработных военных ветеранов, предприняла марш на Вашингтон в 1932 г., требуя выплаты обещанных бонусов за участие в Первой мировой войне. Гувер вызвал солдат для разгона демонстрации. Когда в 1933 г. с теми же требованиями они обратились к Рузвельту, он предпочел послать к ним на переговоры свою жену Элеонору и даже согласился с некоторыми из их требований. Начиная с 1935 г. движение Таунсенда, организованное врачом-пенсионером из Калифорнии, мобилизовало миллионы сторонников с требованием пенсии по старости в размере 200 долл. в месяц для достигших возраста 65 лет. Священник Чарльз Кофлин активизировал популистское движение, направленное против богатых и власть предержащих, которое затем повернуло вправо, чтобы стать крупнейшим американским движением фашистского толка. Хотя это не были открыто классовые движения, они разжигали гнев против богатых и привилегированных.

Забастовки стали учащаться с 1931 г., активизируясь в 1933–1934 и 1937 гг. (Jenkins and Brents 1989: 896). Все больше рабочих

вступали в промышленные профсоюзы, требовали законодательства, легализующего их, и добивались переговоров о зарплатах и условиях труда в общенациональном масштабе. Этнические различия между белыми рабочими шли на убыль. Между 1933 и 1935 гг. как никогда острыми требованиями забастовщиков были представительство для профсоюзов и больший контроль со стороны рядовых членов (Wallace et al. 1988: 13). Даже Юг не избежал этого брожения: забастовка 1934 г. охватила текстильные фабрики по всей Алабаме, Джорджии и обеим Каролинам; 200 тыс. рабочих вышли на улицы (Irons 2000). Некоторые профсоюзы Американской федерации труда (AFL) также рекрутировали рабочих в свои члены и бастовали за пределами их традиционных цехов, но большинство работодателей не были настроены уступать, и их контратаки нанесли серьезный урон бастующим. Руководство AFL также оставалось скептически настроенным по отношению к промышленному и политическому юнионизму, по-прежнему предпочитая полагаться на цеховые рычаги давления, чтобы усадить работодателей за стол переговоров, но это спровоцировало восстание. Ведомые Джоном Л. Льюисом, президентом профсоюза шахтеров, большинство промышленных профсоюзов вышли из состава AFL в 1936 г., чтобы сформировать собственный Конгресс производственных профсоюзов (CIO). Расколы были спровоцированы низовой агитацией (Goldfield 1989; Kerbo and Shaffer 1986; Piven and Cloward 1977: 48–60; Stepan-Norris and Zeitlin 2003). Членство в профсоюзах за десятилетие выросло с 10 до 25% рабочих. Протесты рабочих были более широкими и эффективными, чем когда-либо. В период депрессия 1890-х гг. происходили крупные забастовки, несколько забастовок — в 1919 г., но в обоих случаях бастующие рабочие были изолированы. Теперь же участники протестов и забастовщики пользовались национальной симпатией. Политики со все большей неохотой применяли репрессии против народа.

Структура политических возможностей расширялась. Рабочие толкали вперед со скрипом отворявшуюся дверь. Закон Норриса — Лагардия, принятый в 1932 г., запретил судам выносить ограничительные решения и запреты по делам, возникавшим в связи с трудовыми конфликтами, а также в связи с трудовыми контрактами для рабочих, запрещавшими им вступать в профсоюзы (yellow dog contracts). Поскольку арсенал репрессий сузился, больше рабочих отваживались на организацию. Они также были разочарованы почти полным крахом частных форм соцобеспечения, таких как общественные кредитные ассоциации, и капитализма всеобщего благоденствия. Множились

требования государственных программ соцобеспечения (Cohen 1990: 218–249).

Рабочие ожидали, что будущая рузвельтовская администрация с пониманием отнесется к их требованиям, и их чаяния были быстро вознаграждены законом о восстановлении национальной промышленности (NIRA), принятым в июне 1933 г., раздел 7а которого давал рабочим право «на самоорганизацию и ведение переговоров через самостоятельно выбранных представителей, которые должны быть свободными от вмешательства, ограничения или принуждения со стороны работодателей». Национальный трудовой совет (NLB) был создан для того, чтобы помочь урегулировать забастовки, хотя у него было мало средств проведения в жизнь принятых решений. Рабочие думали, что NIRA освободит их; уровень участия в профсоюзах взлетел в течение считанных месяцев (Piven and Cloward 1977: 110; Irons 2000: 77; O'Brien 1998; Wallace et al. 1988: 5–7). Рабочие вдохновлялись на то, чтобы сражаться в более универсальных организациях, чем цеховые профсоюзы, и с 1935 г. Конгресс производственных профсоюзов (CIO) стал выстраивать промышленные профсоюзы, начиная с уровня рабочих бригад и далее, оформляя относительно демократические организации. Промежуточные выборы 1934 г. вновь усилили левых. Хотя NIRA прекратил свое существование, в 1935 г. был принят эпохальный закон Вэгнера. Это взаимодействие между профсоюзами и законодателями из состава симпатизировавшего правительства было первым отчетливым признаком союза «либ-лаб». В США не было лейбористской партии, но теперь большая часть Демократической партии была на стороне труда.

Рузвельт понимал, что бизнес сопротивляется большинству его законов, и знал, что может возглавить сдвиг влево. Он также опасался, что Великая депрессия приведет к созданию третьей партии — открытой партии труда. Если бы демократы не смогли справиться с депрессией, это было бы идеальным временем для создания третьей партии. Если бы эта партия получила достаточное количество голосов, она, весьма вероятно, забрала бы эти голоса у демократов и предположительно обеспечила бы республиканцам победу на выборах. В Нью-Йорке, Висконсине и Миннесоте уже существовали левые рабочие фермерские партии, и Рузвельт позаботился о консультации с ними и обеспечении федеральных программ помощи городам, которые они контролировали. В 1935 г. популистский сенатор-демократ от Луизианы Хьюи Лонг угрожал вступить в президентскую гонку будущего года под лозунгом «Поделится нашим богатством». Частный опрос, проведенный демократами, показал, что он может получить 3–4 млн

голосов избирателей и тем самым отдать победу в некоторых штатах республиканцам. Крыло прогрессивных республиканцев, возглавляемое Робертом Лафоллетом, также могло вступить в президентскую гонку, и было не ясно, у кого он мог бы забрать голоса. Один из пяти или шести американцев говорил, что вступил бы в новую прогрессивную партию, если бы она была. Частный опрос предсказывал, что Рузвельт все равно с легкостью победит, но мало кто из политиков станет рисковать на выборах. Они нацелены на то, чтобы победить с настолько большим перевесом, насколько возможно, на случай непредвиденных обстоятельств.

Поскольку Рузвельт был убежден, что бизнес будет ему противостоять в любом случае, он решился на ответное использование его антагонизма в качестве электорального оружия. Он усилил риторику, направленную против бизнеса, называя крупный бизнес «экономическими роялистами», и стал угрожать «уравнять распределение богатства» и «бросить на растерзание волкам сорок шесть человек, о которых известно, что их доход превышает миллион долларов в год». Гарри Хопкинс, радикальный сторонник «нового курса» ликовал: «Ребята, пришел наш черед. Мы можем получить все, чего хотим: рабочие программы, социальное обеспечение, зарплаты и продолжительность рабочего дня, все — сейчас или никогда» (Kennedy 1999: 266–287; Leuchtenburg 1963: 117). Они одержали крупную победу на выборах и получили программы. Закон о доходах 1935 г. поднимал налоги на доходы и дивиденды богатых, одновременно вводя более прогрессивный налог на наследство и увеличенные налоги на корпорации. Это было началом сорокалетнего периода прогрессивных налогов в Америке. Хьюи Лонг справедливо жаловался на то, что Рузвельт крадет его программу (Amenta et al. 1994; Kennedy 1999: 238–242, 275–276). И все же, пострадав от враждебности бизнесменов, консервативных демократов и республиканцев, закон был настолько размыт в Конгрессе, что общий эффект от перераспределения доходов был мизерным, за исключением того, что он отнял значительные суммы у небольшого числа миллионеров.

Рузвельт действительно помышлял о более крупной политической стратегии. Он всегда неоднозначно относился к поддержке южан и заявлял, что Юг является «национальной экономической проблемой номер один»: регион с низкими зарплатами, низким потреблением был тормозом для американской экономики с высокими зарплатами, высоким потреблением, к которой он стремился. Как и многие экономисты того времени, он полагал, что Юг является одной из важнейших причин депрессии как таковой (Sullivan, 1996: 65). Он сомневал-

ся в том, много ли реформ могут прийти из региона, контролируемого правящим классом, исключившим черных и бедных белых из голосования и использовавшим расизм, чтобы сохранять зарплаты низкими и экономику отсталой. Тактически он пытался откупиться от их потенциальной оппозиции его программам уступками. Он также продолжал стратегию 1920-х гг., перестраивая партии на основе северных городов, используя патронаж и программы, чтобы обеспечить поддержку партийных машин северных городов, предоставляя прогрессивным республиканцам обхаживать сельское хозяйство и обращаясь к рабочим с риторикой, направленной против крупного бизнеса (Kenedy 1999: глава 9). Шлесингер (Schlesinger 1960: 592) пишет, что в ходе избирательной кампании 1936 г.:

Демократическая партия, казалось, все больше и больше погружается в коалицию «нового курса». Наиболее активные соратники Рузвельта (Икес, Уоллес, Хью Джонсон) были людьми, отождествляемыми с «новым курсом», а не профессиональной демократической организацией. Верность делу заменяла собой лояльность к партии в качестве критерия поддержки со стороны администрации... Было очевидно, что основой избирательной кампании будет мобилизация за пределами Демократической партии всех элементов коалиции «нового курса» — либералов, рабочих, фермеров, женщин, меньшинств.

Это была «либ-лаб» стратегия. Сработай она, и это бы подтвердило социал-демократический характер партии Рузвельта во всем, кроме названия.

В 1930-е гг. гораздо большее количество американцев, особенно рабочих (и особенно рабочих иностранного происхождения) стали голосовать. Они все больше голосовали за демократов, расположенные к этому «новым курсом» и Рузвельтом; они с меньшей вероятностью голосовали по этническим и религиозным принципам. Этническая идентичность ослабевала, поскольку большинство рабочих были урожденными американцами, а также в силу роста влияния массмедиа, укреплявших национальную идентичность, особенно радио. Нация становилась все более сплоченной. Те, кто голосовал впервые, с наибольшей вероятностью голосовали за демократов (бедные и младшие возрастные когорты), но классы также становились более сплоченными. К 1936 г. рабочие в два раза чаще голосовали за демократов, также поступали и избиратели из высшего слоя среднего класса. Исторически всегда голосовавшие преимущественно за республиканцев (партию Линкольна), афроамериканцы стали задумываться о том, какой из партий отдать свои голоса (B. Anderson 1979; Cohen 1990: 253–261; Kleppner,

1982: 55–111; Manza 2000). Все это были в основном городские тренды — в сельской местности изменений было меньше. Несколько программ «нового курса» были направлены на средний класс: Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) страховала все банковские депозиты до 5 тыс. долл. и акты на строительство жилья, Федеральное управление жилищного строительства (FHA) давало льготные условия рефинансирования ипотеки. Это была в большей степени народная, а не классовая стратегия, но она пользовалась наибольшим успехом среди рабочих.

В 1937 г. социолог Артур Корнхаузер опросил сотни чикагцев. Практически все они полагали, что в руках у богатых бизнесменов слишком много власти, и три четверти полагали, что с рабочими обращаются несправедливо. Около трех четвертей опрошенных работников физического труда голосовали за Рузвельта, поддерживали «новый курс» и хотели, чтобы правительство перераспределило богатства. Так же поступали от половины до двух третей офисных работников. Рабочие винули своих работодателей и капиталистическую систему за Великую депрессию, но не выступали за государственную собственность. Они выступали за более справедливую систему с некоторым перераспределением богатств и привилегий, настаивали на своем праве на организацию и считали, что могут вносить равный вклад в дело нации и иметь право на полное социальное гражданство — новое представление о моральных и материальных правах (Kornhauser 1940: 237; Zieger 1995: 43–44; Cohen 1990: 276, 282–285, 362–365; Gerstle 1989; Lipset 1983: 274–279).

Электоральное давление было в пользу расширения государственных регулирующих агентств. Таким образом, основная причинно-следственная цепочка шла от народного давления, преимущественно выраженного через электоральную систему, к найму экспертов всеми сторонами — бизнесу необходимо было мелким шрифтом прописать все свои интересы в законодательстве, принятие которого он признавал неизбежным. Затем эксперты, их боссы и Конгресс боролись за точное содержание программ. Демократический процесс включал гораздо больше, чем просто класс, но его острее были демонстрации, забастовки и юнионизация. Имело место такое тесное взаимодействие между классовой борьбой и политическими возможностями, что нелегко было отдать первенство тому или другому. Но в 1930-х гг. Америка внезапно начала становиться более похожей на Европу, несколько приближаясь к политике «демократической классовой борьбы» — высказывание, сделанное Дьюи Андерсоном и популяризованное Липсетом. Я сосредоточусь на двух основных перераспределяющих законах.

ЗАКОН ВАГНЕРА И ПРОФСОЮЗЫ

Американская федерация труда (AFL) была второстепенным игроком. Она успешно сопротивлялась назначению Фрэнсис Перкинс министром труда (она была первой в истории женщиной в американском кабинете министров). AFL безуспешно лоббировала закон о тридцатичасовой рабочей неделе, который был предпочитаемой ею альтернативой закону о восстановлении промышленности (NIRA). AFL не сыграла значительной роли ни в принятии закона Вагнера, ни в принятии закона о социальном обеспечении, а позднее была противницей положений о минимальном размере оплаты труда в законе о справедливых трудовых стандартах (FLSA) 1938 г. (Manza 2000; Lichtenstein 2002: 63–71). Сидни Хиллман из Объединенного профсоюза рабочих швейной промышленности и Джон Л. Льюис из Объединенного профсоюза горнорабочих, которые были членами Конгресса производственных профсоюзов (CIO), напротив, сыграли свою роль в деятельности NIRA, а Хиллман был единственным профсоюзным лидером на посту высокопоставленного руководителя NIRA. Оба сыграли важную роль в лоббировании закона Вагнера. Сам Рузвельт не очень интересовался трудовым законодательством и поддерживал закон Вагнера в самый последний момент. Враждебность бизнеса по отношению к трудовому законодательству воспрепятствовала компромиссу, которому он отдавал предпочтение; теперь ему пришлось выбирать сторону одного из классов. Чувствуя себя преданным враждебно настроенным бизнесом и предвкушая множество голосов с противоположной стороны, он обратился к левым и поддержал закон.

Воздействие труда было в основном опосредованным — на улицах и пикетах, через конгрессменов и сенаторов из городских и промышленных районов и штатов. Раздел 7а закона о восстановлении национальной промышленности (NIRA) уже предполагал попытки допуска профсоюзов к консультационному механизму, но предприниматели редко признавали их, а затем Верховный суд и вовсе отклонил эту затею. Очевидно, могла быть предпринята и вторая попытка, учитывая растущую конфликтность в обществе. В связи с этим эксперты висконсинской школы институциональной экономики, о которых мы говорили в предыдущей главе, смогли получить признание. Они были убеждены, что лидеры профсоюзов могут сыграть важную регулирующую роль, дисциплинируя своих членов. Ответственные профсоюзы могут помочь преодолеть чуму буйного активизма, который в ответ на агрессию работодателей создает промышленный хаос. Вместе же ответственные разумные главы

корпораций и лидеры профсоюзов могут способствовать регуляции экономики. Как и многие другие последователи «нового курса», Джон Коммонс хотел сохранить капитализм, предоставляя больше власти организованному труду.

Амента (Amenta 1998) исследует «новый курс» в четырех штатах — Вирджинии, Иллинойсе, Висконсине и Калифорнии. Он обнаруживает, что сила поддержки программ «нового курса» варьировалась в зависимости от степени демократии (она была низкой там, где черные и многие бедные белые не могли голосовать, и довольно низкой там, где господствовал механизм патронажа), наличия либеральных или левых политиков, а также силы рабочего или другого реформистского общественного движения. Амента утверждает, что это аргумент «политического институционализма», хотя он также отмечает существенное классовое давление. В отличие от прочих стран левые политики редко были выходцами из рабочих, к тому же они практически никогда не придерживались социалистических воззрений, но видели растущее недовольство и беспорядок в своих округах и хотели реформ, чтобы положить этому конец. Они знали, что большинство протестующих, а также лидеров Американской федерации труда (AFL) и Конгресса производственных профсоюзов (CIO) не являются экстремистами и хотят реформ для легитимации их завоеваний и восстановления порядка среди своих последователей.

Закон бы назван в честь его инициатора — Роберта Вагнера, сенатора от штата Нью-Йорк, одного из главных сторонников «нового курса», который имел тесные связи с нью-йоркскими профсоюзами и корпоративными либералами. Он предпринял первую попытку принятия закона о регулировании трудовых отношений в 1933–1934 гг., в марте 1935 г. предупреждал о «поднимающейся волне недовольства в промышленности». Сенатор Роберт Лафоллет-младший из Висконсина, давний защитник труда и прогрессивный республиканец, предсказывал «открытую промышленную войну», в случае если требования труда не будут услышаны. Представитель от Массачусетса Уильям Коннери (представлявший промышленный район), долгое время лоббировавший трудовое законодательство и возглавлявший комитет Конгресса по делам труда, предсказывал, что «разверзнутся врата ада». Представитель промышленного Кливленда Мартин Суини предрекал «эпидемию забастовок, размаху которой никогда прежде не было равных в этой стране» (Goldfield 1989: 1273–1275). Они просили законодателей, менее сочувствовавших труду, спасти капитализм, были убеждены, что в настоящий момент большой бизнес рвется в бой, и хотели дать ему отпор, но Рузвельт не желал использовать репрессии для разре-

шения нараставшего конфликта. Первый законопроект Вагнера был отклонен. Рузвельт не очень интересовался этим проектом, поручив двум своим лучшим юристам подготовить более умеренный проект, дающий профсоюзам ограниченные права без полномочий для осуществления контролирующих функций. Этот закон был принят в 1934 г. и был усилен вторым законом в 1935 г. Оба закона были обязаны своим прохождением волне забастовок, но, вероятно, в большей степени промежуточным выбором, которые вернули в Конгресс более либеральных демократов, более прогрессивных республиканцев и более радикальных представителей третьих партий. Общественное мнение сдвигалось влево.

Закон Вагнера давал больше прав профсоюзам, объявляя незаконными несправедливые трудовые практики работодателей, позволяя членам профсоюзов большинством голосов решать, кто будет их представлять. Он защищал право на забастовки, налагал на обе стороны обязанность вести переговоры добросовестно и создавал Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB) для контроля за их соблюдением. Это была большая победа труда. Преамбула к этому закону базировалась на теориях недопотребления: он должен был способствовать экономическому восстановлению повышением зарплат и потребления. Он использовал язык прав индивидуальных рабочих, а не коллективных прав профсоюзов, создавая впечатление преемственности с законом о труде на железнодорожном транспорте и законом Норриса — Лагардия, которые поддерживали многие республиканцы (Fraser 1989: 69; O'Brien 1998: глава 8) и которые обеспечили голоса политического центра. Демократы-южане поддержали закон после того, как Вагнер согласился не применять его к сельскому хозяйству или бытовому обслуживанию — основным отраслям Юга. Таким образом, практически все демократы и прогрессивные республиканцы поддержали закон, хотя ему противостоял практически весь крупный бизнес. Это был единственный важный закон «нового курса», принятию которого почти не способствовали умеренные представители бизнеса (Domhoff and Webber, 2011: глава 4; Swenson 2002: 213–219). Он явился результатом наивысшей точки классовой борьбы американского типа, когда «либ-лаб» политике удалось взять верх над американским бизнесом.

Большая часть бизнесменов продолжала сопротивляться закону Вагнера, как сопротивлялась разделу 7а. Они все еще отказывались признать профсоюзы и особенно преуспели в этом на Юге. Текстильщики Юга были очень воодушевлены принятием NIRA, но разочарованы его реализацией на практике (Schlesinger 1960: 424; Irons 2000: 77; ср. Hayes 2001: 205; Kor-

stad 2003). В отчаянии текстильщики устраивали массовые забастовки, но у профсоюза было слишком мало денег и персонала; рабочих разогнали частные армии работодателей, помощники шерифа и ополчения штатов, численность которых только в Северной и Южной Каролине достигала 15 тыс. человек. Семь забастовщиков были убиты в одном из инцидентов. Губернатор Джорджии Юджин Талмадж сначала отказался посылать солдат своего штата, но сделал это, когда владельцы текстильных предприятий Джорджии предложили ему 20 тыс. долл. пожертвований на избирательную кампанию. Бастующие призывали северные профсоюзы и Фрэнсис Перкинс, министра труда, вмешаться. У северных профсоюзов и без того было много хлопот, и Перкинс, назвав эту ситуацию неприятной, не осмелилась вмешаться, поскольку администрации нужны были демократы-южане для принятия ее законов.

Южные рабочие, так же как и северные, стремились вступить в профсоюзы и могли бы преодолеть сопротивление своих работодателей, но они были слабы в политическом и военном отношении. Работодатели контролировали демократов-южан и большую часть рабочих не допускали даже до голосования (Irons 2000: главы 9, 10, с. 164–175; Нэе 2001: глава 7). После увольнения активистов и репрессий со стороны военизированных отрядов местные элиты разыграли расовую карту, тем самым разделив труд (Sullivan 1996; Korstad 2003). На Юге «новый курс» не смог изменить баланс классовый и расовой власти в отличие от некоторых северных штатов. Государственные и местные «либ-лаб» политики пришли к власти в результате выборов 1932, 1934 и 1936 гг. Губернаторы Мичигана и Пенсильвании отказались посылать полицию на подавление забастовок — репрессии могли лишить их должностей при изменившихся политических настроениях масс.

Закон Вагнера обещал реформы во имя социальной справедливости и упорядочения регуляции. Бывшие коллеги Вагнера вспоминали, что закон был скорее консервативным, чем радикальным, они также вспоминали Вагнера, оправдывавшего закон тем, что это большее из того, что он смог добиться. Они говорили, что он находился под влиянием работ Сидни и Беатрисы Вебб, главных членов британского фабианского общества, основных теоретиков Лейбористской партии. Он также понимал, что Соединенные Штаты отстают от Европы в трудовых отношениях и нуждаются в большей социальной справедливости и государственной регуляции (St. Antoine 1998). Вагнер осознавал необходимость удовлетворить Верховный суд. Лихтенштейн (Lichtenstein 1992) писал, что закон Вагнера был «очевидной уступкой подрывному активизму его эпохи, но также он

стремился направить рабочие протесты в предсказуемые формы, находящиеся в рамках системы государственного регулирования». Ожидалось, что ответственные руководители профсоюзов будут контролировать своих членов.

Этот мотив был очевидным для всех реформаторов во всех странах. Как и везде, усиление труда зависело от его собственной возможности создавать проблемы и веры умеренных членов других классов в то, что волнения трудящихся могут быть направлены в более мирное русло, что сохранит капитализм от беспорядка или революции. Вопрос, могли ли профсоюзы еще надавить, чтобы получить дополнительные привилегии, или продолжать осуществлять функции контроля за рабочими, все еще оставался открытым, как и в других странах. Некоторые марксисты подчеркивают контрольные функции закона Вагнера и всего «нового курса» в целом. Томлинс пишет: «Государство предоставило рабочим и их организациям... не более чем возможность участвовать в их собственном подчинении» (Tomlins 1985: 327–328). Но это утверждение является телеологическим приписыванием 1930-м гг. тенденций, которые проявились позже. В то время большинство наблюдателей подчеркивали поступательное движение труда. Всего за десятилетие профсоюзы увеличили свою численность от 10 до практически 25% американских рабочих. Подъем воинственности промышленных профсоюзов лишил их поддержки корпоративных либералов (Domhoff 1990: 82–89), но тогда казалось, что это не имеет значения. В 1937–1938 гг. профсоюзы Конгресса производственных профсоюзов (CIO) угрозами принудили к соглашению корпорацию US Steel, затем взялись за General Motors и Gудьер Rubber и нанесли им поражение в ходе забастовки, требовавшей признания профсоюзов. Профсоюзы никуда не делись.

Основными причинами принятия закона Вагнера были массовые волнения среди рабочих, которые поддерживали отстаивавшие интересы труда законодатели, в свою очередь откликнувшиеся на сдвиг своих избирателей влево. Это была народная борьба, преодолевшая сопротивление работодателей, хотя дополнительным необходимым условием был подкуп южан на Капитолийском холме (Domhoff 1990: 97–100). Этот закон не был примером автономии государства; он был скорее инициативой Конгресса, чем административно-бюрократической инициативой. Разумеется, у сенаторов и конгрессменов в большинстве либеральных штатов были эксперты-юристы и экономисты-институционалисты, которые помогли подготовить законопроект, направленный на признание и регулирование профсоюзов. И все же закон Вагнера был прежде всего результатом демократической трансляции классовой борьбы.

ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ

Закон о социальном обеспечении (SSA) был реформой даже относительно к помощи (Relief) или восстановлению (Recovery). Его первые выплаты были осуществлены только в 1941 г. Он был более популярен, чем закон Вагнера, и направлен поверх классовых границ. Он также был более сложным и техничным, к тому же его различные компоненты апеллировали к разным группам населения. Страхование по безработице было ориентировано на рабочие группы, но оно также было любимым детищем Рузвельта. Конгресс демонстрировал больше интереса к компоненту, которым не так интересовался президент, — пенсиям по старости. Пособие на детей-иждивенцев обращалось к феминистическим интересам, связанным с административными агентствами, и к нему президент или Конгресс демонстрировал меньше интереса. Президент поддерживал закон в целом, хотя ясно дал понять, что закон не должен нарушать права штатов при реализации федеральных программ и что он должен быть на собственном финансировании. Президент ненавидел податки, настаивал на том, что любая программа должна быть финансово обоснованной, и возражал против ее выплаты из общегосударственных доходов, а не из ассигнованных страховых взносов (Witte 1962; ср. Orloff 1988: 69–76; Kennedy 1999: 266–269). Модели законодательного процесса также различались. Закон Вагнера базировался прежде всего на предшествовавшем законодательстве штатов и законопроектах федерального уровня, которые не прошли, с лишь ограниченными заимствованиями из европейских прецедентов. У закона о социальном обеспечении было мало прецедентов в американской государственной политике, но был опыт в частном секторе среди страховых компаний и капиталистов, вводивших социальные программы для своих работников, который можно было добавить к европейским моделям. Социальные выплаты также подразумевали знания о технике страхования и финансовые знания, поэтому важную роль играли эксперты и из частного, и из государственного сектора.

Этот закон пользовался популярностью: в декабре 1935 г. опросник Гэллапа спрашивал: «Поддерживаете ли вы государственные пенсии по старости для нуждающихся?» 89% опрошенных ответили утвердительно; Великая депрессия создала национальный спрос на соцобеспечение. Страховые принципы уже были установлены частными схемами, но многим из них угрожала депрессия. Железнодорожные работники уже получили пенсионную программу через Конгресс в 1933–1934 гг., и корпора-

тивные либералы из Совета по регулированию промышленных трудовых отношений (IRC, финансируемый фондом Рокфеллера экспертно-аналитический центр) сделали ее действительно прочной, поняв, что государственная программа может быть надежнее частных схем. Это расширило поддержку (Domhoff and Webber 2011: глава 5). Депрессия также дополнительно усилила резонанс государственной помощи для действительно нуждающихся, то есть пособия без какого-либо предшествующего страхования получателей. Рузвельт был убежден, что принцип страхования будет широко распространен, к тому же помощь нуждающимся удовлетворяла его собственное аристократическое чувство ответственности перед теми, кому меньше повезло. Другие политики видели популярность концепции социального обеспечения, и лишь немногие хотели предстать в глазах избирателей голосующими против нее. Администрация запугала колеблющихся более радикальными программами, которые предлагали левые (Witte 1962: 103). Закон о социальном обеспечении прошел обе палаты с перевесом девять против одного.

Небольшая группа корпоративных либералов хотела встроить существующие частные схемы страхования в более надежную, гарантированную федеральным правительством систему (Berkowitz and McQuaid 1992: 109–114; Jacoby 1997; Jenkins and Brents 1989; Domhoff 1990, 1996: глава 5, в печати; C. Gordon 1994; Swenson 2002). Следуя теории эффективной заработной платы на менее конкурентных рынках, они полагали, что выплата хороших зарплат и обеспечение долгосрочных льгот позволят им привлечь и удержать квалифицированных рабочих и сегментировать рынок труда. Тем не менее к середине 1934 г. они увидели, что их схемы нуждаются в поддержке федерального правительства. Корпоративные либералы, такие как Джерард Своуп из «Дженерал Электрик», Уолтер Тигл из «Стандарт Ойл Нью Джерси» и Марион Фолсон из «Истман Кодак» изначально поддерживали «новый курс», к тому же они и другие управляющие корпорациями занимали главные позиции во влиятельном Деловом консультативном совете и Комитете по экономической безопасности. Они были уверены, что закон о социальном обеспечении облегчит конкуренцию с предпринимателями, платившими своим рабочим низкие зарплаты и предоставлявшими им низкое обеспечение, поскольку их трудовые издержки должны были вырасти. К тому же, если фирма останется центральным звеном страхования в социальном обеспечении, новая система также поможет держать профсоюзы подальше от их заводов (Swenson 2002; Berkowitz and McQuaid 1992: главы 5, 6; Jacoby 1997: 206–207). Совет по регулированию промышленных трудовых отношений (IRC) играл ведущую роль в обсуждении

и подготовке проектов закона о социальном обеспечении (SSA). Двое из четырех специалистов, которые написали раздел о пенсиях по старости, были членами IRC, а третий был служащим компании по страхованию жизни. Для составления положений о страховании по безработице IRC был переведен на зарплату Комитета экономической безопасности. Таким образом, корпоративные либералы сыграли важную роль в принятии SSA (Domhoff 1996: 117–176).

Но корпоративные либералы были меньшинством, большинство же бизнесменов сопротивлялись закону о социальном обеспечении. И все же к 1935 г. даже консервативные ассоциации бизнес-верхушки (Национальная ассоциация промышленников и Торговая палата Америки) знали, что время социального обеспечения пришло, стало неизбежным в силу политического обвала во время депрессии. Поэтому в общем плане они высказывались в пользу социального обеспечения, хотя были против каждой конкретной версии законопроекта, которая появлялась на данной неделе. Они не на жизнь, а на смерть боролись за конкретные детали, в то время как заявляли о поддержке принципа, поскольку понимали, что в конце концов им все равно придется принять ту или иную его версию как стратегически необходимую (Hacker Pierson, 2002: 299–301). Свенсон (Swenson 2002) не согласен с такой интерпретацией, но его данные о более широкой поддержке со стороны бизнеса в основном относятся к тому времени, когда бизнес увидел закон в действии.

В конечном итоге это был компромисс. Более радикальные проекты Таунсенда — программа «Разделим богатство» и законопроекты партии сельскохозяйственных рабочих — содержали всеобщие гарантированные выплаты и предусматривали федеральный контроль. Они столкнулись со слишком большой оппозицией, чтобы быть принятыми, но были полезны тем, что позволили менее амбициозным альтернативным схемам обеспечить некоторый универсализм и федерализм. Фрэнсис Перкинс сказала, что без плана Таунсенда закон о пенсиях по старости не был бы принят (Orloff 1988: 67). Администрация знала, что слишком большой федеральный контроль может быть отменен Верховным судом и встретит оппозицию в Конгрессе, внимательном к правам штатов. Демократы-южане заявляли, что они не потерпят федерального вмешательства, поэтому Рузвельт и Перкинс просили разработчиков закона действовать в рамках совместной программы федерального правительства и штатов, оставляя большинство вопросов о налогах, пособиях и тех, кто имеет на них право, на откуп штатам и исключая сельское хозяйство и бытовое обслуживание. Это купило им поддержку Юга, дав законопроекту возможность пройти, но исключив

из него три четверти афроамериканских рабочих (Witte 1962; Schlabach 1969: 114–126; Nelson 1969: 206–207; Davies and Derthick 1997; Kennedy 1999: 257–273).

Американская федерация труда (AFL) изменила свое мнение и стала поддерживать закон о социальном обеспечении в 1932 г. и всячески его продвигать. Она хотела, чтобы страхование по безработице работодатели оплачивали в одиночку, но пособия фактически выплачивались из налога на заработную плату, которым облагались и работодатели, и рабочие. Однако низкооплачиваемые рабочие получали в качестве пособия больше, чем был вклад, оплаченный ими. Сторонники «нового курса» полагали, что политически целесообразно заставить рабочих платить вклад, поскольку это сделает более трудным последующую отмену закона консерваторами. Изначальный уровень пособий был довольно высоким, чтобы более пожилые работники выходили на пенсию, сокращая тем самым уровень безработицы. Рабочим пришлось уступить выплату пособий по безработице нуждающимся на усмотрение местных властей (Witte 1962; D. Nelson 1969: глава 9). Бизнес и страховые компании хотели оставить частные и корпоративные схемы обеспечения неизменными. Они преуспели в этом, но без права одновременно отказа от системы штата в целом. Программа финансировалась сложным способом, который отражал компромисс между универсализмом, интересами работодателей и правами штатов. Ученики Джона Коммонса в Висконсине (такие как Уитт) и прочие экономисты сыграли важную роль в составлении первого проекта SSA. Хотя их первоначальные предпочтения были в пользу более универсальной европейской системы, они поддались давлению и добавили положения, проистекавшие из их опыта в схемах частного сектора. Они были экспертами, действительно оказали влияние на законодательство, и если бы их первоначальная схема законопроекта сохранилась и в принятом законе, то можно было бы утверждать, что они обладают существенной автономией. Но давление со стороны Конгресса, корпораций и страховой отрасли подсократили их первоначальные планы и урезали их автономию.

В конце концов, говорила Перкинс, этот законопроект был «единственным планом, который мог пройти через Конгресс». Итоговый компромисс, воплотившийся в законе, был, вероятно, ближе всего к проекту корпоративных либералов, чем к проектам других групп (Kennedy 1999: 270; Domhoff 1990: 56–60, 1996: глава 5; Domhoff and Webber 2011: глава 5; Rodgers 1998: 444–445). Наиболее господствовавшим на своей территории актором власти была Американская медицинская ассоциация, чья враждебность, за которой стояла страховая индустрия (обе пользо-

вались репутацией экспертов), вынудила Рузвельта удалить всякое упоминание о медицинском страховании из законопроекта (Witte 1962: 173–188; Orloff 1988: 75–76). Это был единственный пример, когда практически все эксперты стояли на одной стороне — консервативной. Как и Верховный суд, большинство могущественных экспертов пытались блокировать «новый курс».

Тем не менее в закон о социальном обеспечении (SSA) вошли общенациональная и обязательная системы пенсионного страхования, а также по большей мере обязательные, регулируемые на федеральном уровне программы пенсионных выплат, страхования по безработице и пособия на детей-иждивенцев. Большинство из этого финансировалось за счет налогов на заработную плату, взимаемых с работодателей и федерально регулируемых дотаций программам штатов. В отличие от предыдущих программ этот закон носил радикальный характер. Закон также был перераспределяющим и еще в большей мере становился таковым по мере постепенного повышения права американцев в нем участвовать. На самом деле его страховая база изменилась в 1939 г., когда социальное обеспечение перестало полностью финансироваться за счет самих же получателей выплат. Для того чтобы платить нынешним пенсионерам, она, напротив, стала программой выплаты пенсий из текущих поступлений, переводившей деньги в форме налогов на социальное обеспечение от рабочих пенсионерам, а также их семьям и вдовам. Этот закон остался перераспределяющей программой государства всеобщего благоденствия, даже несмотря на вмешательство корпоративных либералов, южан и прочих, а также сложности баланса сил, участвовавших в процессе его разработки (все они были важны). Он действительно отражал определенно популистское давление Великой депрессии и электоральных побед либералов.

ОГРАНИЧЕНИЯ «НОВОГО КУРСА»:

ГЕНДЕР, РАСА, ДУАЛИЗМ

Как и у большей части «нового курса», у закона о социальном обеспечении были свои пробелы. Ни женщины, ни этнические/расовые меньшинства не получили от него ничего существенного. Теперь женщины могли голосовать, хотя и не в таком количестве, как мужчины, но большинство женских организаций хотели реформ, поэтому Рузвельт просто обязан был сделать что-то для женщин, чтобы сохранить эту часть своей большой коалиции. Однако программы социального обеспечения приносили больше пользы женщинам только в том случае, если они

были частью домохозяйств, соответствовавших патриархальной модели «мужчина-кормилец». Там они выигрывали потому, что выигрывали их мужья, отцы и сыновья, но в этом не было никакого прогресса для женщин как рабочих в их собственном праве или как матерей-одиночек. Хотя было немного сознательной дискриминации против женщин, программы обеспечивали блага для сохранения достоинства рабочих-мужчин и их статуса в качестве кормильцев дома; женщины не фигурировали в спорах вокруг страхования по старости. Скорее пенсии были тем способом, которым мужчины могли обеспечивать свои семьи в старости. Через пенсии вдовам мужчины могли поддерживать свои семьи даже после собственной смерти (Kessler-Harris 2001)! Женщины были в основном опосредованными членами нации, появлявшимися на сцене театра власти, но во второстепенных ролях без слов.

Финансовая помощь лицам с детьми-иждивенцами (ADC) предоставлялась матерям-одиночкам, оставшимся без мужчины-кормильца; эта программа прошла парламентское голосование без большого ажиотажа. В некоторых штатах и многих городах уже были программы, предоставляющие помощь только по результатам проверки нуждаемости и только для крайне нуждающихся, что позволило женщинам и либеральным экспертам легче провести ADC (Witte 1962: 162–165). К. Гордон (Gordon 1994: 284–299) пишет, что это был великий шаг для женщин, хотя он также был глубоко сексистским, признанием того, что «занятостью» женщин может быть уход за детьми, в случае если у них были дети, но не было мужчины в доме. В отличие от программ, нацеленных на мужчин, эта программа также включала моральный надзор со стороны чиновников, которые предпочитали уважаемых вдов незамужним матерям. Исключение сельского хозяйства и бытового обслуживания из закона о социальном обеспечении (SSA) также ставило женщин в невыгодное положение. Преимущественно женские профессии, такие как служанка, официантка, косметолог и продавец, были также исключены из стандартов минимального размера оплаты труда и максимальной продолжительности рабочего дня, установленных FLSA. Тот факт, что исполнение большей части законов «нового курса» было отдано на откуп штатам и правительствам местного уровня, приводил к снижению количества получаемых пособий. К тому же это делало их получателей (особенно женщин) особенно уязвимыми перед вмешательством местных чиновников в их жизнь и соответствующим морализаторством. Это, разумеется, также было проблемой для этнических и расовых меньшинств (Mettler 1999). Администрация по обеспечению работой (WPA) действительно давала женщинам рабочие места, но они

получали меньшую зарплату, чем мужчины, к тому же они страдали от предписания, что лишь один член семьи мог занимать рабочее место, предоставленное WPA (Amenta 1998: 155–157).

Женское движение не сражалось изо всех сил за что-то большее. Оно не было массовым движением, и многие феминистки концентрировались на проблемах белых женщин среднего класса, то есть исключительно на собственных узких проблемах, и плохо понимали проблемы бедных и низкооплачиваемых женщин из рабочего класса. Другие по-прежнему действовали в рамках материалистского дискурса и в качестве причины своих проблем рассматривали низкие стандарты материнства и безнравственность, а не материальные лишения. Конечно, «новый курс» действительно помог женщинам, поскольку большинство из них жили в домохозяйствах модели «мужчина-кормилец» (C. Gordon 1994: 67, 195, 212–213, 258; O'Connor 2001; Mink 1995). Однако феминистский импульс, проявивший себя в период до Великой депрессии, казалось, иссякает. Зияющей дырой «нового курса» было отсутствие программ пособий по беременности и родам и пособий семьям, которые теперь фигурировали в манифестах некоторых левых партий и были законодательно приняты там, где эти партии правили (Hicks 1999: 51). Непонятно, почему импульс иссяк.

Воздействие на этнические меньшинства было более смешанным. «Новый курс» помог ассимилировать европейских эмигрантов в нации, тогда как Великая депрессия приводила к массовой и иногда принудительной эмиграции мексиканских рабочих. Затем, поскольку сельскохозяйственные рабочие теперь воспринимались как белые, сочувствие их бедственному положению росло. Появились федеральные программы, и начались расследования их эксплуатации, хотя никакого законодательства не было принято до 1940 г., когда консерваторы и сельскохозяйственное лобби внесли враждебные поправки, которые нанесли тяжелый удар по сельскохозяйственным профсоюзам и иностранным рабочим. Таким образом, мексиканские иммигранты не очень-то выиграли от «нового курса» (Guerin-Gonzales 1994).

Напротив, коренные американцы (американские индейцы) остались в выигрыше от программ общественных работ, адресованных специально им, а также от закон о реорганизации индейцев 1934 г., который положил конец продажам племенных земель и вернул собственность на нераспределенные земли группам коренных американцев, позволив им вновь стать «нациями». Тем не менее распространение государства всеобщего благоденствия на земли индейцев сделало их правительства распределителями федеральной помощи, что улучшало благо-

состояние, но, как правило, снижало автономию каждой индейской общины. Впоследствии индейские писатели не рассматривали это в качестве однозначного выигрыша. Эти последствия возникли из-за приверженности сторонников «нового курса» реформе, но через федеральные власти, которым в данном случае не бросили вызов ни бизнес, ни Юг. Коренные американцы не волновали последних никоим образом.

Афроамериканцы выиграли лишь немного и преимущественно от программ помощи. Черные были непропорционально широко представлены в Администрации по обеспечению работой (WPA) и получали зарплаты выше тех, которые получили бы на открытом рынке, но им доставалась грязная работа (Amenta 1998: 158; Cohen 1990: 279–281). Большинство из сторонников «нового курса» были антирасистами, и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и движения против линчевателей набирали силу среди афроамериканцев (Hayes 2001: 170–175). Однако немногие негры попадали под юрисдикцию закона о социальном обеспечении, который исключал сельскохозяйственных рабочих и бытовое обслуживание, к тому же по отношению к ним свирепствовала дискриминация на большинстве рынков труда и в государственных учреждениях. Блок южан в Конгрессе играл решающую роль в лишении их прав (Katznelson 2005; Lieberman 1998: 51–56). Каким бы ни было законодательство, южане пытались исключить негров из сферы его охвата. Если это им не удавалось, они стремились, чтобы реализация программ попала в руки местных чиновников, которые на Юге были враждебно настроены к черным адресатам этих программ (Brown 1999; Sugrue 1996). Даже законы против линчевателей были отменены. Как говорил президенту сенатор Бейли от Северной Каролины: «Я предупреждаю вас, что ни одна администрация не выживет без нас». Рузвельт соглашался: «Если сейчас я вынесу на голосование закон против линчевателей, то они будут блокировать всякий законопроект, о принятии которого я буду просить Конгресс для спасения Америки от катастрофы. Я просто не могу так рисковать». Сопrotивляясь давлению Элеоноры, он не поддержал законопроект 1937 г. против линчевателей. Сенаторы-южане тормозили принятие закона, парализовав верхнюю палату на шесть недель и прекратив всякую законодательную деятельность (Kennedy 1999: 342–343). Афроамериканцы пока еще не были членами нации.

Не только южане были расистами. Немногие белые бросали вызов расовым предрассудкам, и профсоюзы не были исключением из расистских практик. Конгресс производственных профсоюзов (CIO), за исключением его левых членов, либо игнорировал черных рабочих, либо сохранял сегрегированные

местные организации (Goldfield 1997; D. Nelson 2001). Внутренний расизм оставался американским исключением из прочих развитых стран; даже большинство либералов «нового курса» чувствовали, что немного могут сделать, чтобы помочь афроамериканцам. Южане, голосовавшие в Конгрессе, обеспечивали прохождение законов, которые усиливали труд, устанавливали минимальный размер оплаты труда и предоставляли помощь и социальное обеспечение для белых. «Новый курс», с одной стороны, усугубил расовый раскол, поскольку условия для белых из рабочего класса были лучше, чем для черных; с другой стороны, он вдохновил черных сражаться, и затем то же самое сделала Вторая мировая война.

«Новый курс» создал двухъярусное государство всеобщего благоденствия (C. Gordon 1994: 293; O'Connor 2001; Mettler 1999: 212; R. Harrison 1997: 268), а не то, к чему стремились его сторонники. Это стало результатом отчасти расового/южного/гендерного давления и отчасти — фискальной осторожности Рузвельта. Он не хотел начинать дефицитное финансирование, необходимое для щедрых универсальных программ (Brown 1999: 32–39, 60–61). Верхний ярус имел довольно щедрую, никак не унижающую достоинство адресатов, управляемую на федеральном уровне программу страхования, привязанную к прежним зарплатам. Получатели этого страхования его «заслужили». Второй ярус был более скудным, управляемым на местном уровне, предоставляемым в зависимости от результатов проверки нуждаемости в «обеспечении» (welfare) — слово, которое продолжает использоваться в Америке для презрительного обозначения незаработанных или незаслуженных благ. Промышленные рабочие, преимущественно белые мужчины, были непропорционально широко представлены в верхнем ярусе; женщины, афроамериканцы, бедные фермеры и временные рабочие были недостаточно широко представлены в нижнем ярусе. Это совсем не удивительно: верхний ярус был основан на страховых взносах и взносах работодателей, тогда как женщинам, неграм и меньшинствам было гораздо труднее получить постоянную работу. Если бы эти два яруса продолжали свое существование, это внесло бы разногласия в любое движение рабочего класса.

«Новый курс» стал огромным шагом вперед на пути к социальному обеспечению, но это не была универсальная система. Она также не была разработана для замены частных льгот, которые выросли для удовлетворения запросов относительно привилегированных рабочих. «Новый курс» позволил частным страховым компаниям и корпорациям использовать собственный капитализм всеобщего благоденствия, чтобы дополнить блага, предполагаемые законом о социальном обеспечении. Ра-

ботодатели надеялись, что односторонняя покупка коммерческого коллективного страхования позволит удовлетворить рабочих, избавит их от необходимости в существовании профсоюзов и преградит путь государственному вмешательству в вопросы социального обеспечения. Профсоюзы продвигали свои схемы здравоохранения и страхования (Klein 2003: главы 3–5). В медицинском обеспечении страховые компании и профессиональные медики исключили практически всякое государственное обеспечение. У богатых и постоянно работавших было частное страхование, которое было выгодным для страховых компаний и субсидировалось государством; при этом государство принимало на себя минимальную ответственность за не приносящих дохода бедных (C. Gordo, 2003).

Жилищная программа также функционировала на двухъярусной основе. «Новый курс» законодательно устанавливал строительство жилья для семей с низким доходом и гарантированную ипотечную программу для тех, кто мог внести 20% депозита, в большинстве своем для семей со средним доходом. Обе программы были запущены в 1934 г., оживив строительную отрасль, но частная программа развивалась быстрее. Закон Вагнера, расширивший государственное строительство, был принят в 1937 г., и Конгресс удалил многие из его первоначальных положений. Эта небольшая борьба разразилась между хрупкой «либ-лаб» коалицией реформаторов из либерального среднего класса с профсоюзами и влиятельной Национальной ассоциацией совета по недвижимости, исповедовавшей финансовую бережливость, местный контроль и опасавшейся социализма. Результатом была двухъярусная программа с очень разными условиями для нанимателей жилья и покупателей. На практике ипотечная программа Федерального управления жилищного строительства также стала расово несправедливой, а государственное жилищное строительство — сегрегированным. Афроамериканцам было практически невозможно получить заем под залог, а если они все же получали государственное жилье, то оно обычно было самого низкого качества.

И все же, даже приняв во внимание все эти оговорки, около 75% рядовых американцев действительно заметно выиграли от «нового курса». Было существенно расширено социальное гражданство, нация стала более сплоченной. Вероятно, оставшиеся 25% не остались вне программы развития социального гражданства. В других странах государство всеобщего благоденствия постепенно расширялось по направлению к универсализму после обычного этапа с двухъярусными системами. Почему в Соединенных Штатах не произошло подобного расширения? Я отвечу на этот вопрос позднее.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ 1930-Х ГОДОВ: НЕОДНОЗНАЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В 1936 и начале 1937 г. большинство бизнесменов ожидали, что Верховный суд отменит закон Вагнера, но суд оставил закон в силе отчасти благодаря победе Рузвельта на выборах, отчасти потому, что экономический отдел Национального управления по вопросам трудовых отношений (NLRB) представил убедительные статистические данные. Между 1937 и 1940 гг. Национальная ассоциация промышленников и Торговая палата США развернули пропагандистскую кампанию против обоих профсоюзов и NLRB. С 1937 г. постановления NLRB помогали профсоюзам расти. Бизнес-лобби отстаивало их отмену на том основании, что они дестабилизируют промышленность, ослабляют частную собственность и пропагандируют социализм. То же самое делала консервативная пресса и комитет Конгресса по расследованию деятельности NLRB, возглавляемый демократом-южанином Говардом Смитом. Он смог открыть слушания, выбрать большинство свидетелей и затем инициировать законодательные меры. Враждебные труду слушания закончились принятием Конгрессом закона Смита, ограничивавшего власть NLRB и увеличивавшего возможности работодателей по противостоянию юнионизации. Комитет Сената по труду затормозил прохождение законопроекта, но после мюнхенского кризиса 1938 г. Рузвельт чувствовал, что возможная война потребует поддержки бизнеса и демократов-южан. Он подчинился оказываемому на него давлению и реорганизовал Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB), назначив новых членов правления, более жестких по отношению к труду. Затем последовала борьба консервативных юристов против более либеральных экономистов внутри самого NLRB. В более консервативном климате того времени юристы победили. Экономический отдел NLRB был закрыт в 1940 г. Организации бизнеса, почувствовав, что двери политических возможностей открыты, наступали до 1941 г., когда разразилась Вторая мировая война (Stryk 1989; Gross 1981, 1995).

Как и обычно, эксперты были у каждой из противоборствующих сторон. Экономисты труда из старого NLRB были либералами, а новые эксперты NLRB ставили во главу угла контроль и ответственность. У противников профсоюзов также были свои эксперты. За профессиональными штрейкбрехерами стояли юристы, проповедовавшие права собственности, и экономисты, проповедовавшие, что совершенно свободные рынки отлично работают. Специалисты по социологии и связям с обществен-

ностью из Чикагского университета были наняты сторонниками капитализма всеобщего благосостояния для того, чтобы произвести исследования и эксперименты, которые связали бы работников и менеджеров вместе, выявили «нарушителей спокойствия» и тем самым устранили необходимость в профсоюзах. Некоторые были вовлечены в кампании против профсоюзов, такие как шарлатан Натан В. Шефферман (консультант по трудовым отношениям и медиатор, мнимый обществовед, мотивационный оратор и борец с профсоюзами), ранее числившийся в Американском институте френологии, теперь пытавшийся держать профсоюзы подальше от компании «Сирс». Хотя он и сам был евреем, но порицал профсоюзы за то, что они якобы контролируются евреями в ходе кампаний, разработанных им для антисемита — председателя компании «Сирс» генерала Роберта Е. Вуда (Jacoby 1997: 130–140, 301). В конце концов экспертам пришлось склониться перед могуществом их работодателей; политики приспосабливались к электоральным тенденциям.

Борьба также шла внутри профсоюзов. Закон Вагнера позволил им участвовать в регуляции отрасли в случае, если они смогут заставить работодателей признать их. Цеховые рабочие могли контролировать вход в цех, поэтому работодатель мог, в свою очередь, уступить угрозам цеха начать забастовку. Цеховые профсоюзы Американской федерации труда (AFL) продолжали торговаться с работодателями, зачастую игнорируя или даже атакуя Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB). Они надеялись, что это ослабит Конгресс производственных профсоюзов (CIO), который сотрудничал с NLRB. Менее квалифицированные рабочие промышленных профсоюзов CIO полагались в большей мере на возможности самой забастовки, чтобы добиться признания. Поскольку большинство рабочих неохотно шли на риск потерять работу из-за участия в забастовках до того момента, пока CIO не продемонстрирует свою власть над работодателем, CIO сильно зависел от своих активистов, чтобы получить изначальное признание от работодателей. Рабочие наблюдали за признаками успеха в этом предприятии: «Восстановление уволенных активистов, унижение ненавистного главы цеха или открытое ношение значков профсоюза оказывали мощное привлекающее воздействие на этих тайных симпатизантов». Затем они могли устроить забастовку, но это было опасно для тех, кто мог продавать только неквалифицированный труд (Zieger 1995: 45). Лишь немногие рабочие были увлечены социализмом. Основные споры шли вокруг того, насколько активными они должны быть в демонстрации своего недовольства. В результате борьбы акти-

вистов профсоюзы получили достаточно признания через забастовки, чтобы привести к росту численности профсоюзов, который продолжался до начала войны.

Национальное управление по вопросам трудовых отношений больше помогало профсоюзным лидерам, чем активистам, запрещая прямые действия, такие как сидячие забастовки. Во время волны забастовок 1936–1937 гг. власть внутри СЮ перешла к рядовым членам профсоюза. Профсоюзные лидеры, торговавшие с работодателями, хотели разжигать и умерять воинственность своих членов в зависимости от стадии переговоров. Как только с работодателем заключалась сделка, лидерам профсоюзов нужно было принудить рядовых членов принять ее и затем «соблюдать их контракты» (Zieger 1995: 71). Когда работодателям нужно было подписывать контракты, они пытались включить в них обязательства не участвовать в забастовках и поддерживать prerogatives администрации в период существования контракта. Чтобы получить контракты и материальные уступки, профсоюзные лидеры часто уступали эти полномочия, ограничиваясь забастовками и спорами в предсказуемое время в конце контрактного периода, но рядовые активисты профсоюзов не любили, когда сверху их связывали по рукам и ногам. Стефан-Норрис и Цейтлин (Stepan-Norris and Zeitlin 2003) утверждают, что левые профсоюзы способствовали большому участию рядовых членов в принятии решений, поэтому могли лучше мобилизовать поддержку рабочих и достигать краткосрочных контрактов, включавших более справедливые процедуры рассмотрения жалоб рабочих, право на забастовки и меньше prerogatives администрации, чем более консервативные, менее демократичные профсоюзы. Многие активисты были коммунистами, но это значило для рабочих меньше, чем конкретные выгоды, которые их активизм мог принести.

Рабочие оставались разделенными. Американская федерация труда более яростно сражалась на уровне рядовых членов профсоюзов, поскольку большинство местных имели сильные традиции прямой демократии рядовых членов, чему способствовал более этнически однородный состав квалифицированных рабочих. Они могли ожидать большей солидарности, чем более разнородные в этническом и профессиональном плане общепромышленные профсоюзы. Сторонники лидера Американского профсоюза горняков Джона Л. Льюиса из Конгресса производственных профсоюзов призывали к большей независимости от Национального управления по вопросам трудовых отношений и большей отзывчивости к активистам. Споры внутри профсоюзов накалялись (Zieger 1995; Lichtenstein 1992, 2002; Aronowitz 1973; Tomlins 1985). В 1930-х гг., утверждает МакКэмон (McCam-

мон 1993), забастовки были в меньшей степени связаны с силой профсоюза, чем с ритмами контрактов, отныне создавая более ритуализированную систему разрешения конфликтов. Исследование Нельсоном (Nelson 2001) того, когда и где происходили юнионизация, забастовки и санкционированные Национальным трудовым советом (NLB) выборы, демонстрирует три причины роста. Имел место рост снизу вверх, созданный рабочими активистами, особенно в 1937 г., но затем произошел еще больший рост сверху вниз, которому способствовала процедура выбора в Национальное управление по вопросам трудовых отношений, как было утверждено законом Вагнера. На эти два роста приходятся две трети роста численности профсоюзов в 1930-х гг., тогда как большая часть оставшегося роста стала результатом более широких политических мер «нового курса». Регуляционные меры, разработанные для того, чтобы обуздать конкуренцию среди работодателей, позволили им получать больше прибыли и иметь возможность выплачивать большие зарплаты и льготы, позволяя агрессивным профсоюзам достигать значительных завоеваний и рекрутировать больше членов. Для таких людей, как руководители железнодорожных компаний, коллективная торговля с независимыми профсоюзами «была меньшей ценой, которую пришлось заплатить за ценовую стабильность и устойчивые прибыли», пишет Нельсон.

Тем не менее большинство бизнесменов не рассуждали подобным образом. Хотя закон Вагнера давал профсоюзам право на организацию, а работодателей обязывал торговаться с надлежащим образом зарегистрированными профсоюзами, он не принуждал работодателей идти навстречу требованиям профсоюзов или даже подписывать контракты. Некоторые так и поступали, но крупные корпорации, такие как «Форд» или Малые металлургические компании, успешно сопротивлялись при помощи локаутов, насилия и штрейкбрехеров обычно при поддержке местной полиции. В Чикаго полиция убила десять бастовавших сталелитейщиков. Администрация была недовольна такой жестокой репрессией и провела расследование о подавлении забастовки, результатом которого стал критический отчет о тактике работодателя. Но Рузвельт и Перкинс предпочитали держать рабочие споры на расстоянии вытянутой руки от себя и не вмешиваться. Это был либеральный волонтаризм, а не корпоративизм.

После закона о справедливых трудовых стандартах, принятого в июне 1938 г., «новый курс» стал выдыхаться. Рузвельт допустил три ошибки (Kennedy 1999: глава 11). Во-первых, после того как Верховный суд аннулировал около дюжины законов «нового курса» федерального уровня и уровня штатов в течение

18 месяцев, он разработал предложение о формировании состава суда, которое отходило в сторону от конституционной традиции. Предложенная им чистка была непопулярной; когда он не смог провести ее через голосование, он потерял много сторонников, хотя суд был приструнен (Burns 2009). Во-вторых, ошибкой была попытка вмешательства в праймериз демократов в штатах в надежде нанести поражение консервативным кандидатам. Это ему не удалось, и он был осужден за нарушение прав штатов. Теперь все кандидаты из южных штатов соревновались в риторике сегрегации (Leuchtenburg 1963: 266–271). В-третьих, он ненароком поспособствовал рецессии, печально известной как рецессия Рузвельта. Результатом была потеря популярности лично Рузвельтом и потеря демократами мест в Конгрессе на промежуточных выборах 1938 г. В 1937 и 1938 гг. различные консервативные фракции объединялись, поскольку лидерам республиканцев удалось собрать вместе региональные фракции партии, которые были объединены по крайней мере желанием воспользоваться ошибками Рузвельта. Они сформировали конъюнктурный альянс с демократами-южанами, чтобы блокировать либеральные инициативы. Южане противостояли попыткам Конгресса производственных профсоюзов организовать Юг, так же как они сопротивлялись либералам «нового курса», использовавшим фермерские программы, чтобы помочь черным фермерам-арендаторам и рабочим. Они уже устали от «нового курса» (Weed 1994). Впервые с 1934 г. в палате представителей было больше тех, кто выступал против бюджетных расходов, чем за них (Amenta 1998: 137).

В администрации по-прежнему была масса сторонников «нового курса», но их доля в Конгрессе сократилась. Они могли предлагать законодательные акты, но не могли их провести. Конгресс теперь был правее нации — это в одиночку могла обеспечить делегация недемократического Юга. К тому же общественное мнение также выражало недовольство налогами, дефицитом и все большим ростом бюрократии в ходе реализации проектов «нового курса». Из общественных движений остались только профсоюзы, да и они стали более респектабельными. Бринкли (Brinkley 1995: 142) отмечает: «Нигде на политической карте не было активных движений, столь широко распространенных в середине 1930-х гг.». Сторонники «нового курса» развернули лишь половину кейнсианских макроэкономических мер: дефицитное финансирование и умеренную инфляцию для стимулирования экономики, но без приверженности достижению полной занятости. Тем не менее они надеялись поднять функцию потребления, чтобы достичь экономики с «высоким уровнем потребления, низким уровнем накопле-

ния», которая в конечном итоге объединила бы прогрессивную систему налогообложения, перераспределяющие трансфертные платежи и большие общественные расходы на здравоохранение, образование и благосостояние (Barber 1996: 128–130). Это «либ-лаб» видение было сравнимо с кейнсианско-бевериджской версией британского государства всеобщего благоденствия после Второй мировой войны, но политический поток оборачивался против нее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая депрессия вырвала Соединенные Штаты из консерватизма прошедших пятидесяти лет. Как мы видели в главе 3, прогрессисты потерпели неудачу со своей радикальной программой действий, и их модернизационная программа приняла уклон в сторону бизнеса. Теперь же консерваторов обвинили в неспособности справиться с депрессией, поэтому Америка радикализировалась. Хотя само понятие «социализм» оставалось под запретом, с 1934 по 1938 г. продвигались «либ-лаб» реформы. «Новый курс» предлагал разнообразные, но решительные реформы. Некоторые из них помогли спасти капитализм. Реформы в сферах финансов, жилищного строительства и субсидирования сельского хозяйства были разработаны для большей регуляции капитализма на основе эффективности и продвигались модернизаторами в целом. Бизнес, получавший помощь, естественным образом всегда приветствовал это, но прочие программы расширяли социальное гражданство, и поэтому нам нужно объяснение, которое в основе своей соединяет направляемый классом популизм и несовершенный плюрализм. Снизу на государство осуществлялось давление масс с требованием обеспечить работой и облегчить положение безработных и нуждающихся, с требованием регуляции для обеспечения экономической безопасности всех граждан и определенного перераспределения власти и богатства. Но все же я провожу различие между реальными классовыми движениями, укорененными в труде и профсоюзах, и более размытой электоральной поддержкой, включающей различные средние классы и прочие группы давления (такие как пожилые люди или феминистки). И те и другие поддерживали большинство реформ, которые действительно были приняты, и именно поэтому они принимались. Этим социальным программам сопротивлялось большинство классов собственников, хотя умеренные корпоративисты, многие центристы и либеральные политики реалистично признали, что это давление снизу делает определенного рода

реформы необходимыми. Многие сыграли критически важную роль в принятии умеренных реформ, которые упредили радикальные. Это был ответ на классовый конфликт, но это был опосредованный ответ сверху вниз, примеров которого в этом томе мы видели массу.

В следующей главе я более подробно рассмотрю конкурирующие между собой теории роста социального гражданства в XX в. «Новый курс» в качестве примера подобного роста не подтверждает логики теории индустриализма, поскольку он не был неизбежным прямым результатом индустриализации Америки; он был в высокой степени обусловлен случайным исходом борьбы, которая могла иметь иной исход. Если бы во время трех первых лет Великой депрессии у власти были демократы, как это было с несчастным Гувером, то страна могла бы отшатнуться вправо, заблокировав любые крупные социальные программы. Приди к власти какое-нибудь квазифашистское движение, социальные программы могли бы быть запущены, но с совершенно другим оттенком, хотя я и не рассматриваю такой исход в качестве весьма вероятного. «Новый курс» в основном подкрепляет то, что политологи несколько пресно называют «теорией ресурсов власти», с классовым конфликтом в ядре, который затем распространился и размылся в широкий популизм — народ появился на сцене власти и к тому же в ролях со словами.

Однако политические институты Америки также внесли существенный вклад в то, чтобы направить реформы в определенном направлении, — и это третья из теорий, обсуждаемых здесь, — институционализм. Соединенные Штаты были демократией с собственными исторически сложившимися институтами, и реформы могли быть законодательно оформлены только через эти институты, выбранные представителями народа. В Соединенных Штатах это проходило через экстремально разделенные ветви власти — на федеральном уровне между президентом и двумя палатами Конгресса и Верховным судом, а также между правительствами штатов и местными правительствами, обладавшими существенной властью. В период «нового курса» имело огромное значение, что, хотя президент и его администрация инициировали реформы, в целом отвечавшие народным требованиям, Верховный суд им сопротивлялся, а проволочки в Конгрессе все более замедляли ход реформы и ослабляли ее содержание. Самым излюбленным методом противостояния реформам было делегирование реализации программ правительствам штатов и правительствам местного уровня. В большинстве штатов это приводило к осуществлению меньших реформ, чем хотела бы администрация Рузвельта. Меньше всего получили женщины и меньшинства.

Политика превратилась в четырехстороннюю борьбу. Первой группой, участвовавшей в этой борьбе, были народные движения, мобилизованные Великой депрессией, и их представители, составлявшие меньшинство в администрации и Конгрессе. Вторая группа состояла из предпринимательского класса, прочих консерваторов и составлявших меньшинство их представителей в администрации, шире представленных в Конгрессе и правительствах штатов, а также имевших большинство в Верховном суде. В третьей группе были умеренные, ищущие компромисса с центристами, — сам Рузвельт и большая часть его ближайшего окружения, а также некоторые корпоративные либералы, умеренные профсоюзные деятели и около половины Конгресса. Наконец, были и конгрессмены-южане, которые не придерживались умеренных взглядов, но были центристами в том смысле, что поддерживали федеральные программы, в случае если их реализация предоставлена правительствам местного уровня, а также законодательство, не распространявшееся на южных рабочих, особенно афроамериканцев. Три первые фракции также шли в связке с клиентами-экспертами и чиновниками, хотя я и не придаю большого причинно-следственного значения схеме «эксперты — чиновники — государственные возможности», которую подчеркивают теоретики элит, с некоторыми исключениями, отмеченными ранее. Эксперты, чиновники и государственные органы нанимались другими акторами власти; юристы, экономисты, социальные работники, агрономы и прочие участвовали во всех политических спорах в интересах своих нанимателей. В этих спорах только одна профессия говорила практически единодушно и обладала достаточной профессиональной властью, чтобы доминировать в своей сфере интересов, — врачи. Поэтому «новый курс» не предполагал проведения реформ в системе здравоохранения. В иных случаях классовое давление и институты демократии американского типа — это то, что было самым важным в «новом курсе», а вовсе не эксперты или агентства. В томе 4 будет обсуждаться, играет ли организованное классовое давление сопоставимую роль в Великой рецессии 2008 г. Разумеется, во время депрессии потребовалось несколько лет, чтобы организованное классовое давление стало достаточным для проведения реформ.

Такое давление со стороны организованных популистских групп играло настолько решающую роль, что белые рабочие и мужчины из среднего класса выиграли от «нового курса» больше остальных. Еще одним последствием этой решающей роли было то, что выгоды были в основном связаны с формальным участием на рынке труда. Женщины выигрывали только в том случае, если жили с работающим мужчиной, и их пра-

ва в качестве рожающих и заботившихся о детях были признаны довольно скупой, только для матерей-одиночек. Это не было чем-то экстраординарным в период между двумя мировыми войнами, как мы убедимся в следующей главе. Классовая борьба по большей части обошла женщин стороной. Мужчины-афроамериканцы немного выигрывали только в том случае, если они имели формальную занятость в промышленности или получали работу от Управления общественных работ (WPA), но они не получили от «нового курса» ничего, если работали в сельском хозяйстве или жили на Юге, а таких было большинство. Прочие меньшинства также едва ли остались в выигрыше. «Новый курс» был двухъязычным предприятием; членство в нации было высокостратифицированным.

Однако по мере того, как администрация Рузвельта продолжала свое существование, как обычно и бывает с действующими правительствами в плохих экономиках, все больше американцев стали обвинять ее в том, что она ничего не сделала для процветания государства. Это было особенно заметно после рецессии 1937 г., свой вклад в которую непреднамеренно внесло правительство. Теперь низовое давление стало более неоднозначным, и казалось, «новый курс» зашел в тупик — временный или постоянный, еще не было ясно. На этих двух этапах (первом этапе реформ и втором этапе, когда эти реформы зашли в тупик) демократия американского типа продолжала работать. Оба этапа казались проявлением воли народа, по крайней мере так, как она был выражена избранными народом представителями.

Но в институциональном отношении это была несовершенная демократия. Соединенные Штаты стали первой страной, пришедшей к всеобщей демократии мужчин, они также были среди первых стран, наделивших женщин правом голоса. Однако к середине XX в. они уже не шли в авангарде. Несовершенства американской демократии были более очевидными на примере сегрегированного Юга с избирательным налогом и менее очевидными в прочих моментах, таких как чрезмерное представительство сельских избирателей и политиков, верхушечные патронажные партии, кулуарное влияние бизнес-корпораций. Все это работало в одном направлении: для того чтобы склонить демократию в сторону, противоположную народной воле, не гротескным образом (за исключением отношения к афроамериканцам), но как раз достаточным для того, чтобы сделать перераспределение более затруднительным, чем оно должно быть в действительно плюралистической демократии. Верховный суд и разделение властей между федеральным правительством и правительствами уровня штатов добавляли больше консерватизма, а популистские апелляции к правам штатов проистекали

в основном из только что отмеченных несовершенств в сельской местности и на Юге. В этом также участвовали и институты американской представительной власти, хотя и искаженные классом и расой. Предположительное отсутствие государственных возможностей в Соединенных Штатах не может быть решающим фактором, поскольку «новый курс» действительно успешно создал государственную возможность федеральной власти в различных областях.

Амента (Amenta 1998) также подчеркивает несовершенство демократии. Он обнаружил, что поддержка «нового курса» и реализации реформ на уровне штата заметно коррелировали со степенью демократизации в каждом штате. Чем шире избирательное право и слабее контроль, осуществляемый партийными машинами, тем больше поддержки оказывалось реформам. Несовершенство демократии не ограничивалось одним регионом; на общенациональном уровне американская демократия не обеспечивала достаточного разделения политической и экономической власти, укореняя неравенство во власти классов внутри политической системы. Это отчасти было наследием Прогрессивной эры, которая лучше показала себя в модернизации, чем в сокращении власти бизнеса. Основным ограничением периода «нового курса» было то, что политическая система поддерживала более консервативные политические меры, чем те, которые поддерживал народ. Если бы глас народа транслировался в политическую власть менее опосредованно, то «новый курс» продолжил бы дальнейшее расширение социального гражданства и Рузвельт сделал бы свою проницательную тактику переизбрания чуть более левой.

Хотя реформы были приняты, ни одна из них не была настолько щедрой, насколько этого изначально хотелось бы их инициаторам. Критики закона о социальном обеспечении или закона Вагнера часто полагают, что их ограничения предотвратили всякое дальнейшее развитие. Однако закон Вагнера одновременно признавал права профсоюзов и ожидал, что они дисциплинируют своих членов, что является нормальной сделкой капитала с трудом в организованном капитализме. В законе Вагнера не было никакой необходимой причины для того, что позднее Американская федерация труда или Конгресс производственных профсоюзов пришли в упадок, а не развились в более могущественные, задающие повестку дня организации, такие как послевоенные федерации профсоюзов в некоторых странах. Не было также неизбежным и то, что система обеспечения и дальше будет воплощать дуализм, расизм или сексизм. Права социального гражданства постепенно развивались во всех странах. Они начинались с несовершенных, партикуля-

ристских, предоставляемых по результатам проверки нужды программы обеспечения, отдающих предпочтение лучше организованным рабочим, но борьба продолжалась в течение многих лет, чтобы достигнуть постепенной универсализации прав. Последние обычно становятся гарантированными, как подчеркивает Болдуин (Baldwin, 1990), когда они также могут рекрутировать средние классы в сторонников идеала государства всеобщего благоденствия. Это началось в период «нового курса», так почему не должно было продолжиться в Соединенных Штатах?

Действительно, некоторые программы «нового курса» было тяжело продлить, например существование Управления общественных работ (WPA) или другие программы помощи, после того как массовая безработица прекратилась, потому что их ненавидел бизнес, который утверждал, что создание государством общественных рабочих мест поднимет зарплаты выше допустимых рыночных уровней. Программы помощи задумывались как временные, до тех пор пока не начнется восстановление экономики или пока система социального обеспечения не предоставит безработным пособия через страхование. Для демократии трудно было бы сохранить общественные работы в лучшие экономические времена, когда гораздо меньшее количество избирателей будут безработными. На самом деле война создала экономический бум.

Либерман (Lieberman 1998) отмечает, что там, где политика «нового курса» подразумевала автоматическую выплату пособий, относительно автономные федеральные агентства и относительно низкий уровень политических споров, там легче распространить пособия на афроамериканцев. В результате социальное обеспечение стало распространяться на афроамериканцев, чего нельзя сказать о страховании по безработице и помощи для детей-иждивенцев. В целом то, станут ли дефекты программ «нового курса» постоянными, зависело от баланса власти в последующие периоды, а не от самого «нового курса». В 1960–70-х гг. «новый курс» подвергся нападкам левых критиков, разоблачающих его два яруса и предполагаемые функции капиталистического контроля. Иногда их разоблачения выглядели так, как будто предполагали возможным революционное изменение. И все же, как мы убедились в других главах, реформа, а не революция была судьбой западного рабочего класса. В 1980-х гг. феминистки добавили к этому критику патриархального контроля, но, к счастью, реформы продолжились, чтобы подорвать этот контроль.

Более современная критика идет из неолиберального лагеря, осуждающего «новый курс» как вмешательство в свободу рын-

ка. Смайли (Smiley 2002: x) пишет, что «экономический кризис 1930-х гг. является трагическим свидетельством государственного вмешательства в рыночную экономику», и продолжает неустанную критику программ «нового курса», утверждая, что они нанесли вред общей экономической эффективности, особенно когда пытались перераспределить ресурсы или разрушали институты, определяющие права собственности. Тем не менее его экономические суждения представляются базирующимися на классовом сознании. Он описывает каждое завоевание рабочих, каждое повышение налогов для финансирования программ как снижающие деловое доверие и добавляет, что это негативно влияло на инвестиции и восстановление. Это противоречит опыту других стран, которые обеспечивали сопоставимые или более масштабные реформы для рабочих, не мешавшие ни инвестициям, ни восстановлению. Как мы увидим в следующей главе, имеются альтернативные способы заставить капитализм работать эффективнее.

Неолиберальные критики также политически наивны. Если бы «новый курс» не вмешался в права собственности с целью регуляции капитализма и обеспечения устойчивых жизненных стандартов для большинства американцев, капитализм увидел бы худшие рецессии, потерял бы больше легитимности и столкнулся бы с более серьезными социальными кризисами. В 1930-х гг. большинство американцев были убеждены, что свободно рыночный капитализм навлек на них Великую депрессию. Как бы они отреагировали на дальнейшее ухудшение? Вероятно, Америка была далека от социализма или фашизма, и все же она могла столкнуться с турбулентным, бестолковым популизмом, который вылился бы в хаос и упадок. Американский капитализм нужно было спасти не от социализма или фашизма, а от самого себя. Высшие социальные классы, естественно, возражали против регуляции и налогов, но общим результатом этого стало восстановление их прибылей. Рузвельт, сторонники «нового курса» и корпоративные либералы сделали именно так, как и обещали, и в процессе укрепили демократию, добавив социальное гражданство к политическому. «Мы собираемся сделать страну, — отмечал Рузвельт, обращаясь к Фрэнсис Перкинс, — где никто не будет брошен» (Perkins 1946: 113). Это не было совершеннейшей правдой, но она и ее коллеги действительно распространили гражданские права на большинство стран. Диалектика между классом и нацией продолжалась. Нация была усилена — и в подходящий момент, учитывая военные вызовы, которые вскоре встали перед ней.

Эта глава была посвящена Америке. На различных этапах я подчеркивал ее особенности, как я и делаю, работая с любой

страной. Национальные государства заключают своих граждан в «клетку» различных практик, но в более общем смысле Соединенные Штаты не были исключением. Нам незачем возвращаться к отцам-основателям, мультиэтничности, федерализму или прочим американским традициям объяснения американской исключительности, потому что на самом деле она не была столь уж исключительной. Хотя в одном важном отношении она все же такой была: там был расизм в метрополии, а не в империи за рубежом. В целом же сторонники «нового курса» создали «либ-лаб» режим всеобщего благоденствия, сравнимый с прочими режимами этого периода. Лишь после Второй мировой войны Швеция с очевидностью стала лидировать в обеспечении всеобщего социального благосостояния. До этого, утверждает Свенсон (Swenson 2002), возможно несколько преувеличивая, демократы «нового курса» сделали больше, чтобы провести прогрессивные реформы, чем шведские социал-демократы, которые были у власти с 1932 г. Тем не менее в конце 1930-х гг. сторонники «нового курса» столкнулись с возросшим сопротивлением, возглавляемым бизнесом и южанами-консерваторами. К чему привел бы этот баланс сил? Неужели причиной всех различий были последние ошибки Рузвельта? Результат был не ясен. Вице-президент Генри Уоллес заявлял: «Мы дети перехода — мы вышли из Египта, но еще не достигли Земли обетованной» (Leuchtenburg 1963: 347). Но Соединенные Штаты были не одиноки в поисках этого пути. Началась Вторая мировая война, третий великий кризис XX в., который в конечном итоге привел к тому, что Америка вновь сдвинулась вправо.

ГЛАВА 9

Развитие социального гражданства в капиталистических демократиях

ВСТУПЛЕНИЕ: ТРИУМФ РЕФОРМИРОВАННОГО КАПИТАЛИЗМА

В XX ВЕКЕ мы видим две главные экономические тенденции. Первая — капитализм распространился по всему миру и отношения между капиталом и трудом повсеместно стали основным полем борьбы за экономическую власть. Основные альтернативы — капитализм, фашизм и государственный социализм, подавлявшие классовый конфликт, — пали в результате собственных противоречий. Вторая тенденция — результатом классовой борьбы стало то, что капитализм на Западе был реформирован и приобрел человеческое лицо путем принятия универсальных прав гражданского, политического и социального гражданства. Эти последние процессы в Америке я обсудил в прошлой главе. В этой главе я продолжу рассмотрение, но в рамках более широкого сравнительного анализа стран. Поскольку усиление национальных государств переплеталось с ростом капитализма, основным пространством классовой борьбы было отдельное национальное государство и итоги этой борьбы различались от страны к стране (хотя, как мы увидим, не только так). Это оправдывает страновой аспект исследований в данной главе.

Как мы видели в главе 2, дивергенция была доминирующей глобализирующей тенденцией в первой половине XX в., поскольку на Западе и в Японии имело место стремительное экономическое развитие, а в остальном мире нет. При колониализме разрослось глобальное неравенство. Немногочисленные средние страны, преимущественно в Латинской Америке, отстали от Запада и Японии. После Второй мировой войны сочетание накопленных инноваций и потребительского спроса, конец колониальных империй и «Пакс Американа» тянули весь мир вверх, и страны на окраинах Европы и Восточной Азии обратились к догоняющему развитию. В период, который охватывает этот том, мир продолжал быть разноликим: мень-

шинство жило в сравнительной роскоши, массы оставались в страшной бедности. Здесь я рассмотрю меньшинство, живущее в роскоши.

В 1949 г. Т.Х. Маршалл утверждал, что рост равных прав гражданства, уладивший напряженность между капитализмом и классами, породил реформированную версию капитализма. Он различал три стадии развития гражданства. Правовое гражданство (свобода и равенство перед законом), утверждал он, было завоеванием XVIII в.; политическое гражданство (право на равное участие в свободных выборах) было завоеванием XIX в. Фукуяма (Fukuyama 2011) соглашается, что верховенство права (гражданское) и подотчетность правительства (политическое) — два критерия хорошего государства, к которым он добавляет обеспечение общественного порядка. Маршалл добавляет свой собственный, третий элемент (социальное гражданство), которое, утверждал он, является завоеванием XX в. Социальное гражданство он определяет как серию прав: «от права на некоторую долю экономического богатства и безопасности до права на полноценное участие в социальном наследии и цивилизованную жизнь, соответствующую стандартам, преобладающим в обществе» (Marshall 1963: 74). Это в чем-то более широкая и, возможно, более расплывчатая форма гражданства, чем две первые, но его ядро заключается в том, что неравенство не должно достигать уровней, которые позволят возникнуть различным «обществам» внутри одной и той же страны, и здесь он специальным образом фокусируется на экономическом и образовательном критериях. Маршалл писал о классовой стратификации, игнорируя региональные, этнические, гендерные и прочие формы стратификации, к тому же он имел в виду Британию, где его модель трех этапов хорошо работает. Как я отметил в ранней работе (Mann 1987), эта модель в указанной последовательности неприменима к множеству стран. И все же Маршалл верно предсказал распространение социального гражданства по всему Западу в целом, к тому же в расширенном виде его модель включает рост гражданских прав для женщин и меньшинств. Я хотел бы определить четыре основных компонента его понятия социального гражданства.

- (1) Относительно низкий уровень неравенства в рыночных доходах и имущественном положении. Поскольку роль имущества в качестве источника неравенства сокращалась с середины XX в., неравенство доходов стало более решающим. Относительное равенство доходов стало результатом комбинации низкого разброса уровня заработной платы и полной занятости, что отчасти было достижением развитого про-

мышленного капитализма, отчасти преследовалось целенаправленной государственной политикой.

- (2) Прогрессивная система налогообложения, которая в целом перераспределяла в пользу бедных, отменяя некоторые эффекты изначального неравенства доходов и имущества.
- (3) Система трансфертных платежей государства всеобщего благоденствия, пособий в денежном или натуральном выражении, особенно помогающая поддерживать адекватный уровень жизни тем, кто вне рынка труда. Все это перераспределялось в пользу престарелых, больных, инвалидов, безработных, малоимущих и детей. В своем ядре это была система страхования, включая пенсии, страхование по безработице, нетрудоспособности и медицинское страхование.
- (4) Система всеобщего образования и здравоохранения. Школы учили грамоте и счету по меньшей мере до средней школы с меритократическим доступом к уровням высшего образования. Как признавал Маршалл, образование было важно для обеспечения доступа не только к экономическим преимуществам, но и к соответствующему уровню «цивилизации». Здесь было больше общих интересов, поскольку индустриальное общество, в особенности «белые воротнички» и сектор услуг, требовали образованного человеческого капитала. Это было еще более справедливо для здравоохранения, хотя у него был характерный двухтактный ритм развития. Первым этапом было общественное обеспечение чистой водой и канализацией, а также поощрение гигиены. Поскольку в развитых странах урбанизация заставила все классы жить в непосредственной близости друг от друга, это было в интересах всех классов. Все развитые страны достигли этих целей до или сразу же после Первой мировой войны, но вторым этапом системы здравоохранения было обеспечение равного доступа к медицинским услугам, а это не было в общих интересах.

Социальное гражданство могло быть достигнуто путем различных комбинаций из этих четырех компонентов. Социальные пособия не были единственной или даже обязательно главной частью социального гражданства. Полная занятость, прогрессивное налогообложение, всеобщее бесплатное образование и обеспечение общественной системы здравоохранения может оказать тот же общий эффект, что и государство всеобщего благоденствия. Поскольку лишь немногие ученые исследовали все четыре компонента, трудно дать общую оценку социального гражданства. Я попытаюсь сделать это в данной главе. Отмечу, что все четыре компонента поощряют развитие гражданства

на уровне национального государства, хотя услуги медицинского страхования больше привязывают людей к их местному уровню. Оно является единицей, перераспределяющей налоги и социальное обеспечение, полная занятость обеспечивает участие в национальном рынке труда, а образование — свободное владение национальным языком и культурой. Это был рост *национального гражданства*, чувство принадлежности к тому же обществу, что и сограждане. В томе 2 я отмечаю, как первые национальные инфраструктуры (дороги, железные дороги, почта, служба в армии и образовательные институты) создавали повседневное чувство нации, «банальный национализм», упрятав людей в «клетки» их национальных государств, превратив их тем самым в государства-нации. В XX в. этот процесс набрал обороты по мере укрепления прав гражданства. Тем самым укрепился также и национализм, хотя в этом не было ничего по сути агрессивного. Усиление нации ослабило конфликт классов, что было частью современной диалектики класса и нации.

Маршалл не обращался к проблеме гендерных и семейных отношений, но они осложняли модель социально-гражданских прав. В широком плане в XX в. женщины продолжили расширять свои права, получив юридическое равенство, право голоса и значительные социальные права. И все же их путь к этому был особым. Гражданство обычно рассматривается как индивидуальный атрибут, тем не менее мужчины и женщины различаются в плане их социальных ролей, а также биологии (в качестве вынашивателей и (вплоть до настоящего момента) воспитателей детей. Кроме того, большинство мужчин и женщин живут не как изолированные индивиды, а в семьях, исполняя в чем-то различные роли. Преимущества гражданства могут приобретаться индивидами или в публичной, или в частной сфере, через род деятельности или семьи. В начале этого периода имела место идеологически и институционально относительно унифицированная среда за пределами сельского хозяйства: мужчины были кормильцами в формальной экономике и главами семей, женщины — подчиненными воспитателями детей в семье. Это была характерная для индустриального общества версия патриархата (власть мужчин — глав семей), возможно, самые долговечные отношения власти и идеологии на протяжении большей части человеческой истории.

Разумеется, реальность 1914 г. была более сложной. Экономика крестьянских хозяйств оставалась важной в большинстве стран. Многие женщины действительно работали в публичной сфере, особенно женщины из рабочего класса и (в возрастающей степени) женщины из низшего слоя «белых ворот-

ничков», поскольку капитализм создавал существенный спрос на труд и женщины в целом работали на должностях, связанных с уходом: преподавание, уход за больными и социальная работа. Движение феминисток возникло, чтобы сначала бросить вызов патриархату в том, что касалось трезвости, и затем в виде движения суфражисток. Женщинам удалось добиться избирательного права в некоторых странах к 1914 г. и в гораздо большем количестве стран к 1930-м гг. И тем не менее женщинам еще было за что бороться как в плане политических, так и социальных прав. Тем из них, кто не работал, грозили двойные риски: одни, связанные с работой мужчин, другие — с семейными сложностями, такими как пьянство, насилие со стороны мужа (против которых были направлены движения за трезвость) или смерть мужчины-кормильца. Вдовы и прочие матери-одиночки были особенно уязвимы. Женщины, формально трудоустроенные, получали зарплаты, которые были в среднем наполовину меньше мужских. Профсоюзы могли немного повысить женщинам зарплаты, если они были их членами, но ими были лишь немногие. В любом случае в большинстве профсоюзов доминировало желание мужчин иметь «семейную зарплату», на которую можно было прокормить всю семью и которая исключала необходимость заметной доли женского труда. Институционализированная идеология патриархата и особенно семейной зарплаты оставалась важной на протяжении всего этого периода, хотя первые удары по ней уже были нанесены.

Тем не менее различные социальные и биологические роли означали, что у женщин было два альтернативных пути сопротивления патриархату. Один заключался в том, чтобы стремиться походить на мужчин, и это направляло путь к большему равенству и защищенности в занятости, к поискам улучшений через рынок труда. По иронии они намеревались коммодифицировать свой труд, для того чтобы достичь де-коммодификации, обеспечиваемой социальным гражданством. Другой путь заключался в том, чтобы достичь улучшения своих условий за счет работы внутри семьи — «матерналистский» путь. Наиболее перспективным было объединение обоих путей. Женское стремление к свободе от патриархата было направлено, с одной стороны, на получение полных прав на трудоустройство с равными зарплатами и социальными выплатами, обычно вытекающими из работы, такие как пенсии, пособия по безработице и болезни. С другой стороны, они стремились к достижению оплачиваемого декретного отпуска, ухода за детьми, семейным пособиям и контролю за принятием репродуктивных решений. Работодатели и государство здесь имеют определенные предпочтения: увеличивать или размер рабочей силы, или уровень ро-

ждаемости. Объясняя рост социального гражданства, мы должны связывать воедино рынок, государство и семью.

Самое важное, разумеется, заключается в том, что социальное гражданство и нации действительно развивались повсеместно в странах глобального Севера. И хотя большая часть этой главы будет посвящена различиям в социальном гражданстве, все режимы социального обеспечения, налоговые системы стали более перераспределительными. В качестве цели государственной политики также появилась полная занятость, хотя для ее окончательного развития пришлось дождаться завершения Второй мировой войны. Права женщин также расширялись, хотя всегда отставали и постоянно варьировали между путем занятости и матерналистским путем. Этнические и расовые меньшинства там, где это было актуально, также отставали с правами, хотя это было действительно важно лишь в Соединенных Штатах, Австралии и (в меньшей степени) Новой Зеландии. Распространение государственного образования было наиболее универсальным из всех процессов расширения прав с относительно небольшими различиями между странами и макрорегионами и еще меньшими различиями между полами и этносами. В целом Маршалл был прав: капитализм социализировался, национализировался и цивилизовывался, хотя гражданские и политические права были совсем другим вопросом.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ

Три основных современных объяснения развития государства всеобщего благоденствия распространяются на все четыре компонента социального гражданства. Первая теория рассматривает государство всеобщего благоденствия как продукт «логики индустриализма», функциональной для воспроизводства квалифицированного труда, острая потребность в котором ощущается в индустриальной и затем постиндустриальной экономике. Она также справляется с прочими вызовами модернизации: большей продолжительностью жизни, увеличивающейся количеством пенсионеров и необходимостью в медицинских услугах, урбанизацией, возрастающим разделением работы и домохозяйства (в силу чего семьи нуждались в большей социальной поддержке), а также вхождением женщин и меньшинств в состав рабочей силы. Это отражает сокращение экономики домохозяйства и разделение домохозяйства и экономики, из-за чего семьи не могут больше обеспечивать поддержку, необходимую для того, чтобы справиться с рисками жизни и приближающей-

ся смерти, а также с рисками экономической сферы. Национальное сообщество призывают вмешаться, развить полномасштабные социальные службы, управляемые или регулируемые государством (Wilensky 2002). Поэтому логику индустриализма было бы правильнее назвать «логикой реакции на индустриализм», устраняющей его дефекты.

До того как страна сможет развить универсальную систему налогообложения или позволить себе достаточно широкое по охвату государство всеобщего благоденствия или систему всеобщего образования, также необходим определенный уровень экономического развития, так что индустриализация в возрастающей степени ведет к социальному обеспечению, хотя я предпочел бы сказать, что к этому ведет капиталистическая индустриализация. ВВП и доход на душу населения разных стран действительно коррелируют с расходами на соцобеспечение, хотя не существует определенного уровня благосостояния, необходимого, чтобы страна развернула социальные программы, к тому же эта корреляция снижается по мере того, как страны богатеют. Ко времени перехода к постиндустриализму корреляция в развитых странах стала пренебрежительно малой, хотя это не относится к образованию, которое продолжает расширяться в ответ на постиндустриальную экономику. Поэтому в целом эта теория имела различные применения, она полезнее в этом томе, чем в следующем. Отметим, что ее логика, как утверждается, применима ко всем политическим режимам, а не только к демократиям.

В основе второго объяснения развития государства всеобщего благоденствия лежит капитализм и его классовая борьба. Капиталистические рыночные отношения добавляют больше нестабильности в нашу экономическую жизнь, поскольку и отдельный бизнес, и целые отрасли переживают взлеты и падения. Однако это не только экономическая проблема. Рост производительности путем замены человеческого труда машинным также с очевидностью ведет к избытку рабочей силы, а капиталистическая жажда прибыли — к постоянным подсчетам работодателем стоимости рабочей силы и стремлению ее сокращать, возможно, путем снижения зарплат. Такие опасности особенно ощутимы среди менее квалифицированных рабочих. По этой причине они выступают резко против нерегулируемого капитализма. Мы уже сталкивались с революционным ответом; здесь же мы исследуем реформистскую версию классовой борьбы: давление рабочего класса, чтобы обеспечить больше безопасности через государство всеобщего благоденствия, равный доступ к образованию и перераспределение некоторой части прибыли в зарплаты. Это в основном зависело от способ-

ности рабочих развить мощные коллективные организации. Большинство исследований демонстрирует, что сила труда (измеряемая уровнем юнионизации, степенью национально скоординированного переговорного процесса об условиях трудовых отношений, а также годами правления левоцентристских партий) коррелирует с доналоговым и посленалоговым перераспределением доходов и щедростью программ соцобеспечения на протяжении XX в. (Allan and Scruggs 2004; Hicks 1999, Huber and Stephens 2001, Pontusson 2005; Bradley et al. 2003: 198). Социальное гражданство в данных теориях представляет триумф реформистских рабочих движений, и это происходит главным образом в демократиях. Как утверждал Липсет, политика — это демократическая трансляция классовой борьбы.

Некоторые марксисты все еще придерживаются этой классовой модели. Однако большинство обществоведов модифицируют ее тремя способами. Во-первых, когда государства, церкви или работодатели воспринимают рост движения рабочего класса как потенциальную угрозу, они могут попытаться купить лояльность рабочих уступками в плане социального гражданства. Действительно, в меньшей степени классовая борьба, чем желание предотвратить ее, принесла первые программы социального обеспечения в авторитарные, а также демократические режимы (Hicks 1999). Это была опосредованная модель или модель классового конфликта сверху вниз. Во-вторых, социальное гражданство достигается не рабочими в одиночку, а более широким классовым союзом рабочих, фермеров и групп среднего класса. Эспинг-Андерсен (Esping-Andersen 1985, 1990) отмечает, что «синие воротнички» никогда не были в большинстве, поэтому собственными силами они были неспособны провести законодательство, воплощающее их требования: им были необходимы союзники. В прошлой главе мы видели, что такой союз были ответствен за волну социального гражданства в Соединенных Штатах в период «нового курса». В исследовании Болдуина о развитии социального обеспечения (Baldwin 1990) в Скандинавии и Британии средние классы и фермеры часто играли большую роль, чем рабочие. В-третьих, не только классы употребляли свое влияние — феминистские движения и движения меньшинств, популистские религиозные движения, а также движения пожилых людей делали то же самое. Хотя движения «власть седовласым», как правило, были более влиятельными в выбивании льгот у государства в период после 1945 г., в некоторых странах старение населения коррелировало с ростом расходов на социальные трансферты начиная с 1880-х гг. (Lindert 2004). Движение Таунсенда в ходе американского «нового курса» было примером «власти седовласых», как мы убедились в прошлой главе.

Во всех этих примерах исходы были скорее результатами борьбы (будь то прямой (снизу вверх) или опосредованной (сверху вниз), чем результатами автоматической логики (как в индустриалистском объяснении), поэтому это объяснение сохраняет больше от модели конфликта, чем от консенсусной модели. Это объяснение называется политологами «теорией ресурсов власти». Все случаи борьбы вылились не в революцию, а в реформу. И действительно, широкие реформистские союзы затем высказывают притязание быть народом или нацией, так что движения, которые начинались вокруг классового конфликта, теряют это содержание и становятся нацией в условиях широкого национального консенсуса. Это значительно влияло на дальнейшее развитие социального гражданства. Линдерт утверждает, что размах социального обеспечения шире там, где средний класс может с состраданием относиться к судьбе бедных и рассматривать их по сути как таких же людей, как они сами. Это было конкретизировано как нация — мы имеем огромное сходство с нашими согражданами. События, увеличивающие народную солидарность и значимость нации, положительно сказываются на социальном гражданстве, а события, которые их уменьшают, — отрицательно. В свою очередь, достижение социального гражданства укрепляет сплоченность национального государства. Национальная «клетка» все более закрывает нас внутри себя благодаря развитию социальных прав.

Третье объяснение подчеркивает роль политических институтов и фокусируется на политических партиях, бюрократии и политических экспертах, на противопоставлении федеративных государств централизованным, а пропорционального представительства — мажоритарным избирательным системам. Эта модель используется прежде всего для объяснения различий между странами. В федеративных системах гражданские права часто варьируют внутри стран — в прошлой главе мы убедились, как важен был федерализм в Соединенных Штатах. Часто утверждают, что федерализм и системы пропорционального представительства увеличивают частоту вето в законодательном процессе, что может срывать реформы социального обеспечения. Также утверждают, что пропорциональные системы способствуют коалиционным правительствам центристов и левых в отличие от консервативных правительств, которым способствуют мажоритарные системы (Iversen and Soskice 2009; Bradley et al. 2003: 199). Хотя приверженцев этой теории часто называют институционалистами, это очень смешанный набор отношений политической власти — они подчеркивают роль не только институтов, но также политических партий и государственных элит. Первые две теории рассматривают развитие социального

обеспечения как практически неизбежно происходящее на протяжении XX в., хотя национальные и региональные различия в уровнях социального гражданства признаются ими и подчеркиваются в институциональной теории.

Все три теории обладают сильными сторонами, они также взаимосвязаны. Индустриальное общество не создает государства всеобщего благоденствия автоматически, за исключением тех случаев, где существуют действительно общие интересы относительно предоставления услуг, как, например, с водоснабжением и канализацией. В противном случае для осуществления реформ необходимо давление коллективных акторов, таких как профсоюзы или организации пожилых людей, а они, в свою очередь, вовлечены в политические движения, создаваемые посреди существующих институтов, которые добавляют свои особенности. Поэтому корреляции щедрости социального обеспечения с отдельными переменными, обозначенными выше, не особенно сильны (хотя адекватные количественные данные в массе своей доступны лишь с 1960 г.). Значительно сильнее корреляции с годами у власти левоцентристских правительств в демократиях с последующей силой профсоюзов, что соответствует классовой теории, хотя мы должны объяснить, почему в некоторых странах было больше левоцентристских правительств и крупных профсоюзов. Полноценное объяснение должно включать много причинно-следственных траекторий и их нарушений на фоне крупнейших случайных событий века, таких как мировые войны и депрессии, воздействие которых я подчеркивал в предыдущих главах.

Предполагается, что все три теории в целом применимы для всех промышленных капиталистических стран. Однако не только национальные государства немного отличаются друг от друга, но также важны и более обширные макрорегионы, охватывающие группы государств (каждая с определенными культурными и институциональными сходствами). Были разработаны две основные модели исследования этих макрорегионов: одна фокусируется на двух или более «разновидностях капитализма», другая — на «режимах государств всеобщего благоденствия». Последняя более релевантна для этой главы. Я оставлю модели разновидностей капитализма до следующего тома, поскольку он сфокусирован на периоде после 1945 г.

Эспинг-Андерсен (Esping-Andersen 1990) выделяет три «режима государств всеобщего благоденствия»: либеральный (который я называю англосаксонским), социал-демократический (скандинавский) и консервативно-европейский (европейский). По сути, изучая период начиная с 1960-х гг., но изначально выстраивая обобщения для более продолжительного периода, он

рассматривает либеральные страны как обладающие небольшими системами социального обеспечения, представляемого по результатам проверки на нуждаемость, которые ставят выживание большинства людей в зависимость от рынка. Феминистские движения обычно пытаются увеличить коммодификацию, когда они выбирают путь занятости в качестве средства достижения равенства с мужчинами. Два других режима обладают более крупными системами социального обеспечения, но скандинавский более универсален по сравнению с европейским. Его пособия являются гражданскими правами, которые не базируются ни на нужде, ни на статусе реципиентов, а также он является более перераспределительным. Более того, женщины достигают больших прав и в аспекте занятости, и в связанных с материнством аспектах жизни. В этом отношении скандинавские системы соцобеспечения представляют собой более развитую форму социального гражданства Маршалла. Европейские государства всеобщего благоденствия ненамного меньше скандинавских, но они носят менее универсальный и перераспределительный характер, базируются на принципе страхования, с выплатами, варьирующими в зависимости от рода занятости и семейного статуса. Высокостатусные профессии получают больше выплат, то же самое касается семей с детьми, но выход женщин на рынок труда не поощряется — очевидный выбор в пользу материалистского пути достижения равенства для женщин. Эти различные статусы проистекают из меньшей роли социализма и большей роли социально сознательных религий (обычно католицизма). Гендерные отношения иногда это усиливают, а иногда усложняют, как мы увидим далее. Нам не следует реифицировать эти режимы. Я продемонстрирую, что, в частности, англосаксонская и европейская модели возникли преимущественно после этого периода.

Эта типология нужна, чтобы сопоставлять все четыре аспекта социального гражданства (социальное обеспечение, налоги, рынок труда, образовательную и здравоохранительную системы), и должна рассматриваться в контексте более широкого исторического процесса, поскольку они обладают различными историческими траекториями. Я начну с самых истоков.

ЭТАП 1: РАЗВИТИЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

До XIX в. основными функциями государства были война и сбор налогов для нее. Большинство государств предоставляли минимальное социальное обеспечение через законы о бедных, но все это рассматривалось как благотворительность, а не как

право гражданства. Общественные функции государства расширялись на протяжении всего XIX в., как мы видели в томе 2. Развитие инфраструктур коммуникаций, образования, чистки улиц, уличного освещения, а также водоснабжения и канализации демонстрировали приверженность государств и партий улучшению социального обеспечения (благополучия) их граждан/подданных. Это можно рассматривать как состояние, предшествующее современным программам социального обеспечения. По мере распространения капиталистической индустриализации она приносила богатство, необходимое для финансирования большего количества общественных программ, особенно в образовании и здравоохранении. К 1900 г. начальное образование было практически всеобщим в большинстве развитых стран, среднее образование было уже довольно прочно установившимся, и расширение университетского образования только начиналось.

Наиболее очевидный общий интерес лежал в области здравоохранения. Это было прямым следствием не капитализма, а индустриализации и урбанизации. Теперь классы были скучены в городах и болезни между ними быстро распространялись; микробы — существа бесклассовые. Общие интересы придавали больше ощущения нации как единого целого, но солидарность более непосредственно выражалась на муниципальном уровне. Это был стимул для научной и технологической инновационной деятельности, поскольку она имела отношение к здоровью населения. Чистая вода, канализационная система, пастеризация и прочие меры регуляции здоровья населения сделали огромный шаг вперед. Луи Пастера во французских опросах обычно называют самым важным из когда-либо живших французов, и, возможно, они правы. Однако бесчисленные инженеры водопроводных и канализационных сооружений, начиная с Джозефа Базэлджета — разработчика канализационной системы Лондона середины XIX в., сократившей количество эпидемий, распространявшихся через воду, таких как холера, до Уильяма Малхолланда, который провел чистую воду в Лос-Анджелес в 1913 г., — вероятно, все вместе внесли больший вклад. Действительно, средний размер зарплат в Британии и Соединенных Штатах также начал расти с 1870-х гг., оказав влияние на количество потребляемых калорий, но реальные зарплаты оставались практически неизменными в первые четыре десятилетия XX в. Заметные улучшения в состоянии здоровья людей, отразившиеся в росте продолжительности жизни и среднем росте (особенно заметном в 1920–30-х гг. в большинстве развитых стран), своим появлением были, вероятно, обязаны постепенному улучшению гигиены окружающей среды предшествующего

периода. Оно было дополнением к продолжавшемуся улучшению рационов питания, которые изменились благодаря изобретениям капиталистического сельского хозяйства и сопутствовавшим ему отраслям химической промышленности (Floud et al. 2011). Слияние воедино логик капитализма и индустриализма, которое также породило рост ВВП на протяжении первой половины XX в. в большинстве стран (ненадолго прерванный мировыми войнами и Великой депрессией), означало, что различного рода налоги могут собираться для общественных работ, а также схем социального обеспечения.

Коллективное общественное внимание (одна часть которого была либеральной или филантропической, а другая — создавалась давлением рабочего класса) обратилось к проблеме безопасности благосостояния и здоровья на протяжении жизни индивида. Эти различные давления и возможности создали первые программы социального обеспечения, модифицировавшие старые законы о бедных и дополнявшие частную благотворительность государственными средствами. Сначала большинство из них опять (как и прежде законы о бедных) спонсировались местными, а не общенациональными властями. Знаменитую федеральную программу социального страхования бисмарковской Германии конца XIX в. заметно превосходили множество программ местного и провинциального уровня в Германии (Steinmetz 1993). Лидеры в образовании в то время (Соединенные Штаты, Германия и Австралия) достигли этого в основном благодаря инициативе местных и провинциальных властей. В обеспечении здоровья населения отчетливого лидера, по-видимому, не было.

На рубеже веков схемы социального обеспечения были ограниченными. Схемы страхования от несчастных случаев покрывали менее 20% работающего населения, было гораздо меньше страхования по болезни и практически не было страхования по безработице. Профсоюзы создавали собственные общества взаимопомощи, которые (скорее недостаточно) страховали своих членов от бедности. Эти схемы предоставлялись только мужчинам. Основным провозглашенным правом социального гражданства (и иногда даже реализованным) для мужчины-кормильца было получать семейную зарплату, то есть такую, которой хватало бы для обеспечения его семьи. Практически все профсоюзные движения были привержены этому праву, из чего обычно следовало, что они будут стремиться сократить количество женского труда, который был менее оплачиваемым и угрожал праву мужчин на семейную зарплату. Включение мужчин и женщин в состав рабочей силы существенно различалось в зависимости от стран: уровень занятости среди замужних женщин

в 1913 г. во Франции был в пять раз выше, чем в Британии (Pedersen 1993: 71). Во всех странах зарплаты женщин обычно составляли около 50% зарплаты мужчин и законодательство в пользу занятости женщин, как правило, было «протекционистским»: женщины как слабый, более уязвимый пол нуждались в защите от сверхурочной работы и потогонных производств, где трудилось непропорционально большое количество женщин. В главе 3 мы видели, что в Америке в начале XX в. так и было.

Первые лидеры в принятии программ социального обеспечения были умеренно развитыми странами, как демонстрирует Хикс (Hicks 1999). Факт состоит в том, что лишь одна менее развитая страна — Румыния — обладала хоть какой-то политикой социального обеспечения, поддерживаемой логикой модели индустриализма. И все же среди относительно развитых стран программы социального обеспечения не обладали существенной корреляцией с ВВП на душу населения. Самая богатая страна — Соединенные Штаты — отставала в большинстве программ соцобеспечения, за исключением образования и прав женщин. Это говорит о том, что логика индустриальной модели могла потерять свой объяснительный потенциал довольно рано. Что действительно сильно коррелирует с успехами в социальных программах, так это уровень юнионизации, за которым следовала определенная доля левых голосов — явный довод в пользу классовой теории.

Затем Хикс исследовал, какие программы были разработаны до 1913 г. и были ли они *консолидированными*, то есть законодательно обязательными для определенного круга лиц, а также широкоохватными, полностью ли они финансировались за счет государства. Он обнаруживает, что бисмарковская Германия была лидером в трех программах, удовлетворявшим этим критериям — пенсиям по старости, по потере трудоспособности, по потере кормильца, пособиям по болезни, по беременности и родам и компенсациям рабочим. За Германией следовали Австрия, Австралия, Нидерланды, Швейцария и Швеция (с двумя из трех социальных программ), хотя в 1916 г. Швеция приняла третью. В Соединенном Королевстве были все три программы, но лишь одна из них удовлетворяла обоим критериям, а две оставшиеся удовлетворяли только одному. Таковы были лидеры, представляя собой скорее разнородные наборы стран, взятых из всех трех режимов всеобщего благоденствия Эспинг-Андерсена, что говорит о том, что его модель неприменима к такому раннему этапу. Возникли две различные системы пенсий по старости. В бисмарковской Германии возникла система пенсии, выплачиваемой за счет взносов работников и работодателей, зависящей от статуса: те, у кого была выше зарплата,

получали большую пенсию. Накануне Первой мировой войны эта система распространилась на Францию и Нидерланды. Это были в основе своей страховые схемы. Напротив, пенсионная система, которая позднее стала известна как система Бевериджа, обеспечивала выплачиваемые в едином размере, предоставляемые с учетом нуждаемости пенсии для бедных пожилых людей за счет налогов. Такая пенсия была гражданским правом, но только для бедных, которые обычно подвергались навязчивому надзору для проверки их права на пенсию. Дания ввела эту систему в 1891 г., за ней последовали Британия в 1908 г. и Швеция в 1913 г. Она была более перераспределительной, чем усиливавшая статусы бисмарковская система (Ebbinghaus and Gronwald, 2009). Однако суммы были пока небольшими.

Из ранних систем социального обеспечения Хикс (Hicks 1999: 124–125) вычленяет три пути, хотя они и отличаются от путей, выделенных Эспинг-Андерсеном. Первый путь, который объединяет в себе черты англосаксонской и скандинавской моделей, он называет «либ-лаб». Вторым был бисмарковский путь, в котором полуавторитарное государство пыталось кооптировать квалифицированных рабочих, предоставляя им страхование по безработице, выплаты по болезни и пенсии, как в Германии и Австрии. Третьим путем был патерналистский или социально-католический, при котором крупные религиозные партии зависели от голосов всех классов. Хикс подчеркивает, что все три пути представляли собой попытки либералов, государства или церкви лишить социализм поддержки рабочего класса и что они были результатом различных альянсов политических партий с целью унять классовую борьбу — ответ верхов сверху вниз на классовую борьбу. Штейнмец (Steinmetz 1993) соглашается, что в Германии программы не были непосредственно реакцией на рабочие беспорядки, а скорее на восприятие государственными чиновниками подобных беспорядков.

В чем четыре либеральные страны действительно различались, так это в трудовых отношениях. Британия уже непосредственно занималась разрешением классового конфликта на рабочем месте. Профсоюзам были дарованы законные права, но государство в трудовые отношения не вмешивалось. Волонтаризм был отличительной чертой этой системы ведения переговоров (между профсоюзами и нанимателями). К началу Первой мировой войны Австралия и Новая Зеландия закрепили систему судебного разрешения трудовых конфликтов; федеральное правительство и правительства штатов в США по-прежнему продолжали подавлять профсоюзы. В Европе репрессии шли на убыль и были в итоге заменены более мягкими корпоративистскими структурами трудовых отношений,

в рамках которых группы интересов рабочих и работодателей получали доступ к государству для его обязательного посредничества в разрешении трудовых конфликтов. Однако истоки подобного решения в начале рассматриваемого периода можно проследить начиная с большей роли коллективных организаций, таких как гильдии или сельские общины, с одной стороны, и заканчивая более интервенционистскими, бюрократическими государствами — с другой (Iversen and Soskice 2009). Волонтаризм и корпоративизм в дальнейшем имели весьма различные траектории.

Первая мировая война способствовала и социальному обеспечению, и прогрессивному налогообложению в большинстве стран-участниц, хотя и в разной степени. Война создала собственные проблемы социального обеспечения — больше вдов, сирот и инвалидов. Как мы убедились в главе 5, это также привело к массовой мобилизации, практически к тотальной войне. Поскольку нация в целом жертвовала многим для военных усилий, имело место широко распространенное ощущение, что людей необходимо будет вознаградить определенным перераспределением. Исследование Лондона, Парижа и Берлина, проведенное Винтером и Робертом (Winter and Robert, 1997), также демонстрирует, что война изменила рейтинг стран, преуспевших в социальном гражданстве. До войны права, закрепленные программами социального страхования вильгельмовской Германии, на пенсионные выплаты, пособия по безработице и медицинское обслуживание опережали свои аналоги в Британии, программы которой, в свою очередь, были впереди французских. Во время войны все три разработали программы для жен, иждивенцев, вдов солдат и нетрудоспособных ветеранов плюс минимальный уровень помощи при безработице. В них все еще доминировало представление о семейной зарплате мужчин, когда государство вмешивалось только в условиях отсутствия работающих мужчин в домохозяйстве; прочие женщины были связаны с нацией через их мужчин. Немецкая система под экономическим давлением войны, ведомой старым режимом, усилила бисмарковскую концепцию ранжированных привилегий, комбинацию доли национальной солидарности, подрываемой статусными различиями. Теперь ее догнали более универсальные программы прав (довольно) демократических Франции и Англии. В конце войны общий рейтинг стран был следующим: лидировала Британия, за ней шла Франция, а Германия отставала (Bonzon 1997). В Соединенных Штатах по-прежнему не было заметного развития политики социального обеспечения. Тем не менее социальные выплаты не были такими уж большими в эту эпоху и подвиги не были крупными.

Размеры государственных расходов, разумеется, резко выросли во время войны, как это обычно было в другие периоды европейской истории (что задокументировано в прошлых моих томах). Они упали после войны, но не вернулись к довоенным уровням. Мы располагаем большими данными по доходам, чем по расходам. Как доля к ВВП, к 1920 г. доходы удвоились к 1913 г. в Британии, Ирландии и Германии и выросли более чем на 50% в Соединенных Штатах, Нидерландах и Италии. Затем в период между двумя войнами государственные доходы продолжили расти, хотя только в фашистской Германии и Италии (тративших гораздо больше на военные расходы). В Соединенных Штатах во время «нового курса» они росли очень заметно. Из-за войны взлетели и государственные заимствования. Впоследствии выплаты долгов сохранялись примерно на том же уровне, а расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение также постепенно росли в качестве доли ВВП. К 1937 г. уровень государственных расходов в 11 развитых странах в среднем составлял 11,4% ВВП, удвоившись за сорок лет. Лишь у двух стран — Австралии и Норвегии — было вполуполу меньше расходов; расходы Германии были в два раза больше; расходы Франции больше на 50%. Расходы остальных стран достигали среднего значения, Соединенные Штаты имели самые высокие из них — 12,9% (Tanzi and Schuknecht 2000: главы 2, 3). Поскольку уровень ВВП на душу населения также рос на протяжении периода между двумя мировыми войнами, рост государства был заметным практически везде. Государства взяли на себя больше социальных ролей в ответ на требования расширения социального гражданства. И все же это покажется малым по сравнению с ростом гражданских прав после Второй мировой войны. Эти тренды были схожими во всех развитых странах (за исключением фашистских), хотя, разумеется, каждая страна имела свои отличия.

Проблема, как платить за войну, маячила перед странами-участницами. Основными доступными средствами были займы и военные облигации, печатный станок и налоги. Займы и облигации оказали определенное воздействие на межпоколенческое перераспределение — они были налогом на будущие поколения, которым пришлось бы их возвращать, но они оказали крайне малое воздействие на перераспределение между классами. Универсальная политика налогообложения «излишних» военных прибылей была прогрессивной, но только во время самой войны, поскольку эти налоги были отменены после. Налоги на потребление, основные источники прибыли в большинстве стран, были увеличены во время войны. Они, как правило, были регрессивными, но налоги на имущество приносили го-

раздо меньше прибыли во время войны, поскольку большинство рент и доходностей ценных бумаг снижались. Налог на доходы был прогрессивным во всех странах, так как в то время им облагались только относительно состоятельные люди, но широта охвата заметно различалась.

Налоги на доходы были самыми высокими в довоенной Британии. Ее налоги на доходы помогали платить за войны в течение более века (задолго до того, как другие страны стали делать также), и их ставки были подняты Англо-бурской войной, а также издержками программы страхования Ллойд Джорджа, принятой в 1911 г. Во время Первой мировой ставка британского налога на доходы выросла с 6% в начале войны до 30% в конце, а число облагаемых этим налогом утроилось. Результат был заметно прогрессивным. Сочетание налога на доходы, суперналога на высокие доходы и налогов на наследство составляло практически половину государственных доходов Британии по сравнению с только 22% во Франции и 11% в Германии. В Соединенных Штатах демократический союз фермеров, рабочих, Юга и Запада захватил законодательные органы штатов на выборах 1910 и 1912 гг., поэтому 16-я поправка к конституции, легализовавшая федеральный налог на доходы, была ратифицирована как раз вовремя, к началу войны. Ставка налога на доходы в США стремительно росла с 1,5 до 18,3%, поскольку Америка вступила в войну и она была прогрессивной. К 1919 г. она составляла половину федеральных доходов. В то время как белые доминионы в большей степени полагались на займы под высокие процентные ставки, все, кроме Австралии, значительно повысили налоги на доходы во время войны и затем сохранили их — в Новой Зеландии ставка налога на доходы выросла до 30%. Таким образом, война расширила социальное гражданство в форме прогрессивных налогов среди англосаксонских стран, включая Соединенные Штаты. Отметим, что Соединенные Штаты были особенно неравномерно охвачены этим процессом, введя прогрессивные налоги, но отставая в большинстве социальных выплат вплоть до «нового курса».

Французский налог на доходы был введен союзом социалистов и леворадикалов незадолго до того, как разразилась война, хотя им облагались лишь немногие и его ставка составляла всего 2%. В 1917 г. налоги на доходы, имущество и наследство были объединены в прогрессивный пакет, хотя по-прежнему с низкими ставками. Россия также двигалась в этом направлении и даже с большей силой: царский режим пытался ввести налоги на доходы в 1914 г., но война и административная отсталость воспрепятствовали этому процессу. В отдельных немецких го-

сударствах уже до войны были небольшие налоги на доходы. Затем социалисты предложили поддержку в увеличении военных расходов, если они будут оплачиваться за счет федеральных прогрессивных налогов: внутренняя политика для левых всегда была важнее внешней. Уровень прямых налогов на физических лиц был низким и мало изменился за время войны. Австро-Венгрия во время войны получала несколько большую часть государственного дохода из прямых налогов, а в Италии налоговое бремя прямых налогов оставалось низким.

В странах, соблюдавших нейтралитет во время Первой мировой войны, иногда было тяжелое налоговое бремя в военное время в силу блокад и прочих неурядиц, нарушавших их нормальные торговые отношения и навлекавших на все общество жертвы, в которых обвиняли иностранцев (поскольку они начали эту войну). Это также придавало силы популистской политике. В Нидерландах популистскую политику проводил союз социалистов и религиозных партий, которые теперь добились пропорционального представительства на основе всеобщего избирательного права. Это обеспечило четырехкратный рост и более прогрессивный характер налогов на физических лиц. Голландия, как и Британия, перекладывала налоговое бремя с косвенных налогов на прямые. Их примеру после войны последовала соблюдавшая нейтралитет, но оккупированная Бельгия (Strachan 2001: 862–904; Ferguson 1999: 118–125; Broadberry and Harrison 2005; Morgan and Prasad 2009; Tanzi and Schuknecht, 2000: 56–57). Теперь демократии двигались по направлению к прогрессивным налогам, перераспределению, которое подчеркивало, что человек живет в национальном сообществе. Отменить налоги на доходы после войны оказалось трудно, потому что они были очень популярны, являлись передовым фронтом социального гражданства на протяжении середины XX в.

Я обрисовал первые потуги социального гражданства. Они были небольшими, ограниченными идеологией, в них мужчины зарабатывал семейную зарплату на рынке труда, а женщина должна была воспитывать детей дома, если только не было работающего мужчины. В этом случае власти национального и регионального уровня выделяли одиноким женщинам с детьми ограниченную финансовую помощь. Эти программы социального обеспечения были результатом массовых жертв, понесенных в войне, но, за исключением здравоохранения, они различались и внутри, и между странами, к тому же они были подвержены постоянным изменениям. Ни одна из этих программ еще не была незыблемой, и ни одна не подходила под те типологии, которые были обозначены ранее.

ЭТАП 2: МЕЖВОЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ (а) англосаксонские страны

В победивших в Первой мировой войне англосаксонских странах демократия и государство всеобщего благоденствия постепенно расширялись. Они были внутренне мирными, не сталкивались с попытками революций, и забастовщики и суфражистки не страдали от насилия (за исключением Соединенных Штатов во время рейдов Палмера). В ходе XX в. движение за гражданские права в Америке и националистические восстания в Ирландии были основными источниками турбулентности в англосаксонских странах, и ни одно из них не было формой классовой борьбы. Эти страны сражались в мировых войнах, но выходили победителями и не испытывали вторжений на свою территорию. Поэтому существующие политические институты сохранялись, хотя и в различной степени расширялись из-за военных жертв и вызванного войной популизма. Постепенное развитие гражданских прав, зависевшее от ранее избранного пути, было их общей чертой. Ни в одной из этих стран не возникло крупных марксистских партий или союзов; их основные левые партии были либо либеральными, как в Соединенных Штатах, Канаде и Ирландии, либо лейбористскими, в которых доминировали умеренные профсоюзы, как в Австралии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве, первоначально крашкие политические программы и голоса более крупных либеральных партий.

В Британии, первой промышленной стране, впервые появился рабочий класс. Логика индустриализма плюс классовая власть оказывали давление в пользу социального обеспечения и перераспределения. В 1890-е гг. к традиционным цеховым профсоюзам присоединились полуквалифицированные рабочие второй промышленной революции. Британский уровень членства в профсоюзах оставался высоким, с ним соперничала лишь Австралия до середины 1920-х гг. Избирательное право распространялось на профессиональные слои мужчин и затем на женщин, по мере того как каждый предположительно демонстрировал свою «ответственность». К 1900 г. количество избирательных округов, в которых доминировали рабочие, было достаточным, чтобы избрать профсоюзных деятелей в парламент. Они сформировали ядро Лейбористской партии, чье возникновение оказало давление на основные партии с целью продвижения реформ, которые принесли бы им голоса рабочих. Таким образом, в 1900-х гг. Либеральная партия сдвигалась влево, пытаясь сохранить своих избирателей из рабочего класса при помощи реформ. Результатом этого стали программа со-

циального страхования Ллойд Джорджа от 1911 г., дополненная прогрессивным налогом на доходы. В отсутствие социалистических или коммунистических партий это превратилось в «либ-лаб» путь к социальному гражданству (Hicks 1999: 124–125).

В главе 3 я показал, как война усилила американский консерватизм, поскольку американское военное вмешательство в Первую мировую войну было поздним и быстро принесло успех. В Британии победа в Первой мировой войне в целом привела к легитимации режима, хотя масштаб народных жертв побудил к некоторому расширению демократии. Право голоса было распространено на всех мужчин еще во время войны и дополнено умеренной реформой и наделением многих женщин избирательным правом после войны. Воздействие войны на Ирландию было другим — оно ускорило диссидентский национализм и движение к независимости от Британии, что предвещало паттерн, общий для всех британских колоний после Второй мировой войны. Тем не менее капитализм не был ослаблен, и феминисткам пришлось вновь проявить свой активизм, от которого большинство из них ранее отказались ради единства во время войны.

Мервик (Merwick 1991) рассматривает Первую мировую войну в качестве более радикальной в своих последствиях, навсегда изменившей отношение британцев к своему государству, поскольку реформы военного времени стали постоянными. Налог на доходы был распространен с верхушки общества, составлявшей 5–10% населения, практически на всех, железные дороги были национализированы, социальные программы расширены. Закон об образовании 1918 г. увеличил срок обязательного обучения на один год и поручил контроль за ним государству. В 1919 г. было законодательно одобрено строительство полумиллиона новых небольших домов, а в 1920 г. страхование по безработице было расширено с 2 до 11 млн рабочих. Вскоре за этим последовали пособия на иждивенцев. Мервик утверждает, что это был конец либерализма *laissez-faire* (свободного от государственного вмешательства). Эмансипации женщин способствовала их работа на фабриках вместо мужчин, ушедших на фронт. Это, по его мнению, привело к либерализации женских кодексов поведения и распространению права голоса на женщин.

Более высокие налоги на доходы и повышения зарплат, принятые во время войны, действительно оказалось трудно отменить, и, таким образом, некоторое перераспределение продолжалось (Steinmo 1993: 23–25, 104–108; McKibbin, 1998: 114–118). Однако Мервик преувеличивает. Из приведенных им трех законов только закон о страховании по безработице был действительно основательно расширен. Довоенный период уже

видел увеличение продолжительности школьного обучения вдвое, эпохальный закон о государственном страховании, увеличение количества членов профсоюзов, забастовок, голосов за Лейбористскую партию и рост движения суфражисток. Планы по законодательному утверждению избирательного права для женщин были разработаны либеральным правительством до войны, но отложены из-за ее начала. Значительная часть западных стран в довоенный период на самом деле знала довольно много социально-политических инноваций (Gauthier 1998: глава 3).

Война способствовала развитию рабочего движения. Движение цеховых старост консолидировало то, чего удалось добиться довоенной волне забастовок, и уровень юнионизации в период 1913–1920 гг. повысился, достигнув 45% рабочей силы. Недовольство рабочих резко выросло практически во всех странах в период сразу же после окончания войны, а затем снижалось вплоть до 1932 г., когда уровень участия в профсоюзах составил 23%, за чем последовало постепенное увеличение до 32% к 1939 г. Лидеры Лейбористской партии участвовали в коалиционном правительстве военного времени, и, поскольку лидеры Либеральной партии Асквит и Ллойд Джордж не ладили и партия разделилась на фракции под электоральным давлением, Лейбористская партия достигла успеха. В ходе пяти последовавших друг за другом выборов между 1918 и 1929 гг. она увеличила долю голосов избирателей и количество мест в парламенте. Лейбористская партия присоединилась к коалиционному правительству в 1924 и 1929 гг. и правила в одиночку, хотя с поддержкой либералов. К тому времени она достигла примерно 35% от общего количества голосов, меньше чем 40–45% голосов консерваторов, но опередила либералов, которых Лейбористская партия теперь вытесняла. По трудовым вопросам, таким как страхование по безработице, профсоюзы толкали лейбористов влево. В промышленности появился слабый корпоративистский уклон (Middlemas 1979), допускавший добровольные консультации по интересующим всех вопросам между главами профсоюзов, работодателями и государством, возрождающие институты, созданные Ллойд Джорджем во время войны. Однако всеобщая забастовка 1926 г. прервала это, и в отместку консервативное правительство ограничило права забастовщиков. Переговоры Монда — Тернера между главами профсоюзов и промышленниками начались в 1928 г., но были прекращены в 1933 г. в основном из-за оппозиции со стороны предпринимателей, которые не признавали профсоюзы. В Британии не развился корпоративизм и макроэкономическая политика осталась без изменений. Кейнс пока оказал лишь незначительное влия-

ние на свою родину. Это было гораздо меньшее изменение, чем полагал Мервик.

Хотя Лейбористская партия была основной движущей силой постепенных реформ, она стала более центристской и респектабельной с целью обеспечить голоса среднего класса, поступив ровным счетом так же, как СДПГ в Германии. Левое крыло партии было маргинализировано к середине 1920-х гг. Затем в неудачный момент Лейбористская партия пришла к власти в 1929 г., когда внутренний раскол не дал ей шансов справиться с Великой депрессией (Riddell 1999; Howell 2002; Worley, 2005). Она раскололась, большинство ее лидеров вступили в коалиционное Национальное правительство, в котором все больше доминировали консерваторы и которое просуществовало до Второй мировой войны. И все же Национальное правительство оказало воздействие на консервативных лидеров. Они не считали, что могут одержать победу на выборах, свертывая реформы. Даже в Соединенных Штатах, где в 1920-х гг. господствовала администрация консервативных республиканцев, они не смогли избавиться от налога на доходы; самое большее, что им удалось, это сократить ставки налогов, сохранив их прогрессивную шкалу. Британские консервативные правительства, стремясь сохранить голоса рабочего класса и подтвердить свои притязания быть национальной партией, осторожно увеличили социальные пособия и сохранили прогрессивный налог на доходы. Размах их пенсионных, здравоохранительных программ и страхования по безработице к середине 1930-х гг. был шире, чем в любой другой стране мира, а расходы на образование как доля ВВП также были больше (Tanzi and Schuknecht 2000: 34–36).

Консервативная партия также перестроилась под давлением расширения избирательного права, которое к 1929 г. было дано всем взрослым. Появились консервативные организации женщин и молодежи, и партия спонсировала журналы, фильмы и образовательные центры, которые превозносили достоинства патриотизма, мира в промышленности, долга, благопристойности и семьи. Это было посланием, адресованным растущему среднему классу, женщинам и почтительным рабочим (McCrillis 1998). Все это было ориентировано на то, чтобы стать партией всей нации. Не то чтобы класс или гендер не имели значения. Мужчины из среднего класса объединялись в спортивные, социальные и бизнес-клубы, женщины заваривали чай. Клубы пытались преодолеть религиозные различия в интересах солидарности. Хотя существование класса решительно отрицалось, клубы были сегрегированы по классам. Они поддерживали «правильную атмосферу... привлекая людей лучшего сорта». Крикет раз-

вил сегрегацию между «джентльменами» (неоплачиваемыми любителями) и «игроками» (оплачиваемыми профессионалами из рабочего класса). Джентльменов называли «мистер», игроков называли по имени даже в английской национальной сборной по крикету. В футболе были игроки и толпы из рабочего класса, но футбольными клубами управляли бизнесмены. Класс и консерватизм возрождались, реформы сохранялись, но расширение демократии встречало сопротивление в социальной сфере (McKibbin 1998).

Британская радиовещательная корпорация (BBC) добавляла идеологической власти этому реформированному консерватизму. Основанная в 1922 г. электротехническим промышленным консорциумом, финансовым интересом которого была только продажа радиооборудования, она никогда не помещала рекламные материалы и никогда не была настолько капиталистической, как ее американские аналоги. В 1927 г. корпорация стала государственной корпорацией, финансируемой налогами, но независимой от политических партий и правительства. Она была скорее старомодной, избегавшей противоречий и обычно отражавшей культуру высшей прослойки средних классов, обеспечивая патерналистскую версию государственной службы, пытавшейся облагородить вкусы, мораль и язык нации. Радиостанции регионального уровня проявляли больше независимости, они также пытались сделать свои программы более соответствующими жизни их слушателей из рабочего класса. Позднее, поскольку во время и после Второй мировой войны вся страна сдвинулась влево, радио и затем телевидение BBC стали в меньшей степени отражением истеблишмента, более бесклассовыми, более приверженными политическому и классово-культурному равновесию. Они оставались независимыми и некоммерческими. Когда в 1950-е гг. была разрешена конкуренция со стороны частного коммерческого телевидения, рекламодателей держали подальше от содержания программ. Таким образом, основное идеологическое медиа в Британии стало преимущественно независимым от тех, кто обладал политической и экономической властью, что было важным вкладом в плюралистическую демократию в отличие от британского журнализма печатных изданий и практически всех американских медиа.

Британские женщины обнаружили, что многие их завоевания военного времени оказались неустойчивыми. Во время войны они получали более высокие зарплаты, но все еще ниже, чем зарплаты мужчин. Их руководителями были мужчины, к тому же по окончании войны женщины были по большей части уволены, как и было обещано профсоюзам. По-другому дела обстояли во Франции, где профсоюзы были слабее и не участво-

вали в разделе власти во время войны. У французских предпринимателей было больше возможностей оставить женщин на работе, если они считали это нужным, к тому же они обходились им дешевле. Поэтому женщины составили практически 40% рабочего населения во Франции в 1921 г. по сравнению с 29% в Британии (Pedersen 1993: 123). В Америке практически все женщины получили избирательное право в 1918 г.; в Британии правом голоса пользовались только женщины, владевшие собственностью, и жены домовладельцев в возрасте старше 30 лет, хотя в 1929 г. уже все без исключения женщины могли голосовать. И все же Веллакотт (Vellacott 2007) убеждена, что британские и французские женщины могли бы добиться большего без войны. В обеих странах многие радикальные феминистки сопротивлялись войне и были маргинализированы. В конце войны британских феминисток возглавляли жительницы Лондона из высшего класса, получившие избирательное право в 1918 г. Их мало беспокоили женщины из рабочего класса, которые все еще не получили права голоса. Это разительно отличалось от потерпевших поражение Германии, Австрии и (в течение короткого времени) России, где женщины немедленно получили избирательное право в 1917–1918 гг., поскольку социалистические партии с универсалистскими целями захватили власть. Военное поражение благоприятно сказывалось на избирательном праве для женщин, по крайней мере в краткосрочном плане. В культурном отношении война есть проявление мачизма, и этой войне было суждено привести к поражению старый патриархальный режим, поэтому его дискредитация через военное поражение была на руку феминисткам.

Американские женщины следовали матерналистскому пути в основном из-за слабости американских левых, хотя «новый курс» изменил перспективы, открытые для феминисток. Как мы видели в прошлой главе, феминистки могли агитировать и добиваться некоторых завоеваний и на работе, и в семейной жизни в силу зависимости Рузвельта от широкой избирательной поддержки, которую оказывали и они. В Британии, где профсоюзы были намного сильнее, феминисткам удалось завоевать меньше. Это произошло отчасти потому, что лейбористы были низложены Великой депрессией, а также потому, что презрение, демонстрируемое ведущими феминистками к женщинам из рабочего класса, помогало удерживать партию от борьбы за свои идеалы. Причиной этого также было безразличие профсоюзов к матерналистским требованиям феминисток относительно материального обеспечения жен и детей, которые рассматривались как угроза для их стремления к семейной зарплате, выплачиваемой мужчинам-кормильцам. Когда правительство лейбористов со-

кратило пособие по безработице во время Великой депрессии, в первую очередь оно урезало пособия для работающих замужних женщин. На самом деле в период между двумя мировыми войнами прогресс в социальном обеспечении в Британии или Франции был меньше по сравнению с Соединенными Штатами (Cohen and Hanagan 1991).

Австралия и Новая Зеландия еще не были индустриализированы, но заменой этому был радикализм пограничного общества (так же обстояло дело и в западных штатах США). Профсоюзы росли в атмосфере враждебности классового сознания по отношению к колониальным элитам, и поведение британских офицеров во время Первой мировой войны казалось воплощением колониализма для австралийских и новозеландских солдат. Лейбористской партии Австралии до войны сыграла на руку проблема тарифов, которая разделяла две основные партии. Австралия, Канада и Новая Зеландия входили в Антанту, одержавшую победу в войне. Они потеряли 20% своих солдат на войне, но это придало импульс развитию их экономик, к тому же не было жертв среди гражданских лиц, а следовательно, меньше обещаний лучшей жизни после войны. Лейбористская партия Австралии действительно пострадала от войны, поскольку она раскололась по поводу вопроса о призыве и оставалась в оппозиции до 1929 г., который был неудачным моментом прихода к власти, учитывая начало Великой депрессии. Но все же профсоюзы продолжали расти на протяжении всех 1920-х гг. от 31% юнионизации среди рабочих в 1913 г. до 47% в 1927 г., затем депрессия ударила и по ним. В Новой Зеландии и Канаде до, во время и после войны у власти были консервативные правительства. В Новой Зеландии женщины уже пользовались правом голоса, но война консолидировала их позиции на рынке труда. Либеральная партия Новой Зеландии затем удерживала власть при помощи своего крупного профсоюзного крыла и была основным двигателем реформ вплоть до 1935 г., когда страна получила свое первое лейбористское правительство. Через три года оно ввело пенсионную систему, в рамках которой часть пенсии была универсальной, а другая часть, дополненная различными пособиями, выплачивалась по результатам проверки нуждаемости. В Канаде уровень юнионизации оставался на отметке 14–15% на протяжении 1920-х гг., хотя он удвоился в конце 1930-х гг. Канадский ритм развития социального обеспечения был более медленным еще долго после окончания Второй мировой войны.

Тем временем социальное гражданство в Австралии и Новой Зеландии приобретало отличительные черты. Кастельс (Castles 1985; ср. Starke 2008: 54–56) предпочитает «рабочее» государство всеобщего благоденствия «либеральному», поскольку такие го-

сударства практиковали активную политику на рынке труда, защищая рабочих через арбитражные суды, тарифы и программы общественных работ, которые были нацелены на полную занятость. Этой политике способствовали большое количество собственников жилья, молодое население, изобилие природных ресурсов и легкий доступ к рынкам Британской империи. Уровень безработицы оставался ниже 1% в Новой Зеландии и ниже 2% в Австралии вплоть до середины 1970-х гг. Активная политика на рынке труда расцвела пышным цветом во время Второй мировой войны, то же самое произошло и с влиянием кейнсианства на макроэкономическую политику. Австралия установила судебный порядок улаживания споров по зарплате уже в 1901 г. Ее первый верховный судья провозгласил, что уровень зарплаты должен определяться не в соответствии с «колебаниями рынка», а в соответствии с социальной справедливостью, требующей, чтобы «средний наемный работник рассматривался как человек, живущий в цивилизованном обществе», что было с очевидностью нерыночным критерием. К 1920 г. принцип зарплаты, достаточной для того, чтобы прокормить семью, был основным ориентиром для австралийских и новозеландских арбитражных судов по зарплате. Уровень зарплаты периодически корректировался в соответствии с увеличением стоимости жизни, поднимая уровень зарплат вверх и сокращая различия между зарплатами. Суды также часто на законных основаниях требовали от работодателей предоставлять такое пособие, как оплачиваемый отпуск по болезни, которое в других странах предоставлялось государством. Это было прекрасно для мужчин, хотя не столь хорошо для женщин. Институционализация семейной зарплаты была ориентирована на мужское главенство в доме, а женщинам отводились прежде всего внутренние роли по хозяйству.

Получение большинства социальных пособий в Австралии требовало прохождения проверки нуждаемости. Лишь немногие люди обращались за ними, поскольку не очень в них нуждались, острую потребность в них испытывали лишь те, кому не было места на рынке труда с полной занятостью. Именно поэтому это были «рабочие» системы социального обеспечения как результат господства классового конфликта в австралийской политике. Профсоюзы и рабочие были заинтересованы в занятости, а не в семье, и прийти к семейной зарплате им помогли арбитражные суды. У этой системы была сексистская основа, поскольку гораздо большее количество женщин оставались за пределами рынка труда. Женщины получили основные пенсионные права, страхование нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком до Первой мировой войны, но до Второй мировой войны и после нее им не удалось добиться практиче-

ски никаких дополнительных прав. Аборигены были исключены из системы социального обеспечения до конца войны.

В Новой Зеландии также были запущены ранние программы социального обеспечения в основном для мужчин, хотя были введены также пособия вдовам (1912 г.) и семейные пособия (1926 г.). Законы в защиту занятости устанавливали уровень зарплат женщин вполтину ниже зарплат мужчин, а также ограничивали продолжительность рабочего дня для женщин. Как и в Австралии и Британии, могущественные профсоюзы поставили класс выше гендера. Установление лейбористского правительства в 1938 г. привело к принятию закона о социальном обеспечении, который обеспечил весь спектр программ социального гражданства: бесплатную систему здравоохранения, пенсии для всех достигших пенсионного возраста и оставивших работу, пособия по нетрудоспособности для всех категорий инвалидов, всеобщее образование, распространение семейных пособий на всех матерей вне зависимости от нуждаемости. Голоса женщин принесли им определенный прогресс. Многие программы, адресованные бедным и нуждающимся, зависели от проверки нуждаемости, хотя они целиком оплачивались из общего налогообложения (прежде всего из подоходного налога), как в Австралии, так что система налогообложения была прогрессивной. Как и в Австралии, если доход и/или средства падали ниже установленных уровней, пособия получали автоматически. Нижние 70% австралийцев получали пенсию по старости. К 1930-м гг. бедняки больше не должны были терпеть унижение административного своеволия, поскольку оценки того, заслуживает ли человек пенсии или пособия, были отменены. Социальное обеспечение в зависимости от нуждаемости доминировало в англосаксонских странах, но оно совершенно по-разному работало в Австралии и Новой Зеландии по сравнению с Британией и Соединенными Штатами. У Австралии и Новой Зеландии был отличный путь к социальному гражданству (Castles 1985: глава 1; Castles and Shirley 1996). Но среди англоговорящих стран в период между войнами Британия с очевидностью лидировала в социальном гражданстве.

Тем не менее англосаксонские страны были идеологической семьей, говорящей на одном и том же языке и разделяющей по большей части одно и то же историческое наследие, культуру и политическую систему (Castles and Mitchell 1993). Политические эксперты и партии, бизнес и профсоюзные интеллектуалы читали одни и те же книги и памфлеты и адаптировали большинство институтов и политических практик друг друга. Известный отчет Бевериджа о социальном страховании в Британии был продан тиражом в 600 тыс. экземпля-

ров по всему англоговорящему миру. Ирландия, соблюдавшая нейтралитет во Второй мировой войне, приняла рекомендации Бевериджа о семейных пособиях во время войны. Австралийцы, новозеландцы и канадцы реализовали его рекомендации после войны. Англосаксонские страны также разделяли общее, но не гражданское право, и Верховным судом для доминионов был Тайный совет в Лондоне. У них были британские генерал-губернаторы, и они продемонстрировали лояльность королю и империи, принеся в жертву огромное число молодых людей в военное время. Как и Британия, доминионы были в основном протестантскими, но относительно секулярными странами. До той степени, до которой протестантизм имел значение, он оказывал противоречивое воздействие, в то время как консерваторов поддерживало англиканство, а рабочие поддерживали методистскую и прочие «низкие церкви». Англосаксонские страны (за исключением Соединенных Штатов) разделяли одни и те же внутренние споры с одним и тем же результатом в 1930-х гг. относительно имперских тарифных преференций. Таким образом, они представляли собой одновременно и специфические, и общие модели этого периода.

В первой половине XX в. англосаксонские страны немного сдвинулись влево благодаря общей «либ-лаб» идеологии. Они разработали два ответа: в основе одного были налоги и государство всеобщего благоденствия, в основе другого — вмешательство в рынок труда, при этом в Соединенных Штатах развитие социальных прав было более неоднородным. Они все, как правило, делили программы социального обеспечения на те, которые базировались на страховании, проистекающем от занятости, и от которых (хотя они и выглядели формально нейтральными в гендерном отношении) выигрывали преимущественно мужчины, и на универсальные, хотя и довольно скудные программы помощи для очень бедных (матерей-одиночек и пенсионеров), требующие прохождения проверки на нуждаемость. В Британии и Соединенных Штатах и в меньшей степени в Австралии матери-одиночки и пенсионеры также страдали от государственного вмешательства в их образ жизни. Это различие продолжало оставаться в форме институционализации классового компромисса. Программы, как правило, были более волюнтаристскими, чем корпоративистскими, а потому (как в либеральных идеалах) партии могли свободно из них выходить. И все же Австралия и Новая Зеландия также обладали промежуточной формой — арбитраж трудовых отношений, включая определение размера зарплаты судами. Эти различия означали, что столь уж общего англосаксонского пути к социальному гражданству не было.

ЭТАП 2: МЕЖВОЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ (б) скандинавские страны

Скандинавские страны индустриализировались в начале XX в., и их промышленность была высококонцентрированной, располагаясь лишь в нескольких местах. В Швеции, как демонстрирует Стефанс (Stephens 1980), высокая концентрация рабочего класса в местах работы и проживания способствовала возникновению мощного рабочего движения, но крестьяне, ведущие собственное хозяйство, также были сильны. Они не знали крепостного права и все еще обладали представительством в сословных собраниях, которые теперь стали современным парламентом. Хотя официальные лютеранские церкви были достаточно консервативными, протестантские секты, переплетавшиеся с протофеминистскими движениями за трезвость, боролись за радикальные перемены. Внутренний мир сохранялся с тем же самым эффектом, что и в англосаксонских странах, создавая институциональную устойчивость и соревнование в большей мере, чем конфликт. Но в скандинавских странах он был более организованным на уровне государства в целом, которое исторически играло более важную роль, чем в англосаксонских странах. Скандинавский мир рано развил корпоративистские тенденции.

Левоцентристские союзы возникли в Дании, Норвегии и Швеции между рабочими и фермерами, и независимость фермеров от привилегированных классов подорвала буржуазные блоки (Esping-Andersen 1985: 73). В Дании мелкие фермеры процветали благодаря кооперативам, а промышленность оставалась кустарной. В начале XX в. крестьяне и ремесленники отличались либеральными и демократическими наклонностями. Между сельскими радикалами и городскими либералами сформировался политический союз с социалистами в качестве младшего партнера. Это обеспечило универсальное избирательное право и первые реформы социального обеспечения и рынка труда до, во время и вскоре после Первой мировой войны.

Промышленность медленно развивалась в Норвегии, но ее рыболовецкий и лесной сектора, обедневшее крестьянство, а также отсутствие класса землевладельцев придавали радикальный импульс ее политике, подобное же воздействие оказывал конфликт между центром и периферией. Все это породило универсальное избирательное право в 1913 г. Женские движения, происходившие из миссионерских и прочих протестантских сектантских организаций, были сильны, но довольно консервативны, предпочитая идти к правам материалистским путем. В любом случае было слишком мало спроса на их труд, за ис-

ключением крестьянских ферм. Первый этап формирования государства всеобщего благоденствия был в основном маскулиным, хотя кросс-классовый блок женских голосов, желающий торговаться с прочими группами интересов, обеспечил определенный ограниченный успех. Система страхования была распространена на домохозяек в 1915 г., семейные пособия и пенсии были введены и затем распространены и на матерей-одиночек, а тем женщинам, которые работали, оплачивался декретный отпуск. Напротив, женские права в том, что касалось найма на работу, отставали. Но росту социализма в 1920-х гг. суждено было расколоть женщин-активисток на социалистические и несоциалистические группы, уменьшив тем самым шансы женщин на обретение дальнейших прав (см. Sainsbury 2001 по проблеме межвоенного норвежского и шведского феминизма).

Напротив, Швеция видела более запоздалое и стремительное экономическое развитие с 1900 г. на основе крупномасштабных концентрированных фирм в железнорудной, лесной и электроэнергетической отраслях. Это создало классовый конфликт между могущественной буржуазией и концентрированным пролетариатом, хотя и с крестьянами в качестве третьей силы. Эти силы при поддержке радикальных протестантских сект добились всеобщего избирательного права в конце Первой мировой войны. В Швеции было бюрократическое государство, продукт ее имперского прошлого, и оно проявляло активность в развитии инфраструктур индустриального общества. Промышленность переживала бум, и высокий спрос на труд означал, что поощрялась женская занятость, а потому феминистки могли выбрать путь к правам через работу и добивались проведения реформ еще до войны. На самом деле закон о социальном страховании 1913 г., применявшийся ко всем работавшим мужчинам и женщинам (но не к домохозяйкам), был первым универсальным законом о социальном страховании в мире с более широким охватом, чем предшествовавшая ему схема Ллойд Джорджа в Англии. Большинство политических партий, возникших во всех трех Скандинавских странах, имело классовую основу, или же они были секторальными, то есть сельское хозяйство против промышленности, поскольку там была значительная этническая и лингвистическая гомогенность.

Скандинавские страны сохраняли нейтралитет во время Первой мировой войны, но потерпели серьезный ущерб из-за британской блокады Германии, которая была их важным торговым партнером. Чтобы избежать больших народных страданий и вероятных восстаний, правительства почувствовали, что обязаны ввести карточную систему и прочие меры государственного контроля, нацеленные на выравнивание материального положения

и неявно на национальную солидарность всех граждан. Разумеется, карточная система вызвала к жизни черный рынок, который поддерживал классовое неравенство, а это, в свою очередь, вызывало общественное недовольство. В качестве нейтральных их режимы не были ни легитимированы, ни делегитимированы войной, и, поскольку война не дала государствам никаких дополнительных полномочий, она подтолкнула их к более перераспределяющим налогам и пособиям и более умиротворяющей стратегии в отношениях с трудом. Нация укреплялась.

Число голосов, отданных за датских и шведских социал-демократов, начало расти в 1920–1921 гг., а за норвежских социал-демократов — с 1927 г. Дания и Норвегия испытали резкий рост уровня юнионизации, за которым последовало небольшое снижение, но оно было меньшим, чем в прочих странах. В Швеции вообще не было никакого снижения, а был постоянный постепенный рост с 10% в 1913 г. до 21% в 1918 г. и до 54% в 1939 г. В Дании уровень юнионизации начал расти с отметки 23% в 1913 г., затем она несколько снизилась в 1920-е гг. и восстановилась до прежнего уровня в 1930-е гг. — на самом низком уровне юнионизации среди всех скандинавских стран. Таким образом, обещания военного времени были полностью исполнены только нейтральными странами. Во всех остальных странах профсоюзы периода Первой мировой войны испытали бурный рост, а затем не смогли достаточно хорошо справиться с развитием капитализма в мирное время. Первая мировая война пришла как нельзя кстати для целей прогрессивных реформистов, но лишь в странах, соблюдавших нейтралитет. Причиной этого различия были отношения военной власти.

В 1924 г. социалисты Дании стали самой крупной партией и оставались таковой до 2001 г. Тем не менее в отсутствие абсолютного большинства они были вынуждены постоянно создавать коалиционное правительство. Во время Великой депрессии они заключили сделку с фермерами: сельскохозяйственные субсидии и сдержанность профсоюзов в обмен на проведение активных политических мер для стимулирования занятости через контроль над ценами, экспортом и импортом. Это вывело Данию из Великой депрессии прямо по направлению к кейнсианскому планированию. Реформы 1933 г. консолидировали и рационализировали различные программы социального обеспечения (Esping-Andersen 1985: 76; Flora 1983). Норвежские социалисты были более левыми. Они сформировали свое первое правительство в 1927 г., но их радикальная политика привела к оттоку капитала, и их заменили другим правительством. В 1930 г. партия перешла к реформизму и, выиграв от Великой депрессии, сформировала устойчивое правительство с аг-

рарной поддержкой в 1935 г. В Швеции истоки программ социального обеспечения и прогрессивных налогов лежали в элитах бюрократии и центристской партии, а не в социалистах. Однако Первая мировая война изменила ситуацию. Как в Дании и Норвегии, экономика соблюдавшей нейтралитет Швеции заметно пострадала в результате британской блокады ее торговли с Германией. Война увеличила государственные расходы и общее ощущение единого народа. Это сочетание привело к расширению прогрессивного налогообложения, которое не было возможности свернуть после войны (Steinmo 1993: 62–68, 81–85). Чтобы справиться с растущим народным недовольством, консервативное правительство военного времени учредило комиссию по безработице, которая спонсировала трудовые программы облегчения положения безработных, хотя в рамках этих программ зарплаты были существенно ниже рыночных. После войны уровень безработицы оставался высоким, и программы продолжили свое существование. Первые узкие схемы социального страхования были предложены аграрными и центристскими партиями в 1913 г. и затем в 1920-х гг. Шведские социал-демократы пошли по пути норвежских, став постоянными реформистами после 1928 г.

Великая депрессия дискредитировала шведских консерваторов и привела к власти правительство, возглавляемое социал-демократами. В 1932–1934 гг. они сделали рабочие программы более левыми, начав платить зарплаты на уровне рыночных и разработав дефицитное финансирование государственных расходов на восстановление экономики. Ключевой для принятия этих новшеств была сделка с аграрной партией, которая принесла фермерам государственные займы и протекционизм для сельского хозяйства. Имели место тесные связи между партийными лидерами, особенно министром финансов Эрнстом Вигфорсом и экономистами стокгольмской школы, возглавляемыми Бертилем Олином и Гуннаром Мюрдалем. Шведские корпоративистские традиции облегчили помощь экспертов-советников правительства по государственной политике, направленной на контрциклические расходы в качестве ответа на рецессию. Вигфорс отстаивал их до 1932 г., и Кейнс признавал, что он в интеллектуальном долгу перед шведским экономистом Кнутом Викселлем. Поскольку депрессия усугублялась, Олин отверг сокращение номинальных зарплат и государственных расходов, выступая за более смелые меры по увеличению публичных работ и инвестиций и облегчению кредитно-денежной политики, для того чтобы справиться с безработицей. К 1932 г. он стал сторонником идей об эффекте мультипликации, хотя шведы не принимали кейнсианских представлений об агрегированном спро-

се. Стокгольмские экономисты отныне пользовались огромным влиянием на социал-демократов и профсоюзы. Представлялось, что стокгольмская школа предложила жизнеспособный третий путь между капиталистической и социалистической экономикой, достигнув высокого уровня социального равенства и не подорвав экономической эффективности. В период после Второй мировой войны этот третий путь стал доминирующим в скандинавских странах в целом.

Шведские женщины достигли основного прорыва в правах в 1930-х гг.: выплаты по уходу за ребенком стали доступны практически всем матерям; бесплатные услуги роддомов и медицинский осмотр; пособия матерям-одиночкам; более свободный доступ к абортам; отмена закона, запрещающего контрацептивы; а также закон, запретивший работодателям увольнять женщин из-за помолвки, брака или беременности. Это было использование обоих путей — одновременно рабочего и материалистского, что с очевидностью обеспечивало женщин наибольшим количеством прав. И вновь нехватка рабочих рук имела огромное значение (на этот раз она была вызвана убылью населения), но в сочетании с альянсом между объединенным женским движением и социал-демократами (плюс компромисс с фермерами) все это привело к заметной политической инновации: затраты на воспроизводство в семье стали оплачиваться за счет налогообложения всей нации. Шведские социал-демократы утверждали, что их политика нацелена на обеспечение «народного дома», свидетельствуя об их верности модели национального сообщества. Рабочий класс был трансформирован в «народ». Напротив, более консервативное направление норвежских женских движений, дополненное ростом социализма, означало, что женщины оставались расколотыми на протяжении 1930-х гг. в выборе между рабочим и материалистским путем и потому немногого достигли на обоих путях.

Корпоративизм также развивался в Швеции. Союз социалистов и аграриев был формализован в 1936 г. и достиг корпоративистских институтов через соглашение между капиталом, трудом и государством в Сальтшебадене в 1938 г. Федерацией профсоюзов (включая профсоюзы среднего класса) и фермерские организации были приглашены на заседания комитетов с целью выработки национальных соглашений по регулированию зарплат, привнесения большей предсказуемости, а также сокращения количества забастовок и локаутов. К концу 1930-х гг. скандинавские работодатели примирились с этой системой. Вне зависимости от того, способствовало это перераспределению между классами или нет, нация была перераспределяющей единицей. Финляндия отставала, поскольку ее рабочее движение

было малочисленным (Korpi 1978; Katzenstein 1985; Esping-Andersen 1985, Baldwin 1990).

Непосредственно после Второй мировой войны скандинавские страны в широком плане походили на англосаксонские, хотя они и были более корпоративистскими, что оказалось куда более значимо в долгосрочной перспективе. К 1930 г. в Дании была самая высокая доля социальных расходов по отношению к ВВП, за ней с небольшим отрывом следовали Финляндия, Соединенное Королевство, Швеция, Новая Зеландия, Норвегия и Австралия (Lindert 2004, таблицы в приложении). Это было совместное лидерство скандинавских и англосаксонских стран, за исключением области гендерных отношений, где шведские женщины завоевали гораздо больше гражданских прав, чем женщины любой другой страны. Скандинавские государства всеобщего благоденствия как единая группа не опережали другие вплоть до 1960-х гг. (Hicks 1999: 124–125).

ЭТАП 2: МЕЖВОЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ (с) европейские страны

Совсем иначе дела шли в странах континентальной Европы, многие из которых были сбиты с ранее избранного курса мировыми войнами. Как мы убедились в главе 6, поражение Германской, Австрийской и Российской империй вызвало всплеск классовой борьбы и стремительное расширение демократии, социального обеспечения и перераспределения в 1920-х гг. В этот период самой полной формой демократии считалась избирательная система на основе пропорционального представительства, поэтому все европейские страны, за исключением Соединенного Королевства и Испании, ее приняли (хотя Франция то и дело колебалась между двумя избирательными системами).

Франция отличалась от других стран: страна-победительница в Первой мировой войне и страна, которую война меньше всех изменила. Наиболее достоверный временной ряд показателей членства во французских профсоюзах (те, кто был зарегистрирован при голосовании на профсоюзных конференциях Всеобщей конфедерации труда) демонстрирует 33%-е увеличение между 1913 и 1920 гг., за которым последовало сокращение примерно на 25% к 1934 г. — нормы периода между мировыми войнами. Однако членство во французских профсоюзах было весьма низким и, вероятно, никогда не поднималось выше 15% несельскохозяйственной рабочей силы (Kriegel 1969: 67; Prost 1964: 315). Уровень забастовок демонстрирует аналогичное повышение, за которым последовало снижение, как и в Брита-

нии, поскольку работодатели отказывались уступить и среди рабочих воцарилось разочарование. Численность Социалистической партии взлетела в 1918–1919 гг., но в 1920 г. произошел крупный раскол между социалистами и коммунистами в основном из-за отношений с русскими большевиками. Социалисты теперь стали более умеренными и вступили в электоральный союз с центристской Радикальной партией, оставив небольшую Коммунистическую партию в качестве основного носителя явно революционного социализма, хотя и критикуемую за приверженность коминтерновской линии (Kriegel 1969). Французские профсоюзы раскололись на три части: социалистическую, коммунистическую и католическую федерации. Как и до войны, взрывной рост левых приводил к фракционализации и затем к упадку (Ansell 2001). Правые правительства господствовали в течение большей части 1920-х гг., и лишь в 1936 г. левым удалось вернуться к власти в форме многообещающего правительства Народного фронта. Однако в следующие два года внутренние склоки и ожесточенное сопротивление со стороны правых привели к его дезинтеграции.

Во Франции между мировыми войнами было мало перераспределения между классами и еще меньше увеличенных пособий для рабочих. Политика оставалась консервативной, а нация — сильно расколотовой на классы. Острая нужда в расширении налоговой базы обсуждалась, но так никогда и не была реализована. Споры вокруг того, кто будет платить, заходили в тупик социально-политические инициативы (Adamthwaite 1995; Martin 1999), и уровень неравенства оставался высоким. Резкое сокращение в размерах зарплат вскоре после войны было обращено вспять дефляционной политикой 1920-х гг. Этот разрыв на короткое время сократился при Народном фронте, а доля социальных трансфертов к ВВП практически удвоилась, хотя всего до 1,1% — половины от британского уровня. Данные по неравенству в доходах и имущественному неравенству между богатыми и остальными демонстрировали огромное отличие от Британии. Неравенство сократилось во время Первой мировой войны в обеих странах, но во Франции оно продолжило расти на протяжении большей части периода между войнами в отличие от британского неравенства, которое довольно устойчиво сокращалось после 1925 г. (Atkinson and Piketty 2007: главы 3, 4).

Грейзел (Grayzel 1999: 10, 225, 245–246) утверждает, что в Британии и во Франции «длительное воздействие войны на гендер было более консервативным, чем инновационным», поскольку военные дискурсы рассматривали женщин в терминах материнства. Французские дебаты по таким разнообразным вопросам, как немецкие зверства в Бельгии, промышленный

труд, униформы, «лихорадка хаки» (влечение женщин к людям в военной униформе), изнасилования, венерические заболевания, пацифизм и скорбь, фокусировались на предположительных угрозах, которые они несли материнству — «якорю стабилизации гендера». Жертвы женщин во время войны не сделали их политически равными (McMillan 2004). Тебо (Thébaud 2004: 185–199) рассматривает основные трансформации для французских женщин как принесенные не самой войной, а долгосрочными сдвигами в работе, потреблении, семейной жизни и контроле над репродуктивным поведением. Больше всего, утверждает она, выиграли женщины из среднего класса от расширения образования, которое увеличило доступ к канцелярским, преподавательским и воспитательским профессиям. Война также либерализовала стили одежды, как и в Британии. Женщины сняли свои корсеты для работы во время войны и отказались снова надевать их после ее окончания (Brachet-Campseur 2004). Это должно было быть таким облегчением...

Лишь немногие французские социальные нововведения были следствием войны. Хлынувшие потоки беженцев и трудовая мобильность перенапрягли возможности здравоохранения и облегчения положения бедных на уровне местного самоуправления. Самые крупные города взяли на себя большую часть этих функций, также получая помощь в этом от государства. Ассигнования для помощи бедным были увеличены на городском уровне и в частном секторе, а затем и на общенациональном уровне через государственные субсидии местным органам власти. Завоевания женщин не были преимущественно результатом феминизма, который был слаб, или альянса с движением рабочего класса, которое также было слабо и ориентировано на проблемы рабочих мужского пола. Отличная от всех прочих, французская родительская модель социального обеспечения (дававшая социальные пособия матерям) была в первую очередь вызвана давлением работодателей, социальных католиков и особенно сторонников поощрения рождаемости. Во время Первой мировой войны 1,4 млн французов были убиты, что сократило рождаемость. Теперь численность населения Франции снижалась, тогда как население возрождавшейся Германии было больше и росло. Политики, озабоченные мобилизацией на будущую войну, становились сторонниками поощрения рождаемости и поддерживали стимулы для вступления женщин в брак и заведения детей. Возросшая во время войны координация бизнеса также усилила ассоциации работодателей. Некоторые из них разработали *капитализм всеобщего благоденствия* (*welfare capitalism*), обеспечивающий пенсии рабочим и пособия их женам и детям, пытаясь этими мерами сократить текучесть рабочей силы и сохранять на низком уровне

зарплаты, силу профсоюзов и забастовки. Высокий уровень занятости женщин также приводил к низким зарплатам.

У французских мужчин было мало шансов получить семейную зарплату, но они могли получить страхование по нетрудоспособности или уходу на пенсию. Поражение французских феминисток получить право голоса на выборах (поскольку центристские депутаты опасались, что женщины могут голосовать за правых, против республики) означало, что в отличие от их британских и американских коллег они не могли призвать значительные массы избирателей поддержать их требования. Они вынуждены были полагаться на сторонников поощрения рождаемости и социальный католицизм, чтобы улучшить социальное обеспечение женщин. Это означало, что, хотя все феминистские движения до определенной степени разрывались между требованием улучшения (рабочей) жизни женщин как жен и матерей, французских женщин больше подталкивали к матерналистскому пути с семейными и детскими пособиями. Выигрыш был вполне ощутимым, и женщины получали пособия вне зависимости от их рабочего или семейного статуса.

Медицинские и пенсионные выплаты для рабочих приняли симбиотическую форму, поскольку работодатели и работники платили взносы в частные схемы страхования с меньшим государственным участием, чем в англосаксонских странах. К 1939 г. 55% населения были покрыты этими страховыми схемами, и в 1945 г. процент покрытия подскочил до 70%. Франция не могла сравниться с британской системой страхования по безработице, но между 1928 и 1932 гг. был всплеск принятия законов о семейных пособиях, медицинском и социальном страховании, и затем в 1939 г. был принят Семейный кодекс. Тимоти Смит (Smith 2003: 131) утверждает, что закон о медицинском страховании 1928 г. был «Великой хартией современного французского государства всеобщего благоденствия». Он перераспределял больше в пользу женщин и детей, чем рабочего класса. Затем постановления 1945 г. консолидировали и расширили охват этих программ, превратив их в важную часть французской системы социального обеспечения, которая продолжает существовать до сегодняшнего дня (Pedersen 1993: главы 2, 5; Dutton 2002; Smith 2003; Dreyfus et al., 2006). Симбиоз плюс социальный католицизм сформировали отличительную смесь французского социального гражданства. В целом необычным во Франции было то, что там в меньшей степени господствовала идеология мужчины-кормильца из-за слабости левых и силы сторонников поощрения рождаемости и капиталистов всеобщего благоденствия. Это был матерналистский путь. Педерсен в гендерном отношении нейтрально называет его *родительским*

путем, который «компенсировал взрослым уход за детьми вне зависимости от дохода или нужды» (Pedersen 1993: 17–18).

Война оказала большее влияние на страны, потерпевшие поражение. Когда старый режим в Германии был уничтожен и к власти пришла СДПГ, Веймарская республика (1918–1933) расширила социальное гражданство. То же сделала и Австрия в 1918–1923 гг., когда там господствовали социалисты. В Германии проходило расширение и консолидация децентрализованных и частичных программ социального обеспечения в единые национальные программы, одни из которых были организованы через работодателей и профсоюзы, другие — государством, подкрепленные в большей степени представлениями о коллективном социальном гражданстве, чем индивидуальными правами, хотя они и оспаривались политическими правами и церквями (Hong 1998). Имела место государственная координация конфликта между работодателями и работниками, а также система страхования от безработицы, навязанная государством, которое к этому подтолкнули профсоюзы вопреки возражениям работодателей, — обе тенденции были протокорпоративистскими. Были запущены национальные программы для молодежи, страхование и помощь для безработных, финансируемые за счет работодателей и работников, а также профессиональное страхование от несчастных случаев и болезней. В большинстве программ социального обеспечения Веймарская республика уступала только Британии (Tanzi and Schuknecht 2000: глава 2). Развивались представления о «научной социальной работе», систематической и выдержанной в несколько биологической и естественно-научной риторике, которая вскоре была заметно усилена нацистами (Steinmetz 1993: 202). В целом же социальные расходы государства удвоились с 19% всех расходов в 1913 г. до 40% в 1929–1930 гг. (Flora and Heidenheimer 1981), то есть выше, чем в любой другой стране. Энцибергер, немецкий министр финансов, реформировал налог на доходы, сделав его более прогрессивным в 1919–1920 гг., с самой высокой ставкой для очень богатых на уровне около 6%. Поэтому он был убит правыми экстремистами в 1921 г. Гиперинфляция сократила разрыв в доходах, который также подпитывал классовый конфликт. Впервые в оборот было введено понятие «государство всеобщего благоденствия», но оно было введено консерваторами, высмеивавшими веймарское социальное обеспечение как «мягкость», подрывающую чувство немецкой национальной гордости и военную доблесть (Flora and Heidenheimer 1981).

СДПГ требовала восьмичасовой рабочий день, принудительное арбитражное разрешение индустриальных конфликтов и страхование по безработице. Социалисты настаивали на на-

циональной системе медицинского страхования и перераспределительных налогах таким образом, чтобы бремя выплаты военных репараций перекладывалось на плечи богатых. Они утверждали, что бедность и ненадежность положения были порождениями капитализма, а не индивидуальными пороками — крупный прорыв по сравнению со взглядами благотворительных организаций. Государство обязано оказать материальную помощь гражданам, которым меньше повезло, через ряд программ: «консультирование матерей, социальные программы для младенцев и малолетних детей, школьные медицинские услуги, коррекционное обучение, помощь ювенальной юстиции, программы социального жилья и... денежную помощь» (Hong 1998: 159). Социалистические феминистки также требовали и получили гендерные реформы. Развод был либерализован в направлении взаимного согласия, широкое распространение получили центры консультирования матерей и детские сады, с военного времени были сохранены пособия по материнству, был также введен оплачиваемый декретный отпуск для промышленных рабочих (Mouton 2007). Федеральная конституция позволила СДПГ всесторонне реформировать некоторые *Länder* (земли), прежде всего Пруссию, самую крупную из них.

И все же пропасть между социалистами и христианскими консерваторами создала неразрешимые политические проблемы. Старый режим неумолимо сопротивлялся, укоренившись в судебной системе, армии, тяжелой промышленности, землевладельческой элите ост-эльбских провинций, идеологически подкрепляемый церквями. Социальное христианство, которое, как правило, поддерживало политику социального обеспечения, хотя и несколько другого характера, было ослаблено и не развивалось до середины 1940-х гг. Многие консерваторы сопротивлялись не просто налету республиканского социализма, но демократии самой по себе. В 1918–1919 гг. правые пошли на компромисс, чтобы выжить в ходе революции. Теперь же, когда революционные возможности исчезли, они отступили назад, отказавшись от компромиссов, стремясь вытеснить социал-демократов из правительства и ослабить парламент в пользу правления на основе чрезвычайных полномочий, предоставляемых 48-й статьей Конституции Веймарской республики, — пункт, которым позже воспользовался Гитлер. Они участвовали в «классовом конфликте сверху» (Mommesen 1996: 453, 220).

Некоторые правые склонялись к парламентскому пути, но были авторитарно-националистические альтернативы, такие как фашизм. Война была позитивным опытом для многих младших офицеров и сержантского состава. Сочетание национализма, бесклассового товарищества и сильной дисциплины

сверху обещало альтернативный путь к разрешению классового и политического конфликта (что мы увидим в следующей главе). Ветераны в Германии, Италии, Австрии, Румынии и Венгрии сделали фашизм массовым движением. После Первой мировой войны Германия была буквально переполнена вооруженными формированиями, пытавшимися подавить конфликты Веймарской демократии силой. Более ожесточенная классовая борьба в Германии и Австрии оказалась в конце концов контрпродуктивной, создав значительно более сильную консервативную и фашистскую обратную реакцию, которая подавила рабочее движение и остановила развитие социального гражданства.

Как и в некоторых других странах, доля рабочих, состоявших в профсоюзах, сокращалась в 1920-е гг. — с наивысшей отметки 48% в 1920 г. до 30% в 1931 г. И все же это была значимая сила, и социалисты/коммунисты набирали примерно 30–40% голосов на выборах. Это было лучшее из того, что могли получить движения рабочего класса в период между войнами, но могли ли классовые альянсы первых послевоенных лет сохраниться? Все зависело от среднего класса, крестьян и рядовых представителей всех классов, живших в небольших городах и деревнях, которые находились вне сферы влияния социалистов. Их переманивали из центристских партий, которые расцвели сразу после установления Веймарской республики, — Католической партии центра, либеральных и умеренно консервативных партий, а также мелких партий особых интересов, приверженных демократии. Социалисты проигрывали битву за центр и столкнулись с возрождавшимися правыми.

Шли горячие споры по поводу того, кто будет платить за каждый пункт социального обеспечения. Имели место обратные процессы, цели отбрасывались. В 1923 г. был выхолощен закон 1918 г. о восьмичасовом рабочем дне, что левые восприняли как крупную потерю (Mommesen 1996: 220). Конфликт между социалистическим и коммунистическим лагерями не способствовал успеху левых, но отличительной чертой конца 1920-х гг. было размывание либерализма среднего класса. Вайц (Weitz 2009: 145) пишет, что Веймарская республика «потеряла средний класс в ходе инфляции», поскольку его инвестиции и сбережения обесценились. Либеральные партии приходили в упадок, консервативные стали менее приверженными демократии. Старый режим был настроен отказаться от демократии, и у него была возможность склонить на свою сторону сельские и средние классы Германии небольших городов посредством политики почтительного отношения к власти и национализма. Даже партия Католического центра наконец отвергла демократию. Социалисты и коммунисты оставались крупной силой, но были оттес-

нены от власти. Почти не было шансов создать коалиции рабочих и крестьян или рабочих и среднего класса. В этой среде стали подниматься нацисты, в ином смысле воплотившие правый классовый альянс, так как они были относительно бесклассовыми, хотя и черпали силы прежде всего из государственного сектора и небольших городов Германии, уставших от классового конфликта и уверенных в том, что его можно разрешить при помощи насилия, «стукнув оппонентов лбами». Это привело сначала к авторитарному и затем нацистско-фашистскому правлению, как описывается в главе 10; кроме того, это означало, что работодатели, придерживавшиеся реформ прежде всего для удержания своей власти, обратились к нацистам, чтобы подавить труд.

Тем не менее в контексте 1920-х гг. социальное гражданство Веймарской республики было на переднем крае со всеобщим избирательным правом, государством всеобщего благоденствия, перераспределительным налогообложением, верностью принципам полной занятости и полных организационных прав для рабочих. Возможно, Германия могла дальше продвинуться в социальной демократии, как утверждали ее «эволюционные социалисты». Хотя могущественные силы пришли в движение на правом фланге, триумф нацизма наступил по большей части благодаря Великой депрессии, экономическое воздействие которой на Японию было слабее политического, позволившего консерваторам и армии задушить либералов. В этих странах военное кейнсианство стало лекарством от Великой депрессии. В большом количестве классовая борьба мешала реформам, поскольку она разделяла нацию и фашисты или правые милитаристы могли найти достаточно народной поддержки, чтобы захватить власть.

При нацистах большинство веймарских семейных и брачных программ были сохранены и затем расширены, хотя и в евгенических расовых рамках, которые исключали неарийцев. Дополнительные пособия для женщин зависели от тщательных медицинских проверок, определявших их «биологическую ценность» как ариек, и это отпугивало многих женщин. Отныне разводы по обоюдному согласию были разрешены в случаях бесплодия или межрасовых браков. Пропаганда, убеждавшая женщин рожать больше детей, в целом не была успешной, и печально известная гитлеровская программа *Lebensborn*, поощрявшая мужчин оплодотворять женщин прежде, чем уходить на фронт, была попыткой легитимизировать рождение незаконнорожденных детей для общественного мнения. Как мы увидим в главе 10, нацисты расширили обеспечение социального страхования, а их налоговая политика не была регрессивной. Они хотели, чтобы рабочие были счастливы, в то время как они подавляли их лидеров, — насильственная версия социального обеспечения свер-

ху, ставившая преграду рабочему движению. И все же две трети государственных расходов уходили на армию — значительно большая доля, чем в любой другой стране, за исключением фашистской Италии. Финансирование армии и затем самой войны было важнее социальных выплат, так что в реальном денежном выражении социальные программы сокращались. И в Германии, и в Италии профсоюзы были уничтожены и социальные программы оказались единственным способом для режима контролировать людей — форма корпоративизма сверху (Mouton 2007; Schmitter 1974). Тот факт, что нацистские государственные программы социального страхования были институционализированы до войны, означал, что они сохранились и после. Затем, когда крайне левые и крайне правые были сокрушены, программы распространились на всех граждан посредством возникновения долгожданного широкого компромисса (хотя и не вполне союза) между левоцентристскими социал-демократами и правоцентристскими христианскими демократами.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Как и Эспинг-Андерсен, я подчеркивал роль классовых союзов, особенно между организованным рабочим классом, фермерами и секторами среднего класса. Тем не менее некоторые помимо этого рассматривают предпринимателей или работодателей в качестве сторонников государства всеобщего благоденствия; другие подчеркивают роль политических институтов, особенно электоральных систем. Я сначала рассмотрю роль работодателей.

Свенсон (Swenson 2002) исследует Швецию и Соединенные Штаты в этот период и подчеркивает роль не рабочего класса, а корпоративных либералов, которые стали капиталистами всеобщего благоденствия, спонсируя программы социального обеспечения для своей квалифицированной или специализированной рабочей силы с целью связать их золотыми цепями пенсий, страхований по поводу несчастного случая и прочими пособиями. Вторым мотивом было воспрепятствовать вступлению рабочих в профсоюзы, давая им пособия, которые обычно составляют основу требований профсоюзов. Подобные предприниматели боялись, что на рынке с более высокой конкуренцией их цены могут быть перебиты более мелкими фирмами, которые платят меньшие зарплаты и пособия, поэтому, пишет Свенсон, они предпочитали проводимые государством программы, оплачиваемые за счет сборов со всех работодателей и работни-

ков. Это вынуждало бы, полагали они, более мелких конкурентов, которые не могли позволить себе подобных пособий, уходить с рынка. Свенсон не отрицает роли классового конфликта, но утверждает, что для достижения программ социального обеспечения необходимо молчаливое согласие бизнеса, поскольку в капиталистическом обществе его власть слишком существенна, чтобы ее игнорировать. И вновь уровень делового доверия!

Свенсон отмечает, что в Швеции крупные корпорации и ассоциации работодателей одобрили такой путь и заключили сделку, в рамках которой социал-демократы и крупный бизнес согласовали меры по выдворению неэффективных предпринимателей и их рабочей силы и повышению квалификации рабочих. Эта модель Рена — Мейднера рассматривает низкие зарплаты как субсидирующие неэффективные фирмы. Гораздо лучше выдворить их с рынка или стимулировать эффективные фирмы к росту при использовании хорошо оплачиваемых высококвалифицированных рабочих, в случае необходимости проходящих переобучение в периоды безработицы. Данные Свенсона относительно Соединенных Штатов беднее. Он полагается на трех обыкновенных подозреваемых — Джерарда Своупа, Уолтера Тигла и Мариона Фолсома, а также на принятие бизнесом закона о социальном обеспечении 1936 г., после того как он был реализован. Как мы видели, бизнес, возглавляемый корпоративными либералами, пользовался влиянием при составлении этого закона, хотя они больше не могли противостоять его принятию и в процессе доработки ослабили закон. Под давлением американский бизнес пошел на установление минимального государства всеобщего благосостояния, как это ранее предприняли Бисмарк и социальный католицизм и как делал Сталин для советского рабочего класса.

Мэйрс (Mares 2003) дополняет аргументы Свенсона на примере Франции и Германии, где ассоциации работодателей, в которых доминировали крупные фирмы, часто поддерживали частные или государственные программы социального страхования на основе взносов. Те, кто представлял мелкие фирмы, обычно им сопротивлялись. Во всех десяти кейсах, проанализированных Мэйрс, часть бизнес-интересов поддерживала схемы социального обеспечения. Большинство схем поддерживал так называемый стратегический союз между капиталом и трудом. Они были их выбором за неимением лучшего и возникли из необходимости идти на компромисс. Мэйрс демонстрирует, что работодатели редко определяли повестку дня, поскольку они практически никогда не выдвигали предложений в сфере социальной политики. Они также смягчились из-за сдвигов в политической власти, которые сделали их изначальную прямую оппозицию социальному обеспечению несостоятельной (Mares 2003: 259; ср. Korpi 2006).

Таким образом, как только крупные предприниматели (в основном те, которые получали большие прибыли) признали растущую власть рабочих движений в стабильных демократиях, наступил переломный момент, поскольку они стремились отыскать компромисс, который защитил бы их долгосрочные интересы. Это было не прямое влияние классового конфликта сверху вниз. Работодатели не изменили своих позиций, напротив, те из них, кто обладал более широким и долгосрочным видением, стремились преградить путь растущему классовому конфликту. Вступая в дискуссии о том, как привнести базовые программы социального обеспечения и тем самым задобрить профсоюзы, они делали все, чтобы эти программы были менее радикальными или перераспределяющими. Также именно в этот момент большие корпорации поняли, что вклад в социальное обеспечение ложился более тяжелым бременем на более мелкие фирмы, занимавшие рабочих с низкой зарплатой, и это стало вторичным мотивом их перехода на позиции капитализма всеобщего благоденствия. Они уступали больше там, где труд был сильнее, например в Швеции, и меньше там, где труд был слабее, например в Соединенных Штатах. Там, где труд перестарался и вызвал отчуждение у большинства среднего класса и крестьян, высшие классы могли с облегчением обратиться к подавлению, а иногда и к фашизму. В некоторых стабильных демократиях, где труд был более политически укорененным и умеренным, работодатели (как делали либералы, государства и церкви до них) шли с ним на компромисс во избежание худших последствий. Ограничения, наложенные деловым доверием, могли быть нарушены, если низовая борьба несла с собой призрак значительно худших последствий для бизнеса, чем реформы. В конце концов это не такая уж уникальная модель. Это именно тот путь, которым Хикс объяснял ранний бисмарковский и социально-католический пути к социальному обеспечению, которые также были прямым результатом классового конфликта. Действительно, там, где труд впоследствии потерял большую часть своей власти, как в Соединенных Штатах и Британии с 1970-х гг., работодатели быстро отказались от компромисса. Они до конца выжимали свои преимущества, выхолащивая профсоюзы и усиливая неравенство.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Я лишь немного уступаю тем, кто отстаивает причинно-следственную роль политических институтов. К периоду между мировыми войнами в англосаксонских странах уже была мажоритарная избирательная система простого большинства;

практически все скандинавские и европейские страны приняли избирательную систему пропорционального представительства к концу 1920-х гг. Затем эти различия были в большинстве своем, по выражению Роккана, заморожены, превратившись в постоянные. Поскольку позднее стало очевидно, что страны с пропорциональным представительством также обычно имеют большие социально-политические расходы, я попытаюсь объяснить возникновение этого различия.

Айверсен и Соскайс (Iversen and Soskice 2009) принимают приведенные выше аргументы, в центре которых работодатель, и утверждают, что работодатели, ищущие рабочих с требуемой высокой квалификацией, были готовы не только заключать сделки с профсоюзами, но и поддерживать пропорциональные избирательные системы, которые могли привести к власти левоцентристские коалиции. Последние могли реформировать политику найма. В рамках подхода «рационального выбора» они создали искусную модель мышления работодателя и профсоюза, которая, по их словам, лежит в основе этого результата. Однако они не приводят реальных свидетельств относительно предпочтений работодателя или профсоюза, и я продолжаю скептически относиться к этой модели рационального актора. Я предпочитаю аргумент Липсета и Роккана (Lipset and Rokkan 1967), утверждающий, что пропорциональная избирательная система была принята в странах с политически релевантными социальными расколами не только между классами, но и между сельским хозяйством и промышленностью, центром и периферией, а также между этническими или религиозными группами. Чем больше указанные разрывы, тем больше количество различных политических партий, представлявших различные интересы, и тем больше поддержка пропорциональной избирательной системы, которая позволяет более мелким партиям избирать своих представителей. В 1920-х гг. паранойя вокруг роста социализма также сделала крупные партии истеблишмента недовольными мажоритарной системой, которая по их опасениям могла установить правительство социалистов. Айверсен и Соскайс (Iversen and Soskice 2009) отмечают, что в скандинавских странах различные аграрные партии возникали из старых региональных сословных собраний, и в европейских странах самостоятельные католические партии оформлялись в силу их недоверия секулярным консервативным партиям. Но они оспаривают основной аргумент Роккана, утверждая, что некоторые мажоритарные страны, такие как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, были столь же многоэтническими или мультиконфессиональными, как и другие страны с пропорциональной избирательной системой. И все же, как отмеча-

ет Роккан, британские и американские этнические и религиозные меньшинства или сельское население редко формировали собственные политические партии, чтобы бросить вызов господствующей двухпартийной системе. Таким образом, ни одна из основных партий не поддерживала смену избирательной системы на пропорциональную.

Так почему же англосаксонские страны первыми ввели мажоритарные выборы? Эти демократии не были подобны странам с пропорциональным представительством, каждая из которых делала свой выбор относительно электоральной системы. Англосаксонские страны сформировали одну-единственную систему — британскую, которая установила мажоритарные выборы много веков назад. Затем мажоритарная система была экспортирована в британские белые колонии, включая североамериканские, и была принята там в XVIII–XIX вв. в качестве нормального способа ведения политических дел (за исключением нетипичного австралийского государства), когда колонии стали независимыми. Более того, в Британии, Австралии и Новой Зеландии рост лейбористских партий был стремительным. Если бы устоявшейся центристской партии удалось удержать свои избирательные округа, она могла бы заключить договор с лейбористами и установить пропорциональную избирательную систему, но Лейбористская партия обладала устойчивыми голосами в рабочих округах и быстро осознала, что мажоритарная система сыграет ей на руку. Они просто сменили либералов в качестве одной из двух главных партий. Нет необходимости объяснять англосаксонские мажоритарные избирательные системы в плане таких характеристик XX в., как класс, этничность или религия. Единая англосаксонская избирательная система уже была установлена, а сравнительный анализ государств может только сбить нас с пути, если сравниваемые примеры не являются независимыми.

С 1950-х гг. пропорциональная избирательная система ассоциировалась с более масштабными государствами всеобщего благоденствия. Утверждают, что пропорциональное представительство благоприятствует союзам левых и центристов, а мажоритарная система — союзам центристов и правых. Но этот аргумент не работает применительно к середине XX в., поскольку основные реформы в Соединенных Штатах были предприняты начиная с 1933 г., в Новой Зеландии — с 1938 г., в Австралии — с 1943 по 1950 г. и в Британии — с 1945 по 1950 г. Все эти реформы были запущены после того, как лейбористы или демократы получили абсолютное большинство на выборах с мажоритарной системой простого большинства. Иногда утверждают, что федеративные политические системы также способствуют консерва-

тизму, так как через них предположительно тяжелее провести реформы. Тем не менее соревнование между различными правительствами штатов внесло свой вклад в лидерство Америки и Германии в сфере образования в первой половине XX в. (Lindert 2004). В Австралии Новый Южный Уэльс лидировал в социальном обеспечении, предоставляя модели, которым могло следовать федеральное правительство. В этих случаях федерализм обеспечил возможность реформ. Таким образом, я прихожу к заключению, что различия пропорциональной и мажоритарной избирательной систем, а также федеративной и более централизованной власти не оказали заметного воздействия на социальное обеспечение в этот период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Логика индустриализма способствовала формированию первых движений по направлению к социальному гражданству. Особенно сильной на протяжении этого периода она была в системе государственных мер по здравоохранению, затем в системе образования. Во всех развитых странах меры по улучшению здоровья населения и образовательные системы варьировались в гораздо меньшей степени, чем прочие аспекты социального гражданства. К 1939 г. более 90% населения всех рассматриваемых здесь стран обладало базовой грамотностью на национальных языках, у них также было всеобщее обязательное школьное образование для детей с пяти до семи лет и до четырнадцати — шестнадцати лет. Это была наиболее универсальная сила, двигавшая к маршалловскому представлению о национальном государстве, в котором живут цивилизованные граждане. Это не покончило с классовыми или другими неравенствами внутри начальных школ, а школы более высокого уровня были менее всеобщими, более усиливавшими классовые различия. Основной причиной подобного универсального распространения образования было согласие элит относительно потребностей современного общества, дополненное в случае начального образования давлением, исходившим от рабочих, либеральных и феминистских реформаторов, а также протестантов или антиклерикалов в соответствии с различными идеологическими конфигурациями, существовавшими в каждой стране. Давление в пользу дальнейшего расширения системы средних школ и университетов шло в большей степени со стороны средних классов с более изменчивой от случая к случаю помощью со стороны «либ-лаб» или феминисток. Образование было той сферой, в которой женщины имели больше всего прав, и профессия

учителя (преподавателя) феминизировалась почти повсеместно. Образование представляло отдельную версию маршалловской напряженности между классом и гражданством: школы были стратифицированы и социализировали детей в общую национальную культуру. Эта напряженность начинала управляться меритократической моделью образования, хотя она и не была полностью реализована до 1950-х гг.

В основе роста всех прав социального гражданства было растущее понимание того, что массы, вышедшие на авансцену общества, необходимо умиротворить. Поэтому я в большей мере полагаюсь на модель ресурсов власти, чтобы объяснить широту прав, а также различия, возникавшие между странами, дополняя эту модель замечанием, что борьба за власть может принять прямую либо опосредованную форму. В ходе этого периода прямая классовая борьба усилилась (хотя и неравномерно), но она также сглаживалась союзом между рабочими, фермерами и секторами среднего класса иногда в сотрудничестве с социальными христианскими движениями. Это подталкивало вперед социальное гражданство, но в отсутствие широкого союза затрудняло его продвижение. Косвенными последствиями были реформы, которые иногда исходили от авторитарных государств, иногда от социально сознательных церквей, а иногда от корпоративных либералов, которые признавали продвижение рабочих вперед, а также силу их союзов, поэтому они хотели воспрепятствовать этому движению при помощи превентивных реформ. Но без сильных рабочих движений и их голосов на выборах этим акторам не было необходимости защищать себя с помощью реформ, а потому они редко настаивали на них.

Я также выявил другие источники различий между странами. Я утверждаю, что Первая мировая война и Великая депрессия оказывали в зависимости от обстоятельств различное влияние — способствовали или препятствовали реформам. Первая мировая война вызвала огромное идеологическое брожение. Она вырвала Россию из западной семьи наций и создала особое советское сочетание развитого социального гражданства с отсутствием какого-либо подлинного гражданского (правового) или политического гражданства. Первая мировая война и депрессия создали подобное сочетание в фашистских странах — они помогли консолидировать «либ-лаб» и скандинавский пути к социальному гражданству, но они подорвали любой гипотетически возможный общий европейский вариант социального гражданства. Великая депрессия также низложила правительства, которые она застала у власти, вне зависимости от того, были они правыми, левыми или центристскими, привнеся тем самым элемент случайности в различия между странами, осо-

бенно в континентальной Европе, но также в англосаксонских странах. В Британии и Австралии она уничтожила находившиеся у власти в тот момент лейбористские правительства и расколола рабочие движения. Она оказала противоположное воздействие на Соединенные Штаты и Новую Зеландию, где низложила консервативные правительства и привела к власти «либ-лаб» партии, которые приступили к прогрессивным реформам. В Британии и Австралии откат был лишь временным в силу воздействия Второй мировой войны, но в Соединенных Штатах, которые (наряду с Германией) сильнее всего пострадали от Великой депрессии, она привела к более глубоким изменениям. Как мы убедились в прошлой главе, «новый курс» в США был попыткой угнаться за прочими англоговорящими странами в плане их программ социального обеспечения и создания рабочих мест.

Социальное гражданство женщин в этот период достигло меньших успехов. Практически во всех странах помехой тому стало идеологическое господство модели мужчина-кормилец/женщина-воспитатель (детей). Франция была основным исключением из этого правила. Под давлением справа Франция развернула социальное государство по направлению к женщинам, которые были воспитателями детей, хотя в прочих отношениях Франция не оказывала женщинам большей поддержки, чем в других странах. Между странами имели место существенные различия. Льюис (Lewis 1992) демонстрирует, что в Соединенном Королевстве и Ирландии поощрялась сильная модель домашнего хозяйства «мужчина-кормилец», в которой женщина работала неполный рабочий день. Франция разработала модифицированную модель «мужчина-кормилец» с финансируемыми за счет налогов трансфертами в пользу домохозяйств с детьми. Скандинавские страны обладали лишь слабой моделью «мужчина-кормилец» с широким обеспечением яслями, раздельным налогообложением и материнскими правами для женщин.

В целом социальное гражданство медленно расширялось, по мере того как законы эффективно реализовывались государствами на их территориях в ответ на социальную борьбу, которая была обращена внутрь этих территорий. Это была универсальная тенденция транснационального процесса индустриализации, но она получала (внутри)национальное выражение в одной стране за другой. Борьба вокруг социальных прав имплицитно национализировала население, расширяя общие права и культуру, а также осуществляя перераспределение среди граждан. Массы явно были на авансцене, выдвигая существенные материальные требования и получая несколько меньшие блага. Возникали различные политические союзы,

и вводились реформы весьма различного масштаба. Этот паттерн плохо ложится в три типа режимов всеобщего благоденствия, выделенных Эспинг-Андерсеном. Скандинавские и англосаксонские страны стали вместе лидировать в социальном гражданстве; лидерство в образовании было за протестантскими странами, которые были разбросаны по всем трем режимам государств всеобщего благоденствия, включая Соединенные Штаты. Англосаксонские страны пока не отставали. И все различие между скандинавским корпоративизмом и англосаксонским волюнтаризмом было налицо, оно сыграло более заметную роль в последующие десятилетия. Как мы увидим в томе 4, Вторая мировая война оказала колоссальное воздействие, поскольку жертвы, которые понесли победители, проигравшие и нейтральные страны, оказали воздействие на довоенные различия, что стало началом консолидации социального гражданства в те характерные макрорегиональные типы, которые существуют и до настоящего времени.

ГЛАВА 10

Фашистская альтернатива, 1918–1945 годы

ВСТУПЛЕНИЕ

В ЭТОЙ и следующих главах рассматриваются две основные альтернативы капиталистической демократии: фашизм и коммунизм. Они также были ответом на необходимость вывести массы на авансцену театра власти, но попытались достичь активной мобилизации масс посредством изобретения партии-государства (*party-state*). Коммунисты первоначально рассматривали партию как активную низовую мобилизацию, хотя, придя к власти, обратили ее в мобилизацию сверху. Фашизм соединял в себе обе мобилизации вначале, но в конечном итоге превратился в такую же мобилизацию сверху.

В главе 6 рассматривались левые революции в Центральной Европе после Первой мировой войны. Когда они потерпели поражение, правые контрреволюции установили более могущественные и деспотичные государства, мобилизовавшие «органическую» нацию под влиянием фашизма. Государство с фашистским уклоном сочетало *инфраструктурную власть* (способность государства проводить политику через инфраструктуру, пронизывающие его территории) и *деспотическую власть* (способность государственных элит принимать собственные своевольные решения). Такое государство было милитаристским, и фашизм был кульминацией долгой традиции европейского имперского милитаризма. Нация в фашистском государстве предположительно не обладала внутренними различиями, была органичной или интегральной, нетерпимой к политическому, этническому и религиозному многообразию; это была реакция против глобализации, возведение укрепленной изгороди вокруг государственных клеток. Многие правые рассматривали массовое общество и парламентскую демократию в качестве расширивших социальные различия, углублявших политический конфликт и создававших хаос и насилие. Карл Шмитт говорил, что партии стали подобными массовым армиям, сражавшим-

ся друг с другом на поле боя. Коррупция рассматривалась как что-то хронически присущее либеральной политике; деспотическое государство, напротив, должно было установить порядок, единство и мораль. Фашизм был наиболее экстремальной формой авторитарного национального этатизма, как я объясняю это в моей книге «Фашисты» (2004). Я отсылаю читателя к ней за более подробной эмпирической и библиографической детализацией по фашизму. Данная глава посвящена обобщению с привлечением самой последней литературы и конкретизации аргументов, которые я выдвинул в этой книге.

Фашизм предполагает предшествующий ему период усиления государства и нации. Европейский милитаризм раздул государственные налоги и военную бюрократию; в ответ классы собственников потребовали представительного правления. По мере того как правители и народ увеличивали свое взаимодействие, государства приобретали больше общественных функций, а их инфраструктуры — автомобильные и железные дороги, почтовые службы, образование — усилили национализацию территорий и населения. Национализм смешался с демократизацией. А потом появилась уверенность, что весь народ должен править, поскольку он разделяет общее наследие и культуру. Это подорвало три мультиэтнические империи (Габсбургов, Романовых и Оттоманов), где конфликты между имперскими правителями и местным населением трансформировались в конфликты между этническими или религиозными сообществами. Местные непривилегированные элиты мобилизовывали свое собственное сообщество против императорской династии. Хорваты, словенцы и прочие народы боролись с турецким и сербским господством, румыны — с венгерским; словаки были возмущены местным чешским господством, и практически все они были возмущены господством немцев, русских и турок, которые, в свою очередь, отвечали на это собственным национализмом. Евреи как космополиты всеми рассматривались как антинациональная сила. Роль государства заключалась не в том, чтобы институционализировать конфликт между интересами, как в либеральных или социальных демократиях, поскольку одна-единственная партия или движение может править и представлять весь народ, как считали марксисты. Классовый конфликт и секционные интересы необходимо было преодолеть.

До 1914 г. националисты призывали государства к мобилизации нации и использованию силы для защиты от разрушительных сил либерализма и социализма. Большинство идей фашизма уже циркулировало, будоража некоторых интеллектуалов, хотя еще не создавая массовых движений. Они контролировались старыми режимами, которые не доверяли массовой

мобилизации и надеялись контролировать массы через консервативные партии, которые были клиентами государства. Государственные функции расширялись, но большинство консерваторов рассматривали государство всего лишь как средство поддержания порядка и расширения территории. Как и у левых, государство еще не было носителем морального проекта.

Если бы в Европе царил мир, рост государств постепенно бы продолжался. Получавшие право голоса рабочие и женщины расширили бы программы социального обеспечения, а умеренно этатистские экономики догоняющего развития процветали бы на полупериферии. Некоторые страны уже ввели ограничения на движение через свои границы, но начиная с 1918 г. паспорта, обеспечивавшие государственный контроль за движением между странами, являлись институционализированной чертой путешествий практически по всему миру. Как заключает Торпи (Тогреу 2000), правительства в возрастающей мере стали использовать национальные документы, включая паспорта, в качестве легального средства «охвата» индивидов, взятия их под свой контроль и исключения чужих. Паспорта стали ключевым путем национализации и улавливания своих граждан в «клетки».

Но во все вмешалась Первая мировая война, милитаризировав национальные государства и наделив их новыми функциями. Даже государства, которые не участвовали в этой войне, из-за блокад были вынуждены ввести карточные системы и активную государственную политику на рынке труда. Хотя большинство институтов военного времени было демонтировано после окончания войны, теперь от послевоенных правительств ожидали сокращения безработицы и нехватки жилья. Политическое гражданство необходимо было дополнить социальным. Ход получили более амбициозные схемы социальной реконструкции и экономического развития. В левом лагере социалисты одержали победу над анархо-синдикалистскими противниками (за исключением Испании) и стали рассматривать революцию или реформу как достижимую через государственное действие. В России Первая мировая и Гражданская войны неожиданно сделали большевиков яркими этатистами. В остальном мире либерализм мутировал в «либ-лаб» или социальные демократии, и умеренный этатизм продолжил свое медленное, но верное движение вперед.

Демократии одержали победу в войне и принудили Германию и Россию к территориальным уступкам; Габсбургская и Оттоманская империи прекратили свое существование. Мирные договоры заменили их новыми национальными государствами, так что к концу 1920-х гг. все 28 европейских государств, за исключением одного, обладали конституциями, которые га-

рантировали парламентские выборы, конкуренцию политических партий и гарантии для меньшинств. В большинстве стран женщины были лишены избирательного права, в некоторых его были лишены многие мужчины, исполнительные органы отдельных стран обладали полномочиями, соперничавшими с законодательными органами, и политические практики приходили в столкновение с конституционными нормами. Но демократия рассматривалась как идеал, к которому нужно стремиться. Перспективы толерантного национализма не были столь радужными. На практике мирные договоры обратили государства к одной доминирующей этничности, а миллионам выходцев из этнических или религиозных меньшинств приходилось бежать на их национальные «родины».

Между 1920 и 1945 гг. демократии были отброшены назад под ударами деспотов справа в ходе процесса, который Хантингтон (Huntington 1991) назвал первой волной отката от демократии. Северо-Западная Европа (Скандинавия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Британия и Ирландия) расширили свои репрезентативные формы правления; и все же к 1938 г. 15 из 27 европейских государств были правыми диктатурами, большинство из которых претендовали на воплощение единой органической нации. В других странах четыре бывшие британские колонии с белым большинством (Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия) были демократиями только для белых. Южная Африка и Родезия также обладали парламентскими институтами для белых меньшинств. Два главных азиатских государства (Япония и Китай) стали авторитарными; в Латинской Америке только Уругвай, Колумбия и Коста-Рика последовательно оставались демократиями, тогда как в остальных латиноамериканских странах случались периодические отходы от демократии. Таким образом, в период между двумя мировыми войнами вырисовываются два глобальных блока: один — либерально-демократический, другой — деспотический. Оба стремились к более могущественным в инфраструктурном плане государствам, и лишь один из них — к большей деспотической власти. В его рядах возник фашизм.

Фашисты более рьяно, чем другие, приняли центральную политическую идею нашего времени — национальное государство, мягкая форма которого теперь доминирует по всему миру. Позднее развитие уже вело к несколько более активной роли в экономическом развитии. Государственному социализму суждено было довести это до крайности в России. В век продолжавшегося империализма фашизм также принес форму позднего развития в отношении политической и военной власти. Он также принес (или намеревался принести) отступление глоба-

лизации, поскольку возвел более серьезные национальные барьеры вокруг всех источников социальной власти, за исключением идеологии, поскольку фашистские идеи распространялись по всему миру, способствуя тем же контртенденциям, которые содержались в социализме.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАШИЗМА

Не следует просто отбрасывать фашистские убеждения как бред сумасшедших, противоречивый и смутный. Фашисты предложили решения волнующих проблем, которые многие современники фашизма нашли убедительными, и добились огромной электоральной поддержки и глубокой преданности активистов. Лишь немногие фашисты действительно были садистами или психопатами либо людьми, исповедовавшими полуосмысленные догмы и слоганы, мелькавшие у них в головах, как полагают некоторые авторы (Raxton 2004: 16–17). Или по крайней мере это было присуще им не более чем всем нам. Фашизм был движением с высокими идеалами, способным убедить значительную часть двух поколений молодых людей в том, что он может принести более совершенный социальный порядок. Может показаться, что фашизм был несколько более слабой формой секулярной религии спасения, чем марксизм, поскольку его философия истории была в меньшей степени озабочена достижением итоговой утопии, чем поощрением постоянной борьбы между сильным и слабым, между нациями и расами. Это в определенном смысле был фокус скорее на средствах, чем на конечных целях, и все же предполагалось, что через эту борьбу будет создан новый человек — он и был этим утопическим идеалом. И фашисты, и марксисты совершили великое зло не случайно или вследствие возрождения архаики, но как преднамеренное «современное» поведение. Сталкиваясь со сложностями, они не шли на компромисс со своими врагами, а, напротив, радикализировались, занимаясь в некотором роде непрерывной революцией. Разница между ними заключалась в том, что марксисты искажали свои идеалы, в то время как массовое насилие было необходимой и добродетельной частью создания фашистского нового человека.

Существуют две основные школы интерпретации фашизма. Идеалистически-националистическая школа фокусируется на фашистских националистических убеждениях. Она рассматривает фашизм как «политическую религию», воплощающую «мифическое ядро национального возрождения» (Gentile 1990: Griffin, 2002). Эта школа сосредоточивается на представлении

о секулярной религии спасения, которое я обозначил, но она, как правило, отличается описательным подходом и слаба в объяснении, почему подобное мифическое ядро должно было возникнуть именно в 1920-е гг. Материалистическая школа, напротив, фокусируется на фашистской классовой базе, относительно которой утверждается, что она мелкобуржуазная или буржуазная, а также на роли фашизма в спасении капитализма от левых, когда он переживал трудные времена в 1920-е и начале 1930-х гг. (Hobsbawm 1994; Lipset 1963; Poulantzas 1974; Renton 2000; Carsten 1980). Им действительно удалось предложить четкое причинно-следственное объяснение роста фашизма, но оно чрезмерно упрощенное. Баррингтон Мур (Moore 1967) предложил более сложное объяснение, в основе которого — классы и государство, другие авторы выдвинули более детализированные мультифакторные теории, учитывающие тонкие различия между движениями в различных странах (Payne 1995; Paxton 2004). Я последую их примеру, в то же время пытаюсь дать более теоретически интегрированное объяснение в плане четырех источников власти (идеологического, экономического, военного и политического), которые сыграли важную роль в подъеме и упадке фашизма.

Я определяю *фашизм* как стремление к трансцендентному и очищающему национал-этатизму через милитаризм¹. Это определение состоит из четырех основных элементов.

- (1) *Очищающий национализм*. Идеологически фашисты выступали за органическую нацию. Чужаки внутри нации и за ее пределами подрывают сплоченность и чистоту нации и должны быть исключены. Расовый фашизм типа нацизма был экстремальной формой, прибегавшей к расовым конфликтам, которые до этого использовались европейцами только внутри их заморских колоний, внутри Европы и даже внутри отдельной нации. Последствия этого были ужасными: физическое уничтожение других рас и даже людей с предполагаемыми генетическими дефектами из собственной нации. Это была крайне агрессивная форма внутреннего национализма, в которой расизм, изначально разработанный для того, чтобы объяснить различия между основными макрорегионами мира, был обращен внутрь Европы и самой Германии.
- (2) *Этатизм*. Политически фашисты рассматривали государственную власть как «носителя морального проекта», спо-

1. Отмечу, что со времен работы «Фашисты» я заменил компонент «военизированных формирований» на «милитаристский» компонент с целью использовать более общее понятие, которое охватывает и военизированные формирования, и захватническую войну.

собного достичь экономического, социального и морального развития через фашистские элиты и корпоративизм. Это была сторона фашизма «сверху вниз» — порядок следовало насаждать сверху. Поскольку нация является органической, ее государство должно быть деспотическим с единой сплоченной волей, выражаемой партийной элитой, придерживающейся «принципа лидерства» и в конечном итоге подчиняющейся единому лидеру. Это было действительно «однопартийное государство», как и коммунистические режимы. Раньше исследователи всегда подчеркивали фашистский тоталитаризм. Сегодня всеми признается, что корпоративистские, синдикалистские и бюрократические элементы были подорваны неистовым радикализмом фашистов, а также необходимостью компромисса с другими акторами власти, такими как церкви и капиталисты. Поэтому фашизм был более тоталитарным в своих целях, чем в реальном правлении. Фашизм слил воедино четыре источника власти, создав однопартийное государство, располагавшее внушительной инфраструктурной и деспотической властью над людьми.

- (3) *Трансцендентность*. Комбинация первого и второго пунктов — это национал-этатизм, который мог трансцендировать социальный конфликт. Фашисты отвергли консервативные представления о том, что традиционный социальный порядок является гармоничным; они отвергли либерал-демократические и социал-демократические представления о том, что конфликт групп интересов нормален для общества; они также отвергли социалистические представления о том, что гармония может быть достигнута через преодоление капитализма. Фашисты атаковали и капитал, и труд. Они утверждали, что решительными мерами примирят их и подчинят нации. Частные интересы будут подчинены национальному интересу, планирование и социальное обеспечение будут насаждаться сверху, а группы интересов будут встроены в государство в рамках синдикалистских или корпоративистских институтов.

Трансцендентность была революционной по своей цели, стремящейся к трансформации всех источников социальной власти. Фашисты, как и большевики, были высокоидеологичны, руководствовались ценностно-рациональными мотивами, но для того, чтобы захватить и удержать власть, фашисты использовали оппортунистические стратегии, идя на уступки капитализму и заключая сделки со старыми режимами. В конечном итоге фашисты не были заинтересованы в капитализме и классах. Их центр притяжения со-

ставляли нация и государство, а не класс. Они, как правило, атаковали не капитализм как таковой, а финансовый, иностранный или еврейский капитализм. В Румынии и Венгрии, где эти формы капитализма преобладали, фашизм был антикапиталистическим и пропролетарским. Тем не менее внутри фашистского движения всегда был конфликт между оппортунистами и радикальными идеологами, которые сохраняли верность трансцендентности. Радикалы потерпели неудачу в вопросах класса, но в ходе этого радикализм перешел от классов к этническим чисткам и полному политическому подчинению индивида режиму. «Все прочее меркнет перед лицом радикальной трансформации в отношении граждан к государственной власти», — пишет Пакстон (Paxton 2004: 142). На самом деле фашизм перенаправил трансцендентность от класса к нации и государству.

- (4) *Милитаризм*. Военная власть доминировала в фашистской организации. До захвата фашистами власти это выражалось в «военизированных формированиях», выстроенных снизу, «сколоченных» воедино, как они это называли. Это был низовой аспект фашистской мобилизации, массовая партия возникла, чтобы свергнуть элиты. Они делали это насильственным путем. Ни одно фашистское движение не было просто политической партией — у фашистов всегда были униформа, марши, оружие и насилие. Военизированные формирования заключали фашистов в «клетку» точно так же, как армии — солдат. Они также добились поддержки многих занимавших нейтральную позицию, поскольку фашистское насилие, как казалось, могло положить конец классовому конфликту. Военизированные формирования не были достаточно сильными, чтобы нанести поражение регулярным армиям. Только когда фашисты подорвали армии, привлекая солдат к своему делу, они могли захватить власть. После этого они стали проводить милитаристскую внутреннюю и внешнюю политику, что привело их к разрушительным войнам, которые вскоре продемонстрировали их спесь. Как мы уже убедились, империализм в течение долгого времени был нормальным явлением, и те, кто пытался выстроить поздние империи в XX в. (за исключением Соединенных Штатов), делали это с большим национализмом и милитаризмом, чем ранние империи. Но именно высокоагрессивный национализм их и погубил.

Сочетание этих четырех элементов сделало фашистов революционерами справа, хотя они и были в большей мере сфокусированы на национальном государстве и трансформации и расширении отношений идеологической, военной и политической

власти, чем на экономических отношениях. Фашисты стремились освободиться от разрушительного воздействия транснационального капитализма и глобализации в целом при помощи политики национальной экономической автаркии. И все же они наделили определенной степенью автономии капиталистов и основные церкви при условии их несопротивления общему командованию партии-государства. Это было основным исключением из фашистских тоталитарных стремлений. Разумеется, между различными фашистскими странами существовали различия. Итальянский фашизм проявлял больше интереса к этатизму и развил корпоративистские и синдикалистские институты; нацисты были в большей мере сфокусированы на расовом национализме. Некоторые полагают, что это препятствует общему определению фашизма, однако я так не считаю. В этой главе я затрону пять основных фашистских движений в Европе — в Италии, Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Однако влияние фашизма было более широким. Умеренно авторитарные режимы заимствовали фашистские идеи и практики; во время Второй мировой войны полдюжины прочих европейских националистических движений заигрывали с фашизмом и присоединились к странам фашистского блока. Фашизм также повлиял на страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Он возвел высокие национальные барьеры против глобализации, но само его распространение было фактически глобальным. В последующих главах будут проанализированы китайское и японское фашистские движения. Фашизм не просуществовал долго; в 1945 г. он был повержен практически повсеместно. Но до этого времени он изменил мир.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФАШИЗМА

(1) *Италия.* Итальянский фашизм возник из конфликтов по поводу итальянского участия в Первой мировой войне. Союз между националистами и провоенными социалистами (каким был и сам Муссолини) привел к появлению первых нескольких сотен фашистов. Когда война закончилась, движение разрослось в военизированные формирования с притоком в их ряды ветеранов войны. Движение проповедовало национализм и этатизм и намеревалось использовать насилие со стороны военизированных формирований, чтобы положить конец разобщенности Италии. Но в Италии было мало этнического чувства нации, и чистки велись только против политических, а не этнических врагов. Стремительный переход к всеобщему избирательному праву для мужчин в Италии вызвал бурные общественные дви-

жения социалистов и католической партии «Пополари» (популистов), и старый режим Италии был разъединен. Католическая церковь рассматривала секулярное государство как своего врага; либеральным и консервативным элитам не хватало народных корней, они также не могли эффективно мобилизовать национализм, потому что втянули Италию в безрассудную непопулярную войну. Райли (Riley 2010: глава 2) отмечает, что в довоенный период элиты, а также растущая социалистическая партия были крайне локализованы. Либерализм Джолитти, который пережил войну и вылился в непродолжительный период демократии, на самом деле был лишь наполовину демократическим. Джолитти правил при помощи парламентских партий, опиравшихся на север, и клиентелизма юга. Либеральная Италия как раз созрела для того, чтобы ею завладели.

Приход фашистов к власти здесь произошел рано, и среди послевоенной турбулентности итальянский фашизм обладал более прямой классовой компонентой, чем фашизм в других странах. Часть высшего класса обратилась к фашистам, чтобы обезопасить себя от мятежа низших классов. Именно так поступили землевладельцы Паданской равнины, атакованные союзами социалистов и популистов, за которыми стояли местные военные и бизнесмены, ориентированные на сельское хозяйство. В остальных областях классовая основа фашистского движения склонялась к средней и особенно нижней прослойке средних классов. Большинство промышленников и банкиров отдавали свое предпочтение полуавторитарным традиционалистским партиям, для того чтобы защитить свои интересы. Фашизм был также в почете у тех, у кого были сильные связи с национализмом или государством, например у военных, полиции и государственных служащих или представителей северо-восточных приграничных регионов, «находящихся под угрозой», которые были непропорционально широко представлены (в рядах фашистов). Насилие воснизированных формирований апеллировало к воинственным и макистским ценностям многих демобилизовавшихся из армии молодых людей. Отступление римской элиты от демократии сделало захват власти возможным. Фашистский «поход на Рим» в 1922 г. не встретил сопротивления со стороны государства или армии, и уже вскоре после этого элиты пришли к соглашению с режимом Муссолини. Землевладельцы, капиталисты, армия и церковь были не способны создать собственный консервативный авторитаризм, так что некоторых влекло к заключению сделки с фашистами, а фашистов с ними. Это был прагматичный компромисс, а не непрерывная революция.

Во всех этих событиях участвовали тысячи, а не миллионы людей, исчисляемые тысячами восставшие силы военизированной

ных формирований и предателей демократии со стороны элит. У социалистов и популистов было достаточно людей и голосов, чтобы противостоять фашистам, но у них не было такой численности военизированных формирований, таких сил на общенациональном уровне и желания создать союз центристов и левых. Большинство итальянцев практически не возражали против захвата власти, но не имели к нему отношения. Таким образом, тремя основными факторами триумфа фашистов были унаследованные от войны военизированные формирования, классовая борьба, в которой отдельные классы собственников повернулись к фашизму, и расколотое государство, обе половинки которого (старый режим и демократы) были весьма фрагментированными.

(2) *Германия.* Германия была важнейшей из стран, которые пришли к фашизму. Нацисты были самым крупным фашистским движением, с самыми крупными военизированными формированиями и самой большой долей голосов. В 1932 г. огромная доля голосов фашистов (37%) и голоса их консервативных авторитарных союзников, объединенные воедино, составили абсолютное большинство, и в следующем году нацисты получили контроль над государством в основном законными методами. На протяжении последующих двух лет они установили нацистскую диктатуру и не пошли на какие-либо значимые компромиссы с другими властями предрежащими. Это была их непрерывная революция в погоне за утопическими целями.

Нам многое известно о тех, кто поддерживал нацистов. В отличие от итальянского фашизма в данном случае корреляции между классом и членством в нацистской партии или голосовании за нее не было. Хотя в нацистской партии рабочих было мало, в отрядах штурмовиков (отрядах СА) они были представлены непропорционально широко, как и в гитлерюгенде. Несмотря на то что нацисты не очень привлекали рабочие сообщества городских промышленных центров, их поддерживали рабочие, жившие и работавшие в других областях. Они были партией, которая обладала наилучшей способностью представлять себя бесклассовой. Происхождение их ораторов варьировалось от прусских князей до железнодорожных служащих, от отставных генералов до студентов и рабочих, говоривших с различными акцентами, — олицетворением бесклассовости был сам Гитлер, невысокий капрал с австрийским акцентом. Как и в Италии, сельские классы перешли от недостаточной представленности к избыточной. Многие индивидуальные фермеры (но лишь немногие сельскохозяйственные рабочие) стали нацистами, кроме того, нацисты получали больше под-

держки в сельской местности и провинциальных городках, чем в крупных городах. Как и в Италии, образованная национал-этатистская буржуазия была широко представлена в фашистском движении, включая такие профессии, как государственные служащие, учителя, архитекторы, лесники и ветеринары. Работники физического труда в государственном секторе также были достаточно хорошо представлены отчасти из-за того, что многие из них были бывшими солдатами. Эти группы были восприимчивы к этатистским и народно-националистическим темам нацистской пропаганды. Класс бизнесменов был представлен непропорционально мало, но, поскольку большинство из них поддерживало консервативные силы, они были вовлечены в маневры, которые привели нацистов к власти. Приток образованных молодых людей сделал членов партии и партийных лидеров моложе, чем в других партиях, и они утверждали, что представляют новую молодую Германию. До того как нацисты захватили власть, католики были очень слабо представлены в качестве и членов нацистской партии, и голосующих за нее. В июле 1932 г. 38% протестантов проголосовали за нацистов и лишь 16% католиков поступили так же. Это была большая разница по сравнению с классовыми различиями.

Нацисты не были ни социальными маргиналами, ни неудачниками в экономическом плане. Их карьеры редко давали сбой. В социальном отношении они были в самом сердце гражданского общества, более активными в добровольных ассоциациях, чем сторонники любой другой партии. Это было сильное, но варварское общество. Как и в Италии, фашисты не были представителями основных направлений современной классовой борьбы — лишь немногие были бизнесменами, классической мелкой буржуазией, управленцами в частном секторе или рабочими промышленных городских центров. Их членская и электоральная поддержка шла от людей, которые ощущали себя аутсайдерами по отношению к классовому конфликту, которым надоело смотреть на то, как он раздирает Германию изнутри, что отвечало нацистской приверженности трансцендентности.

К моменту переворота в 1933 г. в нацистской партии состояло более миллиона человек. Они были более активными, чем члены прочих движений: лидеры местного масштаба могли вывести активистов на марш, демонстрацию, захват общественных зданий и уличные драки. Члены партии оставляли работу и полностью отдавали партии себя и свое время. В консервативной и либеральной партиях доминировали нотабли; они не выходили ни на какие марши или демонстрации. Их встречи были благопристойными, демонстрируя уважение к партийной платформе и высокий социальный статус ораторов. Если их собра-

ния срывались решительно настроенными крикунами или физическим насилием, они не могли призвать своих сторонников к решительному коллективному ответу. Они были сокрушены куда большим энтузиазмом и насилием нацистов. Даже социалисты и коммунисты, которые ввели понятие боевого товарищества, были побеждены. Отряды штурмовиков состояли в основном из выходцев из рабочего класса, часто холостых, живущих вместе в казармах; необходимые для существования средства выплачивались им из фондов партии. Как и итальянские *эскадроны* (*squadristi*), они были заключены в «клетку» жизни дисциплинированного товарищества, вместе пили и периодически наслаждались насилием. Части штурмовиков (отрядов СА) отправлялись маршировать в районы, где собирались социалисты и коммунисты, чтобы спровоцировать нападение. Такие уличные драки имели своей целью «боевое сплочение» их членов, запугивание противников и демонстрацию того, что ответственной за насилие была «марксистская угроза» (Merkel 1980: 373). Затем нацистская пропаганда и предвзятая пресса транслировали эти заявления миллионам, которые никогда не были свидетелями прямого насилия. Они обещали, что как только придут к власти, создадут государство, которое наведет порядок.

И вновь старый режим помог фашистам. Военное поражение сбросило монархию и лояльные ей консервативные партии, а также сократило численность вооруженных сил. Старый режим не мог больше править. Поскольку демократия дрогнула в 1930-е гг., консервативные авторитаристы взяли реванш, но им не хватало народной поддержки. С самых первых лет существования веймарской демократии крупный бизнес сопротивлялся ей. Он видел, что нацисты были ярыми антикоммунистами и приветствовали принцип лидерства в промышленности. В конечном итоге нацисты поддерживали их власть, а не рабочих. И все же к власти Гитлеру помог прийти не бизнес, а старый режим — военные, государственные служащие, судебная система и консервативные политические партии, которые к 1932 г. исповедовали принцип авторитарного правления. Не имея в собственном арсенале мобилизованных масс, они нуждались в нацистах и наивно верили, что смогут их контролировать.

Нацисты укрепились в результате провала других партий, которые не очень-то успешно проявили себя во время Великой депрессии. Средний класс был отчужден от них инфляцией, рабочий класс — безработицей, падением зарплат и увеличением продолжительности рабочего дня (Weitz 2009: 145). Нацисты также обладали позитивной привлекательностью для избирателей. Нацистская бесклассовость делала притязания на трансцендентность правдоподобными, что демонстрирует Бурштейн

(Brustein 1996), их экономическая программа принесла им много голосов. Она была детализированной, реализуемой, заимствованной в основном у немецких кейнсианцев, но выраженной простыми лозунгами национального единства, которое требовало, чтобы всем немцам дали работу. Нацисты также извлекли пользу из геополитического ревизионизма, возвращения потерянных территорий. Великая держава, негодующая по поводу своих территориальных потерь, втянутая в центральноевропейские трения немецких, еврейских и славянских народов, имела беженцев, границы под угрозой и этнических «врагов» внутри и за пределами государства. В моем исследовании происхождения нацистов, осуществивших геноцид, я обнаружил, что в их рядах было чрезвычайно много бывших беженцев с потерянных территорий и примыкавших к ним пограничных областей (Март 2005: 223–228). Во время выборов нацисты ограничивали свой антисемитизм, к тому же он редко был для них причиной вступления в партию. Но более общий органический национализм имел широкую привлекательность. Он был достаточно распространенным, для того чтобы привести нацистов к власти. Их военизированные формирования и соучастие старого режима позволили им захватить власть. Класс в гораздо меньшей степени был непосредственной причиной этого, чем в Италии.

(3) *Австрия*. В самом ядре бывшей империи Габсбургов возникли сразу два различных фашистских движения: австрофашизм и австрийский нацизм. Оба возникли из послевоенных военизированных формирований, требовавших возвращения потерянных территорий и эксплуатировавших интенсивность австрийской антипатии по отношению к славянам и евреям. Австрофашизм был в большей мере основан на старом режиме, устроенном сверху вниз, и являлся прокапиталистическим. Он окреп на фоне политического тупика в отношениях между двумя большими партиями — социал-христианской и социалистической. Этот политический кризис был усилен Великой депрессией. Нацизм был более кросс-классовым движением. Приход к власти Гитлера в Германии был переломным моментом, поскольку подорвал привлекательность и австрофашизма, и социализма и был наградой для местных нацистов. Обе группы военизированных формирований устроили перевороты, и обе добились успеха при помощи армий — австрийской и германской соответственно в ходе аншлюса 1938 г.

(4) *Венгрия и Румыния*. В ходе Первой мировой войны эти страны сражались на противоположных сторонах; Венгрия потерпела тяжелое поражение, а Румыния победила. Последовавшая

гражданская война в Венгрии привела к сокрушению левых, позволившему старому режиму возродиться озлобленным и радикализированным. Правление осуществлялось дуалистическим государством, составленным из традиционалистской исполнительной власти и бюрократии и парламента, в котором доминировали джентри. И все же теперь в состав старого режима входили более молодые поколения радикальных правых, выдвигавших ревизионистские требования по возврату потерянных территорий и провозглашавших расизм и антисемитизм. В Румынии положение дел было другим: местное земельное джентри лишилось собственности, но это наряду с военной победой добавило легитимности монархии, бюрократии и армии.

Оба старых режима выжили и радикализировались. Крупные фашистские движения возникли только в середине 1930-х гг., намного позже того, как угроза слева исчезла. Таким образом, у фашистов в этих странах не было капиталистической базы; на самом деле эти движения были скорее пролетарскими по составу, создававшими свои профсоюзы. Румынский фашизм размывался в умеренный корпоративизм в соответствии со стратегией позднего развития экономического теоретика Манойлеску. Румынский легион возглавляли военные ветераны, студенты и сыновья священников, государственные служащие и учителя, которые руководили массой крестьян и рабочих. Имела место сильная взаимосвязь между Легионом и Румынской православной церковью, а также менее сильная связь между Партией скрещенных стрел и венгерской католической церковью. В обоих случаях военизированные формирования использовались одновременно и как машина по мобилизации электората, и как средство для репрессий в отношении соперников. Легион предпринял одну неудачную попытку переворота. В результате возникла неравная пляска смерти, в которой военная мощь вооруженных сил (армии) одержала верх над мощью военизированных формирований, и радикализированные консервативные авторитаристы, контролировавшие государство, одержали верх над фашистами. Только хаос последних лет войны позволил фашистам одержать кратковременную, обреченную на итоговую неудачу победу.

Таким образом, фашисты были разными; они не были просто механизмом для реализации классовых интересов. Они не были жертвами обмана, и их движение было значительно более низовым (организованным снизу вверх) по сравнению с прочими авторитарными движениями. За исключением Италии, в других странах фашисты быстро пришли к власти, предвыборная агитация играла в этом важную роль. Фашисты были пионерами техник мобилизации активистов и манипуляции избирателями.

В отличие от консервативных авторитаристов фашисты не могли использовать власть государства, чтобы фальсифицировать выборы (до тех пор пока они эту власть не захватили). По иронии, хотя фашисты и не верили в демократию, она была критически важной компонентой их успеха. Массы пришлось вывести на сцену и дать им немного подебоширить, но слова к их ролям на сцене будут написаны фашистской элитой.

Фашистская военизированная когорта, без которой фашисты не осуществили бы своего восхождения, преимущественно состояла из молодых военных ветеранов. Затем пришли две волны молодых рекрутов, среди которых были широко представлены кадеты, студенты, спортсмены и уличные хулиганы. Главной силой фашизма была его привлекательность для молодых людей из всех классов, способных отдать больше своего времени и энергии, чем активисты любого другого политического движения. Нацисты одерживали победы на выборах среди немецкого студенчества каждый год начиная с 1930 г. и далее — они завоевали больше всего сторонников среди наиболее образованной молодежи. Фашисты также рекрутировали непропорционально много сторонников среди беженцев, жителей находившихся под угрозой приграничных регионов, государственных служащих (включая вооруженные силы), рабочих государственных и защищаемых государством отраслей промышленности, а также прихожан церквей, которые рассматривали себя как «душа нации» или «нравственность государства», как, например, румынское православие или немецкий протестантизм, но не немецкий католицизм. Неудивительно, что национал-этатизм оказывался наиболее привлекательным именно для тех, кто обладал тесными структурными связями с нацией или государством, а их милитаризм — для ветеранов и молодых людей.

Отношение фашистов к классу заметно различалось. Только в Румынии им удалось привлечь на свою сторону организованный рабочий класс. Обычно же они привлекали тех, кто оставался на обочине классового конфликта, индивидов из всех классов в менее крупных или новых отраслях промышленности, сельском хозяйстве и секторе услуг. Они смотрели на организованный классовый конфликт извне и проклинали его: «Чума на оба ваших дома!», впечатленные фашистскими претензиями на выход за рамки классов. Уровень угрозы, создаваемый каждым движением рабочего класса, не коррелировал с силой фашизма. Эта угроза могла казаться существенной (хотя ее пик уже миновал) в Италии; она была по большей мере мнимой, чем реальной, в Австрии и Германии, где были крупные, но преимущественно умеренные рабочие движения; Румыния и Венгрия обладали крошечным левым флангом к тому моменту, когда фашизм там

только зарождался, и фашизм создал их основные рабочие движения. Класс был менее значим для фашизма, чем национал-этатизм. Фашисты превратили ценности народной войны в агрессивный национализм с военизированными формированиями, предлагая альтернативную современность (модерн) и обновляя романтизм путем акцента на чувствах, эмоциях и бессознательном. Они видели, что модерновые организации, такие как толпы, массовые движения, тотальная война и массмедиа, могут стимулировать эмоции в той же мере, в какой и разум. Это объединение часто давало их пропаганде преимущество, задействуя эмоции в той же мере, что и разум, но эта пропаганда могла работать только в условиях кризисов, когда институционализированные идеологии и средства не срабатывали. Тогда народ мог обратиться к новой секулярной религии спасения.

Фашистские движения возникали снизу, не через электоральное большинство, а через активистское меньшинство, осуществлявшее народное давление. Это было движение не элит и не миллионов, а тысяч. Мы не можем объяснить фашизм в категориях предполагаемой слабости гражданского общества или противостояния массового общества и государства. Хагтвет (Hagtvet 1980) показал, что в Веймарской Германии было очень активное гражданское общество (как, впрочем, и в Австрии), Кошар (Koshar 1986) продемонстрировал, что нацисты охотнее вступали в волонтерские ассоциации, чем приверженцы других движений. Райли считает (Riley 2005, 2010), что плотность ассоциаций гражданского общества в Северной Италии, особенно в сельских областях, дала организационные ресурсы для фашистского движения. Он утверждает, что отсутствие подобных ассоциативных ресурсов в Испании объясняет, почему режим Франко был всего лишь верхушечной корпоративистской диктатурой, несмотря на сходства между двумя странами. Все это не должно казаться удивительным. Социологи, изучающие новые общественные движения сегодня, подчеркивают, что они практически все без исключения используют существующие социальные сети и ассоциации, чтобы расти (см. McAdam et al. 1996). Теперь давайте рассмотрим континентальный контекст успеха фашистов.

ДВЕ ЕВРОПЫ

Для роста фашизма в Европе между двумя мировыми войнами была и географическая основа. В «Фашистах» (Mann 2004: 38) я демонстрирую очевидный географический разлом: практически все режимы Восточной, Центральной и Южной Европы стали деспотичными; напротив, режимы Северо-Западной Евро-

пы остались либерально-демократическими. Имели место две Европы. В первой из них (за исключением Чехословакии, которая в любом случае урезала права своих германских и словацких меньшинств) либеральные демократии составляли единый блок, в который входили 11 северо-западных стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Ирландия, Британия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Франция. Этот блок включал три социокультурные зоны: скандинавскую, англоговорящую и страны Бенилюкса, связанные экономикой морской торговли, а также политическими и идеологическими сходствами. Они установили конституционное правление задолго до 1900 г. Англоговорящие страны говорили на английском, скандинавские страны (за исключением Финляндии) — на взаимно понятных диалектах одной языковой группы. За исключением Ирландии, которая в любом случае была частью Соединенного Королевства до 1922 г., религии у них были скорее деполитизированными. Северо-Запад объединяло много общих черт.

Деспотичное семейство государств составило вторую Европу — географический блок в центре, на востоке и юге континента. За исключением большей части Германии, Эстонии и Латвии, они включали большинство католических стран, а также все православные страны Европы. Они включали все европейские страны, кроме Ирландии, которые сохранили тесные связи между государством и церковью. Они составляли две различные социокультурные зоны: латино-средиземноморскую и славяно-восточную и центральноевропейскую. Их языки были более разнообразными, и они не были торговым блоком. Центральная и восточная части также насчитывали большое количество евреев, наиболее космополитического народа в Европе (наряду с цыганами), и, следовательно, антитезу органическим националистам. Уже пережившие погромы со стороны русских славянофилов до войны, евреи еще больше страдали в Польше после нее.

Между этими двумя Европами лежала «пограничная зона», в центре которой были Франция и Германия. Они могли бы пойти другим путем, который привел бы к более деспотичной Франции и парламентской Германии. Главные довоенные протофашистские теоретики (Моррас, Баррес, Сорель) были французами, и позднее между войнами французские квазифашистские движения заметно разрослись. Если бы в 1940 г., как полагалось, прошли бы выборы, то квазифашистская Французская социальная партия (ФСР) могла бы получить более 100 мест в парламенте (Soucy 1992). Позднее режим Виши, сотрудничавший с захватчиками, обладал заметной внутренней поддержкой. Пограничная зона также включала Испанию, в ко-

торой произошла самая ожесточенная борьба между демократией и деспотизмом в период между войнами. Также вдоль пограничной зоны располагались несколько несовершенные демократии, существовавшие в Финляндии, Чехословакии и Австрии до 1934 г.

Северо-западные деспотические движения стали умеренно популярными в странах, которые находились рядом с пограничной зоной, таких как Чехословакия, Бельгия и Финляндия, хотя им было далеко до популярности, которую имели деспотические движения в странах по ту сторону границы, во второй Европе. Деспотические и фашистские движения, расположившиеся дальше на северо-запад, получали менее 2% голосов на выборах. Решающим фактором в первой Европе было то, что консерваторы противостояли правым сторонникам деспотии, социал-демократы — революционерам, к тому же и те и другие решали свои конфликты в рамках демократических институтов, которые таким образом усиливались, как мы видели в главе 9. На свободных выборах недемократические движения в Австрии, Германии и Испании получали 35–40% голосов; на полусвободных выборах в Восточной Европе они одержали уверенную победу. Будь у фашистов больше свободы для организации, они набрали бы больше 20% голосов, которые они получили в Венгрии и Румынии. Деспотические движения манипулировали исполнительной властью во время выборов, но они обладали намного большей притягательностью, чем на северо-западе. Имели место две Европы, одна — твердо либерально-демократичная, другая — ориентированная на более деспотические взгляды с зыбкой пограничной зоной между ними.

Исторические социологи пытались объяснить, почему два крайне различных режима доминировали в XX в. Баррингтон Мур (Моогс 1967) проанализировал условия, способствующие демократии или авторитаризму в современном мире, фокусируясь на отношениях между союзами, объединявшими основные социальные классы (аристократию, буржуазию и крестьянство), и «аграрно-бюрократическим государством» (монарх, суд и королевские чиновники). Хотя теоретически он вводит милитаризм и войны в свое объяснение, но не включает его в свою теорию, то же касается религиозных движений. Военный недостаток впоследствии был исправлен Тилли, Доунингом и мною; Эртман, Горски и прочие добавили к этому дальнейшие уточнения. У Мура аргументация была слишком натянутой, претендуя на объяснение возникновения русского коммунизма, немецкого фашизма и японского милитаризма в одних и тех же терминах конфигураций власти. Я уже отметил неадекватность этой схемы в объяснении возникновения коммунизма в России

в главе 6. Здесь я сделаю подобные замечания в отношении фашизма. Хотя я буду утверждать, что существование авторитарного или полуавторитарного государства было необходимым условием возникновения фашизма, оно ни в коей мере не было единственным условием. Как и в России, Первая мировая война была в равной степени ответственна и за возникновение фашизма, и в обоих случаях отношения идеологической власти были необходимой частью объяснения, как эти две группы революционеров правили, оказавшись у власти. Баррингтон Мур стремится к безвременности (синхронности) в своем объяснении, но каждый этап исторического развития добавляет свои причинно-следственные пути, в чем мы вновь убедимся далее.

ОБЪЯСНЕНИЕ: ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА В ДВУХ ЕВРОПАХ

Волна авторитаризма во второй Европе была ответом на каскад экономических, военных, политических и идеологических кризисов, принесенных Первой мировой войной, наслаивавшихся друг на друга, взаимодействовавших с предшествовавшими структурами власти. Довоенные фашисты представляли собой лишь клики офицеров и интеллектуалов. Без этой войны не было бы такой широкой волны авторитаризма, и фашизм остался бы простым примечанием в анналах мировой истории. Гитлер жил бы и умер в неизвестности, не было бы никакого холокоста и, вероятно, Второй мировой войны.

Экономический кризис разразился в виде рецессий, которые случились в конце Первой мировой и затем вновь в 1929 г., когда наступила Великая депрессия. В промежутке между ними произошел инфляционный кризис меньших масштабов; экономики, существовавшие между двумя мировыми войнами, никогда не были очень оживленными. Поскольку от правительств на этот раз ожидали широких мер экономической политики по облегчению тягот, ослабленные экономики делигитимировали правительства и дискредитировали существовавшие политические партии (Weitz 2009). Затем пришли нацисты при пассивной поддержке миллионов избирателей. Разумеется, случись после Первой мировой войны период экономического бума, сравнимый с тем, какой последовал после Второй мировой, никакого значимого фашизма не было бы. Эта серия экономических трудностей была необходимым условием успеха фашистов.

Но экономические трудности не были достаточным условием. Все страны пострадали в экономическом отношении, и боль-

шинство из них не обратились к фашизму. Наиболее тяжелый удар Великой депрессии пришелся на Соединенные Штаты и Канаду, но они остались демократиями. По масштабу страданий за ними следовали деспотические Австрия и Польша, затем демократическая Чехословакия и Ирландия, а затем уже Германия (и Австралия). В целом связи между глубиной депрессии и деспотическим исходом не было. Великая депрессия вызывала падения всех правительств безотносительно к их политической ориентации, будь то правые или левые (как мы убедились в главе 8). Подобным же образом перевороты справа не учащались во время экономического кризиса. Они происходили в равномерно в период между двумя мировыми войнами, будь то в хорошие или в плохие времена. Большинство таких переворотов произошло в более отсталых странах, и, вероятно, потому, что большинство развитых стран (за исключением Германии) уже установили либеральные демократии до Первой мировой войны. В любом случае фашизм не был ограничен отсталыми странами. Страны с наиболее мощными фашистскими движениями находились на всех уровнях экономического развития — от развитой Германии через Австрию, Италию и Венгрию к отсталой Румынии. Экономические кризисы ослабляли все правительства этого периода, но они не могли сами по себе объяснить фашизм.

Обратился ли капиталистический класс к фашизму для защиты своих экономических производственных отношений? Пакстон (Paxton 2004: 28–32, 49–52) утверждает, что большевики настолько запугали консервативные элиты Италии и Германии коммунизмом, что все что угодно, кроме него (даже фашизм), казалось меньшим злом. И все же существовала ли какая-то общая угроза капиталистическим отношениям собственности во всей Европе? За большевистской революцией последовали неудавшиеся революции в Австрии, Германии, Венгрии, Италии и Испании, и Советский Союз остался изолированным. К 1922 г. революционно настроенные левые потерпели поражение в Европе. В Японии всплеск левого активизма (в большей мере либерального, чем социалистического) иссяк к концу 1920-х гг.; в Китае генерал Чан Кайши разгромил коммунистов в Шанхае в 1927 г. В действительности практически все всплески активизма правых произошли после того, как серьезные угрозы революции снизу уже исчезли. На самом деле капитализм уже не нуждался в защите левых. Он мог о себе позаботиться.

Верно, что левые и центристские правительства, а также Великая депрессия привели к сокращению прибылей. Возможно, капиталисты использовали перевороты справа, чтобы принудить труд принять на себя больше расходов. Тем не менее севе-

ро-западным политическим элитам удалось разработать более совершенные стратегии максимизации прибыли. Корпоративный либерализм в американском «новом курсе» и социал-демократический компромисс в Скандинавии защитили прибыли капиталистов и дали рабочим больше прав. Не авторитарная политика правых, а либеральная демократия была самой рациональной стратегией увеличения капиталистических прибылей. В то время Кейнс демонстрировал, что капитализм может быть спасен путем расширения потребления и прав рабочих.

Так почему же высшие классы некоторых стран потянулись к деспотизму или фашизму, когда ни их собственности, ни их прибылям ничего всерьез не угрожало? Они были напуганы революционным периодом, который начался после 1917 г. Почему бы не воспользоваться существующей слабостью левых, чтобы сокрушить их раз и навсегда? В настоящее время, когда капитализм, казалось бы, торжествует, трудно понять, что в тот проблемный период многие опасались, что капитализм терпит крах. Левые могли быть недостаточно сильными, для того чтобы осуществить революцию, но сил на беспорядки им вполне могло хватить. Советский Союз индустриализировался и посылал агентов Коминтерна по всему миру. Страх мог рациональным образом возникнуть из угрозы, которая была маловероятной, но сулила огромный ущерб в случае реализации. «Береженого Бог бережет», — рассуждали высшие классы. Более того, в основе капитализма лежит алчность. Если больше быстрых прибылей можно извлечь за счет сокращения зарплат, то капиталисты непременно пойдут на это, будучи убежденными, что им удастся выйти сухими из воды. В прошлой главе я утверждал, что капиталисты из числа сторонников социального обеспечения (*welfare capitalists*), нуждавшиеся в удержании квалифицированных или опытных рабочих, предлагали им высокие зарплаты и медицинские и пенсионные выплаты только тогда, когда профсоюзы были достаточно сильны. Когда профсоюзы были слабы, предприниматели с большей вероятностью стремились расправиться с ними. Любой рабочий активист в Соединенных Штатах сегодня может нам это подтвердить!

И все же большинство богатых людей, потянувшихся к оружию, были не промышленными капиталистами, а аграрными землевладельцами, офицерами и церковными иерархами — старым режимом. Волнения в пользу земельной реформы уже прокатились по всей Европе, и землевладельцы боялись, что их возможностей контролировать государства надолго не хватит. Большинство из них были рантье, получавшими прибыли из наименее модернизированных составляющих экономики, которые сокращались из-за глобального перепроизводства.

Они по-прежнему контролировали офицерские корпуса и министерства внутренних дел, так почему бы не осуществить переворот? Офицерские корпуса и церковные иерархи рассуждали похожим образом. Военные осознавали, что их кастовая автономия и бюджеты оказались под угрозой демократического гражданского контроля. Церковь боялась секуляризовавшихся либералов и социалистов, которые отделяли церковь от государства, угрожали отнять церковную собственность и оспорить их контроль над образованием и браком. Церковь могла мобилизовать верующих, особенно в сельских областях.

Демократию прежде всего предал старый режим. Пакстон утверждает, что фашисты заключили «исторический компромисс» со старыми режимами, которые были убеждены, что смогут контролировать этих неотесанных провинциалов. Консерваторы «нормализовали» фашистов, пригласив их разделить власть. «На каждой развилке пути они выбирали антисоциалистическое решение», — пишет он. В 1922 г. генерал Армандо Диаз советовал королю Виктору Эммануилу III не применять армию против марша Муссолини на Рим, поскольку она может оказаться ненадежной. Но король пошел гораздо дальше, сделав Муссолини премьер-министром. В 1933 г. аристократ Франц фон Папен сделал Гитлера канцлером, поскольку полагал, что сможет его контролировать. Пакстон продолжает свои рассуждения и показывает это на примере Румынии: «Ни один повстанческий переворот против устоявшегося государства никогда еще не приводил фашистов к власти. Авторитарные диктатуры несколько раз сокрушали такие попытки». Таким образом, заключает он, поведение высшего класса является ключевым элементом объяснения прихода к власти фашистов (Paxton 2004: 87–97). Это основная, хотя и недостаточная часть объяснения, относящаяся к классам.

(2) *Военный кризис.* Первая мировая война принесла поражение и территориальные потери одним и демобилизацию, неурядицы и нестабильную геополитику — всем. Страны, соблюдавшие нейтралитет, и страны-победительницы, не претерпевшие территориальных изменений, испытывали неурядицы в наименьшей степени, и это касалось большинства стран Северо-Запада. Военный кризис был более жестким во второй Европе, поскольку в ее состав входили страны, потерпевшие поражение. Он продлился дольше в тех странах, где ревизионисты оспаривали мирные договоры, требуя возвращения утерянных территорий. Озлобленные беженцы и националисты продолжали сражаться за возвращение потерянных территорий в Австрии, Германии и Венгрии. Даже в Италии, оказавшейся среди побе-

дителей, многие отрицали «изувеченный мир», поскольку Италии было отказано в территориях, которые были ей обещаны в обмен на присоединение к Антанте. Государства — наследники побежденных мультинациональных империй боялись, что они могут вовсе не выжить. Румыны и французы беспокоились, смогут ли они удержать свои территориальные приобретения, а сербы опасались, что могут потерять контроль над Югославией.

Однако временной фактор представляется проблемой для военных, так же как и для экономических кризисов. Только итальянские фашисты (1922) и болгарские авторитаристы (1923) захватили власть вскоре после войны, а эти страны пострадали в наименьшей степени. У Германии было время для восстановления. Репарации были улажены в 1930 г., к тому же было известно, что оккупация войсками союзников Рейнской области будет носить временный характер. Очевидно, что гитлеровский переворот в 1933 г. был слишком поздним, чтобы напрямую приписать его поражению в Первой мировой войне. Венгерские политики знали, что их ревизионизм не реализуем на практике; австрийцы понимали, что не смогут возродить империю. Военное поражение не породило фашизма напрямую.

Война действительно внесла свой вклад в послевоенный всплеск правого активизма, подрывав ближайшие перспективы демократии. Говоря более конкретно, война породила военизированные формирования. Тотальная война мобилизовала миллионы мужчин сражаться, и гораздо большее количество мужчин и женщин обеспечивали их экономическую и логистическую поддержку. Это увеличило мощь государства, придало куда более весомый военный компонент понятию гражданства, а также принесло новые военные ценности. Нация с оружием в руках оказалась дисциплинированной, но при этом дружной, элитистской и эгалитарной, поскольку офицеры и солдаты сражались плечом к плечу, однако офицеры понесли более тяжелые потери. Большинство молодых мужчин были призваны в армию, и к 1918 г. они уже хотели оставить вооруженные силы и вернуться домой. Немногочисленные левые из их числа обратились к политике, требуя более справедливого и мирного общества. После взрывного роста Советов рабочих и солдатских депутатов они были абсорбированы гражданскими левыми, которые обычно выступали против войны. Некоторые ветераны идеализировали дисциплинированное кросс-классовое товарищество на фронте и разочаровывались в послевоенной, раздираемой на части гражданской демократии. Превознося военные добродетели, они организовывали правые военизированные формирования.

В большинстве стран возникали и наращивали свою численность военизированные формирования и лиги ветеранов. Они одержали победу в гражданской войне в Финляндии, подавили венгерский марксистский режим в 1919–1920 гг., левых и иностранных соперников в Германии, Австрии и Польше вскоре после войны, свергли гражданское правительство в Болгарии в 1923 г. Они составили ядро первой волны фашизма. Впоследствии ветераны обучали молодых людей, успевших поучаствовать в демонстрациях, маршах и уличных драках. Фашизм также предполагал определенное воздействие, оказанное модерном на молодежь, — освобождение молодых мужчин от семейной дисциплины, молодых женщин — от бремени деторождения, рост организованного спорта, умножение профессий, требующих более высокого образования, и особенно рост участия граждан в войне. Студенческие и кадетские ассоциации, гимнастические и прочие спортивные клубы спланировались под фашистскими знаменами. В XX в. эффект возрастных когорт продолжал играть важную роль в политике: они принесли культ молодости, а также особые молодежные культуры, которые склонялись вправо. Ценности некоторых ветеранов, которые они впитали на фронте, подталкивали их к провозглашению того, что военизированные формирования теперь могут достигать социальных и политических целей в мирное время. Военизированные формирования вовлекали молодых одиноких мужчин в «клетку» товарищества, иерархии и насилия «ячейки», «гнезда» или *fascio* (связанные в пучок прутья) — символ, означающий союз принуждения и объединяющих связей.

Небольшое количество военизированных формирований ветеранов возникло и в Британии. Немного их было во Франции, а недавно сформированный Американский легион использовали правые в 1920-х гг. для разгрома красных. Тем не менее по сравнению с ветеранским фашизмом в Германии, Италии, Венгрии или Румынии они были незначительными. Победа против поражения плюс борьба за возвращение потерянных территорий частично объясняли различия между двумя Европами, опосредованные отношениями военной власти. Первая мировая война превратила фашизм из движения интеллектуалов в многотысячное [хотя и не многомиллионное] массовое движение. Поскольку фашисты идеализировали насилие, вступая в уличные баталии даже с левыми, у которых также были собственные военизированные формирования, они обычно одерживали победу.

Но вновь это было необходимым, но недостаточным условием, поскольку сами по себе уличные побоища в нормальных условиях привели бы к поражению фашистов. Милитаризм военизированных формирований не мог одержать верх

над милитаризмом государства, но в силу сокращения численности армий по Версальскому и Трианонскому мирным договорам и идеологических раздоров в некоторых из них монополия государства на средства насилия пошатнулась. Итальянская армия во время марша на Рим стояла в стороне отчасти потому, что высшее командование опасалось симпатий к фашистам на нижних уровнях субординации. Немецкая армия бездействовала, пока нацисты консолидировали свое правление. Нокс утверждает: вера в то, что социальный класс или экономический интерес детерминирует политическое поведение, была бы «наивным редукционизмом». В данном случае, пишет он, «политика и война задавали путь, а общество ему следовало» (Кнох 2009: 40, 315). Поэтому давайте обратимся к политике.

(3) *Политические* кризисы были острыми только во второй Европе. К 1880-м гг. все северо-западные страны обладали конкурентными партийными системами, свободными выборами и лишь небольшим вмешательством исполнительной власти в дела законодательной. Даже в европейских колониях, в Ирландии и Норвегии, местные жители посылали выборных представителей в парламент метрополии. Даже Финляндии и Чехословакии было позволено иметь представительное провинциальное правительство в рамках Российской и Австрийской империй. Когда избирательное право было распространено и на низшие классы и женщин, их организации равнялись на устоявшиеся институты (Luebbert 1991). Государства первой Европы были унитарными, а не дуалистическими, в них доминировали парламентские институты для урегулирования конфликтов между различными классами, религиозными сообществами и регионами. В предыдущей главе мы видели, что скандинавские и англосаксонские страны справлялись с конфликтами, развивая демократическое социальное гражданство (ср. Schmitt 1988). Фашистские партии образовались поздно, и поскольку межпартийная конкуренция уже доминировала в этих странах, там фашистам не оказалось места (Linz 1976: 4–8). Какое бы воздействие ни оказали Первая мировая война и Великая депрессия на Северо-Запад, с ним справились путем конституционных изменений. Правительства, ослабленные кризисом, были электоральным путем отстранены от власти, их заменили другие партии. Демократия была первооткрывателем техники разрешения кризисов через самообновление — в этом ее величайшая сила.

Напротив, во всех странах второй Европы более слабые государства испытали вызванные войной политические неурядицы. Потерпевшие военное поражение режимы потеряли свою легитимность, а некоторые испытывали давление со стороны

беженцев. В Италии было неурядицы лишь по поводу Триеста и Южного Тироля. Двум странам-победительницам — Румынии и Сербии пришлось инкорпорировать новые территории, которые трансформировали страну. Сербам — институционализировать политику, которая гарантировала бы их собственное доминирование, при этом оставляя недовольными прочие югославские этнические группы. У румын теперь была не угнетенная «пролетарская нация» Балканского региона, а более обширная и преимущественно сельская страна. Совершенно новые государства-преемники приходилось отстраивать с нуля.

Во второй Европе парламенты либо начали существовать незадолго до 1914 г. (как в Российской или Оттоманской империи), либо делили политическую власть с монархами, генералами или министерскими режимами, правившими через огромные сети должностного патронажа (как в Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Сербии и Италии). Это были «дуалистические государства» с парламентскими и исполнительными институтами, каждый из которых был частично автономным. Вооруженные силы и полиция контролировались исполнительной властью, которая могла манипулировать выборами и парламентами при помощи назначения на должности и выборочных репрессий, введения военного положения, запрета партий и т. п. Затем начиная с 1918 г. мирные договоры и победа левых центристов потребовали движения к более демократичным парламентам. В мгновение ока Германия и Австрия получили парламентский суверенитет и всеобщее избирательное право для всех людей, достигших совершеннолетия, то же самое произошло в Испании в 1931 г. Италия значительно расширила избирательные права в 1918 г. Эти шаги не сопровождались сопоставимыми изменениями в контроле над вооруженными силами и полицией или правовыми институтами, где по-прежнему доминировал старый режим. К тому же партии не интернализировали правила демократической игры. На самом деле большинство либеральных и консервативных партий были скорее нелиберальными, а социалистические движения — недостаточно прагматичными. Создание широких парламентских коалиций для сохранения и развития демократических институтов было маловероятным.

Одновременно новые государства трансформировались в национальные государства на фоне движений, мобилизовавших национальную идентичность. Были сложившиеся имперские нации (русские, немцы, мадьяры, оттоманы), пролетарские нации (украинцы, румыны), новые субимперские нации (сербы, чехи), а также соответствующие национальные меньшинства в других странах. Там, где национальности отличались

своей религиозной принадлежностью, это усиливало взаимную напряженность отношений между ними. К этим государствам предъявлялись сложные требования, и не было установившихся институтов, чтобы справляться с ними. Для тех, кто контролировал исполнительную власть государства, самой безопасной стратегией в случае столкновения с кризисом, возможно, были репрессии.

Юджин Вебер пишет: «Фашизм XX в. был побочным продуктом дезинтегрирующей либеральной демократии» (Weber 1964: 139). Однако это не верно. Либерально-демократические государства выбрались из кризиса. Скорее авторитаризм и фашизм возникли из кризиса дуалистического государства, старого режима, движущегося по направлению к демократии, и национального государства как раз тогда, когда они страдали от экономических и военных кризисов, упомянутых выше. Это приводило к перевороту внутри старого режима, осуществляемому исполнительной частью государства против его демократической части. Способность Северо-Запада перейти от партий нотаблей к массовым партиям обеспечила конституционную устойчивость. Во всех прочих странах к авторитаризму привела неспособность консерваторов осуществить этот переход. Там, где они сами были внутренне расколоты, или там, где им не хватало мобилизационных возможностей, была открыта дорога фашизму. Хотя политический кризис своим появлением куда больше обязан долгосрочным экономическим и геополитическим процессам развития и иногда краткосрочным экономическим и военным кризисам, у него также были чисто политические причины.

Отношения политической власти могут также объяснить, почему фашисты были сильны только в некоторых деспотических странах. Там, где старый режим оставался в силе, он подчинял себе фашизм. В Испании в 1930-х гг. в прошлое ушла только монархия. Армия же и церковь остались невредимыми, полными решимости охранять «старый порядок». Генерал Франко смог нанести поражение сильным левым и подчинить крупное фашистское движение внутри его режима. В Румынии король Кароль и маршал Антонеску обладали достаточной политической и военной властью, чтобы подавить крупное фашистское движение вплоть до последних этапов войны. В Германии монархия канула в Лету, численность армии сильно сократилась, а жизнеспособная демократия ослабила, но не искоренила полностью власть старого режима. Нацисты возникли благодаря этой демократии и слишком широкой мобилизации масс для старого режима. В Италии старый режим сохранил больше власти, но его партийная система была слабой, неспособной противосто-

стоять фашистским мобилизационным способностям. Было заключено соглашение, и постепенно политические навыки Муссолини позволили ему стать хозяином положения. Среди всех страновых различий и вопреки им мы можем разглядеть общий тренд. Во второй Европе сила и сплоченность старого режима были обратно пропорциональны мощи фашистов. Там, где старый режим был сильнее и сплоченнее, он создавал правый деспотический режим; там, где он был слаб и расколот, фашисты получали прекрасную возможность захватить власть. Таким образом, три различных исхода (фашизм, консервативный деспотизм и демократия) лучше всего объяснялись отношениями политической власти, которые обуславливали ответы на экономический и военный кризисы.

(4) *Идеологический кризис.* Практически одновременные экономический, военный и политический кризисы принесли ощущение общецивилизационного кризиса и привели к поискам новых идеологий. Однако нефашистские авторитаристы были не очень-то озабочены идеологическим уровнем; они прагматично надели на себя столько фашистских одежд, сколько было необходимо, чтобы оставаться у власти, пытаясь несколько разрядить радикальное фашистское низовое движение. Фашизм был более трансцендентным интеллектуальным движением, хотя его интеллектуалы были второсортными людьми типа Морраса, Барреса и сторонников расовой теории, таких как Чемберлен и Гобино, плюс горстка узколобых журналистов, популяризаторов и памфлетистов вплоть до печально известной антисемитской подделки «Протоколов сионских мудрецов». В период между двумя войнами фашизм привлекал крупных интеллектуалов в Италии и Румынии, но во всех остальных странах он оставался движением второсортной интеллигенции, по сути, пропагандистов.

И все же фашизм вызвал широкий отклик у хорошо образованных учащихся средних школ и студентов университетов, семинарий и военных академий и наиболее образованной профессиональной страты среднего класса. Сальваторелли (Salvatorelli 1923) описывает этот слой как «гуманистическую буржуазию». Между 1900 и 1930 гг. количество студентов по всему развитому миру увеличилось в четыре раза — самые быстрые темпы роста в XX в. Во второй Европе эти темпы были даже выше, что угрожало контролю старого режима над институтами образования. В 1960-е гг. этот всплеск стал причиной левого взрыва в студенческой политике; в 1920-е гг. он повернулся вправо. Д'Аннунцио стал первым националистом, использовавшим театрализованную публичность и прославление молодежи, и Муссолини бы-

стро стал ему подражать. Фашизм был молодым, следовательно, современным, обществом будущего, заявляли фашисты. Он предназначался не только для головорезов.

Фашисты призывали к «ресакрализации» общества, ставшего материалистическим и декадентским (Gentile 1990; Griffin 2002), мобилизуя ценности, нормы и ритуалы. Они утверждали, что цивилизационный кризис охватил власть, мораль, естественные и социальные науки и искусство. Социалистов обличали как «азиатских варваров», либералы были «декадентами» и «коррупционерами», наука — «материалистической» и «вырождающейся», «устаревшая» культура — нуждавшейся в омоложении. Милитаризм оправдывался национальными мифами о внутренних и внешних врагах и легитимностью агрессивной экспансии (Кпех 2009: 315). Фашисты продвигали собственные ритуалы, искусство, архитектуру, естественные и социальные науки, свои молодежные движения, а также культ Нового человека, апеллирующий к эмоциям в такой же степени, в какой и к разуму. Это была действительно секулярная религия спасения. Они использовали эмоциональную силу музыку, маршировки, изобразительного искусства, графического дизайна, скульптуры и архитектуры. Пакстон утверждает, что «эмоции... тщательно организованные церемонии, крайне нагруженная риторика... непосредственный чувственный опыт» были гораздо важнее истины в нацистской идеологии (Paxton 2004: 16–17).

Идеологии невозможно научно обосновать. Для успеха новой идеологии требовалась не истинность, а правдоподобие и эмоциональная притягательность, кажущаяся способность понимать мир в тот момент, когда запутывались существующие идеологии. В период между войнами традиционные идеологии боролись с современным кризисом, охватившим половину Европы. Консерватизм не доверял массам, которые в тот момент вышли на сцену истории; либерализм казался коррумпированным и недостаточно националистическим. Социализм не доверял нации и принес лишь больше классового конфликта без какого-то очевидного решения. Воздействие экономических трудностей (и особенно Великой депрессии) было преимущественно косвенным: консерваторы, либералы и социалисты имели шанс их разрешить. Там, где это не удалось, мог появиться шанс для фашистов, как это случилось в Германии.

Экономические, военные и политические кризисы создали идеологию альтернативной современности и спасения, сфокусированную на нации, государстве и войне. Капитализм не был в центре ее интересов, и фашизм не был в центре интересов для капиталистов. По всей второй Европе консервативные деспоты

захватывали власть, рядясь в фашистские одежды и подавляя самих фашистов. Они рассматривали модерн как желанный, но опасный, либерализм как коррумпированный, социализм как хаотичный и секуляризм как безнравственный. Немногие приняли представление об элитном авангарде, мобилизующем массы для направляемого государством экономического развития и культивации порядка и иерархии, — фашизме. На северо-западе Европы демократия осталась невредимой, самоподдерживавшейся, столкнувшись лишь с очень небольшими фашистскими или консервативными деспотическими движениями. Проблемой для марксистских теорий является то, что глубина рецессии и сила рабочих движений не коррелировали с ростом фашизма. Северо-западные страны пострадали во время депрессии не меньше остальных, и у них были мощные рабочие движения. Но на северо-западе Европы демократия была установлена до Первой мировой войны и теперь институционализирована. Фашисты там остались крошечным меньшинством, социалисты устояли перед коммунистами, консерваторы выдержали натиск органических националистов, и оба придерживались инструментальной политической рациональности колеблющихся избирателей и золотой середины. Первая Европа ответила на кризис движением к политическому центризму, расширением избирательного права и углублением либеральной демократии в социальную или «либ-лаб» демократию, как мы видели в прошлой главе.

Горстка второсортных интеллектуалов и агитаторов добилась отклика от тысяч активистов среди демобилизованных солдат, особенно из числа потерпевших поражение армий. В тяжелые экономические и геополитические времена их большая приверженность насилию могла дать им померяться силами и, возможно, победить левых активистов. По мере того как экономические трудности усугублялись (но только в странах, где демократия не была основательно институционализирована), политические партии были дискредитированы и миллионы людей нашли фашистскую идеологию правдоподобной. В конечном итоге все решили не миллионы, а, напротив, элиты старого режима (вероятно, всего лишь сотни), устроившие перевороты в тех странах, где у них были на это силы, а там, где необходимых сил не было, поддержали фашистские перевороты — их ключевым решением было не призвать вместо этого армию. Для того чтобы объяснить рост фашизма, необходимо задействовать все четыре источника социальной власти. Каждый из них играл различные, но при этом необходимые роли.

ФАШИСТЫ У ВЛАСТИ

Поскольку лишь два фашистских режима в Италии и Германии находились у власти в течение достаточно продолжительного времени, далее я буду рассматривать только эти страны. Фашисты здесь перестали мобилизовывать народ против элит, как только оказались у власти. Напротив, они установили однопартийную диктатуру и пошли на соглашение с капиталистическим классом. До тех пор пока капиталисты производили то, чего хотели фашисты, и не вмешивались в политику, фашисты избавляли их от независимых профсоюзов и рабочих активистов. Поскольку фашистов мало волновали вопросы религии, они заключили договоры с церквями; таким образом, капиталисты и церкви пользовались определенной степенью автономии от режима, чего нельзя было сказать о вооруженных силах. Гитлер провел чистку высшего командования и подчинил его своим агрессивным проектам, также защитив себя военизированными формированиями партии: сначала отрядами штурмовиков (СА), затем «охранными отрядами» (СС). После захвата власти СС и гестапо стали чрезвычайно похожими на преторианскую гвардию его деспотизма.

Создание более милитаристского, священного национального государства и преувеличение «угрозы», исходящей от внутренних и внешних врагов, имели свои последствия. Фашистские режимы не могли успокоиться и просто наслаждаться властью. У них были свои радикалы, которых необходимо было удовлетворять, и они нуждались в образе перманентной революции (Mann 1996; Paxton 2004: 148). Как только они захватили власть, огромное значение приобрела идеологическая власть (как это было и в коммунистических режимах), и она постоянно продвигала их вперед к их утопическим целям. Оказавшись у власти, фашисты на какое-то время направляли свои военизированные формирования против расовых или политических врагов внутри страны, но затем стали осуществлять захватнические войны. Как мы увидим в главе 12, их милитаризм был безрассудно утопическим и в конечном итоге ведущим к поражению, которое уничтожило все семейство правых авторитаристов. Сама форма их падения, без сомнения, доказала, что фашисты не были всего лишь реакционерами или марионетками капитализма или другого режима. И своим успехам, и в конечном счете поражением они были обязаны идеологии.

Итальянский фашизм был несколько менее идеологичным по сравнению с немецким. Он представлял собой коалицию социалистов, синдикалистов, консервативных национали-

стов, радикальных боевиков и аграрных реакционеров. Лично Муссолини предпочитал фашизм с социалистическим привкусом, но оппортунистическое чутье привело его к сраиванию различных фракций. Результатом было и корпоративное государство, и рассредоточение государственного суверенитета между различными институтами — монархией, традиционной бюрократией, Большим фашистским советом, Министерством корпораций, синдикатами, фашистской партией и самим дуче. Это не было тоталитарное государство, хотя Муссолини гордо провозглашал его таковым. Фашистская партия смогла присвоить большую часть плотной сети местных ассоциаций итальянского общества и стать самодостаточной наравне с государством. От радикалов и синдикалистов откупились монопольным контролем над профсоюзами и ведением ими переговоров с работодателями; точно такую же власть, но только с другой стороны стола переговоров получили ассоциации предпринимателей (Riley 2010: 61–68). В остальных сферах фашистский режим прагматично уступил некоторые полномочия нефашистским элитам. В сельской местности землевладельцы пришли к руководству фашистскими организациями в 1922 г. В городах, где радикальные *fasci* продолжали создавать турбулентность на протяжении 1920-х гг., аналогичные процессы заняли больше времени. Фашистские союзы стали в большей степени состоять из среднего класса, где доминировали низшие и средние чины государственных служащих и местных властей. После переворота в Национальной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista, PNF) стало значительно меньше рабочих и крестьян по мере присоединения к ней оппортунистов из среднего класса и государственной службы.

Несмотря на свою сужавшуюся базу, фашистский режим был вполне популярным. Выборы 1924 г. не были полностью свободными, но фашистское большинство было в основном подлинным. Положительный момент состоял в том, что порядок был восстановлен. На ранних этапах фашисты убили около 700 и 1700 левых и популистов в ходе своей борьбы. После закрепления у власти, примерно к 1926 г., они стали обходиться без насилия, и режим достиг широкой, хотя и не очень интенсивной народной поддержки. Создание специальных судов и тайной полиции не привело к террору; 80% судимых за политические преступления были оправданы, и большинство из осужденных были приговорены к менее чем трем годам тюремного заключения. С 1927 г. до самого конца была совершена всего 31 казнь за политические преступления. Во Второй мировой войне только 92 итальянских солдата были приговорены к смерти по сравнению с 4 тыс. смертных приговоров, вынесенных

их «либеральными» предшественниками во время Первой мировой, и с 35 тыс. смертных приговоров в немецком вермахте. Сильного недовольства не наблюдалось, за исключением местных партийных боссов.

Де Феличи (De Felice 1974: глава 2) утверждал, что фашистский режим пользовался широким одобрением итальянцев. Он хорошо справился с Великой депрессией: быстрыми темпами росли государственные расходы, сопровождаясь довольно умеренным улучшением в образовании и программах социального обеспечения. Итальянский фашизм был умеренно эффективным в управлении экономикой. Фашистские профсоюзы, женское, молодежное и досуговое движение обеспечивали подлинные услуги для своих многочисленных членов. Березин (Berezin 1997) подчеркивает важность фашистских ритуалов для проникновения в практики повседневной жизни, присвоения и усиления обычного патриотизма, использования католицизма и сельских священников в своих проектах. Но Вторая мировая война принесла раздражение. Полицейские отчеты свидетельствуют о том, что с 1943 г. многие итальянцы рассматривали нехватку продуктов питания и бомбежки как последствия идиотской войны, к которой принудили слабый режим более могущественные немцы (Abse 1996). Уже второй раз Италию обрели на безрассудное участие в мировой войне, и вновь это колоссально ослабило государство. Оно стало глубоко внутренне расколотым, и многие восстали против фашизма. Хотя до этого несколько тысяч старых фашистских бойцов и более внушительное количество оппортунистов управляли Италией, по-видимому особо не напрягаясь. Без войны они могли бы править таким образом гораздо дольше.

Фатальной слабостью итальянских фашистов был милитаризм. Во время войны Муссолини отклонился от трансцендентности и удовлетворил своих радикалов. Во всяком случае он сам в это верил. При фашистском правлении военные расходы утроились и к 1937 г. поглощали 10% ВВП, что превышало аналогичные расходы любой другой страны. Муссолини вмешался в Гражданскую войну в Испании на стороне Франко. Он заявлял, что «война для мужчин то же, что и материнство для женщин». К несчастью для него, это не вполне подходило для итальянских мужчин, которые оказались более рассудительными, когда им навязали войну. Италии удалось справиться с вторжением в Эфиопию, где она копировала империализм прочих держав, их зверства и др. (в период между двумя войнами Британия также применяла против туземцев горчичный газ), но вступление Италии во Вторую мировую войну, подстрекаемое экстраординарным успехом вермахта в 1940 г., оберну-

лось ее крахом. В военном отношении Италия не была перво-разрядной державой — все зависело от Германии. Это, в свою очередь, подчиняло Муссолини Гитлеру. Под давлением Гитлера итальянские радикалы получили больше свободы, и Муссолини совершил величайшее из своих преступлений, отдав на расправу итальянских евреев. Затем, когда военное могущество Гитлера ослабло, итальянские союзники Муссолини — король, двор и генералы — его свергли.

Если Муссолини представлял собой фашизм в его лучших (хотя и не очень хороших) проявлениях, то Гитлер олицетворял собой худшее. В течение 1930-х гг. его режим «радикализировался», что служит эвфемизмом большей диктатуры, расизма, захватнической войны и массовых убийств гражданского населения. Осуществлялось проникновение абсолютно во все аспекты жизни. Роберт Лей, который был руководителем нацистского министерства труда, отмечал, что единственной приватной сферой людей в нацистской Германии был сон. Нацистский милитаризм был также обращен за границу. Классовый конфликт был не трансцендирован, но подавлен, и капиталистам позволялось получать прибыль, хотя они были обязаны производить все необходимое для войны, которая должна была стать расовой войной. «Над всем господствовало, — пишет Р. Эванс (Evans 2006: xv), — стремление к войне, войне, которую с самого ее начала Гитлер и нацисты рассматривали как ведущую к немецкой расовой реорганизации Центральной и Восточной Европы и воскрешение Германии как державы, господствующей на европейском континенте и за его пределами по всему миру». Гитлер хотел гораздо большего, чем просто восстановление потерянных территорий; через войну он жаждал господства над всем миром — крайне утопической цели.

Поскольку его основной целью была очищенная империя и основным средством для достижения этого — военная мощь, Гитлер был готов принести немецкую экономику в жертву подготовки к войне. Военная кристаллизация государства одержала верх над экономикой. Разрекламированные гражданские инновации, такие как автобаны и «Фольксваген», подразумевали пренебрежительно малые расходы по сравнению с расходами на перевооружение. Военные расходы были чуть меньше 10% ВВП в 1937 г., немногим меньше итальянских показателей, но практически в два раза больше в процентном отношении, чем в Британии и Франции. Тем не менее военное кейнсианство создало полную занятость и даже рост зарплат. Али (Ali 2007) подчеркивает, что нацисты стремились предотвратить недовольство рабочих, принимая множество программ социального обеспечения; была даже в два раза увеличена про-

должительность оплачиваемого отпуска, а также уменьшены возможности домовладельцев поднимать арендную плату или выдворять квартиросъемщиков.

Война, начавшаяся в 1939 г., стимулировала режим избегать недовольства рабочих. В 1940 г. нацистское государство перестало облагать налогом выплату сверхурочных, а в 1941 г. ввело национальную схему медицинского страхования для всех, то есть для арийцев, но и для них это была еще не вся история. Ограниченное количество потребительских товаров и карточная система сводили на нет рост благосостояния. Немцы, имея ограниченное количество товаров на прилавках, клали свои сбережения в банки, которые, в свою очередь, не имея других инвестиционных возможностей, вкладывали их в государственный долг, который им не вернули. Немцев, особенно из среднего класса, имевших сбережения, обескровливали безо всякого принуждения, часто без их ведома, чтобы платить за эту «бесшумную систему» военных финансов. Однако сам эффект от этих двух тенденций мог рассматриваться как уравнивающий классы, что, как представлялось, добавляло некоторого правдоподобия претензии нацистов на трансцендирование классовых различий. Это, как мы увидим в главе 14, поддерживало немецкий патриотизм во время войны.

В 1937 и 1938 гг. нацистский режим удвоил долю национального производства, идущего на военную сферу, до 20% — увеличение, равного которому, вероятно, не было ни у одного государства в мирное время. Это вызвало экономический кризис, который Гитлер попросту проигнорировал. Напротив, он призывал к увеличению военных расходов (Тооге 2006: 138–143, 253–259, 354–355, 659; R. Evans 2006). За этим также стояла определенная экономическая логика. Она подталкивалась стремлением к автаркии, в свою очередь с неизбежностью превращавшейся в военную экспансию ради территориального контроля за ресурсами, в которых нуждалась немецкая экономика, такими как румынские нефтяные месторождения или украинские поля. Без сомнения, это было самое милитаристское из современных государств, и по мере того, как гитлеровские войны затягивались, большинство немцев испытывали ужасные страдания. Утверждение Али о том, что экономика продолжала приносить им экономические выводы, абсурдно. Действительно, немецкие солдаты и управленцы захватывали ресурсы завоеванных территорий и отправляли их на родину, но нехватка продовольствия и опустошительные бомбежки Германии перекрывали подобные выгоды для всех, за исключением нацистской элиты. Нацистский режим не обладал достоинствами большинства идеологических режимов левых или умеренных

националистических режимов, которые, несмотря ни на что, продолжали обеспечивать общественными благами население. Коррупция нацистов была, разумеется, ключевой составляющей их режима, поскольку каждый партийный лидер присваивал ресурсы сверху, чтобы увеличить свое личное благосостояние. Хотя Гитлер действительно ввел больше общественных благ, их перевесили страдания, которые принесли немцам войны.

Нацистская радикализация продолжалась до тех пор, пока Германия не спровоцировала Вторую мировую войну и не совершила геноцида евреев и цыган, массовых убийств умственно отсталых людей и гомосексуалистов, политцида против польских и прочих иностранных элит. Гитлер стремился очистить немецкие земли от низших рас и генетически неполноценных немцев. Геноцид евреев, вероятно, не был его первоначальным намерением; он ожидал, что дискриминация и насилие вынудят их бежать, отказавшись при этом от большей части своего богатства. Когда они не уехали и на завоеванных территориях оказалось огромное количество евреев, а также цыган, идея уничтожить их всех превратилась в политику². На восточных территориях было слишком много славян, чтобы их уничтожить, несмотря на их расовую неполноценность. Убить (в ходе политцида) необходимо было только их лидеров, а остальные станут «рабами» немецких хозяев. Завоевания на Западе были более умеренными, поскольку там не было низших рас. Только евреи и те, кто сопротивлялся немцам, должны быть уничтожены. Война и геноцид, особенно геноцид евреев, были ужасным наследием Гитлера.

Войну я буду анализировать в главе 14, а по геноциду я уже написал книгу «Темная сторона демократии» (2005). Ниже я кратко изложу процесс расовой радикализации. *Социал-дарвинизм*, представление о том, что люди биологически разделены на высшие и низшие группы, в начале XIX в. было широко распространено в развитом мире. Оно применялось и к расам, и к классам: белая раса рассматривалась (белыми) как превосходящая упадочную желтую и дикую черную расу; высший класс рассматривал низшие классы как биологически низшие. Евгенические теории, казалось, научно это подтверждали. Для сохранения превосходства белых важно было противостоять межрасовым бракам; для сохранения могущества нации высшие классы должны были размножаться быстрее низших классов,

2. Это спорный вопрос, на который нет окончательного ответа. Мое собственное мнение на этот счет можно найти в книге «Темная сторона демократии» (2005: глава 7). См. также работу Кристофера Браунинга (2004), в которой представлен авторитетный обзор исторических свидетельств.

а умственно отсталым и преступникам не следовало разрешать иметь детей вовсе. Эти убеждения были широко распространены в развитых странах, одни из которых доходили до стерилизации преступников, беременных незамужних подростков и умственно отсталых. Однако только нацисты дошли до того, чтобы их убивать.

До Первой мировой войны Германия демонстрировала не больше расизма или антисемитизма, чем другие страны. Франция, Польша и Россия также проповедовали антисемитизм. Германские колонисты были не более расистскими, чем британские или французские, хотя немецкие военные были более беспощадными по отношению к повстанцам из числа местных жителей, чем большинство европейских колониальных армий на тот момент (Hull 2005; ср. Mann 2005: 100–107), но немцы привыкли править поляками и рассматривали их наряду с другими славянами как низшую расу. В ходе Первой мировой войны немцы захватили огромные восточные территории (*Raum*), которые едва обрабатывали, но которые тем не менее можно было заселить. Солдаты были крайне удивлены, когда во время рытья траншей находили артефакты доисторических народов, лежащие почти на поверхности. Они принимали это за археологическое доказательство того, каким примитивным был до сих пор этот регион. Генерал Людендорф создал восточную администрацию — Обер-Ост, которая безжалостно управляла и извлекала ресурсы, а также несла великую культурную миссию примитивным народам этого региона. По мере нарастания местного сопротивления то же происходило с немецкими негативными стереотипами о местных жителях. В обреченной послевоенной борьбе за возвращение утраченных территорий на Востоке немецкий вооруженный фрайкор рассматривал славян как воплощение «ужасной жестокости», на которую они отвечали подобным образом. В глазах немцев «Восток предстал как область рас и пространств, которыми нельзя было управлять, а только освободить и расчистить» (Liulevicius 2000: 152–153).

Идея необходимости *Lebensraum* — жизненного пространства появилась во времена Веймарской республики. Это было широко распространенное убеждение, что слишком много немцев населяют слишком маленькую страну, к тому же путь к заморским колониям был отрезан британским флотом. Большие территории для поселенцев могли быть захвачены на восточных границах, в среднеевропейских (*Mitteleuropa*) империях. Распад Австрийской империи усилил интерес к *аншлюсу* — объединению с Австрией. Австрия была значительно более антисемитской, Гитлер был австрийцем, и его первая клика сторонников происходила преимущественно из антисемитской оси Вена — Мюнхен.

Среди первых нацистов общая идея о расовой биологии имела два различных приложения к Европе: создание колоний поселенцев на востоке континента и приписывание неполноценности славянской и еврейской расам.

Убийства начались в самой Германии. Захват власти в 1933 г. привел к арестам тысяч коммунистов и социалистов и заключению их в концентрационные лагеря, где многие были убиты. С преступниками, гомосексуалистами, цыганами, евреями и умственно отсталыми обращались все хуже. В 1938 г. нацисты перешли от стерилизации умственно отсталых людей к их убийству, что было решающим моментом, поскольку нацистский режим превратился из всего лишь крайне репрессивного в режим, виновный в массовых убийствах, а также в режим, обучавший огромное количество людей убивать. Нацистская антисемитская политика сначала не была такой же ужасной, хотя законы изгнали евреев с государственной службы, из армии, университетов, области искусств, затем из профессиональной деятельности, подкрепляясь местными запретами на присутствие евреев в общественных зданиях, аренах и плавательных бассейнах. Нюрнбергские законы дали детальное описание того, кто является евреем, и запретили межрасовые браки (Friedlaender 1997: 141–51).

Между 1933 и 1938 гг. Гитлер подчинил ненацистские элиты. Политические партии, государственные служащие, высшее командование и в меньшей степени капиталисты и священники были подчинены нацистским целям. Нацисты использовали деспотическую и инфраструктурную власть, способную к глубокому проникновению в гражданское общество, для исполнения своих директив. В теории это однопартийное государство было тоталитарным, но на практике все было не так. Деспотические государства всегда обладают меньшей инфраструктурной властью, чем им хотелось бы. Они убеждены, что внутренние враги без устали трудятся, чтобы разрушить их власть, но, когда диктатор обнаруживает, что не может реализовать все, он реагирует способом, который обычно ослабляет бюрократическую цепочку командования сверху вниз, лежащую в самом центре тоталитарной модели. Гитлер культивировал две основные стратегии. Одна заключалась в том, чтобы следить за государственной частью партийного государства при помощи вооруженных сил безопасности, особенно СС и гестапо. Другая заключалась в том, чтобы разделять и властвовать над партийной элитой, позволяя различным «вождям» контролировать их собственные области администрации, но поощряя соперничество между ними и вынуждая их отчитываться непосредственно ему или его доверенному внутреннему кругу, а не какому-либо коллективному орга-

ну партии или государства. Это создавало фрагментированный деспотизм, один исследователь зашел так далеко, что назвал его «поликратичным» (Broszat 1981). В данном случае деспотическая власть, как представляется, должна была до определенной степени подрывать инфраструктурную власть — такую возможность я ранее не предполагал (Март 1988а; 2008).

Рост власти Гитлера также сдвинул баланс власти внутри нацистского движения. Поскольку компромиссу с консервативными элитами пришел конец, влияние консервативных нацистов ослабло. Шахт потерпел поражение в своем противостоянии подчинению экономики военной машине. Геринг, изначально консервативный нацист, радикализировался, чтобы сохранить свою власть. Радикалам были на руку «принцип лидерства» и особенно практика, обозначенная Кершоу (Kershaw 1997, 1998: глава 13), как «работать с оглядкой на фюрера», то есть действовать так, чтобы предвидеть его намерение, которое, как предполагалось, практически всегда было радикальным. Осознанно или нет, но это действительно был способ уменьшения фракционности, увеличения последовательности политики, избираемой различными фракциями, а также поддержания высокого уровня инфраструктурной власти через общую цель в большей мере, чем через бюрократические институты. Эта также зависело от того, что Вебер называл харизматической властью, при которой чиновники отбираются и вознаграждаются не в соответствии с их техническими компетенциями, а в соответствии с их преданностью лидеру и рвением в принятии его точки зрения. Лишь немногие фашисты замыслили массовые убийства, но лишь немногие возражали им, поскольку это пошло бы вразрез с намерениями фюрера, что невозможно себе вообразить, и было чревато для карьеры диссидентов. Нацистов, которые «могли сделать дело», как гласил радикальный эвфемизм, одобряли, и это оказывало давление на более осторожных коллег и начальников.

В книге «Темная сторона демократии» (2005) я уже принимал попытку объяснить, почему нацизм был настолько обуреваем антисемитизмом, и не буду повторять это объяснение здесь. Аншлюс в 1938 г. принес с собой более агрессивный австрийский штамм антисемитизма, что спровоцировало самый жестокий погром из тех, что Германия когда-либо видела. Тысячи евреев бежали за рубеж, другие были выдворены за границу, от богатых за эмиграцию требовали выкуп. Теперь Гитлер вышел за пределы того, что в «Темной стороне...» я называю его планом А — оказать давление на евреев, вынуждая их покинуть страну, к его плану Б — «неистовой депортации», эмиграции под воздействием насилия. В ноябре 1938 г. нацистское руководство

попыталось распространить насилие на Германию при помощи погрома *Kristallnacht* («Хрустальная ночь»). В частном порядке Гитлер сказал: «Евреи должны уже испытать на себе гнев народа» (Kershaw 2000: 138–139). Более 100 евреев были убиты, 80 тыс. бежали из страны, но это насилие шокировало и многих нацистов. Некоторые *гауляйтеры* отказались передавать приказы о погроме. Мюллер-Клаудиус заметил из бесед с 41 нацистом из элиты в 1938 г., что 28 (63%) выражали резкое неодобрение «Хрустальной ночи». Лишь двое (5%) ее полностью одобряли. Геринг был раздосадован потенциальным ущербом экономике, и даже Гитлер был обеспокоен грабежами, выходившими из-под контроля. Режим отступил. Это компенсировалось усилением эвтаназии — массового убийства людей с ограниченными умственными способностями.

Гитлер также добился успеха в рискованных предприятиях внешней политики, которым противостояли консервативные нацисты. Немецкие солдаты оккупировали Рейнскую область в 1936 г. и захватили Австрию в ходе аншлюса в 1938 г. За этим последовал захват Судетской области, а затем и всей Чехословакии. Все происходило без единого выстрела, увеличивая тем самым популярность Гитлера и его власти внутри страны и нацистского движения. Это также увеличило привлекательность «жизненного пространства на Востоке», политическое влияние «этнических немцев» (немцев за пределами веймарских территорий), а также ощущение угрозы, исходившей от предполагаемых «жидобольшевиков». В 1939 г. вторжение в Польшу втянуло нацистскую Германию в войну с западными державами, но вермахт одержал быструю победу в Польше, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции. Затем настал черед Дании и Норвегии. Советский Союз был атакован в середине 1941 г.

Хотя Гитлер уже откусил больше, чем мог проглотить, в декабре он объявил войну Соединенным Штатам. Большинство немцев, включая многих генералов, ожидали поражения, но патриотизм военного времени плюс гестапо делали невозможным сопротивление Гитлеру и его радикализирующимся целям. Таким образом, руководству в целом — рейхсляйтерам, гауляйтерам, руководству СС, гражданским губернаторам и генералам — пришлось поддерживать «ликвидацию» всех низших рас. Эвфемистические кодовые слова свидетельствовали об ослаблении моральных границ. «Фанатизм» был чем-то хорошим. Активисты были «безжалостными», «закаленными», «стальными», «твердыми», становились «холодными как лед» для осуществления «беспощадных», «жестоких», «специальных проектов». Врагов лишали всяких человеческих качеств: евреи, цыгане,

большевики, славяне и азиаты были «ферментами разложения», «международными червями и клопами».

Весь внутренний круг Гитлера был в сговоре. Гиммлер говорил своим людям из верхушки СС в 1938 г., что следующее десятилетие увидит «идеологическую борьбу всего еврейства, масонства, марксизма и церковей мира. Этими силами, движущими духом, истоком всего негативного я считаю евреев, ясно, что если Германия и Италия не будут уничтожены, то уничтожены будут они... мы искореним их с беспрецедентной безжалостностью» (I. Kershaw, 2000: 130). В 1941 г. Геринг, Гиммлер и Гейдрих сформулировали «окончательное решение». Геринг провозгласил: «Это не Вторая мировая война, это великая расовая война». Дневник Геббельса описывает «жизнь и смертельную борьбу между арийской расой и еврейской заразой». Он провозглашает, что немцы должны править «безо всякой пощады» восточными нациями (Kersten 1956: 120; S. Gordon 1984: 100; Goebbels 1948: 126, 148, 185, 225, 246). Эти лидеры имели представление о том, как их массовые убийства расценит весь остальной мир, но были убеждены, что их действия исторически необходимы. В будущем, утверждали они, их отблагодарят за «безжалостность» в преодолении общепринятой морали. Если бы они одержали победу в войне, все, возможно, так бы и было — мысль, столь же ужасная, как и сам геноцид. Победители переписывают историю. Нацисты сознательно и добровольно пошли на геноцид и смертоносные этнические чистки, и здесь не было никакой неоднозначности катастрофических политических ошибок, сопровождавших зверства Сталина. Режим Гитлера, вероятно, был худшим из тех, что когда-либо видел мир.

Радикализации сверху вниз способствовало уничтожение Гитлером немецкой оппозиции, распространение принципа лидерства и геополитические успехи. Прояви немецкие элиты больше твердости в первые годы нового режима, они могли бы усилить нацистских консерваторов и создать менее смертоносную версию фашизма. Их причастность к захвату власти сделала их бессильными остановить ужасное скатывание нацистского радикализма к геноциду и агрессивной войне. Этот радикализм все более возрастал во время войны вплоть до того самого момента, когда Германия потерпела тотальное поражение.

Степень причастности обычных немцев к холокосту вызывает множество споров. В «Темной стороне демократии» (2005: главы 8, 9) я показываю, что в выборке преступников непропорционально широко были представлены убежденные нацисты и члены СС, а ядро старшин и низших офицеров уже было приучено к зверствам через опыт участия в проекте эвтаназии или в польской резне, начавшейся в 1939 г. Это обес-

печило наличие опытных радикалов в большинстве немецких частей, которые позднее привлекались к массовым убийствам. Затем нормальное социальное давление иерархии (подчинение приказам), карьеризма (если будешь колебаться, не получишь повышения по службе) и товарищества (если кто-то намеренно выстрелит выше головы, то его товарищам придется убить больше человек) обеспечивало оппортунизм среди обычных немцев и коллаборационистов. Общее количество преступников могло достигать 300 тыс. человек, хотя это было всего 3% немцев того времени. Разумеется, гораздо большая доля немцев знала на определенном уровне, что происходит, но по нашему собственному опыту нам известна человеческая способность отворачиваться от происходящего ужаса.

Геноцид не был немецким изобретением, поскольку массовые убийства совершались людьми многих национальностей по всему миру. Геноцид нацистов также не был банальным в том смысле, в каком его понимает Ханна Арендт (Arendt 1968). Те, кто был фактическим убийцей, не могли избежать крови, кишок и ужасного зловония смерти. Убийцы, которые просто сидели за письменным столом (*desk killers*), такие как Эйхман (для него она придумала это обозначение), которые фактически не убивали, не испытывали подобных неприятных ощущений, были фанатичными нацистами, жаждущими уничтожения, а не банальными бюрократами. Холокост, разумеется, был «современным», хотя и не в том известном смысле, в каком его понимает Бауман (Bauman 1989). Каждая группа, которая проводила геноцид, использовала наиболее современные из имеющихся технологии, а для немцев такими технологиями были отравляющие газы, которые уже применялись на крысах и напоминали фабрики лагерей смерти, по словам Баумана. Тем не менее преступники народности хуту, виновные в геноциде в Руанде в конце прошлого века, не были настолько современными. У них действительно было некоторое количество автоматов Калашникова, но большинство убийств были совершены мачете. У турок, виновных в геноциде армян в начале прошлого века, также было огнестрельное оружие, но основными орудиями убийства были ножи, удавки и голод. Все они были причастны к совершенно другому лику современности: они были крайними националистами, утверждавшими, что власть народа (демоса в демократии) означает власть их этнической группы (этноса), а остальные этнические группы должны быть насильственно искоренены. Их современность была по сути идеологической и политической.

Важнейшей целью Гитлера стал геноцид. Он отказался от эксплуатации живых евреев как рабов и приказал убить их. Как

мы увидим в главе 14, его ответом на плохие шансы в войне было их усугубление агрессией против еще более могущественных противников. Таким образом, самое простое объяснение гибели фашизма состоит в том, что его убил Гитлер. Другие нацисты, вероятно, смогли бы договориться с прочими немецкими элитами и были бы более осмотрительны. В отличие от моего комплексного объяснения роста фашизма в категориях всех четырех источников социальной власти я только что дал однофакторное (и даже в конечном итоге сводимое к действиям одного человека) объяснение его гибели. Это единственный раз, когда в этой книге я приписываю необыкновенную причинно-следственную власть индивиду. Обычно это не характерно для обществ, но в данном случае, без сомнения, это сыграло большую роль.

Гитлеру также обычно приписывают харизму. Многие партийные лидеры, генералы и прочие утверждали, что входили к Гитлеру, подготовившись оспаривать его политику, и тем не менее уходили убежденными, что он лучше знает, что делать. Что касается рядовых членов нацистской партии, то фильмы о партийных конгрессах в Нюрнберге свидетельствуют, что Гитлер полностью подчинил их себе. Макс Вебер определяет *харизму* как:

качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или по меньшей мере специфически особыми силами или качествами. Они недоступны обыкновенному человеку, рассматриваются как исходящие от божества или образцовые, и на их основе данный индивид считается лидером (M. Weber 1978 edition: I, 241).

Это с очевидностью относится к Гитлеру. И все же уместны три оговорки. Во-первых, кажется слишком большим совпадением то, что не только Гитлеру, но и по меньшей мере двум другим фашистским лидерам (Муссолини в Италии и Кодряну в Румынии) также приписывалась харизматическая власть. Представляется, что Вебера можно критиковать за его акцент на качествах лидера, а не на потребности его последователей верить в лидера. Харизма является не индивидуальным качеством, а отношением между лидером и последователем и в кризисных ситуациях, в которых более рутинизированные формы власти более не кажутся способными представить решения (этот момент Вебер признавал). Во-вторых, на самом деле сама идеология фашизма подразумевала принцип лидерства. Предполагалось, что лидер наделен экстраординарными качествами. Необходимость веры в лидера в фашизме была сильнее, чем в любом другом движении, кроме религиозного, в котором лидеры наделялись божественной властью. В-третьих, харизматические отноше-

ния между Гитлером и нацистами обладали экстраординарным значением для всего мира, тогда как отношения между Кодряну и его легионерами нет, поскольку Германия была великой державой, способной устроить геноцид и сражаться в ужасной мировой войне в течение пяти лет с намного превосходящими противниками. Таким образом, фашистская доктрина и структура власти плюс немецкая военная власть сделали возможным харизматическое воздействие Гитлера на весь мир, которое, к несчастью, было весьма существенным.

БЫЛ ЛИ ФАШИЗМ РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ?

Ответ отрицательный. Во-первых, объединение им всех четырех источников власти было по сути деспотическим, крайне ограничивающим человеческую свободу. Во-вторых, самый могущественный фашистский режим оказался самоубийственным. Враги фашизма победили не потому, что обладали лучшими качествами и не потому, что цивилизация с неизбежностью одерживает верх над варварством, но потому, что их было больше, и потому, что они были лучше вооружены. Без гитлеровской Германии фашизм мог просуществовать гораздо дольше, то же касается и прочих европейских и азиатских правых деспотов. Фашизм заключил сделку с капиталистами, взяв управление всей экономикой в свои руки и позволив капиталистам получать прибыли. Результатом было довольно быстрое экономическое развитие вплоть до того момента, как оно было подчинено целям агрессивной войны. Имело место семейное сходство между фашистским корпоративизмом, организованным сверху вниз, и корпоративизмом скандинавских стран, организованным снизу вверх, который также способствовал экономическому развитию. Фашизм также был хорош в том, что касалось привития национальной гордости; немецкий фашизм был очень хорош в том, что касалось военной мобилизации масс. Вермахт доказал это, яростно сражаясь до самого конца, еще долго после того, как поражение уже стало неизбежным (итальянские солдаты в этом отношении были более благоразумными). Фашизм был идеологией, создавшей жизнеспособную, хотя и чудовищную политику. Без Гитлера и Муссолини он продержался бы гораздо дольше, и то же можно сказать о самом германском нацизме. Я уже подчеркивал, что милитаризм был неотъемлемой частью фашизма, но он не обязательно должен был быть настолько безрассудным. Расизм также был устойчивой тенденцией фашизма, доведенной до предела нацизмом,

к тому же расизм также был самоубийственным, каким он оказался в заморских империях. Обращение с евреями и особенно со славянами сделало их непримиримыми противниками, которые полагали, что никакой компромисс с фашистами невозможен, только их полное уничтожение. Смерть фашизма произошла по собственной воле — необыкновенный пример человеческой иррациональности, фатальной для европейских союзников фашизма. Из европейских правых деспотов только Франко в Испании и Салазар в Португалии соблюдали благоразумный нейтралитет (и не были расистами) в войне, поэтому они просуществовали дольше, хотя и были изолированы.

В конечном итоге фашизм усилил своих врагов. Он помог укрепить социальную и либеральную демократию на Западе и усилил позиции государственного социализма на Востоке. Не следует рассматривать поражение фашизма или любое из усилений его противников как неизбежное, как признак широкого эволюционного процесса. Без Гитлера Советский Союз продолжал бы оставаться в изоляции, Японская, Британская и Французская империи просуществовали бы дольше, а Соединенные Штаты не стали бы мировой сверхдержавой, способной навязывать более универсальную глобализацию по всему миру. Без него, вероятно, в мире имели бы место более долгосрочные, более умеренные формы фашизма и корпоративизма, а также было меньше конвергенции между различными странами мира. Фашизм оказался в арьергарде действий против глобализации, которые провалились.

Сегодня фашизм видится нам чем-то устаревшим, предложившим решения для кризиса, который мог возникнуть только после Первой мировой войны, когда границы между странами продолжали оставаться спорными, военные ветераны организовывали военизированные формирования и классовый конфликт нарастал, а затем разразилась Великая депрессия. Вторая мировая война принесла противоположные результаты — меньше споров о границах, никаких военизированных формирований, революция только в Азии, а на Западе — реформированный капитализм и либеральная и социальная демократия с надежными парламентскими средствами самообновления. Постепенно это распространилось и на большую часть Восточной и Южной Азии; внешне стабильный социализм возник в Советском блоке и Китае; во всем остальном мире прошла деколонизация и умеренные, характерные для третьего мира версии социализма и национализма. Поражение фашизма принесло новый мировой порядок, по сравнению с которым фашистские решения казались более чем неуместными. Его устранение означало экспансию более универсальных глобализаций.

ГЛАВА 11

Советская альтернатива, 1918–1945 годы

УКРЕПЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ социализм представлял собой вторую основную альтернативу демократическому капитализму. Как мы видели в главе 6, революция в России была вызвана неравномерным экономическим развитием, репрессивным, но недостаточно твердым вмешательством государства в классовые отношения и прежде всего поражением в тотальной войне. Большевики, вооруженные революционной идеологией, захватили государство, убили царскую семью, оттеснили религию на задний план, уничтожили капитализм, установили однопартийную систему и протолкнули многие другие перемены — это была настоящая революция. Советскую систему, как правило, называют «коммунизмом», и, хотя это и неверное использование данного понятия (для Маркса коммунизм был обществом будущего, и советское руководство рассматривало коммунизм в качестве финальной цели, а не современного состояния), я также буду использовать это конвенциональное понятие.

Советский Союз представлял собой жизнеспособную альтернативу демократическому капитализму, радикально отличный путь выведения масс на авансцену в индустриальном обществе. Он претендовал на то, чтобы стать глобальным будущим и чтобы эти идеи распространились по всему земному шару, но с переходом от проекта мировой революции к социализму в одной стране он возвел барьеры на пути глобализации. Советский Союз развил индустриальную экономику, хотя и ценой огромных человеческих жертв, до такой степени, что во Второй мировой войне смог превзойти Германию во всех сферах производства оружия. В послевоенный период Советский Союз стал одной из двух мировых сверхдержав. Но при этом Советы отказались от своих первоначальных демократических идеалов. Вебер предвидел это, утверждая, что, если экономическая и политическая бюрократии объединятся под единой государственной

властью, личным свободам придет конец в отличие от тех стран, в которых капитализм и государство разделены. Человек, живущий при государственном социализме, будет иметь не больше возможностей, чем обычные феллахи в Древнем Египте, писал Вебер. Он был прав. Вебер далее утверждал, что это более рациональная бюрократия, чем в Древнем Египте, а потому менее хрупкая (Weber 1978: 1402–1403, 1453–1454). Его аргумент оказался справедливым лишь наполовину. Коммунисты держали государственную власть в своих руках более полувека, их власть казалась непоколебимой, но в конечном итоге она пала в 1990-х гг. На протяжении XX в. Советский Союз представлял собой основной пример революционного изменения, главную альтернативу капитализму, либеральной и социальной демократии, которую обожали или ненавидели по всему миру.

Советы стали оказывать влияние на события во всех уголках земного шара, сначала поддерживая революцию за рубежом, а затем непреднамеренно уменьшая ее шансы. Рабочие движения по всему миру первоначально были очень воодушевлены. Хотя лидеры рабочих движений часто враждебно относились к большевикам, рядовые активисты реагировали на них с энтузиазмом, в основе которого была не столько марксистская идеология, сколько восприятие того, что капиталистическая эксплуатация может быть низвергнута точно такими же людьми, как они сами. Вдобавок имела место значительная поддержка социализма и коммунизма среди интеллектуалов по всему миру. Хотя либерально-демократический и затем социал-демократический капитализм представляли собой доминирующую модель развитых обществ, их продвижение вперед было прагматичным, путем постепенных реформ, в меньшей степени идеологическим, едва ли способным предложить импульс, подобный религиям спасения. Большевики также были антиимпериалистами, что увеличивало их популярность в большей части мира.

Таким образом, после большевистской революции по миру прокатилась волна забастовок, но это также усилило решимость капиталистических и империалистических держав не допустить большевизма. Они предприняли попытки интервенции в ходе Гражданской войны в России, намереваясь сокрушить революцию, однако усталость от войны и необъятные просторы России обусловили их провал. Поэтому они изолировали Советы и собирались ослабить рабочих радикалов внутри своих стран, запятнав их как соучастников коммунизма, который становился все более непопулярным на Западе, однако пока не в колониях и не в развивающихся странах.

К началу 1920-х гг. большевистская революция проявила себя во всей своей неоднозначности. Эта революция была осуществ-

лена несколькими тысячами большевиков, воспользовавшихся неожиданными возможностями, которые открыла война, мобилизовавших небольшой промышленный рабочий класс в преимущественно аграрной стране. Они купили временную поддержку крестьян, узаконив их захват земель, создав множество семейных ферм, которые заметно отличались от их социалистических идеалов. В принципе преданные идее социалистической демократии, они не могли бы одержать победу ни на одних выборах, но они были лучшим вариантом для восстановления порядка в России. Направляемые утопической идеологией спасения, они стремились к полной трансформации общества, но здесь и сейчас они были ограничены постреволюционным хаосом и четырьмя годами Гражданской войны против консервативных сил, которые были намерены защищать свои привилегии всеми необходимыми средствами и на подмогу которым пришли десять иностранных экспедиционных корпусов.

В этих обстоятельствах было бы утопией ожидать от них проведения выборов, признания легитимности враждебных им партий и установления плюралистической демократии. Но возможным было управление через то, что сами они называли пролетарской демократией, которая допускала свободу слова и плюрализм внутри одной Коммунистической партии, а также сохранение демократических Советов на заводах и в жилых районах. Это также позволило бы их главным первоначальным союзникам (левым эсерам и меньшевикам) плюс умножающимся небольшим группкам, таким как демократические центристы («децисты»), «Рабочая оппозиция», «Рабочая правда» и «Рабочая группа», высказываться за альтернативную политику. Исследования на заводах демонстрируют, что рабочие хотели и ожидали этих свобод, но в ходе 1920-х гг. эти группы были подавлены с целью наделить руководство большевиков неограниченной властью. Был возвращен принцип единоначалия в управлении, а также буржуазные специалисты. Рабочие выходили на забастовки, осуждая «комиссарократию», которые были подавлены. Все это подорвало поддержку большевиков со стороны рабочих. К концу 1920-х гг. рабочие, вероятно, предпочли бы сбросить власть большевистской партии (Pirani 2008; K. Murphy 2005).

Деспотический путь был избран потому, что большевики сохраняли свою трансформационную идеологию, несмотря на неблагоприятные условия. Это не была обыкновенная диктатура с ограниченными целями, большевики стремились к тотальной трансформации. Они утверждали, что их деспотическое правление носит лишь временный характер, так как ожидали быстрого распространения революции по всему миру. Все что им

было необходимо, утверждали они, — продержаться до того, как это произойдет. Когда большевики создали свою международную организацию — Коминтерн, ее официальным языком стал не русский, а немецкий; ожидалось, что Берлин станет штаб-квартирой мировой революции. Однако в 1918 г. Берлин их подвел. Затем неблагоприятные условия стали умножаться: до 1921 г. путь им преграждала Гражданская война, принесящая разруху, голод, вынужденные перемещения населения, закрытие фабрик, принудительную конфискацию крестьянской продукции, создание концентрационных лагерей и расправы над теми, кого подозревали в сотрудничестве с врагом. 150 тыс. солдат Красной гвардии в основном из городских фабричных рабочих были направлены для силового захвата крестьянского зерна. Холквист (Holquist 2002) отмечает, что большинство этих действий представляло собой продолжение того, что творилось во время Первой мировой войны, а вовсе не было изобретением большевиков, хотя политика Троцкого во время Гражданской войны была более жестокой, чем все, что происходило ранее в России. Его методы позволили одержать победу в Гражданской войне и принести мир и порядок.

Гражданскую войну иногда представляют в качестве аргумента, оправдывающего деспотизм большевиков. Военная власть была, безусловно, нужна для сохранения революции. Разумеется, она также была необходима и до этого, чтобы осуществить революцию, но теперь большевики провозгласили военный коммунизм и красный террор, которые заманили их в ловушку, поскольку военная власть по определению деспотична. К тому же красный террор также подогревался низовым классовым недовольством. Это была «плебейская война с привилегиями» (Figes 1997: 520–536). Белый террор был еще хуже, особенно по отношению к рабочим, крестьянам и евреям. Победа белых могла бы стать худшей катастрофой, учитывая то, что их лидеры были реакционерами, без какой-либо социальной базы, за исключением вооруженных казаков (Suny 1998: 88–94; Holquist 2002; Raleigh, 2003). Если мы примем во внимание политическое скатывание вправо там, где оно имело место в остальной Восточной Европе в 1920-х гг., то поймем, что белые с большей вероятностью создали бы фашистский, а не либеральный режим. Гражданская война дискредитировала белую альтернативу большевиков, и эта поляризация помогла разрушить более умеренные движения от либералов до эсеров и зеленых крестьянских движений. Те, кто представляет себе более счастливую контрфактическую альтернативу, чем большевизм в виде царского режима, который мог быть либерализован и трансформирован в полудемократическую-полублаго-

пристойную форму капитализма, забывают о суровых реалиях Первой мировой войны, Гражданской войны и идеологической силе божественного права царей по сравнению с хрупкостью русского либерализма. Если бы России удалось остаться в стороне от мировой войны, этот контрфактический идеал мог бы осуществиться, но из-за войн к 1920 г. Россия могла стать лишь белой или красной, и последнее представлялось большинству народа лучшей альтернативой.

Красные одержали победу, но Гражданская война оставила после себя страну, лежавшую в руинах; нехватку продовольствия; коммунистическое государство, пронизанное милитаризмом, террором и лагерями для заключенных; высоко этикетскую экономику военного коммунизма, порождавшую враждебный настрой крестьян, а также рабочий класс, численность которого в результате войн сократилась с 4 до чуть более миллиона человек. Для того чтобы избежать хаоса, теперь было необходимо небольшое смягчение власти, выразившееся в великом прагматическом шаге — Новой экономической политике (нэп), которая была провозглашена в 1922 г. и разрешала независимым собственникам производить товары для рынка. Это было хорошей новостью для крестьянских семейных ферм, мелких производителей и торговцев. Они пошли на компромисс в плане экономической власти, но не более. Несмотря на голод в 1924–1925 гг., нэп помог смягчить народное недовольство и позволил советской экономике конца 1920-х гг. вернуться к уровню 1913 г. Возродились фабрики и рабочие организации. На крупной фабрике, исследованной Мерфи, рабочие выражали свое недовольство, выходили на забастовки, участвовали в бурных собраниях, а также критиковали политику режима примерно до 1926 г. Этот плюрализм носил лишь временный характер. Примерно с 1926 г. профсоюз был подчинен управленцам, а «фабрично-заводской комитет, который во время революции создавался для защиты рабочих, был трансформирован в институт увеличения рабочего времени, повышения производительности и сокращения заработной платы». В условиях подобного институционального контроля рабочие были не способны к организации, и поэтому не было необходимости арестовывать большое количество людей, чтобы обеспечить повиновение. Даже во время первого пятилетнего плана, когда реальные зарплаты рабочих сократились вдвое, сталинистам удавалось держать фабрики под контролем. Большевики сохранили поддержку рабочих внутри партии, и это способствовало укреплению не власти пролетариата, а власти над ним (K. Murphy 2005: 227, 207).

Для женщин этот период был не очень благоприятным, хотя, как провозглашалось, они были освобождены от патриархата.

Многие женщины были уволены с заводов, как только мужчины возвратились с войны или мигрировали из сельской местности. Большевистский режим становился более консервативным в культурном отношении и патриархальным на протяжении 1920–30-х гг. вопреки высокой доле женщин на производстве (E. Wood 1997; Fitzpatrick 1999). Формальная эмансипация через рабочее место без каких-либо изменений в семье увеличила женское «двойное бремя» на рынке труда и в домашнем хозяйстве, поэтому жизнь женщин при коммунизме стала более тягостной, чем была при капитализме. Революция действительно вывела массы на авансцену, но только на второстепенных ролях без слов.

СТАЛИНСКОЕ ОДНОПАРТИЙНОЕ ГОСУДАРСТВО

Большевики были одиноки во враждебном мире. Тем не менее из Гражданской войны и нэпа они вышли с неизменившимися убеждениями в своей способности осуществить тотальную трансформацию. Это, верили они, станет путеводной звездой для всего остального мира. Капитализм будет заменен социализмом, что в России означало коллективный контроль за средствами производства первоначально со стороны элиты однопартийного государства, действовавшей от лица пролетариата. Это должно было привести Россию к модернизации с головокружительной скоростью через форсируемую индустриализацию, которая, как предполагали, приведет к экономическому росту, изобилию, а также равенству между всеми классами, мужчинами и женщинами. Это могло быть сделано только с минимальной оглядкой на существующие институциональные реалии. Возможно, никогда до этого в истории человечества подобное идеологическое представление наподобие религиозного спасения не сопровождалось предполагаемым планом того, как этого достичь. Действительно, между 1928 и 1930 гг. внутри большевистской партии имели место фракционные споры о том, как лучше организовать экономику. Организация отраслей промышленности в синдикаты или тресты, пользовавшиеся определенной автономией от центральных властей, поддерживалась некоторыми членами партии. И все же победу в этих спорах одержали сторонники централизации в союзе со Сталиным. Социализм, по убеждению большинства партии, мог быть достигнут только при помощи всеохватывающего автаркического плана, разрабатываемого сверху и независимого от мировой экономики. Это и был «социализм в отдельно взятой стране»,

который необходимо было построить до мировой революции. Предполагалось, что в конечном итоге мировая революция должна произойти, а пока должен существовать один гигантский заключенный в «клетку» сегмент, сражающийся против капиталистической глобализации.

Так возникла социалистическая версия однопартийного государства. В этом случае, как и в случае с нацизмом, партия и государство не были слиты, а были частично разделены, причем партия доминировала, присматривая за государством на каждом уровне его функционирования, обеспечивая реализацию большинства радикальных политических мер руководства через массовую партию, наделяя ее такой степенью инфраструктурной власти, которая была большой редкостью в развивающихся странах. На самом деле такое положение часто называют *тоталитаризмом* — полным объединением деспотической и инфраструктурной власти. Использование этого понятия имеет свои достоинства и ограничения. Разумеется, большевики, особенно Сталин, стремились установить тоталитарный режим, они также обладали массовой партией, которая могла им в этом помочь. И все же установление такого режима было несовершенным. В любом случае тоталитаризм предполагает бюрократическую и этатистскую систему, чего не было у советского режима. Я предпочитаю добавить понятие «перманентная революция» Троцкого к «однопартийному государству», обозначая тем самым, что радикализация структур партийной элитой продолжалась вплоть до послевоенного периода советской стагнации и упадка (Mann 1996).

Браун (Brown 2009: 105–114) выделяет шесть ключевых черт коммунистического однопартийного государства. Две из них были политическими: монополия власти (авангардная роль) Коммунистической партии и демократический централизм, благодаря которому была возможна предположительно открытая дискуссия внутри партии по политическим вопросам, но после того, как решение было принято, оно проводилось беспрекословно и дисциплинированно через партию и общество. Две черты были экономическими: некапиталистическая собственность на средства производства и командная, а не рыночная экономика, которая также была по сути автаркичной. Две последние черты были идеологическими: легитимность базировалась на строительстве коммунистического общества, которое предполагалось как глобальное, построенное международным коммунистическим движением. Я также хочу добавить, как это делает Фитцпатрик (Fitzpatrick 1999: 3–4), что марксизм-ленинизм был тоталитаризирующей идеологией, основывавшейся на страстной ненависти к «классовым врагам», а также вер-

ности достижению утопических целей, секулярному спасению. Я заменил бы «демократический централизм» Брауна (который не играл практически никакой роли после 1930 г.) на «милитаризованный социализм». Государственный контроль над армией имел место всегда, но модель социализма отчасти возникла из военной организации и дисциплины, хотя и не в такой степени, как фашизм. Список сталинских «принципов правления», составленный П. Грегори (Gregory 2004: глава 3) вполне с этим согласуется: командная система, базирующаяся на колхозах и форсированной индустриализации; подавление взглядов, отклоняющихся от партийной линии; частичное слияние Коммунистической партии с государственной администрацией; запрет политических фракций; подчинение групп интересов всеобъемлющим интересам однопартийного государства; Сталин, находящийся на вершине всего этого как диктатор, разрешающий споры между партийными лидерами. Экономическая система, функционировавшая в рамках этого режима, извлекала продукцию у производителей и возвращала им часть выпущенной продукции в качестве зарплаты. Остальное удерживалось однопартийным государством в качестве «ренды», за счет которой оно могло оплачивать свои расходы, реинвестировать и оплачивать содержание армии.

Это было тоталитарное устройство, сливающее воедино идеологическую, экономическую, военную и политическую власть под контролем элиты однопартийного государства и его диктатора, мобилизующего внушительное количество деспотической и инфраструктурной власти. Сталин не был харизматическим лидером: революционная идеология, а не лидер была источником верности членов партии. Свободы человека оставались крайне скудными, как и при фашизме. Впрочем, на практике этот режим все равно не мог быть тоталитарным. Напротив, он был поликратическим, иногда граничащим с хаосом. Это было отчасти потому, что, хотя разногласия в партии не могли открыто выражаться, серьезные разногласия по-прежнему имели место, порождая проволочки или даже осуществление противоположной политики на местном уровне. Это также происходило в силу отсталого, хотя и стремительно индустриализующегося и урбанизирующегося общества, которому не хватало стабильных инфраструктур для реализации политики. Осуществлять надзор было нелегко. В условиях высокой мобильности населения члены партии могли быстро перемещаться, реагируя на выговор или даже смертельный приговор в одной области переходом на партийную должность в другой области. Существовало бесчисленное количество «мертвых душ», индивидов, пользовавшихся партийными билетами их умерших родствен-

ников и друзей. Около половины ленинградских партийных билетов, проверенных в 1935 г., оказались поддельными или недействительными. Поскольку партбилеты давали привилегии, в которых было отказано кулакам, бывшим царским служащим и многим другим, они высоко ценились на черном рынке. Москва почти не контролировала местные партийные списки. «В 30-х,— пишет Гетти,— партия не была ни сплоченной, ни дисциплинированной. Ее верхние ряды были разделены, организация низших была дезорганизованной, хаотичной и недисциплинированной» (Getty 1985: 37). Расходы на мониторинг были слишком высокими, чтобы то, что было продиктовано сверху, действительно выполнялось снизу. Это потребовало бы создания массивной структуры надзора или стимулирования, чтобы производители могли видеть, что более упорный труд того стоит, но режим сохранял верность снижению неравенства, а не его увеличению через различные стимулы, к тому же он не располагал достаточным количеством лояльных кадров, чтобы все контролировать.

Более того, положение крестьян, рабочих, интеллигенции и административных работников различалось. Классовые различия сохранялись вопреки элиминации прошлого правящего класса, сокращению экономического неравенства, а также тому, что остаточный конфликт между классами теперь был прямым, опосредуемым государством. Партия и государство никогда полностью не сливались. Государственные чиновники развивали некоторую автономию, затем партия урезала ее, прежде чем этот процесс повторялся.

С провалом революционного социализма в Европе и Азии в 1920-х гг. большевики почувствовали себя изолированными и беззащитными. Они полагали, что не могут позволить себе геополитической слабости, которую несли с собой низкие темпы индустриализации при нэпе, поэтому настаивали на централизованной «форсированной индустриализации», в центре которой были оборонные отрасли. Они делали массивные инвестиции в оборонную промышленность, и вооруженные силы временно стали частью сталинской коалиции против других фракций большевиков — возможно, их единственное прямое участие в отношениях политической власти (Shearer 1996; Samuelson 2000; Stone 2000). Это делало более безотлагательным проект, разделяемый большевиками и практически всеми марксистами, приходившими к власти в XX в.: сельское хозяйство было обязано сдавать излишки, чтобы накормить города и субсидировать индустриализацию, но это требовало насильственных мер, направленных против крестьян (P. Gregory 2004: глава 2). Принудительные закупки крестьянской продукции начались

в 1928 г. в ответ на очередной голод, и судьбоносное решение о коллективизации сельского хозяйства было реализовано между 1930 и 1936 гг. Это наилучшим образом вписывается в концепцию «сельского хозяйства с принудительным трудом» Баррингтона Мура.

Атака на крестьян в большей степени, чем изначальная консолидация режима большевиков и Гражданская война, стала решающим шагом по извращению социалистических идеалов. В тот момент это было наиболее систематическим внутренним применением военной власти. Центральной проблемой было то, что к 1919 г. 97% земель находилось в руках крестьян, и 85% из них владели земельными наделами средней величины. Новый крестьянский класс собственников земли очень противился коллективизации и составлял подавляющее большинство советского населения. У режима было два пути: либо он вынужден будет ослабить свои попытки форсированной индустриализации и вступить на более постепенный путь к построению социализма, либо ему придется использовать все возможное военное насилие против крестьян, чтобы достичь своих целей.

Сталин и большинство партийных лидеров выбрали более грубый последний путь: они полагали, что на Западе уже было достаточно реформизма, ведущего в никуда. Русский марксизм в любом случае стремился к индустриализации. Как только индустриализация была бы достигнута, СССР догнал бы Запад и оказался защищенным. Затем могло бы произойти смягчение политики, переход к подлинному социализму, как утверждалось в теории. После изгнания из страны Троцкого сопротивление внутри партии возглавил Бухарин, который хотел продолжить нэп, найти компромисс с крестьянами, а также одновременно развивать сельское хозяйство и промышленность. Однако ему помешало отсутствие сотрудничества со стороны крестьян, а Сталину также удалось перехитрить Бухарина и перетянуть на свою сторону большую часть руководства партии. Бухарин был исключен из ЦК (Service 1997: 169–170). Так был положен конец открытым разногласиям среди партийного руководства. Крестьянское сопротивление было более упорным и насильственным, доходившим в отдельных областях до убийства функционеров Коммунистической партии. Это привело к практически еще одной гражданской войне крестьян против партии и ее основных сил поддержки из промышленных городских центров. К 1930 г. режим развернул широкий контингент тайной полиции и вооруженных формирований «рабочих бригад» для экспроприации земли. Сталин утверждал, что это была атака только на кулаков — класс крупных крестьян-землевладельцев, но на самом деле практически все крестья-

яне сопротивлялись политике коллективизации. Режим принудительно депортировал крестьян с их земель в отдаленные местности. К концу 1931 г. более 1,8 млн крестьян были депортированы в преимущественно безлюдные местности. Около трети умерло от болезней и голода (Viola 1996). Их бывшие наделы были затем реорганизованы в *совхозы* (государственные фермы) и *колхозы* (коллективные фермы). К концу 1931 г. более 60% уцелевших крестьян были в составе этих ферм, лишившись домашнего скота и большинства орудий труда. В колхозах крестьяне могли работать на своих земельных участках лишь часть времени, так же как при классическом средневековом феодализме. Как сказал Левин (Lewin 1985: 183–184), Россия прошла через второе крепостное право, хотя и с единым господином — однопартийным государством.

Цели не оправдывали эти ужасные средства. В результате использования принудительных методов государственные и коллективные фермы никогда не были успешными и представляли собой бремя для экономики. Тщательные подсчеты показывают, что сельскохозяйственное производство упало на 15–30% от своего максимума до коллективизации (Federico 2005: 207). Сельское хозяйство не могло субсидировать промышленность, как планировалось. Напротив, решено было пожертвовать потреблением для субсидирования промышленности, особенно оборонной, которая к 1933 г. требовала непропорционально большой доли дефицитных ресурсов (Stone 2000). Хантер (Hunter 1988) и Р. Аллен (Allen 2004), используя разные методы подсчета, полагают, что если бы нэп продолжился, то к 1939 г. сельскохозяйственное производство было бы на 15–20% выше. Кооперативы в сочетании с частной обработкой земли также могли дать гораздо больше.

Хобсбаум (Hobsbawm 1994: 383) утверждает, что эта ужасная коллективизация «отражает социальные и политические условия Советской России, а не неотъемлемую природу проекта большевиков». На самом деле она отражала и то и другое. Не только в России, но и в других условиях в Китае, Вьетнаме и Камбодже коммунистические партии также избрали принудительную коллективизацию в качестве неотъемлемой меры. Так же после Второй мировой войны поступило большинство коммунистических партий Восточной Европы, хотя все, за исключением Румынии и Албании, позднее смягчили свою политику. На самом деле коллективизация была не только социалистическим идеалом и способом достижения желаемой индустриализации, она также рассматривалась как путь к контролю над крестьянством и уничтожению традиционной сельской иерархии, которая, по убеждению большевиков (вероят-

но, верному), воспитывала классовых врагов. На пути к власти коммунисты часто были прагматиками, но, достигнув власти, точно так же, как и нацисты, все больше становились идеологами, к тому же полагавшимися на военную власть, уверенными вопреки знаниям о социуме в своей способности к тотальной и стремительной трансформации общества через форсированную индустриализацию.

Хотя Сталин собственноручно проводил коллективизацию, мы не можем приписать всю аграрную катастрофу его режиму. Россия уже пережила голод в 1920-х гг., и в 1931–1932 гг. вновь был неурожай. Наступивший в 1932–1933 гг. голод был отчасти следствием природных условий, таких как ослабление растений, заражение вредителями, а также кумулятивного эффекта сокращения продовольственных и семенных запасов, снижающих урожайность ниже уровня прожиточного минимума. В таких условиях неизбежно наступал голод; вина Сталина в голодоморе заключалась в принудительных реквизициях у крестьян. Таугер полагает, что не только последующие историки, но и сам Сталин пренебрегал природными факторами и во всем винил контрреволюционных крестьян. Результатом голодомора 1932–1933 гг. стала смерть 4–6 млн крестьян. Это не был геноцид, направленный или ограничивающийся Украиной, как полагают украинские националисты или недавние исследования Т. Снайдера (Snyder 2010). Голод действительно унес жизни огромного числа людей, но он был не только украинским феноменом, а более широко распространенным явлением, а также следствием плохих урожаев, политических ошибок, местного сопротивления и равнодушия после наступления голода (Tauger 2001; Viola, 1996: 158–160; Service 1997: 202; Davies and Wheatcroft 2004). Некоторое облегчение пришло после урожая 1933 г. и далее, поскольку режим уменьшил принуждение, понизил продовольственные квоты до достижимых уровней, а также дал крестьянам стимулы производить больше продукции. Еще одно смягчение наступило после Второй мировой войны, когда сельское хозяйство наконец перешло к менее принудительному умеренному росту, который в основном был достигнут путем расширения окраинных земель без увеличения производительности труда, что привело к экологической катастрофе. В советском сельском хозяйстве всегда был бардак.

У принудительной коллективизации было одно «достоинство». Крестьяне, оторванные от своих хозяйств, были вынуждены мигрировать в города, где они обеспечивали рабочей силой развитие промышленности. Крестьяне превращались в каменщиков и механиков (R. Allen 2003: главы 5, 186). Потери населения в ходе коллективизации и Второй мировой войны также

сочетались с успехами советской политики в области образования женщин, здравоохранения и развития промышленности, что привело к раннему демографическому переходу к низкой рождаемости. Это предотвратило нормальный для развивающихся стран взрывной рост населения, который обычно сводил на нет экономические завоевания (Allen 2004: глава 6). Обычно мы не относим Советский Союз к развивающимся странам — это второй, а не третий мир, но это само по себе было советским достижением.

Военная модель принудительной централизации была также применима к промышленности. Принцип единоначалия в управлении, подкрепленный партийными профсоюзами, обеспечил значительный контроль над трудом. Режим обеспечил полную занятость, что было уникальным явлением для мира в то время, а профсоюзы распределяли социальные пособия и жилье, что было уникальным для развивающейся экономики. Рабочим постоянно говорили, что это их государство, и они действительно получали от него больше, чем крестьяне. Ограниченная производительность труда могла достигаться благодаря смеси идеологических призывов и принуждения. «Планирование» вызывает в воображении образы бюрократии, стабильности и, возможно, инертности, но эти тенденции постоянно подрывались, «революционизировались» массовыми мобилизационными кампаниями, когда рабочие направлялись на героические проекты — строительство гигантских сооружений, шахты или промышленные объекты в отдаленных регионах, где условия часто были экстремально суровыми. Героические проекты также наносили самый тяжелый вред окружающей среде в наше время (см. том 4). Это был гиперактивный режим, способный мобилизовать коллективную приверженность через смешение идеологической и военной власти, осуществляемой не регулярной армией, а через разветвленную сеть службы безопасности НКВД. Вооруженные силы держали на расстоянии от государства, а служба безопасности (своего рода преторианская гвардия) следила за однопартийным государством. Ее глава был обычно правой рукой Сталина.

Основные материальные стимулы (такие как жилье) достигались только через тяжелый труд и лояльность. Изредка рабочие могли коллективно сопротивляться, особенно в провинциальных областях, где доминировала одна отрасль, но им следовало быть осторожными и не выходить за рамки петиций или демонстраций, чтобы не накликать беду на свою голову. Гораздо чаще облегчение могло иметь скрытые источники, когда рабочие и местные управленцы вступали в неформальные союзы против государства и его планов. Придерживание рабочей

силы было одним из способов, с помощью которого управленцы могли достигнуть своих показателей, и рабочие могли довольствоваться полной занятостью на местном уровне. П. Грегори (Gregory 2004: 268–272) пишет, что командная экономика покоилась на «гнездовой диктатуре», иерархии диктаторов, уходящей вниз от Сталина, Политбюро и Госплана через тысячи мелких диктаторов к главам заводов и фабрик. Если рабочие упорно трудились и не лезли куда не следует, то ничего ужасного с ними не случалось.

Интеллектуалам жилось лучше, но только при условии, что они не выходили за рамки официальной линии партии. Сталин уничтожил интеллектуалов — убежденных приверженцев марксизма, а также культурный авангард, который расцвел в первые послереволюционные годы. Они были слишком независимыми, их идеи слишком подрывными, но интеллектуалы занимали в России важное место, и Сталин желал сохранить их в качестве украшения режима, а также использовать для развития науки, техники и повышения грамотности. Наделав их хорошими зарплатами, высоким статусом и некоторой автономией в престижных и научных институтах, он гарантировал их лояльность — от них лишь требовалось, чтобы предисловия к своим работам они начинали с общих хвалебных слов в адрес социализма. Интеллектуалы в советские времена оставались материально привилегированными и в массе своей аполитичными.

У технических и административных работников условия жизни опять же были иными. Реальное планирование во всех секторах промышленности в такой огромной стране, как Россия, потребовало бы огромного бюрократического аппарата, выходящего далеко за рамки имеющихся ресурсов. На практике экономическое планирование всего лишь диктовало сверху вниз агрегированные целевые показатели и квоты, и даже они были предметом постоянной борьбы и торга между различными министерствами, местным руководством и директорами заводов, которые затем стремились выполнить эти планы как можно лучше. П. Грегори пишет, что реальное планирование означало, что «практически все экономические отрасли базировались на том принципе, что в этом году хозяйственная деятельность будет эквивалентна прошлогодней плюс минимальная корректировка». Низшие уровни этой системы по своей природе сопротивлялись инициативе (Gregory 2004: 271). Тем не менее универсальная приверженность «минимальным корректировкам» наделяла эту систему способностью к медленному, но устойчивому росту. Обладатели технических навыков также пользовались некоторой степенью автономии, поскольку

ку партийной иерархии не хватало знаний, чтобы вести за ними строгий надзор.

После того как Сталин стал вводить нормирование и особые привилегии для ценных людей, возникла известная коррупционная система *блата*. Леденева (Ledeneva 1998: 37) определяет ее как «обмен „услугами доступа“ к ресурсам в условиях экономики дефицита и государственной системы привилегий». Дела вершились путем постоянного обмена услугами через неформальные сети, пересекавшие формальные иерархии. Об услуге обычно просили не для себя, а для кого-то еще из круга друзей и родственников просящего. Затем позднее оказывалась ответная услуга. Это был опосредованный обмен услугами (не деньгами), поэтому он создавал большие неформальные клики сотрудничества. Он был особенно широко распространен в 1930-е гг. среди чиновников в качестве пути выполнения норм и целевых показателей неформальными методами (после смерти Сталина блат способствовал в большей степени получению дефицитных потребительских благ). Пятилетние планы режима были в основном пропагандой, на самом деле экономика функционировала на основе менее формальных представлений, которые вплоть до 1937 г. имплицитно принимались режимом (Fitzpatrick 1999: 4; Easter 2000; P. Gregory 2004: главы 5, 6; Davies 1996). Это не была тоталитарная система, некоторые утверждают, что это был хаос (Davie, 1989: глава 9; Getty 1985: 198), хотя это преувеличение. Как пишет Истер (Easter 2000), не следует рассматривать неформальные сети как всецело разрушающие систему, напротив, скорее они помогли этой системе работать. Важно подчеркнуть, что это не была просто коррупция, когда материальные ресурсы, вычерпываемые сверху, просто понижают производительность. Как и прочие режимы с высоким уровнем идеологической компоненты (в этом и следующем томе я привожу в качестве примера таковых и социалистические, и националистические режимы), советское руководство меньше воровало и обеспечивало больше общественных благ, чем большинство руководителей развивающихся стран. В фискальном отношении они были довольно честными.

Для потенциальных тоталитаристов, таких как Сталин, система блата оставалась источником непрекращавшегося раздражения из-за того, что он в действительности не контролирует все однопартийное государство. Когда дела шли не как предполагалось, он мог либо предложить больше стимулов, либо усилить принуждение. Сталин сделал выбор в пользу последнего, и это вылилось в деспотичный террор, который был крайне деструктивным для однопартийного государства.

СТАЛИНСКИЕ ЗВЕРСТВА

Сталин и Политбюро были раздражены несоответствиями тоталитарной модели. Она не работала так, как предполагалось. Сам Сталин страдал болезненной, параноидальной неуверенностью в своей безопасности, но большевистская верхушка в целом придерживалась радикальных взглядов, когда однопартийное государство провалилось. Во всех трудностях они обвиняли политическую оппозицию и саботаж. Даже прохладное отношение к работе обозначалось не иначе как «вредительство» врагов народа. Искоренение врагов стало основной целью в 1930-е гг. Поскольку Сталин не доверял военным (что стало очевидным из его чисток), он полагался в осуществлении этих целей на тайную полицию, особенно на НКВД. Он стал преторианской гвардией Сталина, защищавшей его от диссидентов, армии и даже самой партии, смещением военной и полицейской власти. Роль, сыгранная НКВД, была еще одним доказательством в пользу того, что советское государство в действительности не было тоталитарным, напротив, оно управлялось по принципу «разделяй и властвуй», когда общий порядок обеспечивался террором.

Одним из методов насильственного контроля было расширение масштабов применения принудительного труда. К 1936 г. более 800 тыс. человек стали заключенными трудовых лагерей, где преступники, управленцы и рабочие, которые не смогли выполнить нормы выработки, работали до полусмерти на инфраструктурных проектах. Тысячи людей погибли. Самыми печально известными лагерями были те, которые участвовали в масштабных работах по строительству канала, соединяющего Белое и Балтийское моря. Однако эта система рабского труда никогда не была прибыльной, напротив, она забирала здоровых рабочих и превращала их в инвалидов. Ее создание было мотивировано не столько прибылью, сколько желанием репрессировать «антисоветские элементы», которые подозревались в подрыве социализма. Некоторая доза радикального средства могла стимулировать других работать усерднее (Khlevniuk 2004: 200, 332).

Затем Сталин и московская *номенклатурная* элита обратились к вредителям и классовым врагам внутри самой партии — «врагам с партбилетами» (что затем сделал и Мао). Это в целом было характерно для левых однопартийных государств, а не фашистских режимов, которые были значительно более товарищескими. Сначала террор был направлен против бывшей оппозиции и всех, кого можно было назвать троцкистами. Террор был зигзагообразным, без какого-либо последовательного и устойчивого политического направления. Людей арестовы-

вали, затем отпускали, затем вновь арестовывали. Сначала это распространялось только на средний уровень руководителей однопартийного государства; ни один член ЦК не подвергался аресту до середины 1937 г. Затем элита потеряла свою сплоченность, и всецело воцарилась сталинская паранойя, разросшаяся до масштабов большого террора — братоубийства внутри однопартийного государства, направленного против его высших эшелонов, включая в 1938 г. членов Политбюро. Теперь это был «организованный из центра хаос», пишут Гетти и Наумов (Getty and Naumov 1999: 583), бесконтрольно распространявшийся на нижние эшелоны на большей части страны (ср. Easter 2000; Lupher 1996). Партия разрушалась обвинениями в сговоре и саботаже с неимоверным числом арестов — 1,5 млн человек и 700 тыс. казненных, включая практически всех старых большевиков, которые совершили эту революцию, плюс множество молодых убежденных социалистов. В слабо организованной партии чистка была беспорядочной, что подразумевало большой элемент везения для выживания тех, кто находился ниже высшего эшелона. Это вызвало опустошение в офицерском корпусе Вооруженных сил, а также в Центральном комитете партии, где около 70% были репрессированы. Номенклатура (высшие чиновники однопартийного государства) насчитывала 32 889 членов в начале 1939 г., но 14 585 из них были назначены лишь с 1937 г., что свидетельствовало о масштабах чисток, а также было знаком для Сталина, что радикализация и НКВД наконец обеспечили лояльную элиту (Service 1997: 236). Вооруженные силы были подчинены партии, а точнее ее службам безопасности.

Эти три великих зверства (депортация и голод, концентрационные лагеря и большой террор) первоначально резко контрастировали с советским обращением с национальными меньшинствами. Большевики противостояли царскому империализму и знали, что великорусский шовинизм, доминирование этнических русских оставались угрозой для развития относительно бесклассового общества. Во время революции и Гражданской войны большевики заключили союзы с множеством народных движений сопротивления среди национальных и языковых меньшинств, которых насчитывалось более ста. Такое сотрудничество вылилось в специфическую национальную политику. Решения по основным вопросам, с которыми сталкивался весь Советский Союз, принимались в Москве, и провинциальные службы безопасности также держались под строгим централизованным контролем, чтобы предотвратить возможное появление национального сепаратизма. Но иными местными и региональными полномочиями наделялись партийные

кадры, набранные из представителей нерусских национальностей, и эти национальности были наделены собственными региональными территориями и органами власти. Их различные культуры и языки также получили поддержку. Эта щедрая политика была усилена в конце 1920-х гг. культурной революцией, нацеленной на подавление культуры этнических русских.

Большевики были убеждены, что национализм является завуалированной формой классового по сути недовольства, которое было вызвано колониальной природой царского государства. Они исходили из того, что национализм является стадией развития всех народов, которую необходимо пройти, прежде чем они смогут достичь интернационализма, поэтому ожидали, что национализм в СССР постепенно отомрет. Они были настолько спокойны в этом вопросе, что ввели так называемые программы «предоставления преимущественных прав» (*affirmative action*) в интересах этнических меньшинств, разрешив им контролировать республики и районы, в которых они были большинством. Сталин сам был связан с этой политикой, когда был комиссаром по делам национальностей. Но эта политика стимулировала национальные идентичности и в конечном итоге стала одним из факторов развала Советского Союза. В контексте 1920-х и начале 1930-х гг. эта толерантная антиимпериалистическая политика представляла собой разительный контраст расизму, который по-прежнему доминировал в Британской и Французской империях, — контраст, который отметили для себя националисты третьего мира.

Однако все изменилось в 1930-х гг., когда советское руководство стало опасаться национализма украинцев — самого крупного меньшинства. Затем, поскольку угроза Гитлера и японцев все отчетливее давала о себе знать, оно стало бояться национализма в приграничных странах, например советские этнические немцы могли стать гитлеровской пятой колонной в Советском Союзе, вместо того чтобы улучшить просоветские настроения в Германии. Сталин отреагировал на немецкую угрозу и неспособность Запада ответить на его инициативы подписанием пакта о ненападении с Гитлером (см. главу 14). Это позволило Советам занять балтийские государства и половину Польши в качестве буфера против Гитлера, однако это имело имперские последствия. Поскольку в Польше и Балтии было очень мало коммунистов, эти вновь приобретенные республики стали управляться этническими русскими, что, как понимали и сами большевики, разжигало национализм среди местного населения.

Поскольку геополитические угрозы росли, Сталин неминуемо пришел к заключению, что он не может отталкивать русских, наделяя привилегиями меньшинства. Поэтому он повернул

свою политику вспять и использовал русский национализм для укрепления обороны, совершая зверства против меньшинств, которые предположительно могли быть связаны с врагами России за рубежом. Первые два всплеска депортации контрреволюционных национальностей, таких как немцы, поляки, белорусы и корейцы, прошли в 1935 и 1937 гг. В ходе Второй мировой войны было еще больше депортаций, в основном против кавказских народов, таких как чеченцы. Некоторые группы кавказцев действительно сотрудничали с немцами, но депортация значительно большего количества людей была частью сдвига сталинского режима от советского интернационализма к великорусскому национализму (I. Martin 2001; J. Smith 1999). В центре этого перехода — зверства против национальных меньшинств, то есть четвертый этап сталинских зверств.

Все четыре типа зверств прошли в виде волны, которая постепенно сходила на нет. Уцелевшим депортированным кулакам дали гражданские права, с заключенными стали лучше обращаться, Политбюро остановило террор, и предположительно опасные меньшинства были рассеяны. Сталин, по-видимому, учился на своих ошибках, и он всегда был внимателен к признакам сопротивления среди рабочих. Тайная полиция информировала его о настрое рабочих, и он справлялся с локальным сопротивлением путем либо увеличения местного социального обеспечения, либо сокращения национального реинвестирования и, напротив, увеличения потребления, как в 1934 и 1937 гг. (P. Gregory 2004: глава 4). И все же кумулятивный эффект от этих форм принуждения был огромным. К 1941 г. около 4 млн человек были узниками лагерей Гулага и еще 2 млн были направлены на исправительные работы (Mann 2005: 323–330; Khlevniuk 2004; Getty and Naumov 1999: приложение 1).

Затем война прервала эту политику, за исключением политики, проводимой в отношении национальных меньшинств. Страх по поводу сотрудничества кавказских народов с немцами привел к дальнейшим депортациям, которые продолжались даже после того, как Советский Союз начал одерживать победу в войне. Ссылаясь на войну, Сталин пытался избавить Россию от проблем с пограничными народами. После войны аресты возобновились, хотя и с меньшим количеством смертельных исходов. Освобождение в 1945 г. Восточной Европы Красной Армией и последующее господство русских усилили советский империализм. Балтийские республики были силой включены в состав Советского Союза, а признаки национального недовольства на Украине и в Белоруссии были безжалостно подавлены. Отныне существовали два различных западных имперских пояса: западные части Советского Союза управля-

лись напрямую, их держали в повиновении под страхом того, что инакомыслие будет жестоко подавлено; Центральная и Восточная Европа представляла собой внешний пояс косвенной империи, управляемой советскими властями через номинально суверенные государства, элиты которых пользовались ограниченной автономией. Социалистический интернационализм исчез, когда Советский Союз с опозданием стал империей в своих западных зонах.

Ранние оценки сталинских зверств, предложенные Конквестом, Раммелем и другими авторами, указывали общее количество жертв — 30 млн. Современные исследователи дают гораздо более скромные оценки в диапазоне 8–10 млн, что, несомненно, также ужасно. Большинство сталинских зверств представляют собой смесь намерения, неумелых действий, безжалостности и непреднамеренных последствий, что делает понятие «тоталитаризм» не очень уместным применительно к этому контексту. Как отмечает Сервис (Service 1997: 241–253), Сталин был верен тоталитарным целям, к которым его подталкивала собственная паранойя, и его рука чувствовалась во всех высших эшелонах, принимавших политические решения. И все же, хотя политика, разумеется, была спровоцирована именно Сталиным, ее реализация выпадала из его поля зрения. Сервис заключает: «Поставленные цели были настолько амбициозными, что даже их половинчатое достижение было чудовищным». Центр насильственно депортировал и бросал в тюрьму массы людей, не думая о том, как с ними будут обращаться в местах назначения. Местные чиновники («маленькие Сталины») и народные силы брали дело в свои руки и выполняли грязную работу.

Но работал ли этот террор? Трудно сказать. Сталин и его клика пользовались интенсивной деспотической властью, которая изначально подорвала инфраструктурную власть однопартийного государства. Режим чуть было не распался, но этого не случилось. Уцелевшие партийные чиновники строго придерживались сталинской линии, точно так же поступили и государственные управленцы. Производительность вновь стала расти, и военная промышленность восстановилась настолько, что через пять лет смогла одолеть Гитлера. Это был режим, укомплектованный на всех уровнях управленцами, которые были вынуждены находить скрытые средства, чтобы выполнять планы и достигать намеченных целей, и которые часто преследовали собственные интересы и враждовали друг с другом. Сталинская паранойя была отчасти побочным продуктом структуры, которую он сам возвел. Поскольку практически каждому было что скрывать, их поведение часто вызывало подозрение. Региональные и областные чиновники не упускали возможности ликвидировать сво-

их соперников и врагов; крестьяне сопротивлялись форсированной индустриализации, пряча или поедая свое зерно и скот; некоторые национальные меньшинства симпатизировали немцам или японцам; существовала небольшая оппозиция внутри самой партии, даже включая контакты с такими изгнанниками, как Троцкий (Thurston 1996: 25, 34, 50–53). Все это придавало террору его собственную динамику, независимую от Сталина. Лояльная полицейская иерархия подвергалась огромному давлению, выполняя поставленные перед ней задачи по аресту большого числа предполагаемых контрреволюционеров. Ей трудно было отыскать достаточное количество контрреволюционеров, но она продолжала верить, что реальный заговор действительно должен где-то быть. Как сказал один полицейский: «Чтобы найти один грамм золота, необходимо просеять тонны песка» (цит. по Thurston 1996: 83). К тому же некоторые зверства поддерживались народом. Большинство коренного городского населения было убеждено, что крестьяне скрывают свою продукцию, поэтому многие рабочие помогали в репрессиях против крестьян. Более того, рабочие продолжали по инерции высказывать поддержку режиму, который правил от их имени.

Трудно оценить уровень народной поддержки режима, поскольку не было никаких выборов, опросов общественного мнения или открытой демонстрации мнений. Но определенно некоторая народная поддержка террору была, проявляясь в широко распространенном обличении чиновников как контрреволюционеров. Советские граждане испытывали фундаментальное противоречие: им постоянно обещали лучшее будущее, тем не менее прямо сейчас они испытывали угнетение. В результате развилось поляризованное квазиклассовое сознание, проводящее разграничение между «мы» — народом и «ими» — новой коммунистической элитой. Обычные люди любили изобличать эту элиту и всех остальных, кто им не нравился. Крестьяне были особенно рады отомстить чиновникам, которые их эксплуатировали, и даже когда их осуждали и арестовывали, жалко заявляли, что в их случае допущена ошибка. Некоторые коммунисты подписывали ложные признания, по-видимому полагая, что это пойдет на благо революции. Другие подписывали потому, что чувствовали вину за сомнения в сталинской политике или потому, что участвовали в хитроумных аферах.

Имел место весь спектр стадий между абсолютной лояльностью и категорическим несогласием, и большинство людей занимали ту или иную стадию, путаясь и часто сбиваясь с толку. По-прежнему сохранялась широко разделяемая вера в идеалы революции в сочетании с разочарованием в существующем режиме. Тогда еще не было всеобщего цинизма. Идеология все

еще властвовала, обеспечивая повиновение (Thurston 1996; R. Davies 1997; Kotkin 1995; Fitzpatrick 1999; различные эссе в Fitzpatrick 2000). Например, текстильщики обличали эксплуатировавших их чиновников в марксистских классовых категориях, и до тех пор пока рабочие использовали этот язык в своих петициях и демонстрациях и не начинали грабить местные партийные учреждения, они могли получить уступки от режима (Rossman 2005).

Но в какой степени это касалось личности Сталина? Доживи до этого Ленин или стань генеральным секретарем партии Троцкий, все было бы иначе? Большинство исследователей говорят, что Ленин бы не одобрил ни террора внутри партии, ни массовых депортаций и что сам уровень зверств был во многом обязан именно Сталину и его кругу. Советский режим был бы партийной диктатурой вне зависимости от того, кто его возглавил, и однопартийный режим изначально не способствует плюрализму. Если мы посмотрим на коммунистические режимы, которые стремились к форсированной индустриализации фундаментально аграрных обществ, то обнаружим только однопартийные государства с крайне малым количеством плюрализма внутри. Мы не найдем различий в уровне зверств. Мы обнаружим лидеров хуже Сталина в Камбодже; другой лидер — в Китае совершил по количеству жертв еще большее зверство — «Большой скачок» Мао вместе с крупной беспорядочной партийной чисткой, культурной революцией и ее подавлением. Мы увидим, что третья группа лидеров — во Вьетнаме совершила меньше зверств. Четвертая — в Северной Корее выглядит крайне жестокой и неудачной. Вполне возможно, что самым умеренным режимом в коммунистической семье была Куба, но режим Кастро не предпринимал попыток форсированной индустриализации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Фундаментальной проблемой коммунизма было то, что он пришел к власти в аграрных обществах, но его непоколебимой идеологической целью была стремительная индустриализация. И эта цель могла быть достигнута только путем извлечения большего количества прибавочного продукта у крестьян, которые всегда составляли подавляющее большинство населения, и затем понижения уровня зарплат, поскольку капитал для инвестирования в промышленность можно было отыскать только за счет сельского хозяйства и зарплат. Поэтому стремительная индустриализации не могла не быть крайне насильственной, извращением социалистических идеалов демократии. Эконо-

мический идеал отменял политический идеал, что можно было ожидать от режимов, воплощавших марксистский материализм. Вопрос состоял лишь в том, как много зверств будут сопровождать это принуждение, и в этом отношении режимы различались. Как и в случае с фашизмом, хотя и в меньшей степени (поскольку в теории социализм не благоговел перед лидером), лидер в деспотических системах также играл важную роль. Большой удачей было то, что Мао был способен учиться на своих ошибках. Кастро был милосерднее других коллег-вождей. И хотя Ленин мог быть мягче Сталина, а параноя последнего особенно злокачественной, идеалы Ленина (и Троцкого), вероятно, в любом случае загнали бы их в западню форсированной индустриализации, деспотизма и по крайней мере некоторых зверств.

Все это следует рассматривать в контексте. В межвоенный период демократия отступала по всем фронтам, за исключением богатых стран. Основным альтернативным идеалом на востоке Европы была не демократия, а правый деспотизм. Русский народ сверг царскую версию деспотизма, и мало кто хотел ее возвращения. Многие (возможно, даже большинство) полагали, что коммунизм, даже сталинизм, является лучшей политической системой, какую только они могли получить. Как и в большинстве форм политических режимов (включая демократию), люди жили собственными жизнями, использовали сети доверия родственников и друзей, чтобы неформальным образом сделать жизнь немного лучше, и избегали политики. Если они поступали таким образом, они могли надеяться на получение небольших привилегий, которые раздавал режим.

Возможно, основной причиной, по которой режим пользовался поддержкой, был его успех в достижении двух основных целей: индустриализации и защиты родины. В плановой экономике, которая на самом деле не функционировала по плану, было нетрудно обнаружить борьбу за сферы влияния, недостатки, узкие места и прочие виды плохо сделанной работы. И все же эта якобы разваливавшаяся версия форсированной индустриализации приносила экономический рост. Какой именно — об этом идут горячие споры, но межвоенный период не был временем большого успеха Запада. Капиталистические экономики были довольно застойными, и большинство из них испытывало спад во время периода Великой депрессии. Советский Союз изолировался от этого. К тому же продолжал увеличиваться разрыв между немногими богатыми экономиками и остальным миром, погрязшим в нищете.

В сравнительной перспективе представленная в обобщенных статистических показателях с 1928 по 1970 г. советская эко-

номика показывала неплохие результаты, хотя мы не можем быть до конца уверенными в них из-за часто неадекватной и нечестной государственной статистики. Ее средние темпы роста — около 4% превышали темпы роста любой другой страны в мире, за исключением Японии и ее колоний. Даже если мы выразим скепсис относительно советских данных и сократим рост, скажем, до уровня 2,5–3%, все равно это будут едва ли не лучшие показатели. Они также подкрепляются статистическими данными по ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Между 1900 и 1950 гг. эти показатели удвоились, продолжительность жизни возросла с 32 до 65 лет — темпы увеличения больше, чем в любой другой стране (Maddison 2001: табл. 1–5А). Как мы видели в главе 4, Япония также вовсе не была демократическим обществом, еще в меньшей степени им были ее колонии.

У советского и японского успеха была причина: государственное планирование эффективно в странах догоняющего развития, по крайней мере на этапе их индустриализации. Если бы только элиты этих стран могли на опыте других определить, какие институты необходимы для индустриализации, то центральное планирование могло быть эффективнее рыночной конкуренции, особенно если государство было относительно не коррумпировано и не слишком снимало сливки сверху. С ростом корпораций на Западе в любом случае было больше планирования в рамках более крупных экономических единиц. Если бы царский режим продолжил существовать, маловероятно, что он смог бы достичь таких уровней роста, утверждает Пол Грегори (Gregory 1994: 136–137), поскольку, как отмечает Р. Аллен (Allen 2003: 33–46), экономический рост при царском режиме сильно зависел от высоких цен на пшеницу, а цены на пшеницу и прочие сырьевые товары рухнули после Первой мировой войны. Кроме того, маловероятным был как рост производительности в сельском хозяйстве, так и значительный рост промышленности, учитывая вероятный коллапс сельского хозяйства. Аллен (Allen 2003: 33–46) также полагает, что следует сравнивать подобное с подобным — советские республики с их несоветскими соседями. Советская Средняя Азия и республики Северного Кавказа были беднейшими регионами Советского Союза, но ВВП на душу населения у них был заметно выше их соседей — Турции, Ирана и Пакистана. Сельское хозяйство оставалось великой советской слабостью, но тяжелая промышленность была сильной стороной, особенно в 1930-е гг., когда годовой уровень роста составлял 12%. В 1932 г. Советы были вынуждены импортировать 78% станков, через пять лет импортировали лишь 10% станков.

Большая часть этого роста реинвестировалась в тяжелую промышленность, особенно в оборонную, которая быстрыми темпами развивалась в 1930-е гг., поскольку угроза, исходящая от Германии, Японии и Британии (в глазах Сталина), росла. Только в 1960-е гг. значительная часть прибавочного продукта была направлена в отрасли, производившие потребительские товары. Однако между 1928 и 1937 гг. наблюдалось улучшение в потреблении на душу населения среди горожан, что, как утверждает Аллен (2003: глава 7), переносимо на уровень национального потребления в целом. Однако Марк Харрисон (Harrison 1994) утверждает обратное. По всей видимости, реальные зарплаты мужчин снизились, а занятость женщин значительно возросла, но с еще более низким уровнем зарплат. Хотя средняя зарплата отдельного работника упала, это компенсировалось двумя зарплатами (в семье). Во-первых, соединение мужских и женских зарплат приводило к чуть более высокому уровню доходов домохозяйств; во-вторых, Советский Союз снизил уровень безработицы практически до нуля (что, по мнению западных экономистов, вело к неэффективной сверхзанятости). Карточная система прекратила свое существование, и квалифицированные рабочие смогли зажить комфортно, но главным благом (а возможно, и главным достижением коммунистических режимов) было образование. Советские граждане стали высокообразованными и грамотными, более чем в сопоставимых развивающихся капиталистических странах. В Советском Союзе также была адекватная система здравоохранения. Начиная с 1937 г. были запущены большие программы по строительству жилья. Все это предназначалось для того, чтобы избежать массового недовольства. Антропометрические показатели здоровья населения демонстрировали улучшение, а такими данными, в отличие от статистики по ВВП, не так легко манипулировать. Продолжалось сокращение смертности, увеличение среднего роста людей, а также раннего физического созревания среди детей — показатели лучшего здоровья в абсолютном выражении и относительных по сравнению с современным опытом большинства других стран (Davies and Wheatcroft 2004). Это был долгий путь от обещанной утопии, которая продолжала откладываться, но это был явный путь материального улучшения (Sunny 1998: 240–250).

В Советском Союзе было достигнуто нечто противоположное трем стадиям гражданства Маршалла. Советское население получило некоторое социальное гражданство (для Маршалла это была последняя стадия), не пользуясь правами политического или гражданского (правового) гражданства. У Советского Союза было два положительных качества, присущие большин-

ству высоко идеологизированных левых однопартийных государств: относительная честность и искренняя приверженность к экономическому развитию. Эти достоинства проявляли себя не только на самой верхушке, но и во всех эшелонах партии. Лишь небольшая часть прибавочного продукта разворовывалась в ходе коррупционных отношений, гораздо большая часть, особенно по сравнению с большинством развивающихся стран, шла на реинвестирование и общественные блага. Как мы уже убедились, этого нельзя было сказать об идеологизированных партиях фашистских правых. Тем не менее в томе 4 мы увидим, что подобные качества позднее также проявлялись в гораздо более умеренных националистических режимах, будь то левых, центристских или правых.

Агрегированные статистические показатели скрывают неравномерность развития. Хотя советскому режиму удавалось держать неравенства на достаточно низком уровне, хуже всего приходилось сельскому населению; напротив, квалифицированным рабочим, недавно трудоустроенным женщинам и мигрантам из сельской местности в города жилось сравнительно неплохо. Индустриализация и урбанизация принесли вертикальную мобильность для миллионов, и в результате строительства социального жилья, социальных выплат и занятости, обеспечиваемых государством, большую часть лавров получил режим. Но ирония истории на этом не заканчивается. Как мы видели, многие из этих мигрантов пришли в движение в результате сталинской политики принудительной коллективизации. Уровень безработицы сократился, но частично из-за смертей, вызванных действиями режима. Росту промышленности до некоторой степени способствовал большой объем импорта передовых технологий из Британии и Соединенных Штатов, оплачившийся за счет экспорта зерна и лесоматериалов, в которых советский народ крайне нуждался. Более того, как отмечает Уиткрофт, большинство людей, вероятно, не чувствовали постепенного улучшения, поскольку развитие постоянно перемежалось с голодом, дефицитом продуктов, вызванным провалами планирования, массовыми зверствами и, наконец, войной. Общие экономические вклады могли выглядеть весьма неплохими, но реальная жизнь была очень разной и полной горькой иронии. Лучшее всего жилось членам партии, но при этом они больше остальных были уязвимы для большого террора. Однако из перечисленного выше не следует, что сталинизм был необходим для роста. Принудительная коллективизация была экономически вредной и по сути ужасной. Единственный позитивный результат коллективизации — трудовая мобильность — мог быть достигнут мень-

шей ценой. Другие зверства не сыграли никакой положительной экономической роли. Сталин мог бы сделать все намного лучше.

Аллен (Allen 2003: глава 8) дает самое убедительное объяснение советского роста. Он выделяет две основные причины. Во-первых, инвестиции шли в основном в тяжелую промышленность и были внутренне защищены в рамках автаркичной экономики. На этом этапе развития мировой экономики протекционизм работал, что также продемонстрировала Япония. Во-вторых, установление высоких целевых показателей выпуска продукции в сочетании с мягкими бюджетными ограничениями означало, что, поскольку первичным был выпуск, а не прибыль, государство предоставляло банковские кредиты для того, чтобы поддержать платежеспособность и производительность фирм. В такой системе депрессия была невозможна. Государственное планирование брало верх над рыночными соображениями, в частности над нормальной стратегией развития этой эпохи — экспортом сырьевых товаров и импортом оборудования. Этатистская версия социализма работала, точно так же как этатистская версия империализма работала в Японии этого периода.

Сталинизм был ограниченным экономическим успехом, за исключением сельского хозяйства, но при этом политическим и идеологическим кошмаром — ухудшенной версией достижений неравной власти в Японской империи, представленных в главе 4. Быстро обнаружилось, что социализм в качестве экономического проекта является недостижимой утопией в огромной отсталой стране, такой как Советский Союз, если целью была модернизация через форсированную индустриализацию, как интерпретировали Маркса в XX в. Режим, цепляясь за свою секулярную идеологию спасения, реагировал на это противоречие безжалостным насилием против крестьян и множеством заранее не запланированных отвратительных практик. Все это практически не имело никакого отношения к социализму, напротив, это был явный социалистический кошмар, извращение социалистических идеалов, однопартийная диктатура не пролетариата, а над пролетариатом (а также над всеми остальными). В узко экономических категориях результаты (если вас не убили или не депортировали) были неплохими. Для отсталой экономики соотношение сытых к голодающим было прекрасным, то же касалось уровня здоровья и грамотности населения. Поэтому в этот период наиболее очевидным провалом большевиков была не экономическая, а политическая и идеологическая власть. Они полунепреднамеренно создали чудовищную диктатуру, абсолютно обратную социалистическим идеалам, в своих худших проявлениях совершавшую массовые зверства в масштабе, беспрецедентном в предшествовав-

шей истории. Это трудно оправдать в плане экономического успеха, даже в период между двумя мировыми войнами (в послевоенный период капитализм показывал существенно лучшие результаты по сравнению с коммунизмом). Зависит ли человеческое счастье от материального успеха? Да, если вы голодаете, как многие люди во всем мире в настоящее время. Многие советские граждане и симпатизировавшие им иностранцы на протяжении этого периода продолжали надеяться, что с большим экономическим успехом наступит гражданская и политическая либерализация, что победа над дефицитом приведет к смягчению режима. Они по-прежнему верили, что будущее может быть красным. Для них вердикт государственному социализму все еще не был вынесен.

В любом случае этот режим не был худшим в мире в межвоенный период. В 1941 г. многие украинцы, уставшие от сталинской эксплуатации, с распростертыми объятиями приняли вермахт на своей земле. Однако при Гитлере они столкнулись с куда большим уровнем эксплуатации и даже более ужасными зверствами. В 1944 г. они тепло встретили возвращение Красной армии. Величайшим достижением сталинской России оказался перевод ресурсов из потребления в военное производство, которое держало жизненные стандарты низкими и субсидировало крупные вооруженные силы, которые затем ценой огромного самопожертвования успешно защитили советских граждан (включая евреев и цыган) от Гитлера. Советский Союз был обязан своим существованием Первой мировой войне, и это сослужило ему хорошую службу во Второй мировой войне, как мы увидим в главе 14.

ЗАРУБЕЖНОЕ ВЛИЯНИЕ КОММУНИЗМА

Поскольку промышленность, а не сельское хозяйство была символом эпохи модерна в мире, явные успехи Советского Союза в индустриализации были предметом восхищения. Идеология государственного социализма получила глобальное распространение. Для революционеров в аграрных обществах, советский (а затем и китайский) путь представлялся кратчайшим путем к свободе от материальной нужды, придававшим им огромную уверенность, что история на их стороне. Поскольку по всему миру миллионы крестьян страдали от тяжелой эксплуатации, революционные идеологии находили у них живой отклик. После Второй мировой войны большевистской и маоистской политикой восхищались и часто копировали ее в бедных странах. Действительно, повсеместно в мире позднее развитие легче до-

стигалось инфраструктурно могущественными государствами, чем свободными рынками, при условии, что государственная элита в целом была больше привержена развитию, чем набиванию деньгами своих карманов (Kohli 2004). Самая позитивная вещь, которую можно сказать о коммунистических лидерах, заключается в том, что их идеология была искренней. Они были искренне привержены развитию своих экономик почти любой ценой. Хотя существовала и коррупция, но ее было гораздо меньше, чем в большинстве развивающихся стран.

Поскольку реальный социализм был принесен в жертву и зверства усилились в 1920–30-х гг., это оказало общее негативное воздействие, особенно на Запад. Большинству западных социалистов был нанесен ущерб способностью большевиков поддерживать свою власть репрессивно и сохранять представлявшийся угрожающим уровень глобальной власти. Единственный случай «реально существующего социализма» не мог заполучить множество западных последователей, кроме левых, которые были разочарованы тем, сколько малодушия в борьбе за власть могут проявлять социалистические партии. Иностранные коммунистические партии действительно до определенной степени расширили свои ряды в результате этого разочарования, прославляя статистику экономического роста в России, вдохновленные поездками для избранных в советские «потемкинские деревни» (показные, бутафорские деревни). Однако они практически никогда не были серьезной политической силой на Западе, и большевистская карта, «красная угроза», с успехом разыгрывалась буржуазными партиями и предпринимателями начиная с 1920-х гг. Коммунистические партии и профсоюзы были для них самой легкой мишенью, но все рабочие партии испытывали сложности в периоды «красной паники». Будь советский режим желаемой формой социализма, такая пропаганда имела бы противоположный эффект.

Большевики также осуществляли прямое вмешательство за границей. В марте 1920 г. они заменили Второй Интернационал Третьим Интернационалом, чтобы защитить революцию в России и служить «подготовительным шагом Международной Республики Советов на пути к всемирной победе коммунизма». Считалось, что революция будет глобальной. Критический момент наступил в августе 1920 г., когда второй Конгресс Интернационала, переименованного в Коминтерн, принял ленинское «21 условие» в качестве своего официального документа. Эти условия включали положения, в соответствии с которыми все партии должны были перенять структуру Российской коммунистической партии, защищать Советский Союз, бороться против реформистской социал-демократии (поня-

тие, которое теперь стало для Москвы ругательным) и подчиняться постоянному Центральному Комитету, расположенному в Москве.

Лишь немногие партии и союзы могли принять зарубежный контроль или осуждение реформизма. В результате некоторые из них раскололись. Кригель (Kriegel 1969) утверждает, что Французская социалистическая партия не была реформистской, а потому не понимала линию Москвы. После того что она рассматривает как преимущественно «случайный» результат абстрактных дебатов на решающем съезде конгресса в Туре, большинство членов партии откололось и образовало Французскую коммунистическую партию, несогласные же покинули конгресс, сформировав первоначально гораздо меньшую Социалистическую партию. В Норвегии, Италии и Чехословакии рабочие движения продолжали поддерживать скорее непростые связи с Коминтерном. В остальных странах диссидентские группы, которые оставили социалистические партии, чтобы сформировать коммунистические, были меньших размеров (они часто происходили из недавно индустриализовавшихся областей). В 1920-х гг. коммунисты стали левыми потому, что они выпали за пределы институционального реформистского компромисса, и буржуазные партии редко сотрудничали с ними. Тем самым оппозиция «реформа против революции» превратилась в конфликт между социалистами и коммунистами. Коммунистические партии претендовали на большую приверженность революции (и действительно подняли серию неудавшихся восстаний в ряде стран), но они были более централизованными и менее демократичными, отдавая предпочтение организации, а не движению. Социалистические партии становились более разнообразными, включая ультралевые движения, а также сторонников мютюэлистских и реформистских убеждений. В то время как революционные движения становились более расколотыми, социальная демократия возрождалась после упадка в середине 1920-х гг.

Но у разделения на сторонников реформ и революции был один положительный аспект. Хотя можно сказать, что это ослабило рабочий класс, присутствие левых означало, что социалисты и коммунисты соревновались за электорат и членов профессиональных союзов. Вероятно, это обстоятельство укрепило реформизм социалистических партий. Социалисты сумели совместить реформы и правительственные коалиции с буржуазными партиями, коммунисты предлагали ощущение участия в дисциплинированном глобальном движении для достижения утопии. Однако контроль Москвы над коммунистическими партиями был определенно негативным фактором. Стратегию иностранных

коммунистических партий прежде всего было необходимо согласовывать с Москвой. Общая линия Москвы заключалась в том, что потребности глобальной революции, координируемой Коминтерном, должны ставиться выше потребностей рабочего движения в отдельно взятой стране. Социалистические партии, напротив, рассматривали политику как внутринациональное дело. В десятилетия, которые видели существенно больше национального экономического протекционизма и неудачи Лиги Наций, национальные аргументы представлялись более могущественными. Сотрудничество между двумя типами левых партий становилось все более затруднительным, и коммунисты рассматривались как ненадежные союзники.

Московское руководство Коминтерна на практике подчинялось руководству Коммунистической партии Советского Союза. Это положение вошло в Устав Интернационала с самого начала с обязанностью защищать советское правительство. Последнему быстро придали организационную форму, в соответствии с которой Москва стала отправлять тайных эмиссаров для наблюдения и в случае необходимости низложения иностранного коммунистического руководства. Престиж большевиков был настолько высоким, что всегда можно было найти лояльных иностранных коммунистов, готовых выполнять их указания; и до тех пор, пока существовал Коминтерн, их всегда можно было вознаградить высокими постами в местной партии. Чистка партийных рядов могла быть институционализирована. Все это было глубоко недемократичным. Результатом этого также была политика, которая игнорировала местные условия. Поскольку Москва часто их не знала, она исходила из уроков собственного опыта в России. Большевики успешно раскололи социалистов-революционеров в России, убедив левое крыло сотрудничать и изолировав правое крыло для его подавления (что затем было распространено и на левое крыло). Тактика раскола использовалась и за границей, но, когда ни одна из этих фракций не участвовала в правительстве, их раскол не мог быть завершен и разделение на фракции продолжалось, ослабляя их. Такая тактика оказалась особенно разрушительной для итальянского движения, столкнувшегося с подъемом фашизма, где лояльным коммунистам было приказано спровоцировать раскол в 1921 г. Москва также навязывала Западу российский опыт гражданской войны. В 1923 г. военные эксперты Красной армии были отправлены в Германию, чтобы организовать там восстание, у которого было слишком мало поддержки. Коммунистические анклав утопили в крови.

Такая политика показала, что Коминтерн систематически подчинял интересы иностранных партий не глобальным ин-

тересам революции, а интересам советского режима. В течение большей части 1920-х гг. политика Коминтерна была двусмысленной или противоречивой. Внезапные призывы к восстанию сменялись призывами к объединенному фронту — сотрудничеству либо с рядовыми членами, либо с лидерами других рабочих партий или профсоюзов. Затем в 1928 г. произошел поворот к более последовательной идейной линии революционной чистоты и противостояния классов — бескомпромиссный отказ от сотрудничества со всеми другими партиями и союзами. Отчасти это было вызвано китайской катастрофой 1927 г., когда шанхайские коммунисты были вырезаны их предполагаемыми союзниками (войсками Чан Кайши) — к этому союзу местных коммунистов подтолкнули агенты Коминтерна. Однако ритм поворотов в политике Коминтерна был более тесно связан с борьбой за власть среди большевиков и выдвижением Сталина в качестве верховного лидера. Иностранные чистки рядов стали продолжением сталинских внутренних чисток. Одна последовательная линия в политике Коминтерна все же была: любой иностранный лидер, демонстрировавший последовательную приверженность любой политической линии, то есть независимость от Москвы, подвергался чисткам.

Использование иностранных коммунистических партий как пешек в чужой игре негативно сказывалось на их здоровье. Одна крупная партия, — норвежские коммунисты, — за исключением небольшой отколовшейся группки, с отвращением покинула Коминтерн. Те, кто оставался в Коминтерне, теряли либо членов, либо собственные жизни. Мы уже видели несчастья, постигшие Коммунистическую партию Германии (КПГ) в результате преждевременного восстания и нападков на «социал-фашизм». Две наиболее важные из оставшихся партий (французская и чешская) сократились со 131 и 350 тыс. в 1921 г. до 28 и 35 тыс. в 1932 г. (Drachkovitch and Lazitch 1966: 186–187). Большинство рабочих активистов на Западе отпугнули нападками на их некоммунистических товарищей и чистками коммунистических лидеров. Гитлер спровоцировал дальнейшие изменения, поскольку Советский Союз столкнулся с агрессивной державой, у которой были планы относительно Центральной Европы. Сначала изменения в политике Коминтерна пошли на пользу иностранным коммунистам. Начиная с 1935 г. народные фронты всех рабочих партий, нацеленные против фашизма, были снова в силе. Это позволило коммунистам во Франции и в Испании участвовать в правительствах, бороться, защищая их, и получить выгоду после их падения. Они выявили ту последовательную роль, которую следовало играть коммунистическим партиям: поддерживать реформизм слева и в случае, если реформы провалятся,

заявлять о предательстве. Это был короткий золотой век Коминтерна (Sunny 1998: 297–306). Однако в августе 1939 г. Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении, вынуждая коммунистические партии оставить антифашистские фронты. В 1941 г., когда Гитлер напал на Советский Союз, линия Коминтерна вновь была изменена на противоположную. Западных коммунистов, до сих пор сохранявших нейтралитет в войне (и часто интернированных), неожиданно попросили помочь в защите мира от фашизма. Коммунисты были озадачены, особенно те члены партии из рабочего класса, которые не были посвящены в мировые проблемы труда. Британская и американская партии были практически разрушены в этом процессе (в любом случае они не играли какой-либо значимой роли). На этом этапе логика Коминтерна была прежде всего геополитической. Разумеется, как мы убедимся в следующей главе, Советский Союз не был главным злодеем. После того как его попытки создать союз с Западом были отвергнуты, Сталину пришлось заключить пакт о ненападении с Гитлером, чтобы купить нейтралитет и время. Вступив в войну с Германией, ему пришлось объединиться с Западом.

Развитие Советского Союза при Сталине усилило его губительное воздействие на западные рабочие движения. Затем результаты Второй мировой войны сделали Советы хозяевами в Восточной Европе, а наиболее антикоммунистическое государство — Соединенные Штаты — стало господствовать в Западной Европе и большей части остального мира. Множественные глобальные сегменты империалистического периода были упрощены до двух, один из которых был автаркичным, другой — более открытым. Две противоположные страны стали оформлять мир, каждая из которых являлась негативной отправной точкой для другой. Советская диктатура в Восточной Европе и советский глобальный милитаризм стали неприемлемыми для большинства западного политического спектра — от капиталистов до большинства марксистов. Все западные рабочие движения были ослаблены аргументами оппонентов, согласно которым социализм уже установлен в СССР и Восточной Европе как тоталитаризм и империализм. Сталин забил последний гвоздь в гроб революционного социализма на Западе после того, как он был уничтожен в Советском Союзе. Сам Союз в беднейших странах мира просуществовал гораздо дольше. То, что его основания, вероятно, гнилые, еще не было ясно, а затем началась война, результатом которой стало уничтожение фашистской альтернативы и, казалось бы, укрепление альтернативы коммунистической, которая также усилила западный демократический капитализм. Одна альтернатива ушла; другая по-прежнему казалась жизнеспособной, и это было также справедливо для Азии.

ГЛАВА 12

Японский империализм, 1930–1945 годы

КРУПНЕЙШИМ геополитическим поворотом XX в. было возрождение Азии, которая два или три столетия была довольно застойным континентом и развитие которой слишком сильно отстало от Европы и Америки. К ХХI в. три азиатские страны — Китай, Индия и Япония — пытались снова стать великими державами, соперниками Европы и Америки, но их возвращение происходило по-разному. Индия оставалась частью Британской империи до 1945 г. Ее возрождение произошло позднее, чем возрождение остальных азиатских стран, и его формы были гораздо ближе к европейским послевоенным моделям, сочетавшим демократию, капитализм и отказ от всякого империализма. Китай оставался глубоко внутренне расколотым гражданской войной вплоть до 1947 г., затем он стал коммунистическим, хотя в широком смысле не империалистическим. Япония была первой азиатской страной, добившейся развития. Его формы были заимствованы из прежних западных моделей, включая формы представительного правления, капитализма и империализма, которым был придан особый японский колорит. К концу 1930-х гг. Япония уже обладала довольно развитой капиталистической экономикой, координируемой государством, а также обзавелась немалой империей в Азии, применяя внушительную военную мощь, и стала полноправным партнером западного империализма, который к тому времени охватил большую часть мира. Однако ее представительное правление зачало. Почему она вступила на империалистический и квазидеспотичный путь? Это центральный вопрос данной главы.

УСИЛЕНИЕ МИЛИТАРИЗМА

Ретроспективно эскалация японского военного империализма на протяжении 1930-х гг. выглядит неотвратимой, но на самом деле она таковой не была. В ходе четырех инцидентов в Китае

японские солдаты взяли международную политику в свои руки, чтобы усилить агрессию. Лишь пятый всплеск милитаризма — атака на Перл-Харбор в 1941 г. — был коллективным решением, принятым на высшем правительственном уровне. Первый инцидент произошел в 1928 г., когда японские солдаты убили китайского милитаристского правителя Маньчжурии, тем самым расширив японское влияние. В Японии это было воспринято как ошибка, что привело к свержению консервативного правительства, которое не смогло ее предотвратить. Более важными были инциденты 1931, 1935 и 1937 гг., которые совпали с движением вправо в самой Японии. В основе этих инцидентов (а также усиленная ими) лежала автономия военной власти в Японии (см. главу 4), которая теперь повернула к фашизму. Япония этого периода олицетворяла собой триумф военной власти над экономической и политической. Лейтмотив этой главы в том, чтобы исследовать, как и почему в конце концов Япония пошла по пути самоуничтожения, то есть приняла участие в двух войнах: в Китае и против Соединенных Штатов, одержать победу над которыми у нее практически не было шансов. Как и почему Япония потеряла трезвость рассудка? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проследить уже проделанный путь.

В главе 4 мы видели, что в середине 1920-х гг. политическая власть достигла временного баланса между консерваторами и либералами. Затем Великая депрессия склонила этот баланс не в пользу либералов. В 1930 г. правительство либеральной партии Минсэйто вернуло Японию к золотому стандарту как раз в тот момент, когда разразилась депрессия. Более того, правительство стало дефлировать экономику еще в 1929 г. с целью возвращения к этому стандарту. В тисках депрессии, сокращавшей спрос и инвестиции, эти действия усугубили рецессию и привели к дальнейшему росту спроса на иену. Тарифы Смута — Хоули, введенные Соединенными Штатами в 1929 г., подорвали позиции проамериканских японских либералов, и в 1931 г. выход Британии из системы золотого стандарта был воспринят как падение международного либерального порядка. Японские банкиры поняли, что вскоре иена окажется под давлением, и стали продавать иены за доллары, тем самым вроде бы подтверждая обвинения националистов в том, что финансовые капиталисты — предатели. Правительство Минсэйто подняло процентную ставку и отказалось от правительственного пакета внутренних реформ (включая право голоса для женщин и уступки для профсоюзов и фермеров-арендаторов). Это ограничило поступательное развитие либерализма, но в декабре правительство пало, что было обычным уделом для правительств, попавших под удар Великой депрессии. В Японии

либералы были разбиты, а консерваторы и милитаристы, напротив, расширили свое влияние. Избежала бы Япония агрессивного милитаризма без Великой депрессии? Трудно сказать, возможно, и избежала бы. Японская траектория была обратным сценарием американской траектории, но в некоторых отношениях напоминала германскую. Национальные государства доказывали свое разнообразие.

Имели место падение спроса, производственные картели, сокращения, снижение зарплат и увольнения. Промышленное производство падало, хотя и не так сильно, как на Западе, а сельское хозяйство страдало от того, что экспорт шелка и цены на рис упали. Капитализм всеобщего благоденствия шел на спад, поскольку лишь немногие работодатели теперь могли себе его позволить. Либералы и социальное бюро министерства внутренних дел иногда защищали права рабочих, но были враждебно настроены по отношению к социализму или забастовкам. Теперь бывшие либералы присоединились к консерваторам, чтобы поддержать репрессии, и эти действия доказали свою эффективность против разделенного на секции и сегменты рабочего движения, описанного в главе 4. В Японии из Великой депрессии не возникли ни социализм, ни «либ-лаб» альянс.

Министерство внутренних дел спонсировало патерналистские реформы в медицинском страховании, фабричных условиях труда и прочих социальных сферах, но препятствовало созданию профсоюзов, охвативших целые сектора экономики, и подавляло забастовки. Большинство недовольств были урегулированы путем принудительной медиации, и к 1936 г. 62% забастовок были урегулированы при помощи полиции — «сабельной медиации» (Garon 1987: 206–207), что по понятным причинам сделало рабочих осторожными в выражении своего инакомыслия (Taiga 1988: 637–640; A. Gordon 1985: 250–251). Забастовки оставались немногочисленными вплоть до окончания Второй мировой войны, и профсоюзы не набирали в свои ряды более 8% рабочей силы и обычно ограничивали свою деятельность уровнем завода или компании.

В политической власти эти сдвиги перевешивали рост трудовой занятости в массовом производстве. К 1940 г. 66% промышленных рабочих трудились на фабриках. В других обстоятельствах это могло бы привести к более мощному движению рабочего класса, но не в данном случае. Также увеличилась численность государственной бюрократии. К 1928 г. насчитывалось 1,3 млн государственных служащих, что в четыре раза превышало размер вооруженных сил, и они выполняли многие обязанности, которые в западных странах осуществляли частные службы. Капитализм становился более координируемым госу-

дарством. Как и вооруженные силы, государственные служащие были проникнуты идеологией служения обществу во имя императора и нации и представляли самые консервативные силы. Многие из них протестовали против погони партий, бизнеса и профсоюзов за частными интересами и призывали к «реформе» в деспотическо-этатистском духе. Реформы стали лозунгом правых. Столкнувшись с такой враждебностью, профсоюзы раскололись в конце 1930-х гг. и были поглощены корпоративными «патриотическими обществами» (Garon 1987: 198–218; Taira 1988: 640–646; Odaoka 1999: 150–157; A. Gordon 1991: 287–292). Социализм стал в большей мере доктриной интеллектуалов, чем рабочих. Японцы явно отступали от гражданства назад к подданству.

И действительно, в уличных демонстрациях после депрессии доминировали не рабочие и профсоюзы, а ультранационалисты, возглавляемые молодыми офицерами и бывшими колониальными поселенцами. Эти демонстрации были бурными и часто сопровождались убийствами. Премьер-министр правительства Осати Хамагути стал первой жертвой в декабре 1931 г., что положило начало серии убийств и попыток переворотов на протяжении 1930-х гг., которые запугали умеренных политиков. Один из лидеров ультранационалистов позднее вспоминал, что убийство Хамагути подожгло «запал атак военного и гражданского движения за реформы на высшие и привилегированные классы». Он описывал министра финансов Дзюнноске Иноуэ как «лакея дзайбацу или даже смертельного врага масс страны». Он отправил Иноуэ меч, предлагая ему самому сделать себе харакири. Иноуэ отверг это предложение, но вскоре был убит офицером из Лиги крови. За этим последовали убийства других политиков и руководителей дзайбацу. Отныне молодые офицеры насильственно вмешивались в политику, вероятно, при поддержке высшего командования. Не сдерживаемая министрами или двором, активность военизированных формирований стала неукротимой.

Экономическая политика консервативного правительства новой партии Сэйюкай доказала свою эффективность. Такахаши, министр финансов этого правительства, быстро отменил в Японии золотой стандарт, снизил процентную ставку, запустил дефицитное финансирование и повысил контрциклические государственные расходы на 20% путем прямой денежной эмиссии. Его интуитивное кейнсианство обеспечило восстановление японской промышленности, которая за счет экспорта вышла из депрессии к середине 1932 г. (Nakamura 1988: 464–468). Вопреки его советам возросшие государственные расходы направлялись преимущественно на армию. В 1935 г. Такахаши уда-

лось провести сокращение военных расходов, за что он и поплатился, получив пулю убийцы в следующем году (Metzler 2006: 199–256). Военные расходы продолжали расти и при правительстве, в котором господствовали не политики, а правые бюрократы-реформисты. В союзе с националистами они ввели еще больший контроль над промышленностью, покончив с рыночными механизмами ценообразования в производстве железа, стали и химикатов; государственные инвестиции в эти отрасли также были увеличены. Такая политика выходила за рамки всего лишь государственного координирования, доходя до государственного капитализма. Подавление труда также включало принудительное понижение зарплат, что способствовало общему восстановлению. Экономика продолжала оставаться вполне динамичной на протяжении большей части 1930-х гг., хотя рабочие и крестьяне практически ничего от этого не выиграли. Это было более стремительное экономическое восстановление, чем то, которое происходило в либерально-капиталистических экономиках, напоминая нацистское восстановление (Cha 2000). Как и в Германии, экономический и военный успехи деспотического режима сделали его популярным. Не осталось никакого быстрого пути назад даже к демократии полуграждан-полуподданных эпохи Тайсё (Berger 1977: 105–117, 346; A. Gordon 1985: главы 9, 10; Nakamura 1988).

Исторические социологи-компаративисты продемонстрировали, что рост демократии в целом положительно коррелирует с силой движения рабочего класса и отрицательно — с силой класса землевладельцев (Rueschmeyer et al. 1992). Япония в широком плане соответствует этому тезису, поскольку слабость рабочего класса и сила землевладельцев препятствовали длинной демократии, хотя время Великой депрессии и успешного империализма существеннейшим образом поспособствовали антидемократическим силам. Либеральные политические фракции начали смещаться вправо, и к концу 1930-х гг. в Японии практически не осталось реальных либералов. Небольшая левая Партия социальных масс получила 5% голосов избирателей на парламентских выборах 1936 г. и 9% в 1937 г. Чтобы избежать убийств, ее руководство отказалось от антиимпериализма и приняло народный империализм (A. Gordon 1991: 302–315). Япония стала страной, в которой практически все поддерживали империализм.

Великая депрессия также повлияла на японский империалистический выбор. Ориентированная на рынки экспансия предполагала низкие тарифы международной торговли, которые были важны для Японии, поскольку она нуждалась в импорте сырья и оборудования для тяжелой промышленно-

сти. Передовое оборудование поставлялось в основном из Соединенных Штатов, сырье — из Британской империи, а нефть шла из Соединенных Штатов и Голландской Ост-Индии. Япония платила за это благодаря экспорту трудоемких текстильных товаров. Великая депрессия нанесла тяжелый удар по этому обмену, так же как и волна протекционизма, охватившая международную торговлю. Если добавить к этому Советский Союз и нацистскую Германию, то мир выглядел поделенным между автаркическими империями. Японские страхи росли из-за ABCD-окружения Америкой, Британией, Китаем и Голландией (по первым буквам названий этих стран на английском. — *Примеч. пер.*). Экспортный бум Такахаши шел в основном в Маньчжурию и Северный Китай, а не в Соединенные Штаты или Британскую империю. Все это усиливало тех, кто призывал к прямому колониальному империализму, нацеленному на усиление экономической автаркии. Возможность расширения «ресурсного империализма» Тайваня и Кореи в Маньчжурию и Северный Китай теперь воспринималась как единственное средство для Японии, чтобы избежать «удушения» либеральными империями. Полезные ископаемые могли быть защищены захватом территорий, на которых они залегают, в качестве колоний. Именно территорий, а не рынков, или скорее рынки будут защищены захватом новых территорий. Те, кто хотел агрессии для экономических целей, и фракция тотальной войны, рассмотренные в главе 4, объединились для этой стратегии (Lockwood 1954: 117; Iriye 1974; Duus 1996: xv–xviii; Sugihara 2004).

Таким образом, под воздействием внутренних и внешних причин сдвиг к либерализму и неформальному империализму в 1920-х гг. был обращен вспять в 1930-х гг. Бюрократы-реформисты и военные получили власть за счет политических партий, которые были запуганы убийцами, подстрекаемыми популистскими националистами, с полуоткрытой поддержкой определенной части высшего военного командования (Iriye 1997: 62–72; Nish 2002: 180–182; Benson and Matsumura 2001: 30–42). В государстве происходило два основных сдвига: бюрократия росла численно, ее власть возрастала, и она во все большей мере колонизировалась военными. То, что началось с реформ Мейдзи как всего лишь координируемый государством капитализм, который на время стал чуть более либеральным, затем становилось более деспотическим и милитаризованным капитализмом. Источники социальной власти с некоторыми трудностями сливались воедино, поскольку элиты отвергли плюралистическую демократию. Однако душой этого слияния были военные, которые повели на поводу и государство, и капитализм.

Министерство армии и Министерство иностранных дел сражались за сферы влияния в Маньчжурии с 1906 г., но армия стала по-настоящему причинять беспокойство, когда Чан Кай-ши начал возрождать успехи Гоминьдана в Китае после 1926 г. На восстановление власти Китая над Маньчжурией и Северным Китаем Чана подбивали его собственные националисты. Японские поселенцы и бизнесмены почувствовали угрозу от возрождения национализма и призвали японский империализм быть более жестким. Японская дипломатическая служба сопротивлялась этому давлению и была обвинена в том, что больше симпатизирует китайским националистам, чем своим гражданам. Взаимные провокации со стороны японских и китайских националистов обычно способствовали дестабилизации обоих правительств (Brooks 2000: глава 5).

Это дополнилось дестабилизацией, имевшей место в самой армии. В 1920-х гг. Квантунская армия, которая защищала японские железные дороги в китайской Маньчжурии, привлекала амбициозных и интересовавшихся политикой молодых японских офицеров, которые чувствовали, что именно там должно вскоре произойти имперское действие. В сентябре 1931 г. группа офицеров тайно сговорилась устроить диверсию на основной железнодорожной ветке и убедить армию (вопреки воле правительства и своего командования) атаковать более крупные армии местных китайских милитаристов. Маньчжурия была завоевана японцами. Исивара был наиболее высокопоставленным штабным офицером, участвовавшим в этом сговоре, хотя в нем, вероятно, были замешаны и некоторые высокопоставленные военные и судьи. Исивара рассматривал вторжение в Маньчжурию как короткую решительную войну, полезную для накопления ресурсов для последующей тотальной войны. Он посчитал, что другие державы не станут вмешиваться: Советский Союз был в середине пятилетки, Запад был поглощен Великой депрессией; годом позже все могло бы пойти по-другому. Теперь же настало время нанести удар (Peattie 1975: 114–133).

Когда произошло вторжение в Маньчжурию, некоторые в Токио, включая императора Хирохито, были в ярости. Министры правительства Минсэйто тотчас же попытались остановить вторжение, но, не найдя поддержки, были вынуждены смириться. В конце концов эти действия были успешными и поставили Японию перед новыми фактами. С этого началась серия неудачных попыток противодействия вооруженным силам, за которые гражданские заплатили дорогую цену в следующие десять лет (Vix 2001: 228–241). Это правительство в любом случае пало, и после волны убийств, осуществленных подпольными группами офицеров, последнее правительство, состоявшее

из партийных политиков, ушло в мае 1932 г. Бюрократы-реформисты формально его заменили, но постепенно вся полнота власти перешла к военным. Либеральная политика Сидэхары зависела от сотрудничества между властями, а оно уменьшилось во время Великой депрессии и маньчжурского инцидента (Akami 2002). Политика неформальной империи в Китае зависела от исходов переговоров с местными китайскими милитаристами и капиталистами (Matsusaka 2001: 354). Хотя некоторые на оккупированных Японией территориях Маньчжурии и Китая сотрудничали с японцами (Barrett and Shyu 2001), другие не желали расставаться с китайскими националистическими чувствами и настраивали японские и китайские правительства друг против друга. В отсутствие достаточно надежных союзников японцы попытались проводить более прямое колониальное правление, создав марионеточное государство Маньчжоу-го в Маньчжурии. Японское правительство провозглашало, что освободило «маньчжуров» от господства Китая, — типичное обманное колониалистское заявление.

Маньчжоу-го не признавалось западными империалистическими державами, Лигой Наций и мировым общественным мнением. Но, как и предсказывал Исивара, это были только слова. Япония вышла из Лиги Наций, и шум утих, но обратная реакция пришла из Китая. Вопреки японской риторике большинство жителей Маньчжурии считали себя китайцами и рассматривались в качестве таковых другими китайцами. Какие бы антиманьчжурские чувства ни сохранялись в китайском республиканизме, теперь их перевешивали антияпонские чувства. Освобождение Маньчжурии от Японии стало настойчивым требованием китайских националистов (Mitter 2000), и их бойкоты японских товаров положили конец всем дипломатическим попыткам Сидэхары.

Колонизация Маньчжоу-го стоило того в силу важных экономических ресурсов Маньчжурии. Его новое правительство — партнерство между японскими военными офицерами и капиталистами — обеспечило больше порядка, к тому же с оглядкой на Германию времен Первой мировой войны и советские модели этот режим впервые в японской истории ввел смешанную частно-государственную собственность в экономике, управляемой в соответствии с пятилетними планами. Между 1924 и 1941 гг. промышленное производство выросло в пять раз и ВВП рос на 4% ежегодно, что было нормальными темпами для всей ранней Японской империи (Maddison 2004: 25). С восстановлением порядка и динамизма в экономике Япония стала переходить к менее прямому управлению через маньчжурские элиты. Марионеточный правитель император Пу И восстановленной ди-

насти Цин не был самостоятельным, мультикультурный маньчжурский национализм был в основном пропагандой, хотя правление на местном уровне действительно осуществлялось через местные элиты и существующие институты. Маньчжоу-го представлялась как «братская страна», «ответвление» японской семьи. Соппротивление каралось смертью, но сопротивлялись в основном крестьяне, земли которых были экспроприированы и переданы японским и корейским поселенцам. Японская публика, оставшаяся на родине, с гордостью внимала отцензурированным данным о прогрессе.

Миллион японских поселенцев, отправившихся в Маньчжурию в 1930-х гг., был важным символом вертикальной мобильности для бедных японских крестьян, стремившихся иметь собственные фермы. «Колонизация Маньчжурии была общественным движением до того, как стала государственной инициативой», — пишет Л. Янг (Young 1998: 307; ср. Nish 2002: 177–182). Однако маньчжурская реальность отличалась от официальной пропаганды. Лишь около 10% прибывавших туда поселенцев становились фермерами; большинство были бюрократами в оккупационных органах власти или «белыми воротничками» в промышленности. Некоторых поселенцев вынуждали часть времени находиться под ружьем, чтобы защищать оккупированные области от местных «бандитов» (согнанных с земли крестьян). Учитывая незнание местных условий, поселенцы-крестьяне как земледельцы были менее компетентны, чем местные крестьяне, которых они изгнали. Для большинства из них это оказалось реальностью, чрезвычайно далекой от рая, провозглашенного японскими медиа. Поселенцы-авантюристы, которые потерпели неудачу и возвратились обратно в Японию, как правило, направляли свое недовольство против тех, кто отказывался вливать больше ресурсов в колонии. Они соединились с милитаристами в рядах крайне правых организаций.

После того как первоначальная военная истерия в медиа утихла, некоторые заметили, что вклад Маньчжурии в японскую экономику меньше, чем обещали. Поддержка в пользу более неформальной империи стала восстанавливаться в министерствах внутренних дел и иностранных дел, и бюджеты армии подверглись нападкам в парламенте в 1933–1935 гг. (Wilson 2002). Даже милитаристы поняли, что Маньчжоу-го не сможет в одиночку обеспечить автаркическую экономику, к которой они стремились, поэтому они стали строить планы в отношении Северного Китая. Поскольку власть в Японии склонялась вправо, решением проблем, не отвечавших требованиям колоний, представлялся захват еще большего количества колоний. Тем не менее последовавшая война с Китаем истощила инвестиционные фонды

Маньчжоу-го, воспрепятствовав достижению целей второго пятилетнего плана (Mitter 2000: 94–129; Duus, Myers, and Peattie 1996; Nish 2002: 178–182; L. Young 1998: 41–43; Barnhar, 1987: 39). По мере того как Япония двигалась по направлению к национализму, корпоративизму и милитаризму, армия получала больше власти сначала благодаря симпатиям гражданских политиков, затем через собственное правление (L. Young 1998: 119129). Чистка от «опасных мыслей», изначально направленная против коммунистов, затем перешла на социалистов, либералов и интернационалистов. В 1936 г. было восстановлено старое правило, согласно которому только состоявшие на службе офицеры могут быть военными министрами, дав высшему командованию возможность накладывать вето в кабинете министров, а также больше доступа к императору. В тот год экстремисты из военных переоценили свои силы, предприняв неудавшуюся попытку переворота, но это убедило их пытаться достичь своих целей более тонкими методами — через государство. Воспользовавшись неспособностью дипломатов защитить японских жителей в Китае и Маньчжурии от местных националистов, они обеспечили уничтожение министерства иностранных дел. Японские дипломаты ходили по острию ножа между инструкциями из Токио, необходимостью работать с местными китайцами и соответствием международным нормам договорных портов. Поскольку Токио сдвинулся вправо, советы дипломатов стали игнорироваться и в 1937–1938 гг. дипломатический корпус был расформирован, а его обязанности переданы новому органу, в котором заправляли военные (Brooks 2000: 200–207; Nish 2002: 180).

Теперь контроль был в руках военных, но внутренне разделенных относительно стратегии. Флот, как правило, выступал в пользу расширения влияния на юг через Тихий океан, осознавая, что это несет риск войны с Британией и Соединенными Штатами. Некоторые высшие офицеры хотели избежать этого любой ценой, другие нет. Флот был расколот в этом вопросе, хотя все соглашались с проведением операции на севере для сдерживания Советов и Китая. Лишь немногие офицеры сухопутных войск поддерживали эту операцию, большинство фокусировалось на экспансии в Северный Китай, но они, в свою очередь, также были разделены между тремя фракциями: тотальной войны, императорского пути и контроля.

Сторонники тотальной войны, такие как Исивара, намеревались создать «государство национальной обороны», чтобы нарастить азиатские ресурсы и бросить вызов капиталистическому Западу. Это предполагало обеспечение господства над Китаем, хотя они и надеялись достичь его без большой войны. Фракция контроля была более прагматичной: она стремилась к заклю-

чению сделки с Советами, развитию экономического планирования и военной техники и укреплению обороны Маньчжурии. Эти взгляды были особенно широко распространены среди составителей планов из генштаба, которые были убеждены, что у Японии недостаточно ресурсов, для того чтобы бросить вызов еще одной великой державе, кроме Китая.

Напротив, сторонники императорского пути были более идеологизированы, чем первые две фракции вооруженных сил. Они прежде всего были ярыми антикоммунистами, призывавшими к войне против Советского Союза. Они сознательно пренебрегали материальными факторами, необходимыми для победы, такими как производственные мощности или численность населения. Подобные экономистские расчеты рассматривались как типичные аргументы либеральных и марксистских врагов. Императорский путь предпочитал решающие сражения, победа в которых обеспечивалась наступательным порывом, проистекавшим из превосходства японских духовных ценностей. Это была своего рода секулярная религия спасения, хотя она и шла в обертке из технократических и тактических терминов. Япония давно знала, что уступает своим противникам числом и, возможно, технологиями, но японский «сэйсин», или «духовная мобилизация», может компенсировать материальное отставание, утверждал премьер-министр Коноэ. Исследовательская группа, анализирувавшая два поражения от советских войск в 1939–1940 гг., пришла к заключению, что японцы были лишь на 80% так же эффективны в технологическом и организационном отношении, как советские войска, и что «единственным способом компенсации недостающих 20% было обращение к духовной силе» (Tarling 2001: 42). Это похоже на нацистский милитаризм в его практически полностью мистическом поклонении национальному духу. Также похоже было сочетание суровой дисциплины и яростного боевого духа, жестоко обращавшегося с вражескими солдатами и гражданскими. В то время как нацисты культивировали высокую степень уравнивающего товарищества между офицерами и солдатами, у японцев различия рангов были огромными, дисциплина — жесткой. В период роста японского милитаризма неизменной была уверенность в *блицкриге* в немецком стиле — внезапном, непреодолимом, решительном наступлении. Эта тактика предположительно сработала в 1894, 1905 и 1931 гг., точно так же как у нацистов она сработала между 1936 и 1940 гг.

Споры между тремя армейскими фракциями шли в большей мере о средствах и приоритетах, чем о конечных целях, поскольку все выступали за расширение империи. Однако финальной точки в этих дебатах так и не было поставлено. Напро-

тив, политические документы обычно содержали ссылки на все три стратегии, но не отличались ясностью в том, что касалось ресурсов, необходимых для них, которые в любом случае были по большей части за пределами японских возможностей. Однако все фракции хотели войны и экспансии в Азии, большего военного контроля над государством. Официальные политические документы одобряли агрессию, хотя и в несколько противоположных направлениях (Peattie 1975: 186–190; Hane 1992: глава 12; Vix 2001: 308–313).

И вновь действия сухопутной армии на месте определили дальнейший ход событий. В 1935 г. подразделения японской армии, действуя без приказов сверху, создали два новых марионеточных режима в Северном Китае и один в Монголии. Выходки военных положили конец переговорам между Японией и Гоминьданом. Еще большая эскалация агрессии произошла после инцидента в 1937 г. на мосту Марко Поло неподалеку от Пекина. Хотя бой между китайскими и японскими частями, стоявшими здесь, вероятно, завязался случайно, подразделения японской армии и флота быстро прибыли, чтобы продолжить эскалацию, на этот раз уже постфактум поддержанную премьер-министром князем Коноэ, его кабинетом и императором. Фракция контроля из генерального штаба, отдававшая предпочтение сохранению ресурсов для войны против Советов, была побеждена (Vix 2001: 317–323).

Эти военные провокации вызвали полномасштабную войну с Китаем, которая затем вылилась в войну на Тихом океане, продлившуюся до полного поражения Японии в 1945 г. Ситуация выглядела многообещающей для Японии в 1937 г. Правительству Гоминьдана, которому по-прежнему не хватало инфраструктурной власти, чтобы править большими частями страны, пришлось отступать. Коноэ и влиятельные армейские разработчики планов сделали ставку на императорский путь, надеясь, что один быстрый удар выведет Китай из войны. Хирохито убеждал Коноэ дать решающую битву, и Коноэ ответил, что он «уничтожит» националистический режим. Впредь, по его словам, японское правительство будет иметь дело с Чан Кайши только на поле битвы и за столом подписания капитуляции. Он рассматривал режим Чана как единственное препятствие на пути присоединения Китая к возглавляемому Японией возрождению Азии, освобождению от англо-американского капитализма и советского коммунизма. На тот момент японцы действительно не рассматривали китайских коммунистов как серьезного противника.

Исивара и сторонники тотальной войны сопротивлялись этой войне. Они опасались последствий чрезмерной идеоло-

гизации агрессии, к тому же теперь они осознали мобилизационные возможности китайского национализма. Это вторжение, предостерегал Исивара, «будет тем, чем Испания стала для Наполеона, — бесконечным болотом» (Barnhart 1987: 89). Он рассматривал Китай как пожиравший ресурсы, необходимые для будущего Японии, и действительно война истощила живую силу и подорвала японскую экономику. Критика Исивары стоила ему увольнения из генерального штаба. В любом случае он тоже не мог предложить решения. Как и другие, он надеялся, что Китай согласится с лидерством Японии в борьбе Азии с Западом, но он был сбит с толку стратегией Чан Кайши по заключению сделки с Японией, пока он не разберется с коммунистами. Хотя Чан демонстрировал классовую солидарность с японцами (обе стороны хотели искоренения коммунизма в Азии), между ними не могло быть геополитической солидарности. Большинство китайцев теперь видели основного империалистического врага не в лице Запада, а в лице Японии, а Соединенные Штаты стали увеличивать займы Китаю. Китай подрывал шансы Японии на достижение самодостаточности еще до начала войны с Западом (Barnhart 1987: 90, 104–114).

Теперь у Японии была экономика, управляемая из центра, на службе у краткосрочных потребностей армии. Источники социальной власти были несовершенным образом слиты, и военные определяли ключевое направление политики. Оставался политический выбор между военным правительством и квазифашистским корпоративистским государством, но ни один из вариантов так и не одержал верх. Элементы обеих опций вместе с консервативными гражданскими политиками (партии которых были распущены) и бизнесменами дзайбацу продолжали грызню и заключали сделки, когда Япония вступила в мировую войну. Это было несовершенное, раздираемое конфликтами слияние. Изначальный проект закона о всеобщей мобилизации нации 1938 г. вводил корпоративистское государство, но финальный проект давал всем основным фракциям слишком много институциональной автономии (Berger 1988: 121–153, 160–161). В хорошие времена японская система могла положиться на общие интересы, культуру и модернизаторские намерения олигархов, бюрократов, капиталистов и образованной высшей прослойки среднего класса для формулирования согласованной политики развития. Однако различные части государства оказались уязвимыми для скрытого захвата безжалостными, имевшими большие связи фракциями, особенно из числа вооруженных сил. Многие отдавали предпочтение антипарламентскому корпоративизму, который в этот период охватил и другие государства. Как и везде, они утверждали, что обладают большим

технократическим экспертным знанием и больше озабочены национальным интересом, чем эгоистичные и постоянно спорившие партии (Berger 1977: 67–74). Лишь немногие из них были фашистами.

БЫЛА ЛИ ЯПОНИЯ ФАШИСТСКОЙ?

Япония действительно испытала на себе влияние фашизма, и на ее территории тоже было небольшое количество фашистских формирований. В 1920–30-х гг. фашизм рассматривался как наиболее современное политическое движение и привлекал в свои ряды непропорционально большое число молодых людей. В Японии основными приверженцами фашизма оказались молодые офицеры (Nakamura and Tobe 1988). Они одобряли насилие и убийства как орудия политической борьбы, направленной против «внутреннего врага». Они рассматривали это как «принципиальное», а не «дикое» насилие (немецкие СС проводили такое же различие). Их жертвами стали два премьер-министра, министр иностранных дел, а также целый ряд генералов, адмиралов и руководителей дзайбацу. Полицейская и народная реакция на эти убийства часто была амбивалентной, поскольку многие симпатизировали не жертвам, а убийцам (Berger, 1988: 107). Но это насилие не было низовым, не осуществлялось группами популистов, как было в случае с нацистскими военизированными формированиями. Оно исходило из вооруженных сил, и возглавляли его средние чины против высших, хотя всегда при поддержке части генералитета. Как мы уже видели, их провокации на родине и за рубежом оказали крайне важное влияние на выбор пути, по которому пошла Япония, но они исходили не из какой-то огромной политической мобилизующей силы, а от их практического командования теми или иными частями японской военной машины.

Там были также чернорубашечники, национал-социалисты и прочие небольшие фашистские и склонявшиеся к фашизму сообщества и интеллектуалы, которые испытывали симпатию к немецким корпоративистским идеям, таким как идеи Отмара Шпанна. Однако они пользовались куда меньшим влиянием, чем офицеры, и придавали европейскому фашизму характерную японскую форму: этатистский элемент был монархистским, но их стиль национализма превозносил вооруженные силы как реальное воплощение нации. Также имело место натовистское крайне правое движение — японизм, который отрицал все иностранные заимствования — парламенты, капитализм, социализм, а также фашизм, который имел некоторый

резонанс среди офицерского корпуса (Berger 1977: 163–164, 171). Все эти группы настоятельно требовали милитаристской формы империализма. Л. Янг (L. Young 1998: 11–13) рассматривает «империализированный национализм» как охватывающий «культурную, военную, политическую и экономическую» сферы (мои четыре источника социальной власти) и распространившийся по всей Японии.

Так стала ли Япония фашистской? Большинство западных исследователей отвечают отрицательно (например, Duus and Okimoto 1979), хотя некоторые говорят «да» (Bix 1982; A. Gordon 1991: 333–339; Moore 1967), то же утверждают некоторые японские исследователи, работы которых я не могу прочесть. Спор разворачивается вокруг того, состоялся ли в тот момент радикальный разрыв с предшествующей японской историей, но также важно, был ли этот разрыв инициирован через политические процессы сверху или снизу. Во всем остальном мире фашизм был массовым движением, мобилизовавшимся снизу. Японские фашистские группы были в основном представлены военными и недовольными бывшими колониальными поселенцами. Подобные люди были очень широко представлены во всех фашистских движениях по всему миру, но в Японии у них не было массовой поддержки среди рабочих, крестьян или средних классов, правые представители которых в целом предпочитали гармоничные представления тэнносэй — культа императора. Здесь также не происходило слияния многочисленных небольших групп в единое движение, поскольку они намеревались повлиять на элиты либо изнутри, либо посредством террористических убийств. Фашисты не могли проникнуть в самый центр императорского государства или армии, поскольку их взгляды невозможно было согласовать с тэнносэй. Хирохито заявил, что он не примет в свой кабинет или на придворный пост «ни одного человека, придерживающегося фашистских идей» (Bix 2001: 254). Основные политические сдвиги в межвоенной Японии включали отношения между элитами, они не мобилизовали массы и не порвали с конституцией Мэйдзи.

Глава 10 определяет фашизм как «стремление к трансцендентному и очищающему национал-этатизму через милитаризм», то есть фашистское движение мобилизует массы, чтобы создать более могущественное государство и более сплоченную нацию посредством насильственного подавления классового, этнического и прочих конфликтов. Тем не менее Японии не хватало мощной силы, осуществлявшей низовую мобилизацию. В других отношениях, особенно в том, что касается японских военизированных формирований, она достаточно хорошо подходит под определение, поэтому некоторые называют

это фашизмом сверху. Впрочем, японский режим 1938–1945 гг. был гораздо ближе режиму Метаксаса в Греции, режимам короля Кароля — генерала Антонеску в Румынии или режиму Франко в Испании, чем режиму Гитлера или Муссолини. Я называю такие режимы авторитарно-корпоративистскими, развивающими массовое движение сверху, организованное самим режимом (Март 2004: 46–48). В Японии это было не так. Планы по развитию мобилизующей массы единой партии пошли прахом в условиях распрей между консервативными политиками, бюрократами, крупным бизнесом и армейскими офицерами. Поскольку эти элиты разделяли милитаризм, название «милитаристский фашизм» лучше всего подходит для Японии, где прилагательное уточняет существительное.

ПЕРВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КИТАЙСКОГО ДРАКОНА: ГОМИНЬДАН

Два китайских дракона были активны — один из них был националистическим, другой — коммунистическим. Единого мнения о Чан Кайши и его националистическом Гоминьдане по-прежнему не существует. Некоторые рассматривают его как безнадежно коррумпированный: какие бы либеральные чувства ни воспитывал этот режим, он оставался повально авторитарным. Проекты реформ и антикапиталистические настроения были всего лишь риторикой, которая на практике подрывалась содействием милитаристам, землевладельцам и капиталистам, финансировавшим режим. Хотя регулирование прибрежных регионов и государственные инвестиции были увеличены, все это подрывалось нехваткой ресурсов и коррупцией, когда финансирование осуществлялось преимущественно друзьями Чан Кайши (Eastman 1984, 1990: 9–30; Wright 1991; Foran 2005: 49–51). Режим был коррумпированным с доминированием высших классов, хотя Чан, которому постоянно не хватало средств, мог быть также безжалостным в сборе налогов с них.

Этот режим подавил либералов и их реформы. Внутренний круг Гоминьдана стремился создать корпоративистское авторитарное, а не либеральное государство, но он не был фашистским (Moore 1967, 187–201). Истман (Eastman 1984: глава 2) рассматривает гоминьдановское движение «синерубашечников» как фашистское, но все его источники — японские, нацеленные на дискредитацию Гоминьдана. Чан Кайши, «синерубашечники» и «Движение за новую жизнь» несли на себе печать широко используемой по всему миру авторитарной модернизации — от Турции Ататюрка до Японии Мэйдзи — и по большей части

сохраняли верность идеалам Сунь Ятсена (M. Chang 1979). Гоминьдан провозглашал диктатуру необходимой на стадии опеки над народом. Мао утверждал, что Гоминьдан был не фашистским режимом, а традиционной азиатской диктатурой.

Гоминьдан действительно пытался провести этатистские реформы в восточных провинциях Китая, находившихся под его непосредственным контролем. Он стремился улучшить инфраструктуру (особенно железные дороги) и здравоохранение, поддерживал унифицированный мандаринский китайский язык и развивал образование. Была модернизирована часть армии, элитными подразделениями командовали выпускники новой военной Академии Вампу. Система регистрации домохозяйств стала распространять налоговое бремя и военный призыв более равномерно. Режим Чан Кайши пытался стабилизировать цены, амортизировать долги, а также провел реформу банков и денежную реформу 1935 г., благодаря которой действительно удалось снизить зависимость режима от налогов на зерно и от армии в сборе этих налогов.

Штраус (Strauss 1998) утверждает, что Гоминьдан фокусировался на тех же самых ключевых задачах, которыми прежде были озабочены европейские государства: строительстве эффективной армии, налоговой системе, чтобы ее финансировать, и дипломатической службе, чтобы поддерживать союзы. Для этих целей Гоминьдан создал независимую государственную службу. Сотрудники дипломатической службы становились более технически и лингвистически компетентными, они занимали свои посты дольше, чем их политическое начальство, и добились некоторой автономии. Гоминьдан снизил неравенство договорных портов и пытался, хотя и безуспешно, направить британское и американское давление против японских вторжений. Министр финансов заимствовал приемы из фискальной практики администрации договорных портов и действительно увеличил поступления. Правительство Гоминьдана осознавало неравномерность своего контроля над территориями и часто изыскивало другие пути там, где не могло реализовать свою политику. Однако Штраус заключает: «Националистическое правительство оказалось способно, по крайней мере в критически важных секторах налогообложения и иностранных дел, выстроить сильные и проактивные институты в исключительно трудных условиях» (Strauss 1998: 191). П. Хуанг (Huang 2001) придерживался подобных взглядов на правовую систему Китайской Республики 1927–1937 гг. Новые законы защищали частную собственность, капитал и инвестиции, а индивидуальные принципы сменили патриархальные в семейном праве. Тем не менее значительно меньше изменений было в судебном делопроизвод-

стве, поскольку судьи стремились к компромиссу между правом и общинными практиками.

Занаси (Zanasi 2006) отмечает возвышение корпоративистов во главе с Ван Цзинвэем, которые также испытали влияние кейнсианства, «нового курса», социализма и фашизма. Способные преследовать цели догоняющего развития, они смогли использовать агентства национального планирования для того, чтобы координировать деятельность государства, банкиров и промышленников частного сектора в прибрежных регионах. Сам Чан Кайши представлял себе авторитарно-утопический девелопменталистский режим, испытывший влияние фашизма, с контролируемым государством военно-промышленным комплексом. Он национализировал ведущие банки и намеревался подчинить финансовый капитал своим целям (Coble 1986). Однако это спровоцировало бегство Ван Цзинвэя и его сотрудничество с японцами, которые, по его мнению, могли лучше сохранить автономию китайского капитализма. Модернизационные проекты Чан Кайши, его армию и взятки милитаристам необходимо было оплачивать, и он преуспел во взимании займов и налогов с промышленности. В течение некоторого времени ему также удавалось собирать налоги в регионах, расположенных в нижнем течении Янцзы. Однако это спровоцировало землевладельцев — основных налогоплательщиков — сопротивляться государственной программе земельных реформ, которая должна была сократить крестьянские арендные платежи (Bernhardt 1992: 178–188). Что бы ни провозглашал Гоминьдан в столице, в провинциях он оставался зависимым от землевладельцев и милитаристов, которые обычно обеспечивали, чтобы реформы оставались лишь на бумаге. Некоторые милитаристы управляли своими мини-государствами. Чан Кайши пошел на слишком много прагматических компромиссов со своими союзниками, чтобы превратить свою националистическую риторику в подлинную идеологию.

Отношения с крестьянами-налогоплательщиками становились натянутыми. Поскольку налоговое бремя росло, местные лидеры (главы местных кланов или религиозных культов) стремились избегать своих обязанностей по сбору налогов, и во многих провинциях налоговые поступления пошли на убыль. Государство ответило откупом налогов, позволявшим группам предпринимателей, клерков и хулиганов взимать налоги самостоятельно и забирать часть себе (Duaa 1988: 43). Рост косвенного правления был политически опасным, ослаблявшим связи между государством и местными воротилами. На самом деле Гоминьдан способствовал этому, надеясь противостоять власти землевладельцев на провинциальном и уездном уров-

нях путем привлечения на местные посты членов Гоминьдана из других провинций. Многие из них оказались алчными проходимцами без местной легитимности, оттолкнувшими местных нотаблей, которых они заменяли на постах (Benton 1999: 177–178). Ван де Вен заключает: «Противоречия между различными частями блока националистов — заморскими китайцами, торговой элитой, рабочими, крестьянами и некоторыми милитаристами и даже некоторыми землевладельцами — оказалось слишком трудно примирить и свести воедино в сплоченный политический порядок» (Van de Ven 2003: 93; Geisert 2001). Это было только потенциально деспотичное правление, хотя китайцы оставались в массе своей подданными, а не гражданами.

Возникает контрфактический вопрос: мог ли националистический Китай развиваться в современное полуавторитарное государство с эффективным управлением и определенной степенью развития гражданских прав на его территории? В конечном итоге он достиг этого на Тайване после 1945 г., который затем в 1990-х гг. стал двигаться к демократии. Однако на материковой части Китая внутренние противоречия Гоминьдана были более серьезными. У Гоминьдана по-прежнему была узкая база, его раздирали межрегиональные распри, и не было практически никакой крестьянской поддержки, он не был склонен мобилизовывать крестьян, поскольку это могло вызвать проникновение в Гоминьдан коммунистов. Без определенной комбинации солидарности элит и массовой мобилизации, которыми обладали и Япония Мэйдзи, и коммунистический Китай, такую большую страну невозможно было направить по пути устойчивого экономического развития и политического порядка. Трудно себе представить, как этого мог бы достичь Гоминьдан, но мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что режиму Чан Кайши не дали на это времени. Он был разорван на части опустошительной войной против японцев.

В 1937 и 1938 гг. японские силы атаковали и продвинулись глубоко внутрь вдоль основных коммуникационных линий, захватывая города на востоке. Большинство элитных частей Гоминьдана и их офицеров, прошедших подготовку в военной Академии Вампу, были уничтожены, и режим потерял богатейшие регионы страны. Тем не менее китайские партизаны, скрывавшиеся в отдаленной сельской местности, выводили из строя железнодорожные линии, поэтому потребовалось сосредоточить больше японских солдат на их защите. В 1937 г. японцы полагали, что трех дивизий будет достаточно, что вынудить Гоминьдан просить мира. Двумя годами позже они сосредоточили в Китае 24 дивизии (общая численность японской армии составляла всего 34 дивизии). Они откусили больше, чем могли проглотить.

Мнения военных историков о качестве вооруженных сил Гоминьдана расходятся (Gordon 2006). Добрую половину официальной численности его сил составляли полуобученные ополчения полуавтономных милитаристов, и даже некоторые собственные армии Гоминьдана были немногим лучше. Имели место некомпетентность, коррупция и нехватка координации, но, вероятно, более значимой была явная отсталость Китая, особенно тогда, когда Гоминьдан был отрезан от своих наиболее развитых областей. Особенно трудным для Гоминьдана было набирать и тренировать солдат, чтобы восполнить ужасные потери, причиненные изначальным натиском японцев, и затем продолжать вести войну на истощение. В результате изначально упорядоченный призыв сменился беспорядочной насильственной вербовкой солдат. «Китай был аграрным обществом, который не мог справиться с требованиями, наложенными современной войной», — заключает Ван де Вен (Van de Ven 2003: 295; ср. Dreuer 1995: 181). Военная власть раздробила режим Чана. И все же благодаря большой территории и при помощи растущего китайского национализма он продолжал сражаться. Поэтому японские силы стали увязать в этой войне, как в болоте.

Сам Чан Кайши неохотно воевал против японцев. Он предпочел бы компромисс с японцами до тех пор, пока не расправится с милитаристами и коммунистами. Он называл эту политику так: «сначала объединение внутри, затем борьба с врагом извне». «Японцы, — говорил он, — это болезнь кожи, а коммунисты — болезнь сердца» (Dreuer 1995: 172). Однако он не смог до конца придерживаться этой политики. Во время Сианьского инцидента 1936 г. он был взят под арест собственными войсками, чтобы заставить его сражаться против японцев, а не против коммунистов. Его освободил Сталин, который по-прежнему был убежден, что только Чан Кайши может возглавить китайское сопротивление Японии. Давление националистов вынудило Чана сформировать Объединенный фронт с коммунистами и другими антияпонскими силами. На самом деле в течение следующих трех лет ему пришлось выплатить крупные субсидии областям, управляемым коммунистами, которые стали их основным источником дохода. К этому моменту политика национального сопротивления взяла верх над политикой классово-войсковой борьбы.

В трех оккупированных провинциях японцы также правили при помощи милитаристов. Некоторые сотрудничали потому, что не видели реальной альтернативы, некоторые — из личной вражды с Чан Кайши, другие верили, что японцы смогут быстрее восстановить порядок, и лишь немногие были идеологическими коллаборационистами, идентифицировавшими себя с завоевателями и рассматривавшими японскую опеку как путь

к модернизации (Barrett and Shyu 2001). Упорное сопротивление китайцев в других районах в сочетании со слишком большой растянутостью японских коммуникаций создало патовую ситуацию. В японской армии отдавали приказы не брать пленных (китайцы также часто убивали пленников) и иногда не делать различия между военными и гражданскими. Нерегулярное снабжение армии вынуждало ее добывать пропитание на месте. Японские командиры заявляли, что международное военное право не применимо в Китае. Все это приводило к зверствам.

Томинага Созо вспоминает Китай очень отчетливо. Он был туда вместе с другими младшими офицерами в июле 1941 г. для прохождения военной службы. У опытных солдат, которых он встречал, были «злые глаза». Созо прошел несколько дней офицерской подготовки, в конце которых каждый обучаемый должен был обезглавить связанного китайского военнопленного своим мечом. Томинага волновался, справится ли с заданием, и испытал облегчение, когда успешно его выполнил. Он вспоминает: «В тот момент я почувствовал, что что-то внутри меня изменилось. Я не знаю, как это выразить, но после случившегося у меня как будто перестала быть „кишка тонка“». Он говорит, что позже понял, что и у него глаза стали злыми. У офицеров, в отличие от солдат, было другое контрольное задание — они должны были штыком заколоть связанного пленника. Он комментирует:

После этого человек мог с легкостью делать что угодно. Армия создавала людей, способных сражаться... Человеческие существа превращались в демонов-убийц. Каждый становился демоном за три месяца. Люди способны отважно сражаться только тогда, когда их человеческие качества подавлены. Так мы тогда думали. Это было естественным продолжением нашего обучения в тылу, в Японии. Такой была Императорская армия (Cook and Cook 1992: 41–43).

В 1937 г. таким был императорский путь на китайской земле.

Китайцы называли их «армией саранчи» (Nata 1988: 302). Нанкинская резня 1937 г. была, вероятно, худшим зверством, в ходе которой было убито от 35 до 200 тыс. безоружных китайцев и тысячи женщин были изнасилованы. Количество жертв остается спорным и играет важную роль в международной политике и по сей день, и все же предположительно гораздо большее число жертв недостаточно обоснованно (Askew 2002; Vix 2001: 332–336). Японские журналисты, ставшие свидетелями этих зверств, были в ужасе. Один из них попросил подполковника Танаку Рюкити как-то обосновать эти убийства. Он ответил: «Честно говоря, у вас и у меня диаметрально противоположные взгляды на китайцев. Вы, возможно, относитесь к ним

как к людям, но я считаю их свиньями. Мы можем делать все что нам заблагорассудится с этими тварями» (Ferguson 2006: 477). Япония применила в Китае отравляющий газ; программа бактериологической войны, возможно, погубила до полумиллиона человек. Китайским детям давали булочки со штаммами холеры, самолеты сбрасывали блох — носителей чумы и перья со спорами сибирской язвы. Жертв разрезали на части, чтобы проверить распространение болезней (Barenblatt 2003). Эти программы сравнимы с ужасными экспериментами нацистов над еврейскими пленниками. Японская антикоммунистическая кампания 1941 г. также была свирепой. Приказ заключался в «трех все»: всех убить, все отнять, все сжечь. Они разрушили несколько базовых областей коммунистов. Японская империя могла быть благожелательной, когда не была под угрозой, но сопротивление ей принесло ужасные зверства.

К этому моменту японский милитаризм стал, к сожалению, жестоким, каким не был прежде. Он рассматривал военнопленных как «военное снаряжение», которое следует расходовать и затем уничтожать, если в нем больше нет нужды. Уровень смертности среди англо-американских военнопленных у японцев был в семь раз выше, чем у немцев и итальянцев. Японские солдаты не имели практически никакого представления об основных правах человека, что было очевидно из жестокого обращения с японскими солдатами. Для офицеров было привычным делом бить своих солдат, и это оправдывалось как «железный кулак» или «бич любви». Старые японские добродетели верности бусидо, соединившись с императорским путем, разложились и лишились нравственного смысла. Это не было традиционным японским недостатком; в войне 1905 г. против России подобных зверств и в помине не было. Японская армия изменилась. Возможно, презрение к врагу росло с ростом военных успехов; возможно, причиной зверств была растущая классовая пропасть между образованными офицерами и рядовыми солдатами, которых набирали из бедных сельских регионов. Насилие рассматривалось в качестве необходимого, чтобы поддерживать дисциплину и мужество. Японским солдатам снова и снова говорили, что их убьют, если они попадут в плен к врагу, и поэтому они сами поступали с военнопленными так, как были уверены, что поступят с ними, окажись они на их месте. Это усиливало этос отказа от сдачи в плен: если смерть неизбежна, то сделай ее осмысленной через «славное самоуничтожение» (Tanaka 1996: 71, 195–196, 197–215). Поэтому ни о какой любви завоеванного населения к японцам не могло быть и речи.

Японцы увязли в Китае, как в болоте. В 1938 г. Япония сосредоточила в Китае 600 тыс. солдат и к тому времени потеря-

ла 62 тыс. убитыми. Между 1938 и 1944 гг. линия фронта почти не изменилась, хотя коммунисты постепенно увеличили территории своих базовых областей. Японцы контролировали города и коммуникационные пути на востоке Китая и через милитаристов контролировали некоторые другие регионы. Однако партизанские движения преследовали их в большинстве сельских регионов, у них также не хватало ресурсов для дальнейшего продвижения. И все же ни Гоминьдан, ни коммунисты не могли одержать победу над японцами ни в одном планомерном крупном сражении. Это была патовая ситуация.

Японских гражданских лиц не допускали к принятию решений по Китаю — кабинет министров работал практически исключительно с вопросами внутренней политики. Делами внешней политики управляло Совместное совещание правительства со ставкой, которым руководили военные, президент Тайного совета и император. Армия отказалась от переговоров с Чан Кайши, и, когда дело все же дошло до переговоров, японцы ожидали, что Китай пойдет на уступки. Тем не менее китайский национализм был слишком возмущен японскими зверствами, и Чан Кайши вряд ли отдал бы за столом переговоров японской армии то, что она не могла завоевать на поле боя (Berger 1977: 236). На него давили, чтобы он потребовал восстановления китайских границ в том виде, в каком они существовали до инцидента на мосту Марко Поло, и автономии Маньчжурии; тем не менее любое японское правительство, которое пошло бы на такое, было бы низложено. Отныне Токио контролировали военные, которые эти агрессивные действия развязали. Если бы они потеряли власть, то не смогли бы защищать свои интересы внутри Японии. Некоторые из армейского бюро планирования видели, что даже если Япония оккупирует весь Китай, то она все равно будет нуждаться в торговле с британцами и американцами. Тем не менее мало кто хотел просить об одолжении англосаксов, которые помешали Японии занять полагавшееся ей место в мире. Принц Коноэ, который был премьер-министром с 1937 г., снова и снова заявлял, что тем странам, которые пришли к империализму с опозданием, таким как Германия, Италия и Япония, придется сражаться за место под солнцем. Мир, говорил он, будет в интересах держав, защищающих статус-кво (I. Kershaw 2007: 106–108). Это было верно: если империи оставались востребованными, результатом была война. Европейские войны превращались в мировые.

Япония первоначально была втянута в Китай в связи с нарушением субординации со стороны военных и теперь погрязла там из-за милитаризма Токио. Коллективное милитаристское правление поддерживалось самыми низшими уровнями офи-

цества и националистическими группами давления, готовыми убивать несогласных. Имели место лишь незначительные голоса протеста снизу. Трудно понять степень народной поддержки войны в отсутствие какого-либо эквивалента гестаповских отчетов о народном настроении. Однако, поскольку японские медиа жестко контролировались, большинство японцев полагали, что война идет вполне удачно. Даже когда в Японию стали просачиваться объективные данные, благодаря базовому патриотизму поддержка сохранялась. Кумагая Токуити, механик, вспоминает: «Я представлял, что единственный выстрел нашей армии сразит китайцев». В любом случае, добавляет он, «война означает рабочие места для механиков». Ноги Харумути вспоминает огромные толпы, которые приходили на собрания националистов. Он помнит, как был захвачен националистическими чувствами: «Я хотел построить Великую Восточную Азию». Фукусима Йоси отправился работать воспитателем детского сада в Маньчжоу-го, поскольку «мы должны позаботиться о детях Маньчжурии, потому что Маньчжурия заботится о Японии» (Cook and Cook 1992: 47, 51–54, 57). Они были убеждены, что делают добро, — заблуждение, свойственное империализму. Как и в Германии, военное кейнсианство увеличило популярность режима. Военные расходы бюджета взлетели в 1938 г. с 15 до 24% ВВП, затем рост прекратился до 1940 г. (когда они вновь выросли). В то же время ВВП вырос примерно на 30% между 1937 и 1941 гг. во время войны в Китае (Hara 1998: 226–227, 257). Все выглядело так, как будто война благотворно сказалась на экономике, хотя в реальности все, вероятно, было иначе.

Джордж Снайдер (J. Snyder 1991: 120) заключает, что японский империализм к концу 1930-х гг. был иррациональным даже в том, что касалось остаточной цели, которой на тот момент была защита власти союза военных и правых. Теперь он прибегнул к политике, которая практически неизбежно должна была его разрушить. Китайская национальная идеология была слишком могущественной для Чан Кайши, чтобы он прагматически мог принять какие-либо условия мира, которые мог предложить Токио (Eastman 1984; Nish 2002; Tarling 2001; Akami, 2002; Huang and Yang 2001: 73–75, 137; Barnhart 1987: 49, 91–104). Война в любом случае затянулась бы на неопределенное время, до тех пор пока реалисты с обеих сторон не признали бы полное истощение ресурсов и не пошли на компромисс. Затем был Перл-Харбор и вступление в войну Америки, и это изменило расчеты китайцев. В то время как большая часть японской элиты недооценивала американскую силу и волю, Чан Кайши и Мао думали иначе. Они видели, что Япония в конечном итоге потерпит поражение, поэтому они решили не атаковать, не вести перегово-

ры, а просто ждать, пока Соединенные Штаты нанесут Японии поражение. Им приходилось защищаться, их основной стратегией было наращивание сил для будущей войны друг с другом.

Армии Гоминьдана, а также коммунистические и иные партизанские силы внесли вклад в победу союзников, связывая миллион японских солдат во время войны на Тихом океане. Эти японцы были преимущественно новобранцами, а не опытными солдатами, к тому же Японии требовалось больше кораблей и самолетов и обученных солдат для войны на Тихом океане, а не пехоты. И все же японские потери в Китае росли, вызывая все больше тревоги, а восстановление японской экономики после Великой депрессии было ослаблено военными расходами, понесенными из-за войны с Китаем. Это повышало инфляцию, истощало валютные резервы Японии и уменьшало инвестиции. Хотя китайцы и не могли победить в этой войне, они помешали победить Японии. С 1937 и примерно до 1942 г. больших успехов в этом добился Гоминьдан, чем коммунисты; после 1942 г. достижения обеих сторон были более или менее равными. Я обращусь к возвышению второго, коммунистического дракона в следующей главе.

ИМПЕРИИ СОЛНЦА И ОРЛА

В Юго-Восточной Азии в начале и середине 1930-х гг. Япония преследовала более рыночно ориентированную стратегию со своего рода неформальной империей во Вьетнаме и чисто рыночной дипломатией по отношению к жизненно необходимой нефти Явы и Суматры. Потерпев поражение в 1939 г. во время инцидента у Номон-Хана (Халхин-Гола), Япония подписала пакт о нейтралитете с Советами. Теперь стратегия флота о расширении на юг стала рассматриваться в Токио более благосклонно. Когда Гитлер завоевал Францию и Нидерланды, их колониальные владения во Вьетнаме и Ост-Индии стали лакомым куском для Японии. «Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью! Не позволяйте никому встать у вас на пути», — призывал министр армии Хата Сюнроку в июне 1940 г. (I. Kershaw 2007: 91). Поскольку японское руководство не ожидало, что Британия сможет долго продержаться в войне против Гитлера, ее азиатские колонии также можно было заполучить. Соблазн союза с Германией и удара в южном направлении возрастал. Это притягивало большую часть флота, бюджет которого мог получить серьезную выгоду, хотя и не его главу адмирала Ямамото, который по-прежнему был уверен, что Япония не сможет вести успешную войну против Соединенных Штатов. Армия

также считала, что защита на Севере и нападение на Юге будут лучшей стратегией. Поскольку американцы взломали японские шифры, они знали об изменениях в их стратегии. Они оставались хорошо осведомленными до того момента, как началась война на Тихом океане.

Япония по-прежнему испытывала критическую зависимость от импорта, особенно нефти. Хотя «ресурсный империализм» в Маньчжурии, Северном Китае, Корее и на Тайване к тому моменту обеспечивал около 20% ВВП основной территории Японии, он не давал отдачи во всех секторах экономики. Как пишет Бернхарт: «С самого начала офицеры — первоначальные сторонники тотальной войны подчеркивали важность того, чтобы не враждовать с Западом до тех пор, пока не будет достигнута самодостаточность. Их провал был впечатляющим, и их планы провалились не из-за действий Запада» (Barnhart 1987: 267). Сблaзн броситься за нефтью Голландской Ост-Индии казался способом расширения «ресурсного империализма». В 1938 г. Соединенные Штаты начали отправлять морем военные поставки в Китай и кредитовать китайских националистов и Британия планировала строительство железной дороги из Бирмы, чтобы доставлять морем больше поставок националистам. Это внесло свой вклад в патовое положение в китайской войне и повысило враждебность японцев к англоговорящим странам.

В августе 1940 г. японцы создали Великую восточноазиатскую сферу взаимного процветания — эвфемизм для обозначения того, что на самом деле было напрямую управляемой империей. В сентябре они оккупировали Северный Индокитай (Вьетнам) и примкнули к союзу стран оси. Они отложили наступление против СССР, запланированное на лето 1941 г. Все выглядело так, как будто Япония рассматривала возможности расширения империализма в южном направлении на Тихом океане. С точки зрения США три державы (Германия, Италия, Япония), все еще пытавшиеся установить прямую империю, противопоставлялись более демократическим державам, выступавшим за свободу торговли, то есть неформальным империям. Соединенные Штаты надеялись помешать союзу Японии и Германии, как и некоторые японцы, но они потеряли влияние, поскольку в 1940 и 1941 гг. японские элиты начали верить, что Германия одержит верх в войне в Европе. Первоначальный успех операции «Барбаросса» в России подтолкнул Японию к отчаянным действиям. Делая ставку на победу Германии, режим считал, что Япония должна ухватиться за свою возможность на Тихом океане. Война в любой момент могла стать глобальной.

Также имел место ряд опасных взаимных недопониманий, как обычно бывает накануне войны. Япония и Соединенные

Штаты являли собой весьма различные формы империализма и не могли понять, какую угрозу представляли друг для друга. Отсюда в корне различные метафоры этой угрозы: там, где Соединенные Штаты боялись жестокого тоталитаризма, японцы видели удушение глобальными экономическими щупальцами, либерального монстра. И то и другое было всего лишь преувеличением в отношении того типа империи, который представлял противник. Японский империализм действительно обладал жестокими и тоталитарными тенденциями, а власть США действительно распространялась по всему Тихому океану и Азии с их политикой якобы открытых дверей и флотом, достаточно мощным, чтобы обеспечить нефтяные эмбарго.

Основным камнем преткновения в спорах между Соединенными Штатами и Японией оставался Китай. В 1932 г. доктрина Стимсона уже провозглашала враждебный настрой Америки по отношению к японскому милитаризму в Китае и созданию Маньчжоу-го. Доктрина оставалась в силе, хотя по большому счету была риторической. Буква доктрины подкреплялась военными поставками Чан Кайши, но они были мизерными по сравнению с объемами все еще продолжавшейся торговли с Японией, которая получала из Соединенных Штатов 80% своего импорта нефти. Проблема, как сказал один из дипломатов Рузвельту, заключалась в том, что «в Китае у нас большой эмоциональный интерес, мало экономического интереса и никаких жизненно важных интересов» (Kennedy 1999: 501–502). И все же Соединенные Штаты продолжали требовать от Японии возврата к статус-кво, существовавшему до 1931 г., а Япония продолжала эти требования игнорировать. Японские лидеры — и «ястребы» и «голуби» — отказывались, считая, что возвращение к 1931 г. предполагает отказ от Маньчжоу-го и от 170 тыс. японских поселенцев. Это, полагали они, будет ужасной катастрофой для японской экономики и особенно для любого правительства, которое на это согласится (Tsonuda 1994; Toland 1970: 144–145).

Поскольку Соединенным Штатам не хватало военной мощи в Азиатском регионе для сдерживания Японии, они вместо этого напрягли свои экономические мускулы. Их ответом на признаки приближавшегося наступления в южном направлении был не приход к соглашению, как надеялись японцы, а «переход от разнородных мер по ограничению экспорта к полноценной финансовой войне против Японии». В мае 1941 г. американская администрация наложила запрет практически на весь экспорт из Соединенных Штатов и Британской империи. Нефть была ключевым ресурсом; японские компании уже обеспечили одобрение лицензий на бензин от Соединенных Штатов на дополнительные 9 месяцев и обычной сырой нефти на 23 меся-

ца. Единственное, что могло это остановить, была заморозка японских активов в Соединенных Штатах, в результате которой Япония не могла платить за нефть. Рузвельт одобрил эту меру, возможно не понимая ее последствий для Японии, тогда как помощник госсекретаря Ачесон точно знал, что делает. Позиция Рузвельта остается неясной, хотя он и назначил «ястреба» Ачесона в качестве того, кто будет усиливать давление на Японию. Официальная история говорит, что Рузвельт только в сентябре обнаружил, что Япония не получает нефть с июля (Miller 2007: 108, 123, 167, 175, 203–204; ср. Barnhart 1987).

Эффект от этих эмбарго и заморозки активов был обратным тому, на который рассчитывали США. Либералы не могли понять милитаристов. Этот наступательный экономический шаг не усадил Японию за стол переговоров. В глазах японского военного фашизма эти действия были «покушением на само существование нации» (Miller 2007: 242). Это способствовало последнему отчаянному рывку. По разным оценкам японских плановщиков, флот мог продержаться без поставок нефти от шести месяцев до двух лет. Они также видели, что Соединенные Штаты наращивали свой тихоокеанский флот. Они рассуждали, как и Гитлер: поскольку Японии не победить в долгой войне, необходима блиц-война (японский перевод с немецкого) в форме короткого, но сокрушительного удара по американским (и британским) силам. Адмирал Ямамото по-прежнему возражал против войны, но, когда ему не удалось переубедить императора, он, желая сохранить свой пост, в мае 1941 г. предложил атаку на Перл-Харбор в качестве наилучшей стратегии. Она была проверена в военных учениях в сентябре и принята в качестве военной стратегии в середине октября.

В то же время продолжались переговоры. Японцы, включая премьер-министра Коноэ и самого императора, были противниками войны с Соединенными Штатами. Коноэ был назначен вести переговоры, но не получил полномочий идти на значительные уступки. В Токио господствовало представление, что если он не сможет договориться о мире, то Япония атакует. Обе стороны поиграли с возможностями компромисса в конце 1941 г., но, как и раньше, эти усилия оказались напрасными из-за разногласий по Китаю. Вопрос о Маньчжоу-го можно было отделить от всего остального вопроса по Китаю, что позволило бы Японии остаться в Маньчжоу-го, но уйти из Китая. Любопытным (с точки зрения реализма) было то, что значительно большим приоритетом, чем война друг с другом, для Японии была война с Китаем, а для Соединенных Штатов война против Гитлера. Так почему же Япония продолжала обострять отношения с Соединенными Штатами своими действиями в южном на-

правлении? Почему Рузвельт не оставил Японию в Китае в покое (на определенный момент) и не перебросил больше ресурсов на борьбу с Гитлером? Это также дало бы Соединенным Штатам время для наращивания военных ресурсов, чтобы позднее они могли более убедительно сдерживать Японию от агрессии. Кеннеди (Kennedy 1999: 513–514) задает эти вопросы, но не может на них ответить. Произошло столкновение между мощью японского милитаризма и растущим американским осознанием собственного имперского потенциала. И то и другое затрудняло выбор двумя сторонами более благоразумного отступления, но трудно объяснить, почему японский милитаризм вышел за рамки разумного. Только невероятное везение могло сделать эту войну удачной для Японии, и многие представители японской элиты это понимали. Иррационализм по определению трудно объяснить. Он обычно остается в остатке в наших объяснениях, но в данном случае именно он привел к войне на всем Тихом океане.

В октябре Коноэ, которому не удалось договориться о компромиссе, был вынужден уйти в отставку и был заменен генералом Хидэки Тодзио, сторонником жесткой линии. Первоначально Тодзио продолжил вести переговоры, хотя ни одна сторона не предлагала значительных уступок. 25 ноября Белый дом пришел к заключению, что война представляется неизбежной. Военный министр Стимсон писал в своем дневнике: «Вопрос был в том, как нам путем маневров заставить их сделать первый выстрел, при этом не подвергая себя слишком большой опасности» (Kennedy 1999: 515). На следующий день Корделл Халл открыто вернулся к требованию, согласно которому условием нормализации отношений между Соединенными Штатами и Японией должен стать вывод японских войск из Китая, включая Маньчжурию. Японцы сочли это условие неприемлемым и прекратили переговоры. 1 декабря император одобрил план атаки на Перл-Харбор. В 8 часов утра (по гавайскому времени) атака началась. Япония намеревалась завоевать империю или умереть сражаясь. Тодзио удалось и то и другое.

Мало кто в Соединенных Штатах ожидал такой реакции. Данные расшифровки японских кодов говорили о предстоящем нападении, но американцы не знали, где оно произойдет. За день до атаки они уже знали когда, но все еще не знали где. Соединенные Штаты ожидали высадки десанта в Азии или на Филиппинах, но не воздушной атаки на собственной территории. Перл-Харбор стал для них сюрпризом, и все американские военные корабли были уничтожены. Американские лидеры не могли поверить, что Япония, которая явно уступала в экономическом отношении Соединенным Штатам с ее 5%

от их потенциала тяжелой промышленности предпримет атаку на их собственной территории (Igiye 1987: 149–150; 1997). Действительно, нелегко понять, почему Япония решилась напасть на Соединенные Штаты, когда уже была полностью поглощена Китаем. Американская экономическая война, усиленная жесткостью американской линии в отношении Китая, усилила милитаристов в Токио и привела флот к агрессивной стратегии по захвату нефти (Evans and Peattie 1997: 447, 471–482). Тодзио снова и снова повторял, что эмбарго задыхает Японию, что флот продержится без нефти не более двух лет и что Соединенные Штаты станут лишь сильнее. Шансы на успех в войне невелики, признавал он, но альтернатива заключается в том, что Америка сведет Японию до уровня «третьесортной страны за два или три года, если мы будем просто сидеть на месте». Мир под господством Америки или война вопреки отсутствию шансов, но зато с честью — таким был выбор (Tarling 2001: 76–78; I. Kershaw 2007: 365). Режим военного фашизма предпочел последнее.

Американцы полагали, что Япония могла и отступить, как в 1914 или 1940 г. отступила Британия, но это было бы отказом от имперских амбиций, унижением. Такое поведение не является беспрецедентным — Горбачев повел себя таким образом в 1980-х гг., но в целом оно мало для кого характерно. Для того чтобы объяснить, почему ответ был столь агрессивным блицкригом, необходимо добавить, что Япония была милитаристским режимом с полуфашистской идеологией, имевшим собственный опыт и окрыленным успехами Гитлера. Ни один человек в Японии или Соединенных Штатах не был убит в предшествовавших международных войнах, а потому лишь немногие представляли себе ужасы тотальной войны. Япония, как и в 1905 г., решила нанести превентивный удар. Она собиралась уничтожить американский флот, захватить британские, голландские и американские колониальные владения на всем Тихом океане, создать «защитный периметр» по всему Тихому океану, чтобы защитить нефть из Борнео и Суматры. Защищенная в своей азиатской крепости, Япония могла вести переговоры о гарантированном доступе на рынки с позиции силы при поддержке казавшейся непреодолимой мощи Германии в Европе. Они не надеялись одержать победу в войне с Соединенными Штатами, а всего лишь хотели создать возможность вести переговоры с позиции силы с помощью Гитлера. Они оказались по большей части правы: все произошло именно так, за исключением последней стадии — окончания войны путем переговоров.

Японские лидеры не то чтобы были уверены, но надеялись на победу в короткой наступательной войне, пессимистично настроенные относительно долгой войны, они уповали на то, что

переговоры не дадут этому случиться. Они были уверены, что Соединенные Штаты запросят мира вскоре после первых сокрушительных ударов, и затем можно будет достичь компромисса. Адмирал Садатоси позднее признавал, что «подобные оптимистические прогнозы... на самом деле не имели под собой надежных расчетов». Одной из проблем было то, что, как и Гитлер, японские милитаристы презирали мягкость либеральных демократий. Их идеологии содержали сильную эмоциональную компоненту гордости и презрения к либеральному Западу. Они принимали американскую вильсоновскую риторику всерьез. Оценили они реальность американского империализма и не следуй его риторике, они бы поняли, что Соединенные Штаты никогда не чурались использовать армию в «войнах по выбору», как, например, в Первой мировой войне. Ямамото был прав: Перл-Харбор был лучшей стратегией, но и эта стратегия не сработала.

Конспирологическая школа утверждает, что Рузвельт на самом деле хотел, чтобы Япония атаковала Америку, с целью вовлечь ее во Вторую мировую войну и достичь глобального доминирования после нее. Хотя достоверные доказательства этого отсутствуют, Америка действительно не очень преуспела в переговорах, но нет доказательств и в пользу того, что они заманили японцев в Перл-Харбор. Даже после неожиданного уничтожения четверти тихоокеанского американского флота на его собственной базе (к счастью, ни одного авианосца в тот момент в порту не оказалось) и вторжения в десяток стран по всему периметру американских экономических интересов, результатом стали не переговоры, а тотальная война. Сенат единогласно проголосовал за войну, палата представителей проголосовала за нее 388 голосами против одного. Орел чувствовал себя униженным и был взбешен. Эмоции переполняли обе стороны. Соединенные Штаты отвергли компромисс не только потому, что они не собирались отрекаться от империализма, но и потому, что в компромиссе не было необходимости. Япония была не в состоянии нанести ущерб материковой части США, и это сделало атаку на Перл-Харбор бессмысленной. Америка могла воевать без опасности для своей территории, а Япония нет.

Япония получила войну на всем Тихом океане и полное уничтожение, Америка — глобальную империю. Кажется вполне уместным, что в последней великой битве сражалась Квантунская полевая армия — причина стольких бед. В августе 1945 г. Красная армия, недавно присоединившаяся к войне на Востоке, быстро опрокинула недостаточно вооруженные дивизии Квантунской армии, было убито 80 тыс. японцев. Около 3 млн японцев погибли в войне на Тихом океане, хотя количество жертв,

которые понес Китай, было в четыре раза больше. Даже если бы некоторые большие сражения закончились победой японцев, трудно было предположить иной финал. Великое морское сражение — битва за Мидуэй в июне 1942 г. — часто рассматривается как решающее. Все пошло не в пользу Японии — за считанные минуты десять попаданий из тысячи бомбовых ударов, нанесенных по японскому флоту, решили исход сражения. Но даже если бы Япония победила в этом сражении и подошла вплотную к захвату Австралии, Соединенные Штаты бы перегруппировались, построили больше авианосцев и самолетов и вернулись. Между 1941 и 1945 гг. Япония произвела 70 тыс. самолетов — немалое достижение, но купленное ценой огромных страданий граждан. Соединенные Штаты произвели 300 тыс. (фордовские конвейеры в Уиллоу-Ран делали один бомбардировщик В-24 каждые 63 минуты) и пережили экономический бум. Они также получили атомную бомбу. Когда инициатор и руководитель Манхэттенского проекта Роберт Оппенгеймер стал свидетелем первого полноценного испытания атомной бомбы, он сказал: «Я — Смерть, великий разрушитель миров». Он стал окончательным разрушителем японского мира. Соединенные Штаты обрели экономическую и военную мощь и идеологическую волю, чтобы стать величайшей державой мира. С этого момента они действовали не как вильсоновская благотворительная организация, которой они иногда прикидывались на словах.

Успех превентивного японского удара 1941 г. действительно разбил вдребезги европейский колониализм по всей Восточной и Юго-восточной Азии. Теперь Япония обладала единственной империей в этом регионе. Она насчитывала 350 млн человек, уступая по численности только Британской империи. Тем не менее японская оккупация распылялась, носила все более жестокий и недолговечный характер. За исключением французского Индокитаа, где японцы заключили сделку, которая оставила колониальную администрацию на своем месте, они вторгались как освободители азиатских народов от белого колониального ига. Это обеспечило им осторожное одобрение местных националистов. Японцы обещали независимость Бирме, Филиппинам и Индонезии в 1942 или 1943 г. и Индокитаю в 1945 г. Однако освобождение было фасадным (Goto 2003: 291), всего лишь лозунгом, отвечающим на вопрос, который задавали в Токио: «А разве у нас нет лозунга наподобие американской демократии?» (Tarling 2001: 127). Япония на самом деле хотела обладать экономическими и человеческими ресурсами этого региона, чтобы достичь своих военных целей (Peattie 1996; Goto 2003). Во время войны силы японцев были слишком напряжены, чтобы проводить девелопменталистскую и ассимиля-

ционистскую политику, как в ее первой волне колоний, дальше на север. Теперь, когда разыгралась война на Тихом океане, вся колониальная политика была подчинена военным нуждам. Ресурсы были рассредоточены на огромной территории на довольно большом расстоянии от Японии. Миллионы японцев в Китае оказались бы весьма кстати для выполнения гражданских колониальных задач.

Первая Японская империя располагалась по соседству, вторая была разбросана дальше по морям, но без поселенцев и с незначительным количеством гражданских служащих. Не было свободных денег, чтобы построить инфраструктуры или государственно-частные предприятия первой волны. Вместо этого японцы просто захватывали шахты, плантации, нефтяные месторождения и заводы европейских колонистов и передавали их японским корпорациям. Как и в оккупированном Китае, города и области с ценными ресурсами, но не внутренние районы действительно контролировались. Оккупированные народы, включая даже тайванцев и корейцев, были подчинены нуждам японской армии, которая стала еще жестче, как только ход войны стал склоняться не в пользу Японии. В отличие от прочих империй колонизированные народы не призывали в вооруженные силы метрополии. Еще в ноябре 1941 г. японским военным был отдан приказ «жить с земли», который означал, что они могут захватывать то, что им нужно, или же платить по фиксированным ценам, которые затем становились слишком низкими. Нехватка денег и материалов означала, что принудительный труд становился нормой, включая огромные злоупотребления и пренебрежение к страданиям. Печально известная железная дорога в Бирме стоила жизней 100 тыс. рабочих. Чтобы избежать массового насилия над местными женщинами, японские военные власти создали организации, в которых тысячи женщин принуждали заниматься проституцией, — «дома для утех», обслуживавшие японских солдат. Японские захватчики также демонстрировали гораздо больше расизма в Юго-Восточной Азии, чем в Северной, что делало их невосприимчивыми к страданиям местных жителей.

Экономические тяготы войны усугубляли положение дел. Большая часть регионального экспорта сахара, чая, кофе и каучука прежде уходила в Европу и Америку. Поскольку Японии было нужно гораздо меньше этих продуктов, они оставались непроданными. Большинство производителей и до того жили на уровне чуть выше прожиточного минимума, теперь же последствия были просто катастрофическими: «В результате плохого правления японцев множество людей страдали и погибали в своих деревнях, на своих рабочих местах или на обочине

дорог, хотя многие из погибших никогда даже не видели японцев» (Sato 1994: 199–200; ср. Duus 1996; Tarling 2001: главы 4–6). Подобные зверства происходили не столько преднамеренно, сколько от бесчувственности режима, находившегося под давлением. В этом отношении вторая японская империя может быть сравнима с голодом в Ирландии или Индии либо с «Большим скачком» Мао.

Тем не менее местные государственные служащие и «белые воротнички» были готовы служить своим новым хозяевам точно так же, как они служили прежним, хотя теперь они могли вести свои дела на родном языке, а не на английском, французском или голландском. Таиланд был клиентелистским государством, формально независимым и действительно пользовавшимся некоторой автономией. Его склонная к фашизму олигархия стала пассивным союзником Японии. Всюду для выживания требовался коллаборационизм (именно поэтому было так мало расправ над коллаборационистами после войны). И все же вскоре японцы вызвали враждебность местных националистов, которые начали партизанское сопротивление в отдаленных районах. Принудительный труд и японские карательные операции принесли массовую поддержку националистам, влияние которых росло из-за войны на Тихом океане (Goto 1996, 2003). Поскольку одержавшие победу американцы не хотели колоний, а британцы и голландцы не могли восстановить свои, большая часть региона быстро установила политическую независимость. Японцы действительно освободили Азию, хотя и не так, как предполагали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении к главе 3 я привел перечень условий, которые способствовали становлению американского неформального империализма. Ниже предложены пять условий, способствовавших утверждению более прямого японского империализма.

- (1) Отсутствие у Японии собственных природных ресурсов подтолкнуло ее к экспансии в отличие от американцев. В этом случае экспансию осуществляли не только японские деловые круги за рубежом, как это в основном было в Соединенных Штатах. К тому же самой японской метрополии угрожали другие империи, по крайней мере до 1905 г. Народные националистические движения могли быть мобилизованы вокруг империализма, который интегрировал метрополию и колонии якобы для оборонительных целей.

- (2) Японские вооруженные силы прекрасно подходили для прямой интервенции в соседние страны. Колонии первой волны находились в пределах досягаемости логистик ее армии, снабжаемой флотом, а растущая эффективность и безжалостность армии были необходимы для завоевания и жестокого наведения порядка, до тех пор пока она не увязла в Китае.
- (3) Социальный империализм пользовался поддержкой и сверху, и снизу. Консервативные олигархи, которые боялись либеральной демократии, цеплялись за власть, пытаясь мобилизовать крестьянскую поддержку империализма. Крестьяне составляли рядовой состав вооруженных сил, и многие стремились к вертикальной мобильности, поселяясь в колониях. Это стимулировало популистский национализм, в основе которого лежало широко распространенное чувство угрозы и возможности, открывшейся для японского народа. Ни одно из крупных массовых движений не противостояло ему. Организованный рабочий класс слабел, а консервативные и реформистские, то есть правые, бюрократы запугали либералов из среднего класса и подтолкнули их вправо к принятию недемократической формы правления.
- (4) Конституция, как и в Соединенных Штатах, имела значение, но японская конституция не предлагала четких правил распределения или разделения политической власти. Она стимулировала группы власти бороться за доступ к императору, который был жизненно важным для утверждения политики. Первоначальный успех армии в завоевании и наведении порядка увеличил ее власть в Токио, а также позволил военному насилию внутри самой Японии оказывать решающее воздействие на исход внутренней борьбы при поддержке популистских националистов. Наконец, захватнический военный режим взял контроль над личностью и властью императора. Поскольку он символизировал собой нацию, она также была втянута в этот империалистический проект.
- (5) Эти группы интереса разработали принципы имперской миссии, оправдывавшей прямое правление над другими азиатскими народами, которые рассматривались как родственники, которых империя может цивилизовать и развить. Что было необычным в первой волне японской напрямую управляемой империи, так это то, что она действительно способствовала росту экономики, уровня образования и продолжительности жизни и ее успех усиливал соблазн дальнейшей имперской экспансии.

Однако ни рост, ни падение, ни даже внутренний военный квазифашизм японской прямой империи не были predetermined.

Имели место четыре Рубикона, которые могли и не быть взяты: Корея в 1910 г., Маньчжурия в 1931 г., Китай в 1937 г. и Перл-Харбор в 1941 г. Великая депрессия добавила еще одну великую случайность, свособствовавшую скатыванию вправо. До Кореи в 1910 г. реальные опасения о национальной безопасности сочетались с эффективными вооруженными силами в вакууме власти, созданном коллапсом Китайской империи. Это позволило захватить прибыльную косвенную империю. Если державы могли расширяться, они обычно так и поступали. После 1910 г. Япония объективно была в большей безопасности, и все же захват Кореи был нормальной имперской эскалацией от косвенного империализма с ненадежными клиентелистскими правителями к прямому империализму. Это требовало укрепления военного потенциала для репрессий и проведения политики культурной ассимиляции. Рубикон, которым стала Маньчжурия 1931 г., носил другой характер: автономная эскалация со стороны армии, хотя и отражавшая изменения в балансе власти внутри Японии, особенно в государстве. Он ускорил постепенное освобождение армии от какого-либо контроля сверху. В свою очередь, когда был перейден третий Рубикон — полномасштабное вторжение в Китай в 1937 г. — японский режим превратился в военный фашизм, способный действовать автономно и создавать положение дел на местах, что накладывало ограничения на политику центра. Хотя Маньчжурия была экономически ценной и в ней можно было навести порядок и управлять, эскалация империализма в Китае продемонстрировала, что теперь японские вооруженные силы были больше чем просто чутким инструментом, настраиваемым по соображениям безопасности и экономической выгоды. Теперь они были господствующим актором власти со своими интересами и боевыми ценностями. Последний Рубикон в Перл-Харборе продемонстрировал, что это оказалось самоубийственным.

Это было извращением Реставрации Мэйдзи, триумфом сильной армии над богатой страной, военной власти над экономической и политической. Японское государство всего лишь вернулось по большей части к деспотическому государству Реставрации после периода либерализма. Этот финальный результат был не только кульминацией долгосрочных структурных тенденций, но также колебаний баланса власти внутри страны и за ее пределами и военных потрясений, которые стали более важными, поскольку Япония милитаризировалась. Японский милитаризм был милитаризмом особого рода. Он чрезмерно полагался на блицкриг и репрессивное наведение порядка; к тому же его квазифашистская идеология препятствовала осознанию силы соперничавших национализмов в Китае и Со-

единенных Штатах, которые представлялись японскому милитаризму менее воинственными нациями. Если бы у борьбы за политическую власть в Токио был другой исход, могла бы возникнуть иная Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания, в центре которой была бы японская косвенная и неформальная империя, господствовавшая в Восточной и Южной Азии, хотя и с возрастающей ролью возрождающегося Китая в рамках этой структуры. Однако, подобно тому как вражда между империями была ахиллесовой пятой европейского империализма, неудавшийся японский империализм в Китае отложил грядущее азиатское возрождение. Японский империализм перенапряг свои силы и рухнул, а Япония и Китай остались опустошены этими войнами, оставив на время Соединенные Штаты господствовать над Азиатским континентом. Даже лишенная военной власти послевоенная Япония смогла возродить и превзойти свою прежнюю экономическую власть и развить после непродолжительного периода американского правления новую версию полудемократии Тайсё — на этот раз свободные выборы, создававшие однопартийное правление с 1955 по 2009 г. Японские идеологии существенным образом трансформировались вследствие отсутствия милитаризма, умеренного поклонения императору, и капитализм вернулся к простому государственному координированию предприятий. Вторая мировая война оказала огромное воздействие на Японию.

Американский империализм был предпочтительнее японского, потому что неформальный империализм более мягкий и более открытый по сравнению с прямым империализмом. Неформальная империя настроена в большей степени на глобальное экономическое преимущество, использует меньше насилия и менее пагубна, чем империя, которая подчиняет экономические интересы милитаристским и националистическим соображениям. В отличие от Зомбарата я предпочитаю героям торговцев. Однако в Китае одержавшие победу «герои» также были и материалистами.

ГЛАВА 13

Интерпретация Китайской революции

В ГЛАВЕ 6 была рассмотрена первая марксистская революционная волна, вдохновленная большевистской революцией в России. За исключением самой России, эта волна потерпела поражение, лишь спровоцировав более жестокую контрреволюционную волну, установившую фашистскую и прочие правые деспотии. Вторая волна была более успешной. Она, как и первая, распространилась вовне от одной революции, осуществленной Коммунистической партией Китая (КПК). В 1949 г. после эпической тридцатилетней борьбы, прерываемой множеством поражений и страданий, КПК завоевала всю территорию Китая и установила свою власть над самой густонаселенной страной в мире. Это правительство продолжает существовать и по сей день. Я попытаюсь объяснить эту самую важную революцию XX в., которая до сих пор представляет собой наиболее успешную альтернативу западной капиталистической демократии. Я начну с исторического повествования и закончу критическим обзором теорий революции. Я повторю свое определение, которое было дано в главе 6: революция — это народное повстанческое движение, радикальным и насильственным образом трансформирующее по крайней мере три из четырех источников социальной власти. Борьба и достижения КПК с легкостью удовлетворяют этим критериям.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И НЕВЗГОДЫ

КПК начинала свою деятельность в самых современных районах Китая, вокруг Шанхая и Гуанчжоу, как марксистская партия с лидерами — интеллектуалами из числа студентов, учителей, а также городских рабочих, особенно квалифицированных; левое крыло Гоминьдана пользовалось большей популярностью среди неквалифицированных рабочих. На протяжении 1920-х гг. КПК оставалась небольшой, но рьяно приверженной

марксистско-ленинским концепциям классов и антиимпериализма партией, убежденной успехом большевиков в том, что история на их стороне. Коммунисты также были приверженцами секулярной религии спасения. Их инструктировали агенты советского Коминтерна. Коммунистам пришлось делать поправки на местную специфику, потому что Китай очень отличался от России. Шанхайские рабочие сохраняли свои связи с сельской родиной, кланами, этническими и языковыми группами, гильдиями, а также с широко распространенными тайными обществами Китая. Китайские коммунисты рекрутировали рабочих из различных сетей (Perry 1993; S. Smith 2000; Dirlik 2003).

В 1927 г. они поняли, что их идеологии и организация ни на что не годятся, если они не могут себя защитить. Армия Чан Кайши предприняла неожиданную атаку в Шанхае, уничтожив 5 тыс. коммунистов. Выжившие бежали на юг, в отдаленные сельские местности провинции Цзянси. Дням марксистского простодушия подошел конец. Теперь им предстоял военный социализм или смерть. Революционную войну следовало вести из сельской местности. Возникла военная стратегия Мао: окружить города из сельской местности («деревня окружает город»). Города атакуют лишь на финальных этапах. Это была первая из многих теоретических инноваций Мао.

Хотя восстания русских крестьян были необходимым условием большевистской революции, большевики не организовывали крестьянские массы, крестьянское недовольство не было основным для их идеологии. В этом китайские коммунисты отличались от них. Это была крестьянская революция; безусловно, в стране с более чем 90% сельского населения ни одна революция не могла быть успешной без крестьянской поддержки, и лидеры КПК всегда это помнили. Теперь они знали, что и их собственное выживание будет зависеть от крестьян. Чтобы разработать революционную программу, коммунистам необходимо было провести анализ эксплуатации сельских классов. Это была вторая важная инновация. Единицей этого анализа был не индивид, а домохозяйство.

Поскольку старый класс джентри — ученых-бюрократов исчез, в качестве высшего класса стали рассматриваться *землевладельцы*. Они не занимались трудом, за исключением эпизодического, а их основным источником дохода была либо рента от арендаторов, либо прибыль от труда бедных крестьян. Землевладельцы также могли использовать привилегии, связанные с местными должностями, различные пошлины (например, плату за организацию храмов и других собраний сообществ), владеть местными предприятиями (гостиницами, винокурня-

ми). Они также были ростовщиками. Коммунисты рассматривали их как эксплуататоров.

Богатые крестьянские домовладельцы занимались трудом, но большую часть своего дохода они получали от труда более бедных крестьян, чем они. У них могло быть меньше дополнительных источников дохода из тех, что были перечислены выше. Они были по преимуществу эксплуататорами.

Средние крестьянские домовладельцы, как правило, владели землей, которую обрабатывали, они также владели собственными орудиями труда и, возможно, некоторым количеством скота, но их не эксплуатировали, и они в сколько-нибудь значимой степени не эксплуатировали труд других.

Бедные крестьянские домовладельцы владели малым количеством земли, орудий труда и скота или же не имели и этого. Они в основном арендовали землю или работали как наемные рабочие, батраки; не жалея сил старались оплатить аренду земли, поэтому погрязли в долгах и жили на грани прожиточного минимума.

КПК признавала региональные различия. На коммерциализированном востоке страны было больше арендаторов, которых эксплуатировали в основном через ренту — ее платили землевладельцам и богатым крестьянам. Арендаторы не платили никаких налогов. На западе и севере страны было больше крестьянских собственников, плативших налоги государству, но не арендную плату. Однако все они эксплуатировались ростовщиками, чиновниками и организаторами общин. Неравенство во владении землей было большим: 10% китайского населения владело 70% всей земли — основного источника средств к существованию. Из-за неблагоприятных экономических условий бедные крестьяне и середняки влезали в долги к землевладельцам или богатым крестьянам, что могло привести к голоду и смерти. Это действительно была эксплуатация, как ее ни определяй. Коммунисты продолжали спорить об относительном весе городов и промышленности в сравнении с селом, а также середняков против бедных крестьян в предстоящей революции. Тем не менее они знали, что для успеха необходимы два условия. Во-первых, они должны перераспределить земли и богатство эксплуататоров между эксплуатируемыми. Во-вторых, это произойдет, только если КПК сможет создать собственные защищенные базовые области, поддерживаемые местными крестьянами, организованными в революционные ополчения. Только тогда КПК могла взяться за эксплуататоров, затем постепенно могли расширить Советы, завоевать города из сельской местности и осуществить социалистическую революцию. Их революционная теория на практике концентрировалась как

на военной, так и на экономической власти. Это был определенно неортодоксальный марксизм! Сколько западных марксистов анализировали военный баланс сил, не говоря о том, чтобы ставить его в центр своего анализа?

Предполагалось, что провинция Цзянси станет школой Советов. На пике своего развития провинция насчитывала 3 млн человек, была сельской и умеренно отдаленной, а потому удобной для обороны, но не особенно бедной. В 1931 и 1932 гг. коммунисты строили там свои базовые области. Они начали радикально. Земельный закон 1931 г. конфисковал земли землевладельцев без всякой компенсации, передавая их в частную собственность бедных крестьян и середняков. Земли богатых крестьян были перераспределены, но они могли удерживать земли, если сами их обрабатывали. Аренда земли была ликвидирована, также были отменены сборы и дополнительные вознаграждения чиновникам, а налоги сделали более умеренными. Были установлены выборы в местные органы власти, и имело место тяготение к образованию. В 1933 г. земельное исследование пришло к заключению о необходимости ускорения перераспределения с силовым подавлением сопротивления (Wei 1989: 48). И все же политические соображения также учитывались в подсчетах коммунистов. Представители всех классов могли временно стать частью масс, если поддерживали революцию. Те, кто ей противостоял, были феодалами. Колеблющиеся были частью буржуазной революции, с которыми можно было заключать временные союзы. Имели место постоянные споры о преданности середняков, хотя обычно они рассматривались как союзники революции. На этом этапе КПК была радикальной, испытывая влияние сталинской политики, направленной против кулаков (Goodman 2000: 24–27).

Мао пришел к убеждению, что подобная радикальная политика контрпродуктивна и приводит к отчуждению не только землевладельцев и богатых крестьян, но и некоторых середняков. Слишком много борьбы также вредило сельскому хозяйственному производству, снижая способность коммунистов финансировать войну. Мао также хотел сосредоточиться на землевладельцах и примириться с богатыми крестьянами, поэтому отдавал предпочтение политике постепенного уменьшения налогов, арендной платы и процентов по займам, а не перераспределению земли. Это было его третьей главной инновацией, хотя она еще не была реализована, потому что фракция «вернувшихся студентов», более близкая к Москве, находилась во главе партии и была уверена в том, что радикальная реформа мобилизует достаточно бедных крестьян в качестве добровольцев Красной армии. Многие крестьяне действительно помогали

воплотить эту политику в жизнь, обеспечив снабжение продуктами, рекрутов и разведку. Позднее партийные ветераны вспоминали, что никогда в своих странствиях по Китаю не получали такого теплого приема. КПК была менее коррумпирована, чем Гоминьдан или режимы милитаристов, и более сплочена, как только политическая линия была выработана. Коммунисты были идеологически привержены делу, сплочены в ленинскую партию «нового типа». Они не занимались поборами и обычно делали то, что обещали. Комиссары дисциплинировали ополченцев, обеспечивая соблюдение правил по отношению к гражданским. Казалось, что многое благоприятствует КПК (Waller 1972: 34, 44–46; Lotveit 1979: глава 6; Shum 1988: 9–11; Dreyer 1995: 165–167, 189–194).

Тем не менее радикальная политика коммунистов настолько обострила враждебность землевладельцев и богатых крестьян, что большинство из них перешло на сторону Гоминьдана, мобилизовав многих своих более бедных клиентов в ополчение и рабочую силу для помощи армиям Гоминьдана. В ответ Гоминьдан обещал им передать политический контроль над их территориями (Wei 1989). Отчуждение местных элит и их клиентов не оставило коммунистам права на военную ошибку. Силы Чан Кайши медленно и методично продвигались, укрепляя деревни, расположенные среди окружавших их блокпостов, чтобы отрезать коммунистов-партизан от их базовых областей. Это вынуждало коммунистов идти на полноценные военные операции, к которым они были плохо подготовлены. Они избежали первых четырех попыток окружения, но на пятый раз позиционная война, в которой участвовали «вернувшиеся студенты», привела их к поражению. Коммунисты были вынуждены бежать из Цзянси, чтобы начать свой великий поход до Яньани на северо-западе. Лишь 5% из тех, кто отправился в поход, добрались туда. Коммунисты были в отчаянии — Яньань была удаленной и очень бедной провинцией. Чан Кайши давил на местных милитаристов, чтобы они покончили с коммунистами, но нарастало японское давление и он был принужден (его собственными солдатами) изменить свою позицию и создать Первый объединенный фронт с коммунистами. Японцы сосредоточили свои атаки на Чан Кайши — их сильнейшем китайском противнике, поэтому коммунисты получили время на передышку и наращивание новых базовых районов, из которых они в конечном итоге и вышли на завоевание Китая (Dreyer 1995: 173–174, 182–200; Benton 1992: 468–469). Необходимым условием китайской революции было японское вторжение. Как и в России в 1917 г., оно продемонстрировало роль войны в ослаблении власти режима, который в противном случае подавил бы революцию.

С Мао в качестве нового лидера КПК пришла к заключению, что левые перегибы в политике в провинции Цзянси, а также позиционная война привели к поражению. Отныне партия стала более сконцентрированной на партизанской борьбе и прагматичной в политическом отношении, стремясь склонить на свою сторону промежуточные элементы между богатыми крестьянами, мелкими землевладельцами и их городскими коллегами. Даже просвещенный дженгри мог быть включен в этот прогрессивный альянс (Shum 1988: 14–15). КПК надеялась переманить буржуазных реформистов и просвещенных дженгри из Объединенного фронта. И все же эти действия рассматривались прагматически как временное средство достижения цели социалистического спасения.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Массовая поддержка должна была зиждиться на бедных крестьянах и середняках, но они не подходили для этой цели. Л. Бьянко (Bianco 2001, 2005) исследовал 3500 случаев насильственных крестьянских конфликтов, произошедших между 1900 и 1949 гг. Бьянко утверждает, что их действия не были революционными:

[Они] по сути были оборонительным ответом на конкретное и местное ухудшение условий жизни крестьян. Крестьяне восставали не против установленного эксплуататорского порядка, а против некоторого нового события, угрожавшего этому порядку. Не изменись этот статус-кво с нашествием солдат, бандитов, саранчи, введением нового налога или чего бы то ни было еще, крестьяне не стали бы восставать (Bianco 2001: 3–4).

Таким образом, коммунистов, появлявшихся в различных местностях, встречали с настороженностью, рассматривая их в меньшей степени как спасителей, а в большей — как чужаков, которые несли в их жизнь потенциальную дестабилизацию. Кроме того, 68% крестьянских конфликтов были направлены напрямую против государства, в большинстве своем это были протесты против несправедливых уездных налогов или военного призыва, осуществляемого Гоминьданом. Следующие 14%, приходившихся на конфликты с другими крестьянами, семейными кланами или деревнями, были, как правило, самыми жестокими и продолжительными. Остается только 8% конфликтов, направленных против землевладельцев или ростовщиков, на которых могла концентрироваться классовая борьба коммунистов (Bianco 2001: 63–4, 19). Крестьяне вряд ли посчитали объективным классовый анализ их эксплуатации.

Такие жакерии обладали большой ритуальной составляющей. Крестьяне могли нанести ущерб собственности или поколотить ненавистных низших чиновников и управляющих землевладельцев. На так называемых великих праздниках крестьяне пировали в поместьях местных джентри (Мао с восторгом отмечает это в своем отчете о крестьянских восстаниях в провинции Хунань). Также имели место забастовки, в ходе которых крестьяне оставляли свои орудия труда перед зданиями местной администрации, сигнализируя этим об отказе от работы (Bianco 2005: глава 4; ср. Chen 1986: 134–143). Такие способы демонстрации недовольства до прибытия полиции или военных могли сподвигнуть высших чиновников разобраться с ними, прежде чем подвергнуть репрессиям. Если власти действительно подвергали крестьян репрессиям, они редко сопротивлялись: зачинщики бежали и становились бандитами, другие подчинялись и надеялись на снисхождение.

В коммерциализированном сельском хозяйстве равнины нижнего течения Янцзы господствовали арендаторы, и сопротивление фокусировалось по большей части на арендной плате, чем на налогах. Крестьяне отказывались от ее уплаты, иногда бунтовали и портили собственность. Примерно в одной трети случаев власти пытались урегулировать конфликты на условиях, частично благоприятных для крестьян, так что последние нашли реформистские методы мятежа. Крестьян не интересовал коммунизм: их протесты против землевладельцев были нацелены против злоупотреблений системы, а не против самой этой системы; у них было мало классового сознания, и они стремились сохранить общинные ценности. Крестьяне практиковали ритуальное насилие, но не желали революции (Bernhardt 1992: глава 6; Chen 1986: 173–178). Перри называет движения сопротивления в Северном Китае «охранительными», поскольку они защищали местное сообщество (как делали ополченцы группировки «Красные копы» и тайные общества), или «разбойничьими». Большая часть недовольства имела экономическое происхождение, но протест формировался в большей мере вдоль общинных, а не классовых линий и различался в зависимости от местных экологических особенностей (Петту 1980: 3–5, 248–258). Коммунистам было трудно с такими крестьянами, потому что их классовая линия казалась крестьянам неуместной.

Основная причина консерватизма крестьян заключалась в том, что землевладельцы были слишком могущественными, чтобы сражаться с ними напрямую. Они были «четырехсторонними существами»: сборщиками ренты, купцами, ростовщиками и чиновниками (Wolf, 1969: 132). Эта подавляющая местная власть давала крестьянам два возможных мотива для подчине-

ния. Во-первых, поскольку это был единственный известный им порядок, они могли быть искренне привержены конфуцианским ценностям долга, патриархата, гармонии и опасались нарушения и хаоса, который мог лежать за пределами этого порядка. Таким образом, власть землевладельцев могла рассматриваться как легитимная, особенно если она демонстрировала некоторый гуманизм в трудные времена. Это отражено в понятии взаимной (компенсаторной) справедливости у Джеймса Скотта (Scott 1976), которая, по его мнению, доминировала в азиатских крестьянских сообществах: если землевладельцы выполняли свои традиционные функции в сообществе, крестьяне отвечали им взаимностью. Во-вторых, крестьяне могли бояться власти землевладельцев. На практике всегда трудно отличить легитимность от страха. Если у вас нет другой альтернативы, кроме как подчиниться, власть землевладельцев может рассматриваться как «нормальная» — слово, которое в английском (французском [и русском]) языке смешивает смыслы «обычного» и «морального». Верность конфуцианскому порядку и почтительное отношение к землевладельцам и государству могли быть адаптацией к неравенству властных отношений. Если бы его можно было изменить, то крестьяне могли бы стать более восприимчивыми к революции.

Вот как рассуждали коммунисты: они не могли одержать победу, просто призвав крестьян побороть их классового врага. Сначала им необходимо было подорвать возможности землевладельцев и чиновников осуществлять принуждение. Если бы им удалось в этом преуспеть, то мог быть вскрыт факт, что почтительное отношение будет зависеть от условий, которых больше не существует. Именно такой была левая стратегия в провинции Цзянси, и долго она не проработала. Поэтому коммунисты разработали альтернативные стратегии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ КОММУНИСТОВ

КПК отложила принудительное перераспределение земли, чтобы не оттолкнуть от себя весь класс собственников земли. Оно было заменено политикой сокращения налогов для бедных крестьянских собственников (эта политика называлась «справедливое бремя») или сокращения арендных платежей, процентов по займам и «нечестных» пошлин. Иногда эта политика опиралась на моральное давление сообщества на богатых, вынуждавшее их снизить долговое бремя бедных. Деревенские «митинги борьбы» оказывали давление на богатых; тот же эффект ока-

зывала «борьба за займы продовольствия и семян» (Goodman 2000: 62–63; Chen 1986: 144–150). На большей части Северного Китая в 1937 г. силы Гоминьдана бежали под натиском японцев, а коммунисты забирались в горные пограничные области между японскими линиями коммуникации, создавая там небольшие базы в защищенных местах. В одной из таких баз, исследованных Хартфордом (Hartford 1989), они ввели прогрессивные налоги, партиципаторное управление деревнями и оборонительные ополчения. Коммунисты столкнулись с возобновляющимися атаками со стороны японцев и ополчений землевладельцев. И все же землевладельцы стали уязвимыми, как только коммунисты организовали сельские собрания, на которых крестьяне могли открыто высказываться. По мере того как эта базовая область консолидировалась, сокращение арендных платежей и налогов приносило им больше поддержки бедных крестьян. Коммунистам удалось лучше сохраниться, чем местным националистам или милитаристам, которые вызвали враждебность крестьян, оттягивая реформы и ставя в приоритет снабжение ополченцев над крестьянским благосостоянием. Однако лишь немногие крестьяне соглашались сражаться за пределами их собственных базовых областей (Hartford 1989; Paulson 1989).

В других северных регионах арендаторы и рента были редкими явлениями и налоговые вопросы имели куда большее значение. Налоговая реформа могла быть с большим шумом проведена через сельские собрания, на которых преобладали осмелевшие бедные крестьяне, или же более спокойно административным декретом, не вызывая большого классового конфликта. Там, где коммунисты могли постепенно укреплять свою власть, землевладельцы были связаны по рукам и ногам более высокими налогами. Они могли реагировать на это попытками вступления в партию или предлагая своих дочерей в жены коммунистам, но по мере того, как налоги становились более прогрессивными, они были вынуждены продавать некоторую часть своей земли, а инфляция помогала бедным в уплате долгов и покупке земли. Перераспределение зачастую происходило через экономические механизмы, а не через политические указы (Van Slyke 1986: 700; Selden 1995: 22–23).

Краткосрочные нужды требовали стратегии «разделяй и властвуй», чтобы подорвать единство «четырехстороннего существа». КПК заключала союзы с некоторыми местными элитами против других, подрывая сплоченность класса землевладельцев-чиновников; затем крестьяне поняли, что с землевладельцами можно продолжать борьбу. Эта стратегия использовалась в центральных и восточных базовых областях Новой 4-й армией, а также в более крупных северных базовых областях,

основанных участниками Великого похода и охраняемых основными боевыми силами КПК — Восьмой армией.

Некоторые местные элиты не сопротивлялись КПК, которая представлялась им реформистской. Коммунистические кадры часто цитировали Сунь Ятсена, к тому же многие из них были образованными и происходили из привилегированных слоев населения. Местные элиты, желавшие умеренных реформ, часто были разочарованы коррупцией Гоминьдана. В 1940 г. Хан Гуоюн привел часть провинциальных джентри к союзу с Чэнь И, командиром Новой 4-й армии коммунистов. Он писал своему другу: «Я слышал, что цзяннаньская Новая 4-я армия не такая, как Гоминьдан, то есть некоррупцированная, и что она одерживает победы. Националисты хотели, чтобы я отправился в Чунцин [новую столицу националистов], но я не сделаю этого. Они способны только терпеть поражения в битвах. Как можно продолжать их поддерживать? Новая 4-я армия внушает надежду». Объединенный фронт помог коммунистам привлечь патриотов в ряды КПК. Местные элиты также ненавидели проходивших из Гоминьдана, прибывавших, чтобы узурпировать принадлежавшую им административную власть. Эта напряженность ослабила связи между центральным государством и провинциальными господствующими классами. При правлении Гоминьдана милитаристы продолжали забирать свою долю, в то время как силы коммунистов обычно придерживались «трех основных дисциплин и восьми пунктов правил» поведения. На их сторону переходили даже некоторые офицеры Гоминьдана, поставляя разведданные коммунистам. Для Гоминьдана было гораздо сложнее переманить на свою сторону офицеров и коммунистов (Benton 1999: 155–158, 177–178, 191; Shum 1988: 231).

Политика пополнения рядов варьировалась в зависимости от радикализма и чувства безопасности местной партии. Остатки Советов провинции Цзянси, которые не отправились в Великий поход, были в крайне небезопасном положении. Первоначально в их число входили в основном раненые, женщины и старики, которые отступили в местные горы, не имея другой стратегии, кроме самосохранения. Они искали помощи откуда было можно — от таких нереволюционных групп, как бандиты, «солдаты-призраки» и этнические меньшинства. Сначала они контролировали только горные деревни, из которых периодически спускались, чтобы атаковать перевозимые грузы, убивать известных реакционеров и собирать «контрибуции». В деревнях они поумерили перераспределение земли в пользу сокращения арендной платы и процентов по займам. Если они преследовали радикальную классовую линию, то проигрывали; леваки в конечном итоге гибли. Это был дарвинистский процесс выживания наибо-

лее приспособленных, происходивший на местных территориях. Уцелевшие по-прежнему сохраняли веру в марксизм-ленинизм и партийную дисциплину, но они были оставлены до лучших времен путем прагматичной, манипулятивной политики «красное сердце, белая кожа». Эффективные базовые области также сопротивлялись вмешательству центральных органов партии, поскольку знание местности и тактическая гибкость позволяли им выживать. После трех тяжелых лет они возмужали и были приглашены КПК к формированию ядра Новой 4-й армии Объединенного фронта неподалеку от Шанхая (Benton 1992: 479–500).

Новые восточные базы коммунистов располагались неподалеку от рек Янцзы и Хуайхэ в относительно процветающих областях. Японцы обратили региональные армии Гоминьдана в бегство, но затем заняли оборонительные позиции, оставив сельские местности в покое. Мощные вооруженные силы Гоминьдана оставались только на реке Янцзы. Коммунисты получили время, чтобы перегруппироваться в горных областях. Два основных партнера по Объединенному фронту теперь больше враждовали друг с другом, чем атаковали японцев. Оба пытались присоединить другие активные в этом регионе ополчения. В 1939 г. Чэнь И, командующий Новой 4-й армией коммунистов, насчитал десять активных ополчений в своей сфере действий. Некоторые были просто бандитами, и тем не менее Чэнь И хотел заключить с ними союз, чтобы изолировать Ань Декина, гоминьдановского губернатора. Он спровоцировал губернатора атаковать его, что оттолкнуло тех, кто выступал за Объединенный фронт, включая некоторых офицеров самого Ань Декина. Таким образом коммунистам удалось получить господство над этой частью региона. В Ваннане, во второй основной базовой области, губернатор Гоминьдана предпринял неожиданную атаку в 1941 г. и уничтожил местных коммунистов (Benton 1999: 325–326, 523–4; Dreyer 1995: 256). В конечном итоге коммунизм зависел прежде всего от своих ополчений.

Классовая линия различалась в соответствии с балансом сил. По аналогии с большевиками КПК объединяла верность секулярной религии спасения с прагматическими оппортунистскими средствами. В случае слабости кадры практиковали стратегию «враг моего врага — мой друг». Когда коммунисты впервые входили в регион, где чувствовали собственную слабость, они шли на компромисс, скрывали свои конечные цели, укрепляясь в местном сообществе. Они обращались к местным элитам, их сетям родства и родным местам, хотя знали, что в краткосрочной перспективе это подорвет их шансы на перераспределение земли (Benton 1999: 168–175; Goodman 2000; Hartford 1989; Пергу 1984: 445; С. Chang 2003: 87–89), а также сдерживали свои дру-

гие политические меры. Они были привержены идеалам строительства «новой демократической семьи» на смену конфуцианскому патриархату со свободным выбором супругов, моногамией и равными правами для женщин, но это входило в противоречие с тем, что базой их экономической политики были домохозяйства, а не индивиды. Обычно старший мужчина господствовал в домохозяйстве и ожидал получения земли. КПК пыталась дать женщинам в домохозяйствах равные права на землю, но, если сталкивалась с существенными культурными препятствиями, не настаивала на этом. Земля, перераспределенная бедным домохозяйствам, обычно шла старшему мужчине. Лишь разведенные или овдовевшие женщины, возглавлявшие домохозяйства, получали права собственности. Стейси (Stacey 1983) называет это «демократическим патриархатом»: реформа давала массам права на независимые семейные фермы, но «патриархат был сделан более демократически доступным для масс крестьян-мужчин».

Рекрутирование элит часто носило обходной характер. Когда Чэнь И приезжал в уезд, он исследовал происхождение, уровень образования и сети недовольных джентри, а затем использовал свой культурный и социальный капитал, родственные и образовательные сети, хорошие манеры и ученость, чтобы переманить их на свою сторону. Он подчеркивал (или изобретал) общинные связи, обменивался стихами и создавал местные художественные и литературные общества. Он льстил джентри, прося их председательствовать на официальных собраниях, скрывая от них реальные решения. Поддержка джентри завоевывалась на основе общего происхождения или школ, религиозных сообществ, тайных обществ или фиктивного родства, достигаемого через ритуалы кровного братства. «Гуанси» — связи позволявшие китаизировать марксизм (Benton 1999: 173–174, 185–186).

Это вело к «революционному дуализму», объединявшему «единство» и «борьбу», кнут и пряник коммунистической стратегии. Как только партия закреплялась на местах, политика единства сопровождалась «митингами борьбы», призывавшими крестьян выражать свое недовольство плохим обращением, «высказывать горечь» и разоблачать обидчиков на публичных встречах, под лозунгом «Заручиться поддержкой прогрессистов, нейтрализовать центристов и сосредоточить атаки на реакционерах». Поскольку подобные термины не были знакомы землевладельцам или крестьянам, большинство из них не знали, кто является реакционером или феодалом. Всякого рода личные обиды были выплеснуты под прикрытием этих терминов, что привело к партийному инструктажу разоблачать только пользовавшихся самой дурной славой землевладельцев и богатых крестьян плюс их прихвостней», их громил. Вместо призывов «Долой бастионы

феодализма!» кадрам низшего уровня предписывалось скандировать: «Долой Вэня, который захватил и занял землю!» Управляемое сельское обличие пресловутых обидчиков, в ходе которого партийные кадры оставались в стороне, могло вызвать покаяние и предложение компенсации. Если же вместо этого Вэнь бежал, то его земля и собственность могли быть перераспределены между бедными или между теми из бедных, кто оказывал наибольшую политическую поддержку. Кадры были проинструктированы не позволять крестьянам переусердствовать и прибегать к насилию. Партия продолжала обсуждать правильный баланс между единством и борьбой, между умиротворением элит и активизацией масс (Chen 1986, esp. 181–201).

Там, где правила коммунистические ополчения, у землевладельцев оставалось два варианта: бежать (вероятно, теряя свою собственность) или начинать сотрудничество. Если коммунисты пользовались поддержкой, то лучшей стратегией было сотрудничество с ними. В случае если Гоминьдан все же возвращался, то землевладельцы, вероятно, оказались бы избавлены от какой-либо расплаты за сотрудничество с коммунистами. Если возвращение Гоминьдана представлялось неизбежным, землевладельцы могли продемонстрировать свои реальные чувства. Один из них говорил коммунисту: «Эх! Все еще заставляет нас платить хлебный налог! Пошли вы!.. С минуты на минуту здесь будут войска Гоминьдана. Уж они-то поотрезают вам ваши маленькие причиндалы!» (Esherick 1998: 362–363).

Часто это была тяжелая борьба. Когда кадры КПК вошли в «феодальную крепость» Янцзяогоу, изолированную горную деревушку в провинции Шаньси, они ужаснулись, увидев, что крестьяне, по всей вероятности, поддерживали свою эксплуатацию. Селяне жили в землянках на темной стороне долины, землевладельцы — в прекрасных виллах на солнечной стороне, окруженных памятниками, прославлявшими их предков. Селяне были поденщиками, польщиками и арендаторами без каких-либо экономических гарантий, живущими в страхе перед увольнением землевладельцами и, как следствие, потерей всякого доступа к средствам существования. Коммунисты утверждали, что крестьяне действовали как «покорные рабы», принимая, что «хозяин благороден, а слуга низок» и что «богатство и бедность установлены Небом». Они были настолько нереволюционны, что коммунисты первоначально отказались от классовой борьбы и рекрутировали кого угодно с обещаниями «никакой службы в армии, облегчение налогового бремени и победа во всех ваших судебных тяжбах». Немногие политики смогли бы предложить столько же! (Esherick 1998: 347) Как только такой «неочищенный классовый материал» можно будет сплотить в ополчения,

способные защищать базовые области, реальные классовые цели могут быть постепенно открыты. В конце концов здесь это сработало, и деревня стала штаб-квартирой Мао. Такая же последовательность прослеживается в деревне Лонг Боу, также в Шаньси. Даже после того как коммунисты установили здесь свой контроль в 1947 г., крестьяне по-прежнему были сверхосторожны. Если бы коммунисты вновь были оттуда выбиты, то репрессии против сотрудничавших с ними были бы ужасными. Коммунистические ополченцы забрали у богатых землевладельцев осла с повозкой и водили его по всей деревне в течение нескольких дней, предлагая его бедным крестьянам, но так и не могли найти желающих ее взять (Hinton 1966: 124).

Прежде всего КПК должна была убедить крестьян в том, что сможет их защитить, а продемонстрировав это, могла проводить реформы и затем, возможно, осуществлять революцию. Они воспользовались тем преимуществом, что безземельные крестьяне часто добровольно вступали в коммунистические ополчения. Солдатское жалование обеспечивало существование, к тому же о семьях солдат обычно заботилась КПК, когда солдаты были в походе. Поскольку бедные крестьяне и середняки больше всего выиграли бы от реформ и перераспределения, это также было поводом вступления в ополчение. Как только базовая область была создана, набор в армию (наряду со сбором налогов) становился обязанностью деревни и деревенские власти могли принудить селян выполнять квоту по рекрутам. Революционные ополчения были выстроены изнутри сообщества. Это способствовало их эффективности в обороне, хотя они не хотели сражаться в других местах (Goodman 2000: 7, 260; Perry 1980: 58; Chen 1986: 383–401).

Революция была сложным делом в процветающей дельте Янцзы. КПК могла собирать налоги с торговли на рыночных площадях и удерживать в качестве налогов часть арендной платы отсутствовавшим землевладельцам, но это не мобилизовало и не реорганизовывало сельские сообщества. Поскольку преуспевающие крестьяне не стремились получить скудное жалование солдата-коммуниста, партия не могла создать из них вооруженные отряды, чтобы силой насаждать революцию. Такие крестьяне не хотели добровольно идти в ополчение и плохо сражались, если их к этому принуждали, поэтому коммунисты сделали ставку на безработных рабочих из Шанхая. Они оказались хорошими солдатами, но чужаками внутри крестьянского сообщества (Liu 2003: 23–28).

Политика «ила ила» Мао подразумевала зигзагообразное движение, поиски расположения, манипуляцию социальной группой, за которыми следовала атака на нее. В регионах, в ко-

торых националисты или японские силы становились более активными, землевладельцев обвиняли в сотрудничестве с ними. Некоторых бросали в тюрьмы, другие бежали. Если это вызывало негативную реакцию, то партийные кадры ограничивали реформы, а просвещенным джентри и прогрессивным землевладельцам позволяли вступить в движение. Землевладельцы и богатые крестьяне вынуждены были нести налоговое бремя, но не были обязаны вступать в ополчение, где преобладали бедные крестьяне. Поэтому крестьяне, а не высший класс получили контроль над отношениями военной власти под общим контролем со стороны партии. Так происходило строительство будущих инфраструктур власти: крестьяне и традиционная элита, а между ними — партия.

КПК строила сети деревенских собраний, сельскохозяйственных групп взаимопомощи, образовательных ассоциаций, женских групп, деревенских оборонительных ополчений — все эти сети мобилизовывали местных жителей. В одной бедной северной базовой области прибывавшие туда коммунистические кадры пытались выстраивать союзы с ополчениями «Красных копий» и даже с бандитами. Сначала эти попытки были безуспешными, но, когда японские силы стали угрожать области, все ополчения перешли на сторону коммунистов. Когда наступил мир, коммунисты запустили трудоемкие экономические проекты, которые приносили больше прибыли в условиях местной суровой экологии, чем это могли сделать обычные сельскохозяйственные практики. Реконструкция, включавшая массовую мобилизацию труда, а также возрождение местных кустарных ремесел были важны для успеха коммунистов во всех северных базах (Perry 1980; Goodman 2000: 63; Esherick 1995).

Администрация была многоуровневой. Внешний, наиболее очевидный уровень составлял Объединенный фронт и антияпонские ассоциации, членство в которых было открыто для всех. Коммунисты редко проводили чистки на этом уровне — даже бывшие главы сел продолжали входить в его организации. Правительственные структуры обычно составляли из равного количества коммунистов, некоммунистических левых и центристов — система 3:3:3 впервые была использована в Яньани (Van Slyke 1967: 142–153). Следующий слой составляли объединенные рабочие и крестьянские ассоциации с членством в зависимости от экономического положения. Наконец, в самом ядре была партийная ветвь, укомплектованная тщательно отобранными людьми, интеллектуалами или надежными бедными крестьянами или середняками. Бедные крестьяне обычно рассматривались как более ценные, но менее способные активисты; середняки — наоборот. Элита, ограниченная внешним уровнем,

была оттеснена в сторону. Политическое участие крестьян под контролем КПК постепенно забирало контроль над деревнями и ополчениями от джентри (Chen 1986: part II; Goodman, 2000: 28). Через сельские, образовательные и военные институты КПК мобилизовывала крестьян на проведение в жизнь сокращения налогов, арендной платы и процентов по займам, ограниченное перераспределение земли, «митинги борьбы», охраняемые крестьянскими ополчениями.

«Умеренный» период продлился с момента образования Второго Объединенного фронта в 1937 г. и до конца 1939 г., хотя в большинстве областей перераспределение земель стало широко проводиться только в 1940 г. (Goodman 2000: 8, 57). Затем последовал более радикальный период, совпавший с северным наступлением против японцев в 1940 г., известным как «битва ста полков». Когда это наступление провалилось, политика снова стала умеренной. Будущий премьер, а тогда политкомиссар 129-й дивизии Красной армии Дэн Сяопин в марте 1941 г. советовал проявлять сдержанность: «Бюро общественной безопасности — это не террористическая организация, и она должна быть частью демократической системы. Его долгом является защита любых антияпонских организаций и индивидов. Те землевладельцы, которые не выступают против правительства, пользуются правами и свободой слова, а также свободой вероисповедания и мысли, точно так же, как ими пользуются рабочие и крестьяне» (Goodman 2000: 57). Противоположная политика вела к внутрипартийным чисткам в ходе «кампании исправления» 1942–1944 гг. Руководство сплотилось вокруг Мао, чтобы ликвидировать просоветскую фракцию. Тем, кто противостоял Мао, было позволено остаться в партии, если они займутся самокритикой — «излечат болезнь и спасут пациента». Результатом стала более дисциплинированная партия. Там, где контроль был установлен во время последнего этапа войны, кампании массовой мобилизации были запущены для экономического сотрудничества, выборов и призыва в постоянную Красную армию (Esherick 1995: 67–68). В некоторых базовых областях вновь началось перераспределение земли (Goodman 2000: 21–23).

АВАНГАРДНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Сплочение КПК было решающим условием успеха. Базовые области коммунистов были отделены друг от друга на архипелаге мини-государств, которые могли дробиться на более мелкие. Партийная идеология обеспечивала единство цели, и ее дисциплина породила авангард партийных кадров (идеологичных, ас-

кетичных, практически не коррумпированных), которые горячо обсуждали партийную линию, затем коллективно ее исполняли. Большинство лидеров были родом из городов, хотя часто они были сыновьями или дочерьми крестьян (например, как Мао). Закрытие университетов во время войны против Японии привело к возвращению студентов. В базовой области Тайхан интеллектуалы составляли около трех четвертей чиновников уездного уровня, хотя и намного меньшую долю на уровне ниже уездного (Goodman 2000: 67–68). Из Шанхая приходили молодые люди, спасаясь от японской оккупации, наряду с бывшими политзаключенными Гоминьдана, освобожденными при Объединенном фронте. Многие возвращались в свои родные области, чтобы стать ядром местных базовых областей (van Slyke 1986: 631). Кадры были молодыми и разными, включая промышленных рабочих, студентов, учителей и прочих интеллектуалов, даже зарубежных китайцев. Женщин использовали как учителей, медсестер, администраторов, бухгалтеров и пропагандисток. Новая 4-я армия сначала была довольно хорошо образованной и космополитичной, однако по мере роста в ее ряды стали принимать все больше крестьян. На севере Восьмая армия была преимущественно крестьянской, за исключением высших офицеров и комиссаров (Bianco 2001: 30; Benton 1999: 54–73).

Новые рекруты редко приходили убежденными коммунистами. Они были молоды, сведущи в городской политике с нечетко сформулированными левыми убеждениями, анти-японскими настроениями и разочарованными в Гоминьдане. Последний глава базовой области Тайхан происходил из семьи джентри, был выпускником Шансийского университета и уже принимал участие в деятельности пекинских профсоюзов. Он признавался: «Мы были городскими парнями. Что мы вообще знали?.. Здесь я предположительно должен был создавать базовые области, а у меня не было ни малейшего представления о том, что это значит, не говоря уже о том, как их создавать». Большинству из них было приказано посещать «университеты» или «высшие школы», непреднамеренно финансируемые Гоминьданом, поскольку субсидии, которые он выделял Красной армии на борьбу с японцами, были частично направлены туда. Около 10 тыс. студентов ежегодно получали дипломы в Университете сопротивления в Яньани, и около 8 тыс. оканчивали там среднюю школу, получив огромную порцию коммунистической идеологии, усиленной коллективным пением, дискуссиями группами и физическим трудом. Политкомиссары следили за образованием, благосостоянием и лояльностью, а политические отклонения пресекались «исправительными кампаниями». У Гоминьдана не было аналогов этого. Благодаря дисциплине,

пропаганде и «собраниям борьбы» слабые или более амбивалентные рекруты отсеивались, а оставшиеся становились убежденными коммунистами. Имели место продолжавшиеся в течение месяца совещания для кадров низшего уровня, а также деревенские собрания с целью критики кадров в разгар Японо-китайской войны и гражданской войны в Китае. Больше контроля было за самими кадрами, чем за крестьянами. Грозная организация идеологической власти поддерживала дисциплину КПК (Li 1994: глава 10; Esherick 1995: 49, 59–61; Goodman 2000: 9–11, цит. по с. 11; Chen 1986: глава 6).

Большинство кадров, отправляемых в недавно захваченные сообщества, были подготовленными студентами или учителями. Их целью было рекрутирование местных учителей, которые рассматривались как открытые к модернизационным идеалам. За знания о мире их уважали крестьяне. Большинство учителей получили образование в городах, но не смогли найти там работу в условиях войны и японской оккупации (Benton 1999: 89–99; Bianco 2005). Местные учителя обладали тем преимуществом, что говорили на местном диалекте. В Северном Китае, пишет Гудман (Goodman 2000: 269), «крестьянину или фермеру, вероятно, было затруднительно провести различие между солдатами, говорящими на японском, и солдатами, говорящими на фуцзяньском диалекте» (на нем говорили многие партийные кадры). Небольшая маскировка конечных целей партии была необходимой при общении с учителями — части авангарда наряду с бедными крестьянами и середняками. Без этой политической элиты, представлявшей собой современность и прогресс, не было бы никакой революции, элиты, понимавшей, что как только они пройдут точку невозврата, им придется сражаться. Крестьянская революция была их конструктором. Они артикулировали подлинное крестьянское недовольство, но это не было спонтанное восстание (Bianco 2005: 439; Chen 1986).

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ПОБЕДА

Тактики большевиков в конечном итоге сработали. От Великого похода до формирования защищенных баз и проектов милитаризованной мобилизации масс модель военизированного социализма и защищала, и кормила крестьян, затем снижала арендные платежи и налоги и, наконец, осуществляла перераспределение земель. В базовой области Тайхан в провинции Шанси произошли большие классовые изменения. В 1936 г., когда эта базовая область только закладывалась, землевладельцы владели 26%, а богатые крестьяне — 23% земли. Эти про-

порции постепенно уменьшались вплоть до 1944 г., когда они соответственно владели 5 и 13% земли. Бедных крестьян также стало меньше, поскольку перераспределение земли превратило их в середняков, доля землевладений которых выросла с 31% в 1936 г. до 65% в 1944 г. Политический контроль над уездным и деревенским уровнями также перешел от землевладельцев и богатых крестьян к деревенским партийным кадрам из интеллигентов и середняков. Это было существенным перераспределением богатства и политической власти, так же как и практическая ликвидация аренды земли в базовых областях (Goodman 2000: 29–33, 258–265).

Пройдя точку невозврата, крестьяне больше боялись возвращения Гоминьдана или японцев, чем коммунистов. Во время войны они проводили грабительские рейды, сопровождавшиеся убийствами в таких масштабах, которых коммунисты старались избегать. После того как война против Японии закончилась, Гоминьдан сначала был уверен, что побеждает, и устроил «белый террор» против тех, кто сотрудничал с коммунистами. К этому времени крестьяне защищали революцию, а следовательно, и себя.. Без их поддержки партийные кадры просто бы уничтожили. К тому моменту коммунисты уже стали энергично перераспределять землю. Когда коммунистические чиновники давали зеленый свет или уже не могли остановить бедных крестьян и середняков, они, уверенные, что победа уже не за горами, мстили богатым, демонстрируя тем самым, что почтение к «четырёхстороннему существу» базировалось в большей мере на силе, чем на идеологическом консенсусе (Bianco 2005: 453). Потребовалась долгая война, чтобы привести их к этому. Теперь же перераспределение земли и налогового бремени было на руку коммунистам. В конечном итоге это была классовая революция марксистского толка, хотя она и была достигнута через рост реформизма и военную борьбу. Трёхсторонняя война (не говоря уже о милитаристах и бандитах) настолько разрушила сельский Китай, что никакого реального порядка, который можно было бы восстановить, уже не было. Это подорвало наиболее могущественную силу, до того подчинявшую крестьян классовому обществу, которое представляли Гоминьдан и японцы.

В 1945 г., поскольку японцы сложили оружие, КПК и Гоминьдан быстро заняли территории, которые прежде были под контролем японцев. У войск Гоминьдана был большой численный перевес и возможность оккупировать большую часть городов и наиболее процветающие сельскохозяйственные области. Японское наступление в 1944 г. — операция «Ити-го» — уничтожило элитные части Гоминьдана — последний японский вклад в китайскую революцию. Теперь гражданская война столкнула

друг с другом две полуобученные пехотные армии. Возможно, если бы одно или два проходивших на равных сражения в 1948 г. имели иной исход, коммунисты не победили бы (Westad 2003: глава 6). Войны всегда вносят подобного рода случайности. И все же сказалась старая слабость Гоминьдана: его генералы, расколотые на фракции, не могли объединиться так же эффективно, как более дисциплинированные коммунисты. Им также не удалось соединить свои антияпонские кампании с политическими идеалами, превращавшими их в подлинно народное дело. Действительно, после 1945 г. они сотрудничали с бывшими японскими коллаборационистами. Когда Гоминьдан захватывал города, городская полиция укомплектовывалась японскими солдатами, что не красило Гоминьдан в глазах китайцев. Его также не красили и коррупционные чиновники-проходимцы, «новая знать», сбежавшаяся в города, и безудержная инфляция. Гоминьдан не смог провести столь необходимые реформы, в результате чего возникли забастовки рабочих, студенческие волнения и повторные призывы к реформам в областях, находившихся под его контролем. Хотя он и демонстрировал реформаторские тенденции в 1920-х и начале 1930-х гг., растущая зависимость от землевладельцев и бизнесменов загнала в тупик реформаторское крыло Гоминьдана. Напротив, коммунистическое подполье, восстанавливавшееся в городах, обещало реформы, которые уже были проведены в областях, находившихся под их контролем. В этом отношении им можно было верить (Westad 2003: 70–76, 143; Pepper 1999: 10–94, 132–194).

В сельских областях, недавно отвоеванных Гоминьданом, элиты стали подчиняться не японцам, а Гоминьдану и никакие реформы не проводились. В областях, недавно занятых коммунистами, те, кто сотрудничал с японцами, были низложены. Не нуждаясь больше в сотрудничестве с ними, КПК еще больше уменьшила арендные платежи и проценты по займам, ввела прогрессивные налоги и постоянно поощряла крестьян в стремлении двигаться дальше. В мае 1946 г. КПК усилила борьбу и отдала новый приказ о перераспределении земли, как только безопасность каждой из базовых областей была обеспечена. Некоторые крестьяне медленно включались в перераспределение земли, не будучи до конца уверенными, что перемены наконец-то наступили; других с трудом можно было удержать от захвата земли, имущества, а также физической расправы и убийств их бывших хозяев. Это подало сигнал остальным, и основная роль партийных кадров вскоре стала заключаться в том, чтобы сдерживать насилие и сделать перераспределение более упорядоченным процессом. Для партийного руководства перераспределение земли не было самоцелью, но лишь основ-

ным средством изменения традиционных отношений власти в деревне и формирования ополчений, которые могли развить наступление где угодно. Это должно было помочь «отрегулировать порядок, заведенный небесами» (Pepper 1999: 243–330; Westad 2003: 128–137).

Но успех принес свои проблемы. В старых областях, завоеванных и уже революционизированных до капитуляции японцев, арендная плата, проценты по займам и налоговые программы зачастую сократили земельные владения землевладельцев и богатых крестьян и установили широкое равенство. Это обычно демобилизовывало крестьян. Они достигли всего, чего хотели, и теперь могли просто сидеть на месте и наслаждаться. Как иронично выразился Ли (Li 2008), КПК столкнулась «с острой нехваткой помещиков». Ни капли не смущаясь, она изобрела новых врагов, таких как «законспирированные помещики», «помещики в состоянии упадка», «схоронившиеся помещики» (которые зарывали свое богатство в землю), «помещики внутри самой партии», «плохие кадры» и «кадры с помещичьим происхождением». Таким образом, борьба была продолжена с целью разоблачить предателей и «откопать» спрятанные богатство и семейные корни. Крестьяне должны были продолжать *фаншен* («преобразовывать тело») и *фансин* («преобразовывать голову/разум») — двойное материальное и идеологическое требование для того, чтобы стать подлинными революционерами. В областях, отвоеванных сравнительно недавно, КПК могла использовать противоположную политику: вводить новые классовые категории, чтобы притупить крестьянский радикализм, — о новых богатых крестьянах, обогатившихся при помощи арендной платы и налоговой политики КПК, говорили, что они фундаментальным образом отличаются от старых богатых крестьян, которые остаются классовыми врагами. Поскольку цели КПК были разнообразными (идеологическими, экономическими, военными и политическими), они часто противоречили друг другу. Слишком большое количество экономической революции притупляло политическую и военную мобилизацию. Слишком большая политическая мобилизация угрожала уровню экономического производства, от которого, в свою очередь, также зависела военная победа. Мобилизация хорошо сказывалась на партийной демократии, что приветствовалось лидерами, до тех пор пока они не поняли, что мобилизация сокращает их собственный контроль. Не было покоя революционерам, политика которых двигалась зигзагообразно вокруг источников социальной власти.

Маньчжурия была тестом на прочность на финальных этапах гражданской войны. Тот, кто получил контроль над ее про-

мышленными ресурсами, с большой долей вероятности одержал победу в войне. При японской оккупации с 1934 г. ни одна из сторон не входила туда. Восьмая армия коммунистов наступала, пополняя свои запасы японским оружием, переданным советскими войсками, которые приняли здесь капитуляцию японцев. Полмиллиона солдат Гоминьдана были вооружены и переброшены в Маньчжурию Соединенными Штатами. Коммунисты вошли туда первыми и захватили города, которые им приходилось оборонять, а не осаждать. Городские элиты либо бежали до японского вторжения, либо дискредитировали себя как коллаборационисты. Им уже никто не подчинялся (Levine 1987: 244–246). В Маньчжурии было больше земельного неравенства и безземельных работников, но она была процветающей провинцией, поэтому здесь эксплуатация воспринималась не так остро. Коммунисты пошли обычным для них путем реформ. С уже низложенными элитами и без боязни расплаты маньчжурские крестьяне отреагировали на действия КПК. Партия интенсифицировала митинги борьбы и перераспределение земли, и крестьяне тысячами пополняли ряды коммунистических армий. Левайн (Levine 1987: 10) пишет: «Революция была средством, важнейшим средством, ведения войны». Теперь коммунисты обладали преимуществом в военной власти: более сплоченным командованием и добровольным участием солдат, лучшим снабжением деревень гражданскими жителями, а также женскими ассоциациями, активизировавшимися в связи с земельной реформой и политическими изменениями, сопровождавшими ее.

Военный успех нарастал, как только крестьяне и горожане поняли, что коммунисты побеждают. Теперь коммунизм приветствовали как спасение от гражданской войны. По крайней мере у Китая могло появиться единое правительство, которое было способно поддерживать порядок (Westad 2003: 114, 121–128). Если бы у коммунистов был флот, они захватили бы и Тайвань. К концу 1948 г. Соединенные Штаты поняли, что Гоминьдан терпит поражение, и прекратили поставки вооружения. Сталин и Трумэн достигли имплицитного понимания того, что надо оставаться вне гражданской войны. Они устали от войны.

Когда, наконец, коммунисты вошли в города прибрежной зоны, их встречали не как завоевателей, а как национальных освободителей. Они заявили, что готовы к компромиссу с теми, кто обладает полезными навыками, будь то рабочие, профессионалы или управленцы. Капиталистов было немного, поскольку при Гоминьдане две трети промышленности было национализировано и большинство капиталистов, которые сотрудничали с японцами, бежали в Гонконг. Первые два года своего правления коммунисты поддерживали широкий фронт и не трогали

Гонконг, удовлетворившись созданием стимулов для возвращения капиталистов (Pepper 1999: глава 9; ср. Westad 2003: глава 8). И вновь их политикой была консолидация господства над базовой областью, которой теперь стал весь Китай, и только потом — революция. Как мы увидим в томе 4, именно так они и сделали.

КИТАЙ И ТЕОРИИ РЕВОЛЮЦИИ

Это была аграрная революция, предвестник большинства революционных попыток в период после Второй мировой войны. Два основных объяснения ее успеха были выдвинуты историками Китая: одно — национализм; другое — классовый конфликт. Чалмерс Джонсон дает наиболее отчетливое националистическое объяснение. Он утверждает, что опыт Цзянси показал коммунистам, что земельная реформа и марксистско-ленинская идеология не могут политизировать крестьянские массы. Напротив, война против Японии и неудачного управления Гоминьдана дала им возможность мобилизовать китайский национализм. Он утверждает, что «в своей пропаганде после 1937 г. они избегали прежних лозунгов классовой борьбы, силового перераспределения собственности и концентрировались исключительно на спасении нации». «Крестьянский национализм» был частью «национализма масс», охватившего весь мир в первой половине XX в. Он отличался от национализма Гоминьдана, который апеллировал в основном к интеллектуалам и городскому населению, но имел мало отклика среди крестьянских масс. Коммунисты обеспечили социальную мобилизацию и национальный миф, а их правительства базовых областей «помогали сельским массам достичь политического осознания войны, которое служило толкованием их личного опыта». Война «сломала власть местничества над крестьянами... и сделала их чувствительными к новому спектру возможных ассоциаций, идентичностей и целей. Основными среди новых политических терминов были „Китай“ и „китайская нация“. Война, ведущаяся надлежащим образом, создавала национальную идентичность и национализм» (Johnson, 1962: 3–5). Джонсон утверждает, что в Китае произошла первая антиколониальная социальная революция.

Война с Японией действительно оказала национализирующее воздействие. Ужасное поведение японской армии усиливало национальную идентичность местных жителей, давая им ощущение принадлежности к более широкой коллективной идентичности, противостоявшей японцам. И все же это многого не объясняет. Большинство базовых областей коммунистов располагалось за пределами территории японского наступления

и не оказывало ему сопротивления. К тому моменту, как японцы стали действительно угрожать базовым областям коммунистов, большинство из них уже устоялись (van Slyke 1986: 631). К тому же крестьяне не были настолько враждебны по отношению к японцам, как полагает Джонсон. Скорее они пытались понять, кто победит в войне в их области: японцы, Гоминьдан, КПК или милитаристы. Они подчинялись тем, кто, по их мнению, должен был одержать верх, поскольку подчинение победителю избавляло от наказания. Даже японцы были неплохими правителями и могли поддерживать порядок, если им подчиняться. Существует мало доказательств, что выбор крестьянами правителя существенно определялся антияпонскими чувствами (Chen 1986: 513–514). На самом деле там, где японские репрессии были более жестокими, они, как правило, были более эффективными, изгоняя коммунистов и отбивая желание крестьян сопротивляться (Hartford 1989: 94). Вплоть до 1941 г. японцы и коммунисты мало контактировали друг с другом. «Повсюду в первые четыре года китайской войны, — пишет Бикс, — японские местные армии с пренебрежением относились к коммунистическим войскам под командованием Мао Цзедуна, рассматривая их как всего лишь бандитов и направляя практически все свои основные удары против националистических сил Чан Кайши» (Вix 2001: 347). Японские военно-воздушные силы сосредоточивались на бомбежке войск Гоминьдана.

В действительности и Чан Кайши, и коммунисты неохотно вступали в сражения с японцами. Коммунисты действительно создавали партизанские силы в тылу японцев, тем самым обретая некоторую националистическую репутацию. Но это также позволяло им избегать использования основных военных ресурсов, которых потребовали бы большие сражения. Временное изменение в стратегии КПК произошло в 1940 г. Наступление, известное как «Битва ста полков», было попыткой прорваться из северо-западных укрепленных районов, но японцы контратаковали и отбросили коммунистов назад, завоевав большие территории. Смирясь с этим отступлением, коммунисты вернулись к партизанской войне в основном против прояпонских милитаристов — более легкой мишени. КПК и Гоминьдан решили сохранить свои силы для последующей борьбы друг против друга. В некоторых регионах они скорее атаковали друг друга, чем японцев. В Центральном и Восточном Китае основная борьба развернулась между Новой 4-й армией коммунистов и силами Гоминьдана (Dreyer 1995: 234–244, 252–254; Benton 1999).

Как утверждает Джонсон, создание Объединенного фронта борьбы с японцами, который номинально просуществовал до конца войны на Тихом океане, принесло больше выгоды

коммунистам, чем Гоминьдану. Это придало им легитимности в глазах националистов, продемонстрировав, что они могут подчинить классовые интересы интересам нации, и снизив вероятность, что их классовые враги будут выдавать их японцам (Shum 1988). Однако, как полагает Катаока (Kataoka 1974), Объединенный фронт был для коммунистов прежде всего возможностью дальше продвинуться в решении их внутренних вопросов. Националистический миф стал важен после поражения японцев, когда Мао и КПК провозгласили себя спасителями нации — именно поэтому по сей день в Китае Мао вспоминают позитивно. Национализм был хотя и важным, но не главным фактором их успеха.

Альтернативная классовая модель ассоциируется прежде всего с Марком Селденом (Selden 1971). Он утверждает, что крестьяне сражались на стороне коммунистов, поскольку они обращались к центральным проблемам сельского общества: вопиющему неравенству размеров землевладений, богатства и власти. В 1935 г. правительство Гоминьдана предприняло массовое исследование более миллиона домохозяйств, занимавших одну пятую часть страны. Хотя средний размер ферм сокращался в течение нескольких десятилетий из-за роста населения, неравенство в размерах землевладения между домохозяйствами было очень большим: 60% крестьянских домохозяйств владело лишь 18%; оставшиеся 20% хозяйств владели 60% земли. Коэффициент Джини, подсчитанный на основе размера землевладений, демонстрировал степень концентрации в размере 57%, свидетельствуя об общем высоком уровне неравенства. В мирное время, несмотря на такое положение, китайские крестьяне могли выживать, но эра милитаристов и гражданских войн привела их к обнищанию (Мус 1969).

Коммунисты исправляли это путем перераспределения земли, сокращения арендных платежей, процентов, выплачиваемых по займам, и налогов. Селден подчеркивает участие бедных крестьян и середняков в коммунистических организациях и ту заботу, с которой КПК проводила свои кампании, чтобы управлять справедливо и беспристрастно и избавляться от коррумпированных чиновников. Такова была «линия масс» Мао, «яньаньский путь», «открытие конкретных методов объединения народного участия в партизанской борьбе с широким спектром общинных атак по сельским проблемам». Мое собственное исследование, как правило, подтверждает аргументы Селдена, но, как отмечает Джонсон, в конечном итоге Селден не смог объяснить, как были преодолены крестьянские страхи, а его превознесение добродетелей коммунистов часто наивно, преувеличивает энтузиазм крестьян по отношению к революции

(Selden 1971: 77, 120, 177, 208–210, 276; его эссе 1995 г. снова формулирует эти аргументы без былой наивности).

Джонсон, Селден и большинство других исследователей мало что говорят об общем состоянии китайской экономики или отношениях производства в каждой сфере успеха или неудачи коммунистов. Оправданны ли эти пропуски? 1930-е гг. были не только решающим десятилетием роста китайского коммунизма, но и десятилетием Великой депрессии. Можно ожидать, что эти события были связаны. Форан (Foran 2005: 22) указывает на рецессии и депрессии в качестве первого из пяти элементов его объяснительной модели революций. Поскольку рост населения уже «съел» ту подушку безопасности, которая необходима аграрному обществу, живущему около уровня прожиточного минимума, наступление депрессии могло означать разницу между жизнью и смертью. Воздействие Великой депрессии на Китай было отложенным, поскольку Китай был в системе не золотого, а серебряного стандарта, который обесценился в результате глобальной депрессии. В течение некоторого времени это даже было позитивным фактором для экспорта и местных цен на сельскохозяйственную продукцию. Затем депрессия нанесла тяжелый удар в 1933 г. Сельское хозяйство пострадало сильнее других отраслей экономики. Поскольку цены упали, резко сократились доходы землевладельцев, которые, в свою очередь, стали выжимать все соки из крестьян, увеличивая их задолженность и иногда сгоняя с земли. Состояние торговли варьировало в зависимости от региона; Великая депрессия оказала куда более сильное влияние на коммерциализованные регионы нижнего течения Янцзы, чем на отдаленную Яньань. На большей части территории Китая Великая депрессия воспринималась как «далекий гром», раскаты которого были где-то еще, возможно, зловещими, но не вредящими здесь (Wright 2000). Шанхай был интегрирован в международную экономику и испытывал трудности, но даже здесь лишь немногие сетовали на депрессию. В целом, вероятно, в некоторых регионах даже наблюдался экономический рост, экономика других стагнировала или незначительно снижалась. Крестьяне страдали больше всех (Myers 1989; Rothermund 1996: 110–115). Успех коммунистов не коррелировал с экономической депрессией. КПК показывала успехи и в процветающей Маньчжурии, и в отсталых областях, она также довольно хорошо начала в Восточном Китае, до того как потерпела там военное поражение.

Воздействие Великой депрессии было меньше, чем от войны или природных бедствий, таких как наводнения, засухи, нашествие саранчи и бубонная чума. Форан (Foran 2005: 46–57)

признает это в своем исследовании Китая, но не в своем более общем заключении. Весенний голод оставался постоянной угрозой для большей части Китая. В некоторых частях Яньани голод с перерывами продлился с 1928 по 1933 г. Даже в нижнем течении Янцзы в 1935 г. были неурожай и голод. С 1931 г. в Маньчжурии, с 1934 г. в районах Северного Китая и с 1937 г. в Северном, Восточном и Центральном Китае войны послужили причиной значительно большей разрухи и лишений для крестьян, чем беды мирового капитализма. Плотины были намеренно разрушены, деревни уничтожены, крестьяне убиты, налоги повышены, миллионы солдат, как саранча, кормились с полей и из амбаров. Войны нанесли колоссальный ущерб Гоминьдану. Ему пришлось поднять налоги, чтобы финансировать свои огромные армии, особенно после того, как наиболее экономически развитые регионы перешли к японцам. Повышение налогов не оправдывалось никакой видимой способностью Гоминьдана выдворить японцев. В подконтрольных областях коммунисты сражались методами менее затратной партизанской войны и собирали меньше налогов. Вооруженные силы Гоминьдана также были менее дружелюбно настроены по отношению к крестьянам. Когда в 1938 г. они взорвали дамбы на Желтой реке (Хуанхе), чтобы заблокировать японское наступление, наводнение унесло жизни почти миллиона крестьян. Они повторили тактику взрыва дамб в 1945 г., когда атаковали базовые области коммунистов. Армии коммунистов в меньшей степени походили на саранчу.

Считается, что различные производственные отношения делают одних крестьян более революционными, чем других. Некоторые утверждают, что воздействие глобального капитализма революционизировало тех крестьян, хозяйство которых оказалось разрушенным из-за коммерциализированного сельского хозяйства. Крестьяне, которые до этого производили товары сами для себя и для местных рынков, вытеснялись крупномасштабным коммерческим, ориентированным на экспорт сельским хозяйством. Под давлением этих обстоятельств они теряли свою землю и становились сельскохозяйственными рабочими или арендаторами крупных поместий или плантаций либо уходили из сельского хозяйства, чтобы стать рабочими в таких отраслях, как строительство, промышленность или горное дело. Они с большей вероятностью становились рекрутами революционных движений. Это то, что Форан называет «зависимым развитием» (ср. Moore 1967; Wolf 1969; Migdal 1974; Paige 1975).

Пейдж утверждает, что экспортно ориентированные сектора среди более традиционного натурального хозяйства с наибольшей вероятностью порождают крестьянские революции, осо-

бенно если среди крестьян преобладают издольщики и трудящиеся-мигранты. Более ограниченные восстания и движения за реформы создаются коммерческими гасиендами, плантациями и мелкими собственниками. Однако его статистическое исследование стран было подвергнуто критике, и, вероятно, связь здесь довольно незначительна (Somers and Goldfrank 1990). Викхам-Кроули (Wickham-Crowley 2001) демонстрирует, что скваттеры и трудящиеся-мигранты чаще поддерживали революцию в Латинской Америке; в Китае же революция не была связана с недавно коммерциализированным сельским хозяйством. Некоторые регионы уже были коммерциализированы века назад, другие все еще не были коммерциализированы, в некоторых частях Северо-китайской равнины коммерциализация принесла с собой не капитализм, а то, что Ф. Хуанг (Huang 1985) назвал «инволюцией» (или «инволютивным ростом»), при которой предельный продукт семейного надела упал ниже средней зарплаты рабочего. Для того чтобы поддержать семью, требовался больший выпуск продукции за счет более тяжелого труда каждого члена семьи, а не за счет роста производительности труда. Эти «пролетаризированные» крестьянские домохозяйства оставались уязвимыми к мельчайшим экономическим или экологическим спадам, но, полностью погруженные в работу, они не воспринимали коммунизм. Однако коммерциализированное сельское хозяйство также не способствовало развитию коммунизма. Цзянси, первый из созданных сельских Советов, включал некоторые коммерческие сектора, но основные базовые области в Яньани и Шэньси на северо-востоке нет. В целом коммунисты создавали свои базовые области в удобных для обороны гористых местностях, поэтому они рекрутировали больше крестьян в наименее коммерциализированных областях, хотя это было по военным, а не по экономическим причинам. Они находили рекрутов в различных экономических условиях. Ни ужасная бедность, ни условия *J*-кривой (согласно которой растущее процветание сменяется рецессией), ни коммерциализация или зависимое развитие, ни типы аренды не могли предсказать успеха коммунистов, который был в меньшей степени обусловлен условиями местного сельского хозяйства, чем приходом и последующей властью коммунистов. В тех областях, куда они не добрались, не происходило революций, какие бы отношения производства там ни существовали. В тех областях, в которые коммунисты приходили, они подстраивали свою политику под местные реалии, включая местные производственные отношения.

Вульф утверждает, что коммерциализация создавала основу крестьянского недовольства (Wolf 1969: 130–131), но затем

добавляет, что середняки были основными революционерами XX в. Пример тому — Китай. Он пишет, что бедные крестьяне и безземельные сельскохозяйственные рабочие слишком зависели от землевладельцев в добывании средств к существованию, а потому обладали недостаточной тактической мощью, чтобы начать или продолжать революцию. С другой стороны, у богатых крестьян было мало стимулов восставать и много чего терять. Средняки, напротив, обладали и ресурсами, и мотивацией. Вольф также выделяет крестьян периферийных областей как вторую революционную группу: «Единственным компонентом крестьянства, который действительно обладает некоторыми внутренними силами для достижения цели, является либо «среднее крестьянство», владеющее землей, либо крестьяне периферийных областей, расположенных вне сферы контроля землевладельцев». Ключевым обстоятельством, утверждает он, было то, что две эти группы были «тактически мобильными... именно середняки и бедные, но «свободные» крестьяне, которые не были ограничены никакими сферами власти, составляли стержневые группы крестьянских восстаний». Изоляция крестьян Яньани и Шэньси давала им больше политической свободы, а расположенные поблизости горные укрепления позволяли, если необходимо, предпринимать военные отступления. Практически все базы коммунистов располагались или в северных горных периферийных районах Китая, или в высокогорных пограничных областях между провинциями, где военная слабость государства давала коммунистам передышку для того, чтобы заручиться крестьянской поддержкой и выстроить свою оборону (Wolf 1969: 291–293; ср. Esherick 1995: 56; Kataoka 1974: 294–295).

Объяснение Вульфа сформулировано в категориях военных и политических возможностей, а не экономической эксплуатации. Затем он добавляет к нему элемент идеологической власти. Вульф признает, что крестьяне не могли начать революцию без посторонней помощи и следовали за лидерством «вооруженной интеллигенции». Он добавляет идеологическую иронию, утверждая о середняках и периферийном крестьянстве: «Это также было крестьянство, которое антропологи и крестьяноведы обычно рассматривали в качестве основных носителей крестьянских традиций» (Wolf 1969: 292) — культурные консерваторы делают крестьянские революции! Его объяснение включает все четыре источника власти.

И все же середняки не были столь уж революционными. Хотя КПК была убеждена, что из середняков можно набрать более боеспособные ополчения, их было труднее рекрутировать, чем бедных крестьян. Возможности рекрутирования середняков или бедных крестьян преимущественно зависели от мест-

ной политики КПК. Там, где ее политика был умеренной, удавалось рекрутировать больше середняков; напротив, там, где политика была радикальной, набиралось больше бедных крестьян. В целом партия рекрутировала больше бедных крестьян, хотя в результате перераспределения земли коммунистами многие из них становились середняками — социальная мобильность через коммунизм!

К Китаю применима куда более простая экономическая объяснительная модель. Различные производственные отношения, различные типы эксплуатации, которые выделяют Пейдж или Вульф, играли сравнительно меньшую роль. При Гоминьдане и милитаристах в Китае были различные идеологии и экономические отношения, но одна-единственная широкая система эксплуатации сельских классов, которая в зависимости от региона базировалась или на арендной плате, или на налогах, но везде усиливалась поборами землевладельцев посредством ростовщичества, платы за управление местными ассоциациями, коррупционным контролем над местными административными органами, а также на политической и военной власти для взыскания всех поборов в произвольном размере. Преодолевавшая множество местных различий по всему Китаю грубая эксплуатация, как утверждала КПК, в широком плане противопоставляла землевладельцев, богатых крестьян, ростовщиков и чиновников середнякам и бедным крестьянам. Иногда это была эксплуатация через налоги, иногда — через ренту, но она всегда подкреплялась «четырёхсторонним существом» — сборщиками арендной платы, купцами, ростовщиками и чиновниками, подчеркивает и сам Вульф. Это была связанная с экономической властью составляющая объяснения.

Хотя крестьяне знали, что их эксплуатируют, они рассматривали это в качестве извечной доли большей части человечества. Как только коммунистам удалось продемонстрировать, что они могут сбросить принудительную власть «четырёхсторонних существ» и перераспределить землю, богатство и власть, достаточное количество середняков и бедных крестьян в областях с разными производственными отношениями собирались под их знамена, чтобы распространить веру в то, что этот эксплуататорский порядок можно разрушить и заменить его более справедливым. Это был длинный, медленный и неравномерный процесс в условиях войны. Военная власть коммунистов способствовала осуществлению классовой революции, создав крестьянские ополчения, защищающие каждую базу от господствующих классов. Лучшее объяснение этой революции было предложено Мао и его партийными кадрами, которые разработали стратегию гибкого, но полноценного использования партизанской войны.

Форан (Fogar 2005) разработал самую сложную теорию революций в странах третьего мира. Он утверждает, что во всех удавшихся социальных революциях XX в. — в Мексике, 1910–1920 гг.; на Кубе, 1953–1959 гг.; в Иране, 1977–1979 гг.; Никарагуа, 1977–1979 гг.; Китае (он исключает Россию) — всегда могут быть обнаружены пять условий: зависимое экономическое развитие; экономический спад; репрессивное, эксклюзивное и персоналистское государство; сильная политическая культура оппозиции; «мир-системная открытость». Напротив, в случае менее успешных или неудавшихся революций, которые он также анализирует, эти условия были не так ярко выражены. Однако мы уже видели, что два первых условия — зависимое развитие и экономический спад — не так хорошо срабатывают в Китае. Они также не работают и в России, как мы видели в главе 6.

Третья переменная Форана — репрессивное, эксклюзивное и персоналистское государство, которое подвергает репрессиям и исключает из участия в управлении практически всех, даже важные элиты. Правитель зависит от личной преданности, а это хрупкий базис правления. Большинство исследователей сегодня рассматривают такой вид государства в качестве наиболее уязвимого, что является самым важным условием революции (Goldstone 2004, 2009). Но в главе 6 я выделил два вида уязвимости — раскол на фракции и узость или отсутствие у государства инфраструктурной власти. Викхам-Кроули (Wickham-Crowley 2001) добавляет к этому военную власть. Персоналистские режимы создают преторианские гвардии, которые эффективны в защите правителя и репрессировании обычного инакомыслия, но неэффективны в ведении войн. Они сопротивляются повышению военного профессионального уровня и могут быть побеждены вооруженными повстанцами. Гудвин (Goodwin 2001) утверждает, что такие государства обладают низкими военными и полицейскими возможностями. Он предлагает так называемую государствоцентричную парадигму (*state-centered paradigm*), в рамках которой государство выступает «самым важным фактором» объяснения революции.

Был ли режим Гоминьдана персоналистским, эксклюзивным и высоко репрессивным, или же он обладал слабыми инфраструктурами? Чан Кайши был непререкаемым лидером этого однопартийного государства, которое было расколото на фракции. Однако его режим не был эксклюзивным. Он заключал соглашения с множеством милитаристов, существовали левая и правая фракции; кто угодно мог к нему присоединиться. Его слабость заключалась не в исключении элит, или городской интеллигенции, или буржуазии из участия в правлении. Как раз наоборот: Чан отчаянно пытался интегрировать их

в государство. Однако это может выглядеть как слабое государство в других отношениях. Чан Кайши не хватало инфраструктур, чтобы приводить свои приказы в действие в провинциях, а местные элиты часто сопротивлялись его реформаторским усилиям. Вместе с тем коммунисты были намного слабее. Чан Кайши сокрушил их сначала в Шанхае, затем в Цзянси и был в шаге от того, чтобы окончательно сокрушить их в Яньани. Его фискальные и военные инфраструктуры были в состоянии разбить их и в третий раз, но вторглись японцы. Ни одно из азиатских государств не могло справиться с японцами, хотя режим Гоминьдана действительно преуспел в том, чтобы сдержать их наступление. В отличие от русских армий в Первой мировой войне солдаты националистов не отказывались сражаться, несмотря на тяжелые потери. Китайское государство выглядит сильнее, чем предполагают социологические модели, но его инфраструктуры были разорваны в клочья японцами. Это государство не было столь же инфраструктурно сильным или сплоченным, как два государства, с которыми оно сражалось: Япония и с 1945 г. коммунистическое однопартийное государство. Слабости этого государства вскрылись только в войне против двух необычайно сильных государств. А это совсем не одно и то же. Китайская революция не очень хорошо укладывается в социологические теории, а это была самая важная современная революция.

Четвертая переменная Форана — это сила оппозиционной политической культуры. Исследователи утверждают, что революционное лидерство возникает из городских диссидентствующих интеллектуалов и что успешные революционные движения расширяются от своей крестьянской или рабочей базы к привлечению более широкой, городской, мультиклассовой оппозиции (Goodwin 2001: 27; Wickham-Crowley 2001; Goldstone 2009). В Китае города и университеты действительно направляли молодых мужчин и женщин в КПК. После неудавшейся революции 1911 г. города породили множество реформаторов. Отчужденные от правления милитаристов и Гоминьдана, многие из них примкнули к коммунизму, чтобы стать элитой идеологической власти (которую я описывал выше), приверженной делу, убежденной, что история на их стороне, элитой, которой была нравственно противна всякая коррупция, приверженцами секулярной религии спасения. И все же вторая половина этой модели неприменима, потому что города оставались под властью националистов вплоть до конца гражданской войны. Как предсказывал Мао, города придется окружить из сельской местности, прежде чем их удастся захватить при помощи вооруженных сил. И вновь Китай отличался от социологических моделей.

Последняя переменная Форана — открытость мир-системы, хотя его мир-система носит в большей мере геополитический, чем капиталистический характер. В китайском примере он верно подчеркивает японское вторжение, хотя и не понимает, как оно повлияло на политические и военные практики партийного ядра. Первые военные поражения, последовавшие за войной с Японией и гражданской войной, вынудили коммунистов стать высоко милитаризованной партией, практиковавшей военную дисциплину по отношению к своим членам и крестьянам в базовых областях. Революция пришла с полей битв Японии против Китая и китайцев против друг друга — определенно военная открытость мир-системы!

Социологи фокусируются на экономических и политических переменных, хотя и с некоторой примесью идеологии. Все три были необходимыми условиями революции. Большинство крестьян выражали значительное экономическое недовольство; коммунисты придумали, как воплотить в жизнь более популярную экономическую структуру на местах. Режим Гоминьдана совмещал раскол на политические фракции (хотя и не эксклюзив) с ослабевавшей инфраструктурной властью. Партийные кадры КПК были целиком и полностью привержены идеологии спасения, ради которой они снова и снова рисковали своими жизнями. Но они также могли менять арсеналы средств в зависимости от местных материальных условий, баланса сил и изменившихся угроз и возможностей. Без любого из этих условий они не достигли бы революции.

Предшествующие теории не смогли должным образом подчеркнуть то, что в случае Китая постоянно бросается в глаза. Война с очевидностью входит в эмпирически обоснованные нарративы (например, Форан), но должным образом не включена в теории. Скочпол (Skocpol 1979) рассматривает войну в качестве необходимого базового условия революции. Викхам-Кроули (Wickham-Crowley 2001), исследуя латиноамериканские примеры, приходит к пониманию, что революционерам, чтобы выжить и, возможно, победить, необходима военная мощь. Он рассматривает ее как одну из трех главных причин силы повстанцев наряду с устойчивой поддержкой крестьян и кросс-классовой, мультиинституциональной поддержкой партизан в городах. Но даже это не воздает должное военным действиям китайских коммунистов. Как только они покинули Шанхай и направились в Цзянси, их революция стала войной, продлившейся 20 лет. Чтобы выжить, партия милитаризовалась, и ее борьба стала прежде всего военной. Эту революцию невозможно исследовать, не ставя во главу угла отношения военной власти, даже более важные, чем в ходе русской революции. Социаль-

ная организация принуждения была также наиболее значимой для коммунистов в вооруженной борьбе против Гоминьдана и японцев в силу их способности дисциплинировать и принуждать крестьян в своих зонах контроля, а также в силу политики, которую они проводили, как только захватывали власть.

Без военной власти коммунистов их экономическая, политическая и идеологическая проницательность по-прежнему не давала им шанса победить. Два военных вторжения дали коммунистам возможность одержать победу во всем Китае. Они могут быть рассмотрены как воздействие мир-системы, хотя их источники не были экономическими, да и война не была столь уж систематична. Во-первых, японское вторжение позволило коммунистам уцелеть и нарастить свои силы в отдаленных базовых областях, в то время как силы националистов несли на себе основную тяжесть войны. Как отмечает Скочпол (Skocpol 1979: 147–150, 240–242), ключевым воздействием этого вторжения было ослабление солидарности между местными элитами и государством — процесс, который шел еще с XIX в., когда элиты отказали в поддержке режиму Цин и затем не смогли прийти к согласию о том, кто будет его преемником. Японские вторжения оказали на них практически непереносимое давление. Во-вторых, война на Тихом океане между Японией и Соединенными Штатами воспрепятствовала японскому господству над Китаем или совместному правлению японцев и националистов. Любой из этих исходов с высокой долей вероятности оставлял им достаточно сил, чтобы разбить коммунистов на финальном этапе гражданской войны. Когда американцы разбили японцев, коммунисты получили возможность одержать победу в гражданской войне, навязать свой вариант автаркии большей части Азии и, таким образом, заблокировать универсальную глобализацию появлением второго коммунистического сегмента. Их милитаризованный социализм в союзе с классовой привлекательностью коммунизма, выявленной Селденом и Эшериком, дал им большую поддержку крестьян, и это оказалось решающим в низкотехнологичной гражданской войне. Самым ироничным было то, что Япония и Соединенные Штаты, две яростно антикоммунистические державы, непреднамеренно поспособствовали триумфу коммунистов в самой многолюдной стране мира. Такова власть непреднамеренных последствий. Ослабление государств является необходимым условием современных революций. В данном случае в самой важной революции война ослабила государство, но своеобразным образом. Другие вскоре попытаются копировать этот путь к революции. Я рассмотрю их и перейду к более общей теории революции в томе 4.

ГЛАВА 14

Последняя война империй, 1939–1945 годы

ВТОРАЯ мировая война была третьим великим потрясением XX в. Она была самой глобальной и, надеюсь, последней войной между империями и последней войной, в которую была втянута вся Европа. На самом деле ей суждено было сначала разделить на части и затем сокрушить европейскую мощь. Применительно к этой войне я задаюсь теми же вопросами, которые задавал и о Первой мировой: что было ее причиной, что определило ее результат и какими были ее последствия? На второй вопрос необходимо отвечать в основном в плане отношений военной власти, и применительно к критическим моментам войны я дам ее детальный обзор. Два оставшихся вопроса требуют более широких объяснений.

Европейцы датируют начало этой войны сентябрем 1939 г., когда Гитлер вторгся в Польшу; вместе с американцами они рассматривают в качестве финальной точки этой войны середину 1945 г., когда Германия и Япония капитулировали. И все же это был лишь центральный этап более продолжительной серии войн. Япония напала на Китай в 1931 г. и вновь в 1937 г. Миллионы китайцев погибли задолго до того, как были атакованы Польша или Перл-Харбор. Италия вторглась в Абиссинию в 1935 г. и вместе с нацистской Германией помогла Франко одержать верх в гражданской войне в Испании между 1936 и 1939 гг. Италия вторглась в Албанию в апреле 1939 г.; Гитлеру через агрессию, но без необходимости сражаться удалось присоединить Рейнскую область, Австрию и Чехословакию. Война в Азии шла вплоть до 1949 г., когда китайские коммунисты одержали верх над Гоминьданом. Взаимосвязь всех этих войн сделала их чем-то намного большим, чем полуглобальными. Они были развязаны странами Оси, стремившимися основать «поздние» империи посредством агрессии, веря в то, что они утверждают права, уже обеспеченные другими империями. Союзники защищали свои империи. Это были войны между империями, кульминация и гордыня европейских традиций милитаризма

и империализма, которые теперь передались другим. Это была первая практически глобальная война, поскольку лишь Латинская Америка ее избежала. Я рассмотрел Азию в главе 12. Ниже я сфокусируюсь на войне против Германии.

ПРИЧИНЫ

Связи между началом Второй мировой войны на Западе и условиями мирного урегулирования после Первой мировой представляются настолько очевидными, что возникает соблазн рассматривать одно как прямое следствие другого. Это справедливо лишь отчасти. Разумеется, условия мирного урегулирования Версальского и Трианонского договоров не решили всех геополитических проблем, которые послужили причиной первой войны, и создали новые проблемы. Австро-Венгрия, первоначальный агрессор, была уничтожена, в результате Трианонского мирного договора она была разделена на маленькие государства, которые в случае нападения Германии или России не смогли бы сопротивляться. В преддверии войны Гитлер имел опыт нападения на Чехословакию и Польшу. Немцы в Европе не могли более делить преданность между Веной и Берлином. Если немцы в Австрии, чехословацкой Судетской области, Польше и других областях отныне хотели быть частью немецкой державы, это было возможно только в рамках *великогерманской* (*grossdeutsch*) империи, управляемой из Берлина. После 1933 г. это означало «управляемой Гитлером».

Мощь Германии не была сокрушена в 1918 г., поскольку немецкое руководство запросило мира до того, как страна могла быть оккупирована. Державы Антанты не могли влиять на суверенный послевоенный режим, к тому же они сами разошлись в вопросах мира. Лишь Франция, опасаясь Германии и пытаясь получить компенсацию за свои страдания, стремилась последовательно уничтожить немецкую мощь. Позиция Британии была чуть более примирительной, поскольку она меньше пострадала и стремилась сохранить континентальный баланс сил — Германию как противовес Франции и Советскому Союзу. Американцы были настроены еще более примирительно, поскольку они почти не пострадали и хотели сохранения в Европе мультигосударственной системы, а не англо-французского заповедника. Все три опасались большевизма и рассматривали Веймарскую Германию как европейский бастион против его распространения. Это были смешанные и часто разобщающие мотивы.

Версальский мирный договор выглядел как карательный договор. Статья 231 начиналась словами: «Союзные и Объеди-

нившиеся Правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися Правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников». Немецкие приграничные территории были переданы соседним государствам; немецкие колонии были отданы недавно созданной Лиге Наций, которая затем передала их «в доверительное управление» победоносным империям. Необходимо было выплатить репарации за военный ущерб, нанесенный в основном Франции. Численность немецкой армии была ограничена 100 тыс. человек, не считая Генерального штаба. Три рейнские зоны были оккупированы на пять, десять и пятнадцать лет в качестве гарантии выполнения условий мирного договора. Вина была очевидной, наказание — суровым. Кейнс писал:

Если мы сознательно стремимся к обнищанию Центральной Европы, осмелюсь предположить, что расплата не заставит себя долго ждать. Ничто тогда не отодвинет решающую гражданскую войну между силами реакции и отчаянными конвульсиями революции, по сравнению с которой померкнут ужасы последней германской войны и которая разрушит, кто бы ни победил, цивилизацию и прогресс, достигнутый нашим поколением (Keynes 1919: 251).

Он был прав, хотя и не видел роли фашистов, революционеров справа, в будущих бедах.

Теоретически условия мирных договоров проводились в жизнь Лигой Наций и великими державами. Однако Лиге Наций было предоставлено не так уж много самостоятельности державами, которые сами были разделены между собой. На первый план вышли экономические проблемы, как мы видели в главе 7: тяжелое состояние Германии ослабило мировую экономику, а размер репарационных платежей разбалансировал международную финансовую систему. Британский капитал и фунт стерлингов больше не могли поддерживать свою доминирующую гегемонию. Соединенные Штаты и их доллар могли бы взять на себя эту роль, но американцы еще не признали это.

Война истощила Францию и ослабила Британию. И все же Британия обладала как никогда большими имперскими владениями, ее военные силы были больше, а ее государственные мужи по-прежнему считали, что весь мир находится в их руках. Соединенные Штаты обладали очень маленькой империей и не настолько большой армией, хотя после 1922 г. их флот сравнился с британским, однако американские политики не проявляли особого интереса к внешнему миру. В Первой мировой войне 50 тыс. американцев пожертвовали своими жизнями

ми, участвуя в войнах других стран. Лучше держаться подальше от этого воинственного континента, сказали большинство американцев. Франклин Делано Рузвельт неоднократно обещал держать Соединенные Штаты вдалеке от войн и Европы, хотя американское влияние в Восточной Азии становилось больше, чем британское. Таким образом, к середине 1930-х гг. Британия и Соединенные Штаты пользовались приблизительно равным влиянием в глобальной геополитике (Edgerton 2005; McKercher 1999). Старая дипломатическая игра была дестабилизирована; Япония усилилась; Франция ослабла; Германия сломлена в военном отношении, объявлена исключительным виновником войны и частично оккупирована. Америка была изоляционистом, Советский Союз — изгоем.

Германия оставалась пожароопасным местом Запада, точно так же как Япония — пожароопасным местом Востока. И все же вторая война не представлялась неизбежной. По репарациям были достигнуты компромиссы, и затем они прекратились. Рейнские земли должны были полностью возвратиться в состав Германии без войны, а также, вероятно, и Судетская область. Ни Британия, ни Соединенные Штаты не были настроены по отношению к Германии враждебно. Британские власти по-прежнему рассматривали Францию в качестве самой могущественной континентальной державы вплоть до 1935 г., к тому же и Британия, и Соединенные Штаты способствовали экономическому восстановлению Германии и давили на Францию, чтобы она пошла на уступки Германии.

В этих отношениях, конечно, была напряженность. Но все же большинство европейцев надеялись, что они покончили с войной и агрессивным национализмом. Потребовались нацизм и Гитлер, чтобы превратить это напряжение в войну в Европе. Это в основном объяснялось наследием Версальского договора, внутренней политикой Германии и Великой депрессией, хотя нацисты возникли как часть более широкого профашистского движения на большей части Европы, как мы увидим в главе 10. Этот национализм был убежден в очищающих достоинствах насилия и войны. Теперь фашисты призывали к военному захвату любой территории, которая представлялась им созревшей для этого, превознося способность Нового (фашистского) Человека к преодолению материального неравенства военных сил. Немецкие нацисты, особенно сам Гитлер, были абсолютными фашистами.

С самого начала Гитлер намеревался развязать войну, чтобы основать великую империю. Он не рассматривал ее как всего лишь инструментальное средство достижения материальных целей. Смесь метафизики и биологии в его идеологии представ-

ляла «вечные законы жизни на этой земле, которые есть и останутся законами бесконечной борьбы за существование... борьбы за жизнь». «Аристократическим принципом природы» является «право сильного» (Wette 1998: 18–20). Это был социал-дарвинизм, в котором нация заменяла виды Дарвина, — тотальная идеология спасения через борьбу между нациями и расами и поэтому с определенной степенью власти над своими приверженцами. Для того чтобы установить его, германскому рейху были необходимы четыре стадии. Во-первых, ему предстояло восстановить Германию, усилить ее государство и нацию. Это государство должно было быть деспотическим, свободным от изнурительного политического конфликта. Нацию следовало очистить от классового конфликта и «негодных» рас и групп, особенно евреев, славян, а также от инвалидов и преступников. В первые несколько месяцев, последовавших за захватом власти, были построены 70 концентрационных лагерей для лидеров профсоюзов, коммунистов, социал-демократов и всех проповедовавших классовую политику, до того как евреев стали арестовывать и массовые убийства начались с инвалидов, а не с евреев. Немцам предстояло восстать как господствующей расе, ремилитаризованной материально и духовно, готовой к великим военным свершениям.

Во-вторых, Гитлер намеревался вернуть все потерянные по результатам мирных договоров территории. Большинство немецких политиков утверждали, что хотят этого, но он взялся за это всерьез. В-третьих, он хотел империю на востоке, охватывавшую множество этнических немецких сообществ, которые жили там веками. Он намеревался усилить власть миллионами новых немецких колонистов, заселявших земли, расово очищенные от евреев и славян. Он понимал, что это предполагает уничтожение Российской империи. В-четвертых, чтобы защитить эту простиравшуюся на восток империю, он должен был расширить ее в западном и северном направлениях, чтобы подчинить окраины континента, создав там клиентелистские государства. Он не был до конца уверен относительно судьбы Британии. Поскольку Гитлер не хотел заморских колоний, он, по-видимому, позволил бы Британской империи существовать при условии, что она примет его господство. Однако в конце 1930-х гг. он стал более враждебно настроен по отношению к британцам, рассматривая их в качестве препятствия. В то же время он понимал, что падение Британской империи по всему миру принесет Германии меньше выгоды, чем Соединенным Штатам, Японии и Советскому Союзу. Поэтому, думал он, лучше будет поддержать ее. Он не хотел ни глобальной войны, ни глобальной империи. Он был бы доволен расширением Гер-

мании по всей периферии Европы, на восток, Ближний Восток и Северную Африку по аналогии с наивысшими устремлениями Наполеона, хотя и правил намного более прямо и сурово. Гитлер не хотел положить конец расколотому империализму, он всего лишь хотел основать господствующую империю.

Мир продолжал игнорировать планы Гитлера до тех пор, пока они в значительной степени не были достигнуты. Ему сошла с рук экспансия, потому что он осуществил ее в несколько этапов. Первой стадией усиления самой Германии за рубежом даже восхищались. Некоторые выражали обеспокоенность антисемитизмом, хотя Запад испытывал подобные чувства, и даже насилие «Хрустальной ночи» 1938 г. или венский погром 1938 г. не казались страшнее, чем погромы, происходившие на востоке европейского континента. Пока это еще не был режим геноцида, и он казался более мягким, чем режим Сталина. Больше тревоги проявили европейские левые, потрясенные гитлеровским подавлением социалистов, коммунистов и профсоюзов. Наряду с Гражданской войной в Испании и итальянским разрушением Абиссинии Гитлер выбил из левых прежнюю склонность к пацифизму. К концу 1930-х гг. большинство британских и французских левых призывали остановить Гитлера. Напротив, большинство правых одобряли расправу над немецкими левыми, в частном порядке желая сделать со своими левыми то же самое.

Вторая стадия подразумевала восстановление потерянных территорий. И вновь это вызывало некоторую симпатию за рубежом. Принцип самоопределения глубоко укоренился в Европе (если не в заморских империях), и большинство жителей Рейнской области, Австрии, Судетской области и прочих преимущественно германских территорий хотели объединения с Германией. Французы могли бы прислать солдат и снова взять Рейнскую область в 1936 г., как в частном порядке признавал Гитлер, но лишь немногие французы одобряли такую агрессию. Италия могла попытаться остановить аншлюс Австрии в 1938 г., но она никогда бы этого не сделала. Популярность Гитлера внутри страны росла по мере того, как он возвращал потерянные территории без войны. В то же время он проводил перевооружение, наращивал мощь немецкой армии на случай сопротивления.

Третья стадия действительно вызвала тревогу за рубежом. Хотя Гитлеру удалось аннексировать Чехословакию без войны, его вторжение в Польшу вызвало войну с Францией и Британией, которой он не ожидал. Гитлер был шокирован, когда Британия объявила войну, вынуждая его сражаться на Западе до того момента, как он смог начать атаку на Советский Союз. Тем не менее он рассматривал войну как неизбежный результат расовой борьбы, к тому же быстрый успех на западном фрон-

те убедил его повторить блицкриг в отношении Советов. Его тысячелетний рейх казался таким близким. Гитлер достиг этого благодаря фашистскому милитаризму и деспотизму, особенно благодаря «принципу фюрерства», который стимулировал к «работе к фюреру», описанной в главе 10. Его политическая власть преодолела преграды к милитаризму, чему при демократии обычные немцы, вероятно, противостояли бы. Теперь они были полны страха. Гестаповский и прочие полицейские отчеты утверждали, что всякий раз, когда война маячила на горизонте, они боялись; всякий раз, когда Гитлеру удавалось достичь своих целей без войны, они приветствовали его. Однако люди были не важны. Гитлер уничтожил всю организованную оппозицию, и армия информаторов доносила об индивидуальном инакомыслии. Гитлер слил воедино все четыре источника власти, а германцы были атомизированными и бессильными. Подавляющее большинство не хотело войны, но не могло ее остановить (Wette 1998: 11–12, 120–124, 151–155). Весьма вероятно, что, если бы не Гитлер, Второй мировой войны не было бы, а эта война изменила мир даже больше, чем Первая мировая.

Таким образом, непосредственной причиной Второй мировой войны, направившей общий дрейф европейской военной и политической власти к агрессивной войне, был Адольф Гитлер. Это была уже не Первая мировая, в которой ошибочные расчеты всех сторон привели к войне с непредвиденными последствиями, пусть и в контексте более широкой культуры милитаризма. Хотя и в данном случае были ошибочные расчеты и непреднамеренные последствия, один человек и его могущественная страна начали вторую войну, проповедуя идеологию спасения агрессивного национализма. Решения вновь принимались в условиях общих идеологических предрасположенностей, включавших новый страх перед коммунизмом, но в 1939 г. большинство европейцев, напуганных Первой мировой войной, были в меньшей степени милитаристами, чем в 1914 г. Однако это предложение содержит две дополнительные трагические европейские причины войны.

Первая причина состояла в неравномерности современного милитаризма и национализма. Европа раскололась надвое, как мы видели в главе 10. Фашистские и профашистские режимы в центре, в Восточной и Южной Европе поднимали национализм на новые высоты, в то время как правительства и народы северо-запада Европы отходили от милитаризма, что подразумевало более миловидные и привлекательные версии национализма. Британия и Франция были сожжены первой войной. Британское руководство рассматривало свою страну как «насытившуюся» державу, осознавая, что их контроль над четвертой

части суши становится ненадежным. Имперские интересы заключались в мире и коллективной безопасности для сохранения того, что Британия уже имела. Франция находилась в более небезопасном положении из-за немецкой угрозы французской метрополии и крайне нуждалась в мире. Сталин также не хотел войны. Он был занят преобразованием экономики и ослаблением своей партии и армии путем организованного им братоубийства. Соединенные Штаты были даже более пацифистскими, чем прочие демократии, и поглощенными внутренними проблемами. Муссолини был заинтересован в войне, но только против африканцев. Европейцы хлопотали, стремясь избежать войны, что лишь усилило презрение к ним и аппетиты фашистов. Когда они начинали трезво смотреть на возможность войны, то каждая страна надеялась, что сражаться будут другие. Общей внешней политикой было стремление проливать кровь других: британцы надеялись пролить французскую кровь; и те и другие надеялись, что восточноевропейская или русская кровь заставит Гитлера отступить; Сталин мог бы пролить русскую кровь, если другие также прольют свою. Это вполне соответствовало плану Гитлера разделить своих врагов, а затем последовательно их уничтожить (Carley 1999: 31). Только Гитлер был всецело готов пролить столько немецкой крови, сколько потребуется, и это наполняло его храбростью. Европейцы были не способны браться оружием ради сдерживания Гитлера.

В итоге британское и французское руководство подготовилось к битве. Они говорили о защите демократии, хотя несколько не заботились о чешской или польской демократии, к тому же за пределами Европы они сами имели деспотические империи. Чемберлен и Черчилль, Блюм и Даладье были едины в том, что касалось защиты их империи за рубежом, так же как и демократии дома. Не позднее чем в декабре 1944 г. Черчилль провозгласил: «„Руки прочь от Британской империи“ — вот наш девиз, и мы не позволим ослабить или запятнать его к удовольствию наших сентиментальных купчишек или каких бы то ни было иностранцев» (В. Porter 2006: 80). Немецкие, итальянские и японские притязания на свои собственные империи вызвали войну, но их враги решительно защищали свои (Overy 1999: xi–xii, 104, 297–302). Это было столкновение между империалистами; старые режимы рассматривали мир и коллективную безопасность как лучший путь сохранить империю; выскочки были убеждены, что должны сражаться, чтобы завоевать собственную империю. Это была кульминация европейского милитаризма, а также его крах.

Если Гитлер действительно намеревался начать войну, то Франция попадала бы на линию огня, поскольку она занима-

ла спорную территорию Эльзас-Лотарингии и была бескомпромиссным сторонником репараций. Французские политики знали, что французская мощь ослабевает, а немецкая — растет. Доказательством тому была демография, поскольку разница в уровне рождаемости была в пользу немецкой державы. Французские политики оставались расколотыми на фракции почти весь межвоенный период, потому во Франции не предпринималась значительная внутренняя модернизация. Поскольку французские власти и руководство промышленности оставались правыми, имел место лишь незначительный корпоративизм, хотя правительственное вмешательство и сотрудничество между капиталом и трудом были бы полезными для военной модернизации, как показывала Британия. Британские национальные правительства 1930-х гг. были в основном консервативными, но партия тори участвовала в консенсусе после Первой мировой войны и Великой депрессии, и правительства Болдуина и Чемберлена расширили выплаты социальных пособий и права профсоюзов. Таким образом, когда в обеих странах в 1938 г. наконец произошло существенное расширение военной сферы, Британия выиграла от классового сотрудничества больше, чем Франция.

Французские лидеры еще острее осознавали необходимость в союзниках. Они были им нужны в Восточной Европе, но критически важным союзником была Британия. Франция даже не могла перебросить 750 тыс. колониальных солдат во французскую метрополию без помощи Королевского военно-морского флота. К своему недовольству французское руководство поддерживало британские проекты по восстановлению немецкой мощи вплоть до середины 1930-х гг. ради того, чтобы сохранить британское расположение, хотя немецкое восстановление могло угрожать им самим. В свою очередь, Британия зависела от французской армии — она держала Германию подальше от Ла-Манша. Усиление военно-воздушных сил, как казалось, усугубляло эту угрозу, поскольку британцы и французы переоценивали размеры люфтваффе. Британия ожидала немедленного разрушения большей части Лондона в случае начала войны. Если Британия оказывалась под угрозой дома, тогда мятежные ирландцы, египтяне, индийцы и белые южноафриканцы могли создать больше проблем. Это могло стать концом Британской империи. Французская слабость должна была куда больше беспокоить британское руководство, чем могло бы показаться со стороны.

И все же британская держава была на пике своего развития, и пренебрежение военными силами, характерное для 1920-х гг., было устранено в 1930-х гг. Вооруженное теорией военно-воздушных сил Лиддела Гарта и изречением Болдуина «бомбарди-

ровщики везде прорвутся», консервативное правительство Болдуина и Чемберлена усилило Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот. Британский военный бюджет и уровень производства вооружений теперь были выше немецких. На воду были спущены семь британских авианосцев, тогда как немцы и итальянцы не построили ни одного. Британские вооруженные силы были продвинуты в техническом отношении — от половины до двух третей всех научных исследований были направлены на военные цели (Edgerton 2005). Армия была слабым звеном, поскольку руководство было больше обеспокоено защитой империи, чем Европы, и индийская армия оставалась основным сухопутным средством. Экономическая политика также заключалась в том, чтобы защищать империю через тарифы. В ноябре 1931 г. Министерство иностранных дел предупреждало: «Высокие протекционистские тарифы наряду с преференциями внутри империи предполагают определенную степень дистанцирования от Европы и соответствующего уменьшения нашего влияния на европейские дела... Экономическое восстановление мира (цель нашей политики) зависит от восстановления Европы; европейское восстановление — от восстановления Германии; восстановление Германии — от французского согласия; французское согласие — от исключения (во все времена) нападения» (Steiner 2005: 668, 775). Это было весьма проницательно. К сожалению, французская опасность уменьшалась в точном соответствии с ростом власти Гитлера.

Британская приверженность Европе была в ее предполагаемой способности помочь в долгой войне во Франции, подкрепленной, как и в случае первой войны, морской блокадой Германии. Чемберлен также был привержен военно-воздушным силам, и его представления о сдерживании с воздуха предвосхитили оборонительные теории после 1945 г. Однако, учитывая экономическую ортодоксию казначейства, которой подчинялся Чемберлен, увеличение военных расходов было вынужденно умеренным, к тому же оно происходило за счет сухопутной армии, способной вмешаться в войну во Франции. Отчет Инскипа, одобренный Кабинетом министров в декабре 1937 г., устанавливал потолок военных расходов на следующие пять лет в размере 1,5 млрд фунтов и перечислял четыре приоритета обороны. Наивысшим приоритетом была оборона Британии, затем морские коммуникации и оборона империи. Последним приоритетом была приверженность континенту (Imlay 2003: 78).

Хотя британские военно-воздушные силы были способны нанести ущерб Германии и сдержать нападение на Британию, они едва ли были способны предотвратить нападение на Фран-

цию. Британия зависела от французских краткосрочных военных способностей сдерживать любую немецкую атаку, поскольку она не предполагала оказывать французам большую краткосрочную помощь. В ходе Первой мировой войны к 1916 г. Британия перебросила во Францию практически 60 дивизий. В 1937 г. там имелись всего две не полностью оснащенные дивизии и еще две формировались. «Две, и две позднее», — саркастически отмечал Сталин. Финальной целью Чемберлена была подготовка пяти дивизий для переброски к 1942 г. — к моменту, когда, по его расчетам, германская экономика будет готова к войне. Он не понимал, что в Германии уже не существует автономной капиталистической экономики, а лишь экономика, подчиненная военным целям ее диктатора. Гитлер был готов к 1940 г., но даже после лихорадочных британских действий во время «странной войны» в период с сентября 1939 по май 1940 г. во Франции, когда на нее напал Гитлер, было всего лишь девять британских дивизий, чтобы поддержать французскую армию. А ведь все, в том числе империя, могло быть потеряно, если бы Франция потерпела крах. И все было почти потеряно.

ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ

Неготовность к войне Британии и Франции сыграла ключевую роль в чехословацком кризисе 1938 г. Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлера удастся отговорить от войны. Чемберлен рассматривал Мюнхенское соглашение с Гитлером, заключенное 29 сентября 1938 г., как победу для мира, поскольку он угрожал захватить всю Чехословакию силой. Тем не менее Гитлер получил Судетскую область и большинство чехословацких оборонительных сооружений без боя, к тому же он мог вскоре захватить и все остальное, если бы нарушил это соглашение, как он и собирался поступить. Даладье сомневался, можно ли вообще остановить Гитлера, но при ведении переговоров он уступил Чемберлену, чтобы британцы остались на стороне Франции. Чемберлена поддерживал французский министр иностранных дел Бонне, который отчаянно боролся за то, чтобы удержать Францию от войны (Imlay 2002: 34; du Réau 1993). Как и Чемберлен, Даладье считал, что Мюнхенское соглашение даст время на перевооружение, которое быстро осуществлялось в обеих странах в 1939 г. Это была рациональная часть политики умиротворения. Отныне Даладье, его Генеральный штаб и даже Бонне поняли, что вскоре их ожидает война с Германией. Они расходились в своих представлениях о шансах на успех, но чувствовали, что у них нет выбора. Поворотный момент на-

ступил, и *redressement* (восстановление) Франции шло полным ходом (Imlay 2002: 38–42, 136–137).

Соединенные Штаты не участвовали в этой дипломатии; американская администрация была ввергнута в фактическое бездействие из-за актов о нейтралитете конца 1930-х гг. Рузвельт, пишет Кеннеди, был «бессильным наблюдателем в Мюнхене, слабым и не имеющим ресурсов лидером безоружной, экономически уязвленной и дипломатически изолированной страны. Он и Америка обладали ничтожным весом на весах дипломатии» (Kennedy 1999: 419). Однако Рузвельт извлек те же уроки, что и остальные, и Америка также стала перевооружаться.

Чемберлен ввел термин «умиротворение». Он рассматривал его как палку о двух концах. Он умиротворит Гитлера, найдя мирные пути для расширения немецких территорий в Центральной Европе (которое Чемберлена нисколько не заботило), купив время для ограниченного перевооружения, недостаточного для того, чтобы быть провокационным или нарушить ортодоксальные подходы казначейства, но достаточного, чтобы нарастить британскую военную мощь, включая более крупную британскую армию во Франции (Imlay 2002: 81–93). Как отмечает Фергюсон (Ferguson 2006: 325–230), казначейство ошибалось. Британия могла полноценно перевооружиться без большого вреда для экономики, что в конце концов позволило вытащить сначала Германию и Японию, а затем и Соединенные Штаты из Великой депрессии. Чемберлен и Галифакс, министр иностранных дел, готовы были пойти дальше в умиротворении Германии. Немецкое расширение на Балканы, отмечал Чемберлен, было бы «меньшим злом, чем война с Германией» (Carley 1999: 39). Он даже предлагал отдать Германии несколько африканских колоний за счет Португалии или Бельгии. Чемберлен хотел умиротворить Гитлера территориями, точно так же как и кровью других.

Недальновидным в этой политике умиротворения был сам Чемберлен: он верил, что Гитлер будет соблюдать свои обязательства. Чемберлен был порядочным человеком, который верил в мир, компромисс, экономический прогресс и антикоммунизм. Он был убежден, что другие государственные мужи, включая Гитлера, такие же, как он. Слабостью Чемберлена было тщеславие, особенно по поводу своих дипломатических способностей и понимания людей. Он был уверен, что, поскольку Гитлер дал ему слово, он сдержит его. Напротив, Черчилль, хотя изначально и был вполне расположен к Гитлеру как яркому антикоммунисту, к 1937 г. радикально изменил свое мнение и рассматривал Гитлера просто как зло. Вероятно, «рыбак рыбака», а в данном случае головорез головореза «видит издале-

ка», но «Черчилль Марк II» был прав. Гитлер говорил об умиротворителях: «Наши противники — мелкие черви. Я видел их в Мюнхене», а на протяжении польского кризиса 1939 г. он был уверен, что Британия «просто блефует».

Чемберлен по-прежнему обладал подавляющим большинством в парламенте и заметной народной поддержкой. Британия и Франция не были преданы группой умиротворителей, поскольку общественное мнение не хотело войны и два парламента этих стран точно отражали эти настроения, накладывая ограничения на милитаризм. Это было не так, как в Первой мировой, когда элиты в одиночку решали, быть войне или миру. Так по-прежнему было в Германии, Италии, Японии и Советском Союзе, но не в Британии, Франции или Соединенных Штатах, где демократия работала, но в пользу мира. К моменту заключения Мюнхенского соглашения произошли некоторые изменения. Опросы общественного мнения показали, что британское общество разделилось поровну в вопросе о том, помогать ли чехам, но, когда Чемберлен вернулся из Мюнхена, размахивая своим позорным клочком бумаги, провозглашая «мир в наши времена», все облегченно вздохнули и встретили его как героя, предотвратившего войну. В Британии его политика находила отклик среди весьма различных групп: пацифистов, которые ненавидели войну; тех, кто рассматривал Британию как насытившуюся державу, которая приобретает все от мира и теряет все от войны; тех, кто рассматривал Британию и Францию как по-прежнему слишком слабых, чтобы противостоять Гитлеру; тех, кто отдавал себе реалистичный отчет, что Британия могла мало что сделать, чтобы помочь чехам. Социальной базой, поддерживавшей Чемберлена, был истеблишмент, промышленники и финансисты, которые вели дела с Германией, а также представители старого режима и вельможи консервативной партии, которые боялись классовой революции. Основная оппозиция происходила из возглавляемых Черчиллем тори и Лейбористской партии, которые рассматривали Мюнхенские соглашения как катастрофу и войну как отныне неизбежную. Как и во Франции, в течение 1930-х гг. левые перешли с позиций антимилитаризма на позиции антифашизма. После Мюнхена лейбористы даже были готовы вложить в руки империалистических тори больше оружия. И все же тори Черчилля колебались, атаковать ли им собственное правительство, в то время как лейбористы видели в этом политическое преимущество. В итоге сторонникам войны не хватало общей стратегии (Imlay 2002: 194–206; Worley 2005: 213–215).

Британское правительство медленно готовилось к сражениям в долгой оборонительной войне, схожей с Первой мировой,

но для Чехословакии потребовался бы потенциал краткосрочной войны с французской помощью путем вторжения в Германию, открытия второго фронта против Гитлера. Поскольку чешская армия и ее оборонительные сооружения были достаточно сильными, а немецкая армия не была настолько сильной, как думали французы и британцы (и как понимали Гитлер и его высшее командование), это был хороший шанс отпугнуть Гитлера угрозой войны на два фронта. Если бы война действительно началась, то у них был бы хороший шанс победить Германию в начале 1938 г. Первоначальные стадии такой политики зависели бы от Даладье и Франции, а не от Британии. Однако после падения правительства Народного фронта в 1938 г. правому французскому правительству нужны были голоса депутатов, которые слишком мягко относились к фашизму. Французские партии были менее сплоченными, чем британские, и партийные вожди, такие как Бонне, пользовались большей автономией. К тому моменту во Франции, как и в Британии, большинство левых хотели более жестких мер, но левые были неоднородны и маловероятно, что консервативное правительство стало бы к ним прислушиваться. Французская армия готовилась к долгой оборонительной войне за Францию и выступала против вторжения в Германию, как и большинство французов. Поэтому французы не могли сдержать Гитлера в 1938 г. угрозой войны на два фронта и понимали, что предполагаемый союз с некоторыми восточноевропейскими государствами был не реализуем на практике. Действительно, они даже не были надежными союзниками. Так, Польша не только не помогла Чехословакии в борьбе против Гитлера, но и претендовала на часть чешской территории и просила помощи у Гитлера.

Шанс выступить против Германии в 1938 г. был упущен. В последовавшие 20 месяцев германская военная мощь возросла от уступавшей объединенным французским, британским и чешским силам до примерно равной англо-французским силам (Ferguson 2006: 361–368). Теперь Гитлер твердо намерился завоевать Польшу и понимал, что для этого должен сначала заполучить «ошметки» чешского государства. В марте 1939 г. он вторгся в Чехословакию и поглотил ее без серьезного противостояния, позволив Польше (по глупости «священной с чертом») захватить желанную часть чешской территории. Это ознаменовало конец политики умиротворения. Кабинет взял верх над Чемберленом и настоял, чтобы он предоставил гарантированную поддержку Польше. Черчилль больше не был гласом, вопиющим в пустыне, а был лидером межпартийного союза, объединившего рядовых членов Консерватив-

ной партии и практически всех либералов и лейбористов парламента. Похожий союз формировался во Франции с растущей общественной поддержкой, но национализм, который мобилизовывался, рассматривался как оборонительный. Ошибочно то, что национализм как таковой был причиной войны, но трансформированный фашизмом германский национализм действительно был.

Хотя польскому правительству не симпатизировали из-за его антисемитизма и алчности, теперь Британия и Франция гарантировали польский суверенитет. И тем не менее что они могли сделать, если Гитлер вторгся в Польшу? Могли объявить войну, но не могли доставить в Польшу помощь в срок, чтобы воспрепятствовать ее завоеванию. Гитлер не верил, что Британия и Франция на самом деле объявят войну, поэтому он вторгся в Польшу, но они ее объявили. Итак, мировая война началась на Западе.

Имела место идеологическая причина неспособности предотвратить войну, и это была вторая европейская трагедия. Некоторые британские и французские лидеры призывали к альянсу с Советским Союзом, которому также угрожала нацистская агрессия. Советы могли отправить солдат в Чехословакию, если бы польское или румынское правительство дало Красной армии право прохода через свою страну. Румыния была готова это сделать, если в случае необходимости Франция и Британия ее защитят; на Польшу можно было надавить. Неизвестно, удержал бы такой союз Гитлера от войны. Возможно, да, но, если бы он тем не менее развязал войну, этот союз мог бы быстро нанести ему поражение, спася миллионы жизней, в том числе большинства евреев и цыган. Почему Британия и Франция не заключили союз с Советским Союзом, как они сделали это четырьмя годами позже?

Сталинские чистки заставили сомневаться в России в качестве союзника, поскольку Сталин устранил 3 из 5 советских маршалов, 15 из 16 командующих армиями, 60 из 67 командиров корпусов и 136 из 199 командиров дивизий. Всего чисткам подверглось 40 тыс. офицеров армии и флота, осталось лишь 7% офицерского корпуса армии 1941 г. с высшим военным образованием. Тем не менее в июле 1939 г. поредевшая после чисток Красная армия продемонстрировала свою боеспособность на Дальнем Востоке, нанеся жестокое поражение японским силам в инциденте у Номон-Хана (Халхин-Гола), к тому же немецким вооруженным силам на тот момент было еще далеко до той военной мощи, которой они достигли в 1940 г. Разумеется, британцам и французам не стоило даже сомневаться, что с Советами им будет лучше, чем без них.

Самым большим камнем преткновения на пути к этому союзу был раскол континента на коммунизм и антикоммунизм. Политическое руководство Британии и Франции ненавидело Советский Союз, опасаясь, что любое движение русских на Запад может спровоцировать революцию. В 1918 г. Черчилль, занимая должность военного министра, предпринял попытку отправить полномасштабную британскую военную экспедицию в Россию, чтобы нанести поражение большевикам (Ллойд Джордж удержал его от этого и затем отправил в Министерство по делам колоний, где он мог принести меньше вреда). Черчилль преодолел свое идеологическое отвращение на реалистических геополитических основаниях. Веками британская политика заключалась в том, чтобы поддерживать баланс сил в континентальной Европе. Когда Наполеон сумел достичь господства над Европой, Британия вступила в союз с Россией с целью атаковать его с обеих сторон; подобным же образом во время Первой мировой войны был заключен союз с Россией против Германии. Примерно та же логика требовалась и сейчас. Черчилль был ярким антикоммунистом, но верил, что это единственный способ спасти империю. Сегодня историки-ревизионисты убеждены в обратном: сражаясь, а не договариваясь с Гитлером, Черчилль обанкротил и разрушил империю (Charmley 1993). И все же такое представление может сложиться, зная о неожиданном, но полном разгроме Франции и собственной попытке Сталина умиротворить Гитлера, которая была последствием политики Запада по его умиротворению. Именно эта комбинация оставила Британию в одиночестве и на пути к банкротству.

В 1938 г. Черчилль вместе с некоторыми высокопоставленными государственными служащими и генералами, рядовыми членами парламента из числа тори и непацифистски настроенными членами парламента от Либеральной и Лейбористской партий был уверен, что единственный способ сдержать или разбить Гитлера заключается в англо-французском альянсе с Советским Союзом. Черчилль и Роберт Ванситтарт, заместитель министра иностранных дел, работали вместе с министром иностранных дел СССР Максимом Литвиновым и советским послом в Лондоне Иваном Майским. Черчилль говорил Майскому, что Британия и Россия должны «вооружиться до зубов», поскольку «общий враг стоит у самых ворот». Менее могущественная межпартийная группа, возглавляемая бывшими министрами Рейно, Поль-Бонкуром и Манделем, была сформирована во Франции. Рузвельт по-прежнему не делал ничего, чтобы помочь.

Тем не менее Чемберлен и сторонники политики умиротворения не приняли этого союза, они цеплялись за власть до тех пор, пока не была объявлена война, — на самом деле до окон-

чания катастрофической британской кампании в Норвегии в 1940 г. Чемберлен сместил Идена и оттеснил на второй план Ванситтарта, когда они стали давить на него для заключения союза. После того как Гитлер разорвал Мюнхенское соглашение, позиция Чемберлена рассматривалась, по выражению Карли (Carley 1999: 181), как «нелогичная... недоступная пониманию», объяснимая разве что «идеологически мотивированным» антикоммунизмом, коренящимся в страхе, что война может принести революцию. В сентябре 1938 г. Даладье пытался убедить германского посла в Париже, что война будет лишь на руку Советам, поскольку «революция, вне зависимости от победителей и побежденных, столь же несомненна во Франции, сколь и в Германии и Италии. Советская Россия не упустит возможности принести мировую революцию в наши края». Он говорил послу США: «Казакки будут править Европой». Даже в сентябре 1939 г. Бонне оставался «абсолютно убежденным, что цель Сталина по-прежнему состоит в том, чтобы осуществить мировую революцию» (Carley 1999: 43, 47–48). Их позиция, как и позиция многих британских и французских правых, заключалась в том, что безопасность Запада может быть обеспечена только путем уступок Гитлеру и развязывания ему рук на Востоке, чтобы победить коммунизм. Как говорил бывший премьер-министр Болдуин, если Европе предстоит битва, то лучше «наблюдать, как в ней будут сражаться большевики и нацисты» и вновь проливать чужую кровь. Союз с Советами против Гитлера мог привести к войне, которая была бы на руку коммунизму. Большевицкая революция была продуктом первой войны, другие революции могли стать результатами второй войны. Несмотря на ужасы нацизма, они боялись революции больше, чем Гитлера. Первый лорд Адмиралтейства Чатфилд и секретарь Кабинета министров Ханке в 1937 г. утверждали, что уступки нацистской Германии и фашистской Италии являются логичной реакцией на советский коммунизм и французскую «ненадежность». Британские консерваторы были уверены, что со своим Народным фронтом Франция стала «наполовину красной», погрязла в «социалистической разрухе» (Carley 1999: 257; Parker 1993: 69; Post 1993: 214–215, 260–261). Подобные же аргументы приводили правые французы. «Лучше Гитлер, чем Блюм [лидер французских социалистов]», — говорили многие (Berstein and Becker 1987: 371–388; Jackson 2001, 2003: 112–116; R. Young 1996: 67–68). В феврале 1937 г. Сталин предложил военный союз с Францией, но французский Генеральный штаб отверг его. Причиной, утверждает Александер (Alexander 1992: 291–298), были «идеологические предрассудки». Антикоммунизм был весьма мощной эмоцией того периода, затуманившей инструментальный разум.

Продолжение гитлеровской агрессии принудило к серьезным переговорам в Москве в апреле — августе 1939 г. Британские опросы общественного мнения за май и июнь показывают, что более 80% респондентов поддерживали немедленный союз с Советами. Чемберлен подвергся травле в палате: «Так как насчет России?» Его заместители начальников штабов заявили в августе, что без ранней эффективной помощи со стороны России Польша «может не надеяться устоять под атаками немцев». Они также прозорливо предупреждали, что если с Россией не будет заключен союз, то Сталин заключит пакт с Гитлером, чтобы заполучить часть Польши.

Чемберлен продолжал упрямяться. Он говорил: «Я признаю, что испытываю глубокие подозрения относительно [России]. Я не могу поверить, что у нее те же цели и намерения, что и у нас, или что она питает симпатию к демократии как таковой» (Carley 1999: 133). Это было верно, но не имело отношения к делу. Он также эксцентрично провозглашал, что положение Британии не так уж «сильно ухудшится, если нам придется обходиться без них» (Parker 1993: 236). Не говоря уже о какой-то советской военной помощи, даже в экономической блокаде Германии зияли бы дыры, если бы Советы не выступили союзниками. Французское предложение на конференции предполагало советское вмешательство, чтобы спасти Польшу в случае необходимости. Когда Советы заговорили о взаимных гарантиях в случае, если Гитлер нападет на них, Франция и Британия отказались. Сталин пришел к верному заключению: они хотят, чтобы русские сражались вместо них. Англо-французские предложения о взаимной помощи оставались туманными, в то время как Молотов (который сменил Литвинова на посту советского министра иностранных дел) хотел «железных гарантий». Переговоры окончательно провалились, когда Британия и Франция не смогли получить от польского правительства гарантий пропуска советских солдат через Польшу в случае нападения Германии. Польша оставалась суицидальной до самого конца, но Даладье в частном порядке проинструктировал главу делегации на переговорах не соглашаться на пропуск русских, и французский военный атташе защищал польские возражения (Young 1996, Carley 1999: 195). Большевицкий кошмар по-прежнему пугал большую часть Запада, подталкивая его вести идеологически мотивированную геополитику. Хотя очевидным агрессором был Гитлер, британское и французское правительства также несут некоторую ответственность за начало Второй мировой войны. Их классовые интересы стали более эмоционально укорененными, чем национальные интересы, и это способствовало скатыванию к войне.

В конечном итоге Советы не могли ничего подписать. Они не верили, что Чемберлен, Даладье или Бонне сдержат свое слово (Carley 1999: 142–143, 149–159). В тот момент Сталин предпочел альтернативную оборонительную политику — пакт о ненападении с Гитлером, который был наихудшим исходом для Запада. Первые контакты были осуществлены в мае 1939 г., но Советы ничего не подписали до конца июля или начала августа, когда немцы сообщили им, что вторжение в Польшу неизбежно. С Западом никакого пакта о коллективной безопасности подписано не было, поэтому лучшей гарантией безопасности для Советов был захват половины Польши, балтийских государств, Финляндии и Бессарабии. Гитлер был согласен при условии, что получит передышку. Подобно Черчиллю, Сталин был готов заключить сделку с дьяволом, чтобы защитить свою империю. Чемберлен, Даладье и сторонники политики умиротворения не были к этому готовы. Они в большей мере руководствовались идеологией в геополитике, чем фашистский или коммунистический режим (Parker 1993: 347, 364–345). Геополитика империалистического реалиста Черчилля была иной. Когда Гитлер напал на Советский Союз, он сказал: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин» (Colville 1985: 480).

ВОЙНА: ПОРАЖЕНИЕ ФРАНЦИИ

Большинство предполагало, что Вторая мировая война на Западе последует тому же патовому образцу, что и Первая мировая, но все пошло иначе. Франция потерпела стремительное поражение. Ее приготовления к долгой войне пошли прахом, и практически то же самое произошло с Британией. Вопрос о том, почему во Второй мировой войне в отличие от первой Франция потерпела такое быстрое поражение, вызвал множество отчаянных споров во Франции. Многие годы историки искали достаточно основательные причины для столь основательного поражения: французское общество было декадентским, расколотым, в состоянии упадка (недавнюю версию этой позиции см. в Ferguson 2006), но теперь в свете возникшего ревизионизма доминируют другие воззрения. Необходимо отличать первоначальное военное поражение Франции от политического коллапса, последовавшего за ним.

К 1940 г. Франция выглядела сильной в военном отношении. Она приступила к модернизации и увеличению армии с 1937 г. Ее армия была многочисленной и хорошо обученной, к тому же французские темпы производства танков и самолетов в 1939 г.

превосходили немецкие. У Франции было больше солдат, тяжелых танков и артиллерии; кроме того, французские танки имели броню толще, чем немецкие. Солидарность французского общества также возросла в последний мирный год. Никто из французских генералов не ожидал поражения, и никто из немецких генералов не ожидал легкой победы. В мае 1940 г. французские солдаты храбро сражались, когда ими умело командовали, и количество жертв с французской стороны, составлявшее от 50 до 90 тыс. человек, было большим для двух недель войны (May 2000: 7; Jackson 2003: 12–17, 161–173, 179–182). На самом деле вермахт не планировал блицкриг, или «молниеносную войну», хотя она и была им необходима, поскольку Германия пока не была готова для длительной войны. Лишь Гудериан и Ромель видели, что с танками можно достичь блицкрига, но только после первоначального пехотного прорыва, поскольку танки не могут с легкостью прорваться через хорошо подготовленные оборонительные сооружения.

Исход кампании был решен за пять дней — 10–14 мая, когда пять немецких панцер-дивизионов пересекли предположительно непреодолимые и слабо охраняемые арденнские холмы и леса, застав французов врасплох. Эта неожиданность была основной причиной победы, и достигнута она была благодаря удаче. Немецкое вторжение первоначально планировалось на конец осени 1939 г., а затем было отложено. В январе 1940 г. планы вторжения были найдены в потерпевшем крушение в Бельгии немецком самолете и были переданы французам. Они предполагали атаку вермахта через Бельгию на равнины самой северной части Франции. Именно этого ожидали французы, они также готовили удар в Бельгии и Германии. Поэтому французы отправили туда свои лучшие силы и большинство резервов. Элитные силы обеих армий должны были столкнуться лоб в лоб. Рассчитывая на поддержку британских, бельгийских и, возможно, голландских сил французы считали, что у них есть хорошие шансы на успех. Того же мнения придерживались большинство немецких генералов, которые вовсе не хотели сражаться в этой кампании. Когда высшее немецкое командование осознало, что имела место утечка информации, они передвинули линию нападения дальше на юго-восток, в Арденны, а также атаковали на севере через Голландию и Бельгию, но это был отвлекающий маневр.

В Арденнах элитные части вермахта столкнулись с посредственными французскими силами — девятой армией генерала Корапа, оставшейся практически без резервов. Корап жаловался на «неряшливое» состояние своих солдат в течение нескольких месяцев, но для высшего командования его сектор был не-

приоритетным (Jackson 2003: 160). Только там французские силы уступали по количеству танков. Французский генерал, отвечавший за сектор, расположенный восточнее, мог отправить подкрепление, но не сделал этого, поскольку поверил фальшивке Геббельса об атаке через Швейцарию. Это была поразительная неспособность задействовать разведку для сбора информации со стороны высшего французского командования, которое игнорировало отчеты о наращивании немецких сил в регионе. Затем провал разведки был усугублен, поскольку французы и британцы продолжали верить, что нападение в Арденнах было лишь маневром, чтобы отвлечь войска от Бельгии. Только спустя четыре дня, после критического прорыва немцев через реку Маас у Седана, они с ужасом осознали, что это была настоящая линия атаки.

На Маасе удача улыбалась немцам дважды. Первая переправа была осуществлена ночью через несколько шлюзов и островов, экология которых создавала слепые зоны для французов. Эта переправа стала результатом изобретательности одного пехотного подразделения, прикрепленного к танковой дивизии. Вторая и главная переправа была осуществлена танками по двум понтонным мостам, которые неточная бомбардировка союзников не смогла повредить. Обе они были отчасти случайными, отчасти следствием поворотных моментов, которые часто случаются в разгар войны. Наблюдавший за этим генерал Гудериан комментировал: «Успех нашей атаки поразил меня, почти как чудо». Затем в ожесточенной решающей битве 13–14 мая при Седане столкнулись элитные германские войска и потрепанные части генерала Коррапа. Некоторые французские подразделения бежали, другие исправно, но тщетно сражались. Это была «катастрофа при Седане», как в 1870 г. (May 2000: часть V, цит. по с. 414; Jackson 2003: 161–173).

Премьер-министр Рейно 15 мая просто сказал Черчиллю: «Мы разбиты». В тот же самый день Гудериан отдал своим танкам приказ двигаться на запад к морю. Они столкнулись с небольшими отрядами союзников и отрезали основные французские армии на севере. Незамедлительная англо-французская контратака в южном направлении с целью отрезать линии коммуникации немецких танковых войск могла стать достойным ответом, к которому призывали офицеры союзных войск. Британская танковая дивизия начала двигаться на юг и одержала победу при Аррасе, перед тем как остановиться. Однако принятие решений союзниками было медленным (немцы рассчитывали на это в своем Арденнском плане), к тому же ответ задерживался из-за замены генерала Гамелена на посту верховного главнокомандующего. Сменившему его генералу Вейгану потре-

бовалось несколько дней, чтобы войти в курс дела, но было уже слишком поздно.

Самой большой проблемой Гудериана и Роммеля теперь было убедить Гитлера в том, что скорость — это все. На пути к морю они дважды останавливались из-за его осторожности, но к 20 мая достигли его берегов. Битва за Францию была по сути окончена через десять дней после ее начала. Французские и британские силы были отрезаны на севере и отступали по направлению к северному французскому побережью. Генерал Горт сначала планировал эвакуировать британских солдат 19 мая. Благодаря гитлеровским задержкам, ошибочной уверенности Геринга в том, что люфтваффе покончит с британскими экспедиционными силами, и ожесточенному французскому сопротивлению в Лилле эвакуация началась с 28 мая. Четыре пятых британского экспедиционного корпуса — 224 тыс. человек плюс 11 тыс. французских и бельгийских солдат были эвакуированы из Дюнкерка в Англию на флотилии из небольших судов, что было примечательным достижением. Они остались жить, чтобы сражаться дальше. Бельгийские силы сдались 28 мая; Париж был оккупирован 14 июня; Франция капитулировала 25 июня.

Это была победа на поле боя, базировавшаяся исключительно на отношениях военной власти, а не победа одного общества в целом над другим. Победа была достигнута прежде всего в результате неожиданной атаки, которой способствовали крупный промах французской разведки и дважды улыбнувшаяся немцам удача. Однако она была использована в результате характерных для немцев преимуществ на поле боя. Гудериан и Роммель выделялись среди других командиров, но структура была такова, что немецкие полевые командиры могли корректировать приказы сверху и принимать собственные решения в соответствии с ситуацией на местах. Такое случалось даже ниже вплоть до уровня взвода, как в ситуации на Маасе, что способствовало динамизму немецкого наступления и делало более дорогостоящей тяжеловесную структуру командования союзников. Слабая координация между французскими, британскими и бельгийскими силами только мешала. Французский промах следует определить как результат слабости разведки и коммуникаций. Как позднее признался генерал Гамелен: «У нас не было предварительной информации о том, где и как станут атаковать немцы» (May 2000; Jackson 2003: 39–46; Frieser 2005).

Любая общая слабость французского общества или политики была по большому счету нерелевантной по отношению к майским дням 1940 г. Можно множить число контрфактических рассуждений. Если бы эффект неожиданности не был до-

стигнут, возникла бы снова патовая ситуация, достаточно долго продолжавшаяся, чтобы Британия достигла превосходства в воздухе и вновь переломила ситуацию в войне? Что если бы японцы не атаковали Перл-Харбор? Или если бы Сталин начал независимую ситуативно обусловленную атаку на Германию с востока, чтобы получить часть добычи? Кто знает? Удача в войне — самая случайная часть мирового развития, и сейчас она была на стороне Гитлера. Последствия этого побудили его напасть на Россию, Муссолини — на Грецию, японцев — разбомбить Перл-Харбор. Представления о том, что фашистские или близкие к фашистским режимы могут заменить нехватку материальных ресурсов боевой доблестью в блицкриге, отныне прочно укоренились. В результате война на Западе стала мировой войной, которая трансформировала мир.

Однако глубокая французская классовая и политическая слабость вышла на передний план в июне во время капитуляции и ее последствий. Французское правительство могло отступить за границу, взяв с собой флот, военно-воздушные силы и много тысяч солдат и, используя ресурсы колоний, продолжать сражаться вместе с Британией на других театрах военных действий. Гитлер боялся этого и предложил мягкие условия перемирия. Лишь немногие французские силы действительно бежали за границу, но не правительство или высшее командование армии или флота. У них не хватало воли к борьбе, как и у большинства элит (Jackson 2003: глава 3). Командование флота было особенно подвержено самодеструкции, отказавшись от все более отчаянных призывов Черчилля перевести корабли в британские или французские колониальные порты. Вместо этого оно дало ему туманные обещания, что в конечном итоге затопят свои корабли. Черчилль не мог пойти на риск, поверив, что все французские капитаны так поступят; в случае если бы французские корабли достались немцам, флот противника был бы сильнее Королевского флота, что было бы концом британской державы. Поэтому за считанные дни до того, как немцы захватили базовые порты французского средиземноморского флота, Черчилль отдал приказ атаковать французские корабли в гавани Мерс-эль-Кебир. Несколько крупных боевых кораблей Франции были потоплены с трагическими потерями, превывсившими тысячу французских матросов, убитых их же союзниками! Эта безжалостность привела в ужас французов, но впечатлила Рузвельта: теперь он знал, что Британия будет сражаться и будет полезным союзником. По иронии судьбы остальной французский флот был позднее затоплен его командованием.

Французский идеологический раскол теперь полностью вскрылся, и это вызывает сомнения относительно того, смог-

ла бы Франция выстоять в долгой войне, если бы майского фиаско не произошло. Как утверждает Имлей (Imlay 2003), развитие корпоративистского классового компромисса в Британии сделало страну способной к долгой коллективной борьбе, но этого не произошло во Франции. Хотя большинство французов поддерживали военные усилия в 1940 г., среди них не было никакого «священного единства», как в первой войне. Да и откуда ему было взяться, если совсем недавно, в ноябре 1938 г., Даладье отменил законы о труде, принятые в 1936 г. Народным фронтом и объявил вне закона большую часть коммунистической партии? Антисоциализм, антикоммунизм и протофашизм свирепствовали среди консерваторов, в Генеральном штабе, а также среди промышленников, которые также сопротивлялись государственному планированию производства вооружений. 16 мая, незадолго до того, как поражение стало очевидным, генерал Гамелен пытался переложить вину на других ложными заявлениями о том, что проникновение коммунистов в армию подрывало ее боевой дух. Другие обвиняли рабочих, производивших военное снаряжение, в саботаже французского военного производства. Сменивший Гамелена Вейган в последние дни войны был столь же обеспокоен призраком несуществующего коммунистического восстания в Париже (тени Парижской коммуны!), сколь и наступлением немцев (Berstein and Becker 1987: 371–388; Alexander 1992: главы 4, 5; Jackson 2001: 114–118).

Теперь французские консервативные лидеры возвели в ранг добродетели «не дезертирство», не оставление Франции. Когда почитаемый маршал Петен присоединился к этому хору голосов, этот аргумент победил. Вейган отказался позволить армии бежать за границу и стал министром внутренних дел в коллаборационистском режиме Виши Петена и Лавалля, которому тогда на верность присягнуло большинство консерваторов и др. Призывы колониальных губернаторов и генералов позволить им сражаться за границей были отвергнуты (Jackson 2001: 121–129). Услышав об этом, британцы без жалости потопили французский средиземноморский флот с большими потерями со стороны французов, чтобы избежать его захвата немцами. Когда французы осознали реальность поражения, участие в правительстве Виши и коллаборационизм с немцами приняли не только правые (в том числе и молодой Франсуа Миттеран). Большинство французов учились жить с немцами, и многие активно сотрудничали с ними. Первоначально правительство Виши было создано теми, кто видел в нем возможность восстановить Францию, лишенную идеалов 1789 г., — большинство реакционеров были не в состоянии понять, что Гитлер был чем-то совершенно иным. По иронии именно де Голль, как и Черчилль, сторон-

ник правых, понял необходимость национального единства поверх классовых линий и предложил неформальное «священное единство» социалистам и коммунистам, которое было скреплено в вооруженных силах Свободной Франции и Сопротивления.

ВЫЖИВАНИЕ БРИТАНИИ

Это был момент гибели французской державы и империи. У британской державы не было подобного единовременного момента гибели, это был процесс, растянутый на долгие годы, но первый и самый сильный удар пришелся именно на Вторую мировую войну. Британия всегда полагалась на баланс сил в континентальной Европе. При всей ее военной мощи, великой империи и передовой экономике (уровень жизни продолжал оставаться на треть выше, чем в Германии в 1930-х гг.), способности опираться на глобальные ресурсы англоговорящего мира безопасность Британских островов по-прежнему зависела от этого баланса сил. Тем не менее в 1939 г. Советы заключили пакт с Гитлером, а в 1940 г. Германия захватила Францию и оккупировала порты Ла-Манша. Британия впервые осталась одна в смертельной опасности. Империя и независимая Британия могли прекратить свое существование.

Черчилль одержал верх над теми, кто хотел заключить с Гитлером соглашение, хотя сам он рассматривал этот вариант как кратковременный. Именно в этом вопросе ревизионистские историки наиболее убедительны, поскольку Гитлер был в большей мере сфокусирован на агрессии на востоке и мог оставить Британию и ее империю в покое... по крайней мере ненадолго. Однако я сомневаюсь, что Гитлер чувствовал себя в безопасности с перевооружавшейся морской и имперской державой у своих западных границ. Единственным результатом надвигавшейся войны на Востоке, который бы пошел на пользу Британии, могло стать патовое положение, ослабившее и германский рейх, и Советский Союз.

Британия действительно стояла до конца: она по-прежнему была великой державой. Военно-воздушные силы двух стран были практически равными, и британским истребителям едва удалось победить в битве за Британию летом и осенью 1940 г., чему способствовал тактический просчет немцев — переключение бомбардировок с аэропортов на города. Эта победа сорвала немецкое вторжение; поражение гарантировало бы вторжение, а британская армия не была достаточно подготовлена, чтобы долго сопротивляться. Но после битвы за Британию немецкие десантные суда, пересекавшие Ла-Манш, были бы легкой мише-

нию для Королевских ВВС, к тому же Япония уже продемонстрировала в Перл-Харборе и Сингапуре, какой невероятный урон могут нанести самолеты военным кораблям, у которых нет самолетов для прикрытия. Для Гитлера его военные приготовления были направлены преимущественно на то, чтобы усадить британцев за стол переговоров. На тот момент Британия не была его главной целью. Неожиданно для него она не пошла на соглашение, и битва за Британию стала первым поражением, которое он потерпел. Затем британские вооруженные силы оправались после первых поражений в Греции и Северной Африке, смогли защитить Ближний Восток и достичь колеблющейся патовой ситуации в Северной Африке при поддержке американцев. Битва за Атлантику также велась практически равными по силе флотами — немецкие подводные лодки почти перекрыли основные британские пути поставок. Удача в этой битве никак не склонялась на сторону союзников до мая 1943 г., после того как к этой битве присоединились Соединенные Штаты. Для Британии все могло быть гораздо хуже: если бы Соединенные Штаты продолжили соблюдать нейтралитет, британская блокадная стратегия обернулась бы против самой Британии, поскольку немецкие подводные лодки были способны отрезать британские линии коммуникации от всего англоговорящего мира. Тогда Британия сама оказалась бы в блокаде.

У Британии были преимущества. За исключением подводных лодок, ее военно-морские силы превосходили противника, ее самолеты были лучше дислоцированы, она могла продолжать черпать ресурсы империи (призвав 2,5 млн индийцев в свою армию), благодаря развитым технологиям был разработан и усовершенствован радар, а изобретательность разведки проявилась в том, что, взломав германские военные коды «Энигмы», ей удавалось сохранять это в тайне. В дополнение к этим ресурсам следует отметить высокий боевой дух британцев, хотя имела место критика в адрес «старой банды» ведущих войну политиканов, которые проводят двойственную политику и медленно мобилизуются. Они стали сговорчивее, когда Черчилль подчинил свой империализм популистской защите нации. Большинство восхищалось воинственной риторикой Черчилля и ощущало, что он выражает их собственные чувства. Несмотря на периодические жалобы, британцы были готовы жертвовать всем ради окончательной победы, в которой мало кто сомневался. Они верили, что происходит сражение демократии против фашизма, хотя это обычно выражалось менее абстрактно. В своих дневниках участники проекта «Массовое наблюдение» (дающего наилучшее понимание общественного мнения того времени) заявляли, что Британия означает для них нечто прозаичное, даже

клишированное — сельская местность, деревни, ощущение мягкого порядка и «легкая терпимость и хороший юмор» народа, свидетельство того, что чувство общности переполняло людей. Эти аспекты «банального национализма» стоили того, чтобы их защищать. Они не исключали забастовок, поскольку их уровень оставался высоким. Они также не исключали феминистских протестов против дискриминации, включая фрустрацию женщин, обслуживавших противоздушные батареи, в связи с тем, что им не было разрешено стрелять из пушек. В Британии было гораздо меньше страха перед выражением недовольства и гораздо меньше высокопарной националистической риторики или ура-патриотизма, чем в Германии и Италии (Maskau 2002: 253; Addison 1975). Недавно опубликованные отчеты Управления внутренней разведки, которое посылало агентов подслушивать, что говорили люди, демонстрируют, что они не доверяли «пропаганде» Би-би-си, которая произносилась с характерным акцентом высшего класса, напоминавшим о «старой банде» элиты, которая и привела страну к кризису. Эти отчеты также свидетельствовали о том, что представители рабочего класса были чаще готовы идти на жертвы ради войны, чем средние классы, и что классовое недовольство из-за этого нарастало. Когда пропаганда уговаривала их затянуть пояса, они говорили: «Виновата высокопоставленная публика, а не мы, работяги, мы не паникуем, а вот они, полагаю, да» (Addison and Crang 2010). Патриотизм шел рука об руку с зарождавшимся социализмом и феминизмом. Боевой дух Америки был другим, поскольку континент никогда не подвергался атакам. Я анализирую это в томе 4.

Черчилль, наученный опытом Первой мировой войны и полностью осознававший отчаянное положение Британии, признавал необходимость популистской военной стратегии, мобилизации женского труда и введения Лейбористской партии и лидеров профсоюзов в правительство. Затем лейбористы четко заявили, что ценой народных жертв должны стать прогрессивные реформы, усиливающие права социального гражданства. Эрнст Бевин, профсоюзный лидер и новый британский министр иностранных дел, вставил в заявление Черчилля и Рузвельта о целях войны в 1941 г. в Пласентия Бей пункт, предусматривавший «улучшение нормативных условий труда, экономического развития и социального обеспечения для всех». Лейбористские министры руководили большей частью внутренней политики, которую Черчилль рассматривал как менее важную, и это обеспечило реальное проведение реформ. Они поручили Уильяму Бевериджу написать его знаменитый отчет о социальном обеспечении. В декабре 1942 г. Беверидж предложил, чтобы в обмен на еженедельный взнос, взимаемый по плоской шкале, в рам-

ках универсального права гражданства всем предоставлялись пособия по болезни, инвалидности, безработице, старости, материнству, сиротству и вдовству — то, что он назвал всеобъемлющим государством всеобщего благосостояния «от колыбели до могилы». Его отчет был чрезвычайно популярным. Опрос общественного мнения Гэллапа продемонстрировал, что 86% респондентов высказались за воплощение его в жизнь. Лейбористская партия, а также прогрессивная группа тори одобрили его. Черчилль не сделал этого, но затем, пристыженный, был вынужден выразить неопределенную поддержку. Было создано Министерство реконструкции, и официальные Белые книги одобрили предложения Бевериджа по социальному страхованию, но остались более неопределенными по вопросам Национальной службы здравоохранения и полной занятости. К 1943 г. опросы общественного мнения показывали, что большинство мужчин и женщин ожидали, что за победой в войне последуют значительные улучшения в их жизни (Маскау 2002: глава 6). Социальное гражданство было британской секулярной версией «священного единства».

Соединенные Штаты начали перевооружение в 1939 г. и ускорили его после немецкого прорыва у Седана. После победы британцев в битве за Британию Рузвельт и его советники признали, что Британии стоит помочь, но не объявляя войну. Поскольку Британия платила за все, что получала от Соединенных Штатов, ее долларовые и золотые резервы угрожающе истощались. Британский посол в Вашингтоне лорд Лотиан встретил журналистов в Нью-Йорке жизнерадостным приветствием: «Так, ребята, Британия разорена, нам нужны ваши деньги». Закон о нейтралитете, по-прежнему поддерживаемый большинством в Конгрессе и общественным мнением, препятствовал прямой американской помощи воюющим иностранным государствам, но посредством торговых и лизинговых соглашений это можно было обойти. Обмен старых американских эсминцев на предоставление США доступа к британским базам в Карибском море был осуществлен в октябре 1940 г. Британцы почти не получили материальной выгоды от этой сделки, но они создали прецедент, который постепенно преодолевал нейтралитет США. За этим последовала программа ленд-лиза в марте 1941 г., которая была идеей Рузвельта и поражением изоляционистского лобби. Рузвельт оправдывал ее в передачах по радио «Беседы у камина», сказав: «Если Великобритания не выстоит, страны Оси будут контролировать Европу, Азию, Африку, Австралийско-Тихоокеанский регион, а также открытые морские пространства. Они будут в состоянии бросить на наше полушарие мощные армии и военно-морские силы». Он вновь отрицал

какие-либо намерения посылать армии в Европу, добавив: «Мы должны быть военным арсеналом для всей мировой демократии». Шестьдесят процентов его слушателей заявили, что они согласны. Ястребы администрации Рузвельта Стимсон, Нокс, адмирал Старк и Моргентхау поддержали вступление в войну на стороне Британии, но Рузвельт знал, что ни Конгресс, ни общественное мнение пока его не одобряют.

Выросшая торговля с Британией привела к увеличению военного присутствия США в Атлантике для защиты своего судоходства. Была серия инцидентов, в которых немецкие субмарины топили американские торговые суда. Когда Рузвельт убедился в необходимости вступления в войну, он использовал эти факты для того, чтобы подтолкнуть общественное мнение к войне. Американская морская пехота оккупировала Исландию в июле 1941 г. Общественное мнение поддержало этот шаг, так же как оно поддерживало отправку помощи Британии, но продолжало возражать против отправки на войну американских солдат. Рузвельт по-прежнему не рисковал давить на Конгресс, хотя в частном порядке сказал Черчиллю, что «он будет вести войну, но не объявлять ее и что он будет все более и более дерзким. Он будет искать инцидента, который оправдает начало боевых действий». Однако задержка устраивала США при условии, что Британия не терпит поражения, поскольку Америка тем временем наращивала военную мощь (I. Kershaw 2007: главы 5, 7). В конечном итоге Соединенные Штаты вступили в войну позже, в декабре. Рузвельт получил намного больше, чем инцидент, содействующий его планам. Он получил Перл-Харбор.

Безрассудство Гитлера и японцев дали Британии могущественных союзников, в которых она так нуждалась: Россию, атакованную Гитлером в июне 1941 г., и Соединенные Штаты, атакованные в Перл-Харборе в декабре. После этого роль Британии в войне сводилась к тому, чтобы просто сидеть в обороне и ждать, когда придут русские и американцы. Затем Британия стала оказывать помощь в бомбардировке Германии, в кампаниях в Северной Африке и Италии, а также предоставила базу, с которой можно было начать вторжение во Францию и открыть второй фронт. Соединенным Штатам было бы очень затруднительно вторгнуться в Европу без Британии, но Британия выжила, только заложив свои экономические активы Соединенным Штатам. Как заметил о Британской империи в 1945 г. премьер-министр Южной Африки Ян Сметс, «ее касса пуста». С империей было покончено, несмотря на победу. Тем не менее военные усилия Великобритании сделали ее более цивилизованным государством, как мы увидим в томе 4.

РЕШАЮЩИЙ ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Важнейшие битвы были еще впереди. Гитлер уже долгое время был помешан на борьбе с «жидобольшевизмом». 31 июля 1940 г. он сообщил своим шокированным генералам, что хочет вторгнуться в Советский Союз будущей весной, оставив на время свой план вторжения в Британию и сфокусировавшись на восточном направлении. Сначала он хотел получить нефть и устранить Британию из Средиземноморья и Ближнего Востока. Итальянцы оказались неэффективными союзниками, поэтому немецкие войска были отправлены в Грецию и на средиземноморские острова. Роммель первоначально успешно действовал в Северной Африке, хотя его рывок не был поддержан и британцы удержались там и на Ближнем Востоке. Тем не менее Гитлер рассматривал эти кампании как диверсии; на самом деле он смотрел прямо на восток.

Увеличение немецкого давления на Балканах, в Румынии и Болгарии привело к напряженности в отношениях с Советами. Внешней политикой Сталина была не мировая революция, а продолжение политики царизма — обеспечение большего доступа к Балтийскому и Черному морям. В этот момент одно из направлений внешней политики СССР было направлено на то, чтобы Британия признала захват трех маленьких балтийских государств, вошедших в состав Советского Союза согласно заключенному с Гитлером пакту о ненападении, и на стабилизацию дружественных режимов в Болгарии и Румынии. Сталин был обеспокоен отказом Британии признать балтийские приобретения и ее ухаживанием за Турцией, которая могла помешать российскому господству на Черном море. Он также беспокоился по поводу гитлеровского экспансионизма (Gorodetsky 1999: 316).

Таким образом, Сталин мыслил в категориях реалистической геополитики и исходил из того, что Гитлер и Черчилль рассуждают подобным образом. Это было верно по отношению к Черчиллю, но ни Сталин, ни Черчилль не предполагали, что Гитлер развяжет войну на два фронта, напав на Советский Союз до того, как покончит с Британией. На самом деле Черчилль предполагал, что Гитлер и Сталин ведут переговоры по поводу укрепления взаимоотношений и сначала воспринимал гитлеровское наращивание сил на востоке как давление на Сталина, чтобы заключить с ним соглашение. Со своей стороны Сталин был уверен, что Британия относится к нему так же враждебно, как и к Германии, и поставляет ему разведданные о гитлеровских агрессивных намерениях с целью спровоцировать войну

с Германией (он был прав, но права была и британская разведка). Сталин стал осторожным. Зная о столкновении интересов с Гитлером относительно Румынии и Балкан, он изо всех сил старался не спровоцировать его. Он обозначил намерение России защищать свои интересы, послав солдат на границу с Румынией, что взбесило Гитлера, который ожидал, что соседи не станут ничего предпринимать. Сталин был доволен тем, что Германия и Британия сражаются друг с другом, и не намеревался вмешиваться.

Однако он не понимал Гитлера, который был значительно более идеологичным и эмоциональным человеком, верившим в короткие войны. Гитлер был потрясен в 1939 г., когда Британия и Франция объявили ему войну, но, достигнув ошеломительного успеха во Франции, восстановил свою уверенность. Теперь он был убежденным сторонником блицкрига. Он осознал, что Германия близка к пределу своих военных производственных возможностей, но Британия, Россия и Америка, которая, как он считал, в конце концов присоединится к войне, по-прежнему их наращивали. Экономическое отставание Германии могло только усугубиться с течением времени. Его давление с целью ускорения перевооружения создавало узкие места, которые можно было преодолеть при помощи сырья и продовольственных товаров, вывезенных из завоеванных стран (Evans 2006: 370). Поскольку он также хотел «жизненного пространства» для немецких колонистов, он пошел на риск большой войны против Советского Союза — лучше сразиться с ним сейчас, чем потом. Он презирал славян и коммунистов и был убежден, что вермахт сможет прорваться через советскую оборону и разрушить приходивший в упадок непопулярный режим. Любопытно, что он не предпринял никаких усилий, чтобы добиться нападения японцев на Советский Союз с востока. Японское руководство было оскорблено гитлеровским пактом 1939 г. со Сталиным и с тех пор разворачивалось в южном направлении (в Тихом океане), а не в северном, что создало бы угрозу Советскому Союзу. Но Гитлер никогда не был хорошим союзником, как и страны Оси. Более того, Гитлеру, как ни странно, Советы казались более легкой целью, чем Британия. Лучше покончить с Россией и затем использовать ресурсы большей части Европы, для того чтобы атаковать Британию. Это было его решение. Последнее заседание кабинета министров Третьего рейха состоялось в начале 1938 г., и с этого момента основные решения стал принимать Гитлер. Любое воздействие необходимо было оказывать на него лично, но его генералы, хотя и выражали опасения, всерьез ему не сопротивлялись (Tooze 2006: 460; I. Kershaw 2007: глава 2). План «Барбаросса» был его крупнейшей ошибкой.

Не только Германия сомневалась в устойчивости Советов. Военное министерство США доносило президенту, что Гитлер завоюет Советский Союз в срок от одного до трех месяцев; британские военачальники говорили о шести неделях (Kershaw 2007: 298–299). Сталинские чистки со всей очевидностью демонстрировали, что его режим сплочен только террором, и офицер в 1941 г. исполнял обязанности командира на два воинских звания выше, чем мог позволить ему воинский опыт. Это была тяжелая рана, нанесенная режимом Сталина самому себе (Glantz 1998: 27–31). Гитлер верил в то, что мобилизовал великую идеологическую силу: боевой дух *расы господ* (*Herrenvolk*) должен был одержать верх над большевизированными славянскими *недочеловеками* (*Untermenschen*) в финальной схватке с «еврейско-большевистским заговором» (Overly 1999: 206; Megargee 2006). Нетерпеливый и слишком самоуверенный, он предпринял решительное наступление — операцию «Барбаросса».

В ноябре Гитлер решил приступить к осуществлению плана «Барбаросса», когда ему стало ясно, что Сталин не собирается сдаваться без боя на Балканах. Поскольку вторжение должно было быть массированным, приготовления заняли больше шести месяцев, вплоть до 22 июня 1941 г., и были столь масштабными, что стали очевидными для всех разведывательных служб, а также для поляков в Варшаве, которые наблюдали, как немецкие танки и грузовики грохотали по улицам города в течение десяти дней. Советская разведка обладала точными данными о подготовке и правильно поняла намерения Гитлера. Однако то, что в итоге сообщалось Сталину, отличалось уклончивыми формулировками. Никто не хотел сообщать Сталину, что он был абсолютно не прав (Gorodetsky 1999: 130, 187; Murphy 2006: 215, 250); иногда Сталин убивал тех, кто с ним не соглашался. Ему объяснили переброску солдат как, вероятно, предназначенную для удара в южном направлении на Балканы. За десять дней до вторжения он сделал выговор маршалу Жукову, его начальнику штаба, которой рискнул уже трижды рекомендовать упреждающий удар со словами: «Гитлер не настолько спятил», чтобы открыть «второй фронт, напад на Советский Союз» (Gorodetsky 1999: 279; Glantz 1998). Но Гитлер спятил именно настолько, и то же можно было сказать о Сталине. Ни у кого Сталин обычно не ассоциируется с наивным доверчивым человеком, но он почти разрушил свой режим и свою страну и погубил сотни тысяч человеческих жизней. Со вступлением в войну Японии это было противостояние фашистского и ооколофашистского деспотизма против несвященного, но прагматического союза капиталистической демократии и коммунистического деспотизма.

Гитлеру практически удался блицкриг. Если бы он смог свергнуть коммунистический режим, он получил бы в свое распоряжение огромные российские ресурсы. Затем американцы могли прийти к соглашению с ним, пожертвовав британцами. Поскольку первоначальный успех операции «Барбаросса» стимулировал японцев атаковать Перл-Харбор, американцы были вынуждены защищаться в Тихом океане. Результат был бы тем же: поражение Японии и американская империя по всему Тихому океану. После Перл-Харбора Гитлер объявил войну Соединенным Штатам, поскольку хотел использовать свои подводные лодки против атлантических морских перевозок без всяких ограничений — еще одна попытка короткой войны, блицкрига. Если бы вступление Соединенных Штатов в войну против Германии было отложено, результат был бы, вероятно, таким же, хотя в этом случае война могла бы закончиться сбросом атомных бомб на Германию. В противном случае, если бы гитлеровский режим также разработал атомное оружие, могла бы сложиться глобальная патовая ситуация между Германией и Соединенными Штатами. Это очень спекулятивные контрфактические рассуждения, но, если бы операция «Барбаросса» возымела успех, мир был бы другим.

Гитлеровское нападение не было сюрпризом для советского Генерального штаба, но Сталин воспрепятствовал действиям по развертыванию войск против Германии, к тому же войска были на полпути к крупной реорганизации. Вермахт, действовавший на более широком фронте, чем считали разумным большинство военных стратегов, прорвался через две первые оборонительные линии русских, взяв Минск и Киев в июле и нанеся русским огромные потери. После двух недель Гитлер и его генерал Гальдер были убеждены, что кампания выиграна. Потери русских были в численном отношении эквивалентны 229 дивизиям, было уничтожено большинство саперных батальонов, самолетов и танков. В 1941 г. немцы, по убеждению их разведки, сокрушили всю советскую военную мощь, но это было не так. У русских были еще две оборонительные линии, и они оказывали сопротивление или отступали в полном боевом порядке, после того как Сталин отменил свой приказ «Ни шагу назад». Хотя Сталин действительно допустил в 1941 г. чудовищную ошибку, до этого он создал мощную военную базу, увеличив расходы на оборону начиная с середины 1930-х гг., поскольку угроза со стороны Германии, Японии и Британии, как представлялось, росла. Его ошибкой была культивация слишком большой секретности. Скрывая от врагов, насколько грозная его военная машина, он тем самым не обладал возможностью ее сдерживать (Samuelson 2000).

Немецкая группа армий «Центр» могла осуществить более решительное наступление на Москву в середине октября 1941 г., не отвлекаясь на Киев, как раз тогда, когда Сталин рассматривал возможность просить о мире или отступить дальше на восток. Однако немцев остановили под Москвой, и решимость Сталина окрепла. Летом вермахт повернул на юг, нацелившись на кавказские нефтяные поля и блокирование Волги в районе Сталинграда. Советы быстро учились и провели реформы, включая сокращение политического контроля над войсками. Сталин оставил войну в большей мере в ведении генералов и вывел большинство партийных комиссаров из армии. Прежде всего советское промышленное чудо компенсировало потери в невероятно короткие сроки (Glantz 1998: 127, 141, 165, 188; Overу 1996: 4; Tooze 2006: 588–589).

Советский государственный социализм доказал свою высокую эффективность в войне. Он получал больше военной продукции из данных экономических вложений, чем нацисты. С меньшим количеством железа и угля он производил больше вооружений. Территория под советским контролем стала, как говорил Сталин, «единым военным лагерем», и командная экономика лучше, чем капиталистические экономики, распоряжалась ресурсами для единственной цели — наращивания военного производства. Соединенные Штаты достигли феноменального наращивания военного производства при помощи гораздо больших вложений в более развитую в техническом отношении экономику. Обе страны наладили массовое производство больших партий относительно немногочисленных видов оружия. Напротив, Германия застряла с высококачественным квалифицированным мастерством и технологической сложностью, создавая очень хорошее, но дорогое оружие. В результате массовое производство одолело серийное производство; количество взяло верх над качеством (Overу 1996: 182–207). Германии, несмотря на свою внешнюю тоталитарность, было нелегко совмещать фашизм с капитализмом, и гитлеровская стратегия налагала на них невыполнимые требования. Рассчитывая на короткую войну в России, Гитлер не фокусировался на перевооружении к операции «Барбаросса», но наращивал ресурсы для войны с Британией, а также для следующей кампании против Соединенных Штатов, которую он считал неизбежной. Таким образом, у него было недостаточно военных ресурсов для броска на восток в 1942 г., учитывая упорство Советов. К 1943 г. немецкое военное производство конкурировало с советским, но к тому времени Германия столкнулась с непрекращавшимися англо-американскими бомбардировками. Немецкое производство оружия стало более эффективным, но недостаточным

для ведения кампании на два фронта, которую Гитлер развязал на свою голову (Тоозе 2006; Крюегер 2003: 1).

Нацистской Германии не помогла расистская жестокость вермахта и СС против советских граждан, особенно нерусских меньшинств, которые могли стать его союзниками. И вновь способность заводить друзей не была сильной стороной Гитлера. Империю снова подорвал расизм. Зверства, учиненные против поляков в 1939 г., были стадией в их эскалации. В армии, еще не насквозь пропитанной нацистской идеологией, слышался ропот. В этой кампании евреи были всего лишь вторичной целью после польской элиты (Rossino 2003). Затем вплоть до конца 1941 г. холокост против евреев и геноцид цыган были учинены СС и немецкими полицейскими подразделениями, офицеры и унтер-офицеры которых были либо эссовцами, либо членами нацистской партии и «организационная культура» которых стала геноцидальной (Westermann 2005; ср. Mann 2005: главы 8, 9). Начиная с 1942 г. вермахт сотрудничал и часто участвовал в чистках против евреев и славян.

Но теперь это была с ног до головы гитлеровская армия. Гитлер оттеснял высших офицеров, которых считал ненадежными. Каждый второй офицер был членом нацистской партии. Солдатские дневники демонстрируют глубокий расизм, бездумное деление между расой господ и «недолюдьми» — евреями, цыганами и славянами. Господствовали биологические и биометрические модели. О славянах говорили, что они «заражены» большевизмом. Немецкая политика заключалась в том, что солдаты должны «жить с земли», что означало добывать себе пищу силой. Дневники немецких солдат отражают их веру в «жизненное пространство», включая чистки коренного населения, чтобы немцы могли его заселить и колонизировать. Администрация оккупированной Украины считала себя легитимно связанной с европейской историей завоеваний и правления, часто сравнивая свое правление с британским правлением в Индии. Разумеется, не могло быть «цивилизаторской миссии» среди «недолюдей»-славян, но они отмечали, что так было и в белых поселенческих колониях (Lower 2005: 3–21). Имперские модели все еще жили.

Немецкому планированию необходим был Восток, чтобы поставлять продовольствие в Германию. Славянские рабы должны были производить его, и более полумиллиона славянских рабочих было угнано в Германию. Оставшиеся славяне должны были быть уничтожены, чтобы освободить пространство для немецких поселенцев. На Украине проводилась целенаправленная политика уморения голодом через иерархические пищевые цепочки с немецкими боевыми частями наверху, ниже — тыло-

выми частями, затем немецкими гражданами, далее иностранными рабочими и, если что-то после этого оставалось, советскими гражданами. Немцы заморили голодом 2 млн советских военнопленных, а также «излишние» украинские города, запрещая внешние поставки продовольствия, закрывая рынки и расстреливая людей, прятавших продовольствие. Население Киева сократилось с 840 тыс. человек в июле 1941 г. до 220 тыс. к декабрю 1943 г. Облавы с целью угона рабов в Германию были жестокими и произвольными (Berkhoff 2004: 186, 317). Советы обращались со своими военнопленными ненамного лучше, и когда советские солдаты и партизанские отряды отвечали жестокостью в обращении с пленными, разъяренные немецкие солдаты убивали все местное население, обвиняя их в том, что они партизаны. Это был единственный способ, которым недостаточно обученные, испытывавшие нехватку личного состава тыловые подразделения могли, по их мнению, контролировать захваченные регионы, подкрепляясь почти бездумным расизмом и войной на уничтожение (Bartov 1985; Fritz 1995; Kay 2006; Megargee 2006; Umbreit 2003; Snyder 2010).

Столь свирепый расизм был самоубийственным, что было положительным моментом ужасной кампании, в которой соединились два величайших бедствия современности — смертоносные этнические чистки и война на уничтожение. Украинцы, которые первоначально приветствовали вермахт как освободителя от сталинизма, включились в партизанскую войну против немцев и затем уже приветствовали возвращение Красной армии, в которой они видели (как говорил молодой Хрущев, который служил в армии) своих (Berkhoff 2004: 304). Что бы советские граждане ни думали о Сталине, они знали, что Гитлер хуже, и потому защищали себя, страну и советский режим. Они жертвовали собой на заводах, работая по 12–16 часов в день (это был единственный способ получить продукты). В отличие от Германии женщины несли такое же тяжелое бремя. Более половины рабочей силы и довольно большое число солдат к концу войны составляли женщины. Советские солдаты мирились с огромными потерями, в то же время поддерживая патриотический боевой дух и фанатичную ненависть к врагу, необходимую для победы. Модсли (Mawdsley 2005: 399) заключает: «И национализм, и социализм были жизненно необходимы для стабильности и выживания сталинской системы». Кроме того, Соединенные Штаты и Британия поставляли значительную часть продовольствия и сырья для советской военной системы, что, вероятно, было еще одной составляющей советской устойчивости.

Когда русские контратаковали и окружили вермахт под Сталинградом в январе 1943 г., немецкое наступление остано-

вилось. Немецкая группа армий «Юг» могла использовать свои преимущества для ведения маневренной войны, вместо того чтобы оказаться в ловушке и нести значительные потери под Сталинградом. Русские генералы научились извлекать преимущество из численного превосходства в людском составе и технике посредством «основных принципов использования общевойсковых формирований» для окружения и глубокого боя. Это было продемонстрировано под Курском в течение девяти дней июля 1943 г. в ходе крупнейшего в истории сухопутного сражения, в котором русские и немцы сражались за обладание железнодорожным узлом в 800 километрах к югу от Москвы. Обе стороны задействовали огромные силы, включая большую часть своих танков. Немцы перебросили свои силы для атаки из Франции, Жуков установил восемь оборонительных линий для защиты выступа, который занимал. Это был «глубокий бой». На территории 190 километров в ширину и 120 километров в длину Советы бросили в бой 1,3 млн человек и 3444 танка, у немцев было 900 тыс. человек и 2700 танков. Это был ужасный опыт для солдат. Под непрекращающейся советской бомбежкой, писал один немецкий пехотинец, «немецкие солдаты замерли от страха, временами неспособные пошевелиться или даже кричать, временами издавая вой, как животные, в то же время отчаянно пытаясь зарыться глубже, чтобы избежать ужаса, хватаясь друг за друга, как дети. Тех, кто выглядывал, отбрасывало назад в укрытие измельченными на куски» (Dunn 1997: 190). И все же немцы наступали с новейшими танками «Тигр» и самоходно-артиллерийскими установками «Фердинанд». Русские противостояли, используя множественные линии огневых позиций, чтобы оказаться позади наступающих «Тигров», где их броня была самой тонкой. Уступавшие им советские танки средней тяжести Т-34 отправлялись на самоубийственные задания, врезаясь в «Тигры», взрывая танки вместе с экипажами. К 13 июля немцы продвинулись ненамного, и Гитлер знал, что у него нет ресурсов для продолжения боев в таком масштабе. Он стал переправлять людей в Италию, чтобы справиться с англо-американским вторжением. В последующих битвах под Харьковом и Белгородом погибло еще больше немцев. Советское наступление теперь было медленным, но неумолимым, хотя немцы не были сломлены.

Восточный фронт был тем местом, где непобедимость вермахта была подорвана и выяснилось, что Германия уступает по общему числу ресурсов — более 80% всех потерь немцы понесли именно там. Западные союзники были ответственны примерно за 20% из 3,5 млн погибших немецких солдат, Советы — за 80%. В 1944 г. на востоке по-прежнему сражались бо-

лее 100 немецких дивизий по сравнению с 15 немецкими дивизиями во Франции (сражавшимися с аналогичным количеством войск союзников). Всего в период 1941–1945 гг. советские войска уничтожили или вывели из строя около 600 дивизий стран Оси, и немцам не удалось восполнить свои потери. К примеру, в 1943 г. производство советских танков составило 27300 машин. Если вычесть их огромные потери в этом году, останется чистый прирост практически в 5 тыс. машин. Напротив, Германия смогла произвести только 10747 танков, и чистый прирост был меньше 2 тыс. машин. Германия делала ставку на короткую войну, и ей нужно было больше времени для подготовки к более продолжительной и тотальной войне. Только в 1944 г. вся экономика была поставлена на военные рельсы и были привезены 12 млн иностранных рабочих (фактически рабов). Немецкое производство военной техники теперь быстро увеличилось, но затем оно столкнулось с заработавшими на полную мощь советской и американской военными экономиками, производившими больше вооружения всех видов, чем немцы. Немецкие потери танков, самолетов, артиллерии и прочего оружия выросли настолько, что никакого чистого прироста не было (Muelle 2003; Overу 1996: 63–100, 321). Человеческие потери также возросли, однако никакого централизованного учета не велось; генералам приходилось сражаться за человеческие ресурсы с Альбертом Шпеером, отвечавшим за выпуск военной продукции. Использование рабского труда помогало, но требовало тщательного надзора. Гитлер и другие идеологи нацизма противостояли мобилизации немецких женщин, что было уникальным немецким недостатком, и вермахту пришлось расширить границы призывного возраста, для того чтобы брать пожилых мужчин и мальчиков (Kroener 2003). Но коммунизму удалось выдержать огромные страдания и спасти не только себя, но и капитализм.

ПОБЕДА

Как и во всех крупных войнах, в этой войне происходили тысячи столкновений между военными подразделениями, в которых отвага или удача могла склонить баланс театра военных действий в разные стороны. И все же закон больших чисел все больше и больше склонялся в пользу союзников. В войне соединенных родов войск победа требовала объединения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил на более чем одном фронте. Чтобы объяснить причины поражения Германии, нам, возможно, следует начать с объяснения, данного гитлеровским министром иностранных дел Риббентропом: неожи-

данное мощное сопротивление Красной Армии; огромные поставки американского оружия и успех военно-воздушных сил союзников. ВВП Британской империи был выше ВВП Германии и Италии вместе взятых, а на востоке Японию превосходили Соединенные Штаты. Если мы добавим к этому огромные ресурсы Соединенных Штатов и СССР, то ясно, что союзники могли вести войну на истощение, которая сломала страны Оси. Разумеется, вне и помимо материальных диспропорций была фашистская агрессия, которая полагалась на собственные ресурсы и нового человека для победы, пренебрегая важностью союзников, ставя милитаризм выше дипломатии. Эта агрессия была самоубийственной, поскольку в количественном отношении она значительно проигрывает. Величайшей слабостью фашизма была неспособность приобретать союзников, что явилось следствием его агрессивного национализма. Материальные ресурсы союзников были так велики только потому, что их было много. Германии, Италии и Японии в конечном итоге не хватило геополитической власти, что их и погубило.

Немцы испытывали перенапряжение сил, если союзники вели беспощадную войну на истощение. Сталин и Жуков были безжалостны даже по отношению к собственным солдатам, снова и снова посылая их через минные поля, расчищая ценой их гибели путь для последующих атак (Dunn 1997). Безжалостным было и затопление британцами французского флота и бомбардировки союзниками Германии и Японии зажигательными бомбами. Целые города стирались с лица земли, гражданское население гибло сотнями тысяч. Бомбардировка зажигательными бомбами Дрездена, Токио и множества более мелких городов и сброс атомной бомбы на Хиросиму и Нагасаки были военными преступлениями, как их обычно определяют, поскольку они были сознательно направлены на гражданские районы и не делали различий между заводами и жилыми домами. Все они были уничтожены огнем или радиоактивными осадками. Немецкий ефрейтор злился, описывая в письме домой «подлую ужасную атаку» на Дюссельдорф, в ходе которой «невинные немецкие мужчины, женщины и дети были убиты самым варварским способом». Он заключал: «Теперь мы действительно слишком хорошо знаем, что Черчилль и его печально известная британская клика... военные преступники имеют в виду под словом „цивилизация“ (Fritz 1995: 85–86). Фриц отмечает: «В том, что касается их действий по отношению к евреям, многие немцы позволяют себе вернуть „чистую совесть“ из-за того, что их самих (немцев) бомбили, но такие рассуждения могут быть применены и к союзникам, которые могли бомбить с „чистой совестью“ из-за немецких зверств».

Американцы израсходовали так много ресурсов на бомбежки, чтобы сохранить жизни своих солдат на земле. Как и у британцев в Ираке в 1920 г., это был ранний «перекладывающий риски милитаризм» плюс жестокая месть за свои страдания под бомбежками, которые продолжались при помощи ракет «Фау-2» до самого конца войны. И британцы, и американцы перешли к ковровым бомбардировкам и сбрасыванию зажигательных бомб из-за неточности так называемого прицельного бомбометания. Непреставлявшиеся бомбардировки, подкрепляемые блокадой, осуществляемой союзниками, истребляли, морили голодом и дезориентировали гражданское население. Производительность труда падала, но немцы не прекращали работать на войну. Бомбардировки довели люфтваффе до полного уничтожения, разрушили военную и транспортную промышленность, сыграли важную роль в выведении Италии из войны и взимали постоянную дань с немецкой промышленности и рабочих. В начале 1945 г. команда Шпеера подсчитала, что бомбардировки союзников привели к сокращению производства танков, грузовиков и самолетов за 1944 г. практически на треть. Атомные бомбы ускорили окончание войны и спасли множество американских жизней (Overу 1996: глава 4). В Европе уровень потерь среди экипажей ВВС союзников был также высок. Эйзенхауэр и Монтгомери были готовы вести изнурительные войны на земле, которые погубили множество солдат. Их потери во Франции были сравнимы с потерями в траншеях Первой мировой войны, но американцы могли восполнить их. Координации высадки союзников мешало то, что Эйзенхауэр и Монтгомери были в натянутых отношениях, но их войска и Красная армия в конечном итоге обладали достаточными ресурсами, чтобы продержаться дольше, чем немцы.

Как и в Первой мировой войне, у Германии были лучше солдаты, но не моряки. Требовалось больше солдат союзников, чтобы совладать с определенным числом немцев, поскольку немецкие пехотинцы постоянно наносили врагу урон на 50% больше, чем их британские или американские коллеги. Как и в Первой мировой войне, у немцев было более ориентированная на операции командная система, дававшая больше самостоятельности в сражении офицерам и унтер-офицерам, поэтому они могли двигаться более быстро и гибко, чем их противники. Они также были менее затратными, более сфокусированными на борьбе, с большим соотношением боевых частей к войскам обслуживания (Dupuy 1977: 234–235; van Creveld 1982). Также со времен Первой мировой войны имели место улучшения в военной организации. Благодаря нацизму немецкие армии были более бесклассовыми, чем другие. Происхождение или образование

не предполагало повышения в отличие от авторитета и мужества. Вместе с тем в то время как во всем мире милитаризм отставал, немецкие юноши уже были приучены к военной дисциплине в 1930-х гг., в гитлерюгенде и военизированных формированиях Имперской службы труда. Миллионы записывались волонтерами в ходе коллективных мобилизаций — проявление *Volksgemeinschaft* (национального сообщества) на практике (Fritzsche 2008: 51). Затем *вермахт* ввел более строгую и жесткую оперативную подготовку, чем в других армиях, а также более жесткую систему наказаний для офицеров вооруженных сил. Эта комбинация, как отмечает Фриц (Fritz 1995), создала коллективный элитизм, чувство превосходства, завоеванного благодаря большей преданности и жертвам, чувство фронтового сообщества (*Frontgemeinschaft*), которое было передовым фронтом *Volksgemeinschaft*.

Среди солдат было много членов нацистской партии, поклонявшихся Гитлеру и верных ему почти до конца. Это было особенно верно для отрядов СС, которые превратились из всего лишь преторианского партийного ополчения в высокодисциплинированные и идеологически преданные боевые силы, защищавшие свою веру, так же как и режим. Хотя немецкие солдаты терпели поражение, а американские одерживали победу, уровень дезертирства среди американцев был в несколько раз выше, чем у немцев, вплоть до последних шести месяцев войны (van Grevelsd 1982: 116). Немецкие пехотинцы принимали все тяготы Восточного фронта с нигилистической бравадой, хвастаясь своими страданиями, отсутствием снаряжения и вероятностью смерти. Их дневники и письма зомби повторяют гитлеровское хвастовство после захвата Крита: «Немецкий солдат может все». Однако пехотинец Мартин Пёппель выразил растущую горечь солдат после того, как был взят в плен в конце 1944 г.: «Мы ехали мимо артиллерийских позиций союзников, километр за километром, тысячи орудий. У нас всегда говорили: „Пот спасает кровь“, у них: „Снаряжение спасает людей“. Но не у нас. Нам не нужно было снаряжение, не так ли? В конце концов мы же герои» (Fritz 1995: 61).

Со времен Курска и Сталинграда снаряжение и число практически всегда брали верх над героизмом (Harrison 1998: 1–2; Tooze 2006). Поворотный момент в войне на Тихом океане наступил в июне 1942 г. в результате американской военной победы в битве за Мидуэй, в которой треть японских палубных летчиков погибли, и их нечем было заменить. В результате 10 тыс. бомб были сброшены на японские авианосцы. Это сражение могло иметь другой исход. В первой половине войны сражавшиеся стороны боролись на равных, их результат зависел от сложных военных факторов, которые могли сложиться по-другому. Последним поворотным моментом была битва за Атлантику, где

кумулятивное наращивание ресурсов, технологий и тактик союзников создало переломный момент в апреле — мае 1943 г. Радар, улучшенные технологии конвоя, расшифровка кодов, самолеты с большей дальностью полета, оснащенные мощными прожекторами, привели к изменению соотношения жертв: теперь ко дну шли немецкие подводные лодки, а не торговые корабли союзников (Overу 1996: глава 2). Риббентроп сожалел об этом, утверждая: «Германия могла победить». Тем не менее во второй половине войны державы Оси были измотаны более крупными экономиками соперников, жестко сфокусированными на военных целях. События первой половины войны были далеки от того, чтобы быть предрешенными, в отличие от событий второй половины. На самом деле удачей для Германии было то, что результатом изматывания стал крах, отменивший необходимость применения атомной бомбы.

С 1943 г. Гитлер, по-видимому, понял, что не сможет победить, но надеялся на разлад между Советами и Западом, который позволил бы ему заключить мир через переговоры. Он просчитался, этот разлад произошел только после его поражения. В июне 1944 г. в Нормандии был установлен береговой плацдарм, Советы наступали на западном направлении за пределами своих границ, британская индийская армия — в Бирме, а американцы — на Филиппинском море. Они опасались контратак, и иногда их наступление буксовало, но теперь эту наступательную волну едва ли можно было повернуть вспять. Немецкие и японские ресурсы иссякли.

Позитивный идеологический моральный дух не был решающим. Вплоть до последних месяцев войны, когда ни у кого уже не было сомнений в том, как эта игра закончится, у всех сторон был высокий боевой дух, за исключением итальянцев. Овери (Overу 1996: глава 9) придает большое значение недовольству и заговорам высших немецких офицеров и послевоенным ретроспективным исследованиям, в которых немцы утверждают, что предвидели поражение с 1943 г. И все же Германия и Япония продолжили сражаться до самого конца. Немецкая армия понесла половину своих потерь в последний год войны, когда дело было уже проиграно. Как отмечает Я. Кершоу (Kershaw 2011), эта ситуация нетипична для войны и во многих отношениях самая интересная ее характеристика. Когда генералы и лидеры понимают, что проигрывают, они, как правило, ищут переговоров. Когда солдаты и гражданские понимают, что война проиграна, они выражают недовольство и рабочие выходят на забастовки. Как мы убедились в главах 5 и 6, именно так они сделали во время Первой мировой. Чем же отличалась Вторая мировая война?

Подчинение приказам было следствием многих причин. Одни из них были похожи на те, что держали солдат и гражданских в повиновении на протяжении практически всей Первой мировой (это обсуждалось в главе 5). Дезертирство было рискованным мероприятием в высокоорганизованных войнах. Как мог солдат получить еду и ночлег за пределами армии? Гражданские лица пользовались очень малой автономией власти и старались не поднимать головы. В данном случае пропагандистская машина Геббельса также заставила немецких солдат и гражданских верить в том, что их враги не берут пленных. Японцы также в это верили. На самом деле часто это было именно так, особенно на Восточном фронте, где Красная армия, жаждущая мести за зверства, причиненные немцами, теперь жгла, убивала и насиловала в огромных масштабах. Например, более миллиона немецких женщин были изнасилованы. Поэтому солдаты чувствовали себя спокойнее в армии, чем за ее пределами. Однако внутри японской и немецкой армий были характерные ограничения. Они соблюдали необычно строгую дисциплину, какой не было прежде. Гораздо больше немецких и японских солдат были казнены после решений военно-полевых судов: 20 тыс. солдат вермахта по сравнению с 40 британцами, 103 французами, 146 американцами и 48 солдатами немецкой армии в Первую мировую. Поэтому террор был фактором, но более важным в немецкой армии, по утверждению Кершоу, было то, как нацистские ценности лидерства и воли усиливали традиции долга и верности немецких военных. Генерал Рейхардт, командующий группой армий «Центр» на Восточном фронте, осознавая, какие потери несут его солдаты, и надвигавшееся поражение, в письмах к жене говорил о том, что иногда он даже боролся с собственной совестью. Он писал:

Машина долга, воля и беспрекословное «должен», приложение последней унции силы автоматически действуют внутри нас. Лишь изредка ты задаешься большим вопросом: что дальше?

В течение большей части войны все это также персонализировалось в верность харизматичному Гитлеру, но не продлилось до самого конца, поскольку бесконечная череда поражений в последние два года войны уничтожила его харизму. К концу марта 1945 г. лишь 2% солдат, захваченных в плен западными союзниками, продолжали верить в Гитлера, в то время как в январе в него верили 62% (Kershaw 2011: 197, 220, 260).

Тем не менее считалось, что Гитлер создал бесклассовое общество, и это усиливало ощущение национальной солидарности точно так же, как и в Британии. К тому времени национализм был значительно более важным фактором, чем во время

Первой мировой войны. Чувство общего гражданства было реальным даже в деспотических режимах.

Заговор Штауффенберга с целью убить Гитлера в 1944 г. провалился: бомба лишь слегка его ранила. И все же заговорщики почти не нашли поддержки в вооруженных силах. Основной реакцией было возмущение их изменой, хотя и смешанное со страхом перед репрессиями Гитлера против любого, кто мог быть обвинен в заговоре или несогласии. Верные генералы также получали выгоду от коррупции в виде не облагаемых налогами земли или денег. Террор, верность и материальный интерес шли рука об руку. Немецкие генералы в Италии откладывали капитуляцию до последней минуты, поскольку боялись не только Гитлера, но и реакции своих солдат — с ними могли расправиться.

Гражданская иерархия была также трансформирована после заговора, и государственная администрация была полностью подчинена партии. Большую власть получили Гиммлер, Геббельс, Борман и Шпеер. СС Гиммлера принесли жестокость, которую уже практиковали на востоке, в саму Германию. Геббельс стал руководить тотальной войной и продолжал пропаганду, убеждавшую немцев, что чудо-оружие появится уже скоро. Борман обеспечил, чтобы местные администрации управлялись нацистами-ветеранами, «людьми первого часа», а Шпеер поддерживал производство путем интенсификации рабского труда (Kershaw 2011: 35–53). Гражданское население не дрогнуло под опустошительными бомбардировками (как не дрогнули и японцы), и государственная администрация, где господствовала партия, действовала незамедлительно под ужасными бомбардировками: электроснабжение быстро восстанавливали, на улицах появились повозки с водой, заводы были перемещены под землю, зарплаты выплачивались, почта доставлялась, «пораженцев» казнили. Рутинизированная террористическая система контроля, не имевшая аналогов во время Первой мировой войны, вызвала реалистический фатализм, который заключался в том, что сделать ничего нельзя, кроме как обеспечить личное выживание до конца. Кершоу отмечает, что «не было никакого краха дисциплины ни на рабочем месте, ни в армии. Люди хорошо, как могли, выполняли то, что считали своим долгом» в конечном счете потому, что они были захвачены «структурами правил и ментальностей, лежащих в их основе». Харизматическая власть оставалась на своем месте, пишет он, даже когда собственная харизма Гитлера исчезала, что, возможно, было формой веберовской «рутинизации харизмы». Извечный парадокс военной власти — сочетание иерархии и товарищества — усиливался и распространялся на большую часть

немецкого, а также японского населения. Это были ужасно милитаризованные, в высокой степени запертые в «клетку» национальные общества, но удручает то, что, за исключением более благоразумных итальянцев, не было практически ни одного отказа от столь ужасного милитаризма.

Эта война была развязана одним человеком — Гитлером и его фашизмом, хотя отвращение современных ему либеральных демократий к войне, сдерживанию и коммунизму стимулировало его. Эта война унесла жизни около 70 млн человек (ошеломляющая цифра!), 60% из которых были гражданскими лицами. Самые крупные потери были на Восточном фронте, далее идет Японо-китайская война. Больше всего жертв — по меньшей мере 25 млн — понесли советские граждане. Самая большая доля убитых к общей численности населения — практически 20% — была у поляков, хотя евреи были той этнической группой, которая пострадала больше всего: погибли, вероятно, 70% европейских евреев, всего около 6 млн человек. Война, непосредственной причиной которой был фашизм, уничтожила фашизм. Жестокость и расизм его позднего империализма были самоубийственными. Фашизм потерпел крах, и немецкая организация «Вервольф», которая должна была, как предполагалось, вести партизанскую войну после поражения, продержалась только несколько недель, так же как и сопротивление в Японии. Население этих стран приветствовало прекращение бомбежек и мир, принесенный их завоевателями, и вскоре они приняли демократические и капиталистические формы общественной организации, с которыми уже были знакомы до того, как фашизм или милитаристский фашизм их захватил.

Две мировые войны с очевидностью многое изменили, но были ли они необходимой причиной великих трансформаций отношений власти или же только ускорили трансформации, которые уже шли и которые произошли бы в любом случае и без войны? Я оставляю эту проблему для тома 4 после более тщательной оценки изменений, которые принесла Вторая мировая война. Однако мы уже можем видеть, что эта война (будучи сама по себе кровавым расколом мира) ускорила конец раскола мира на соперничавшие империи и привела к созданию оружия всемирного уничтожения, к более универсальному триумфу западного рыночного капитализма, системы национальных государств, а также к американской глобальной империи, чем это было бы в ином случае. Это закрепило трехчастную глобализацию капитализма, национального государства и американской империи, при которой мы по-прежнему живем, что было логичным результатом, поскольку европейский империализм, скопированный японцами, был глубинной

причиной Второй мировой войны. Война также укрепила мощь Советского Союза, сделала Соединенные Штаты доминирующей мировой державой, привела к опасной холодной войне между ними и сократила влияние расизма в мире. Навязанный Америкой порядок интенсифицировал глобализацию, которая даже до распада Советского Союза начала вторгаться и в страны СЭВ Советского блока, и в Китай. Война покончила с Францией и Британией как ведущими державами, а также сделала Японию и Германию (как и всю Европу в целом) экономически, но не военными державами. Она способствовала появлению золотого века капитализма и социального гражданства, особенно среди мужчин. Она дала коммунизму новую жизнь в Советском блоке и отдала коммунистам Китай. На Ближнем Востоке она вызвала глубокую дестабилизацию. Первая по-настоящему глобальная война действительно изменила мир, но эту историю следует отложить для тома 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я ОСТАВЛЯЮ теоретические заключения для четвертого тома, хотя и так уже очевидно, что, для того чтобы понять развитие современных обществ, мы должны уделять примерно равное внимание причинно-следственному воздействию и взаимосвязям всех четырех источников социальной власти: идеологическому, экономическому, военному и политическому. Это было особенно очевидно в период с усилившейся идеологической борьбой между демократическим капитализмом, коммунизмом и фашизмом, саморазрушающим расизмом, с капитализмом, созидательные и разрушительные силы которого никогда не были так высоки, с двумя опустошительными, практически глобальными войнами и глобальной угрозой применения атомной бомбы, с усилением национальных государств и глобальных империй. Маловероятно, что лишь одно из перечисленного детерминирует остальное.

В многообразном мире обобщения опасны. Каждый макро-регион, каждая страна, каждый регион внутри страны отличались друг от друга тем или иным образом, и это с очевидностью уменьшало гомогенизирующее воздействие глобализаций. Все страны исключительны в том смысле, который обычно используется американцами для описания их собственной страны. Миф об уникальной американской исключительности глубоко укоренен в американском национализме и политической риторике, но он ложен. Принципиальной исключительной чертой Соединенных Штатов этого периода было то, что они страдали от белого расизма внутри страны, тогда как западные страны проявляли расизм в колониях. Соединенные Штаты не уникальны в том, что там практически не было социализма, поскольку в других англоговорящих странах он также отсутствовал. Хотя сначала Соединенные Штаты отставали в некоторых аспектах социального гражданства (но не в правах на образование или в прогрессивном налогообложении), они наверстали отставание в период «нового курса». Я отмечал отличительные черты стран, которые обладали важными послед-

ствиями, как в случае с американским расизмом, но по большей части обращение к национальным особенностям в этом томе служило лишь тому, чтобы свести универсальные причины и следствия к всего лишь тенденциям.

В первых главах исследовано возвышение европейской цивилизации с множеством акторов власти до глобального доминирования. Капитализм этой цивилизации, сплоченные внутри, но соперничавшие между собой государства и особенно ее милитаризм динамично взаимодействовали, позволив приобрести империи, что впоследствии скопировала Япония. Большая часть мира вошла в состав империй, что с очевидностью было глобализирующим трендом, хотя и расколотым на части. Все империи возводили вокруг себя заборы и периодически сражались друг с другом. Имперские тарифы ограничивали транснациональную торговлю, коренные жители сражались за свою родину часто против своих соседей. Колонии возвели государственные границы, которых прежде не существовало, а коренные колониальные элиты говорили и писали на языке метрополии — английском, или французском, или испанском, или португальском, или (кратковременно) японском. Не было одного-единственного империализма, а было двенадцать различных. Это была действительно цивилизация с множеством акторов власти, с присущим ей экстраординарным динамизмом по причине внутреннего соревнования. Однако это был саморазрушительный динамизм.

Другие главы обрисовывают внутренние события в метрополиях империй. Динамизм капитализма, а также выход масс на сцену театра власти приводили к классовой борьбе, революциям и реформам и достижению народного национального гражданства. Однако они также описывают страшную гордыню, поскольку саморазрушавшиеся расизм и милитаризм Европы достигли своей кульминации в двух мировых войнах, опустошивших континент, вызвавших две волны революции, смертоносные режимы, разрушение европейских империй, а также возвышение двух имперских преемников — Соединенных Штатов и Советского Союза — воинственных вождей пограничий европейской периферии. В эти полвека военная власть изменила мир, кроваво разделяя его до тех пор, пока условия послевоенного мира не допустили некоторого восстановления.

Эти полвека были свидетелями огромного идеологического раскола. Милитаризм оставался важной идеологией, отчетливо проявляясь в межгосударственной дипломатии, усиливая неинструментальную, ценностно-рациональную и эмоциональную озабоченность с характерными для них погоней за славой, почестями и статусом. Также имел место идеологический кон-

фликт между ориентированными на рынок и на государство схемами того, как должна работать экономика. Поланьи охарактеризовал это как «двойное движение» капитализма, он также определил этот период как первоначально лелеявший принципы свободного рынка, которым затем противостояли более этатистские идеологии, усиленные тремя великими потрясениями этого периода — двумя мировыми войнами и Великой депрессией. Споры апологетов способности рынка к саморегуляции против тех, кто отстаивал необходимость государственного вмешательства, преимущественно имели своим результатом институционализированную компромиссную идеологию, значительно более инструментальную, чем трансцендентную, лишь незначительно направляемую предельными ценностями или эмоциями. Две модели предлагали альтернативные политические экономии, но выбор между ними обычно осуществлялся прагматически и хладнокровно. Верно, что они также были окрашены различными представлениями о человеческой свободе — свободе от других против свободы через других, но обе концепции были также институционализированы в западных ценностях. Их конфликт не был внесистемным, и было не слишком трудно находить между ними прагматичные компромиссы.

Более серьезными были конфликты, с одной стороны, между переживавшими подъем идеологиями коммунизма и фашизма (обе обещали спасение через полномасштабную реорганизацию общества) и, с другой — между институционализированными идеологиями демократического или монархического капитализма, которые также были взаимно конфликтующими. Разрешение конфликтов было насильственным, достигалось через революции и мировые войны. В конце этого периода фашизм был уничтожен, капиталистическая демократия стала господствовать на Западе, а коммунизм воцарился на большей части Востока. В колониях также нарастал расовый идеологический конфликт.

В этот период Европа, Россия и Китай испытали огромный подъем идеологической власти. Во втором томе я описываю спад религиозных идеологий в Европе XIX в., напротив, для первой половины XX в. характерно наличие двух с половиной секулярных эквивалентов религий спасения — коммунизма и фашизма и японского милитаризма, представлявшего собой половину. Оголтелый антикоммунизм также рос в капиталистических странах, часто блокируя инструментально рациональные решения, например как совместно действовать, чтобы сдержать Гитлера или разработать взаимовыгодную политику экономического развития в американской неформальной империи. Эти трансцендентные ценностно-рациональные и направ-

ляемые эмоциями идеологии били рикошетом по интересам тех, кто их исповедовал. В плане отношений политической власти авангардные партии (авангардные военные в Японии) были основными организациями, мобилизовавшими идеологическую власть, и там, где они имели успех, появлялись полутоталитарные партийные государства. Ценности Просвещения не правили бал на Западе, не говоря уже об остальном мире. Модели рационального выбора часто были неприменимыми. Это были полвека экстраординарной идеологической власти.

Наиболее общей тенденцией на Западе был двойной триумф реформированного капитализма и национального гражданства. Динамизм капитализма был очевиден сотни лет, хотя его нерегулярные циклы означали, что экономическое развитие всегда было до определенной степени неровным. Доминирующей тенденцией был экономический рост через процесс, обозначенный Шумпетером как способность капитализма к созидательному разрушению (Schumpeter 1957: 82–85). Рост движений против капитализма был также скорее неравномерным, возглавляемым в этот период социалистическими и «либ-лаб» политическими партиями и профсоюзами, но этот конфликт обычно выливался в компромисс реформированного капитализма. Только когда практически тотальная война опустошала страны, делегитимируя государства и усиливая классовую борьбу, действительно происходили успешные революции. В этот период на Западе расширялись социальное гражданство и государства всеобщего благоденствия, хотя в большей степени для мужчин, чем для женщин. Феминистки по-прежнему спорили о достоинствах двух различных путей к гендерному равенству — через занятость на рынке труда или через материнский труд дома. На Западе подданные мужского пола стали гражданами; женщины же были гражданами в основном только через влияние на своих мужей.

На Западе и в Японии, несмотря на разруху, принесенную мировыми войнами и Великой депрессией, экономические траектории были восходящими. Представители всех классов стали более сильными физически, начали лучше питаться, дольше жить, стали более образованными и богатыми. 15% населения жило в достатке, несмотря на свои междоусобные войны. Их общий ВВП и ВВП на душу населения устойчиво росли, и на тот момент лишь немногие видели негативную сторону происходившего. Природа по-прежнему воспринималась как бездонный карьер, из которого можно извлекать ресурсы и в который можно сбрасывать отходы. До той степени, в какой беспокойство о загрязнении вообще имело место, защитники окружающей среды были удовлетворены тем, что «более чистая» нефть, казалось,

готова заменить более грязный уголь в качестве основного вида топлива. Другие показатели западного благосостояния также демонстрировали прогресс. Улучшение питания и увеличение потребляемых калорий стали наглядно наблюдаемыми. Увеличение человеческого роста может быть рассмотрено как индикатор улучшения здоровья и общего благосостояния. По данным, собранным о солдатах, заключенных и школьниках, средний рост мужчин в восьми развитых странах (Австралии, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Нидерландах, Швейцарии и Соединенных Штатах) увеличился на 2,3 сантиметра (1 дюйм) между 1850 и 1900 гг., между 1900 и 1950 гг. увеличился не менее чем на 5,8 сантиметра (2,3 дюйма). Существенно меньше известно о росте женщин, хотя увеличение также подтверждается в немногих записях о девочках. В период с 1900 по 1950 г. имело место самое большое увеличение продолжительности жизни и улучшение стандартов питания, хотя самое большое увеличение ВВП на душу населения и реальных зарплат произошло только после 1950-х гг. Флоуд с соавторами (Floud et al. 2011) задокументировал такую положительную динамику за очень продолжительный период. Он утверждает, что это можно рассматривать как ускорение процесса, сопоставимого с дарвиновской эволюцией в биологии, и приписывает достигнутые результаты улучшению общественного здравоохранения, жилищных условий и питания — совместным продуктам реформированного капитализма и «большого правительства», особенно на местном уровне. Драматическая первая половина XX в. парадоксальным образом принесла для населения хорошие новости.

Я выявил четыре основные причины триумфа реформированного и регулируемого государством капитализма.

- (1) Поскольку капитализм обеспечил первый прорыв к индустриальному обществу, он институционализировался в большинстве развитых стран; коммунизм победил в относительно отсталых странах. Это дало капитализму «незаслуженное» экономическое преимущество, но не дало большого военного преимущества — и фашизм, и коммунизм были эффективны в ведении войны, но глобальная экономическая борьба между капитализмом и государственным социализмом всегда была неравной, хотя это полностью не проявлялось вплоть до 1950-х гг., о чем я пишу в томе 4.
- (2) Свобода предпринимательства и рыночная конкуренция показали себя лучше, чем их соперники [фашизм и коммунизм] в том, что касалось темпов экономического роста на передовых фронтах техники. Они были особенно хороши в области переключения скоростей, развития новых от-

раслей, по мере того как старые становились концентрированными и стагнировали, — в этом суть шумпетеровского созидательного разрушения. Мы видели, как происходил этот процесс, в главе 7, даже на дне Великой депрессии. Рыночный капитализм не превосходил ни государственный социализм, ни японский координируемый государством капитализм в осуществлении рывков догоняющего развития. Действительно, значительная степень планирования, вероятно, превосходила рынки в этих усилиях, как мы убедились на примерах Японии и Советского Союза. Однако рыночный капитализм превосходил в инновациях. Хорошим примером была вторая промышленная революция в начале века, движимая корпоративным капитализмом и патентной системой, которая поставляла научные и технологические инновации в доходную частную собственность. Это было тем преимуществом, которое капитализм действительно заслужил.

- (3) Реформированный капитализм одержал верх потому, что, хотя капиталисты яростно защищали права собственности, решительная оппозиция снизу обычно вынуждала их к компромиссу. Этому процессу способствовали центристы и прагматики, включая корпоративистских либералов, искавшие компромисса, а также институционализация классового конфликта посредством законодательного вмешательства. Их основным мотивом было желание воспрепятствовать классовому конфликту в зародыше, до того как он станет действительно серьезным. Там, где компромисса достичь не удавалось, как в России и Германии, возникали коммунистические и фашистские революции, в результате которых происходило силовое подавление классового конфликта. В остальном мире преобладали классовый компромисс и предоставление все больших и больших гражданских прав.

Маркс был убежден, что капиталисты не способны к коллективной организации, поскольку они разделены рыночной конкуренцией. Лишь коллективный рабочий, рабочий класс, по его убеждениям, способен к достаточно масштабному коллективному действию. Эта половина века полностью опровергла его взгляды о капиталистах и частично о рабочих. Капиталисты сначала пытались подавить рабочее движение, но безуспешно. Поэтому в середине XX в. подталкиваемые к этому результатами войн, они неохотно и коллективно принимали государственное вмешательство, имевшее своей целью сглаживание дисфункциональных тенденций капитализма, наряду с принятием перераспределительных договоренностей с организованными рабочи-

ми, до тех пор пока это оставляло их права на собственность и контроль невредимыми. По другую сторону баррикад рабочие достигли определенной степени классовой солидарности, но она была подорвана секторальностью, разделенностью на сегменты и национализмом, что способствовало классовому компромиссу. Уровень забастовок и выступлений рабочих заметно вырос в межвоенный период (Silver 2003: 82, 126–127), но это столь же часто было инструментами секторальной и сегментарной власти рабочих, сколь и инструментом классовой власти.

Социализм, таким образом, оказался значительно меньшей угрозой, чем опасались многие капиталисты, поскольку он мутировал в умеренный социал-демократический или «либ-лаб» реформизм. Основы реформированного капитализма — государство всеобщего благоденствия, всеобщее здравоохранение и образование, прогрессивное налогообложение, легитимация ведения коллективных трудовых переговоров и кейнсианская макроэкономическая политика — были заложены до 1945 г., хотя, за исключением общественного здравоохранения, их консолидация произошла позднее. Все они предполагали более крупное правительство, более широкие гражданские права и усиление национальных государств. Эти реформы также пошли на пользу коллективной экономической власти, а не только низшим классам. Классовый конфликт, будучи институционализированным в коллективное ведение переговоров, создавал более стабильные трудовые отношения, а стабильность — качество, которое очень ценили капиталисты в условиях непредсказуемых рынков. Там, где следовали этому пути, никаких революций или особой социальной турбулентности не происходило. Представительное правление также позволяло намного легче и более мирно преодолевать кризисы, чем это удавалось деспотическим режимам: режимы, которым не удавалось справиться с кризисами, смещались путем голосования, и оппозиционная партия заменяла их в рамках рутинной политики, в то время как деспотические режимы сталкивались с большими кризисами преемственности. Социальные реформы и кейнсианское макроэкономическое планирование также поддерживали массовый спрос, и это было хорошей новостью для капитализма, хотя полноценное появление высокопроизводительной экономики с высоким спросом произошло только в первое десятилетие после Второй мировой войны.

- (4) Также имело место преимущество в отношениях политической власти. Страны с рыночным капитализмом в большинстве своем сходились на либеральной или социальной

форме представительного правления, что было более привлекательным для граждан, чем партийно-государственный деспотизм, в который выродились коммунизм и фашизм. Эта деградация рассматривалась на Западе как важный негативный ориентир, отвращавший их от социализма и фашизма. Но в то время как права социального гражданства расширялись по всему Западу, развитие политических и гражданских прав, демократизации было более неравномерным. Хантингтон (Huntington 1991) отмечает, что сразу после Первой мировой войны прокатилась короткая волна демократизации, но за ней последовала противоположная волна в 1920–30-х гг., в ходе которой половина Европы сдвинулась к деспотическому правлению (см. главу 10). Разгром фашизма и других деспотических режимов во Второй мировой войне с очевидностью способствовал развитию демократизации Запада. Кроме того, была надежда, что недавно начавшийся процесс деколонизации также поможет демократии. Однако на тот момент преимущества демократии не были такими очевидными, какими они стали казаться после Второй мировой войны. Коммунизм и на некоторое время фашизм оказали существенное влияние на огромные территории, особенно за пределами Запада.

До 1945 г. все эти события происходили среди белой расы (некоторые — среди японцев). Великая дивергенция расширилась между 15% западных стран, успешно индустриализировавшихся, демократизировавшихся и реформированных, и 85% остальных стран, в которых отношения экономической и политической власти стагнировали при колониализме. Рост ВВП и представительного правления в колониях и нескольких независимых бедных странах (отличных от японских колоний) оставался в этот период пренебрежительно малым. Запад развивался в отличие от остальных регионов — самый большой раскол мира в этот период. Запад преимущественно двигался по направлению к демократии и увеличению прав гражданства в национальных государствах; колонии оставались подданными при имперском деспотизме. Многие на Западе концептуализировали это по большей части как следствие их расового превосходства (хотя эта уверенность просуществовала недолго). Я пришел к заключению, что империализм в целом сдерживал экономическое развитие колоний, хотя основным источником растущего неравенства была не прямая эксплуатация (хотя ее и было предостаточно), а тот факт, что метрополии индустриализировались, а колонии нет. Возможно, это сочетание может быть рассмотрено как единая эксплуататорская капиталистиче-

ская мир-система. Колониальные элиты и их клиенты из местного населения получали огромные прибыли от эксплуатации коренного населения. Тем не менее тот факт, что большинство империй не были прибыльными для метрополии, уменьшает системный характер. Это может рассматриваться как расовый этап глобализаций, хотя и с неожиданным поворотом в финале, который заключался в том, что, поскольку белая раса доминировала в капиталистической системе, она также приняла на себя основной удар Великой депрессии, что вызывает у меня соблазн переименовать ее в Великую Белую депрессию.

Господство белых также росло в физическом смысле. В отличие от Запада в остальных странах средний рост мужчин в этот период оставался неизменным или лишь немного увеличился, хотя он куда больше изменился в период после 1950-х гг. То же самое верно и для продолжительности жизни и уровня грамотности. На Западе и в Японии в 1950 г. средний уровень грамотности составлял 93% — практически каждый мог писать и читать. В Латинской Америке и Китае уровень грамотности достиг почти 50%, но в других менее развитых странах он составлял не более 25%. Массовые улучшения произошли там только после 1950 г. То же характерно для уровня рождаемости. Среднее количество детей, рожденных каждой женщиной на Западе, сократилось больше всего в первой половине века, что было хорошей новостью для здоровья матерей и детей. Среди остальных стран это снижение произошло преимущественно во второй половине XX в. (Steckel and Floud 1997: 424; Easterlin 2000). В остальных странах практически не было социального гражданства и государств всеобщего благоденствия ни для мужчин, ни для женщин (и не появилось в первые десятилетия, последовавшие за этим периодом). Запад плюс Япония и остальные страны в большинстве своем жили как будто на разных планетах. Тем не менее в течение XX в. имперские власти захотели получать больше прибыли от своих колоний и стали вводить некоторые ограниченные проекты развития, которые в чем-то улучшили образование, промышленность и государственные инфраструктуры, хотя этого было недостаточно для начала процесса глобальной конвергенции. Вопреки ожиданиям империй получившие образование коренные жители были не только неблагодарными, но и готовыми к сопротивлению и свержению колониализма.

Я попытался отделить долгосрочные структурные тенденции от более случайных событий. Многие тенденции были долгосрочными. Подъем капитализма, национальных государств и империй, а также национализма, империализма и расизма были долгосрочными процессами; антиимпериализм начинал

активизироваться в рамках этой половины века. Права граждан росли по крайней мере с конца XVIII в. Государства увеличивали свои доходы и расходы, они также в возрастающей степени мобилизовали армии через системы призыва на военную службу и резервистов, которые также способствовали развитию представлений о гражданстве. В этот период мы видели все большее задержание граждан в «клетки» национальных государств через войны и социальное обеспечение, и в то же время это выводило граждан на авансцену. Материальные ресурсы распределялись и перераспределялись внутри национальных границ, образование на национальном языке также способствовало развитию представлений о том, что население составляет единый народ или нацию.

Как и в томе 2, класс и нация не противостояли друг другу. Они росли вместе, переплетаясь и стимулируя свое развитие. Поскольку давление государства и капиталистической бюрократии усиливалось, народ отвечал на это повстанческими движениями. По мере того как мужчины из низших классов, меньшинства и женщины получили больше гражданских прав, множились силы национального государства и капитализма. Мобилизация масс для военных целей включала различные динамики класса и нации. Обе войны привели к росту национализма, усилив восприятие национальной идентичности и более агрессивный национализм. Тем не менее, поскольку первая война затянулась, ощущение того, что жертвы неравные, вылилось в рост классового сознания. В тех странах, где военный опыт прошел успешно, стимул получило реформистское классовое сознание. Это было верно и для нейтральных стран, которые испытали негативное воздействие войны и понесли многочисленные потери. Больше всего реформисты преуспевали там, где им удавалось сформировать союз между рабочими, крестьянами и фракциями средних классов. Затем они могли обоснованно претендовать на руководство народом, как это сделали шведские социал-демократы. Таким образом, класс трансформировался в нацию, развернув ее несколько влево, но для тех стран, которые пострадали от войны, враждебность по отношению к правящему классу выросла, как и агрессивное классовое сознание. Это привело к революционным взрывам, после которых большевики провозгласили, что рабочий класс является нацией. Когда другие революции терпели крах, на время расцвел реформизм. Однако это продлилось недолго, поскольку реформаторы не смогли трансформировать класс в нацию. На самом деле значительная часть народа и господствующих классов устала от продолжавшегося классового конфликта и была готова пойти за фашистами, чтобы положить ему конец. В процессе этого они получили куда более

агрессивный национализм, чем тот, на который согласились. Таким образом, в этот период диалектика между классом и нацией продолжалась. В томе 4 мы увидим, что Вторая мировая война создала собственную версию этой диалектики.

Но насколько неизбежными были подобные события? Ответ на этот вопрос предполагает контрфактические гипотезы, задающие вопросы «что было бы, если бы»? Что было бы, если бы определенные события, особенно три великих потрясения, не произошли бы? Эти кризисы оказали важное воздействие, но, возможно, они всего лишь ускорили наступление событий, которые в любом случае наступили бы, не будучи их необходимыми причинами. Например, колониализм был ослаблен мировыми войнами, особенно второй. Но даже без войны колонии, вероятно, сами бы себя разрушили более медленно, поскольку белый расизм вместе с девелопментаристскими проектами усиливал антиимпериалистические чувства среди местных. И все же тот факт, что деколонизация произошла бы позднее, означает, что это случилось бы при других социально-исторических обстоятельствах, в условиях, которые могли бы подтолкнуть ее к другим направлениям развития. Это подразумевает умножение контрфактических гипотез до точки, в которой они станут чистыми спекуляциями. Мы можем справиться с одним контрфактическим рассуждением, изменив одну переменную, но не со многими.

У меня больше уверенности в том, что без мировых войн и их результатов не было бы успешных коммунистических революций, фашизма и американского глобального господства. Я уже объяснил это в предшествующих главах, но тогда мы должны задаться вопросом, были ли сами войны и их результаты случайными событиями, или они были следствиями глубоко укорененных структур и причин. Ответ заключается и в том и в другом, хотя в большей степени в последнем, и в основном эти глубоко укорененные структуры и причины лежат в отношениях геополитической и военной власти. Я уже подчеркивал глубокую историческую укорененность европейского милитаризма и империализма. Империализм в Европе беспрестанно превратился в империализм по всему миру; в Европе война веками была стандартным режимом дипломатии, к которому прибегали, когда переговоры заходили в тупик. Затем Япония сымитировала Европу отчасти потому, что она ощутила, что ее собственное самостоятельное выживание зависит от империализма, хотя я утверждал, что своим превращением в более милитаристский японский империализм обязан более случайным событиям и процессам. Я также подчеркивал, что, поскольку европейская экспансия включала идеологический упор на рас-

пространение цивилизации, просвещения или слова Божьего по всему миру, агрессия каждого государства рассматривалась как оборонительная, подкрепленная уникальными цивилизационными или национальными ценностями. Как и в предыдущие столетия, государственные мужи также искали статуса и славы для себя лично и для своей страны, что затрудняло отступление, как только дипломатия оказывалась в тяжелом положении. Все это были вполне структурные тенденции. Я освобождаю капитализм от большей части вины за эти войны. Его секулярные тенденции не были воинственными, хотя, конечно, капиталисты как индивиды были такими же националистами, как и другие. Они довольствовались тем, что получали больше прибыли, не важно — от мечей или от ора, и как только объявлялась война, от мечей они могли получить гораздо больше прибыли.

Я обнаружил схожие причинно-следственные процессы во всех трех великих потрясениях этого периода — двух мировых войнах и Великой депрессии. У всех были множественные причины, которые наслаивались друг на друга, поскольку растущий кризис вскрывал слабости современной социальной структуры, которые в противном случае могли бы никогда и не стать серьезной угрозой. Отсутствие взаимопонимания между британскими и немецкими лидерами накануне первой войны, контрпродуктивный антикоммунизм британских и французских лидеров накануне второй и идеология невмешательства государства в экономику американских лидеров во время Великой депрессии были слабостями, которые проступили только тогда, когда они наложились на другие предшествующие условия. Каждое условие обычно было продуктом причинно-следственной цепочки, отличной от других. Хотя структурные процессы были встроены во все четыре источника социальной власти, они переплетались сложным и часто противоречивым образом, и это означает, что мы не можем определить одну-единственную лежащую в основе структурную причину, как не можем смоделировать развитие власти в рамках отдельно взятой социальной системы.

Таким образом, имело место множество контекстуальных особенностей — ошибок и непониманий, особенно среди тех, кто обладал большей властью. В период скатывания к Первой мировой войне либерализм не позволил британским лидерам сдерживать немецкую агрессию, а секретные военные мобилизационные планы высшего немецкого командования, неизвестные гражданскому руководству, включали захват бельгийской территории — шаг, который практически вынуждал Францию и Британию к вступлению в войну. Российское руководство обнаружило, что армия технически невозможно мобилизовать только против Австро-Венгрии, поэтому они мобилизовались и против Гер-

мании. Вероятно, самая большая ошибка была допущена, когда открытый автомобиль эрцгерцога Франца Фердинанда однажды сделал худший из возможных неправильных поворотов в Сараево. Подобные детали необходимы не только для того, чтобы объяснить, почему произошли великие потрясения, но и для объяснения более структурных процессов. Все японские ошибки были допущены в одном направлении — к росту милитаризма. Появление Гитлера стало возможным вследствие развития традиционного милитаризма, немецкого национализма, подпитываемого условиями мирного урегулирования после Первой мировой войны, общей привлекательности фашизма в то время и более общего провала капитализма. То, что мы находим и структуру, и случайность внутри и между четырьмя источниками социальной власти, делает однозначное заключение об общем смысле или первопричине в этот период невозможным. Это зависело от того, в каком положении вы находились и кем вы были, а также от всего спектра процессов и случайностей.

Окончание второй войны в 1945 г. завершает период, исследуемый в это томе. Оно принесло решающую победу, но было не ясно, насколько это изменит отношения власти. Фашизм был уничтожен, хотя многие боялись, что вскоре он возродится. Гражданская война бушевала в Китае, и было неизвестно, чем она закончится, а советский коммунизм стал сильнее благодаря победе в войне. Европейские империи были ослаблены, хотя не ясно, насколько они были жизнеспособны. Сохранялась неясность относительно того, отстранятся ли Соединенные Штаты от глобальной роли, как они сделали после Первой мировой войны. В большинстве капиталистических стран элита экономистов разделилась между кейнсианством и классической экономической теорией, но большинство предполагало, что послевоенная демобилизация и неразбериха — внутренняя и международная — ослабят экономики и, весьма вероятно, приведут к кризисам, таким как кризисы 1920-х или 1930-х гг. Они также опасались появления новых или старых экстремистских идеологий. Для современников конец 1945 г. принес огромное облегчение (даже для немцев и японцев), но также огромную неопределенность. То, что мы сейчас склонны рассматривать как лежащие в основе этого периода структурные тренды, представлялось в то время в основном неясным.

Эти страхи не воплотились в жизнь. В течение пяти или шести лет возник лучший мир, и не только для белых. Фашизм был уничтожен, а коммунизм процветал только в небольшом блоке стран, когда китайские коммунисты примкнули к большевикам в результате победившей революции. Геополитика упрощалась, поскольку европейские империи пришли в упадок и их мили-

таризм и милитаризм Японии быстро ослабевали. Крупными военными державами остались только Соединенные Штаты и СССР, хотя их конфронтация была еще в самом начале пути к стабилизации благодаря обладанию ядерным оружием обеими странами. С принятием Бреттон-Вудской системы произошло очевидное урегулирование проблем международной экономики, а кейнсианство и классическая экономическая теория соединялись внутри развитых капиталистических стран. Растущие государства всеобщего благоденствия, прогрессивное налогообложение и стремление к полной занятости означали дальнейший рост социального гражданства в возрастающей степени среди женщин. Послевоенный экономический рост на некоторое время распространился по всему миру, сочетание капиталистического роста с улучшением государственных инфраструктур в менее развитых странах повышало средний рост, продолжительность жизни и грамотность людей. Мы знаем, что все это произошло, создав кратковременный золотой век капитализма, но люди 1945 г. этого не знали.

Наиболее общим трендом был рост и затем падение европейского господства в мире. Европейская цивилизация расширила свою идеологическую, экономическую, военную и политическую власть — каждую с собственным ритмом развития. Связанный с этим общий динамизм сформировал исторически беспрецедентный империализм с множеством акторов власти. Европейцам повезло, что, когда они были готовы к заморской экспансии, мощь самых крупных цивилизаций в остальном мире стагнировала или уже пришла в упадок. Британия была еще более удачлива, возникнув как морская держава и сплоченное государство в тот момент, когда она могла воспользоваться европейским балансом сил, чтобы стать самой большой империей. Обе экспансии, европейская и британская, в конечном итоге были неизбежны под давлением индустриализации. Отныне мир был расколот между богатым белым Западом и Японией и бедными небелыми странами. Затем он был расколот национальным и имперским соперничеством. Далее довольно быстро произошло саморазрушение европейской цивилизации через ее собственный милитаризм, расизм и национализм. На смену ей пришли только две глобальные империи, а впоследствии еще одна, сопровождаемая ускоренным глобальным ростом капитализма, упадком расизма, сокращением числа войн между государствами и универсальным распространением идеала национального государства по всему миру. Они объединились в процесс универсальных, но по-прежнему множественных глобализаций, что вынесено в подзаголовок моего четвертого тома.

- Abramowitz, M. (1979). "Rapid growth potential and its realization: the experience of capitalist economies," in Edmund Malinvaud (ed.), *Economic Growth and Resources*. New York: St. Martin's Press, vol. I, p. 1–30.
- Abramowitz, M. and P. David (2001). "Two Centuries of American Macroeconomic Growth. From Exploitation of Resource Abundance to Knowledge-Driven Development," *StEPR Discussion Papers*, 01–05.
- Abse, T. (1996). "Italian Workers and Italian Fascism," in Richard Bessel (ed.), *Fascist Italy and Nazi Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Adamthwaite, A. (1995). *Grandeur and Misery: France's Bid for Power in Europe, 1914–1940*. London: St. Martins Press.
- Addison, P. (1975). *The Road to 1945*. London: Jonathan Cape.
- Addison, P. & J. Crang (eds.) 2010 *Listening to Britain: Home Intelligence Reports on Britain's Finest Hour May–September 1940*. London: Bodley Head.
- Akami, T. (2002). *Internationalizing the Pacific*. London: Routledge.
- Al-Sayyid, A. (1968). *Egypt and Cromer*. New York: Praeger.
- Aldcroft, D. (2001). *The European Economy 1914–2000*. London: Routledge, 4th edition. 2002 "Currency Stabilisation in the 1920s: Success or Failure?" *Economic Issues*, Vol. 7, Part 2.
- Alexander, M. (1992). *The Republic in Danger: General Maurice Gamelin and the Politics of French Defence, 1933–1940*. New York: Cambridge University Press.
- Allen, K. (2003). "Food on the German Home Front: Evidence from Berlin" in Gail Braybon (ed.), *Evidence, History and the Great War: Historians and the Impact of 1914–1918*. Oxford: Berghahn Books.
- Allen, R. (2004). *Farm to Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*. Princeton, NJ: Princeton University Press; Аллен, Р. (2013). *От фермы к фабрике. Новая интерпретация промышленной революции*. М.: РОССПЭН.
- Allen, T. (1997). *The Invention of the White Race*, 2 vols.: I – *Racial Oppression and Social Control*; II – *The Origin of Racial Oppression in Anglo-America*. New York: Verso.
- Aly, G. (2007). *Hitler's Beneficiaries: How the Nazis Bought the German People*. London: Verso.
- Amenta, E. et al. (1994). "Stolen Thunder? Huey Long's 'Share Our Wealth,' Political Mediation, and the Second New Deal," *American Sociological Review*. 59: 678–702.
- . (1998). *Bold Relief: Institutional Politics and the Origins of Modern American Social Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Amenta, E. and D. Halfmann (2000). "Wage wars: institutional politics, the WPA, and the struggle for U.S. social policy," *American Sociological Review*. 64: 506–28.
- Amenta, E. and T. Skocpol (1988). "Redefining the New Deal: World War II and the development of Social provision in the United States" in Margaret Weir et al. (eds.), *The Politics of Social Policy in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Amsden, A. (2001). *The Rise of "the Rest": Challenges to the West from Late-Industrializing Economies*. New York: Oxford University Press.
- Anderson, B. (1988). "Cacique Democracy in the Philippines: Origins and Dreams." *New Left Review*, No. 169.
- Anderson, Benjamin M. (1979). *Economics and the Public Welfare: A Financial and Economic History of the United States, 1914–1946*. Indianapolis: Liberty Press.
- Anderson, D. (2004). *Histories of the Hanged: Britain's Dirty War in Kenya and the End of Empire*. London: Weidenfeld.

- Anderson, P. (2010). "Two Revolutions," *New Left Review*, Jan–Feb, pp. 59–96.
- Andornino, G. (2006). "The nature and linkages of China's tributary system under the Ming and Qing dynasties," Working Papers of the Global Economic History Network, London School of Economics, No. 21/06.
- Ansell, C. (2001). *Schism and Solidarity in Social Movements: The Politics of Labor in the French Third Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anweiler, O. (1974). *The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905–1921*. New York: Pantheon Books.
- Appleby, J. (2001). "War, politics, and colonization, 1558–1625" in Nicholas Canny (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Vol. I, The Origins of Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Archer, R. (2007). *Why Is There No Labor Party in the United States?* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Arendt, H. (1968). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Viking; Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008.
- Armitage, D. (2000). *The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arnold, D. (1993). *Colonizing the Body: State, Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- . (2000). *Science, Technology and Medicine in Colonial India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aronowitz, S. (1973). *False Promises: The Shaping of American Working Class Consciousness*. New York: McGraw Hill.
- Arrighi, G. (1994). *The Long Twentieth Century*. London: Verso; Арриги, Дж. (2007). *Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени*. М.: Территория будущего.
- . (2007). *Adam Smith in Beijing. Lineages of the 21st Century*. London: Verso; Арриги, Дж. (2009). *Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век*. М.: Институт общественного проектирования.
- Arrighi, G. and B. Silver (1999). *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Atkinson, A. and T. Piketty (2007). *Top Incomes over the Twentieth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Atkinson, A. et al. (2009). "Top Incomes in the Long Run of History," NBER Working Paper, No. 15408.
- Auchincloss, L. (2001). *Theodore Roosevelt*. New York: Henry Holt.
- Audoin-Rouzeau, S. & A. Becker (2002). 14–18: *Understanding the Great War*. New York: Hill and Wang.
- Auerbach, A. and Y. Gorodnichenko (2011). "Fiscal multipliers in recession and expansion," National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 17447.
- Auslin, M. (2004). *Negotiating with Imperialism: the Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ayala, C. (1999). *Sugar Kingdom: The Plantation Economy of the Spanish Caribbean, 1898–1934*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Bairoch, P. (1982). "International industrialization levels from 1750 to 1980," *Journal of European Economic History*, 11: 269–334.
- Balderston, T. (2002). *Economics and Politics in the Weimar Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baldwin, P. (1990). *The Politics of Social Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barber, W. (1985). *From New Era to New Deal: Herbert Hoover, the Economists, and American Economic Policy, 1921–1933*. New York: Cambridge University Press.
- . (1996). *Designs Within Disorder: Franklin D. Roosevelt, the Economists, and the Shaping of American Economic Policy, 1933–1945*. New York: Cambridge University Press.
- Barnhart, M. (1987). *Japan Prepares for Total War: The Search for Economic Security, 1919–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Bartlett, R. (1994). *The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Bartov, O. (1985). *The Eastern Front, 1941–1945, German Troops and the Babarisation of Warfare*. London: Macmillan.
- Bauman, Z. (1989). *Modernity and The Holocaust*. Ithaca, New York: Cornell University Press; Бауман, З. (2010). *Актуальность холокоста*. М.: Европа.
- Bayly, C. (1996). *Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2004). *The Birth of the Modern World 1780–1914*. Oxford: Blackwell.
- Beaudreau, B. (1996). *Mass Production, the Stock Market Crash, and the Great Depression*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Becker, J.-J. (1977). 1914: Comment les français sont entrés dans la guerre. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
- . (1985). *The Great War and the French People*. Leamington Spa: Berg.
- Bellamy, P. (1997). *A History of Workmen's Compensation, 1898–1915: From Courtroom to Boardroom*. New York: Garland Publishing.
- Bensel, R. (2000). *The Political Economy of American Industrialization, 1877–1900*. New York: Cambridge University Press.
- Benson, J. and T. Matsumura (2001). *Japan 1868–1945: From Isolation to Occupation*. London: Longman Publishing.
- Benton, G. (1992). *Mountain Fires: The Red Army's Three-Way War in South China 1934–1938*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- . (1999). *New Fourth Army: Communist Resistance along the Yangtze and the Huai, 1938–1941*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Berezin, M. (1997). *Making the Fascist Self*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Berger, G. (1977). *Parties Out of Power in Japan, 1931–1941*. Princeton: Princeton University Press.
- . (1988). "Politics and mobilization in Japan, 1931–1945" in Peter Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan, Vol 6: The Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bergère, M.-C. (1989). *The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1911–1937*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Berkhoff, K. (2004). *Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Berkowitz E. & K. McQuaid (1992). *Creating the Welfare State: The Political Economy of 20th Century Reform*. Lawrence, KS: University Presses of Kansas.
- Bernanke, B. (2000). *Essays on the Great Depression*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bernanke, B. and H. James (1991). "The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison" in Glenn Hubbard (ed.), *Financial Markets and Financial Crises*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bernhardt, K. (1992). *Rents, Taxes and Peasant Resistance: the Lower Yangzi Region, 1840–1950*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Bernstein, M. (1987). *The Great Depression. Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2002). *A Perilous Progress: Economists and Public Purpose in Twentieth-Century America*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Berstein, S. and J.-J. Becker (1987). *Histoire de l'anticommunisme en France, 1917–1940*. Paris: Olivier Orban.
- Bertrand, C. L. (1977). *Revolutionary Situations in Europe, 1917–1922*. Montreal: Concordia University Press.
- Beschloss, M. (2002). *The Conqueror: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany, 1941–1945*. New York: Simon & Schuster.
- Betts, R. (1961). *Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890–1914*. New York: Columbia University Press.
- Bianco, L. (2001). *Peasants Without the Party. Grass-Roots Movements in Twentieth-Century China*. New York: M. E. Sharpe.
- . (2005). *Jacqueries et révolution dans la Chine du XXe siècle*. Paris: Editions de la Martinière.

- Billig, M. (1995). *Banal Nationalism*. London: Sage Publications.
- Bin Laden, O. (2005). *Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden*, ed., Bruce Lawrence. London: Verso.
- Bix, H. (1982). "Rethinking 'Emperor-System Fascism': Ruptures and Continuities in Modern Japanese History," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, Vol. 14:13–22.
- . (2001). *Hirohito and the Making of Modern Japan*. New York: Harper-Collins.
- Blackburn, R. (1997). *The Making of New World Slavery: from the Baroque to the Modern, 1492–1800*. London: Verso.
- Blee, K. (1991). *Women of the Klan. Racism and Gender in the 1920s*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Blum, E. (2005). *Reforging the White Republic: Race, Religion and American Nationalism, 1865–1898*. Baton Rouge: Louisiana State Press.
- Blustein, P. (2001). *The Chastening: Inside the Crisis That Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF*. New York: Public Affairs.
- Bond, B. (2002). *The Unquiet Western Front: Britain's Role in Literature and History*. New York: Cambridge University Press.
- Bonnell, V. (1983). *Roots of Rebellion*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Bonzon, T. (1997). "Transfer payments and social policy" in Jay Winter & Jean-Louis Robert (eds.), *Capital Cities at War, 1914–1919*, pp. 305–341. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonzon, T. & B. Davis (1997). "Feeding the cities," in Jay Winter & Jean-Louis Robert (eds.), *Capital Cities at War, 1914–1919*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boot, M. (2002). *The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power*. New York: Basic Books.
- Bordo, M. & H. Rockoff (1996). "The Gold Standard as a 'Good Housekeeping Seal of Approval'," *Journal of Economic History*, Vol. 56: 389–428.
- Bordo, M. et al. (1999). "Was Expansionary Monetary Policy Feasible During the Great Contraction? An Examination of the Gold Standard Constraint," NBER Working Paper, No. 7125.
- Bordo, M. et al. (eds.) (1998). "Editor's Introduction" to their *The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bosch, A. (1997). "Why is There No Labor Party in the United States? A Comparative New World Case Study: Australia and the U.S., 1783–1914," *Radical History Review*, 67: 35–78.
- Boudreau, V. (2003). "Methods of Domination and Modes of Resistance: The U.S. Colonial State and Philippine Mobilization in Comparative Perspective" in Julian Go & Anne Foster (eds.), *The American Colonial State in the Philippines: Global Perspectives*, p. 256–90. Durham, NC: Duke University Press.
- Bourke, J. (1999). *An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare*. New York: Basic Books.
- Brachet-Campseur, F. (2004). "De l'odalisque de Poirêt à la femme nouvelle de Chanel: une victoire de la femme?" in Evelyne Morin-Rotureau (ed.), *1914–1918: combats de femmes*. Paris: Autrement.
- Brandt, L. (1989). *Commercialization and Agricultural Development in East-Central China, 1870–1937*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Breitman, R. (1981). *German Socialism and Weimar Democracy*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Brennan, L. et al. (1997). "Towards an Anthropometric History of Indians under British Rule," *Research in Economic History*, Vol. 17: 185–246.
- Brenner, R. (2006). "What is, and what is not, imperialism," *Historical Materialism*, 14: 79–105; Бреннер, Р. (2008). Что является империализмом и что им не является? // Прогнозис. №2. С. 186–212.
- Brinkley, A. (1996). *The End of Reform*. New York: Random House.
- Broadberry, Stephen & Mark Harrison 2005 "The economics of World War I: an overview" in S. Broadberry & M. Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 3–40. Cambridge: Cambridge University Press.
- Broadberry, S. & P. Howlett (2005). "The United Kingdom during World War I: business as

- usual" in S. Broadberry & M. Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 206–234. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brooks, B. (2000). *Japan's Imperial Diplomacy: Consuls, Treaty Ports, and War in China 1895–1938*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Broszat, M. (1981). *The Hitler State. The Foundation and Development of the Internal Structure of the Third Reich*. London: Longman.
- Broue, P. (2005). *The German Revolution, 1917–1923*. Leiden: Brill. Brown, Archibald 2009 *The Rise and Fall of Communism, 2009*. New York: Harper Collins.
- Browning, C. (2004). *The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939–March 1942*. With contributions by Juergen Matthaeus. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Brunner, K. (1981). "Epilogue: Understanding the Great Depression" in K. Brunner (ed.), *The Great Depression Revisited*, p. 316–58. Boston: Mattinus Nijhoff.
- Brustein, W. (1996). *The Logic of Evil: The Social Origins of the Nazi Party, 1925–1933*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Bry, G. (1960). *Wages in Germany, 1871–1945*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bryant, J. (2008). "A New Sociology for a New History? Further Critical Thoughts on the Eurasian Similarity and Great Divergence Theses," *Canadian Journal of Sociology*, Vol. 33: 149–67.
- Bucheli, M. (2005). *Bananas and Business: The United Fruit Company in Colombia, 1899–2000*. New York: New York University Press.
- Buettner, E. (2004). *Empire Families: Britons and Late Imperial India*. Oxford: Oxford University Press.
- Bulmer-Thomas, V. (1994). *The Economic History of Latin America Since Independence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burk, K. (1982). *War and the States: The Transformation of British Government, 1914–1919*. London: Allen & Unwin.
- Burroughs, P. (2001). "Imperial Institutions and the Government of Empire" in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol. 111: *The Nineteenth Century*, p. 170–197. Oxford: Oxford University Press.
- Cain P.J. and A. G. Hopkins (1986). "Gentlemanly Capitalism and British Overseas Expansion—Part I 1688–1850," *Economic History Review*, 39: 501–25.
- . (2002). *British Imperialism, 1688–2000*. Harlow: Pearson.
- Calata, A. (2002). "The role of education in Americanizing Filipinos" in Hazel M. McFerson (ed.), *Mixed Blessing: The Impact of the American Colonial Experience on Politics and Society in the Philippines*, p. 89–97. Westport, CT: Greenwood Press.
- Calder, L. (1999). *Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Callwell, Colonel C. E. (1906). *Small Wars: Their Principles and Practice*. London: His Majesty's Stationery Office, 3rd edition.
- Campbell, B. (1995). *The Growth of American Government: Governance from the Cleveland Era to the Present*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Cannadine, D. (2001). *Ornamentalism: How the British Saw their Empire*. London, Allen Lane/Penguin.
- Canny, N. (2001). "Introduction" in N. Canny (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol. I: *The Origins of Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Carley, M.J. (1999). *1939: The Alliance That Never Was and the Coming of World War II*. Chicago: Ivan R. Dee.
- Carsten, F.L. (1972). *Revolution in Central Europe, 1918–1919*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- . (1980). *The Rise of Fascism*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Carsten, F. (1977). *Fascist movements in Austria: From Schoenerer to Hitler*. London: Sage.
- Cecchetti, S. and G. Karras (1994). "Sources of Output Fluctuations During the Interwar Period: Further Evidence on the Causes of the Great Depression," *Review of Economics and Statistics*, 76: 80–102.
- Cell, J. (2001). "Colonial Rule" in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol. 111: *The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.

- Centeno, M. (2002). *Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America*. College Park, PA: Penn State University Press.
- Cha, M. S. (2000). "The colonial origins of Korea's market economy" in A. Latham & Heita Kawakatsu (eds.), *Asia-Pacific Dynamism, 1550–2000*, pp. 86–103. London: Routledge.
- Chan, G. (2003) "The Communists in Rural Guangdong, 1928–1936," *Journal of the Royal Asiatic Society*, 3/13: 77–97.
- Chandler, A. (1977). *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Chang, J. (1969). *Industrial Development in Pre-Communist China*. Chicago: Aldine.
- Chang, Maria Hsia 1979 "Fascism and Modern China," *The China Quarterly*, 79, 553–67.
- Charmley, J. (1993). *Churchill: The End of Glory*. London: Hodder and Stoughton.
- Chase, K. (2003). *Firearms: A Global History to 1700*. New York: Cambridge University Press.
- Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton: Princeton University Press.
- Chen, Yung-fa (1986). *Making Revolution: The Communist Movement in eastern and Central China, 1937–1945*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Childers, T. (1983). *The Nazi Voter: The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919–1933*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Chou, Wan-yao (1996). "The Kominka movement in Taiwan and Korea" in Peter Duus et al. (eds.), *The Japanese Wartime Empire, 1931–1945*, p. 40–68. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Clark, D. (1997). *Like Night and Day: Unionization in a Southern Mill Town*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Clavin, P. (2000). *The Great Depression in Europe, 1929–1939*. New York: St. Martins Press.
- Clemens, E. (1997). *The People's Lobby: Organizational Innovation and the Rise of Interest Group Politics in the United States, 1890–1925*. Chicago: University of Chicago Press.
- Clemens, M. & J. Williamson (2004). "Wealth bias in the first global capital market boom, 1870–1913," *The Economic Journal*, 114: 304–37.
- Cline, W. (2004). *Trade Policy and Global Poverty*. Washington, DC: Institute for International Economics.
- Coatsworth, J. (1994). *Central America and the United States: The Clients and the Colossus*. New York: Twayne.
- Coble, P. (1986). *The Shanghai Capitalists and the Nationalist Government, 1927–1937*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cohen, L. (1990). *Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2003). *A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*. New York: Knopf.
- Cohen, N. (2002). *The Reconstruction of American Liberalism, 1865–1914*. Durham, NC: University of North Carolina Press.
- Cohen, S. (2001). *Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia*. New York: Norton.
- Cohen, W. (2005). *America's Failing Empire: US Foreign Relations Since the Cold War*. Oxford: Blackwell.
- Cole, H. et al. (2005). "Deflation and the International Great Depression: A Productivity Puzzle," NBER Working Paper, No. 11237.
- Collingham, E. M. (2001). *Imperial Bodies: The Physical Experience of the Raj, c. 1800–1947*. Cambridge: Polity.
- Collins, R. (1994). "Why the Social Sciences won't become high-consensus, rapid-discovery science," *Sociological Forum*, 9 (2): 155–77.
- . (2008). *Violence: A Micro-Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Colville, Sir John (1985). *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955*. London: Hodder & Stoughton.
- Conklin, A. (1998). *A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa 1895–1930*. Stanford: Stanford University Press.
- Connor, W. (1991). *The Accidental Proletariat: Workers, Politics, and Crisis in Gorbachev's Russia*. Princeton: Princeton University Press.
- Cook, H. and T. Cook (1992). *Japan at War: An Oral History*. New York: The New Press.

- Costa, D. (2000). "American Living Standards, 1888–1994: Evidence From Consumer Expenditures," NBER Working Paper, No. 7650.
- Cott, N. (1987). *The Grounding of Modern Feminism*. New Haven: Yale University Press.
- Couch, J. and W. Shughart (1998). *The Political Economy of the New Deal*. Cheltenham, Glos.: Edward Elgar.
- Cox, R. (1994). *Power and Profits: US Policy in Central America*. Lexington, KY: University of Kentucky Press.
- Coyne, C. (2007). *After War: The Political Economy of Exporting Democracy*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Craig, D. (1992). *After Wilson: The Struggle for the Democratic Part, 1920–1934*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Crawcour, S. (1997a). "Economic change in the nineteenth century," in Kozo Yamamura (ed.), *The Economic Emergence of Modern Japan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1997b). "Industrialization and technological change, 1885–1920," in Kozo Yamamura (ed.), *The Economic Emergence of Modern Japan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1998). "Industrialization and technological change, 1885–1920," in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan, Vol 6: The Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cronin, J. and C. Sirianni (eds.) (1983). *Work, Community & Power: The Experience of Labor in Europe and America, 1900–1925*. Philadelphia: Temple University Press.
- Crosby, A. (1993). *Ecological Imperialism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crowder, M. (1968). *West Africa Under Colonial Rule*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Cummings, B. (1990). *The Origins of the Korean War, Vol. 1, Liberation and the Emergence of Separate Regimes, 1945–1947. Vol. 2, The Roaring of the Cataract, 1947–1950*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2004). *North Korea: Another Country*. New York: New Press.
- Dalrymple, W. (2002). *White Mughals: Love and Betrayal in Eighteenth-Century India*. London: Harper Collins.
- Daniel, U. (1997). *The War From Within: German Working-Class Women in the First World War*. Oxford & New York: Berg.
- Darwin, J. (2009). *The Empire Project. The Rise and Fall of the British World-System, 1830–1970*. Cambridge: Cambridge University Press.
- David, P. and G. Wright (1999). "Early Twentieth Century Growth Dynamics," SIEPR Discussion Papers in Economic and Social History, No. 98–3.
- Davies, G. and M. Derthick (1997). "Race and social welfare policy: the Social Security Act of 1935," *Political Science Quarterly*, 112: 217–36.
- Davies, R. W. (1989). *The Soviet Economy in Turmoil, 1929–1930*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1996). *The Industrialisation of Soviet Russia, vol. 4, Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933*. Basingstoke, Hants: Macmillan Press.
- Davies, R. W. and Stephen G. Wheatcroft (2004). *The Industrialisation of Soviet Russia, Vol. 5: The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*. New York: Palgrave Macmillan.
- Davis, B. (2000). *Home Fires Burning: Food, Politics, and Everyday Life in World War I Berlin*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Davis, C. (1997). *Power At Odds: The 1922 National Railroad Shopmen's Strike*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Davis, L. and R. Huttenback (1987). *Mammon and the Pursuit of Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davis, M. (2000). *Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World*. New York: Verso.
- Dawley, A. (1991). *Struggles for Justice: Social Responsibility and the Liberal State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- De Felice, R. (1974). *Mussolini il Duce*. Turin: Einaudi.
- DeLong, B. (1990). "Liquidity Cycles: Old Fashioned Real Business Cycle Theory and the Great Depression," NBER Working Paper, No. 3546.

- DeLong, B. and A. Shleifer (1991). "The Stock Market Bubble of 1929: Evidence from Closed-end Mutual Funds," *The Journal of Economic History*, 51: 675–700.
- Dickinson, F. (1999). *War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914–1919*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Digby, W. (1901). *Prosperous British India: A Revelation from the Official Records*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Dilks, D. (1969). *Curzon in India, Vol 1: Achievement*. New York: Taplinger.
- Dirlik, A. (2003). "Beyond Chesnaux: workers, class and the socialist revolution in modern China," *International Review of Social History*, 48: 79–99.
- Dodge, T. (2003). *Inventing Iraq: The Failure of Nation-Building and a History Denied*. New York: Columbia University Press.
- Domhoff, W. (1990). *The Power Elite and the State. How Policy is Made in America*. New York: Aldine De Gruyter.
- . (1996). *State Autonomy or Class Dominance? Case Studies in Policy Making in America*. New York: Aldine de Gruyter.
- Domhoff, W. and M. Webber (2011). *Class and Power in the New Deal: Corporate Moderates, Southern Democrats, and The Liberal-Labor Coalition*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Dosal, P. (1993). *Doing Business with the Dictators: A Political History of United Fruit in Guatemala, 1899–1944*. Wilmington, DE: Scholarly Resources.
- Doyle, M. (1986). *Empires*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Drabble, J. (2000). *An Economic History of Malaysia, c. 1800–1990: The Transition to Modern Economic Growth*. London: Macmillan.
- Drachkovitch, M. & B. Lazitch (1966). "The Communist International" in M. Drachkovitch (ed.), *The Revolutionary Internationals, 1864–1943*, pp. 159–202. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Drake, P. (1991). "From Good Men to Neighbors: 1912–1932" in Richard Lowenthal (ed.), *Exporting Democracy*, p. 3–40. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Drayton, R. (2000). *Nature's Government: Science, Imperial Britain, and the 'Improvement' of the World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- . (2001). "Knowledge and Empire" in Peter Marshall (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Volume 11: The Eighteenth Century*, pp. 231–252. Oxford: Oxford University Press.
- Drescher, S. (2002). *The Mighty Experiment: Free Labor versus Slavery in British Emancipation*. New York: Oxford University Press.
- Dreyer, E. (1995). *China at War, 1901–1949*. London: Longman.
- Dreyfus, M. et al. (2006). *Se protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Drukker, J.W. (2006). *The Revolution that Bit its Own Tail: How Economic History Changed our Ideas on Economic Growth*. Amsterdam: Aksant.
- Duara, P. (1988). *Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900–1942*. Stanford: Stanford University Press.
- Duménil, G. & D. Lévy (1995). "The Great Depression: A Paradoxical Event?" CEPREMAP, paper no. 9510, Paris.
- Dunn, J. (1972). *Modern Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dunn, W. (1997). *Kursk: Hitler's Gamble, 1943*. New York: Praeger.
- Dupuy, T. (1977). *A Genius For War: the German Army and the General Staff, 1807–1945*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Dutton, P. (2002). *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France 1914–1947*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Duus, P. (1995). *The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895–1910*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- . (1996). "Introduction" in Duus et al. (eds.) 1996 *The Japanese Wartime Empire, 1931–1945*. Princeton: Princeton University Press.
- Duus, P. and D. Okimoto (1979). "Fascism and the History of Prewar Japan: The Failure of a Concept," *Journal of Asian Studies*, 39: 65–76.

- Easter, G. (2000). *Reconstructing the State: Personal Networks and Elite Identity in Soviet Russia*. New York: Cambridge University Press.
- Easterlin, R. (2000). "The Worldwide Standard of Living since 1800," *Journal of Economic Perspectives*, 14: 17–26.
- Eastman, L. (1984). *Seeds of Destruction: Nationalist China in War and Revolution, 1937–1949*. Stanford: Stanford University Press. 1990 *The Abortive Revolution. China under Nationalist Rule, 1927–1937*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Eckelt, F. (1971). "Internal Policies of the Hungarian Soviet Republic" in Ivan Volgyes (ed.), *Hungary in Revolution, 1918–1919*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Eckert, C. (1996). "Total war, industrialization and social change in late colonial Korea" in Peter Duus et al. (eds.), *The Japanese Wartime Empire, 1931–1945*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Eckes, A. (1995). *Opening America's Market: U.S. Foreign Trade Policy since 1776*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Edgerton, D. (2005). *Warfare State: Britain, 1920–1970*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eichengreen, B. (1992). *Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939*. New York: Oxford University Press.
- . (1996). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Eichengreen, B. & P. Temin (1997). "The Gold Standard and the Great Depression," NBER Working Paper, No. W6060.
- Eiji, O. (2002). *The Genealogy of 'Japanese' Self-Images*. Melbourne: Trans Pacific Press.
- Elkins, C. (2005). *Britain's Gulag: The Brutal End of Empire in Kenya*. London: Cape.
- Eltis, D. (2000). *The Rise of African Slavery in the Americas*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Elvin, M. (1996). *Another History. Essays on China from a European Perspective*. Sydney: Wild Peony Press.
- Epstein, P. et al. (2000). "Distribution Dynamics: Stratification, Polarization and Convergence Among OECD Economies, 1870–1992," London School of Economics, Department of Economic History Working Papers, No. 58/00.
- Esherrick, J. (1995). "Ten theses on the Chinese revolution," *Modern China*, 21, 45–76.
- . (1998). "Revolution in a feudal fortress," *Modern China*, 24, 339–77.
- Esping-Andersen, G. (1985). *Politics against Markets*. Princeton: Princeton University Press.
- . (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Etemad, B. (2005). *De l'utilité des empires*. Paris: Armand Colin.
- . (2007). *Possessing the World: Taking the Measurements of Colonisation from the 18th to the 20th Century*. New York: Berghahn Books.
- Evans, D. and M. Peattie (1997). *Kaigun: Strategy, Tactics and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887–1941*. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
- Evans, R. (2006). *The Third Reich in Power*. London: Penguin; Эванс, Р. (2010). Третий рейх. Дни триумфа. 1933–1939. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель.
- Ewell, J. (1996). *Venezuela and the United States: From Monroe's Hemisphere to Petroleum's Empire*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- Fackler, J. (1998). "Propagation of the Depression: Theories and Evidence," in Mark Wheeler (ed.), *The Economics of the Great Depression*, pp. 95–126. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.
- Fairbank, J. (ed.) (1968). *The Chinese World Order. Traditional China's Foreign Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Federico, G. (2005). *Feeding the World: An Economic History of Agriculture, 1800–2000*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Feldman, G. (1966). *Army, Industry, and Labor in Germany, 1914–1918*. Princeton: Princeton University Press.
- . (1977). *Iron and Steel in the German Inflation, 1916–1923*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ferguson, N. (1999). *The Pity of War: Explaining World War I*. New York: Basic Books.

- . (2002). *Empire: How Britain Made the Modern World*. New York: Basic Books; Фергюсон, Н. (2013). *Империя. Чем современный мир обязан Британии*. М.: Астрель: CORPUS.
- . (2004). *Colossus. The Price of America's Empire*. London: Penguin.
- . (2006). *The War of the World*. London: Penguin.
- Ferro, M. (1972). *The Russian Revolution of February 1917*. New York: Prentice-Hall International.
- Field, A. (2006). "Technological Change and U.S. Productivity Growth in the Interwar Years," *The Journal of Economic History*, 66: 203–36.
- . (2011). *A Great Leap Forward. 1930s Depression and US Economic Growth*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Fieldhouse, D. (1973). *Economics and Empire 1830–1914*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- . (1999). *The West and the Third World: Trade, Colonialism, Dependence, and Development*. Oxford: Blackwell.
- Figes, O. (1997). *A People's Tragedy: A History of the Russian Revolution*. New York: Viking Books.
- Finegold, K. and T. Skocpol (1984). "State, Party and Industry: From Business Recovery to the Wagner Act in America's New Deal" in C. Bright & S. Harding (eds.), *Statemaking and Social Movements*, p. 159–92. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- . (1995). *State and Party in America's New Deal*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Fink, L. (1997). *Progressive Intellectuals and the Dilemmas of Democratic Commitment*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fischer, C. & M. Hout (2006). *Century of Difference: How America Changed in the Last One Hundred Years*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fitzpatrick, S. (1999). *Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s*. Oxford: Oxford University Press; Шейла, Ф. (2001). *Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы*. М.: РОССПЭН.
- Flora, P. (1983). *State, Economy, and Society in Western Europe 1815–1975: A Data Handbook. Volume I: The Growth of Mass Democracies and Welfare States*. London: Macmillan.
- Flora, P. and A. Heidenheimer (1981). *The Development of Welfare States in Europe and America*. New Brunswick: Transaction Books.
- Floud, R. et al. (2011). *The Changing Body. Health, Nutrition and Human Development in the Western World since 1700*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foran, J. (2005). *Taking Power: On the origins of Third World Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fowkes, B. (1984). *Communism in Germany under the Weimar Republic*. London: Palgrave Macmillan.
- Fraser, S. (1989). "The Labor Question" in S. Fraser & Gary Gerstle (eds.), *The Rise and Fall of the New Deal Order*, p. 55–84. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Friedlaender, S. (1997). *Nazi Germany and the Jews. Vol I: The Years of Persecution, 1933–1939*. New York: Harper Collins.
- Friedman, E. (1991). *Chinese Village, Socialist State*. New Haven: Yale University Press.
- Friedman, M. & A. Schwartz (1963). *A Monetary History of the United States, 1867–1960*. Chicago: University of Chicago Press; Фридман, М., Шварц, А. (2007). *Монетарная история Соединенных Штатов, 1867–1960*. М.: Ваклер.
- Frieser, K.-H. (2005). *The Blitzkrieg Legend: The 1940 Campaign in the West*. Annapolis: Naval Institute Press.
- Fritz, S. (1995). *Frontsoldaten. The German Soldier in World War II*. Lexington, KY: University Press of Kentucky.
- Fritzsche, P. (2008). *Life and Death in the Third Reich*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Fukuyama, F. (2011). *The Origins of Political Order*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Galassi, F. & M. Harrison (2005). "Italy at War, 1915–1918" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 276–309. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galbraith, J. (1963). *Reluctant Empire: British Policy on the South African Frontier, 1834–1854*. Berkeley: University of California Press.
- Gallagher, J. A. and R. E. Robinson (1953). "The Imperialism of Free Trade," *Economic History Review*, Vol. 6, 1–15.

- Gallie, D. (1983). *Social Inequality and Class Radicalism in France and Britain*. London, UK: Cambridge University Press.
- Garon, S. (1987). *The State and Labor in modern Japan*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Gatrell, P. (2005). *Russia's First World War. A Social and Economic History*. Harlow: Pearson.
- Gauthier, A. H. (1998). *The State and the Family*. Oxford: Clarendon Press.
- Geary, D. (1981). *European Labour Protest, 1848–1939*. New York: St. Martin's Press.
- Geisert, B. (2001). *Radicalism and Its Demise: The Chinese Nationalist Party, Factionalism and Elites in Jiangsu Province, 1924–1931*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Gelber, H. (2001). *Nations Out of Empires: European Nationalism and the Transformation of Asia*. New York: Palgrave.
- Gellman, I. (1979). *Good Neighbor Diplomacy: United States Policies in Latin America, 1933–1945*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- . (1995). *Secret Affairs. Franklin Roosevelt, Cordell Hull and Sumner Welles*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Gentile, E. (1990). "Fascism as political religion," *Journal of Contemporary History*, 25: 229–52.
- Gerstle, G. (1989). *Working-Class Americanism: The Politics of Labor in a Textile City, 1914–1960*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Getty, J. A. (1985). *Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938*. New York, Cambridge University Press.
- Getty, J. A. & O. Naumov (1999). *The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939*. New Haven: Yale University Press.
- Gill, G. (1979). *Peasants and Government in the Russian Revolution*. New York: Barnes & Noble Books.
- Glantz, D. (1998). *Stumbling Colossus: The Red Army on the Eve of World War*. Lawrence: University of Kansas Press.
- Gleditsch, K. (2004). "A revised list of wars between and within independent states, 1816–2002," *International Interactions*, 30: 231–62.
- Gluck, C. (1985). *Japan's Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Go, J. (2003). "The Chains of Empire: State Building and 'Political Education' in Puerto Rico and the Philippines" in J. Go & A. Foster (eds.), *The American Colonial State in the Philippines: Global Perspectives*, p. 182–216. Durham, NC: Duke University Press.
- . (2004). "America's Colonial Empire: the Limits of Power," *Items & Issues (Quarterly of the Social Science Research Council)*, Vol. 4.
- . (2008). *American Empire and the Politics of Meaning: Elite Political Cultures in the Philippines and Puerto Rico during U.S. Colonialism*. Durham: Duke University Press.
- . (2011). *Patterns of Empire. The British and American Empires, 1688 to the Present*. New York: Cambridge University Press.
- Godfrey, J. (1987). *Capitalism at War: Industrial Policy and Bureaucracy in France, 1914–1918*. Leamington Spa: Berg.
- Goebbels, J. (1948). *The Goebbels Diaries, 1942–1943*. Garden City, New York: Doubleday.
- Goebel, T. (2002). *A Government by the People: Direct Democracy in America, 1890–1940*. Durham, NC: University of North Carolina Press.
- Goldfield, M. (1989). "Worker insurgency, radical organization, and New Deal labor legislation," *American Political Science Review*, 83: 1257–82.
- . (1997). *The Color of Politics: Race and the Mainsprings of American Politics*. New York: The New Press.
- Goldfrank, W. (1979). "Theories of revolution and revolution without theory," *Theory and Society*, 7: 135–65.
- Goldin, C. & L. Katz (1999). "The Shaping Of Higher Education: The Formative Years in the United States, 1890–1940," *Journal of Economic Perspectives*, 13: 37–62.
- . 2003 "The 'Virtues' of the Past: Education in the First Hundred Years of the New Republic," NBER Working Paper, No. 9958.
- Goldin, C. & R. Margo (1992). "The Great Compression: Wage Structure in the United States at Mid-Century," *Quarterly Journal of Economics*, 107: 1–34.

- Goldstone, J. (2001). "Toward a fourth generation of revolutionary theory," *Annual Review of Political Science*, 4: 139–87; Голдстоу, Дж. К теории революции четвертого поколения // *Логос*. 2006. № 5.
- . (2004). "Its all about state structure: new findings on revolutionary origins from global data," *Homo Oeconomicus*, 21: 429–55.
- . (2009). "Revolutions," in Todd Landman & Neil Robinson (eds.), *The Sage Handbook of Comparative Politics*, p. 319–347. Los Angeles: Sage.
- Goodman, D. (2000). *Social and Political Change in Revolutionary China: The Taihang Base Area in the War of Resistance to Japan, 1937–1945*. New York: Rowman & Littlefield.
- Goodwin, J. (2001). *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. New York: Cambridge University Press.
- Gordon, A. (1985). *The Evolution of Labor Relations in Japan: Heavy Industry, 1853–1955*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (1991). *Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- . (2003). *A Modern History of Japan from Tokugawa Times to the Present*. New York: Oxford University Press.
- Gordon, C. (1994). *New Deals: Business, Labor and Politics in America, 1920–1935*. New York: Cambridge University Press.
- . (2003). *Dead on Arrival: The Politics of Health Care in Twentieth-Century America*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gordon, D. (2006). "Historiographical Essay: The China-Japan War, 1931–1945," *Journal of Military History*, 70, 137–82.
- Gordon, R. (2005). "The 1920s and 1990s in mutual reflection," *NBER Working Paper*, No. 11778.
- Gordon, R. and J. Wilcox (1981). "Monetarist Interpretations of the. Great Depression: An Evaluation and Critique" in Brunner (ed.), *The Great Depression Revisited*, p. 49–107. Boston: Mattinus Nijhoff.
- Gordon, R. and J. Veitch (1986). "Fixed investment in the American business cycle, 1919–1983" in R. Gordon (ed.), *The American Business Cycle: Continuity and Change*, p. 267–335. Chicago: University of Chicago Press.
- Gordon, S. (1984). *Hitler, Germans and the "Jewish Question"*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gorodetsky, G. (1999). *Grand Delusion: Stalin and the German Invasion of Russia*. New Haven: Yale University Press.
- Gorski, P. (2003). *The Disciplinary Revolution—Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Goto, Ken'ichi (1996). "Cooperation, submission and resistance of indigenous elites of southeast Asia in the wartime empire" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Vol 6: *The Twentieth Century*, p. 274–304. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2003). *Tensions of Empire: Japan and Southeast Asia in the Colonial and Postcolonial World*. Athens, Ohio: Ohio University Press.
- Grayzel, S. (1999). *Women's Identities at War: Gender, Motherhood, and Politics in Britain and France during the First World War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Gregory, A. (2003). "British War Enthusiasm: A reassessment," in Gail Braybon (ed.), *Women's Identities at War: Gender, Motherhood, and Politics in Britain and France during the First World War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Gregory, P. (2004). *The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives*. Cambridge: Cambridge University Press; Грегори, П. (2008). *Политическая экономия сталинизма*. М.: РОССПЭН.
- Griffin, R. (2002). "The primacy of culture: the current growth (or manufacture) of consensus within fascist studies," *Journal of Contemporary History*, 37: 21–43.
- Guerin-Gonzales, C. (1994). *Mexican Workers and American Dreams: Immigration, Repatriation, and California Farm Labor, 1900–1939*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Gulick, L. H. (1948). *Administrative Reflections from WWII*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

- Hacker, J. & P. Pierson (2002). "Business Power and Social Policy: Employers and the Formation of the American Welfare State," *Politics & Society*, 30: 277–325.
- Hagtvet, B. (1980). "The Theory of Mass Society and Weimar" in Stein Larsen et al. (eds.), *Who Were the Fascists?: Social Roots of European Fascism*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Haimson, L. (1964–1965). "The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917," *Slavic Review*, 23: 619–42; 24: 1–22.
- Hamilton, J. (1987). "Monetary Factors in the Great Depression," *Journal of Monetary Economics*, 19: 145–69.
- . (1988). "The Role of the International Gold Standard in Propagating the Great Depression," *Contemporary Policy Issues*, 6: 67–89.
- Hane, M. (1992). *Modern Japan: A Historical Survey*. Boulder: Westview Press. Hannah, Leslie "Logistics, market size and giant plants in the early 20th century—a global view," unpublished paper, University of Tokyo, Faculty of Economics.
- Hara, A. (1998). "Japan: Guns Before Rice" in Mark Harrison (ed.), *The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harrison, M. (ed.) (1998). *The Economics of World War II*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harrison, R. (1997). *State and Society in Twentieth Century America*. London: Longman.
- . (2004). *Progressive Reform and the New American State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harsch, D. (1993). *German Social Democracy and the Rise of Nazism*. Chapel Hill: University North Carolina Press.
- Hartford, K. (1989). "Repression and communist success: the case of Jin-Cha-Ji, 1938–1943" in Hartford & Steven Goldstein (eds.), *Single Sparks: China's Rural Revolutions*, p. 92–127. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasegawa, T. (1981). *The February Revolution*. Seattle: University of Washington Press.
- Hata, I. (1988). "Continental Expansion, 1905–1941" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Vol 6: *The Twentieth Century*, p. 271–304. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hautcoeur, P.-C. (2005). "Was the Great War a watershed? The economics of World War I in France" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 169–205. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hawks, F. (ed.) (2005). *Commodore Perry and the Opening of Japan. The Official Report of the Expedition to Japan*. Stroud, Glos: Nonesuch.
- Haydu, J. (1997). *Making American Industry Safe for Democracy: Comparative Perspectives on the State and Employee Representation in the Era of World War II*. Champaign: University of Illinois Press.
- Hayes, Jack Jr. (2001). *South Carolina and the New Deal*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Headrick, D. (1981). *The Tools of Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Healy, D. (1963). *The United States in Cuba, 1898–1902: Generals, Politicians and the Search for Policy*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Healy, M. (2004). *Vienna and the Fall of the Habsburg Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hewitson, M. (2004). *Germany and the Causes of the First World War*. Oxford & New York: Berg.
- Hicks, A. et al. (1995). "The programmatic emergence of the social security state," *American Sociological Review*, 60: 329–49.
- (1999). *Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hidalgo, J. (2002). "Cacique democracy and future politics in the Philippines" in Mcferson (ed.), *Mixed Blessing: The Impact of the American Colonial Experience on Politics and Society in the Philippines*, p. 209–240. Westport, CT: Greenwood Press.
- Higgs, R. (1989). *Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government*. New York: Oxford University Press; Хиггс, Р. (2010). *Кризис и Левиафан: поворотные моменты роста американского правительства*. М.: ИРИСЭН, Мысль.

- Hinton, W. (1973). *The First Shop Stewards' Movement*. London: George Allen & Unwin.
- Hinton, W. (1966). *Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village*. New York: Monthly Review Press.
- Hirsch, S. (2003). *After the Strike: A Century of Labor Struggle at Pullman*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Ho, Samuel Pao-San (1984). "Colonialism and Development: Korea, Taiwan and Kwantung" in Ramon Myers & Mark Peattie (eds.), *The Japanese Colonial Empire, 1895-1945*. Princeton: Princeton University Press.
- Hobsbawm, E. (1994). *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991*. London: Michael Joseph; Хобсбаум, Э. (2004). *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век, 1914-1991*. М.: Издательство «Независимая Газета».
- Hobson, J. A. (1902). *Imperialism, A Study*. New York: James Pott and Co.; Гобсон, Дж. А. (1927). *Империализм*. Л.: Прибой.
- Hogan, H. (1993). *Forging Revolution: Metalworkers, Managers, and the State in St. Petersburg, 1890-1914*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Holden, R. (2004). *Armies Without Nations: Public Violence and State Formation in Central America 1821-1960*. Oxford: Oxford University Press.
- Holquist, P. (2002). *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis 1914-1921*. Cambridge: Harvard University Press.
- Honey, M. (1993). *Southern Labor and Black Civil Rights' Organizing Memphis Workers*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hong, Young-Sun (1998). *Welfare, Modernity and the Weimar State: 1919-1933*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hough, J. (1997). *Democratization and Revolution in the USSR, 1985-1991*. Washington, DC: Brookings Institute.
- Howell, D. (2002). *MacDonald's Party: Labour Identities and Crisis, 1922-1931*. Oxford: Oxford University Press.
- Huang, J. (2000). *Factionalism in Chinese Communist Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huang, M. and H. Yang (2001). "Nationalist China: Negotiating Positions During the Stalemate, 1938-1945" in David Barrett & Larry Shyu (eds.), *Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945*. Stanford: Stanford University Press.
- Huang, P. (1985). *The Peasant Economy and Social Change in North China*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (1990). *The Peasant Family and Rural Development in the Yangtzi Delta, 1350-1988*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (2001). *Code, Custom and Legal Practice in China. The Qing and the Republic Compared*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Huggins, M. (1998). *Political Policing: The United States and Latin America*. Durham, NC: Duke University Press.
- Hull, I. (2005). *Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hunt, R. (1970). *German Social Democracy, 1918-1933*. New Haven: Yale University Press.
- Hunter, H. (1988). "Soviet agriculture with and without collectivization, 1928-1940," *Slavic Review*, 47: 203-16.
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave*. Norman, OK: University of Oklahoma Press; Хантингтон С. (2003). *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М.: РОССПЭН.
- Hyam, R. (2001). "Trusteeship, Anti-Slavery and Humanitarianism" in Andrew Porter (ed.), *The Third Wave*. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
- Ikegami, Eiko (1997). *The Taming of the Samurai Honorific Individualism and the Making of Modern Japan*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2004). *Bonds of Civility: Aesthetic Networks and the Political Origins of Japanese Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Imlay, T. (2003). *Facing the Second World War: Strategy, Politics, and Economics in Britain and France 1938-1940*. New York: Oxford University Press.
- Ingham, G. (1984). *Capitalism Divided?* London: Macmillan.
- . (2009). *Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

- Inikori, J. (2002). *Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Economic Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Labor Office 1938 *Industrial Labor in India*. Geneva: ILO.
- Iriye, A. (1974). "The failure of economic expansionism, 1918–1931" in Bernard Silberman & Harry Harootunian (eds.), *Japan in Crisis*, pp. 237–269. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (1987). *The Origins of the Second World War in Asia and the Pacific*. London: Longman.
- . (1997). *Japan and the Wider World: From the Mid-Nineteenth Century to the Present*. New York: Longman.
- Irons, J. (2000). *Testing the New Deal: The General Textile Strike of 1934 in the American South*. Urbana: University of Illinois Press.
- Iyer, L. (2004). "The Long-term Impact of Colonial Rule: Evidence from India," unpublished paper: http://www.people.hbs.edu/liyer/iyer_colonial_oct2004.pdf.
- Jackson, J. (2001). *France: The Dark Years, 1940–44*. New York: Oxford University Press.
- . (2003). *The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940*. New York: Oxford University Press.
- Jacoby, S. (1997). *Modern Manors. Welfare Capitalism Since the New Deal*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2004). "Economic ideas and the labor market: origins of the Anglo-American Model and prospects for global diffusion," Department of Sociology, UCLA, Theory and Research in Comparative Social Analysis, Paper No. 22.
- Jahn, H. (1995). *Patriotic Culture in Russia during World War I*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- James, H. (2001). *The End of Globalization: Lessons From The Great Depression*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2006). *The Roman Predicament: How the Rules of International Order Create The Politics of Empire*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- James, J. & M. Thomas (2000). "Industrialization and wage inequality in nineteenth-century urban America," *Journal of Income Distribution*, 8: 39–64.
- Janos, A. & W. Slotman (eds.) (1971). *Revolution in perspective: essays on the Hungarian Soviet Republic of 1919*. Berkeley: University of California Press.
- Jenkins, C. & B. Brents (1989). "Social Protest, Hegemonic Competition, and Social Reform: A Political Struggle Interpretation of the Origins of the American Welfare State," *American Sociological Review*, 54: 891–909.
- John, R. (1997). "Government institutions as agents of change: rethinking American political development in the early Republic, 1787–1835," *Studies in American Political Development*, 11: 347–80.
- Johnson, C. (1962). *Peasant Nationalism and Communist Power; The Emergence of Revolutionary China 1937–1945*. Stanford: Stanford University Press.
- Jorda, O. et al. (2010). "Financial Crises, Credit Booms, and External Imbalances: 140 Years of Lessons," NBER Working Paper, No. 16567.
- Jordan, D. (1987). "The place of Chinese disunity in Japanese army strategy during 1931," *China Quarterly*, 109: 42–63.
- Kataoka, T. (1974). *Resistance and Revolution in China: The Communists and the Second United Front*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Katz, M. B. (2001). *The Price of Citizenship: Redefining the American Welfare State*. New York: Metropolitan Books.
- Katznelson, I. (2005). *When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America*. New York: Norton.
- , et al. (1993). "Limiting Liberalism: The Southern Veto in Congress, 1933–1950," *Political Science Quarterly*, 108: 283–306.
- Kaufman, B. (2003). "John R. Commons and the Wisconsin School on Industrial Relations Strategy and Policy," *Industrial and Labor Relations Review*, 57: 3–30.
- . (2006). "Industrial Relations and Labor Institutionalism: A Century of Boom and Bust," *Labor History*, 47: 295–318.

- Kay, A. (2006). *Exploitation, Resettlement, Mass Murder: Political and Economic Planning for German Occupation Policy in the Soviet Union, 1940–1941*. New York: Berg-hahn Books.
- Keegan, J. (1978). *The Face of Battle*. Harmondsworth: Penguin.
- Keene, J. (2001). *Doughboys, the Great War, and the Remaking of America*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Keller, M. (1994). *Regulating a New Society: Public Policy and Social Change in America, 1900–1933*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kenez, P. (2006). *The History of the Soviet Union from the Beginning to the End*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kennedy, D. (1999). *Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945*. New York: Oxford University Press.
- Kerbo, H. R. & R. A. Shaffer (1986). "Unemployment and Protest in the United States, 1890–1940: A Methodological Critique and Research Note," *Social Forces* 64: 1046–56.
- Kershaw, G. (1997). *Mau Mau from Below*. Athens: Ohio University Press.
- Kershaw, I. (1998). *Hitler, 1889–1936: Hubris*. New York: Norton; Кершоу, Я. (1997). Гитлер. Ростов н/Д: Феникс.
- . (2000). *Hitler, 1936–1945: Nemesis*. London: Allen Lane.
- . (2007). *Fateful Choices. Ten Decisions that Changed the World 1940–1941*. London: Penguin Books.
- . (2011). *The End, The Defiance and Destruction of Hitler's Germany, 1944–45*. London: Penguin Press.
- Kersten, F. (1956). *The Kersten Memoirs, 1940–1945*. London: Hutchinson.
- Kessler-Harris, A. (2001). In Pursuit of Equity: Women, Men, and the Quest for Economic Citizenship in 20th-Century America. New York: Oxford University Press.
- Keynes, J. M. (1919). *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan; Кейнс, Дж. М. (1922). Экономические последствия Версальского мирного договора. М.: ГИЗ, 1922.
- . (1937). "The General Theory of Employment," *Quarterly Journal of Economics*, 51: 209–23.
- . (1973). *The General Theory of Employment Interest and Money*. London: Macmillan; Кейнс Дж. М. (2007). *Общая теория занятости, процента и денег. Избранное*. М.: Эксмо.
- Khlevniuk, O. (2004). *The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Kiernan, K. et al. (1998). *Lone Motherhood in Twentieth Century Britain*. Oxford: Clarendon Press.
- Kim, Duol and Ki-Joo Park (2005). "Colonialism and Industrialization: Manufacturing Productivity of Colonial Korea, 1913–1937," working paper.
- . (2008). "Colonialism and Industrialisation: Factory Labour Productivity of Colonial Korea, 1913–37," *Australian Economic History Review*, 48: 26–46.
- Kindleberger, C. (1986). *The World in Depression, 1929–1939*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Kirk-Greene, A. (2000). *Britain's Imperial Administrators, 1858–1966*. Basingstoke: Macmillan; New York: St. Martin's Press.
- Kleppner, P. (1982). *Who Voted? The Dynamics of Electoral Turnout, 1870–1980*. New York: Praeger.
- Knox, M. (2009). *To the Threshold of Power, 1922/33: Origins and Dynamics of the Fascist and National Socialist Dictatorships, Volume 1*. New York: Cambridge University Press.
- Kocka, J. (1984). *Facing Total War: German Society 1914–1918*. Leamington Spa: Berg.
- Kohli, A. (2004). *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koistinen, P. (1967). "The Industrial-Military Complex in Historical. Perspective: World War I," *Business History Review*, 41: 378–403.
- Kolko, G. (1963). *The Triumph of Conservatism; A Re-Interpretation of American History, 1900–1916*. New York: Free Press of Glencoe.

- Kornhauser, A. (1940). "Analysis of 'Class Structure' of Contemporary American Society" in George Hartman & Theodore Newcomb (eds.), *Industrial Conflict: A Psychological Interpretation*. New York: Cordon.
- . (1952). *Detroit as the People See It: A Survey of Attitudes in an Industrial City*. Detroit: Wayne University Press.
- Korstad, R. (2003). *Civil Rights Unionism: Tobacco Workers and the Struggle for Democracy in the Mid-Twentieth-Century South*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Koshar, R. (1986). *Social Life, Local Politics and Nazism: Marburg, 1880-1935*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Kriegel, A. (1969). *Aux origines du communisme francais, 1914-1920*. Paris: Flammarion.
- Kroener, B. (2003). "Management of human resources, deployment of the population and manning the armed forces in the second half of the war, 1942-1944" in Kroener et al. (eds.), *Organization and Mobilization of the German Sphere of Power, Part 2: Wartime Administration, Economy and Manpower Resources, 1942-1944/45*, p. 787-1140. Oxford: Clarendon Press.
- La Feber, W. (1984). *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. New York: Norton.
- . (1993). *The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860-1898*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- . (1994). *The American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750*. New York: Norton.
- Lal, D. (2004). *In Praise of Empires. Globalization and Order*. New York: Palgrave MacMillan; Лал, Д. (2010). *Похвала империи: глобализация и порядок*. М.: Новое издательство.
- Langley, L.D. (1980). *The United States and the Caribbean: 1900-1970*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- Lemke, D. (2002). *Regions of War and Peace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lenin, V.I. (1939). *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism: A Popular Outline*. New York: International Publishers; Ленин, В.И. (1969). *Империализм как высшая стадия капитализма* // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Издательство политической литературы.
- . (1947). "Left-Wing Communism, an Infantile Disorder," his *Selected Works*. Moscow: Progress Publishers; Ленин, В.И. (1969). *Детская болезнь «левизны» в коммунизме* // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 41. М.: Издательство политической литературы.
- Lenman, B. (2001a). *England's Colonial Wars 1550-1688*. London: Longman. 2001b *Britain's Colonial Wars 1688-1783*. London: Longman.
- Leonard, T. (1991). *Central America and the United States: The Search for Stability*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- Leuchtenberg, W. (1963). *Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940*. New York: Harper & Row.
- Leuchtenburg, W.E. (1963). *Franklin D. Roosevelt and the New Deal*. New York: Harper Perennial.
- Levine, S. (1987). *Anvil of Victory: The Communist Revolution in Manchuria, 1945-1948*. New York: Columbia University Press.
- Levinson, J. & J. de Onis (1970). *The Alliance That Lost Its Way*. Chicago: Quadrangle Books.
- Levy, J.S. (1983). *War in the Modern Great Power System, 1495-1975*. Lexington, KY: University of Kentucky Press.
- Levy, J. (2005). "Redeploying the State: Liberalization and Social Policy in France" in Wolfgang Streeck & Kathleen Thelen (eds.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*, p. 103-126. New York: Oxford University Press.
- Lewin, M. (1985). *The Making of the Soviet System*. London: Methuen.
- Lewis, G. (2006). *Massive Resistance: The White Response to the Civil Rights Movement*. New York: Oxford University Press.
- Lewis, J. (1992). "Gender and the Development of Welfare Regimes," *Journal of European Social Policy*, 2: 159-73.
- Lewis, J. (1983). "Red Vienna: Socialism in One City, 1918-27," *European History Quarterly*, 13: 335-54.

- Lewis, J. (2000). *Empire State-Building. War and Welfare in Kenya, 1925–52*. Athens, OH: Ohio University Press.
- Li, L. (1994). *Student Nationalism in China, 1924–1949*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Lichtenstein, N. (1992). *Labor's War at Home: The CIO in World War II*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2002). *State of the Union: A Century of American Labor*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2003). *Labor's War at Home: The CIO in World War II*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lieberman, R. C. (1998). *Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lieuwen, E. (1961). *Arms and Politics in Latin America*. New York: Praeger.
- Lim, T. (2010). "The neoliberalisation of the Korean state: double-faced neoliberal reforms in the post-1997 economic crisis era," unpublished paper, UCLA Dept. of Sociology.
- Lin, J. Y. & P. Liu (2008). "Development Strategies and Regional Income Disparities in China" in Guanghua Wan (ed.), *Inequality and Growth in Modern China*, p. 56–78. Oxford: Oxford University Press.
- Lin, Yi-Min (2001). *Between Politics and Market Firms, Competition and Institutional Change in Post-Mao China*. New York: Cambridge University Press.
- Lindbom, A. (2008). "The Swedish Conservative Party and the Welfare State: Institutional Change and Adapting Preferences," *Government and Opposition*, 43: 539–60.
- Lindert, P. (1998). "Three centuries of inequality in Britain and America," Department of Economics, University of California at Davis, Working Paper Series No. 97–09.
- . (2004). *Growing Public. Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Linz, J. (1976). "Some Notes Toward a Comparative Study of Fascism in Sociological Historical Perspective" in Walter Laquer (ed.), *Fascism. A Reader's Guide*, p. 3–121. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Lipset, Seymour Martin (1960). *Political Man*. New York: Doubleday.
- . (1963). *Political Man*. London: Heinemann; Липсет, С.М. (2016). *Политический человек: социальные основания политики*. М.: Мысль.
- Lipset, S. M. & G. Marks (2000). *It Didn't Happen Here. Why Socialism Failed in the United States*. New York: Norton.
- Lipset, S. & S. Rokkan (1967). "Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: an Introduction" in their *Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Little, D. (2002). *American Orientalism: The United States and the Middle East Since 1945*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Liu, Chang (2003). "Making revolution in Jiangnan. Communists and the Yangzi Delta countryside, 1927–1945," *Modern China*, 29: 3–37.
- Liulevicius, V. (2000). *War Land on the Eastern Front*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lockwood, W. (1954). *Economic Development of Japan*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Logevall, F. (1999). *Choosing War: The Lost Chance for Peace and the Escalation of War in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Lone, S. (2000). *Army, Empire and Politics in Meiji Japan. The Three Careers of General Katsuma Tar*. New York: St. Martin's Press.
- Long, Ngo Vinh (1998). "South Vietnam" in P. Lowe (ed.), *The Korean War*. Basingstoke: Macmillan.
- López-Calva, L. and N. Lustig (eds.) (2010). *Declining Inequality in Latin America A Decade of Progress? Washington: Brookings Institution Press and United Nations Development Programme*.
- López de Silanes, F. & A. Chong (2004). "Privatization in Latin America: What Does the Evidence Say?" *Economia*, 4: 37–111.

- Lotveit, T. (1979). *Chinese Communism 1931–1934. Experience in Civil Government*. London: Curzon.
- Lowe, P. (2000). *The Korean War*. Basingstoke: Macmillan.
- Lowenthal, A. (1995). *The Dominican Intervention*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Lower, W. (2005). *Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Luebbert, G. (1991). "Social Foundations of Political Order in Interwar Europe," *World Politics*, 39: 449–78.
- Lundestad, G. (1998). "Empire" by Invitation: The United States and European Integration, 1945–1997. New York: Oxford University Press.
- Lupher, M. (1996). *Power Restructuring in China and Russia*. Boulder, CO: Westview Press.
- Lynd, M. (1999). *Vietnam: The Necessary War: A Reinterpretation of America's Most Disastrous Military Conflict*. New York: The Free Press.
- Lynn, J. (1997). *Giant of the Grand Siècle: The French Army, 1610–1715*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynn, M. (2001). "British Trade Policy and Informal Empire in the Mid-Nineteenth Century" in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol. III: The Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press.
- Lyttleton, A. (1977). "Revolution and Counter-Revolution in Italy, 918–1922" in Charles L. Bertrand (ed.), *Revolutionary Situations in Europe, 1917–1922: Germany, Italy, Austria-Hungary*, p. 63–81. Montréal: Centre interuniversitaire d'études européennes.
- Ma, D. (2006). "Shanghai-based industrialization in the early 20th century: a quantitative and institutional analysis," *Working Papers of the Global Economic History Network*, London School of Economics, No. 18/06.
- Ma, X. & L. Ortolano (2000). *Environmental Regulation in China: Institutions, Enforcement, and Compliance*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Mac Farquhar, R. (1983). *The Origins of the Cultural Revolution*. Vol II: The Great Leap, 1958–60. New York: Columbia University Press.
- Mackay, R. (2002). *Half the Battle. Civilian Morale in Britain during the Second World War*. Manchester: Manchester University Press.
- Maddison, A. (1982). *Phases of Capitalist Development*. Oxford: Oxford University Press.
- . (1998). *Chinese Economic Performance in the Long Run*. Paris: OECD Development Centre.
- . (2001). *The World Economy: A Millennial Perspective*. Paris: OECD.
- . (2007). *Contours of the World Economy, 1–2030 AD*. Oxford: Oxford University Press;
- Мэддисон, Э. (2012). *Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории*. М.: Издательство Института Гайдара.
- Mäher, N. (2008). *Nature's New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement*. New York: Oxford University Press.
- Mahler, V. & D. Jesuit (2006). "Fiscal redistribution in the developed countries: new insights from the Luxembourg Income Study," *Socio-Economic Review*, 4: 483–511.
- Mahoney, J. (2001). *The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Maier, C. (1987). "The two postwar eras and the conditions for stability in twentieth-century Western Europe" in his *In Search of Stability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malešević, S. (2010). *The Sociology of War and Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mamdani, M. (1996). *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*. Princeton: Princeton University Press.
- Mandel, D. (1983). *The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime: From the February Revolution to the July Days, 1917*. London: MacMillan.
- Mann, M. (1993). *The Sources of Social Power*, Vols. I & II. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1988). "The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results" in M. Mann (ed.), *States, War and Capitalism*. Oxford: Basil Blackwell; Манн, М. *Автономная власть государства: истоки, механизмы и результат* / пер. с англ. М. В. Мас-

- ловского // Масловский М. В. (2004). Социология политики: классические и современные теории: учебное пособие. М.: Новый учебник.
- . (1996). "The contradictions of continuous revolution" in Ian Kershaw & Moshe Lewin (eds.), *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison*, p. 135–157. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2004). *Fascists*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2005). *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press; Манн, М. (2016). Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток. М.: Пятый Рим.
- . (2006). "The sources of social power revisited: a response to criticism" in John Hall & Ralph Schroeder (eds.), *An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann*, p. 343–396. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2008) "Infrastructural power revisited," *Studies in Comparative International Development*, 43: 355–65.
- Manning, J. (1997). "Wages and purchasing power" in Winter & Robert (eds.), *Capital Cities at War, 1914–1919*, p. 255–285. Cambridge: Cambridge University Press.
- Manza, J. (2000). "Political sociological models of the U.S. New Deal," *Annual Review of Sociology*, 26: 297–322.
- Mares, D. (2001). *Violent Peace: Militarized Interstate Bargaining in Latin America*. New York: Columbia University Press.
- Marshall, P. (2001). "Introduction," in P.J. Marshall (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Vol. 11: The Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Marshall, T.H. (1963). "Citizenship and social class" in his *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann.
- Martin, B. (1999). *France and the Après Guerre 1918–1924: Illusions and Disillusionment*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Martin, T. (2001). *The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Marwick, A. (1991). *The Deluge: British Society and the First World War*. London: Macmillan.
- Marx, K. (1959). *Capital, Vol. III*. New York: International Publishers; Марк, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. III // К. Маркс и Ф. Энгельс (1961). Сочинения. 2-е изд. Т. 25. М.: Государственное издательство политической литературы.
- Marx, S. (2002). *The Ebbing of European Ascendancy: An International History of the World, 1914–1945*. Oxford: Oxford University Press.
- Matsusaka, Y. (2001). *The Making of Japanese Manchuria, 1904–1932*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Maurin, J. (1982). *Armée — Guerre — Société: Soldats Languedociens, 1899–1919*. Paris: Sorbonne.
- Mawdsley, E. (1978). *The Russian Revolution and the Baltic Fleet: War and Politics, February 1917 — April 1918*. London: Macmillan.
- . (2005). *Thunder in the East: The Nazi-Soviet War, 1941–1945*. London: Hodder Arnold.
- May, E. (2000). *Strange Victory: Hitler's Conquest of France*. New York: Hill and Wang.
- Mayer, J. (1977). "Internal Crisis and War since 1870" in Charles L. Bertrand (ed.), *Revolutionary Situations in Europe, 1917–22*. Montreal: Concordia University Press.
- McAuley, M. (1991). *Bread and Justice: State and Society in Petrograd, 1917–1922*. Oxford: Clarendon Press.
- McBeth, B. (2001). *Gunboats, Corruption, and Claims: Foreign Intervention in Venezuela, 1899–1908*. Westport, Connecticut, and London: Greenwood Press.
- McCammon, H. (1993). "From Repressive Intervention to Integrative Prevention: The U.S. State's Legal Management of Labor Militancy, 1881–1978," *Social Forces*, 71: 569–601.
- McCrillis, N. (1998). *The British Conservative Party in the Age of Universal Suffrage: Popular Conservatism, 1918–1929*. Columbus, OH: Ohio State University.
- McKean, R. (1990). *St. Petersburg Between the Revolutions: Workers and Revolutionaries, June 1907 — February 1917*. New Haven, CT: Yale University Press.
- McKercher, B. (1999). *Transition of Power: Britain's Loss of Global Pre-eminence to the United States, 1930–1945*. Cambridge: Cambridge University Press.

- McKibbin, R. (1984). "Why was there no Marxism in Great Britain?" *English Historical Review*, 49: 297–331.
- . (1998). *Classes and Cultures: England 1918–51*. Oxford: Oxford University Press.
- McLean, D. (1995). *War, Diplomacy and Informal Empire: Britain, France and Latin America, 1836–1852*. London: Tauris.
- McLean, I. (1983). *The Legend of Red Clydeside*. Edinburgh: John Donald Publishers.
- McMillan, J. (2004). "The Great War and Gender Relations the Case of French Women and the First World War Revisited" in Gail Braybon (ed.), *Evidence, History and the Great War: Historians and the Impact of 1914–1918*, p. 135–153. Oxford: Berghahn Books.
- Mead, W.R. (2001). *Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World*. New York: Century Foundation/Knopf.
- Meaker, G. (1974). *The Revolutionary Left in Spain 1914–1923*. Stanford: Stanford University Press.
- Megargee, G. (2006). *War of Annihilation: Combat and Genocide on the Eastern Front, 1941*. Lanham: Rowan & Littlefield.
- Melancon, M. (1997). "The Left Socialist Revolutionaries and the Bolshevik Uprising" in Vladimir Brovkin (ed.), *The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and the Civil Wars*. New Haven: Yale University Press.
- Merkel, P. (1980). *The Making of a Stormtrooper*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mettler, S. (1999). *Dividing Citizens: Gender and Federalism in New Deal Public Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Metzler, M. (2006). *Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Meyer, J. et al. (1997). "World society and the nation-state," *American Journal of Sociology*, 103: 144–81.
- Middlebrook, M. (1972). *The First Day on the Somme, 1 July 1916*. New York: Norton.
- Middlemas, K. (1979). *Politics in Industrial Society, The Experience of the British System Since 1911*. London, Andre Deutsch.
- Migdal, J. (1974). *Peasants Politics, and Revolution*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Milanovic, B., P. Lindert & J. Williamson (2011). "Measuring Ancient Inequality," National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 13550.
- Miller, E. (2007). *Bankrupting the Enemy: The US Financial Siege of Japan Before Pearl Harbor*. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
- Minami, R. (1994). *The Economic Development of Japan: A Quantitative Study*. Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Mink, G. (1995). *The Wages of Motherhood: Inequality in the Welfare State, 1917–1942*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Misra, M. (2003). "Lessons of Empire: Britain and India," *SAIS Review*, 23: 133–53.
- Mitchener, K. & M. Weidenmier (2008). "Trade and Empire," *Economic Journal*, 118: 1805–34.
- Mitter, R. (2000). *The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Moeller, R. (1986). *German Peasants and Agrarian Politics, 1914–1924: The Rhineland and Westphalia*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Mommsen, H. (1996). *The Rise and Fall of Weimar Democracy*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Moore, B. (1967). *Origins of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press; Мур, Б. (2016). Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- . (1978). *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*. White Plains, NY: M.E. Sharpe.
- Moore, R. (2001). "Imperial India, 1858–1914" in *The Oxford History of the British Empire*, Vol. III: *The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Morgan, D. (1975). *The Socialist Left and the German Revolution: A History of the German Independent Social Democratic Party, 1917–1922*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Morgan, S. and S. Liu (2007). "Was Japanese Colonialism Good for the Welfare of Taiwanese? Stature and the Standard of Living," *China Quarterly*, 192: 990–1013.

- Mosk, C. (2001). *Japanese Industrial History: Urbanization, and Economic Growth*. London: M. E. Sharpe.
- Moulton, H. (1935). *The Formation of Capital*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Moure, K. (2002). *The Gold Standard Illusion: France, the Bank of France, and the International Gold Standard, 1914–1939*. New York: Oxford University Press.
- Mouton, M. (2007). *From Nurturing the Nation to Purifying the Volk: Weimar and Nazi Family Policy, 1918–1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mueller, R.-D. (2003). "Speer and Armaments Policy in Total war" in Kroener et al. (eds.), *Organization and Mobilization of the German Sphere of Power, Part 2: Wartime Administration, Economy and Manpower Resources, 1942–1944/45*, p. 293–892 (sic). Oxford: Clarendon Press.
- Murphy, D. (2006). *What Stalin Knew: The Enigma of Barbarossa*. New Haven: Yale University Press.
- Murphy, K. (2005). *Revolution and Counterrevolution: Class Struggle in a Moscow Metal Factory*. Oxford: Berghahn Books.
- Myers, R. (1989). "The world depression and the Chinese economy 1930–1936" in Ian Brown (ed.), *The Economies of Africa and Asia in the Inter-war Depression*. London: Routledge.
- Nakamura, T. (1988). "Depression, recovery, and war, 1920–1945" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan, Vol 6: The Twentieth Century*, p. 171–188. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nakamura, Y. & R. Tobe (1988). "The Imperial Japanese Army and Politics," *Armed Forces and Society*, 14: 511–25.
- Naoroji, D. (1887). *Essays, Speeches, Addresses and Writings*. Bombay: Caxton Printing Works.
- Neiberg, M. (2005). *Fighting the Great War: A Global History*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nelson, B. (2003). *Divided We Stand: American Workers and the Struggle for Black Equity*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Nelson, D. (1969). *Unemployment Insurance: The American Experience, 1915–1935*. Madison: University of Wisconsin Press.
- . (2001). "The Other New Deal and Labor: The Regulatory State and the Unions, 1933–1940," *Journal of Policy History*, 13: 367–90.
- Ninkovich, F. (1999). *The Wilsonian Century: U.S. Foreign Policy since 1900*. Chicago: University of Chicago Press.
- . (2001). *The United States and Imperialism*. New York: John Wiley.
- Nish, I. (ed.) (1998). *The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment*. Richmond, Surrey: Curzon Press.
- . (2002). *Japanese Foreign Policy in the Interwar Period*. Westport, CT: Praeger.
- Nolan, M. (2005). *The Inverted Mirror: Mythologizing the Enemy in France and Germany*. New York: Berghahn Books.
- Novak, W.J. (2008). "The Myth of the 'Weak' American State," *American Historical Review*, 113: 752–72.
- Novkov, J. (2001). *Constituting Workers, Protecting Women: Gender, Law and Labor in the Progressive Era and New Deal Years*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- O'Brien, P. (2004). "Colonies in a Globalizing Economy 1815–1948," *LSE Department of Economic History, Working Papers of the Global Economic History Network*, No. 08/04.
- O'Brien, P. & L. Prados de la Escosura (eds.) (1998). "The Costs and Benefits for Europeans from their Empires Overseas," special issue of *Revista de Historia Económica*, 1: 29–92.
- O'Brien, R. (1998). *Workers' Paradox: The Republican Origins of New Deal Labor Policy, 1886–1935*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- O'Connor, A. (2001). *Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy and the Poor in Twentieth-Century U.S. History*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- O'Rourke, K. & J. G. Williamson (2002). "After Columbus: Explaining Europe's Overseas Trade Boom, 1500–1800," *Journal of Economic History*, 62: 417–56.
- Obstfeld, M. & A. Taylor (2004). *Global Capital Markets: Integration, Crisis and Growth*. New York: Cambridge University Press.

- Odaka, K. (1999). "Japanese-Style' Labour Relations" in Tetsuji Okazaki & Masahiro Okuno-Fujiwara (eds.), *The Japanese Economic System and its Historical Origins*. Oxford: Oxford University Press.
- Offe, C. and V. Ronge (1974). "Theses on the theory of the state" in Anthony Giddens & David Held (eds.), *Classes, Power and Conflict*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Offer, A. (1989). *The First World War: An Agrarian Interpretation*. Oxford: Clarendon Press.
- . (1995). "Going to War in 1914: A Matter of Honor?" *Politics & Society*, 23: 213–41.
- Offner, J. (1992). *An Unwanted War: The Diplomacy of the United States and Spain over Cuba, 1895–1898*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Ohlmeyer, J. (2001). "Civilizing of Those Rude Partes: Colonisation within Britain and Ireland, 1580–1640" in *The Oxford History of the British Empire*, Vol. 1: *The Origins of Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Olds, K. (2003). "The Biological Standard of Living in Taiwan under Japanese Occupation," *Economics and Human Biology*, 1: 187–206.
- Olson, J. (1988). *Saving Capitalism: The Reconstruction Finance Corporation and the New Deal, 1933–1940*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Orren, K. (1993). *Belated Feudalism: Labor, the Law, and Liberal Development in the United States*. New York: Cambridge University Press.
- Overly, R. (1999). *The Road to War*. London: MacMillan.
- Paige, J. (1997). *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pakenham, T. (1991). *The Scramble for Africa*. New York: Random House.
- Pamuk, S. (2005). "The Ottoman economy in World War I" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 112–136. Cambridge: Cambridge University Press.
- Park, J. (1995). *Latin American Underdevelopment: A History of Perspectives in the United States, 1870–1965*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Parker, R. (1993). *Chamberlain and Appeasement: British Policy and the Coming of the Second World War*. London, Macmillan.
- Parthasarathi, P. (2001). *The Transition to a Colonial Economy: Weavers, Merchants and Kings in South India, 1720–1800*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Patterson, J. (1967). *Congressional Conservatism and the New Deal*. Lexington: University of Kentucky Press.
- Paulson, D. (1989). "Nationalist guerillas in the Sino-Japanese War: the 'die-hards' of Shandong Province" in Hartford & Goldstein (eds.), *Single Sparks: China's Rural Revolutions*, p. 128–150. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Paxton, R. (2004). *The Anatomy of Fascism*. London: Penguin.
- Peattie, M. (1975). *Ishiwara Kanji and Japan's Confrontation with the West*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (1988). "The Japanese colonial empire, 1895–1945" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Vol 6: *The Twentieth Century*, p. 217–270. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1996). "Nanshin: the Southward Advance, 1931–1941" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Vol 6: *The Twentieth Century*, p. 189–242. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pedersen, S. (1993). *Family, Dependence and the Origins of the Welfare State: Britain and France, 1914–1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pedroncini, G. (1967). *Les mutineries de 1917*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Pepper, S. (1999). *Civil War in China. The Political Struggle, 1945–1949*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Perez, L. Jr. (1983). *Cuba Between Empires, 1878–1902*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
- . (1990). *Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- . (1998). *The War of 1898: The United States and Cuba in History and Historiography*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Perkins, D. (1975). "Growth and changing structure of China's twentieth-century economy" in D. Perkins (ed.), *China's Modern Economy in Historical Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Perkins, F. (1946). *The Roosevelt I Knew*. New York: Harper.
- Perry, E. (1980). *Rebels and Revolutionaries in North China, 1845–1945*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (1984). "Collective violence in China, 1880–1980," *Theory and Society*, 13: 427–54.
- . (1993). *Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Piketty, T. & E. Saez (2003). "Income Inequality in the United States, 1913–1998," *Quarterly Journal of Economics*, 118: 1–39.
- Pipes, R. (1990). *The Russian Revolution*. New York: Knopf; Пайпс, Р. (2005). *Русская революция*. М.: Захаров.
- Pirani, S. (2008). *The Russian Revolution in Retreat, 1920–24: Soviet Workers and the New Communist Elite*. New York: Routledge.
- Pletcher, D. (1998). *Diplomacy of Trade and Investment: American Economic Expansion in the Hemisphere, 1865–1900*. Columbia: University of Missouri Press.
- Plotke, D. (1996). *Building a Democratic Political Order: Reshaping American Liberalism in the 1930s and 1940s*. New York: Cambridge University Press.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press; Поланьи, К. (2002). *Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени*. СПб.: Алетейя.
- Pomeroy, W. (1974). "The Philippines: a Case History of Neocolonialism" in Mark Selden (ed.), *Remaking Asia. Essays on the Use of American Power*. New York: Pantheon.
- Porter, A. (2001). "Introduction," in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Vol. III: The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Porter, B. (2004). *The Lion's Share. A Short History of British Imperialism, 1850–2004*. Harlow: Longman.
- . (2005). *The Absent-Minded Imperialists: What the British Really Thought About Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2006). *Empire and Superempire: Britain, America and the World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Post, G. Jr. (1993). *Dilemmas of Appeasement: British Deterrence and Defense, 1934–1937*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Poulantzas, N. (1974). *Fascisme et dictature*. Paris: Seuil/Maspero.
- Pratt, E. (1999). *Japan's Proto-Industrial Elite: The Economic Foundations of the Gono*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
- Procida, M. (2002). *Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India, 1883–1947*. Manchester: Manchester University Press.
- Prost, A. (1964). *La C. G. T., 1914–1939*. Paris: Colin.
- Quadagno, J. (1984). "Welfare capitalism and the Social Security Act of 1935," *American Sociological Review*, 49: 632–47.
- . (1994). *The Color of Welfare*. New York: Oxford University Press.
- Rabinbach, A. (1985). *The Austrian Socialist Experiment: Social Democracy and Austromarxism, 1918–1934*. Boulder, CO: Westview Press.
- Rabinowitch, A. (2004). *The Bolsheviks Come to Power*. Chicago: Haymarket Books; Рабинович, А. (1989). *Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде*. М.: Прогресс.
- Raleigh, D. (2003). *Experiencing Russia's Civil War: Politics, Society and Revolutionary Culture in Saratov 1917–1922*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rappoport, P. & E. White (1993). "Was There a Bubble in the 1929 Stock Market?" *The Journal of Economic History*, 53: 549–74.
- . (1994). "Was the Crash of 1929 Expected?" *American Economic Review*, 84: 271–81.
- Rawski, T. (1989). *Economic Growth in Prewar China*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Ray, R. K. (2001). "Indian Society and the Establishment of British Supremacy, 1765–1818" in P. J. Marshall (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Vol. II: The Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2003). *The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism*. New York: Oxford University Press.

- du Réau, E. (1993). *Edouard Daladier, 1884–1970*. Paris: Fayard.
- Reid, R. (2007). *War in Pre-Colonial Eastern Africa*. London & Nairobi: The British Institute.
- Renton, D. (2000). *Fascism: Theory and Practice*. London: Pluto.
- Reynolds, L. (1985). *Economic Growth in the Third World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Richardson, D. (2001). "The British Empire and the Atlantic Slave Trade 1660–1807" in P.J. Marshall (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol. II: *The Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Richardson, P. (1999). *Economic Change in China, c. 1800–1950*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Riddell, N. (1999). *Labour in Crisis: The Second Labour Government, 1929–1931*. Manchester: Manchester University Press.
- Riga, L. (2009). "The ethnic roots of class universalism: rethinking the 'Russian' revolutionary elite," *American Journal of Sociology*, 115: 649–705.
- Riley, D. (2005). "Civic Associations and Authoritarian Regimes in Interwar Europe: Italy and Spain in Comparative Perspective," *American Sociological Review*, 70: 288–310.
- . (2010). *The Civic Foundations of Fascism In Europe: Italy, Spain, And Romania, 1870–1945*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Ritschl, A. (2005). "The pity of peace: Germany's economy at war, 1914–1918 and beyond" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 41–76. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robertson, D. (2000). *Capital, Labor, and State: The Battle for American Labor Markets from the Civil War to the New Deal*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Robinson, D. (2000). *Paths of Accommodation: Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and Mauritania, 1880–1920*. Athens: Ohio University Press.
- Robinson, R. (1984). "Imperial Theory and the Question of Imperialism after Empire" in Robert F. Holland & Gowher Rizvi (eds.), *Perspectives on Imperialism and Decolonization*. London: Frank Cass.
- Roces, M. (2002). "Women in Philippine Politics and Society" in Mcferson (ed.), *Mixed Blessing: The Impact of the American Colonial Experience on Politics and Society in the Philippines*, pp. 159–189. Westport, CT: Greenwood Press.
- Rockoff, H. (1998). "The United States: from ploughshares to swords" in Mark Harrison (ed.), *The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison*, p. 310–343. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2005). "Until it's over, over there: the US economy in World War I" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, pp. 310–343. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodgers, D. (1998). *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Romer, C. (1990). "The great crash and the onset of the Great Depression," *Quarterly Journal of Economics*, 105: 597–624.
- . (1992). "What Ended the Great Depression?" *Journal of Economic History*, 52: 757–84.
- . (1993). "The nation in depression," *Journal of Economic Perspectives*, 7: 19–39.
- Roorda, E. (1998). *The Dictator Next Door: The Good Neighbor Policy and the Trujillo Regime in the Dominican Republic, 1930–1945*. Durham, NC: Duke University Press.
- Rosen, N. (2010). *Aftermath*. New York: Perseus.
- Rosenberg, E. (1982). *Spreading the American Dream: American Economic and Cultural Expansion 1890–1945*. London: Macmillan.
- . (1999). *Financial Missionaries to the World: The Politics and Culture of Dollar Diplomacy, 1900–1930*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rossino, A. (2003). *Hitler Strikes Poland: Blitzkrieg, Ideology and Atrocity*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Rossman, J. (2005). *Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rothenberg, G. (1977). "The Habsburg Army in the First World War: 1914–1918" in Robert Kann et al. (eds.), *The Habsburg Empire in World War I*, p. 73–86. Boulder, CO: East European Quarterly.

- Rothermund, D. (1996). *The Global Impact of the Great Depression*. London: Routledge.
- Routh, G. (1980). *Occupation and Pay in Great Britain 1906–1979*. Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Roy, T. (1999). *Traditional Industry in the Economy of Colonial India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2000). *The Economic History of India 1857–1947*. Delhi: Oxford University Press.
- Roy, W. (1997). *Socializing Capital: The Rise of the Large Industrial Corporation in America*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Roy, W. & R. Parker-Gwin (1999). "How Many Logics of Collective Action?" *Theory and Society*, 28: 203–37.
- Rutherford, M. (2006). "Wisconsin Institutionalism: John R. Commons and His Students," *Labor History*, 47: 161–88.
- Ryder, A. J. (1967). *The German Revolution of 1918: A Study of German Socialism in War and Revolt*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salvatorelli, L. (1923). *Nazional-fascismo*. Turin: Gobetti.
- Samuelson, L. (2000). *Plans for Stalin's War Machine: Tukhachevskii and Military-Economic Planning, 1925–1941*. Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Sanders, E. (1999). *Roots of Reform: Farmers, Workers and the American State, 1877–1917*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sarti, R. (1971). *Fascism and the Industrial Leadership in Italy, 1919–1940: A Study in the Expansion of Private Power under Fascism*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Sato, S. (1994). *War, Nationalism and Peasants*. London: M. E. Sharpe.
- Saul, N. E. (1978). *Sailors in Revolt: The Russian Baltic fleet in 1917*. Lawrence: Regents Press of Kansas.
- Saul, S. B. (1960). *Studies in British Overseas Trade, 1870–1914*. Liverpool: Liverpool University Press.
- Schlabach, T. (1969). *Edwin Witte: Cautious Reformer*. Madison, WI: State Historical Society of Wisconsin.
- Schlesinger, A. Jr. (1960). *The Age of Roosevelt: The Politics of Upheaval*. Vol. III. Boston: Houghton Mifflin.
- Schmidt, H. (1998). *Maverick Marine: General Smedley D. Butler and the Contradictions of American Military History*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Schmitt, H. (1988). *Neutral Europe between War and Revolution, 1917–23*. Charlottesville: University Press of Virginia.
- Schmitter, P. (1974). "Still the Century of Corporatism?" *Review of Politics*, 36: 85–131.
- Schoonover, T. (1991). *The United States in Central America, 1860–1911*. Durham, NC: Duke University Press.
- . (2003). *Uncle Sam's War of 1898 and the Origins of Globalization*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Schoultz, L. (1998). *Beneath the United States: A History of U. S. Policy Toward Latin America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schroeder, R. (2007). *Rethinking Science, Technology and Social Change*. Stanford: Stanford University Press.
- . (2011). *An Age of Limits: Social Theory for the 21st Century*, unpublished ms.
- Schultze, M.-S. (2005). "Austria-Hungary's economy in World War I" in Broadberry & Harrison (eds.), *The Economics of World War I*, p. 77–111. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schumpeter, J. (1957). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper; Шумпетер, Й. (1996). *Капитализм, Социализм и Демократия*. М.: Экономика.
- . (1961). *The Theory of Economic Development*, New York: Oxford University Press; Шумпетер, Й. (1982). *Теория экономического развития*. М.: Прогресс.
- . (1982). *Business Cycles*, 2 vols. Philadelphia: Porcupine Press.
- Schwartz, S. (ed.) (2004). *Tropical Babylons: Sugar and the Making of the Atlantic World, 1450–1680*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Schwarz, J. (1993). *The New Dealers*. New York: Knopf.

- Selden, M. (1971). *The Yanan Way in Revolutionary China*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (1995). "Yan'an communism reconsidered," *Modern China*, 21: 8–44.
- Sen, S. (2002). *Distant Sovereignty: National Imperialism and the Origins of British India*. New York: Routledge.
- Service, R. (1997). *A History of Twentieth-Century Russia*. London: Allen Lane, Penguin.
- Shanin, T. (ed.) (1971). *Peasants and Peasant Societies*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin.
- Sharkey, H. (2003). *Living with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Shearer, D. (1996). *Industry, State, and Society in Stalin's Russia, 1926–1934*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Shefter, M. (1994). *Political Parties and the State: The American Historical Experience*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shils, E. & M. Janowitz (1948). "Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II," *Public Opinion Quarterly*, 12: 280–315.
- Shimazu, N. (2009). *Japanese Society At War: Death, Memory and the Russo-Japanese War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shin, Gi-Wook et al. (eds.) (2006). *Rethinking Historical Injustice and Reconciliation in Northeast Asia: Korean Experience*. London: Routledge.
- Shlaes, A. (2008). *The Forgotten Man: A New History of the Great Depression*. New York: Harper Collins.
- Shum, Kui-Kwong (1988). *The Chinese Communists' Road to Power: The Anti-Japanese National United Front, 1935–1945*. Oxford: Oxford University Press.
- Siegelbaum, L. H. (1983). *The Politics of Industrial Mobilization in Russia, 1914–1917: A Study of the War-Industries Committees*. New York: St. Martin's Press.
- Silbey, D. (2005). *The British Working Class and Enthusiasm for War, 1914–1916*. London: Frank Cass.
- Silver, B. (2003). *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization since 1870*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simon, M. (1968). "The pattern of new British portfolio investment, 1865–1914" in A. R. Hall (ed.), *The Export of Capital from Britain 1870–1914*, p. 15–44. London: Methuen.
- Sinha, M. (1995). *Colonial Masculinity: The "Manly Englishman" and the "Effeminate Bengali" in the Late Nineteenth Century*. Manchester: Manchester University Press.
- Sirianni, C. (1980). "Workers' Control in the Era of World War I: A Comparative Analysis of the European Experience," *Theory and Society*, 9: 29–88.
- Skidelsky, R. (1983). *John Maynard Keynes: Hopes Betrayed*. London: Macmillan.
- Sklar, M. (1988). *The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890–1916*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press;
- Скочпол Т. (2017). *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. М.: Издательство Института Гайдара.
- . (1980). "Political Response to Capitalist Crisis: Neo-Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal," *Politics & Society*, 10: 155–202.
- . (1992). *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Skocpol, T. and E. Amenta (1985). "Did Capitalists Shape Social Security?" *American Sociological Review*, 50: 572–75.
- Skocpol, T. and J. Ikenberry (1983). "The Political Formation of the American Welfare State in Historical and Comparative Perspective," *Comparative Social Research*, 6: 84–147.
- Smil, V. (2005). *Creating the Twentieth Century: Technical Innovations of 1867–1914 and their Lasting Impact*. Oxford: Oxford University Press.
- Smiley, G. (2000). "A Note on New Estimates of the Distribution of Income in the 1920s," *The Journal of Economic History*, 60: 1120–8.
- . (2002). *Rethinking the Great Depression*. Chicago: Ivan Dee.
- Smith, J. (2006). *Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933–1956*. New York: Cambridge University Press.
- Smith, J. (2007). *A People's War: Germany's Political Revolution, 1913–1918*. Lanham, MD: University Press of America.

- Smith, J. (1999). *The Bolsheviks and the National Question, 1917–23*. New York: St. Martin's.
- Smith, R. (1989). *Warfare and Diplomacy in Pre-Colonial West Africa*. London: James Currey.
- Smith, S. (1983). *Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917–18*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, T. (1988). *Native Sources of Japanese Industrialization, 1750–1920*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Smith, T. (2003). *Creating the Welfare State in France, 1880–1940*. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Snyder, J. (1991). *Myths of Empire*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Snyder, T. (2010). *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*. New York: Basic Books.
- Sombart, W. (1976). *Why is There No Socialism in America?* New York: Sharpe.
- Soucy, R. (1992). *Le Fascisme français, 1924–1933*. Paris: Presses Universitaires de France.
- St. Antoine, T. (1998). "How the Wagner Act came to be. A prospectus," *Michigan Law Review*, 96: 2201–21.
- Stacey, J. (1983). *Patriarchy and Socialist Revolution in China*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Steckel, R. (2002). "A History of the Standard of Living in the United States," EH. Net Encyclopedia, <http://eh.net/encyclopedia/article/steckel.standard.living.us>.
- Steinberg, M. (2001). *Voices of Revolution, 1917*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Steindl, F. (2005). "Economic Recovery in the Great Depression," EH. Net Encyclopedia, <http://eh.net/encyclopedia/article/Steindl>.
- Steiner, Z. (2005). *The Lights That Failed: European International History, 1919–1933*. Oxford: Oxford University Press.
- Stepan-Norris, J. & M. Zeitlin (2003). *Left Out: Reds and America's Industrial Unions*. New York: Cambridge University Press.
- Stephens, J. (1980). *The Transition From Capitalism to Socialism*. London: Macmillan.
- Stoler, A. (2002). *Carneal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Stone, D. (2000). *Hammer and Rifle: The Militarization of the Soviet Union, 1926–1933*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.
- Stone, N. (1975). *The Eastern Front, 1914–1918*. New York: Scribner.
- Stouffer, S. et al. (1949). *The American Soldier: Studies in Social Psychology in World War II*. Vol 11: *Combat and Its Aftermath*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Strachan, H. (2001). *The First World War: To Arms*. New York: Oxford University Press.
- Strauss, J. (1998). *Strong Institutions in Weak Politics: State Building in Republican China, 1927–1940*. Oxford: Clarendon Press.
- Stryker, R. (1989). "Limits on the Technocratization of the Law: The Elimination of the National Labor Relations Board's Division of Economic Research," *American Sociological Review*, 54: 341–58.
- Subrahmanyam, G. (2004). "Schizophrenic governance and fostering global inequalities in the British Empire: the UK domestic state versus the Indian and African colonies, 1890–1960," unpublished paper.
- Sugihara, K. (2000). "The East Asian Path of Economic Development: A Long-term Perspective," *Discussion Papers in Economics and Business*, 00–17, Graduate School of Economics, Osaka University.
- . (2004). "Japanese imperialism in global resource history," *LSE Working Papers of the Global Economic History Network*, No. 07/04.
- Sullivan, P. (1996). *Days of Hope: Race and Democracy in the New Deal Era*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Sumner, W.G. (1899). "The Conquest of the United States by Spain," *Yale Law Journal*, January.
- Summers, L. (1986). "Some skeptical observations on real business cycle theory," *Federal Reserve Bank of Minnesota Quarterly Review*, No. 1043.
- Suny, R. (1998). *The Soviet Experiment*. Oxford: Oxford University Press.
- Swenson, P. (2002). *Capitalists against Markets: The Making of Labor Markets and Welfare States in the United States and Sweden*. New York: Oxford University Press.
- Szostak, R. (1995). *Technological Innovation and the Great Depression*. Boulder, CO: Westview Press.

- Taira, K. (1988). "Economic development, labor markets, and industrial relations in Japan, 1905–1955" in Duus (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Vol 6: *The Twentieth Century*, p. 606–653. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tampke, J. (1978). *The Ruhr and Revolution*. Canberra, ACT: Australian National University.
- Tanaka, Y. (1996). *Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II*. Boulder, CO: Westview Press.
- Tanzi, V. (1969). *The Individual Income Tax and Economic Growth*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Tanzi, V. and L. Schuknecht (2000). *Public Spending in the 20th Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarling, N. (2001). *A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941–1945*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Tauger, M. (2001). *Natural Disaster and Human Action in the Soviet Famine of 1931–1933*. Pittsburgh: University of Pittsburgh, CREES, Carl Beck Papers.
- Temin, P. (1976). *Did Monetary Forces Cause the Great Depression?* New York: Norton.
- . (1981). "Notes on the causes of the great depression" in Brunner (ed.), *The Great Depression Revisited*, pp. 108–124. Boston: Martinus Nijhoff.
- . (1989). *Lessons from the Great Depression*. Cambridge, MA: MIT Press.
- . (1997). "Two Views of the British Industrial Revolution," *Journal of Economic History*, 57: 63–82.
- Thébaud, F. (2004). "La Guerre et après?" in Evelyne Morin-Rotureau (ed.), 1914–1918: *combats de femmes*. Paris: Autrement.
- Thomas, L. *The Search for Order, 1877–1920*. New York: Hill & Wang.
- Thurston, R. (1996). *Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Tilly, C. (1990). *Coercion, Capital, and European States, AD 900–1990*. Oxford: Blackwell; Тилли Ч. (2009). *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 годы*. М.: Территория будущего.
- . (1993). *European Revolutions 1492–1992*. Oxford: Blackwell.
- Tokes, R. (1967). *Bela Kun and the Hungarian Soviet Republic*. New York: Praeger.
- Toland, J. (1970). *The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936–1945*. New York: Random House.
- Tomlins, C. (1985). *The State and the Unions: Labor Relations, Law, and the Organized Labor Movement in America, 1880–1960*. New York: Cambridge University Press.
- Tomlinson, B.R. (1993). *The Economy of Modern India, 1860–1970*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1999). "Economics and empire: the periphery and the imperial economy" in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire*, Vol III: *The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Tooze, A. (2006). *The Wages of Destruction: The Making and the Breaking of the Nazi Economy*. London: Allen Lane.
- Topik S. and A. Wells (1998). *The Second Conquest of Latin America: Coffee, Henequen and Oil during the Export Boom, 1850–1930*. Austin: University of Texas Press.
- Torpey, J. (2000). *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*. New York: Cambridge University Press.
- Trotsky, L. (1957). *Edition History of the Russian Revolution*. Ann Arbor: University of Michigan Press; Троцкий, Л.Д. (1931–1933). *История русской революции*. В 3-х томах. Берлин: Гранит.
- Trubowitz, P. (1998). *Defining the National Interest: Conflict and Change in American Foreign Policy*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Tsonuda, J. (1994). "The final confrontation: Japan's negotiations with the United States, 1941" in James Morley (ed.), *Japan's Road to the Pacific War*, p. 1–105. New York: Columbia University Press.
- Tsutsui, W. (1998). *Manufacturing Ideology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Umbreit, H. (2003). "German Rule in the Occupied Territories, 1942–1945" in Kroener et al. (eds.), *Organization and Mobilization of the German Sphere of Power, Part 2: Wartime*

- me Administration, Economy and Manpower Resources, 1942–144/45, p. 833–1070. Oxford: Clarendon Press.
- Valocchi, S. (1990). "The Unemployed Workers Movement of the 1930s: A Reexamination of the Piven and Cloward Thesis," *Social Problems* 37: 191–205.
- van Creveld, M. (1982). *Fighting Power: German and US Army performance, 1939–1945*. Westport, CT: Greenwood Press.
- van de Ven, H. (2003). *War and Nationalism in China, 1925–1945*. London: Routledge/Curzon.
- van Slyke, L. (1967). *Enemies and Friends, the United Front in Chinese Communist History*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (1986). "The Chinese communist movement during the Sino-Japanese war 1937–1945" in John Fairbank & Albert Feuerwerker (eds.), *The Cambridge History of China, Vol 13: Republican China 1912–1949, Part 2*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Zanden et al. (2011). "The changing shape of global inequality 1820–2000: exploring a new data-set," *Universiteit Utrecht, CGEH Working Paper Series, No. 1*.
- Vandervort, B. (1998). *Wars of Imperial Conquest in Africa, 1830–1914*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Veesser, C. (2002). *A World Safe for Capitalism: Dollar Diplomacy and America's Rise to Global Power*. New York: Columbia University Press.
- Vellacott, J. (2007). *Pacifists, Patriots and the Vote: The Erosion of Democratic Suffragism in Britain During the First World War*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Verhey, J. (2000). *The Spirit of 1914: Militarism, Myth, and Mobilization in Germany*. New York: Cambridge University Press.
- Vermes, G. (1971). "The October Revolution in Hungary: From Károlyi to Kun" in Volgyes (ed.), *Hungary in Revolution, 1918–1919*, p. 31–60. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Villacorte, W. (2002). "The American influences on Philippine Political and Constitutional Tradition" in Mcferson (ed.), *Mixed Blessing: The Impact of the American Colonial Experience on Politics and Society in the Philippines*, p. 135–154. Westport, CT: Greenwood Press.
- Viola, L. (1996). *Peasant Rebels Under Stalin*. New York: Oxford University Press.
- Voss, K. (1994). *The Making of American Exceptionalism: The Knights of Labor and Class Formation in the Nineteenth Century*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wade, R. (1984). *Red Guards and Workers' Militias in the Russian Revolution*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (2000). *The Russian Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walford, C. (1878–1879). "The Famines of the World, Past and Present," Parts I and II, *Journal of the Statistical Society of London*, 41 & 42.
- Walker, S. (1997). *Prompt and Utter Destruction: Truman and the Use of Atomic Bombs Against Japan*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Wallace, M. et al. (1988). "American labor law: its impact on working-class militancy, 1901–1980," *Social Science History*, 12: 1–29.
- Waller, D. (1972). *The Kiangsi Soviet Republic: Mao and the National Congresses of 1931 and 1934*. University of California Berkeley, Center for Chinese Studies: China Research Monographs.
- Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System*. New York: Cambridge University Press; Валлерстайн, И. (2015). *Мир-система Модерна. Т. I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке*. М.: Русский фонд содействия образованию и науке.
- Wallis, J. and W. Oates (1998). "The Impact of the New Deal on American Federalism" in Bordo et al. (eds.), *The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century*, p. 155–180. Chicago: University of Chicago Press.
- Ward, J. M. (1976). *Colonial Self-Government: The British Experience, 1759–1856*. London: Macmillan.
- Washbrook, D. A. (2001). "India 1818–1860: The Two Faces of Colonialism" in Andrew Porter (ed.), *The Oxford History of the British Empire, Vol. III: The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.

- Webber, M. (2000). *New Deal Fat Cats: Business, Labor, and Campaign Finance in the 1936 Presidential Election*. New York: Fordham University Press.
- Weber, E. (1964). *Varieties of Fascism*. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- Weber, M. (1978). *Edition Economy and Society*, 2 vols., ed., Gunther Roth & Claus Wittich. Berkeley & Los Angeles: University of California Press; Вебер, М. (2016). *Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии*. В 4-х томах. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- . (1995). *Edition The Russian Revolutions*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- . (2002). *Edition The Protestant Ethic and "The Spirit of Capitalism."* Los Angeles: Roxbury Publishing Company; Вебер, М. (1990). *Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения*. М.: Прогресс.
- Weed, C. (1994). *The Nemesis of Reform: The Republican Party During the New Deal*. New York: Columbia University Press.
- Wei, W. (1989). "Law and order: the role of Guomintang security forces in the suppression of the communist bases during the soviet period" in Hartford & Goldstein (eds.), *Single Sparks: China's Rural Revolutions*, p. 34–61. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Weinstein, J. (1968). *The Corporate Ideal in the Liberal State, 1900–1918*. Boston: Beacon Press.
- Weitz, E. (2009). *Weimar Germany: Promise and Tragedy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Welch, R. Jr. (1985). *Response to Revolution*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Wesseling, H. L. (1989). "Colonial wars: an Introduction" in J. A. de Moor & Wesseling (eds.), *Imperialism and War: Essays on Colonial Wars in Asia and Africa*. Leiden.
- . (2005). "Imperialism and the roots of the Great War," *Daedalus*, 135, Spring.
- Westermann, E. (2005). *Hitler's Police Battalions: Enforcing Racial War in the East*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Wette, W. (1998). "Militarist and pacifist ideologies in the last phase of the Weimar Republic" in Wilhelm Deist et al. (eds.), *Germany and the Second World War. Vol I: The Build-Up of German Aggression*, p. 9–81. Oxford: Clarendon Press.
- Wheare, J. (1950). *The Nigerian Legislative Council*. London: Faber & Faber.
- Wheatcroft, S. and R. W. Davies (2004). *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*. London: Palgrave.
- White, E. (1990). "The Stock Market Boom and Crash of 1929 Revisited," *The Journal of Economic Perspectives*, 4: 67–83.
- Whitney, R. (2001). *State and Revolution in Cuba: Mass Mobilization and Political Change, 1920–1940*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Wiarda, H. (1995). *Democracy and Its Discontents. Development, Interdependence and US Policy in Latin America*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- . (1999). "Introduction" and "Central America: The Search for Economic Development" in Leonard (ed.), *Central America and the United States: The Search for Stability*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- Wildman, A. (1980). *The End of the Russian Imperial Army*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wilensky, H. (2002). *Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and Performance*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Williams, G. (1975). *Proletarian Order: Antonio Gramsci, Factory Councils and the Origins of Italian Communism, 1911–1921*. London: Pluto Press.
- Williamson, J. (2006). *Globalization and the Poor Periphery Before 1950*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Williamson, S. Jr. and E. May (2007). "An Identity of Opinion: Historians and July 1914," *The Journal of Modern History*, 79: 335–87.
- Wilson, S. (1995). "The 'New Paradise': Japanese Emigration to Manchuria in the 1930s and 1940s," *The International History Review*, 17: 249–86.
- . (2002). *The Manchurian Crisis and Japanese Society, 1931–33*. London: Routledge.
- Wimmer, A. and Y. Feinstein (2010). "The rise of the nation-state across the world, 1816 to 2001," *American Sociological Review*, 75: 764–90.

- Winter, J. (1986). *The Great War and the British People*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (1997). "Surviving the War: Life Expectation, Illness and Mortality Rates in Paris, London, and Berlin, 1914–1919" in Winter & Jean-Louis Robert (eds.), *Capital Cities at War: Paris, London, Berlin, 1914–1919*, p. 487–524. New York: Cambridge University Press.
- Witte, E. (1962). *The Development of the Social Security Act*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Wolf, E. (1969). *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper & Row.
- Wolff, E. N. and M. Marley (1989). "Long-term trends in US wealth inequality: methodological issues and results" in R. Lipsey and H. S. Tice (eds.), *The Measurement of Saving, Investment and Wealth*, p. 765–844. Chicago: University of Chicago Press.
- Wong, J. (2004). *Healthy Democracies: Welfare Politics in Taiwan and South Korea*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wood, B. (1961). *The Making of the Good Neighbor Policy*. New York: Columbia University.
- Wood, E. (1997). *The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia*. Bloomington: Indiana University Press.
- Woodiwiss, A. (1992). *Law, Labour, and Society in Japan: From Repression to Reluctant Recognition*. London: Routledge.
- Worley, M. (2005). *Labour Inside the Gate: A History of the British Labour Party Between the Wars*. London: Tauris.
- Wright, T. (1991). "Coping with the world depression: the Nationalist government's relations with Chinese industry and commerce, 1932–1936," *Modern Asian Studies*, 25: 649–74.
- . (2000). "Distant thunder: the regional economies of Southwest China and the impact of the great depression," *Modern Asian Studies*, 34: 679–738.
- Young, C. (1994). *The African Colonial State in Comparative Perspective*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Young, G. M. (1957). *Macaulay, Prose and Poetry*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Young, L. (1998). *Japan's Total Empire. Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Young, R. (1996). *France and the Origins of the Second World War*. London: Macmillan.
- Zanasi, M. (2006). *Saving the Nation: Economic Modernity in Republican China*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zanetti, J. and A. Garcia (1998). *Sugar and Railroads: A Cuban History, 1837–1959*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Zeitlin, M. (1980). "On Classes, Class Conflict and the State: an Introductory Note" in M. Zeitlin (ed.), *Classes, Class Conflict and the State*. Cambridge, MA: Winthrop.
- Zeman, Z. (1961). *The Break-Up of the Habsburg Empire, 1914–1918: A Study in National and Social Revolution*. London: Oxford University Press.
- Zieger, R. (1995). *The CIO, 1935–1955*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Ziemann, B. (2007). *War Experiences in Rural Germany, 1914–1923*. New York: Berg.
- Zuber, T. (2002). *Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning, 1871–1914*. New York: Oxford University Press.
- Zuckerman, L. (2004). *The Rape of Belgium: The Untold Story of World War I*. New York: New York University Press.

Научное издание

МАЙКЛ МАНН
ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТОМ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИМПЕРИИ
И РЕВОЛЮЦИЯ, 1890–1945 ГОДЫ

Главный редактор В. В. Анашвили
Заведующая редакцией Ю. В. Бандурина
Выпускающий редактор Е. В. Попова
Редактор Л. Ф. Королева
Дизайн обложки С. Д. Зиновьев
при участии Д. Ю. Карасева
Оригинал-макет, верстка С. Д. Зиновьев

Подписано в печать 20.11.2017. Формат 70×100/16
Усл. печ. л. 56,1. Тираж 1000 экз. Изд. № 390. Заказ № 361

Издательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
Коммерческий центр
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02
delo@ranepa.ru
www.ranepa.ru
Интернет-магазин
www.delo.ranepa.ru

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»
121099 Москва, Шубинский пер., 6

ISBN: 978-5-7749-1287-2



9 785774 912872

